



АЛЬФРЕД ДЕ МЮССЕ

Исповедь сына века. Новеллы



БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Альфред де Мюссе

Исповедь сына века

Новеллы

Перевод с французского

Серия основана издательством
ЭКСМО в 2002 году

Москва



2007

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Фра)
М 98

Перевод с французского

Вступительная статья, примечания *В. Мильчина*

Разработка серийного оформления *А. Бондаренко*

Мюссе А.

М 98 **Исповедь сына века:** Роман, новеллы, пьесы, стихотворения / Альфред де Мюссе; [пер. с фр.; вступ. ст. и примеч. *В. Мильчиной*]. — М.: Эксмо, 2007. — 768 с.: ил. — (Библиотека Всемирной Литературы).

ISBN 978-5-699-21162-3

Летом 1833 года двадцатитрехлетний Альфред де Мюссе познакомился с Жорж Санд. Роман между талантливыми мужчиной и женщиной оставил глубокий след в творчестве обоих. История этой нелегкой любви людей, словно бы созданных друг для друга, но которым не суждено быть вместе, стала канвой самого знаменитого романа Мюссе «Исповедь сына века». В сборник известного французского писателя и поэта вошли его новеллы, стихотворения и пьесы, и во всех произведениях нашли выражение лучшие свойства авторской манеры Мюссе — глубокий психологический анализ, тонкая ирония, умение рассматривать судьбу отдельного человека неразрывно с исторической судьбой его страны.

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Фра)

© Вступ. статья, перевод, примечания.
В. Мильчина, 2007
© Перевод *Д. Лившиц*. Наследники, 2007
© Перевод *Э. Линецкой*. Наследники, 2007
© Перевод *Н. Немчиновой*. Наследники, 2007
© Перевод *А. Тетеревниковой*. Наследники, 2007
© Перевод *А. Федорова*. Наследники, 2007
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2007

ISBN 978-5-699-21162-3

Содержание

В. Мильчина.
Жизнь и творчество «сына века»

7

ИСПОВЕДЬ СЫНА ВЕКА

Роман. Перевод *Д. Лившиц* и *К. Ксаниной*

33

НОВЕЛЛЫ

ЭММЕЛИНА. Перевод Н. Немчиновой

305

ФРЕДЕРИК И БЕРНЕРЕТТА. Перевод Л. Толстой

353

СЫН ТИЦИАНА. Перевод Л. Толстой

407

МАРГО. Перевод Д. Лившиц

456

ИСТОРИЯ БЕЛОГО ДРОЗДА. Перевод К. Ксаниной

506

МИМИ ПЕНСОН. Перевод Э. Линецкой

535

МУШКА. Перевод А. Тетеревниковой

568

ПЬЕСЫ

ПРИХОТИ МАРИАННЫ. Перевод А. Федорова

609

5

ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ. *Перевод А. Федорова*

645

НУЖНО, ЧТОБЫ ДВЕРЬ БЫЛА ЛИБО ОТКРЫТА, ЛИБО ЗАКРЫТА

Перевод В. Мильчиной

697

ПОЭЗИЯ

ПОРЦИЯ. *Перевод А. Курошевой*

719

ПЕПИТЕ. *Перевод А. Арго*

734

ПЕСНЯ ФОРТУНИО. *Перевод И. Тургенева*

736

К НИНОН. *Перевод А. Арго*

737

ТЫ, БЛЕДНАЯ ЗВЕЗДА, ВЕЧЕРНЕЕ СВЕТИЛО...

Перевод Д. Мережковского

738

ЖЕНЩИНАМ. *Перевод Э. Линецкой*

739

LE MIE PRIGIONI. *Перевод Е. Полонской*

740

СОNET («ВСТРЕЧАТЬСЯ В РАДОСТИ...»). *Перевод А. Арго*

745

...КОГДА ИЗ ШКОЛЬНЫХ СТЕН ДОМОЙ МЫ ВОЗВРАЩАЛИСЬ...

Перевод И. Бунина

745

ПРИМЕЧАНИЯ *В. Мильчиной*

747

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО «СЫНА ВЕКА»

Мало кто из французских писателей входил, а точнее, врвался в литературу так дерзко и блистательно, как Альфред де Мюссе. Вспоминая его дебют, поэт Ламартин сравнивал «Испанские и итальянские повести», первый стихотворный сборник молодого литератора, вышедший в свет в январе 1830 года, с пением птицы-пересмешника на фоне жалоб соловья, со стуком кастаньет на фоне церковного органа. Критик Сент-Бёв говорил, что Мюссе вторгся в святилище лирической поэзии, не снявши шпор (сравнение, впервые использованное в предисловии к «Испанским и итальянским повестям» самим Мюссе), да к тому же впрыгнул в окошко¹. Того же мнения был и А.С. Пушкин, «по свежим следам», осенью 1830 года, писавший: «Вдруг явился молодой поэт с книжечкой сказок и песен и произвел ужасный соблазн <...> О нравственности он и не думает, над нравоучением издевается и, к несчастью, чрезвычайно мило»².

Что же так смутило французскую публику и критику, причем критику самой разной ориентации — и традиционной, классической, и новомодной, романтической? В своем сборнике Мюссе продемонстрировал блестящее владение всеми новыми приемами, которые выдвинула к этому времени романтическая эстетика. Французская ро-

¹ См.: J e u n e S. Musset et sa fortune litteraire. Bordeaux, 1970. P. 12.

² Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 томах. Л., 1978. Т. VII. С. 145.

мантическая школа сформировалась в 1820-х годах; одну из главных своих задач романтики видели в замене устаревших и чересчур строгих правил прежней, классической эстетики правилами новыми, более свободными. Романтики, группировавшиеся вокруг Виктора Гюго, предложили ряд важных конкретных реформ в области поэтических приемов и стихосложения. Они стремились обновить классический размер французской поэзии — александрийский стих, вводя в стихи «переносы» (когда конец фразы не совпадает с концом стиха и переходит на следующую строку) и богатые рифмы, отстаивали право поэта сталкивать предметы низменные и возвышенные, изображать страсти сильные и необузданные. Все это в избытке присутствовало в «Испанских и итальянских повестях». Молодой поэт резко порывал с классической образностью: луну, которая прежде именовалась в поэзии «царицей ночи», величественным светилом, плывущим по небесной лазури, Мюссе осмелился сравнить с точкой над *i* (это, естественно, вызвало у защитников традиций особенное негодование). Не менее дерзко прозвучала пьеса в стихах «Каштаны из огня»; в основу ее Мюссе положил историю весьма печальную: некий аббат, дабы угодить своенравной танцовщице, убил соперника, своего друга, но оказалось, что танцовщица продолжает любить покойного, и аббат был с позором изгнан из ее дома. Так вот, эту грустную историю Мюссе оканчивает откровенно шутовской репликой аббата: «Я выпачкал камзол, и прочь меня прогнали // Какой еще искать в комедии морали?»¹. Но мало этого: искушенные читатели без труда могли понять, что в легкомысленной комедии спародирован сюжет знаменитой трагедии прославленного драматурга-классика Ж. Расина «Андромаха».

Итак, Мюссе весьма неуважительно обошелся с классическими традициями, но и отношения с романтизмом

были у него непростые; уже первые читатели ощутили, что автор «Испанских и итальянских повестей» исполняет предписания романтической эстетики чересчур тщательно — так тщательно, что едва ли не пародирует их, едва ли не доводит до абсурда. К тому же, хотя главный теоретик и практик романтизма В. Гюго и провозгласил в своем нашумевшем трактате «Предисловие к «Кромвелю» (1827) необходимость смешивать в искусстве комическое с трагическим, прекрасное с ужасным, современникам трудно было понять и принять иронию Мюссе. Гюго, «смешивая» возвышенное с низменным, оставлял каждую из этих сфер достаточно независимой: благородных героев он безусловно превозносил, злодеев — безоговорочно осуждал. У Мюссе же все перепуталось: смех слился со слезами; даже о возвышенных предметах разговор повелся ерническим тоном.

Кто же был этот «нарушитель спокойствия» во французской литературе? В ту пору, когда вышли «Испанские и итальянские повести», ему только-только исполнилось 19 лет.

Альфред де Мюссе родился 10 декабря 1810 года в Париже. Отец его, Виктор Донасьен де Мюссе-Пате, чиновник военного министерства, был не чужд изящной словесности: он сочинял сказки, путевые заметки, но наиболее значительные его творения — книга о жизни и творчестве Жан-Жака Руссо и собрание сочинений этого автора, которое до сих пор называют «изданием Мюссе-Пате». Литератором был и дед с материнской стороны, Клод Антуан Гийо-Дезеррье, живое воплощение вольнодумного и остроумного XVIII столетия, автор описательных и сатирических поэм. Вообще, если углубиться в родословную Мюссе, станет ясно, что ему «на роду написано было» стать поэтом: один из его предков в XVI веке женился на дочери Кассандры Сальвьяти, возлюбленной великого французского поэта Пьера де Ронсара (Кассандре посвящена целая книга его любовных стихотворений);

¹ Перевод Ю. Б. Корнеева.

другой предок Мюссе позднее женился на девице из рода Дю Белле (Жоашен Дю Белле был соратником Ронсара, не менее знаменитым стихотворцем XVI века). Впрочем, к занятиям поэзией Альфреда де Мюссе подтолкнула, разумеется, не эта «литературная генеалогия». Блестяще окончив привилегированный коллеж Генриха IV, он не чувствовал в себе склонности ни к математике (родители безуспешно пытались определить его учиться в Политехническую школу), ни к юриспруденции и медицине (ту и другую он начинал изучать, но очень скоро бросил). Однако и литературу он с самого начала отнюдь не склонен был считать профессией, предметом серьезных занятий. В сентябре 1827 года Мюссе написал своему другу Полю Фуше любопытнейшее письмо, в котором угадал и описал важнейшие черты своего характера и своей судьбы; в нем он, среди прочего, говорит: «Я не хотел бы сочинять, точнее, я хотел бы быть Шекспиром или Шиллером: поэтому я не делаю ровно ничего».

Не то чтобы Мюссе относился к литературе легкомысленно; в двадцать лет у него сложились достаточно продуманные взгляды на поэзию. Пародирование романтических новаций в «Испанских и итальянских повестях» было не случайным, а вполне сознательным: Мюссе с самого начала и до конца своего литературного пути был убежден, что всякий писатель должен идти своей дорогой, творить так, как подсказывает ему его ум и сердце, а не посвящать свой талант отстаиванию принципов некоего кружка. В стихотворении «Тайные мысли Рафаэля» (1831) он с вызовом утверждал, что на его столе Шекспир лежит рядом с Буало, а было ли для последовательного романтика 1830 года имя более чуждое, чем этот законодатель классического вкуса? Эта непокорность, независимость от романтической моды¹ очень характерна для Мюссе: так, если все ищут богатые рифмы, он в стихах, написан-

ных после «Испанских и итальянских повестей», демонстративно употребляет рифмы бедные. Другой пример: на рубеже 1820—1830-х годов едва ли не самой «престижной» областью французской литературы была драматургия; основные сражения между классиками и романтиками разворачивались на театральной сцене, и все молодые писатели мечтали прославиться, сочинив пьесу. Все — но не Мюссе; он демонстративно порвал с театром и выпустил в декабре 1832 года сборник с вызывающим названием «Спектакль в кресле», включающий две драматические поэмы, или стихотворные пьесы *для чтения*, — «Уста и чаша» и «О чем мечтают юные девушки» (к ним по просьбе издателя была добавлена еще поэма «Намуна»)¹.

Итак, Мюссе шел в литературе своим, особым путем, отнюдь не смыкаясь полностью с романтиками, хотя, безусловно, разделяя их неудовлетворенность окостеневшими правилами выродившегося классицизма XIX века. Однако по складу души Мюссе был человеком романтической эпохи. Ведь понятие «романтическая эпоха» гораздо шире того эстетического канона, пропагандой которого занимался кружок В. Гюго. Европейский романтизм познакомил публику с героем-энтузиастом, стремящимся к возвышенному идеалу и страдающим от несовершенства реального мира; несовпадение идеала и реальности либо поселяло в душе такого героя смертную тоску и меланхолию (гетевский Вертер, Рене из одноименной повести французского писателя Шатобриана), либо заставляло его бросить вызов богу и мирозданию (герои Байрона). Именно этих авторов, «собранных воедино все элементы тоски и скорби, рассеянные во вселенной», упоминает Мюссе в знаменитом «зачине» своего романа «Исповедь

¹ Правда, поводом для решения отказаться от театра послужил провал первой пьесы Мюссе «Венецианская ночь» (1830), тонкий, ироничный, нешаблонный стиль которой не был понят публикой, но ведь далеко не всякий автор отвечает на неудачный дебют таким своеобразным образом.

¹ Отец Мюссе называл ее «дегюготизацией».

сына века». Мюссе видит в их произведениях своеобразные литературные источники «болезни века» — меланхолии, неприкаянности, тоски. Разумеется, Гете, Байрон, Шатобриан не изобрели своих героев, не выдумали их «из головы» — просто благодаря им юноши XIX столетия ясное осознали жившие в их душах противоречия.

Противоречия эти знал не понаслышке и Мюссе. В уже упоминавшемся письме Полю Фуше он говорил: «Я скучаю и грущу и даже не имею мужества трудиться <...> Я чувствую, что величайшее несчастье, которое может приключиться с человеком страстным, — это жить вовсе без страстей. Я не влюблен, я ничего не делаю»¹. «Дело», однако, нашлось — и отнюдь не в области литературы. Мюссе ведь не считал себя профессиональным литератором, вынужденным постоянно творить, чтобы заработать на жизнь. Правда, после внезапной кончины отца в 1832 году он ощутил себя «кормильцем» семьи и усиленно принялся за сочинительство, дабы доказать, что может таким образом содержать себя и родных (результатом этих трудов и явился «Спектакль в кресле»), однако в первую очередь Мюссе все-таки ощущал себя человеком светским. Близкими его друзьями, с которыми он проводил большую часть времени, были не литераторы, а светские молодые люди, денди-аристократы, посвящавшие дни и ночи развлечениям и наслаждениям (жизнь их была подобна той, какую стал вести герой новеллы «Фредерик и Бернеретта», когда его приятель Жерар получил наследство и разбогател). Таким денди большинство современников — и литераторы, и светские люди — не без оснований считали Мюссе. А светская, щегольская жизнь вовсе не отличалась монастырской воздержанностью. Проводить время в ресторанах и кабачках, храня в душе тягу к идеалу, — эта основная коллизия едва ли не всех крупных произведений, написанных Мюссе до «Испове-

¹ Sèche L. Alfred de Musset. Paris, 1907. T. I. P. 39.

ди сына века», безусловно, носит автобиографический характер. Герой драматической поэмы «Уста и чаша» Франк — бунтарь, порывающий со всеми устоями родной деревни, вечный странник, нигде не находящий успокоения; он пытается обрести счастье в женитьбе на юной и чистой Деидамии, но распутное прошлое в лице порочной куртизанки Монны Бельколор, из ревности убивающей Деидамию, мстит ему. Герой драмы «Лорензаччо» (1834) — борец против тирании, втирающийся в доверие к правителю-тирану, дабы убить его; однако, исполнив задуманное, Лорензаччо обнаруживает, что, притворяясь распутником ради благородной цели, он сам погряз в пороках и уже не способен ни на что иное¹. И наконец, как справедливо указывают, основываясь на собственных признаниях поэта, все пишущие о Мюссе, два героя пьесы «Прихоти Марианны», беспутный весельчак Оттавио и сумрачный идеалист-меланхолик Челио, — это воплощение противоречивой природы автора.

И вот этот-то денди-поэт, мечтатель-гуляка, у которого, если воспользоваться автобиографической характеристикой из комедии «Фантазио» (1833), «на щеках май, а в сердце январь», познакомился в июне 1833 года на обеде, устроенном редактором журнала «Ревю де Де Монд», с уже знаменитой к тому времени сочинительницей, автором двух нашумевших романов — «Индиана» и «Валентина» — Жорж Санд. Встреча эта повлияла на всю дальнейшую жизнь Мюссе, на все его творчество. У поэта было

¹ По словам Сент-Бёва, «Лоренцо сознает, что слишком много видел и слишком глубоко познал жизнь, он слишком низко опустился на дно ее и уже не надеется когда-либо выбраться оттуда; в его душе поселяется неумолимый гость — скука, которая отныне будет постоянно возвращаться к нему и заставит его по привычке, по какой-то внутренней необходимости, совершать все то, что вначале он совершал ради притворства и обмана, стремясь прослыть не тем, кем он был на самом деле» (Сент-Бёв в Ш. Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970. С. 469).

немало других избранниц, но ни одна из них не сыграла такой роли в его духовном становлении, как Жорж Санд.

Истории любви Мюссе и Санд посвящены десятки книг и статей; было время, когда критики и историки литературы делились на «мюссетистов» и «сандистов», и между ними шли ожесточенные споры о том, кто же все-таки виноват в безрадостном финале этого «романа» — он или она. Дело, однако, не столько в этом, сколько в том трагическом столкновении жизненных позиций и душевных привычек, которое и разрушило любовь двух поэтов.

Фактическая канва событий такова: за знакомством на литературном обеде последовал обмен письмами, долгие совместные беседы, чтение только что созданных произведений (ее романа «Лелия» и его поэмы «Ролла»); летом и осенью 1833 года влюбленные наслаждались счастьем, которое омрачил лишь нервический припадок, происшедший с Мюссе в лесу Фонтенбло: по словам Жорж Санд, поэт увидел призрак человека опустившегося, изнуренного годами беспутной жизни, и призрак этот по всем приметам походил на него самого. В стихотворении «Декабрьская ночь» (1835) Мюссе описал явление этого призрака:

Его запомнил я так ясно,
что после в жизни я всечасно,
повсюду — узнавал его;
поистине то — призрак странный,
друг пасмурный и безымянный,
не демон и не божество, —

и увидел в нем причину всех своих прошлых и будущих жизненных невзгод, ибо призрак сказал ему:

Я не Бог и не демон крылатый;
но ты дал мне название брата,
и название это верней.
Где ты будешь, там буду я рядом
до последнего дня — когда сяду
я на камень могилы твоей.

Небо сердце твое мне вручило.

Я хочу, чтоб ко мне приходила
без боязни кручина твоя.

Я с тобой не расстанусь. Но помни,
прикоснуться к тебе не дано мне:
о мой друг, одиночество я¹.

В декабре 1833 года Санд и Мюссе вдвоем отправились в Италию, однако по приезде туда Санд заболела; Мюссе стал тосковать, скучать, кажется, даже изменил ей с некоей генуэзской танцовщицей. В Венеции заболел Мюссе: у него случилось что-то вроде тяжелой нервной горячки. Болезнь обострила его порывистость, мнительность, неуверенность в себе и в возлюбленной. Санд самоотверженно выхаживала больного, сутками не приклоняя головы, но сердце ее жаждало покоя, ей необходим был человек сильный и положительный, в котором она могла бы найти поддержку и опору. Таким оказался ей молодой итальянский врач Пьетро Паджелло, который довольно решительно лечил заболевшего французского поэта и не менее решительно ухаживал за его сиделкой. Паджелло, конечно, был «не пара» Жорж Санд в том, что касается поэзии и вообще сферы духовного и возвышенного, она это прекрасно сознавала. «Славный Пьетро не читал «Лелию», и я уверена, что он не понял бы в ней ни капли. Он и не подозревает о наших поэтических бреднях»², — писала она Мюссе 12 мая 1834 года, твердо сознавая, что она и Мюссе — поэты, а Паджелло — всего лишь добрый и честный малый. Но у Паджелло было в ее глазах огромное преимущество: он был «не из тех, кто все отрицает». «Ты-то, по крайней мере, не сомневаешься во всем?» — спрашивала она у итальянца. — Ты молод и силен,

¹ Иностранная литература. 1987, № 5. С. 163, 166; перевод В.В. Набокова.

² Sand G., Musset A. de. Correspondance. Monaco, 1956. P. 104. Переписка Мюссе и Санд цитируется далее везде по этому изданию.

душа у тебя совсем новая, прекрасная и сильная»¹. А у Мюссе душа была уже далеко не «новая», ее цельность подточили несколько лет праздной и разгульной жизни парижского аристократа.

Мюссе, судя по его позднему рассказу, записанному братом, Полем де Мюссе, заметил взаимную склонность Санд и Паджелло еще во время своей болезни. Когда он выздоровел, Санд призналась ему в том, что чувства ее переменились. И Мюссе, благословляя ее новую любовь, коря себя за то, что он «так плохо любил ее» прежде, и твердя, что главное для него — ее счастье, уехал в Париж, оставив любимую в Венеции. Однако они продолжали обмениваться длинными и страстными письмами. Письма эти — проникновенное и выразительное свидетельство того, какая тяга к идеальной любви жила в сердцах обоих. Мюссе ждал, что любовь воскресит его душу, вернет ей утраченную цельность, в любви он видел своего рода религию, и вера в любимую женщину была для него равносильна вере в разумность и справедливость миропорядка, а крушение этой веры — крушению всего мироздания.

Санд и Мюссе были, что называется, созданы друг для друга², но вместе быть они не могли. В разлуке Мюссе слал возлюбленной возвышенные письма, исполненные самоотречения. Но новая встреча все изменила. В августе 1834 года Санд вместе с Паджелло прибыла в Париж; ста-

¹ Ibid. P. 53.

² Любопытно, что оба они в произведениях, написанных еще до знакомства, «предсказали» историю своей любви. Французский историк литературы Ф. Ван Тигем отмечает, что когда главный герой драмы 1833 года «Андреа дель Сарто» оставляет нежно любимую жену наслаждаться счастьем с ее избранником, своим учеником Кордиани, то он поступает так, как спустя год поступил сам Мюссе, уехав из Венеции. Но и Жорж Санд как бы предчувствовала, какую роль сыграет в ее жизни Мюссе; разве не его черты угадываются в двух главных героях романа «Лелия» — белокурое юноше-поэте Стенио и распутнике Тренморе, тяготящемся своими оргиями и взыскующем идеала?

рая любовь потеснила новую, итальянцу пришлось отбыть домой, и вот тут началось самое грустное: примирения чередовались с разрывами, пламенные объяснения в любви — с ужасными скандалами, Мюссе ревновал, обвинял Санд в измене. Наконец 6 марта 1835 года Санд тайно от Мюссе уехала в свой родной Ноан, и на этом история их любви закончилась.

В быту Мюссе часто бывал со своей возлюбленной жесток и несправедлив, однако по здравом размышлении неизменно признавал свою неправоту. Сообщая Санд 30 апреля 1834 года о своем намерении описать их историю в романе, он говорит: «Я хочу воздвигнуть тебе алтарь, хотя бы на собственных костях». Романом этим он хотел принести покаяние (по меткому слову русского писателя Аполлона Григорьева, «Исповедь сына века» замечательна «высокой степенью искренности и обилием казни над самим собою»¹), но, создавая этот роман-покаяние, который, как он надеялся, исцелит его, Мюссе думал не только о себе; он мечтал избавить многих подобных ему юношей от сходных пороков: «Мир узнает мою историю; я напишу ее; быть может, она никому не пригодится. Но те, кто идут моей дорогой, узнают, куда она ведет; те, кто шагают по краю пропасти, поблдевают, быть может, услышав о моем падении» (из письма к Санд около 23 августа 1834 года).

«Исповедь сына века» вышла в свет в начале 1834 года. Мюссе написал обещанный роман — роман о том, как в душе человека, лишённого веры и ведущего распутную жизнь, просыпается настоящее чувство, но даже ему не удается полностью преобразить больную душу. «Ты часто говорила, что во мне живут двое — Оттавио и Челио. Узнав тебя, я почувствовал, как первый умирает, но второй, тот, который рождался, мог только плакать и кричать, как дитя» (из письма к Санд от 10 мая 1834 года). Действие

¹ Григорьев А. Эстетика и критика. М., 1980. С. 84.

пьесы «Прихоти Марианны» происходит в Неаполе, поэтому имя ее героя переведено по-русски на итальянский манер — Оттавио; меж тем у Мюссе его зовут Octave (Октав) — точно так же, как и героя «Исповеди сына века». В романе Мюссе как бы продолжил пьесу — рассказал о том, что произошло с ее ветреным, бесчувственным, изверившимся героем, когда он полюбил.

Мюссе описал в «Исповеди сына века» «болезнь», главные симптомы которой — неверие, скука, одиночество. Однако, повествуя о «болезни», которой страдал он сам, он сумел точно показать духовное состояние своих соотечественников — этой «нации, которая скучает», как выразился Ламартин, выступая в палате депутатов 10 января 1839 г. Диагноз своей эпохе Мюссе поставил еще в 1831 году в одной из статей своего «Фантастического обозрения», печатавшегося в газете «Ган». Вслед за философом Ф.Р. де Ламенне, автором нашедшей книгу «О равнодушии в области религии» (1817–1823, т. 1–4), он увидел в своих современниках людей изверившихся, которым все безразлично: «Таков наш век — этот разочарованный сын пылкого отца, это сдержанное чадо несколько хвастливого родителя»¹. А когда все безразлично, то юношам случается поступать и так, как поступил герой поэмы Мюссе «Ролла»: не имея ни профессии, ни желания заниматься каким бы то ни было делом, не видя себе никакого иного применения, кроме как прожигать жизнь, ибо «привычка, уподобляющая жизнь пословице», вызывала у него тошноту, Жак Ролла в три года промотал доставшееся ему от отца состояние, а затем покончил с собой.

Уникальность «Исповеди сына века» состоит в том, что, рассказывая историю откровенно автобиографическую (весь литературный Париж знал о примирениях и разрывах Мюссе с Жорж Санд, и все здесь могли без труда

¹ Мюссе А. де. Избранные произведения. М., 1957. Т. 2. С. 481.

догадаться о прототипах главных героев романа), Мюссе одновременно создает роман социально-политический, роман «из современной истории», и этот социально-политический камертон задается с самого начала, второй главой первой части — этим энергичным и красноречивым изложением «истории болезни» века. Своеобразие «Исповеди сына века» особенно ярко проявляется при сравнении ее с другими романами, посвященными той же любовной драме. Связь Жорж Санд и Мюссе породила по крайней мере три художественных произведения, непосредственно ей посвященных; помимо книги Мюссе, это романы Ж. Санд «Она и он» и Поля де Мюссе «Он и она» (оба — 1859)¹. Жорж Санд вывела себя в образе художницы Терезы Жак, Мюссе — в образе художника Лорана и, по естественной человеческой склонности, представила себя в гораздо более выгодном свете, чем своего бывшего возлюбленного (которого к этому времени уже не было в живых). Поль де Мюссе считал своим долгом вступить за честь покойного брата и противопоставил версии Санд собственный рассказ — историю женщины-композитора Олимпии де Б*, известной под псевдонимом Уильям Кейз, и юного композитора Эдуарда де Фальконе. Нетрудно догадаться, что виновницей всех несчастий оказалась здесь коварная Олимпия. Дело, однако, не во взаимных претензиях авторов; кто бы ни был прав, бесспорно одно: и «Она и он» и «Он и она» — не более чем изложение некоей житейской истории, некоего психологического случая, и ни на что иное они не претендуют. В романе Мюссе случай из личной жизни двух влюбленных поставлен в историко-политический контекст. Пусть Мюссе иногда даже чересчур прямолинеен, когда объясняет все изъяны собственного характера историей эпохи и «болезнью века», все равно заслуга его велика. Он раздвинул рамки лю-

¹ Кроме того, перипетии общения двух влюбленных частично изложила (на основе позднейших рассказов самого Мюссе) Луиза Коле в романе «Он» (1859).

бовного романа, он увидел в современности¹ историю не менее значительную, чем история давно прошедших лет, и также достойную обобщающего портрета и серьезного анализа. По сути, в своем вступлении Мюссе выполнил работу критика, сделал то, что делают нередко историки литературы, — возвел литературного героя к породившей его социально-исторической реальности, причем сделал это так ярко и блистательно, что его портрет романтической эпохи, эпохи Империи, Реставрации и Июльской монархии, до сих пор служит как бы визитной карточкой этого времени.

Мы уже говорили, что своим романом Мюссе хотел предостеречь юношей, пораженных тем же душевным недугом, что и он сам. И это ему удалось: роман убедительно показывает, какие необратимые изменения производит жизнь без веры и идеалов в душе молодого человека, от природы незлого и небесталанного, как она лишает его покоя, счастья и любви. Мюссе, разумеется, был не единственным французским писателем, размышлявшим о типике, в котором находилась в середине 1830-х годов молодежь Франции. Многие писали о том же, ставили тот же «диагноз». Так, Бальзак в рассказе «З. Маркас» (1840), действие которого происходит в 1836 году, как раз тогда, когда вышла в свет «Исповедь сына века», писал: «Во Франции у молодежи нет выхода, и в ее среде растет лавина непризнанных талантов, растут беспокойные стремления законного честолюбия; семьи не знают, что им делать со своими детьми...»² Своеобразие «диагноза» Мюссе — афористичного, поэтического, даже чуть выпяченного по форме — в его автобиографическом тоне. Мюссе не от-

¹ А для людей его поколения современностью был даже Наполеон, царствовавший в эпоху их детства, Наполеон, который, между прочим, тоже называл себя «сыном века», однако не стыдился этого, а, наоборот, гордился родством со своей эпохой (см.: Cases. Memorial de Sainte-Helene. Paris, 1968. P. 583).

² Бальзак О. Собр. соч. В 15 томах. М., 1954. Т. 11. С. 341.

деляет себя от юношей, подобных Октаву, винит в бездельности и тяге к бездумным развлечениям не других, но самого себя, и это отличает его от многих писателей 30-х годов.

Однако излечился ли Мюссе с помощью своего романа от «болезни века»? К сожалению, нет. До конца дней писатель вел ту жизнь, которую так гневно и страстно осудил в своем романе, ту, которую он «напророчил» себе еще в юношеском письме 1827 года: «Мне хочется утопить все благородство, какое во мне еще осталось, в стакане пунша или пива; тогда я почувствую облегчение. Ведь усыпляют же больного с помощью опиума, хоть и знают, что сон может оказаться смертельным. Я поступлю так же со своей душой»¹.

Душа Мюссе не ведала успокоения; 17 октября 1840 года он писал своему другу Альфреду де Татте: «Сидеть спокойно у себя дома — мучительнейшая из казней; не понимаю, отчего это ее нет в ад»². Тот самый романтический индивидуализм, который в быту нередко оборачивается самым вульгарным эгоизмом, лишенным какой бы то ни было поэзии, мешал поэту обрести счастье с женщинами, которые его любили.

Однако, не умея отказаться от романтизма в жизни, Мюссе вел последовательную полемику с ним в литературе. Наиболее очевидна она в области эстетических представлений. То пародирование романтических нововведений, которое проницательные критики разглядели в первых сборниках, в середине 30-х годов вылилось в откровенное и весьма язвительное осуждение романтизма. В 1836 году Мюссе создает «Письма Дюпой и Котоне» — очень точную и едкую сатиру на тогдашнюю литературную критику и литературную теорию. В этом памфлете два достопочтенных провинциальных буржуа, интересующиеся словесностью, подвергают детальному рас-

¹ Allem M. Alfred de Musset. Paris, 1947. P. 23.

² Ibid. P. 184.

смотрению все многочисленные определения романтизма, бытующие в их эпоху, и в конце концов приходят к «важному открытию»: романтизм заключается в злоупотреблении эпитетами. Оказывается, весь грандиозный романтический бунт сводится к столь жалкому итогу. А как остроумна и зла пародия на разочарованного и непризнанного романтического поэта в новелле «История белого дрозда»! Не менее характерно и то оправдание классической трагедии, которое Мюссе предпринял в 1838 году в связи с дебютом великой актрисы Рашели, чей талант вновь привлек симпатии зрителей к пьесам Расина. Потребности романтиков разрушить как можно больше устаревших «классических» правил (которые, впрочем, тут же сменялись в их практике новыми условностями) Мюссе противопоставляет свою убежденность в возможности сосуществования писателей с «независимым гением» (романтиков) и «благородным вкусом» (классиков): «Независимый гений не напишет и четырех страниц, как почувствует себя в тисках, он не сможет выносить стеснения, непреодолимая потребность развернуться полностью заставит его сбросить слабые пути, которые покажутся ему бесполезными и неуместными; другой писатель, наоборот, скоро заметит, что, приближаясь к простоте, он выигрывает во всем. <...> Если он не знает о существовании правил, он угадает их; если он знаком с ними, он ими воспользуется»¹. Эта тяга к возвращению под успокоительную сень правил очень симптоматична.

Конечно, сам Мюссе был поэтом глубоко страстным; спокойных, умиротворенных описаний в его стихах не встретишь. Цикл его самых, пожалуй, сильных лирических стихотворений 1835–1837 годов: «Декабрьская ночь», «Июньская ночь», «Августовская ночь» и «Октябрьская ночь» — это подлинный стон души. Во второй половине XIX столетия, когда у французов пробудился интерес к

лирике Мюссе, при жизни поэта малопопулярной, все поклонники его творчества сходились на том, что главная его отличительная черта — искренность, умение выплеснуть душу, презрев условности стиха и приличия словесности («Этот, по крайней мере, никогда не лгал» — так отзывался о Мюссе философ и историк Ипполит Тэн). То же самое — хотя и с осуждением — говорили и противники поэта («У него были прекрасные порывы, крики души, вот и все. <...> Он с патетическими придыханиями воспевал «сердце», «чувство», любовь в ущерб более высоким красотам...» — из письма Гюстава Флобера к поэтессе Луизе Коле от 30 мая 1852 года)¹. Итак, страстный поэт... Однако самому-то Мюссе страстность была, пожалуй, в тягость.

Идеал его был в другом — в размеренной и спокойной, бесстрастной жизни, к которой он, по-видимому, был совершенно неприспособлен, но в которой тем не менее грезилось ему исцеление и спасение от всех бедствий. Первым из французских писателей XIX столетия этот идеал облек словами Шатобриана, высказавший в повести «Рене» (1802) мысль, которую любил повторять А.С. Пушкин, — мысль о том, что счастье следует искать в единообразии житейских привычек. Более подробно характеризует такой образ жизни в романе «Она и он» Жорж Санд: героиня ее «испытывала постоянную тягу к размеренной домашней жизни; она любила порядок и, вовсе не выказывая того ребяческого презрения, которое иные художники ее времени питали к так называемым лавочникам, горько сожалела, что не вышла замуж за человека из этой посредственной, но надежной среды, где вместо таланта и известности она нашла бы любовь и безопасность»². Такую жизнь попытался вести после смерти отца герой «Исповеди сына века» Октав: «Я велел переплести точно та-

¹ Мюссе А. де. Избранные произведения. Т. 2. С. 593.

¹ Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде. М., 1984. Т. 1. С. 187.

² Sand G. Elle et lui. Paris, 1860. P. 96–97.

кую же тетрадь, какая была у отца, и, тщательно изучив по его дневнику распорядок его жизни, взял за правило следовать ему до мельчайших подробностей. <...> Таким образом я приучил себя к жизни спокойной, размеренной, и эта пунктуальная точность была бесконечно мила моему сердцу. Я ложился спать в блаженном состоянии, которое моя грусть делала еще приятнее. Отец мой много времени уделял уходу за своим садом; остаток дня он посвящал наукам, прогулке, причем физический труд строго чередовался у него с работой ума. <...> Впервые в жизни я был счастлив». Однако попытка продлилась недолго; гораздо больше места отведено описаниям этой покойной, упорядоченной жизни в новеллах Мюссе.

Новеллы, созданные писателем во второй половине 30-х и в 40-е годы, — равноправная часть его творческого наследия. Правда, сам Мюссе тяготился необходимостью писать прозу, делал это только ради денег и даже говорил, что предпочел бы этому занятию торговлю свечками. Тем не менее французские критики считают стиль его новелл образцовым, а такой знаток литературы, как Бальзак, ценил их за «легкость и стройность», за «тонкость, свойственную только поэту», за «глубокий драматизм, пугающую правдивость и беспощадную ясность»¹. Но ценность новелл Мюссе не только в стиле. Важна их главная тема — столкновение и борьба страстей с идеалом жизни спокойной и бесстрастной. Что лучше: променять свой покой на настоящее чувство, но при этом пуститься на ложь, сделать несчастной и себя, и любимого, как поступила Эммелина, героиня одноименной новеллы, или же расстаться с романтической влюбленностью и найти успокоение в добродетельной семейной жизни, как поступила героиня другой новеллы, Марго? Мюссе настойчиво убеждает себя и своих читателей в том, что такой отказ — благо. «Говорят, что привычка приводит к пресыщению. Возможно;

¹ Бальзак О. Собр. соч. 1955. Т. 15. С. 356–357.

но вместе с тем она порождает взаимное доверие и забвение самого себя; любовь, выдержавшая такое испытание, может уже ничего не бояться. Любовники, встречающиеся изредка, никогда не могут быть уверены, что поймут друг друга. <...> Тем, кто живет вместе, ничего не надо высказывать словами; они мыслят и чувствуют согласно <...> Только они одни знают восхитительное блаженство и ласковую прелесть завтрашнего утра» — эта идиллическая картина, нарисованная в новелле «Фредерик и Бернеретта», кажется, проникнута горьким сожалением и даже завистью. Вся она написана «от противного», ибо сам Мюссе о подобном счастье мог только мечтать. Такой же тайной завистью дышат описания безмятежного счастья Пиппо и Беатриче в новелле «Сын Тициана». За счастье нужно платить, и Пиппо отказывается от карьеры художника. Пиппо был безусловно талантлив, но автор явно одобряет его шаг: счастливый покой — состояние в глазах Мюссе столь редкостное, что даже слава не слишком высокая цена за него.

Мюссе был тонким психологом, отменным знатоком человеческого сердца; немало остроумных замечаний на этот счет рассыпано в его новеллах, однако автору все они (за исключением разве что «Истории белого дрозда») служили не столько для демонстрации психологической проницательности, сколько для того, чтобы запечатлеть на бумаге свою утопию жизни покойной и бесстрастной, свой недостижимый идеал счастья.

Что же касается мастерства Мюссе-психолога, то оно особенно ярко проявилось в его пьесах.

Мюссе был влюблен в театр с самого детства. По воспоминаниям брата, еще мальчиками Альфред и Поль разыгрывали дома только что прочитанные сказки «Тысячи и одной ночи» и рыцарские романы. Уже в первом стихотворном сборнике Мюссе есть произведения, либо разделенные на реплики (как в поэме «Дон Паэз»), либо являющиеся настоящими пьесами в стихах (как «Кашта-

ны из огня»). Мы уже упоминали о том, как провал «Венецианской ночи» заставил Мюссе порвать со сценой. И это решение, принятое, казалось бы, случайно, имело важные последствия, ибо позволило Мюссе стать едва ли не самым оригинальным французским драматургом XIX столетия, чьи пьесы и по сей день пользуются популярностью и вызывают живой интерес (заметим, что для французов Мюссе — прежде всего драматург; литературоведческих исследований, посвященных его театру, несравненно больше, чем работ о его поэзии и прозе). Именно благодаря отказу от сцены Мюссе сделался автором, который, по замечанию французского историка литературы Ф. Ван Тигема, сумел так органично привить французской драматургии шекспировский дух, как это не удалось никому из его соотечественников в XIX столетии.

Дело в том, что правила французской сцены, несмотря на все — впрочем, достаточно робкие — романтические нововведения, опутывали драматурга множеством ограничений. Нельзя было слишком часто менять место действия, нельзя было допускать на сцене «вольности»¹, нельзя было помещать героев в условия, которые трудно изобразить на сцене, — одним словом, было много всяческих «нельзя», и драматургам, работавшим для сцены, приходилось следовать всем этим традициям. Мюссе же сочинял пьесы для чтения и мог позволить себе пренебречь всеми этими ограничениями (за эту привычку нарушать общепринятые правила Андре Моруа остроумно называет его литературным и театральным «партизаном»).

¹ Любопытный пример: крестьянка Розетта в пьесе Мюссе «Любовью не шутят» говорит знатному юноше Пердикану, целующему ее: «Вы читаете мою улыбку, но вы совсем как будто не читаете моих губ». В 1861 году, когда пьесу впервые отважились поставить, поцелуй в губы на французском театре был запрещен; пришлось изменять текст, и, лишь после того, как изменения — к худшему — были внесены, актер Делоне, сославшись на более прогрессивные лондонские театры, добился восстановления первоначального текста и жеста.

Мюссе вкладывал в уста своих героев пространственные поэтические монологи и остроумные витиеватые каламбуры, не заботясь о том, уловит ли их суть публика в зрительном зале; он мог менять место действия столько раз, сколько ему казалось нужным, мог делить акт на картины, не считаясь с требованиями и капризами актеров. Наконец, Мюссе мог экспериментировать в области жанра. Во французской драматургии того времени трагикомические пьесы были непривычны. Французская публика лишь совсем недавно примирилась с существованием драмы, где события печальные и страшные соседствовали с комическими эпизодами. Мюссе же создал нечто совсем неожиданное — комедии, замешанные на печальном и страшном. В самом деле, лучшие его пьесы начала 30-х годов, такие как «Прихоти Марианны» и «Любовью не шутят», кончаются смертью, а между тем автор считал их комедиями и включил в 1840 году в сборник, носящий название «Комедии и пословицы»¹.

Неудивительно, что современников драматургия Мюссе смущала. С одной стороны, критикам казалось, что пьесы Мюссе какие-то «нескладные» (где стройная структура традиционной трагедии или комедии с ее пятью актами и единством места?), с другой же — этот «фантастический» театр, где герои произносят поэтичнейшие монологи, отпугивал публику чрезмерной жесткостью и откровенностью психологических зарисовок².

«Прихоти Марианны», «Любовью не шутят» — это сценические исследования любви. Преимущество Мюссе

¹ Характерно, что Мюссе сумел слышать трагические ноты даже в «Мизантропе», комедии Мольера; он рассказал об этом в стихотворении 1840 г. «Потерянный вечер».

² Люди вообще не любят узнавать себя в героях не до конца положительных; недаром же после выхода в свет «Исповеди сына века» находились критики, спешившие уведомить публику о том, что они никак не могут отнести себя к сыновьям века, подобным Октаву, ибо их век — это век прогресса, филантропии, научных открытий, а «болезнью века» больны лишь одиночки, «выродки».

перед драматургами-современниками — даже такими, как В. Гюго, — в том, что его главные герои нарисованы не одной, а сразу несколькими красками. Герой романтической драмы достаточно однолинеен; в душе его может происходить некая борьба, но сам он человек, руководствующийся, как правило, одной идеей, одной страстью. У Мюссе однолинейны, одномерны лишь так называемые марионетки вроде Клаудио и Тибби в «Прихотях Марианны» или мэтра Бридэна и дамы Плюш в «Любовью не шутят». Главные же герои переменчивы, как переменчивы в реальной жизни все люди, а тем более существа юные, еще не до конца знающие себя. Гордость, самолюбие, влюбленность, ревность, упрямство — все это перемешано в душе Марианны или Камиллы, и, не зная финала, трудно предсказать, что именно возьмет верх.

Заглавием пьесы о Камилле и Пердикане служит пословица — «Любовью не шутят». Однако сложность структуры и обилие действующих лиц не дают возможности причислить ее к тому жанру, в котором Мюссе много работал начиная с середины 30-х годов. Это жанр так называемой пьесы-пословицы. В нашем сборнике он представлен пьесой «Нужно, чтобы дверь была либо открыта, либо закрыта». Зародился он в XVIII веке и вырос из салонных развлечений типа шарад: гости того или иного аристократического салона разыгрывали — наполовину импровизируя — небольшие и несложные веселые пьески, в сюжете которых были «зашифрованы» пословицы. Зрители должны были эти пословицы угадать. «Классиком» жанра был драматург Кармонтель (1717—1806) — кстати, приятель деда Мюссе с материнской стороны. В XIX веке у Кармонтеля нашлись продолжатели, и среди них самым, пожалуй, своеобразным оказался Мюссе. Как ни странно, именно старинный жанр дал ему возможность сделать драматургию сугубо современной.

В статье «Несколько слов о современном искусстве» (1833) Мюссе писал: «Где художник или поэт, занятый тем, что происходит не в Венеции или Кадисе, а в Пари-

же, справа и слева от нас? Что нам рассказывают о нас самих в наших театрах? В наших книгах?»¹. Так вот, именно в своих комедийных «пословицах» Мюссе рассказывал французам «о них самих». Салонные пословицы XVIII века, представлявшие в тесном кругу общих знакомых, были, естественно, полны мелких, сиюминутных намеков и деталей быта, понятных лишь «посвященным». Мюссе подхватывает эту традицию, причем в числе «посвященных» оказывается уже не узкий кружок близких знакомых хозяина того или иного салона, но определенный социальный слой — парижские аристократы. Жизнь их Мюссе изображает, словно застав ее врасплох, со всеми на первый взгляд незначительными приметами повседневного быта. В комедии — жанре, полном условностей, — Мюссе ухитряется показать ту «домашнюю» сторону парижской светской жизни, которая обычно ускользала от профессиональных литераторов и отражалась разве что в частных письмах или дневниках. Как непривычна, например, для комедии XIX века такая деталь: героиня комедии-пословицы «Каприз» госпожа де Лери едет на бал в посольство, но перед домом посла выстроилась такая огромная очередь карет, что госпожа де Лери уезжает, так и не побывав на балу. А в какой еще пьесе 30-х годов героиня — хорошенькая молодая женщина из высшего света — станет упоминать о дантисте? Даже у Бальзака герои заняты чем угодно — они добывают деньги, делают карьеру, плетут интриги, влюбляются, умирают от горячки, — но зубов они не лечат. У героев «пословиц» Мюссе страсти кипят не так сильно, и его госпожа де Лери успевает в своих остроумных репликах коснуться и модной портнихи, и дантиста. Казалось бы, мелочи. Но благодаря этим мелочам мы узнаем жизнь прошедшего столетия с такой любопытной стороны, с какой не показывают ее нам даже великие романисты.

¹ Musset A. de. Oeuvres complètes en prose. Paris, 1951. P. 901.

Впрочем, дело, конечно, не только в дантисте. Дело в точности и тонкости психологических наблюдений, отличающих «пословицы» Мюссе, в легкости и остроумии диалога, напоминающего лучшие образцы салонной беседы XVIII века. Повышенное внимание к слову — вообще едва ли не главная отличительная черта комедий Мюссе, едва ли не главный источник их прелести. Мюссе любит «играть словами», заставляет героев передразнивать, переиначивать реплики собеседников (такие диалоги-эхо есть во всех трех пьесах, вошедших в данный сборник); пожалуй, это виртуозное владение искусством слова свойственно всем его персонажам — и возвышенным героям, и гротескным марионеткам. Это еще одно следствие того, что Мюссе писал не для сцены и мог, пренебрегая интригой, оттачивать словесное мастерство своих героев.

Расхождение с общепринятой драматургией отразилось и в сюжетах пьес Мюссе. Он любит строить комедию на разоблачении избитых, «литературных» представлений о жизни. Марианна хранит верность мужу не из любви и не из осознанного чувства долга, а лишь оттого, что «так принято». И «кавалера» соглашается завести из тех же соображений. Камилла отвергает Пердикана оттого, что людская, женская, монастырская мудрость постановила раз и навсегда: все мужчины — соблазнитель и обманщики. Валентин («Не надо биться об заклад») собирается соблазнить Сесиль «по всем правилам» светского искусства. Но жизнь ускользает из рамок, в которые втискивает ее светская или «романическая» премудрость: любовь оказывается и сложнее (у Камиллы и Пердикана), и проще (у Сесили и Валентина) предвзятых представлений, и ее контраст с ожиданиями и предсказаниями героев создает эффект и трагический, и комический.

Мюссе писал свои пьесы для чтения тринадцать лет, с 1832 по 1845 год. А в 1847 году ему вдруг улыбнулось счастье — комедия-пословица «Каприз» была поставлена на

сцене «Комеди Франсез» и имела грандиозный успех. Как говорили в ту пору, пьесу эту привезла в «своей муфте» из России актриса госпожа Аллан. «Каприз», напечатанный в 1837 году в «Ревю де Де Монд», был в том же году переведен на русский язык и поставлен на сцене петербургского Александринского театра; в 1843 году тот же «Каприз» шел, уже на французском языке, в петербургском Михайловском театре, и госпожа Аллан, игравшая в этом спектакле, решила сыграть ту же роль у себя на родине. После этого комедии Мюссе (правда, не все и не все с равным успехом) начали ставиться на французской сцене.

В 1852 году Мюссе стал членом Французской Академии. Современники, которые, как правило, относились к нему скептически и снисходительно (известна язвительная реплика Гейне: «юноша с большим прошлым»), постепенно начали признавать, что имеют дело с крупным писателем. Впрочем, «профессионалом» Мюссе так и не стал: писал он в 40-е годы все меньше и отстаивал свое право сочинять по прихоти вдохновения, когда есть желание, а то и вовсе молчать — «из отвращения к своему веку», как сказано в стихотворении «О лениности» (1842). Он вовсе не берег своего таланта и растрачивал отпущенные ему силы без всякой осторожности. Это тонко почувствовала Жорж Санд, которая в посвященном Мюссе первом письме из цикла «Письма путешественника» (1834) говорила: «Ты не сознавал своего величия и жил, повинувшись велению страстей, изнуряющих и гасящих талант, — так, как имеют право жить все прочие люди. <...> Мощь твоей души утомляла тебя. Мысли твои были слишком обширны, желания слишком огромны, и твои хрупкие плечи сгибались под тяжестью твоего гения»¹.

Но таланта этому человеку, скончавшемуся 2 мая 1857 года в возрасте сорока семи лет, было отпущено

¹ Sand G. Lettres d'un voyageur. Paris, 1869. P. 12.

столько, что он сумел оставить заметный след во французской поэзии, прозе и драматургии, сумел создать произведения, которые любили такие знатоки литературы, как Сент-Бёв, И. Тэн и Э. Золя, и которые до сих пор волнуют читателей. В юношеском письме Мюссе говорил, что хочет стать Шекспиром или Шиллером — или ничем. Он не стал ни Шекспиром, ни Шиллером, но он добился того, что его имя занимает в истории литературы свое — и весьма достойное — место наряду с этими великими писателями.

В. А. Мильчина

Исповедь сына века

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Чтобы написать историю своей жизни, надо сначала прожить эту жизнь — поэтому я пишу не о себе. Я был еще совсем юным, когда меня поразила чудовищная нравственная болезнь, и теперь хочу описать то, что происходило со мной в течение трех лет.

Будь болен я один, я не стал бы говорить об этом, но так как многие другие страдают тем же недугом, то я и пишу для них, хотя не вполне уверен в том, что они обратят внимание на мой рассказ. Впрочем, если даже никто не задумается над моими словами, я все-таки извлеку из них хотя бы ту пользу, что скорее излечусь сам и, как лисица, попавшая в западню, отгрызу прищемленную лапу.

ГЛАВА 2

Во время войн Империи, когда мужья и братья сражались в Германии, встревоженные матери произвели на свет пылкое, болезненное, нервное поколение. Зачатые в промежутке между двумя битвами, воспитанные в коллежах под бой барабанов, тысячи мальчиков хмуро смотрели друг на друга, пробуя свои хилые мускулы. Время от времени появлялись их отцы; обагранные кровью, они прижимали детей к расшитой золотом груди, потом опускали их на землю и снова садились на коней.

Только один человек жил тогда в Европе полной жизнью. Остальные стремились наполнить свои легкие тем

воздухом, которым дышал он. Каждый год Франция дарила этому человеку триста тысяч юношей. То была дань, приносимая Цезарю, и если бы за ним не шло это стадо, он не мог бы идти туда, куда его вела судьба. То была свита, без которой он не мог бы пройти через весь мир, чтобы лечь потом в узенькой долине пустынного острова под сенью плакучей ивы.

Никогда еще люди не проводили столько бессонных ночей, как во времена владычества этого человека. Никогда еще такие толпы безутешных матерей не стояли у крепостных стен. Никогда такое глубокое молчание не царило вокруг тех, кто говорил о смерти. И вместе с тем никогда еще не было столько радости, столько жизни, столько воинственной готовности во всех сердцах. Никогда еще не было такого яркого солнца, как то, которое осушило все эти потоки крови. Некоторые говорили, что бог создал его нарочно для этого человека, и называли его солнцем Аустерлица. Но нет, он создавал его сам непрерывным грохотом своих пушек, и облака появлялись лишь на другой день после сражений.

Вот этот-то чистый воздух безоблачного неба, в котором сияло столько славы, где сверкало столько стали, и вдыхали дети. Они хорошо знали, что обречены на заклятие, но Мюрата они считали неуязвимым, а император на глазах у всех перешел через мост, где свистело столько пуль, что казалось, он не может умереть. Да если бы и пришлось умереть? Сама смерть в своем дымящемся пурпурном облачении была тогда так прекрасна, так величественна, так великолепна! Она так походила на надежду, победы, которые она косила, были так зелены, что она как будто помолодела, и никто больше не верил в старость. Все колыбели и все гробы Франции стали ее щитами. Стариков больше не было, были только трупы или полубоги.

Но вот однажды бессмертный император стоял на холме, созерцая, как семь народов убивают друг друга. Он думал о том, весь ли мир будет принадлежать ему, или только половина его, когда Азраил пронесся над ним, за-

дел его кончиком крыла и столкнул в Океан. Услыхав шум его падения, умирающие властители поднялись на смертном одре, и, протянув крючковатые пальцы, все царственные пауки разорвали Европу на части, а из пурпурной тоги Цезаря сшили себе наряд Арлекина.

Подобно тому как путник идет день и ночь под дождем и под солнцем, не замечая ни опасностей, ни утомления, пока он в дороге, и, только оказавшись в кругу семьи, у очага, испытывает беспредельную усталость и едва добирается до постели, — так Франция, вдова Цезаря, внезапно ощутила свою рану. Она ослабела и заснула таким глубоким сном, что ее старые короли, сочтя ее мертвой, надели на нее белый саван. Старая, поседевшая армия, выбившись из сил, вернулась домой, и в очагах покинутых замков вновь зажглось унылое пламя.

Тогда эти воины Империи, которые столько странствовали и столько убивали, обняли своих исхудавших жен и заговорили о первой любви. Они посмотрелись в ручьи своих родных полей и увидели себя такими старыми и изуродованными, что вспомнили про своих сыновей, которые могли бы закрыть им глаза, и спросили, где они. Мальчики вышли из коллежей и, не видя более ни сабель, ни кирас, ни пехотинцев, ни кавалеристов, в свою очередь спросили, где же их отцы. Но им ответили, что война кончена, что Цезарь умер и что портреты Веллингтона и Блюхера висят теперь в передних французских консульств и посольств с надписью «*Salvatoribus mundi*»¹.

И тогда на развалинах мира уселась встревоженная юность. Все эти дети были каплями горячей крови, затопившей землю. Они родились в чреве войны и для войны. Пятнадцать лет мечтали они о снегах Москвы и о солнце пирамид. Они никогда не выходили за пределы своих городов, но им сказали, что через каждую заставу этих городов можно попасть в одну из европейских столиц, и мысленно они владели всем миром. И вот они смотрели

¹ Спасителям мира (*лат.*).

на землю, на небо, на улицы и дороги: везде было пусто — только звон церковных колоколов раздавался где-то вдали.

Бледные призраки в черных одеяниях медленно ходили по деревьям. Иные стучались в двери, а когда им открывали, они вынимали из карманов длинные потертые пергаменты и выгоняли жителей из их домов. Со всех сторон прибывали люди, все еще дрожащие от страха, который охватил их двадцать лет назад, когда они отсюда ушли. Все чего-то требовали, спорили и кричали. Удивительно, что одна смерть могла привлечь столько воронов.

Король Франции сидел на своем троне, озираясь по сторонам и отыскивая, не осталась ли какая-нибудь пчелка в узоре его герба. Одни протягивали ему шляпу, и он давал им денег. Другие подносили распятие, и он целовал его. Некоторые только кричали ему в самое ухо разные громкие имена — им он предлагал пройти в большой зал, где гулкое эхо еще повторяло эти имена. Были и такие, которые показывали ему свои старые плащи, хвастаясь тем, что тщательно уничтожили на них следы пчел, и он дарил им новое платье.

Юноши смотрели на это, все еще надеясь, что тень Цезаря высадится в Канне и смахнет все эти привидения, но безмолвие продолжалось, и только бледные лилии виднелись на горизонте. Когда юноши заговаривали о славе, им отвечали: «станьте монахами»; о честолюбии — «станьте монахами»; о надежде, о любви, о силе, о жизни — «станьте монахами»!

Но вот на трибуну взошел человек, державший в руке договор между королем и народом. Он сказал, что слава — это прекрасная вещь и воинское честолюбие также, но что есть вещь еще более прекрасная, и ее имя — свобода.

Юноши подняли голову и вспомнили о своих дедах — те тоже говорили о свободе. Они вспомнили, что в темных углах родительского дома им приходилось видеть мраморные бюсты каких-то таинственных людей, бюсты с латинскими надписями. Они вспомнили, как по вечерам

их бабушки, качая головой, говорили между собой о потоке крови еще более страшном, нежели тот, который пролил император. В этом слове *свобода* таилось нечто такое, что заставляло сердца детей учащенно биться, волнуя их каким-то далеким и ужасным воспоминанием, но вместе с тем дорогой и еще более далекой надеждой.

Услышав его, они затрепетали, но, возвращаясь домой, они увидели три корзины, которые несли в Кламар: то были тела трех юношей, слишком громко произнесших слово *свобода*.

Странная усмешка мелькнула на их губах при этом печальном зрелище. Но другие ораторы, взойдя на трибуну, начали публично вычислять, во что обошлось честолюбие и как дорого стоит слава. Они обрисовали весь ужас войны, а жертвоприношения называли бойней. Они говорили так много и так долго, что все человеческие иллюзии начали осыпаться, как осенние листья с деревьев, и слушавшие их люди проводили рукой по лбу, словно просыпаясь от лихорадочного сна.

Одни говорили: «Причина падения императора в том, что народ больше не хотел его». Другие — «Народ хотел короля... нет — свободы... нет — разума... нет — религии... нет — английской конституции... нет — абсолютизма». И, наконец, последний добавил: «Нет, он хотел только одного — покоя».

Три стихии составляли жизнь, которая раскрывалась перед молодым поколением: позади — прошлое, уничтоженное навсегда, но еще трепетавшее на своих развалинах со всеми пережитками веков абсолютизма; впереди — сияние необъятного горизонта, первые зори будущего; а между этими двумя мирами... некое подобие Океана, отделяющего старый материк от молодой Америки; нечто смутное и зыбкое; бурное море, полное обломков кораблекрушения, где изредка белеет далекий парус или виднеется извергающий густой дым корабль, — словом, настоящий век, отделяющий прошлое от будущего, не являющийся ни тем, ни другим, но похожий и на то и на другое

вместе, век, когда не знаешь, ступая по земле, что у тебя под ногами — всходы или развалины.

Вот в этом хаосе надо было делать выбор; вот что стояло тогда перед юношами, исполненными силы и отваги, перед сынами Империи и внуками Революции.

Прошлое! Они не хотели его, ибо вера в ничто дается с трудом. Будущее они любили; но как? Как Пигмалион любил Галатею: оно было для них мраморной возлюбленной, и они ждали, чтобы в ней проснулась жизнь, чтобы кровь побежала по ее жилам.

Итак, им оставалось только настоящее, дух века, ангел сумерек — промежуток между ночью и днем. Он сидел на мешке с мертвыми костями и, закутавшись в плащ эгоизма, дрожал от страшного холода. Ужас смерти закрался к ним в душу при виде этого призрака — полумумии, полужембриона. Они приблизились к нему с таким же чувством, с каким путешественник подходит в Страсбурге к останкам дочери старого графа де Сарвендена, набальзамированной в уборе невесты. Страшен этот детский скелет, ибо на пальце тонкой иссиня-бледной руки блестит обручальное кольцо, а на головке, готовой рассыпаться в прах, — веночек из флердоранжа.

Как перед наступлением бури по лесу проносится страшный вихрь, пригибая к земле все деревья, а затем наступает глубокая тишина, так Наполеон все поколебал на своем пути, пронсясь через мир. Короли ощутили, как закачались их короны, и, схватившись за голову, нащупали только волосы, вставшие дыбом от безумного страха. Папа проделал триста лье, чтобы благословить Наполеона именем бога и возложить на его голову венец, но Наполеон вырвал венец из рук. Так трепетало все в этом зловещем лесу — старой Европе. Затем наступила тишина.

Говорят, что при встрече с разъяренной собакой надо спокойно, не теряя присутствия духа, медленно, не оборачиваясь, идти вперед. Тогда собака будет некоторое время следовать за вами с глухим рычаньем и отойдет

прочь. Если же у вас вырвется жест испуга, если вы хоть слегка ускорите шаг, она накинется на вас и растерзает, ибо после первого ее укуса спастись уже невозможно.

В европейской истории нередко бывали случаи, когда какой-нибудь монарх делал этот жест испуга и был растерзан своим народом. Однако его делал лишь один из монархов, а не все одновременно, другими словами — исчезал король, но не королевская власть. При появлении Наполеона этот пагубный жест сделала вся королевская власть, и не только королевская власть, но религия, аристократия — все власти, божеские и человеческие, сделали этот жест.

Когда Наполеон умер, власти божеские и человеческие были фактически восстановлены, но вера в них исчезла навсегда. Существует страшная опасность — осознать возможность чего бы то ни было, ибо ум всегда заглядывает вперед. Одно дело сказать себе: «Это может быть». Другое дело сказать: «Это было». Вот первый укус собаки.

Деспот Наполеон был последней вспышкой пламени деспотизма. Он уничтожил королей и пародировал их, как Вольтер пародировал Священное Писание. И затем раздался страшный грохот: это обрушился на старый мир камень с острова Святой Елены. Ледящее светило разума сейчас же зажглось в небе, и лучи его, похожие на негреющие лучи холодной богини ночи, окутали бледным саваном весь мир.

Разумеется, и до того были люди, ненавидевшие аристократов, бранившие духовенство, составлявшие заговоры против королей; разумеется, и прежде люди возмущались злоупотреблениями и восставали против предассудков, — великой новостью было то, что теперь народ смеялся над всем этим. При встрече с дворянином, священником или государем крестьяне, участвовавшие в войне, говорили, пренебрежительно покачивая головой: «Ах, этого мы видели в другие времена, и у него была тогда совсем другая физиономия». Когда с ними заговарива-

ли о троне или об алтаре, они отвечали: «Это четыре деревянные доски, мы их сколачивали, мы же и разбивали их». Когда говорили: «Народ, ты понял свои заблуждения, ведь ты обратился к королям и к церкви», — «Нет, — отвечали они, — это не мы, это те болтуны». Когда же говорили: «Народ, забудь прошлое, обрабатывай землю и повинуйся», — они выпрямлялись во весь рост, и раздавался глухой звук. То гудела в углу хижины заржавленная и зазубренная сабля. Тогда говорившие спешили добавить: «По крайней мере, сиди смиренно, не пытайся причинить нам вред и не трогай никого, пока не трогают тебя». Увы! Народ довольствовался этим.

Но молодежь этим не довольствовалась. В человеке, несомненно, живут две тайные силы, которые борются между собой до самой смерти: одна, прозорливая и холодная, придерживается действительности, обдумывает, взвешивает ее и судит прошлое; другая жаждет будущего и устремляется к неизвестному. Когда страсть побеждает человека, рассудок следует за ним, рыдая, и предупреждает об опасности, но как только, послушавшись голоса рассудка, человек остановится, как только он скажет себе: «Это правда, я безумец, куда я шел?» — страсть крикнет ему: «А я? Значит, я обречена на смерть?»

Итак, ощущение неизъяснимого беспокойства начало бродить во всех юных сердцах. Осужденные властями мира на бездействие, праздность и скуку, отданные во власть всякого рода тупых педантов, юноши видели, как пенные волны, для борьбы с которыми они уже напрягли свои мускулы, отступают перед ними. Все эти гладиаторы, приготовившиеся к бою, в глубине души ощущали невыносимую тоску. Наиболее состоятельные сделались распутниками. Юноши с ограниченными средствами, смирившись, поступили кто на гражданскую, кто на военную службу. Самые бедные отдались рассудочному энтузиазму, трескучим фразам, пустились в ужасное море деятельности, не имеющей цели. Так как сознание собственной слабости заставляет людей искать общения с дру-

гими людьми и они от природы наделены стадным инстинктом, то дело не обошлось без политики. Вступали в драку с солдатами, охранявшими вход в законодательную палату; бежали смотреть пьесу, в которой Тальма носил парик, придававший ему сходство с Цезарем; неистовствовали на похоронах депутата-либерала. Но среди членов двух противных партий не было ни одного человека, который, придя домой, с горечью не ощутил бы пустоты своего существования и бессилия своих рук.

В то время как внешняя жизнь общества была столь бесцветна и ничтожна, внутренняя его жизнь тоже представляла мрачную картину. Величайшее лицемерие господствовало в нравах. Английские идеи, соединившись с ханжеством, убили всякую веселость. Быть может, то было знамение Судьбы, уже готовившей свои новые пути, быть может, ангел — предвестник будущих общественных союзов — уже сеял в сердцах женщин семена человеческой независимости, которую им предстояло потребовать в дальнейшем. Несомненно одно, что во всех салонах Парижа — неслыханная вещь! — мужчины и женщины разделились на две группы и — одни в белом, как невесты, а другие в черном, как сироты, — смотрели друг на друга испытующим взглядом.

Не следует заблуждаться: черный костюм, который в наше время носят мужчины, — это страшный символ. Чтобы дойти до него, надо было один за другим сбросить все доспехи и, цветок за цветком, уничтожить шитье на мундирах. Человеческий разум опрокинул все эти иллюзии, но он сам носит по ним траур, все еще надеясь на утешение.

Нравы студентов и художников, столь свободные и прекрасные, исполненные юношеской свежести нравы, испытали на себе последствия всеобщей перемены. Мужчины, отдавшись от женщин, шепотом произнесли смертельно оскорбительное слово: презрение. Они бросились к вину и к куртизанкам. Студенты и художники по-

следовали их примеру. На любовь смотрели теперь так же, как на славу и на религию: это была отжившая иллюзия. И вот юноши отправились в дома терпимости. *Гризетка* — это мечтательное, романтическое существо, умевшее любить такой нежной, такой сладостной любовью, — оказалась покинутой за своим прилавком. Она была бедна, ее перестали любить; но ей хотелось иметь платья и шляпки, и вот она стала продавать себя. О горе! Тот самый молодой человек, который, должно быть, любил ее и которого она сама готова была любить, тот, кто водил ее некогда в Верьерский и Роменвильский лес, кто танцевал с ней на лужайках и угощал ужином под сенью деревьев, кто болтал с ней при свете лампы в глубине лавчонки в долгие зимние вечера, тот, кто делил с ней свой кусок хлеба, смоченный трудовым потом, и свою возвышенную любовь бедняка, — он, этот самый юноша, бросивший ее, встречал ее потом на ночных оргиях в публичном доме, бледную, зараженную сифилисом, навсегда погибшую, с печатью голода на губах и разврата в сердце!

В эту-то самую эпоху два поэта, два величайших после Наполеона гения нашего века собрали воедино все элементы тоски и скорби, рассеянные во вселенной, посвятив этому всю жизнь. Гёте, патриарх новой литературы, нарисовав в «Вертере» страсть, доводящую до самоубийства, создал в «Фаусте» самый мрачный из всех человеческих образов, когда-либо олицетворявших зло и несчастье. Его сочинения как раз начинали тогда проникать из Германии во Францию. Сидя в своем кабинете среди картин и статуй, богатый, счастливый и спокойный, он с отеческой улыбкой наблюдал за тем, как идет к нам его творение — творение мрака. Байрон ответил ему криком боли, заставившим содрогнуться Грецию, и толкнул Манфреда на край бездны, словно небытие могло послужить разгадкой жуткой тайны, которую он себя окружил.

Простите меня, о великие поэты, превратившиеся теперь в горсточку праха и покоящиеся в земле! Простите

меня! Вы полубоги, а я всего лишь страждущий ребенок, но когда я пишу эти строки, то не могу не проклинать вас. Зачем вы не воспевали аромат цветов, голоса природы, надежду и любовь, виноградную лозу и солнце, лазурь неба и красоту? Конечно, вы извели жизнь, и, конечно, вы страдали; мир рушился вокруг вас, и в отчаянии вы плакали на его обломках; возлюбленные изменили вам, друзья оклеветали, а соотечественники не сумели вас оценить; в сердце у вас воцарилась пустота, перед глазами стояла смерть, и вы были как два колосса скорби. Но скажи мне ты, благородный Гёте, разве ничей утешительный голос не слышался больше в благоговеином шепоте дремучих лесов твоей Германии? Прекрасная поэзия была для тебя родной сестрой науки — так разве не могли они, эти сестры, найти в бессмертной природе какую-нибудь целебную траву для сердца своего любимца? Ты был пантеистом, античным певцом Греции, страстным поклонником священных форм — так разве не мог ты влить каплю меда в прекрасные сосуды, которые ты умел создавать? Ведь тебе стоило лишь улыбнуться, и сразу пчелы слетелись бы на твои уста. А ты, Байрон, разве не было у тебя близ Равенны, под померанцевыми деревьями Италии, под прекрасным венецианским небом, на берегу дорогой твоему сердцу Адриатики, — разве у тебя не было твоей возлюбленной? О боже, я всего лишь слабый ребенок, но, быть может, мне пришлось испытать такие муки, которых ты не знаешь, и все-таки я не утратил надежды, и все-таки я благословляю бога.

Когда английские и немецкие идеи проникли таким образом в наши умы, какое-то мрачное и молчаливое отращивание охватило всех, а за ним последовала страшная катастрофа. Ибо выражать общие идеи — значит превращать селитру в порох, а гигантский мозг великого Гёте вообрал в себя, как реторта, весь сок запрещенного плода. Те, которые не читали его тогда, думали, что остались в стороне. Жалкие создания! Взрыв унес и их, словно песчинки, в бездну всеобщего сомнения.

Это было какое-то отрицание всего небесного и всего земного, отрицание, которое можно назвать разочарованием или, если угодно, *безнадежностью*. Человечество как бы впало в летаргический сон, и те, которые щупали его пульс, приняли его за мертвеца. Подобно тому солдату, у которого когда-то спросили: «Во что ты веришь?» — и который впервые ответил: «В самого себя», — молодость Франции, услышав этот вопрос, впервые ответила: «Ни во что».

С тех пор образовалось как бы два лагеря. С одной стороны, восторженные умы, люди с пылкой, страдающей душой, ощущавшие потребность в бесконечном, склонили голову, рыдая, и замкнулись в болезненных видениях — хрупкие стебли тростника на поверхности океана горечи. С другой стороны, люди плоти крепко стояли на ногах, не сгибаясь посреди реальных наслаждений, и знали одну заботу — считать свои деньги. Слышались только рыдания и взрывы смеха: рыдала душа, смеялось тело.

Вот что говорила душа:

«Увы! Увы! Религия исчезает. Тучи, плывущие по небу, проливаются дождем. У нас нет больше ни надежд, ни чаяний, ни даже двух скрещенных кусочков черного дерева, к которым бы можно было протянуть руки. Светило будущего не в силах подняться над горизонтом, оно в тучах, и, как у зимнего солнца, диск его кроваво-красен — это кровь девяносто третьего года. Нет больше любви, нет славы. Черная ночь окутала землю! А когда наступит день, нас уже не будет в живых».

Вот что говорило тело:

«Человек находится на земле, чтобы удовлетворять свои потребности. У него есть большее или меньшее количество кружочков желтого или белого металла, которые дают ему право на большее или меньшее уважение. Есть, пить и спать — это и значит жить. Между людьми существуют известные узы. Дружба, например, состоит в том, чтобы давать взаймы деньги, но нам редко случается иметь друзей, которых бы мы любили для этого достаточ-

но сильно. Родство служит для получения наследства. Любовь — телесное упражнение. Единственное наслаждение ему доставляет тщеславие».

Подобно азиатской чуме, порожденной испарениями Ганга, ужасная безнадежность быстро шагала по земле. Уже Шатобриан, принц поэзии, закутав этого ужасного идола в свой плащ пилигрима, поставил его на мраморный алтарь, окутанный фимиамом священных кадиланиц. Уже сыны века, полные сил, отныне никому не нужных, опускали праздные руки и пили из скудной чаши этот отравленный напиток. Уже все погибало, и шакалы вышли из мрака. Трупная и смрадная литература, в которой не было ничего, кроме формы, да и та была отвратительна, начала питать своей зловонной кровью всех чудовищ, порожденных природой.

Кто когда-нибудь решится рассказать, что происходило в то время в учебных заведениях? Мужчины во всем сомневались — юноши стали все отрицать. Поэты воспедали отчаяние — юноши вышли из школ с чистым челом, со свежими румяными лицами и с богохульствами на устах. Впрочем, французский характер, веселый и открытый от природы, все же брал верх, умы без труда усваивали английские и немецкие идеи, но сердца, слишком слабые, чтобы бороться и страдать, увядали, как сломанные цветы. И вот холод смерти медленно и незаметно перешел из головы в недра души. Мы не стали увлекаться злом, мы только начали отвергать добро. На смену отчаянию пришла бесчувственность. Пятнадцатилетние мальчики, небрежно развалившись под цветущими кустами, забавы ради вели такие речи, от которых могли бы содрогнуться даже непоколебимые рощи Версаля. Освященная облатка, тело Христово, этот бессмертный символ божественной любви, служила теперь для запечатывания писем; дети выплевывали хлеб божий.

Счастливы те, кому удалось избежать духа времени! Счастливы те, которые перешли через пропасть, глядя в небо! Несомненно, такие были, и они пожалеют нас.

Богохульство вызывает большую потерю сил, но облегчает преисполненное горечи сердце — это бесспорно. Когда какой-то атеист, вынуженный часами, предоставил богу пятнадцать минут на то, чтобы поразить его ударом грома, он, конечно, доставил себе этим пятнадцать минут гнева и мучительного наслаждения. Это был пароксизм отчаяния, вызов, брошенный всем силам небесным. Ничтожное и жалкое создание извивалось под наступившей на него пятой. Это был громкий крик скорби. Но как знать, быть может, в глазах всевидящего это была молитва...

И вот молодые люди нашли применение своим праздным силам в увлечении отчаянием. Насмехаться над славой, религией, любовью, над всем в мире — это большое утешение для тех, кто не знает, что делать: тем самым они насмеются над самими собою и, поучая себя, в то же время находят себе оправдание. К тому же так приятно считать себя несчастным, хотя на самом деле в тебе только пустота и скука, тем более что разврат, первое следствие глетворного духа смерти, — это страшное орудие ослабления.

Итак, богатые говорили себе: «Истинно только богатство, все остальное — сон, будем же наслаждаться и умерем». Люди с ограниченными средствами думали: «Истинно только забвение, все остальное — сон, забудем же и умерем». А бедняки говорили: «Истинно только страдание, все остальное — сон. Проклянем же и умерем».

Не слишком ли мрачна эта картина? Не преувеличено ли все это? А как думаете вы? Уж не мизантроп ли я? Позвольте мне высказать одно соображение.

Когда читаешь историю падения Римской империи, невозможно не заметить того зла, которое христиане, столь великие духом в пустыне, причинили государству, как только власть оказалась в их руках.

«Думая о глубоком невежестве, в которое греческое духовенство погрузило мирян, — говорит Монтескье, — я не могу не сравнить их с теми скифами, описанными Ге-

родотом, которые выкалывали своим рабам глаза, чтобы ничто не могло их отвлечь и помешать им сбивать масло хозяина. Ни одно государственное дело, ни один мирный договор, ни одна война, ни одно перемирие, ни одно соглашение, ни один брак не обходились без вмешательства монахов. Трудно себе представить, какое зло это причинило».

Монтескье мог бы добавить: «Христианство погубило императоров, но спасло народы. Оно открыло перед варварами константинопольские дворцы — зато оно привело к хижинам ангелов-утешителей Христа». Речь шла не о великих мира сего. Да и кого могло интересовать предсмертное хрипение развращенной до мозга костей Империи и мрачный гальванизм, с помощью которого скелет тирании еще корчился на гробницах Гелиогабала и Каракаллы! Стоило, в самом деле, сохранять мумию Рима, пропитанную ароматами Нерона и закутанную в саван Тиберия! Нет, господа политики, надо было пойти к беднякам и успокоить их; надо было предоставить червям и кротам разрушить памятники позора, а из чрева мумии извлечь деву, прекрасную, как мать Спасителя; — надежду, подругу угнетенных.

Вот что сделало христианство, а теперь, после стольких лет, что же сделали те, которые убили его? Они знали, что бедняк позволял угнетать себя богачу, а слабый — сильному, думая так: «Богатый и сильный угнетают меня на земле, но когда они захотят войти в рай, я встану у дверей и обвиню их перед судом всевышнего». И поэтому — увы! — бедные и слабые по-прежнему продолжали терпеть.

Но противники Христа сказали бедняку: «Ты терпеливо ждешь судного дня, — но судного дня нет. Ты ждешь загробной жизни, чтобы потребовать возмездия, — но загробной жизни нет. Ты собираешь твои слезы и слезы твоей семьи, крики твоих детей и рыдания твоей жены, чтобы сложить их к ногам бога в день твоей смерти, — но бога нет».

Разумеется, услышав это, бедняк осушил слезы, велел жене замолчать, а детей повел за собой на свою пашню и расправил плечи, сильный, как бык. Он сказал богачу: «Ты, угнетающий меня, ты только человек». И священнику: «Ты, утешавший меня, ты лгал». Именно этого и хотели противники Христа. Быть может, посылая бедняка на завоевание свободы, они думали, что это даст людям счастье.

Но если бедняк, раз навсегда поняв, что священники обманывают его, что богачи обирают его, что все люди имеют одинаковые права, что все блага существуют здесь, в этом мире, и что его нищета незаконна, если бедняк, уверовав только в себя и в свои две руки, в один прекрасный день скажет: «Война богачам! Я тоже хочу наслаждаться в этом мире, раз никакого другого мира нет! Мне тоже нужна земля, если все равны! И мне и всем остальным, раз в небе никого нет!...» Что ответите ему вы, если он будет побежден, что ответите ему вы, о высокие мудрецы, внушившие ему эти мысли?

Вне всякого сомнения, вы филантропы, и, вне всякого сомнения, вы правы относительно будущего. Наступит день, когда вас благословят, но сейчас — нет, мы, право же, еще не можем благословлять вас. Когда в прежние времена угнетатель говорил: «Земля принадлежит мне», угнетаемый отвечал: «Зато мне принадлежит небо». А что он ответит сейчас?

Болезнь нашего века происходит от двух причин: народ, прошедший через 1793-й и 1814 годы, носит в сердце две раны. Все то, что было, уже прошло. Все то, что будет, еще не наступило. Не ищите же ни в чем ином разгадки наших страданий.

Вот человек, чей дом разрушен. Он сломал его, чтобы построить себе другой. Обломки валяются на его поле, и он ждет новых камней для нового здания. Но в ту минуту, когда, засучив рукава и вооружившись киркой, он готовится тесать камень и растворять известку, ему говорят, что камня нет, и советуют употребить в дело старый, по-

белив его. Что ему делать, что делать человеку, который вовсе не хочет строить из обломков гнездо для своих птенцов? Между тем каменоломня глубока, а инструмент не годится для того, чтобы извлекать камень. «Подождите, — говорят ему, — его извлекут постепенно. Надейтесь, трудитесь, идите вперед, отступайте назад». И чего только не говорят ему! А пока что этот человек, лишившись своего старого жилища и не имея нового, не знает, как защитить себя от дождя, где приготовить ужин, не знает, где ему работать, где жить, где умереть. А у него маленькие дети. Либо я жестоко ошибаюсь, либо мы похожи на этого человека. О народы грядущих веков! Когда жарким летним днем вы нагнетесь над плугом в зеленеющих полях родины, когда под яркими лучами солнца вы увидите, как земля, ваша плодоносная мать, улыбается в своем утреннем наряде труженику, любимому своему сыну, когда, отирая со спокойного чела священный пот, вы окинете взглядом необъятный горизонт, где все колосья будут равны в человеческой жатве, где только васильки с маргаритками будут выделяться в желтеющей ниве, — о свободные люди, когда вы возблагодарите бога за то, что родились для этого урожая, вспомните о нас, которых уже не будет с вами, скажите себе, что мы дорогой ценой купили ваш настоящий покой; пожалейте о нас более, чем о всех других ваших предках, ибо у нас много тех же горестей, за которые следовало пожалеть и их, но мы утратили то, что их утешало.

ГЛАВА 3

Мне надо рассказать, при каких обстоятельствах я впервые захворал болезнью века.

Я сидел за столом, за роскошным ужином после маскарада. Вокруг меня были мои друзья, наряженные в великолепные костюмы; со всех сторон — молодые люди и женщины, блиставшие красотой и весельем; справа и слева — изысканные блюда, бутылки с вином, люстры, цветы; над

головой у меня гремел оркестр, а напротив сидела моя любовница, восхитительное создание, которое я обожаю.

Мне было тогда девятнадцать лет; я не знал еще ни горя, ни болезни; нрава я был гордого и вместе с тем прямого; я был исполнен самых радужных надежд и не умел сдерживать порывы сердца. Выпитое вино играло у меня в крови; то была одна из тех минут опьянения, когда все, что видишь, все, что слышишь, говорит тебе о твоей любимой. Вся природа представляется тогда драгоценным камнем с множеством граней, на котором вырезано таинственное имя. Хочется обнять всех, у кого видишь улыбку на устах, и чувствуешь себя сродни всему живущему. Возлюбленная назначила мне свидание, и в предвкушении его я медленно подносил к губам бокал и смотрел на нее.

Обернувшись, чтобы взять тарелку, я уронил на пол вилку. Желая поднять ее, я нагнулся и, не найдя ее сразу, приподнял край скатерти, чтобы посмотреть, куда она закатилась. Тут я увидел под столом туфельку моей возлюбленной, покоившуюся на башмаке молодого человека, сидевшего подле нее; их ноги скрестились, сплелись и то и дело слегка прижимались одна к другой.

Я выпрямился, сохраняя на лице полное спокойствие, велел подать другую вилку и продолжал ужинать. Моя возлюбленная и ее сосед были тоже вполне спокойны, почти не разговаривали между собой и не смотрели друг на друга. Молодой человек, положив локти на стол, шутил с другой женщиной, которая показывала ему свое ожерелье и браслеты. Моя возлюбленная сидела неподвижно, в ее застывшем взоре разлита была томность. Все время, пока длился этот ужин, я наблюдал за ними и не уловил ни в их жестах, ни в выражении лиц ничего, что могло бы их выдать. Под конец, когда подали фрукты и сладости, я умышленно выпустил из рук салфетку и, снова нагнувшись, увидел, что оба оставались все в том же положении, тесно прижавшись друг к другу.

Я обещал моей возлюбленной, что после ужина отвезу ее домой. Она была вдова и потому пользовалась полной

свободой, прибегая к услугам одного старика родственника, который приличия ради сопровождал ее при выездах в свет. Когда я проходил между колоннами вестибюля, она окликнула меня. «Ну, вот и я, Октав, — сказала она, — едем». Я расхохотался и, ничего не ответив, вышел на улицу. Пройдя несколько шагов, я присел на тумбу. О чем я думал, не знаю; я точно отупел и лишился здравого смысла из-за неверности этой женщины, которую никогда не ревновал и не подозревал в измене. То, что я сейчас видел, не оставляло никаких сомнений. Я чувствовал себя так, словно меня ударили дубиной по голове, и ничего не помню из того, что творилось во мне, пока я продолжал сидеть на этой тумбе, разве только — как, машинально подняв глаза к небу, я увидел падающую звезду и, поклонившись этому мимолетному свету, который для поэтов являет собой разрушенный мир, торжественно снял перед ним шляпу.

Я очень спокойно вернулся домой, ничего не ощущая, ничего не чувствуя и словно лишившись способности мыслить. Тотчас раздевшись, я лег в постель, но едва я положил голову на подушку, как дух мщения овладел мною с такой силой, что я вдруг выпрямился и прислонился к стене, словно все мышцы моего тела сразу одеревенели. Я с криком вскочил с постели, простирая руки, не в состоянии ступить иначе, как только на пятки: нервная судорога сводила мне пальцы ног. Так я провел около часа, совершенно обезумевший, околоченный, как труп. Это был первый приступ гнева, испытанный мною.

Человек, которого я застиг врасплох подле моей возлюбленной, был один из самых близких моих друзей. На другой день я пошел к нему в сопровождении молодого адвоката по фамилии Деженэ; мы взяли с собой пистолеты, пригласили второго секунданта и отправились в Венсенский лес. Всю дорогу я избегал разговаривать с моим противником и даже близко подходить к нему: я старался устоять против желания ударить или оскорбить его — такого рода неистовые поступки всегда отвратительны и

бесполезны, поскольку закон допускает дуэль. Но я не мог отвести от него пристального взгляда. Это был один из друзей моего детства, и в продолжение многих лет мы постоянно оказывали друг другу всевозможные услуги. Он прекрасно знал, как я люблю мою возлюбленную, и не раз давал мне ясно понять, что такого рода узы священны для друга, что даже если бы он любил ту же самую женщину, что я, он был бы неспособен вытеснить меня и занять мое место. Словом, я питал к нему безграничное доверие и, пожалуй, ни одному человеку никогда не пожимал руку более сердечно, чем ему.

С жадным любопытством смотрел я на этого человека, который, бывало, рассуждал при мне о дружбе, как герой древности, а вчера ласкал при мне мою возлюбленную. Впервые в жизни я видел чудовище; я окидывал его с ног до головы блуждающим взглядом, желая рассмотреть хорошенько. Мне казалось, что я вижу его впервые, — а ведь я знал его с десятилетнего возраста и жил с ним изо дня в день в самой тесной, самой искренней дружбе. Я воспользуюсь здесь одним сравнением.

Есть известная всем испанская пьеса, в которой каменная статуя, посланная небесным правосудием, приходит ужинать к распутнику. Распутник сохраняет внешнее спокойствие и старается казаться невозмутимым, но статуя требует, чтобы он подал ей руку, и лишь только этот человек подает ей руку, его пронизывает смертельный холод, он падает и бьется в судорогах.

И вот всякий раз, когда мне случается долго питать полное доверие либо к другу, либо к любовнице и вдруг обнаружить, что я обманут, я не могу иначе передать то действие, какое производит на меня это открытие, как только сравнив его с рукопожатием статуи. Да, я поистине ощутил прикосновение мрамора, смертельный холод действительности оледенил меня своим поцелуем — то было прикосновение каменного человека. Увы, ужасный гость не раз стучался ко мне в дверь, не раз мы с ним ужинали вместе.

Между тем, покончив со всеми приготовлениями, мы с моим противником стали на места и начали медленно сходитьсь. Он выстрелил первый и ранил меня в правую руку. Я тотчас переложил пистолет в левую, но уже не мог поднять его, силы мне изменили, и я упал на одно колено.

Сильно побледнев, с тревогою в лице, враг мой поспешно кинулся вперед. Мои секунданты, видя, что я ранен, подбежали ко мне одновременно с ним, но он отстранил их и взял меня за раненую руку. Зубы у него были крепко стиснуты, и он не мог говорить; я видел, что он в смятении. Он терзался самой ужасной мукой, какую только можно испытать. «Иди прочь! — крикнул я ему. — Иди вытри свои руки о простыни госпожи ***». Он задыхался, и я тоже.

Меня посадили в фиакр, где нас поджидал врач. Рана оказалась неопасной — пуля не задела кости, но я был в таком возбужденном состоянии, что невозможно было тотчас же сделать мне перевязку. Когда фиакр тронулся, я увидел у дверцы дрожащую руку — то мой противник еще раз подошел ко мне. В ответ я только покачал головой. Я был в таком бешенстве, что не смог бы пересилить себя и простить его, хотя и сознавал, что раскаяние его было искренним.

Когда я приехал домой, из раны обильно пошла кровь, и это принесло мне облегчение: слабость заставила меня забыть гнев, причинявший мне больше страданий, чем рана. Я с наслаждением лег в постель, и, мне кажется, никогда я не пил ничего более приятного, чем первый поданный мне стакан воды.

После того как я слег, у меня открылась лихорадка. Вот когда слезы полились у меня из глаз. Мне казалось непостижимым не то, что моя любовница разлюбила меня, а то, что она меня обманула. Я не понимал, каким образом женщина, не вынуждаемая ни долгом, ни корыстью, может лгать мужчине, если она полюбила другого. Двадцать раз в день я спрашивал Деженэ, как это возможно. «Если бы я был ее мужем, — говорил я, — или платил бы ей, мне

это было бы понятно. Но почему, если она меня больше не любит, не сказать мне об этом? Зачем меня обманывать?» Я не понимал, что в любви возможно лгать, я был тогда ребенком, и признаюсь, что и сейчас все еще не понимаю этого. Всякий раз как я влюблялся в какую-нибудь женщину, я говорил ей это, и всякий раз как я охладевал к какой-нибудь женщине, я говорил ей это с той же искренностью, ибо я всегда полагал, что в такого рода вещах наша воля бессильна, а преступна только ложь.

На все мои слова Деженэ отвечал мне: «Это низкая женщина, обещайте мне не видеться с ней больше». Я торжественно поклялся ему в этом. Он, кроме того, посоветовал не писать ей вовсе, даже с тем, чтобы укорять ее, а если она напишет, не отвечать ей. Я обещал ему все это, слегка удивляясь его настойчивости и возмущаясь тем, что он может предполагать обратное.

Однако первое, что я сделал, как только смог встать и выйти из комнаты, — я поспешил к моей любовнице. Я застал ее в одиночестве: не одетая и непричесанная, она с удрученным лицом сидела на стуле в углу своей спальни. Вне себя от отчаяния, я стал осыпать ее неистовыми упреками. Я кричал на весь дом, и в то же время слезы порой так бурно прерывали мою речь, что я падал на постель, чтобы дать им волю.

— Ах, неверная! Ах, презренная! — плача, твердил я ей. — Ты знаешь, что я от этого умру, тебе это приятно? Что я тебе сделал?

Она кинулась мне на шею, сказала, что была увлечена, обольщена, что мой соперник подпоил ее за этим злосчастным ужином, но что она никогда не была близка с ним, что она на миг забылась, что она совершила проступок, а не преступление, — словом, что она понимает, какое зло она мне причинила, но что если я не прощу ее, она тоже умрет. Стараясь меня утешить, она истощила все слезы, какие сопровождают искреннее раскаяние, все красноречие, каким обладает горе; она стояла на коленях, бледная, растерянная, платье ее распахнулось, волосы разметались

лись по плечам — никогда еще я не видел ее столь прекрасной, и, хотя я содрогался от отвращения, это зрелище возбуждало во мне самые пылкие желания.

Я ушел разбитый, в глазах у меня мутилось, я с трудом держался на ногах. Я решил никогда больше с ней не видеться, но не прошло и четверти часа, как я вернулся к ее дому. Какая-то отчаянная сила толкала меня туда; у меня было тайное желание еще раз обладать ею, лаская ее великолепное тело, испить до дна все эти горькие слезы, а затем убить ее и себя. Короче говоря, я глубоко презирал и вместе с тем обожал ее; я чувствовал, что ее любовь несет мне гибель, но что жить без этой женщины я не могу. Я вихрем взлетел по лестнице, не обратился ни к кому из слуг, а просто вошел и, зная расположение комнат в доме, распахнул ее дверь.

Я застал ее перед зеркалом, она сидела неподвижно, вся в драгоценностях. Горничная причесывала ее; сама она держала в руке лоскут красного крепа и осторожно проводила им по щекам. Мне показалось, что я вижу сон; я не мог поверить, что это та самая женщина, которую я только что, четверть часа назад, видел изнемогающей от горя и распростертой на полу; я словно окаменел. Услышав, что дверь отворилась, она повернула голову и, улыбаясь, сказала: «Это вы?» Она собиралась ехать на бал и ждала моего соперника, который должен был сопровождать ее. Увидев меня, она сжала губы и нахмурилась.

Желая уйти, я сделал шаг к двери. Я смотрел на ее гладкий надушенный затылок, на котором были заложены косы и сверкал бриллиантовый гребень. Этот затылок, средоточие жизненной силы, был чернее ада; над двумя блестящими косами колыхались серебряные колося. Молочная белизна ее плеч и шеи делала еще более заметным жесткий и обильный пушок. Была в этой зачесанной кверху гриве какая-то бесстыдная красота, как бы издававшаяся надо мной в отместку за то смятение, в котором я видел ее за миг перед этим. Я ринулся вперед и наотмашь ударил кулаком по этому затылку. Моя любов-

ница даже не вскрикнула; она поникла, закрыв лицо руками, а я кинулся прочь из комнаты.

Когда я вернулся домой, моя лихорадка возобновилась с такой силой, что я был вынужден снова лечь в постель. Рана открылась и причиняла мне сильные страдания. Деженэ навестил меня, я рассказал ему все, что произошло. Он выслушал меня, не проронив ни слова, а затем некоторое время прохаживался по комнате, как человек, который находится в нерешительности. Наконец он остановился передо мною и расхохотался.

— Разве это первая ваша любовница? — спросил он.

— Нет, — ответил я, — последняя!

Среди ночи, когда я забылся беспокойным сном, мне показалось, будто я слышу глубокий вздох. Я открыл глаза и увидел мою любовницу. Она стояла возле моей постели, скрестив на груди руки, похожая на призрак. Я решил, что это видение, порожденное моим больным мозгом. Вскочив с постели, я кинулся в противоположный конец комнаты, но она подошла ко мне.

— Это я, — сказала она и, обхватив меня обеими руками, повлекла за собою.

— Чего ты от меня хочешь? — вскричал я. — Отпусти меня! Я в состоянии убить тебя на месте!

— Что ж, убей меня! — сказала она. — Я тебе изменила, я тебе солгала, я низкая и презренная женщина, но я люблю тебя и не могу без тебя жить.

Я посмотрел на нее: как она была хороша! Все ее тело трепетало; глаза, затуманенные любовью, изливали потоки сладострастия; грудь была обнажена, губы горели. Я поднял ее на руки.

— Пусть будет так, — сказал я ей, — но, клянусь тебе перед всевидящим богом, клянусь спасением души моего отца, я убью тебя потом и себя тоже.

Я взял нож, валявшийся на камине, и положил его под подушку.

— Ну полно, Октав, не безумствуй, — сказала она, улыбаясь и целуя меня. — Иди сюда, мой милый. Все эти ужа-

сы могут тебе повредить. У тебя лихорадка. Дай мне этот нож.

Я увидел, что она хочет взять его, и сказал ей:

— Выслушайте меня. Я не знаю, кто вы и какую разыгрываете комедию, но что до меня, я не участвую в ней. Я любил вас так горячо, как только можно любить, и знаете: на мое несчастье, на мою гибель, я все еще без памяти люблю вас. Вы пришли сказать мне, что тоже любите меня, — пусть так. Но клянусь всем, что есть в мире святого: если сегодня ночью я буду вашим любовником, другой не будет им завтра. Перед богом, говорю вам перед богом, — повторил я, — я не сделаю вас вновь моей любовницей, ибо ненавижу вас так же сильно, как люблю. Говорю вам перед богом, если вы будете моей сегодня, я убью вас завтра утром.

Проговорив это, я свалился в полном беспомоществе.

Она накинула свою мантилью и выбежала из комнаты. Когда Деженэ узнал об этом происшествии, он спросил:

— Зачем вы оттолкнули ее? Вы очень пресыщены: она красивая женщина.

— Вы шутите! — вскричал я. — Неужели вы думаете, что подобная женщина может быть моей любовницей? Неужели вы думаете, что я когда-нибудь соглашусь делиться с другим? Ведь она сама признается, что другой мужчина обладает ею. Значит, я должен забыть, что люблю ее, и тоже обладать ею? Если таковы ваши понятия о любви, мне вас жаль.

Деженэ ответил мне, что любит только продажных женщин и что он не так требователен, как я.

— Вы очень молоды, милый Октав, — прибавил он. — Вам хотелось бы многих вещей, и прекрасных вещей, но их не бывает на свете. Вы верите в какую-то необыкновенную любовь. Быть может, вы и способны на нее, я этому верю, но не пожелаю вам такой любви. У вас будут новые любовницы, друг мой, и вы еще когда-нибудь пожалеете о том, что случилось с вами нынче ночью. В ту минуту, когда эта женщина явилась к вам, она, несомненно, любила

вас. Быть может, она уже не любит вас сейчас, быть может, она находится в объятиях другого, но в эту ночь, в этой комнате она любила вас. И что вам до всего остального? Вы провели бы прекрасную ночь, и будьте уверены, вы о ней пожалеете, ибо она не вернется. Женщина прощает все, кроме пренебрежения. Должно быть, ее любовь к вам была необычайна, раз она пришла к вам, зная и признавая свою вину и, может быть, опасаясь, что будет отвергнута. Поверьте мне, вы пожалеете о подобной ночи, ибо, повторяю вам, ее у вас больше не будет.

Во всем, что говорил Деженэ, звучало такое простое и глубокое убеждение, такое ужасающее, внушенное жизненным опытом спокойствие, что, слушая его, я содрогался. Пока он говорил, я испытывал сильное искушение снова пойти к моей любовнице или написать ей, чтобы она пришла ко мне. Но я был не в состоянии подняться; это спасло меня от позора снова застать ее в ожидании моего соперника или же в его объятиях. Впрочем, я мог написать ей и невольно задавал себе вопрос, придет ли она, если я ей напишу.

Когда Деженэ ушел, я ощутил такое страшное возбуждение, что решил любым способом положить ему конец. После тяжелой борьбы отвращение одолело наконец любовь. Я написал моей любовнице, что никогда больше не увижусь с нею и прошу ее не приходить ко мне больше, если она не хочет оказаться непринятой. Я позвонил, я велел как можно скорее отнести письмо. Но едва мой слуга закрыл за собой дверь, как я окликнул его: Он не услышал меня, я не осмелился позвать его вторично и, закрыв ладонями, погрузился в глубочайшее отчаяние.

ГЛАВА 4

На другой день, когда взошло солнце, первой моей мыслью было: «Что я теперь буду делать?»

У меня не было никакого положения в обществе, никаких определенных занятий. Я изучал прежде медицину

и право, но так и не решился остановить свой выбор ни на том, ни на другом. Полгода я прослужил у одного банкира и был до того неаккуратен, что мне пришлось вовремя уйти самому, пока мне не отказали от должности. Учился я хорошо, но поверхностно; моя память требует упражнения и забывает столь же легко, как и усваивает.

Единственным моим сокровищем, если не считать любви, была независимость. С отроческих лет я иступленно боготворил ее и, если можно так выразиться, воздвиг ей алтарь в своем сердце. Как-то раз мой отец, уже заботясь о моем будущем, заговорил со мной о различных жизненных поприщах, предоставляя мне выбор между ними. После этого, стоя у окна моей комнаты и облокотясь о подоконник, я долго глядел на иссохший одинокий тополь, качавшийся в саду, и размышлял о всех этих профессиях, обдумывая, на какой из них остановиться. Перебрав их все подряд и не найдя в себе склонности ни к одной из них, я просто отдался моим мыслям, и вдруг мне почудилось, будто земля приходит в движение, будто я начинаю улавливать ту скрытую и невидимую силу, которая увлекает ее в пространство; я видел, как она поднимается в небо; мне казалось, что я словно на корабле; тополь у меня перед глазами представлялся мне судовой мачтой; я выпрямился, простирая руки, и воскликнул:

— Как это мало — быть однодневным пассажиром на этом корабле, плавающем в эфире! Как это мало — быть человеком, крохотной точкой на этом корабле! Нет, я не буду человеком какого-то особого разряда, буду просто человеком!

Таков был первый обет, данный мною в четырнадцатилетнем возрасте пред лицом природы, и с тех пор все, что я пробовал делать, я делал из послушания отцу, но никогда не мог побороть своего отвращения.

Итак, я был свободен — не по склонности к лени, а по своей воле, любя к тому же все созданное богом и очень немного из того, что создано человеком. В жизни я познал только любовь, в свете — только мою возлюбленную

и не желал знать ничего больше. Недаром, влюбившись сразу же по окончании коллежа, я искренно думал, что эта любовь на всю жизнь, и все другие мысли улетучились из моей головы.

Я был скорее домосед. Весь день я проводил у моей любовницы; величайшим для меня удовольствием было увозить ее за город, когда стояли ясные летние дни, и лежать, расположившись подле нее, в роще — на траве или на мху: зрелище природы во всем ее великолепии всегда было для меня самым сильным возбуждающим средством. Зимой, поскольку она любила общество, мы много ездили по балам и маскарадам, и, таким образом, эта праздная жизнь никогда не прекращалась. И оттого, что все мои мысли были только о ней, пока она была верна мне, у меня не оказалось в голове ни одной мысли, когда она мне изменила.

Чтобы дать общее понятие о том состоянии, в котором находился тогда мой ум, всего удачнее было бы сравнить его с одной из тех квартир, какие теперь нередко приходится видеть и где собрана и расставлена вперемежку мебель всех времен и стран. Наш век не имеет никакого внешнего выражения. Мы не наложили отпечатка нашего времени ни на дома наши, ни на сады, ни на что бы то ни было. На улицах вам попадаются навстречу люди с бородкой, подстриженной, как во времена Генриха III, другие — бритые, третьи — с волосами, как на портретах Рафаэля; у некоторых волосы отпущены, как во времена Иисуса Христа. По той же причине и жилища богачей представляют собой собрания редкостей: произведения античного искусства, искусства готического, стиль эпохи Возрождения, стиль Людовика XIII — все перемешано. Словом, у нас есть кое-что от всех веков, кроме нашего, — явление, невиданное в какую-либо иную эпоху. Наш вкус — эклектизм; мы берем все, что попадаетеся нам под руку: это за красоту, то за удобство, одну вещь за ее древность, а другую именно за ее безобразие. Таким образом,

мы живем только обломками старого, словно конец мира уже близок.

Таков был и мой ум: я много читал; кроме того, я учился живописи. Я знал наизусть множество вещей, но ничего не знал по порядку, так что голова моя была пуста и вместе с тем набухла, словно губка. Я влюблялся поочередно во всех поэтов, а так как по натуре я был очень впечатлителен, то последний прочитанный мною поэт всегда обдавал даром внушить мне нелюбовь ко всем остальным. Я составил себе целую коллекцию обломков, пока наконец, постоянно впитывая в себя все новое и неведомое и тем самым утоляя свою жажду, я сам не оказался обломком.

Однако в этом обломке было нечто совсем юное — надежда моего сердца, а оно было еще ребенком.

Этой надежде, которую ничто не поколебало и не омрачило и которую любовь воспламенила свыше всякой меры, внезапно был нанесен смертельный удар. Коварство моей любовницы поразило эту надежду тогда, когда она занеслась в самую высь, и я чувствовал, как в душе моей что-то трепещет и угасает, словно подстреленная, умирающая птица.

Светское общество, которое делает столько зла, похоже на ту индийскую змею, которая ютится в листьях растения, излечивающего от ее укуса, — оно почти всегда предлагает целебное средство против страдания, которое оно причинило. Так, например, человек, который живет размеренной жизнью, утро отдает делам, такой-то час — визитам, такой-то — работе, а такой-то — любви, может без опасности для себя лишиться своей любовницы. Его занятия и мысли подобны шеренге бесстрастных солдат, выстроенных в боевом порядке; выстрел выводит одного из строя, соседи смыкаются, и потеря незаметна.

У меня не было этого средства, когда я остался в одиночестве. Нежно любимая мною мать-природа казалась мне, напротив, более обширной и пустынной, чем когда бы то ни было. Если бы я мог совсем забыть мою любовни-

цу, я был бы спасен. Сколько есть на свете людей, которым и не требуется так много для их излечения! Эти люди не способны любить неверную женщину, и их стойкость в подобном случае достойна восхищения. Но разве так любят в девятнадцать лет, когда, не зная ничего на свете, желая всего, юноша ощущает в себе зачатки всех страстей? Разве существуют для этого возраста сомнения? Справа, слева, и тут, и там, и на краю неба — повсюду звучит чей-то голос и манит его. Он весь во власти желания, во власти мечты. Нет для сердца житейских преград, когда оно молодо; нет такого дуба, пусть даже самого мощного и сучковатого, из которого не выйдет дриада, и будь у вас сотня рук, вы не побойтесь, открыв объятия, ощутить пустоту; стоит только сжать в них возлюбленную — и пустота заполнена.

Что до меня, то я не представлял себе, как можно думать о чем бы то ни было, кроме любви, и когда мне предлагали какое-нибудь другое занятие, я просто молчал. Страсть моя к этой женщине доходила до исступления, и это налагало на всю мою жизнь какой-то мрачный, монашеский отпечаток. Приведу один пример. Она подарила мне свой портрет в виде вставленной в медальон миниатюры. Я носил его на сердце — так делают многие мужчины; но после того как мне однажды попалась у одного торговца древностями железная цепочка для истязания плоти с пластинкой на конце, утыканной остриями, я прикрепил медальон к пластинке и так носил эту цепочку вокруг шеи. Гвозди, впивавшиеся мне в грудь при каждом движении, доставляли мне такое необычайное наслаждение, что я иной раз прижимал их рукой, желая сильнее ощутить их. Я, конечно, понимаю, что это безумие; любовь совершает еще и не такие.

С тех пор как моя любовница мне изменила, я снял мучительный медальон. Я не сумею передать, с какой грустью я открепил от него железную цепочку и как у меня запыло сердце, когда оно почувствовало себя свободным от нее!

«Ах, бедные шрамы! — подумал я. — Так, значит, вы изгладитесь? О моя рана, милая мне рана, какой бальзам приложу я к тебе?»

Как ни ненавидел я эту женщину, она, так сказать, проникла мне в плоть и кровь; я проклинал ее, но бредил ею. Как бороться с этим? Как бороться с бредом? Как победить воспоминания плоти и крови? Макбет, убив Дункана, сказал, что даже океан не отмоег его рук. Океан не смыл бы и моих рубцов. Я признался Деженэ: «Ничего не поделаешь, как только я засыпаю, ее голова покоится тут, на подушке».

Я жил только этой женщиной; усомниться в ней — значило усомниться во всем; проклясть ее — значило все отвергнуть; потерять ее — все разрушить. Я не выезжал больше, свет представлялся мне населенным чудовищами, хищными зверями и крокодилами. На все, что мне говорили, желая развлечь меня, я отвечал:

— Да, все это так, но уверяю вас, ничего этого я делать не стану.

Я становился к окну и мысленно твердил:

«Она придет, я в этом уверен... Она идет, она огибает угол, я чувствую, как она приближается. Она не может жить без меня, так же как и я без нее. Что я ей скажу? Какое у меня будет выражение лица? Как я ее встречу?»

Затем мне приходили на память ее коварные поступки.

— Ах, пусть она не приходит! — восклицал я. — Пусть не приближается! Я способен ее убить!

Со времени моего последнего письма я ничего не слышал о ней.

«Что она делает теперь? — думал я. — Любит другого? Так буду и я любить другую. Кого полюбить?»

И когда я мысленно подыскивал кого-нибудь, мне словно слышался отдаленный голос, кричавший мне:

«Ты! Ты полюбишь другую, а не меня! Два существа, которые любят друг друга, сжимают друг друга в объяти-

ях, и это не ты и не я? Да разве это возможно? Уж не сошел ли ты с ума?»

— Какое малодушие! — говорил мне Деженэ. — Когда наконец вы забудете эту женщину? Разве это такая уж большая потеря? Нечего сказать, сомнительное удовольствие быть любимым ею! Возьмите первую встречную.

— Нет, это не такая уж большая потеря, — отвечал я. — Разве я не сделал того, что должен был сделать? Разве я не прогнал ее? Что вы можете еще сказать? Остальное — мое дело. Ведь раненый бык в цирке волен забиться в угол, он волен лечь, пронзенный шпагой матадора, и мирно испустить дух. Что я буду делать дальше — тут ли, там ли, где бы то ни было? Кто такие — эти ваши первые встречные? Вы покажете мне ясное небо, деревья, дома, мужчин, которые разговаривают, пьют, поют, женщин, которые танцуют, и лошадей, которые скачут галопом. Все это не жизнь, это шум жизни. Полно, полно, оставьте меня в покое.

ГЛАВА 5

Когда Деженэ убедился, что мое отчаяние безысходно, что я не желаю слушать чьи бы то ни было уговоры, не желаю выходить из комнаты, он не на шутку этим обеспокоился. Однажды вечером он явился ко мне с весьма серьезным выражением лица. Он завел речь о моей любовнице и продолжал насмехаться над женщинами, отзываясь о них так дурно, как он о них думал. Опираясь на локоть, я приподнялся на постели и внимательно слушал его.

Был один из тех мрачных вечеров, когда завывания ветра напоминают стоны умирающего; частый дождь хлестал в окна, по временам стихая и сменяясь мертвой тишиной. Вся природа томится в такую непогоду: деревья горестно раскачиваются или печально склоняют верхушки, птицы забиваются в кусты; городские улицы безлюдны. Рана причиняла мне боль. Вчера еще у меня была возлюбленная и был друг; возлюбленная изменила мне, друг

поверг меня на ложе страдания. Я еще не совсем разобрался в том, что творилось у меня в голове: то мне казалось, что мне приснился ужасный сон, что стоит только закрыть глаза, и завтра я проснусь счастливым; то вся моя жизнь представлялась мне нелепым и ребяческим сновидением, лживость которого сейчас раскрылась. Деженэ сидел передо мной подле лампы, серьезный и непреклонный, с неизменной усмешкой на устах. Это был человек, исполненный благородства, но сухой, как пемза. Слишком ранний жизненный опыт был причиной того, что он преждевременно облысел. Он изведal жизнь и в свое время пролил немало слез, но скорбь его была облечена в надежный панцирь; он был материалистом и ждал смерти.

— Судя по тому, что с вами творится, Октав, — заговорил он, — я вижу, что вы верите в такую любовь, какой описывают ее романисты и поэты. Короче сказать, вы верите в то, что говорится на нашей планете, а не в то, что на ней делается. Это происходит оттого, что вы не умеете рассуждать здраво, и может повести вас к очень большим несчастьям.

Поэты описывают любовь подобно тому, как ваятели изображают нам красоту, как музыканты создают мелодию: наделенные тонким и восприимчивым душевным складом, они сознательно и ревностно собирают воедино самые чистые элементы жизни, самые красивые линии материи и самые благозвучные голоса природы. В Афинах, говорят, было много красивых девушек. Пракситель изобразил всех, одну за другой, после чего сделал из всех этих различных красавиц, имевших каждая свой недостаток, одну безукоризненную красавицу — и создал так свою Венеру. Первый, кто сделал музыкальный инструмент и установил правила и законы этого искусства, перед тем долго прислушивался к ропоту тростника и к пению малиновок. Так изведавшие жизнь поэты, которые видели много проявлений любви, более или менее мимолетной, и глубоко почувствовали, до какой степени душевного восторга может иной раз возвыситься страсть, отброси-

ли от человеческой природы все принижающее ее и создали те таинственные имена, которые из века в век были на устах у людей: Дафнис и Хлоя, Геро и Леандр, Пирам и Тизба.

Искать в повседневной действительности любовь, подобную этим вечным и чистейшим образцам, — то же самое, что искать на городской площади женщину, столь же красивую, как Венера, или требовать, чтобы соловьи распевали симфонии Бетховена.

Совершенства не существует; понять его — верх торжества человеческого разума; желать его для того, чтобы обладать им, — опаснейшее безумие. Откройте окно, Октав. Вы видите бесконечность — не так ли? Вы чувствуете, что небо беспредельно? Ведь ваш разум говорит вам это? Однако постигаете ли вы бесконечность? Можете вы составить себе какое-нибудь понятие о чем-то, что не имеет конца, — вы, родившийся вчера и обреченный умереть завтра? Это зрелище необъятного породило всюду величайшие безумства. Отсюда произошли все религии. Именно для того, чтобы обладать бесконечностью, Катон перерезал себе горло, христиане отдавали себя на растерзание львам, а гугеноты — на растерзание католикам; все народы земного шара простирали руки к этому необъятному пространству и хотели в него устремиться. Безумец хочет обладать небом, мудрец любит его, преклоняет колена и ничего не желает.

Совершенство, друг мой, так же не создано для нас, как и бесконечность. Не надо искать его ни в чем, не надо требовать его от чего бы то ни было — ни от любви, ни от красоты, ни от счастья, ни от добродетели. Но надо любить его, чтобы быть настолько добродетельным, красивым и счастливым, насколько это возможно для человека.

Предположим, у вас в кабинете висит картина Рафаэля, которую вы считаете совершенством. Предположим, вчера вечером, рассматривая эту картину вблизи, вы обнаружили в одной из ее фигур грубую погрешность рисунка, вывернутую конечность или неестественный мускул,

вроде того, что изображен, говорят, на руке римского гладиатора. Вы, конечно, почувствуете большую досаду, тем не менее вы не бросите в огонь вашу картину, а только скажете, что она несовершенна, хотя в ней есть отдельные места, достойные восхищения.

Есть такие женщины, которым хорошие наклонности и чистосердечие не позволяют иметь одновременно двух любовников. Вы полагали, что такова и ваша любовница. Это и впрямь было бы лучше. Вы обнаружили, что она вас обманывает. Обязывает ли это вас презирать ее, дурно с ней обращаться — словом, считать, что она заслуживает вашу ненависть?

Даже если бы ваша любовница никогда вас не обманывала и если бы она любила теперь вас одного, подумайте, Октав, как далека еще от совершенства была бы ее любовь, какая она была бы земная, маленькая, скованная законами лицемерия света. Подумайте о том, что до вас ею обладал другой человек, и даже не один человек, а несколько, и что еще другие будут обладать ею после вас.

Поразмыслите вот о чем: вас приводит сейчас в отчаяние то ложное представление о вашей любовнице как о совершенстве, которое вы себе составили и которому она в ваших глазах не соответствует больше. Но как только вы поймете, что это прежнее представление само было человеческим, маленьким и ограниченным, вам станет ясно, какая это малость, какое ничтожное значение имеет то, выше ли, ниже ли одной ступенькой стоим мы на огромной лестнице людского несовершенства, к тому же готовой подломиться.

Вы ведь не станете оспаривать того, что у вашей любовницы были и будут другие возлюбленные, не так ли? Вы мне, наверно, скажете, что это вам все равно, лишь бы она вас любила и лишь бы у нее не было никого больше, пока она будет любить вас. А я вам говорю: раз у нее были, кроме вас, другие, не все ли равно, было это вчера или два года назад? Раз у нее будут другие, не все ли равно, случится это завтра или через два года? Раз она должна любить

вас только некоторое время и раз она вас любит, так не все ли равно, продлится это два года или одну ночь? Да мужчина ли вы, Октав? Видите вы, как падают листья с деревьев, как восходит и заходит солнце? Слышите вы, как при каждом биении вашего сердца постукивает маятник часов жизни? Так ли уж велика для нас разница между любовью на год и любовью на час, о безумец? Кому из этого окна величиной с ладонь видна бесконечность?

Вы называете честной ту женщину, которая два года любит вас верной любовью. У вас, по-видимому, есть особый календарь, где сказано, в течение какого времени поцелуи мужчин высыхают на женских устах. Вы видите большую разницу между женщиной, которая отдается ради денег, и женщиной, которая отдается ради наслаждения, между той, что отдается из тщеславия, и той, что отдается из преданности. Среди женщин, которых вы покупаете, одним вы платите дороже, другим — дешевле. Среди тех, чьей близости вы домогаетесь ради чувственного наслаждения, вы отдаетесь одним с большим доверием, чем другим. Среди тех, кем вы обладаете из тщеславия, вы кичитесь этой больше, чем той. А из тех, к кому вы питаете преданность, одной вы отдадите треть вашего сердца, другой — четверть, третьей — половину, смотря по ее образованию, ее нравственности, ее доброму имени, ее происхождению, ее красоте, темпераменту, ее душевному складу, смотря по обстоятельствам, смотря по тому, что о ней говорят, по тому, который час, и по тому, что вы пили за обедом.

У вас, Октав, есть женщины потому, что вы молоды, пылки, потому, что лицо у вас овальное и черты его правильны, и потому, что ваши волосы тщательно причесаны; но именно поэтому вы не знаете, друг мой, что такое женщина.

Природа в первую очередь требует от своих созданий, чтобы они производили на свет себе подобных. Повсюду, от горных вершин и до дна океана, жизнь боится смерти. Поэтому бог, чтобы сохранить свое творение, ус-

тановил тот закон, в силу которого величайшим наслаждением всех живых существ является акт зачатия. Пальмовое растение, посылая своей женской особи оплодотворяющую пыльцу, трепещет от любви под раскаленным ветром; олень рогами испарывает живот сопротивляющейся лани; голубка дрожит под крылами голубя, точно влюбленная мимоза; а человек, держа в объятиях свою подругу на лоне всемогущей природы, чувствует, как вспыхивает в его сердце божественная искра, его создавшая.

О друг мой! Когда вы обнаженными руками обвиваете красивую и цветущую женщину, когда сладострастие исторгает у вас слезы, когда вы чувствуете, что на уста вам просятся клятвы вечной любви, когда в сердце к вам нисходит бесконечность, не бойтесь открыть свою душу, пусть даже куртизанке.

Но не смешивайте вино с опьянением, не считайте божественной чашу, из которой вы пьете божественный напиток. Найдя ее вечером пустой и разбитой, не удивляйтесь. Это женщина, это хрупкий сосуд, сделанный горшечником из глины.

Благодарите бога за то, что он показывает вам небеса, и не считайте себя птицей только оттого, что вам хочется взмахнуть крылом. Даже птицы не могут летать за облака — на большой высоте им не хватает воздуха, и жаворонок, с пением поднимающийся ввысь среди утренних туманов, иногда падает на борозду мертвый.

Берите от любви то, что трезвый человек берет от вина, не становитесь пьяницей. Если ваша любовница верна и чистосердечна, любите ее за это; если этого нет, но она молода и красива, любите ее за красоту и молодость; если она мила и остроумна, тоже любите ее; и, наконец, если ничего этого в ней нет, но она любит вас, любите ее. Не часто встречаешь любовь на своем пути.

Не рвите на себе волосы и не твердите, что заколетесь кинжалом, оттого что у вас есть соперник. Вы говорите, что ваша любовница обманывает вас ради другого и

от этого страдает ваше самолюбие. Но только переставьте слова: скажите себе, что она обманывает его ради вас, и вот вы уже возгордились.

Ничего не ставьте себе за правило и не говорите, что хотите быть единственным у любимой женщины. Вы мужчина и сами непостоянны, а потому, говоря так, вынуждены будете мысленно прибавить: «Если это возможно».

Принимайте погоду такой, какая она есть, ветер таким, как он дует, женщину такой, какова она на самом деле. Испанки, лучшие из всех женщин, любят, соблюдая верность, сердце у них правдивое и неистовое, но на сердце они носят стилет. Итальянки любят наслаждение, но ищут широкоплечих мужчин и меряют своих любовников меркой портного. Англичанки восторженны и меланхоличны, но холодны и напыщенны. Немки нежны и ласковы, но бесцветны и однообразны. Француженки остроумны, изящны и сладострастны, но они лгут, как демоны.

Прежде всего не вините женщин за то, что они такие, какие они есть. Это мы сделали их такими, искажая при всяком удобном случае то, что создано природой.

Природа, которая все предусматривает, создала девушку для того, чтобы она была возлюбленной, но как только она производит на свет ребенка, волосы ее выпадают, грудь теряет форму, на теле остается рубец; женщина создана быть матерью. Мужчина тогда, быть может, ушел бы от нее, отталкиваемый зрелищем утраченной красоты, но его ребенок с плачем льнет к нему. Такова семья, таков человеческий закон. Все, что от него отклоняется, противоестественно. В том-то и состоит добродетель деревенских жителей, что их женщины — машины для рождения и кормления детей, подобно тому как сами они — машины для пахоты. У них нет ни фальшивых волос, ни косметики, но их любовная страсть не тронута порчей; в своем простодушии они не замечают, что Америка уже открыта. Они не отличаются чувственностью, зато они душевно здоровы; руки у них грубы, но не сердце.

Цивилизация поступает противоположно тому, как поступает природа. В наших городах и согласно нашим нравам девушку, созданную для того, чтобы носиться по залитым солнцем просторам, чтобы любоваться, как это было в Спарте, обнаженными атлетами, а потом остановить на ком-нибудь свой выбор и любить, — девушку держат взаперти, под замком. Однако под своим распятием она прячет роман. Бледная и праздная, она развращается перед зеркалом, она теряет в тишине ночей свежесть красоты, которая ее душит и рвется выйти на волю. Потом ее — ничего не знающую, ничего не любящую, всего на свете жаждущую — неожиданно извлекают из этого заточения. Какая-нибудь старуха ее наставляет, ей шепчут на ухо бесстыдное слово и бросают в постель незнакомца, который ее насилует. Вот вам брак, то есть цивилизованная семья. И вот теперь эта бедная девушка производит на свет ребенка; и вот ее волосы, ее прекрасная грудь, ее тело увядают; вот она утратила красоту любовницы, а она еще не любила! Вот она уже зачала, уже родила — и все еще недоумевает, как это вышло. Ей приносят какого-то ребенка и говорят: «Вы — мать».

Она отвечает: «Я не мать, пусть этого ребенка отдадут женщине, у которой есть молоко, у меня в груди его нет»; не так ведь появляется у женщин молоко. Муж отвечает ей, что она права, что ребенок вызовет у него отвращение к ней. К ней приходят, ее прихорашивают, покрывают брюссельским кружевом ее окровавленную постель; за ней ухаживают, ее излечивают от болезни материнства. Месяц спустя мы встречаем ее в Тюильри, на балу, в Опере. Ее ребенок в Шайо или в Осере, муж в каком-нибудь притоне. Десять молодых людей твердят ей о любви, о преданности, о том, что вечно будут держать ее в объятиях, обо всем, что скрыто у нее в сердце. Она выбирает одного из них и привлекает к себе на грудь; он бесчестит ее, поворачивается и уходит на биржу. Теперь она попала в обычную колею; проплакав одну ночь, она приходит к выводу, что от слез краснеют глаза. Она обзаводится утеш-

телем, в потере которого ее утешает другой; так это продолжается, пока ей не минет тридцать лет, а то и больше. Вот тогда, пресыщенная и развращенная, ничего не сохранившая в себе из того, что свойственно человеку, даже чувства отвращения, она встречает однажды вечером прекрасного юношу с черными волосами, с пламенным взглядом и сердцем, трепещущим надеждой; она узнает в нем свою молодость, вспоминает все, что выстрадала, и, возвращая ему полученные в жизни уроки, навсегда отучает его от любви.

Вот женщина, какой мы ее сделали; таковы наши любовницы. Но что нам до того! Это женщины, с ними проводишь иногда приятные минуты!

Если вы человек закаленный, уверенный в себе, если вы настоящий мужчина, вот что я советую вам: безбоязненно кружитесь в вихре света, пусть у вас будут куртизанки, танцовщицы, мещаночки, маркизы. Будьте постоянным или неверным, печальным или веселым, пусть вас обманывают или почитают, — важно только одно — любят ли вас, ибо какое вам дело до всего остального, если вас любили?

Если вы человек средних способностей, человек заурядный, я того мнения, что вам следует некоторое время поискать, прежде чем остановиться на ком-нибудь свой выбор, но не рассчитывайте ни на одно из тех качеств, какие вы думали найти в вашей любовнице.

Если вы человек слабый, склонный подчиниться чьей-либо воле и пустить корни там, где вы видите немного земли, облекитесь в надежный панцирь, ибо, если вы уступите порыву вашей слабохарактерной природы, вы не приживетесь там, где пустили корни, вы зачахнете, как неопыленное растение, и у вас не будет ни цветов, ни плодов. Сок вашей жизни перейдет в чужую кору, все ваши поступки будут бледны, как листья ивы, вам придется поливать себя только своими слезами и питаться только своим сердцем.

Но если вы натура восторженная, верите в мечты и хотите их воплотить, в таком случае я отвечу вам без всяких оговорок: «Любови не существует».

Ибо я одного мнения с вами и говорю вам: любить — это значит отдаваться душой и телом, или, вернее сказать, сливаться воедино; это значит гулять на солнце, на чистом воздухе, среди нив и лугов, составляя одно тело — одно существо, у которого четыре руки, две головы и два сердца. Любовь — это вера, это религия земного счастья, это лучезарный треугольник, помещенный в куполе того храма, который называется миром. Любить — значит свободно бродить по этому храму, ведя рядом с собою существо, способное понять, почему такая-то мысль, такое-то слово или такой-то цветок заставляют вас остановиться и поднять голову к божественному треугольнику. Упражнять благородные способности человека — великое благо, вот почему талант — прекрасная вещь. Но удвоить свои способности, прижать чье-то сердце и чей-то ум к своему уму и сердцу — величайшее счастье, самое большое, какое бог создал для человека. Вот почему любовь есть нечто большее, чем талант. Но скажите, разве такова любовь наших женщин? Нет, бесспорно нет. Любить — это для них нечто совсем другое. Это значит выходить из дома под вуалью, писать тайком, боязливо красться на цыпочках, строить козни и издеваться, делать томные глаза, испускать целомудренные вздохи, нарядившись в накрахмаленное раздувающееся платье, а потом запирает дверь и сбрасывать это платье, унижать соперницу, обманывать мужа, приводить в отчаяние любовников. Любить — это значит для наших женщин забавляться игрою в ложь, подобно тому как дети забавляются игрою в прятки. Любовь для них — отвратительная развращенность сердца, хуже всякого распутства римлян на сатурналиях Приапа; убудочная пародия на добродетель, да и на самый порок; гнусная потайная комедия, где все нашептывается, где взгляд бросают искоса, где все мелко, изящно и вместе с тем безобразно, как в тех фарфоровых уродцах, которых приво-

зят из Китая; жалкая насмешка над всем, что есть на свете прекрасного и отвратительного, божественного и дьявольского; бесплотная тень, скелет всего, созданного богом.

Так среди безмолвия ночи язвительным голосом говорил Деженэ.

ГЛАВА 6

На другой день я отправился перед обедом в Булонский лес; погода стояла пасмурная. Миновав заставу Майо, я предоставил моей лошади сворачивать, куда ей захочется, и, погрузившись в глубокую задумчивость, стал перебирать в памяти все, что говорил мне Деженэ.

Пересекая какую-то аллею, я услышал, что меня окликают. Я обернулся и увидел в проезжавшей коляске одну из закадычных приятельниц моей любовницы. Она велела кучеру остановиться и, дружески протянув мне руку, пригласила меня отобедать у нее, если мне нечего делать.

Эта женщина, которую звали госпожа Левассёр, была небольшого роста, полная и очень светлая блондинка; она мне почему-то никогда не нравилась, хотя в наших отношениях не было ничего неприятного. Однако я не мог устоять перед желанием принять ее приглашение, пожал ей руку и поблагодарил ее: я чувствовал, что мы будем говорить о моей любовнице.

Она предоставила мне своего слугу, чтобы отвести мою лошадь, я сел в ее экипаж — она была в нем одна, — и мы тотчас поехали обратно в Париж. Стал накрапывать дождь, пришлось поднять верх коляски. Запертые таким образом наедине друг с другом, мы сначала хранили молчание. Я смотрел на нее с неизъяснимой грустью; она была не только приятельницей моей изменницы, но и ее наперсницей. В дни бывшего счастья она нередко по вечерам бывала третьей в нашем обществе. С каким нетерпением я сносил тогда ее присутствие! Сколько раз считал те минуты, что она проводила с нами! Этим и объяснялось, на-

верное, мое нерасположение к ней. Я отлично знал, что она одобряла нашу связь, что она даже защищала меня иной раз перед моей любовницей в дни наших ссор, и все-таки, даже помня обо всей ее приязни ко мне, я не мог простить ей ее назойливость. При всей своей доброте и услужливости она мне казалась некрасивой и докучливой. Увы! Теперь я находил ее красавицей! Я глядел на ее руки, на ее одежду, каждое из ее движений проникало мне в душу — в них я читал все мое прошлое. Она смотрела на меня, понимая, что я подле нее испытываю и сколько воспоминаний меня угнетает. Так продолжалось всю дорогу — я глядел на нее, а она улыбалась мне. Наконец, когда мы въехали в Париж, она взяла меня за руку.

— Итак? — заговорила она.

— Итак, — ответил я, рыдая, — скажите ей это, сударыня, если вам угодно.

И я пролил потоки слез.

Но когда после обеда мы уселись у камина, она спросила:

— Так как же, это бесповоротно? Нет больше никакого способа все уладить?

— Увы, сударыня, нет ничего бесповоротного, кроме моего горя, и оно убьет меня. То, что во мне происходит, недолго рассказать: я не могу ни любить ее, ни полюбить другую, ни жить без любви.

Она откинулась на спинку стула, и я увидел на ее лице выражение сочувствия. Долгое время она, казалось, размышляла и о чем-то спрашивала себя, словно слыша отклик в своем сердце. Глаза ее затуманились, и она как бы замкнулась в каком-то воспоминании. Она протянула мне руку, я подошел к ней.

— И я, — прошептала она, — я тоже! Я тоже изведала это в свое время.

Сильное волнение помешало ей продолжать.

Из всех сестер любви прекраснее всех — жалость. Я держал руку госпожи Левассёр в своей; она почти покоилась в моих объятиях. Она начала приводить мне все

доводы, какие могла измыслить в пользу моей любовницы, жалея меня и оправдывая ее. Моя печаль еще усилилась от этого — что сказать в ответ?.. Вдруг она заговорила о себе.

Не так давно, сказала она мне, ее покинул человек, который ее любил. Она пошла на большие жертвы: ее состоянию был нанесен ущерб, ее доброе имя было опорочено. Муж ее, человек мстительный, неоднократно угрожал ей... Этот рассказ, сопровождаемый слезами, до того заинтересовал меня, что, слушая о ее горестях, я забыл свои... Ее выдали замуж против воли. Она долго боролась со своим чувством, но сожалеет лишь об одном — что ее больше не любят. Мне показалось даже, что она до некоторой степени винит себя в том, что не сумела удержать любовь своего возлюбленного и легкомысленно вела себя по отношению к нему.

Облегчив передо мной душу, она умолкла, в ней появилась какая-то неуверенность. Видя это, я сказал ей:

— Нет, сударыня, не простой случай привел меня сегодня в Булонский лес. Позвольте мне думать, что человеческие горести — рассеянные по свету сестры, но что где-то есть добрый ангел, который порой преднамеренно соединяет эти слабые, трепещущие руки, простираемые к небесам. Я встретил вас, и вы позвали меня, а потому не раскаивайтесь в том, что открылись мне, и, кто бы вас ни слушал, никогда не раскаивайтесь в ваших слезах. Тайна, которую вы мне доверили, всего лишь слеза, пролитая вами, но она запала мне в душу. Разрешите мне заходить к вам, и будем иногда страдать вместе.

При этих словах я почувствовал к ней такую живую симпатию, что, не подумав, обнял ее; мне и в голову не пришло, что она может счесть себя оскорбленной, а она, казалось, даже не заметила моего движения.

Глубокая тишина стояла в доме, где жила госпожа Левассёр. Кто-то из жильцов был болен, поэтому на мостовой перед домом настлали солому, и экипажи бесшумно проезжали мимо. Я сидел подле нее, держал ее в своих

объятиях и предавался одному из наиболее сладостных душевных переживаний — чувству разделенного горя.

Наша беседа продолжалась в самом дружески открытом тоне. Она поверяла мне свои страдания, я делился с ней моими и чувствовал, как среди этих обоюдных горестных излиятий возникала какая-то неизъяснимая отрада, начинал звучать какой-то утоляющий скорбь голос, подобный чистому и дивному аккорду, родившемуся из созвучия двух жалобных голосов.

Пока мы плакали вместе, я сидел, склонившись над госпожой Левассёр, и мне было видно только ее лицо. Когда же в минуту молчания я встал и отошел от нее, то заметил, что во время нашего разговора она довольно высоко оперлась носком о край камина, отчего платье соскользнуло и открыло всю ногу. Мне показалось странным, что, увидев мое смущение, она нисколько не изменила позы; я отошел на несколько шагов и отвернулся, желая дать ей время поправить платье; она этого не сделала. Вернувшись к камину, я молча стоял, прислонясь к нему, и смотрел на это безобразие, слишком возмутительное, чтобы можно было его терпеть. Наконец, встретясь с ней глазами, я прекрасно понял, что она сама отлично все видит, и меня поразило словно громом: я внезапно уразумел, что стал мишенью бесстыдства до такой степени чудовищного, что само горе было для него лишь средством возбуждения чувственности. Не говоря ни слова, я взялся за шляпу. Она медленно опустила платье, я отвесил ей поклон и вышел из комнаты.

ГЛАВА 7

Вернувшись домой, я нашел посреди комнаты большой деревянный сундук. Одна из моих теток умерла, и мне причиталась доля незначительного наследства, оставленного ею. В этом сундуке, помимо других безразличных мне вещей, оказалось некоторое количество старых, покрытых пылью книг. Не зная, за что приняться, снедае-

мый скукой, я решил прочитать кое-какие из них. Это были большей частью романы времен Людовика XV. Моя тетка, женщина очень набожная, сама, должно быть, унаследовала их от кого-нибудь и сохранила не читая — ведь это были, если можно так выразиться, настоящие катехизисы распутства.

Мой ум обладает странной склонностью размышлять обо всем, что со мной случается, даже о малейших происшествиях, и подыскивать для них своего рода логическое и моральное основание. Я словно превращаю их в бусы для четок и невольно пытаюсь нанизать их на одну нить.

Пусть это покажется ребячеством, но, получив эти книги в том состоянии, в котором я тогда находился, я был поражен. И я глотал их с горечью и беспредельной печалью, с разбитым сердцем и улыбкой на губах.

— Да, вы правы, — твердил я им, — вам одним известны тайны жизни, вы одни осмеливаетесь говорить, что ничего нет истинного, кроме распутства, испорченности и лицемерия. Будьте моими друзьями, наложите на рану моей души вашу разъедающую отраву, научите меня верить в вас.

Пока я все больше углублялся в этот мрак, мои любимые поэты и мои учебники продолжали валяться в пыли. В припадках гнева я топтал их ногами.

— А вы, безумные мечтатели, вы учите только страдать, — говорил я им, — вы, жалкие любители красивых слов, шарлатаны, если вы знали правду, глупцы, если вы были искренни, лжецы в обоих случаях, всякими неблудами обманывающие человеческое сердце, — я сожгу вас всех, всех до одного!

Но тут слезы приходили мне на помощь, и я убеждался, что правдива только моя скорбь.

— Так скажите же мне, — вскричал я однажды в полном исступлении, — скажите мне, добрые и злые гении, советчики добра и зла, скажите же мне, что надо делать! Изберите третьейским судьей кого-нибудь из вас!

Я схватил старую Библию, лежавшую у меня на столе, и раскрыл ее наудачу.

— Отвечай мне, книга господня. Ну-ка, посмотрим, каково твое мнение.

Я наткнулся на такие слова Екклесиаста в главе девятой:

«На все это я обратил сердце мое для исследования, но мне было трудно понять их. Итак, существуют праведные и мудрые, деяния их в руке божией, и человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним.

Всему и всем — одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы.

Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим».

Я был изумлен, прочитав эти слова; я не предполагал, что подобное чувство могло быть высказано в Библии.

— Итак, — сказал я ей, — и ты, книга надежды, ты тоже сомневаешься!

Что же думают астрономы, предсказывая прохождение в назначенное время, в указанный час, кометы — самого непостоянного из всех тел, гуляющих по небу? Что же думают естествоиспытатели, показывая нам под микроскопом живые существа в капле воды? Уж не полагают ли они, что это они выдумывают все, подмечаемое ими, и что их микроскопы и зрительные трубы повелевают природой? И что же подумал первый людской законодатель, когда, исследуя, каков должен был быть первый камень в основании общественного здания, и разгневанный, наверно, каким-нибудь докучливым говоруном, он ударил по своим бронзовым скрижалям и почувствовал, как все его существо взывает о возмездии? Разве он выдумал правосудие? А тот, кто первый сорвал плод, возвращенный со-

седом, спрятал под своим плащом и убежал, озираясь по сторонам, — разве он выдумал стыд? А тот, кто, отыскивая этого самого вора, отнявшего у него плод его труда, первый простил вору его вину и, вместо того чтобы поднять на него руку, сказал ему: «Сядь тут и возьми еще и это»; когда он, воздав так добром за зло, поднял голову к небу и почувствовал, как дрогнуло у него сердце, слезами оросились глаза и преклонились до земли колена, — разве он выдумал добродетель? О боже, боже! Вот женщина, которая говорит о любви и которая обманывает меня, вот мужчина, который говорит о дружбе и который советует мне развлечься в распутстве; вот другая женщина, которая плачет и которая хочет утешить меня видом своей обнаженной ноги; вот Библия, которая говорит о боге и которая отвечает: «Быть может... все это безразлично».

Я кинулся к открытому окну.

— Так это правда, что ты пусто? — воскликнул я, глядя в высокое бледное небо, раскинувшееся над моей головой. — Отвечай, отвечай! Прежде чем я умру, положишь ли ты мне вот в эти две руки хоть что-нибудь вместо бесплодной мечты?

Глубокая тишина царила на площади, куда выходили мои окна. Когда я стоял так, простирая руки и вперяя взор в пространство, раздался жалобный крик ласточки. Я невольно проследил за ней взглядом. Она стрелой уносилась в необозримую даль, а под окном в это время прошла, напевая, молодая девушка.

ГЛАВА 8

Я не хотел, однако, сдаваться. Прежде чем дойти до того, чтобы в самом деле видеть в жизни одну ее приятную сторону, которая мне представлялась ее пагубной стороной, я решил все испробовать. Поэтому меня долгое время одолевали бесчисленные горести и терзали ужасные сны.

Главной помехой моему исцелению была моя молодость. Где бы я ни находился, к какому бы занятию я ни принуждал себя, я ни о чем больше не мог думать, как только о женщинах; один вид женщины вызывал во мне дрожь. Сколько раз я вставал ночью весь в поту и прижимался губами к стенам моей комнаты, чувствуя, что готов задохнуться!

Мне выпало на долю величайшее и, пожалуй, самое редкое счастье — принести в дар любви мою девственность. Но именно поэтому всякая мысль о чувственном наслаждении сочеталась в моем мозгу с мыслью о любви, и это губило меня: не в силах удержаться от того, чтобы не думать все время о женщинах, я в то же время денно и нощно перебирал в уме все те мысли о распутстве, о приторной любовной страсти и изменах, которыми я был полон. Для меня обладать женщиной означало любить ее, а я, только и думая о женщинах, не верил больше в возможность настоящей любви.

Все эти страдания приводили меня в какое-то неистовство: то мне хотелось бичевать себя, по примеру монахов, чтобы побороть свои вожелания; то хотелось ринуться на улицу, в поля, не знаю сам куда, броситься к ногам первой встречной женщины и поклясться ей в вечной любви.

Бог мне свидетель, я сделал тогда все на свете, чтобы развлечься и исцелиться. Сначала, под влиянием той невольной мысли, что человеческое общество — пристанище пороков и лицемерия, где все похоже на мою любовницу, я решил проститься с ним и жить в уединении. Я снова стал изучать науки, окунулся в историю, в произведение писателей древности, в анатомию. В пятом этаже того же дома, где жил я, квартировал один весьма образованный старый немец, живший в полном одиночестве. Я не без труда уговорил его обучить меня его родному языку, но, уж взявшись за дело, бедняга ревностно отдался ему. Моя вечная рассеянность глубоко огорчала его. Сколько раз, сидя со мной наедине под своей закопчен-

ной лампой, он с терпеливым удивлением выжидал, глядя на меня и сложив руки поверх своей книги, а я, углубившись в мои думы, не замечал в это время ни его присутствия, ни его сострадания!

— Почтенный друг мой, все это бесполезно, — сказал я ему наконец, — но, право, вы лучший из людей! Какую вы взяли на себя тяжкую задачу! Ничего не поделаешь, придется вам предоставить меня моей судьбе. Мы тут ничем не можем помочь, ни вы, ни я.

Не знаю, понял ли он, что я хотел этим сказать; он молча пожал мне руку, и больше мы не занимались немецким языком.

Вскоре я почувствовал, что одиночество не только не исцеляет, а губит меня, и совершенно изменил свой образ жизни. Я стал ездить за город, носиться вскачь по лесам и охотиться; я фехтовал до изнеможения; я доводил себя до того, что валился с ног от усталости. А после того, как весь день изнурял себя до седьмого пота и скакал так, что дух захватывало, вечером я добирался, пропахший порохом и конюшной, до своей постели, зарывался головой в подушку, забивался под одеяло и кричал:

— Призрак, призрак! Неужели ты не устал? Наступит ли наконец ночь, когда ты оставишь меня?

Но к чему были эти напрасные усилия? Одиночество отсылало меня к природе, а природа — к любви. Когда я, бывало, стоял в анатомическом театре на улице Обсерванс, окруженный трупами, и вытирал руки своим окровавленным передником, сам бледный как смерть, задыхаясь от запаха разложения, я невольно отворачивался, и перед моим мысленным взором проплывали зеленеющие поля, душистые дуга и задумчивая гармония вечера.

— Нет, — говорил я себе, — не наука меня утешит. Сколько бы я ни погружался в эту мертвую природу, я сам погибну среди нее, как посиневший утопленник в шкуре ободранного ягненка. Я не исцелюсь от моей молодости. Надо жить там, где есть жизнь, а если умирать, так по крайней мере под открытым небом.

Я уходил, брал верховую лошадь, углублялся в аллею Севра и Шавиля, ложился на цветущей лужайке в какой-нибудь уединенной долине. Увы! Все эти рощи, все эти луга кричали мне:

— Чего ты здесь ищешь? Мы зелены, бедняжка, мы одеты в цвет надежды.

И я возвращался в город. Я блуждал по темным улицам; я глядел на все эти освещенные окна, на все эти таинственные гнезда, которые свили себе люди, на проезжавшие мимо экипажи, на сновавших прохожих. О, какое одиночество! Какой печальный дым над этими крышами! Какая скорбь в этих извилистых улицах, где все топчутся, работают и надрываются, где множество незнакомых людей ходит, задевая локтем друг друга, — клоака, где общаются только тела, оставляя души одинокими, и где только публичные женщины, попадаясь на дороге, протягивают вам руку. «Отдайся, отдайся разврату — и ты перестанешь страдать!» — вот что кричат города человеку, вот что написано на стенах — углем, на мостовых — грязью, на лицах — излившейся из сосудов кровью.

А когда, присутствуя иной раз на каком-нибудь блестящем празднестве и сидя в укромном уголке гостиной, я издали наблюдал, как все эти женщины в розовом, голубом, белом, с обнаженными руками и гроздьями локонов, резвятся, точно опьяненные светом херувимы в сферах гармонии и красоты, я мысленно говорил себе:

«Ах, какой цветник! Какие цветы! Их можно сорвать, можно вдохнуть их аромат. Ах, маргаритки, маргаритки, что поведает последний ваш лепесток тому, кто будет обрывать вас? «Любит — не любит...» Разлюбила — вот мораль света, вот финал ваших улыбок. И над этой-то мрачной пропастью вы так легкомысленно порхаете в ваших газовых, усеянных цветами платьях, над этой отвратительной истиной вы бегаєте, как серны, на ваших маленьких ножках!»

— Ну, полно, — говорил Деженэ, — зачем принимать все всерьез? Где это видано? Вы жалуетесь на то, что бу-

тылки опорожняются? В погребах есть бочки, а в виноградном краю есть погреба. Сделайте-ка славную удочку, позолоченную нежными словами, насадите пчелку вместо приманки и живо поймайте в реке забвения хорошенькую утешительницу, свежую и изворотливую, как угорь. А если она проскользнет у вас между пальцами, вам останутся другие. Любите, любите, вам смертельно хочется любить! Молодежь должна перебеситься, и будь я на вашем месте, я скорее похитил бы португальскую королеву, чем занимался бы анатомией.

Таковы были советы, которые мне приходилось выслушивать по всякому поводу, и когда наступало время сна, я шел домой с сокрушенным сердцем, прикрывая плащом лицо. Я становился на колени подле моей постели, и бедное сердце мое находило облегчение. Какие это были слезы! Какие обеты! Какие молитвы! Галилей ударял по земле, восклицая: «А все-таки она вертится!» Так я ударял себя в сердце.

ГЛАВА 9

Внезапно, когда я пребывал в состоянии самой безысходной скорби, отчаяние, молодость и случай заставили меня совершить поступок, решивший мою судьбу.

Я сразу же написал моей любовнице, что не хочу с ней больше видаться, и был верен своему слову, но я проводил ночи под ее окнами, сидя на скамье подле ее двери; я видел в ее окнах свет, я слышал звуки ее фортепьяно; иногда мне казалось, что за слегка раздвинутыми занавесями я различаю ее тень.

Однажды ночью, в то время как я сидел на этой скамье и предавался невыносимой печали, мимо меня прошел, шатаясь, запоздалый прохожий. Он бормотал бессвязные слова, перемежая их радостными восклицаниями, потом вдруг начинал петь. Он был пьян, и ослабевшие ноги несли его то по одной стороне уличной канавы, то по другой. Наконец он свалился на скамью у другого дома, на

против меня. Там он некоторое время раскачивался, опершись локтями о колени, а потом заснул глубоким сном.

Улица была пустынна; сухой ветер взметал пыль; луна высоко стояла в безоблачном небе и освещала место, где спал этот человек. Итак, я находился наедине с грубым существом, которое не подозревало о моем присутствии и отдыхало на камне, быть может, с большим наслаждением, чем в своей постели.

Этот пьяный невольно отвлек меня от моего горя; я встал, желая избавиться от его общества, потом вернулся и опять сел. Я был не в силах отойти от этой двери, в которую не постучался бы ни за какие блага в мире; пройдясь несколько раз взад и вперед, я наконец машинально остановился перед спящим.

«Как крепко он спит! — подумал я. — Уж наверно, этот человек ничего не видит во сне. Быть может, жена его в эту минуту впускает соседа на чердак, где они спят по ночам. Одежда его в лохмотьях, щеки ввалились, руки в морщинах; это бедняк, который не всякий день бывает сыт. Множество гнетущих забот, множество смертельных тревог встретят его, когда он проснется. Но сегодня вечером у него было в кармане экую, он зашел в кабачок и купил там забвение своих горестей. Недельного заработка ему хватило на то, чтобы мирно проспать одну ночь. Возможно, он купил эту ночь за счет ужина своих детей. Теперь любовница может изменить ему, друг может прокрасться, словно вор, в его конуру, я сам могу ударить его по плечу и крикнуть, что его убивают, что в доме у него пожар, — он повернется на другой бок и снова уснет».

«А я, я не сплю! — продолжал я говорить сам с собою, большими шагами переходя через улицу, — я не сплю, хоть у меня сегодня вечером в кармане столько, сколько нужно, чтобы он мог спать целый год. Я так горд и безрассуден, что не осмеливаюсь зайти в какой-нибудь кабачок, я не догадываюсь, что если все несчастные туда заходят, то это потому, что они выходят оттуда счастливыми. О бо-

же! Одной грозди винограда, раздавленной чьей-то ногой, достаточно, чтобы развеять самые тяжкие заботы и разорвать все невидимые нити, которые протягивают на нашем пути духи зла. Мы плачем, как женщины, мы страдаем, как мученики; в нашем отчаянии нам кажется, будто целый мир обрушился на нашу голову, и мы исходим слезами, подобно Адаму у врат Эдема. А для того чтобы исцелить рану, большую, чем мир, достаточно сделать незначительное движение рукой и промочить себе горло. Какая же безделица наши горести, если их можно утолить так легко. Мы удивляемся тому, что провидение, которому они зримы, не посылает своих ангелов, чтобы те вняли нашим молениям; — ему нет нужды так затруднять себя, оно видело все наши страдания, все наши вожеления, всю надменность наших падших умов и океан бедствий, который нас окружает, и оно ограничилось тем, что повесило маленький темный плод по краям наших дорог. Раз этот человек так славно спит на этой скамье, почему бы и мне не поспать так же на моей! Мой соперник, быть может, проводит ночь у моей возлюбленной; он выйдет оттуда на рассвете, она проводит его, полуодетая, до дверей, и они увидят меня, спящего здесь. Их поцелуи не разбудят меня, и они ударят меня по плечу. Я повернусь на другой бок и опять засну».

Итак, исполненный свирепой радости, я пустился на поиски кабачка. Было уже за полночь, и потому почти все они оказались закрыты. Это привело меня в ярость.

«Как! — подумал я. — Даже в этом утешении мне будет отказано?» Я кидался во все стороны, стучался в винные лавки и кричал: «Вина! Вина!»

Наконец я нашел открытый кабачок. Я спросил бутылку вина и, не разбираясь в том, хорошее оно или плохое, жадными глотками выпил его. За первой бутылкой последовала вторая, за ней третья. Я лечил самого себя, точно больного, и пил насильно, как будто дело шло о лекарстве, назначенном врачом для спасения жизни.

Вскоре пары густой настойки, должно быть ненатуральной, окружили меня точно облаком. Я пил залпом и потому опьянел сразу; в уме у меня все смешалось, потом успокоилось, потом опять смешалось. Наконец, почувствовав, что все мысли улетучились из моей головы, я поднял глаза к небу, словно прощаясь сам с собой, и развалился, положив локти на стол.

Тут только я заметил, что я не один в зале. В другом конце кабачка сидели несколько мужчин отталкивающего вида: лица у них были испытые, голоса — хриплые. Их одежда говорила о том, что они не из простонародья, но и не из среднего сословия. Короче говоря, они принадлежали к тому неопределенному разряду людей, самому презренному из всех, у которого нет ни общественного положения, ни состояния, ни даже ремесла — а если и есть, то разве только гнусное; они не относятся ни к числу бедняков, ни к числу богачей и наделены пороками одних и убожеством других.

Они вполголоса спорили, наклонившись над омерзительно грязными картами. С ними сидела очень юная и очень красивая девушка, чисто одетая и, казалось, ничем не похожая на них, за исключением голоса, такого сиплого и надорванного, несмотря на ее свежее лицо, как будто она уже лет шестьдесят была рыночной торговкой. Она внимательно смотрела на меня, удивленная, наверно, тем, что видит меня в кабачке, — я был изящно одет, и мою внешность можно было назвать почти изысканной. Мало-помалу она подошла поближе. Проходя мимо моего стола, она приподняла стоявшие на нем бутылки и, обнаружив, что все три пусты, улыбнулась. Я заметил, что у нее прекрасные, ослепительно белые зубы. Я взял ее за руку и попросил сесть подле меня; она охотно согласилась и крикнула, чтобы ей принесли ужин.

Я молча смотрел на нее глазами, полными слез. Она заметила их и спросила, о чем я плачу. Но я не мог ей ответить и только покачал головой, словно затем, чтобы слезы мои текли еще обильнее, — я чувствовал, как они стру-

яется по щекам. Она поняла, что у меня какое-то тайное горе, и не стала пытаться отгадать его причину. Вынув носовой платок и весело уплетая свой ужин, она время от времени вытирала мне лицо.

В этой уличной девке было что-то столь ужасное и столь привлекательное, бесстыдство так странно сочеталось в ней с состраданием, что я не знал, как мне судить о ней. Если бы она взяла меня за руку на улице, я почувствовал бы к ней отвращение; но эта девушка, которой я никогда не видел, которая, не сказав ни слова, села ужинать напротив меня и стала утирать своим платком мои слезы, — все это показалось мне столь необычным, что я не мог опомниться, был возмущен и в то же время очарован. Я слышал, как содержатель кабачка спросил ее, знает ли она меня; она ответила утвердительно и сказала, чтобы меня оставили в покое. Вскоре игроки разошлись, хозяин, заперев дверь и закрыв снаружи ставни, ушел в заднюю комнату, и я остался наедине с ней.

Все это произошло так быстро, я повиновался столь странному порыву отчаяния, что у меня было такое чувство, будто я вижу сон, и мысли мои металась в каком-то тупике. Мне казалось, что либо я сошел с ума, либо нахожусь во власти некой сверхъестественной силы.

— Кто ты? — воскликнул я вдруг. — Чего ты от меня хочешь? Откуда ты знаешь меня? Кто тебе велел утирать мои слезы? Или это твое ремесло и ты думаешь, что я пойду с тобой? Да я до тебя и пальцем не дотронусь! Что ты тут делаешь? Отвечай! Тебе что, деньги нужны? Почему ты продаешь свое сострадание?

Я встал и хотел уйти, но почувствовал, что шатаюсь. В глазах у меня помутилось, смертельная слабость овладела мною, и я рухнул на скамью.

— Вы больны, — сказала мне эта женщина, беря меня за руку. — Вы пили, как неразумное дитя, да вы и вправду дитя, пили, сами не зная, что делаете. Оставайтесь тут на стуле и ждите, пока по улице проедет фиакр. Вы мне скажете, где живет ваша мать, и он отвезет вас домой, раз уж

вы... и в самом деле находите меня некрасивой, — прибавила она, смеясь.

Я поднял глаза. Быть может, меня ввели в заблуждение винные пары; плохо ли я рассмотрел ее до этого, или плохо рассмотрел в ту самую минуту — не знаю, но я вдруг заметил в лице этой несчастной роковое сходство с моей любовницей. Меня охватил леденящий ужас. Бывает такая дрожь, от которой шевелятся волосы; простой народ говорит, что это смерть проходит над нашей головой, но над моей прошла не смерть. Ее коснулась болезнь века, или, вернее сказать, эта публичная женщина сама была ею, и это она, болезнь века, приняв эти бледные, насмешливые черты, заговорив этим сиплым голосом, уселась передо мной в глубине кабачка.

ГЛАВА 10

В тот миг, когда я увидел, что эта женщина похожа на мою любовницу, ужасное непреодолимое стремление овладело моим больным мозгом, и я сейчас же осуществил его.

В первое время нашей связи моя любовница иногда тайком приходила навестить меня. В такие дни в моей комнатке был праздник — в ней появлялись цветы, весело разгорался огонь в камине, я приготовлял хороший ужин, постель тоже облекалась в свадебный убор, чтобы принять возлюбленную. Я часто созерцал ее в те безмолвные часы, когда она сидела на моем диване, под зеркалом, и сердца наши говорили друг с другом. Я смотрел, как она, подобно фее Маб, превращала в рай этот уединенный уголок, где я плакал столько раз. Она была тут, среди всех этих книг, среди всей этой разбросанной одежды, среди всей этой расшатанной мебели, в этих четырех унылых стенах. Как нежно блистала она среди всего этого убожества!

С тех пор как я утратил ее, воспоминания непрерывно меня преследовали, лишали меня сна. Мои книги, мои

стены говорили мне о ней и стали для меня невыносимы. Моя постель изгоняла меня на улицу: если я не плакал в ней, она внушала мне ужас.

Итак, я привел туда эту публичную женщину, велел ей сесть ко мне спиной и снять платье. Потом я привел комнату вокруг нее в такой вид, в какой приводил некогда для моей возлюбленной. Я поставил кресла так, как они стояли в один из вечеров, который я запомнил. Обычно во всех наших представлениях о счастье преобладает какое-то одно воспоминание — какой-то день, какой-то час, который был лучше всех остальных или был как бы их ярчайшим и неизгладимым образом; среди всех переживаний настал миг, когда человек воскликнул, подобно Теодоро в комедии Лопе де Веги: «Фортуна! Вбей золотой гвоздь в твое колесо!»

Разместив всё таким образом, я затопил камин, сел перед ним и стал упиваться беспредельным отчаянием. Я заглядывал в самую глубину моего сердца и, чувствуя, как оно сжимается и надрывается от муки, вполголоса напевал тирольский романс, который постоянно пела моя возлюбленная:

Altra volta gieri biele,
Blanch'e rossa com'un'flore;
Ma ora nò. Non son più biele,
Consumatis dal'amore¹.

Я внимал отзвуку этого убогого романса, отдававшегося в пустыне моего сердца, и думал:

«Вот людское счастье. Вот мой скромный рай. Вот моя фея Маб — это уличная женщина. Да и моя возлюбленная не лучше. Вот что находишь на дне кубка, из которого пьешь божественный нектар. Вот труп любви».

Несчастная, услышав, как я напеваю, тоже запела. Я стал бледен как смерть — хриплый и грубый голос, который исходил из этого существа, похожего на мою любов-

¹ Прежде я была красива, бела и румяна, как цветок, а теперь уже нет. Я больше не красива, меня сжигает любовь (*ит.*).

ницу, представлялся мне символом того, что я испытывал. Само распутство клокотало у нее в горле, хоть она и была еще в расцвете юности. Мне казалось, что у моей любовницы после ее вероломства должен быть такой голос. Я вспомнил Фауста, который, танцую на Брокене с молодой голой ведьмой, видит, как изо рта у нее выскакивает красная мышь, и я крикнул: «Замолчи!»

Я встал и подошел к ней. Она, улыбаясь, села на мою постель, и я улегся там рядом с ней, словно мое собственное изваяние на моей гробнице...

Прошу вас, люди нашего века, вы, которые в настоящую минуту ищете развлечений, спешите на бал или в Оперу, а вечером, ложась спать, прочитаете на сон грядущий какое-нибудь приевшееся проклятие старика Вольтера, какую-нибудь рассудительную остроуту Поля-Луи Курье, какое-нибудь выступление по экономическим вопросам в одной из комиссий наших палат... Прошу всех вас, так или иначе впитывающих холодные испарения уродливой водяной лилии, насаждаемой Разумом в самой сердцевине наших городов, прошу вас, если эта мало-вразумительная книга случайно попадетс я вам в руки, не улыбайтесь с видом благородного презрения, не очень пожимайте плечами, не говорите с чересчур большой уверенностью в своей безопасности, что я жалуясь на воображаемую болезнь, что в конечном итоге человеческий разум — самая прекрасная из наших способностей и что здесь, на земле, реальны только биржевые спекуляции, хорошие карты в игре, бутылка бордо за столом, здоровье, равнодушие к другим, а ночью, в постели, — сладострастное тело с гладкой надушенной кожей.

Ведь когда-нибудь над вашей косной и неподвижной жизнью тоже может пронестись порыв ветра. Провидение может подуть на эти прекрасные деревья, которые вы орошаете спокойными водами реки забвения; вы тоже можете прийти в отчаяние при всем вашем хваленном бесстрастии, и на глазах у вас выступят слезы. Я не буду говорить вам, что ваши любовницы могут вам изменить, — для

вас это меньшее горе, чем если бы у вас пала лошадь, — но скажу вам, что на бирже бывают и потери, что, когда в игре на руках у вас три одинаковые карты, у партнера может оказаться такая же комбинация. Если же вы не играете, подумайте о том, что ваше богатство, звонкая монета вашего спокойствия, золотая и серебряная основа вашего благополучия, находится у банкира, который может обанкротиться, или в государственных процентных бумагах, которые могут быть объявлены недействительными. Скажу вам наконец, что при всей вашей холодности вы можете кого-нибудь полюбить; что может ослабнуть какой-то фибр в сокровенной глубине вашего существа и вы можете испустить крик, похожий на крик скорби. И когда-нибудь, когда не станет больше чувственных утех, отнимающих ваши праздные силы, когда действительность и повседневность изменят вам и вы с ввалившимися щеками будете бродить по грязным улицам, вам случится бросить по сторонам унылый взгляд и присесть в полночь на одинокую скамейку.

О люди из мрамора, возвышенные эгоисты, неподражаемые резонеры, никогда не совершившие ни арифметической ошибки, ни поступка, внушенного отчаянием, — если это когда-нибудь случится с вами, в час вашего бедствия вспомните Абеяра, утратившего Элоизу. Ведь он любил ее больше, чем вы ваших лошадей, ваше золото и ваших любовниц; ведь, расставшись с ней, он потерял больше, чем вы можете потерять когда-либо, больше, чем сам князь тьмы, которому вы поклоняетесь, потерял бы, вторично упав с небес; ведь он любил ее такой любовью, о которой не говорят газеты и даже тени которой не видят в наших театрах и в наших книгах жены ваши и дочери; ведь он провел полжизни в том, что целовал ее ясный лоб и учил ее псалмам Давида и песнопениям Саула; ведь у него никого не было на земле, кроме нее, и, однако, бог послал ему утешение.

Поверьте мне, когда среди ваших бедствий вы подумаете об Абеяре, вы другими глазами взглянете на изы-

сканные богохульства старика Вольтера и на шутки Курье; вы поймете, что человеческий разум может излечить от иллюзий, но не от страданий, что бог сделал его хорошей хозяйкой, но не сестрой милосердия. Вы поймете, что сердце человека, когда он крикнул: «Я ни во что не верю, ибо я ничего не вижу», — не сказало своего последнего слова. Вы будете искать вокруг себя нечто похожее на надежду; вы будете сотрясать церковные двери, желая узнать, поддаются ли они еще, но найдете их замурованными; вы вознамеритесь стать монахами, а судьба, которая насмехается над вами, пошлет вам в ответ бутылку дешевого вина и куртизанку.

И если вы осушите эту бутылку, если вы возьмете эту куртизанку и уведете ее на ваше ложе — пусть будет вам известно, что может из этого выйти.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

Проснувшись на другой день, я почувствовал такое глубокое отвращение к самому себе, я счел себя павшим так низко, что в первую минуту у меня явилось ужасное искушение. Я вскочил с постели, приказал этой твари одеться и уйти как можно скорее, потом сел и, обводя скорбным взором стены комнаты, машинально остановил его на том углу, где висели мои пистолеты.

Если страждущая мысль и устремляется к небытию, простирая, так сказать, руки ему навстречу, если душа ваша и принимает жестокое решение, все же само физическое действие — вы снимаете со стены оружие, вы заряжаете его, — даже сам холод стали наводит, по-видимому, невольный ужас; пальцы готовятся с тоскливой тревогой, рука теряет гибкость. В каждом, кто идет навстречу смерти, восстает вся природа. И то, что я испытывал, пока одевалась эта женщина, я могу изобразить только так, как будто мой пистолет сказал мне: «Подумай о том, что ты собираешься сделать».

Впоследствии я часто думал о том, что было бы со мною, если бы, как я того требовал, это создание поспешно оделось и тотчас удалилось. Первое действие стыда, несомненно, смягчилось бы: печаль не есть отчаяние, и судьба соединила их, словно братьев, чтобы один никогда не оставлял нас наедине с другим. Как только эта женщина перестала бы дышать воздухом моей комнаты, я бы почувствовал облегчение. Со мной осталось бы только раскаяние, которому ангел божественного прощения запре-

тил кого-либо убивать. И, несомненно, я излечился бы на всю жизнь, распутство навсегда было бы изгнано с моего порога, и ко мне никогда не возвратилось бы то чувство отвращения, которое внушил мне его первый приход.

Но случилось совсем иначе. Происходившая во мне борьба, одолевавшие меня мучительные размышления, отвращение, страх и даже гнев (ибо я одновременно испытывал множество чувств) — все эти роковые силы приковывали меня к моему креслу. А пока я находился в опаснейшем исступлении, девица, изогнувшись перед зеркалом, думала только о том, чтобы как можно лучше оправить свое платье, и, улыбаясь, причесывалась с самым спокойным видом. Все эти уловки кокетства длились более четверти часа, и за это время я почти забыл о ней. Наконец она чем-то стукнула, и я, нетерпеливо обернувшись, попросил ее оставить меня одного, причем в моем голосе прозвучало столь явное раздражение, что она собралась в одну минуту и, посылая мне воздушный поцелуй, повернула ручку двери.

В тот же миг у входа раздался звонок. Я вскочил и едва успел открыть девушке дверь в смежную комнатку, куда она и кинулась. Почти тотчас же вошел Деженэ с двумя молодыми людьми, жившими по соседству.

Некоторые жизненные события похожи на те мощные течения, какие встречаются в глубине морей. Рок, случайность, провидение — не все ли равно, как назвать их? Люди, которые думают, что отрицают одно название, противопоставляя ему другое, просто играют словами. Однако среди этих самых людей нет ни одного, кто, говоря о Цезаре или Наполеоне, неминуемо не сказал бы: «Это был избранник провидения». Очевидно, они считают, что только герои заслуживают внимания небес и что цвет пурпура привлекает богов так же, как он привлекает быков.

Чего только не решают здесь, на земле, самые ничтожные мелочи, каких только перемен в нашей судьбе не влекут за собой наименее, казалось бы, значительные

явления и обстоятельства! Нет, по-моему, ничего более непостижимого для человеческой мысли. С нашими повседневными поступками дело обстоит так же, как с маленькими затупленными стрелами, которые мы привыкаем пускать в цель или примерно в цель и таким образом ухитряемся создать из всех этих малых результатов нечто отвлеченное и упорядоченное, называя это нашим благоразумием или нашей волей. Но вот пронесится порыв ветра, и самая маленькая из этих стрел, самая легкая и ничтожная, поднимается и улетает в необозримую даль, по ту сторону горизонта, в необъятное лоно божье.

Как глубоко потрясены бываем мы в этот миг! Куда деваются наша воля и наше благоразумие — эти признаки спокойной гордости! Куда девается сама сила — эта владычица мира, этот меч наш в битве жизни! Тщетно мы в гневе потрясаем этим мечом, тщетно пытаемся, прикрываясь им, избегнуть угрожающего нам удара; чья-то невидимая рука отклоняет его острие, и, отвращенный в пустоту, весь наш порыв только заставляет нас упасть еще глубже.

Так, в ту самую минуту, когда я желал только одного — смыть с себя свою вину, быть может, даже покарать себя за нее, в тот самый миг, когда мною овладело глубокое отвращение, оказалось, что мне предстоит опасное испытание, и я не выдержал его.

Деженэ сиял. Прежде всего, растянувшись на диване, он начал подтрунивать над моим лицом, которое, по его словам, выдавало бессонную ночь. Я был мало расположен выслушивать его шутки и сухо попросил избавить меня от них.

Но он не обратил на это внимания и в том же тоне заговорил о том, что его ко мне привело. Он пришел сообщить мне, что у моей любовницы оказалось не два, а три любовника одновременно, иначе говоря — она обошлась с моим соперником так же дурно, как со мной; бедняга, узнав об этом, поднял страшный шум, и теперь эта история сделалась достоянием всего Парижа. Вначале я слушал

невнимательно и плохо понял то, что рассказывал Деженэ, но, заставив его раза три повторить мне все со всеми подробностями и вникнув в эту ужасную историю, я был до того расстроен и поражен, что не мог вымолвить ни слова. Мне захотелось рассмеяться, так как теперь я убедился, что любил презреннейшую из женщин. И все же я когда-то любил ее, или, вернее сказать, продолжал любить до сих пор. «Возможно ли это?» — вот все, что я мог произнести.

Друзья Деженэ подтвердили все, что он мне сказал. Моя бывшая любовница была застигнута врасплох в своем собственном доме. Сцена, которая произошла между ней и ее двумя любовниками, стала известна всем и каждому. Она опозорена и непременно должна уехать из Парижа, если хочет избежать крупного скандала.

Мне было ясно, что львиная доля всех этих насмешек падала на мою дуэль, причиной которой была та же самая женщина, на мою непобедимую страсть к ней — словом, на все мое поведение в этом деле. Выслушивая замечания по поводу того, что она заслуживает самых позорных прозвищ, что, в конце концов, это презренная женщина, быть может, совершившая поступки и похуже тех, которые стали известны, я с горечью ощущал, что и я был таким же обманутым глупцом, как многие другие.

Все это не нравилось мне. Молодые люди поняли это и стали сдержаннее, но у Деженэ были свои планы. Он задался целью излечить меня от моей любви и боролся с ней беспощадно, как с болезнью. Многолетняя дружба, основанная на взаимных услугах, давала ему известные права, и так как он действовал, как ему казалось, из самых благих побуждений, то он, не колеблясь, отстаивал эти права.

Поэтому он не только не щадил меня, но, заметив мое смятение и стыд, начал делать все, чтобы как можно более усилить эти чувства. Вскоре мое раздражение сделалось слишком явным, чтобы он мог продолжать, — тогда

он остановился и избрал политику молчания, которая сердила меня еще больше.

Настала моя очередь задавать вопросы. Я ходил взад и вперед по комнате. Мне невыносимо было слушать рассказ об этом происшествии, и все-таки я хотел услышать его еще раз. Я силился улыбаться, силился принять спокойный вид, но все было напрасно. Деженэ, выказавший себя вначале отвратительнейшим болтуном, внезапно онемел. Он хладнокровно смотрел, как я шагаю по комнате и беснуюсь, словно лисица в клетке зверинца.

Не могу выразить, что я испытывал. Женщина, которая так долго была кумиром моего сердца, потеря которой причинила мне такие жестокие страдания, единственная, кого я любил и кого хотел оплакивать до самой смерти, сделалась вдруг бесстыдной и наглой тварью, стала предметом непристойных шуток молодых людей, предметом всеобщего порицания и глумления! Мне казалось, что я ощущаю на своем плече прикосновение раскаленного железа, что я навсегда отмечен неизгладимым клеймом позора.

Чем больше я размышлял, тем больше стужался мрак вокруг меня. Время от времени я оборачивался и видел холодную усмешку или наблюдавший за мной любопытный взгляд. Деженэ не уходил. Он отдавал себе отчет в том, что делал: мы были старыми друзьями, и он хорошо знал, что я способен на любое безумство и что мой пылкий нрав может заставить меня перейти границы на любом пути, кроме одного. Вот почему он старался унижить мои страдания и проложить путь к моему сердцу, воздействуя на рассудок.

Наконец, увидев, что я дошел до того состояния, в какое ему хотелось меня привести, он решил, что настала минута нанести мне последний удар.

— Так вам не нравится эта история? — спросил он у меня. — Что ж! Я могу рассказать вам другую, более интересную, причем она является завершением первой. Дело в том, милый мой Октав, что сцена у госпожи происходила

в прекрасную лунную ночь. Так вот, говорят, что, пока оба любовника ссорились в доме своей дамы и собирались перерезать друг другу горло, на улице перед окнами снокойно разгуливал силуэт, который был очень похож на ваш и в котором узнали вашу особу.

— Кто это выдумал? — спросил я. — Кто видел меня на улице?

— Да ваша любовница собственной персоной. Она рассказывает об этом всем и каждому так же весело, как мы только что рассказали вам ее историю. Она уверяет, что вы еще любите ее, что вы дежурите у ее дверей, что вы... словом, все, что угодно... Хватит с вас и того, что она публично болтает об этом.

Я никогда не умел лгать, и всякий раз, как мне хотелось скрыть что-нибудь, лицо мое неизменно выдавало меня. Однако же самолюбие, стыд помешали мне признаться в своей слабости при свидетелях и заставили сделать над собой усилие. «Возможно, что я и был в то время на улице, — говорил я себе, — но ведь если бы я знал, что моя любовница еще хуже, чем я думал, то, уж конечно, не был бы там». В конце концов я убедил себя, что меня не могли видеть ясно, и сделал попытку отрицать. Я покраснел при этом так сильно, что сам почувствовал бесполезность притворства. Деженэ улыбнулся.

— Берегитесь, — сказал я ему, — берегитесь! Не заходите слишком далеко!

Я продолжал как безумный шагать по комнате, я не знал, на кого излить свою злобу. Мне бы следовало расхотаться, но уж это было свыше моих сил. В то же время очевидность фактов убеждала меня в том, что я был не прав.

— Да разве я знал? — вскричал я. — Разве я знал, что эта презренная женщина...

Деженэ сделал презрительную гримасу, словно говоря: «Вы знали вполне достаточно».

Я запнулся, потом начал бормотать бессвязные, нелепые фразы. В последние четверть часа я не переставал

волноваться, кровь моя разгорячилась, в висках стучало, я уже не мог отвечать за себя.

— Возможно ли, я — на улице, в слезах, в отчаянии, а у нее происходит эта сцена! Она глумилась надо мной, глумилась в эту ночь! Полно, Деженэ! Уж не приснилось ли вам все это? Неужели это правда? Неужели это возможно? Откуда вы знаете об этом?

Я сам не понимал, что говорю; я терял рассудок. И в то же время непреодолимый гнев овладевал мною все с большей силой. Наконец, измученный, я сел; у меня дрожали руки.

— Друг мой, — сказал Деженэ, — не принимайте этого так близко к сердцу. Уединенная жизнь, которую вы ведете вот уже два месяца, очень вредна для вас: я вижу, вам необходимо развлечься. Поедьте сегодня ужинать с нами, а завтра отправимся завтракать за город.

Тон, которым он произнес эти слова, задел меня более, чем все остальное. Я почувствовал, что ему жаль меня и что он относится ко мне как к ребенку.

Неподвижно сидя в углу, я тщетно силился хоть немного овладеть собой. «Как, — думал я, — обманутый этой женщиной, отравленный чудовищными советами окружающих, ни в чем не находя прибежища — ни в работе, ни в усталости, я имел в двадцать лет единственное спасение от отчаяния и порока — святую и мучительную скорбь... И вот... о боже!.. даже эта скорбь, эта священная реликвия моего горя, разбита в моих руках! Теперь оскорбляют уже не любовь мою, оскорбляют мое отчаяние! Глумиться! Она может глумиться над моими слезами!..» Это казалось мне невероятным. Все воспоминания прошлого прихлынули к моему сердцу при мысли об этом. Все ночи нашей любви, одна за другой, как призраки, встали предо мною. Вот они склоняются над бездонной пропастью, бесконечной и мрачной, как небытие, и над глубинами ее раздаётся чей-то негромкий насмешливый хохот: «Вот твоя награда!»

Если бы я узнал только одно — что надо мной смеется свет, — я бы ответил: «Тем хуже для света», и это даже не рассердило бы меня. Но одновременно я узнал и другое, я узнал, что моя любовница — бесчестная женщина. Итак, с одной стороны, я был осмеян публично, мой поступок был удостоверен, подтвержден двумя свидетелями, которые, прежде чем рассказать, что видели меня, конечно, не преминули пояснить, при каких обстоятельствах это происходило: итак, свет был прав, осуждая меня. С другой стороны, что мог я ответить ему? К чему привязаться? Чему посвятить свои мысли? Чем заняться, если средоточие моей жизни, если само сердце мое было опустошено, разбито, уничтожено? Да что я говорю? Если эта женщина, ради которой я бы пошел на что угодно — на осмеяние и на позор, ради которой я вынес бы самое тяжкое бремя несчастья, если эта женщина, которую я любил и которая любила другого, женщина, которую я уже не просил о любви и от которой не хотел ничего, кроме позволения плакать у ее порога, кроме позволения вдали от нее посвятить свою молодость воспоминанию о ней и начертать ее имя — только ее, и ничье другое — на могиле моих надежд, если эта женщина... Ах, когда я думал об этом, мне казалось, что я умираю... Ведь это она, эта женщина, смеялась надо мной, она, она первая показала на меня пальцем и отдала на растерзание той праздной толпе, тем пустым и скучающим людям, которые глумятся над всеми, кто презирает и забывает их. Это ее губы, столько раз прижимавшиеся к моим, ее тело, которое было душой моей жизни, моей плотью и моей кровью, это она, это она нанесла мне оскорбление — самое жестокое, самое подлое и самое горькое из всех — безжалостный смех, плюющий в лицо скорби.

Чем больше я углублялся в свои мысли, тем сильнее разгорался мой гнев. Впрочем, был ли то гнев? Я и сам не знаю, как назвать волновавшее меня чувство. Несомненно одно — что безудержная жажда мести в конце концов одержала верх. Но как отомстить женщине? Я бы отдал

все на свете, чтобы иметь в своем распоряжении оружие, которое могло бы ранить ее, но у меня не было этого оружия, у меня не было даже и того, каким воспользовалась она: я не мог отвечать ей на ее языке.

И вдруг я заметил за занавеской стеклянной двери чью-то тень. Это была проститутка, которая ждала меня в комнатке рядом.

Я совершенно забыл о ней.

— Послушайте! — вскричал я в исступлении, вскакивая с места. — Я любил, я любил как безумец, как глупец. Я заслужил любые ваши насмешки. Но, черт возьми, сейчас я покажу вам кое-что, и вы убедитесь, что я все же не так глуп, как вам кажется.

С этими словами я толкнул ногой стеклянную дверь, которая открылась, и показал молодым людям на девушку, забившуюся в угол.

— Войдите же, — предложил я Деженэ. — Вы считаете безумием любить порядочную женщину, вы любите только девок — так взгляните на образчик вашей высокой мудрости, взгляните на особу, развалившуюся здесь, в этом кресле. Спросите у нее, всю ли ночь я провел под окнами госпожи ***, она кое-что расскажет вам об этом... Но это еще не все, — добавил я, — это еще не все, что я хочу сказать вам. Сегодня у вас ужин, завтра — загородная прогулка! Отлично, я еду с вами, и вы можете мне поверить, потому что с этой минуты я уже не покину вас. Мы будем неразлучны, мы проведем весь день вместе. У вас будут рапиры, карты, кости, пунш — все, что вы пожелаете, только не оставляйте меня одного. Итак, мы принадлежим друг другу — согласны? Я хотел сделать из своего сердца мавзолеей любви; теперь я выброшу эту любовь в другую могилу; клянусь богом, я сделаю это, если бы даже мне пришлось вырвать ее вместе с собственным сердцем.

Сказав это, я сел на прежнее место, и, когда друзья мои вошли в смежную комнатку, я ощутил, сколько радости может доставить удовлетворенное самолюбие. Если же найдется человек, которого удивит, что с этого дня я

совершенно изменил свою жизнь, то он не знает человеческого сердца, не знает, что можно двадцать лет колебаться перед тем, как сделать шаг, но нельзя отступить, когда он уже сделан.

ГЛАВА 2

Когда учишься распутству, чувствуешь что-то вроде головокружения: вначале испытываешь какой-то ужас, смешанный с наслаждением, как на высокой башне. Робкий и тайный разврат унижает самого благородного человека, а в откровенном и смелом разгуле, в том, что можно назвать распутством на вольном воздухе, есть известное величие даже для человека самого порочного. Тот, кто с наступлением ночи, закутавшись в плащ, отправляется урядкой грязнить свою жизнь и тайком стряхивает с себя дневное лицемерие, похож на итальянца, который, не осмеливаясь вызвать врага на дуэль, наносит ему удар в спину. От укромного угла, где прячется человек, от ожидания ночи пахнет убийством, тогда как завсегдатая шумных оргий можно счесть почти что воином; тут есть нечто напоминающее битву, какая-то видимость надменной борьбы. «Все это делают и скрывают; делай это и не скрывай». Так говорит гордость, и стоит только надеть эту броню, как в ней уже отражается солнце.

Говорят, что Дамокл видел над своей головой меч. Вот так и над развратниками словно нависает нечто такое, что беспрестанно кричит им: «Продолжай, продолжай, я держусь на волоске!» Экипажи с масками, которые видишь в дни карнавала, — точная картина их жизни. Обветшала, открытая всем ветрам карета, пылающие факелы, которые озаряют густо набеленные лица; одни хохочут, другие поют; тут же суетятся какие-то существа, похожие на женщин, — это и в самом деле жалкие подобия женщин, еще не вполне утративших человеческий облик. Их ласкают, их оскорбляют, не зная, ни как их зовут, ни кто они такие. Все это, вместе взятое, колыхнется и пока-

чивается под горящей смолой факелов, в бездумном опьянении, над которым, говорят, надзирает некое божество. Иногда маски как будто наклоняются друг к другу и целуются. Кто-то вываливается от толчка на ухабе — что за важность? Одни откуда-то появляются, другие куда-то исчезают, и лошади несутся вскачь.

Но если первое, что вызывает в нас зрелище распутства, — это удивление, то второе — омерзение, а третье — жалость. В нем действительно столько силы, или, вернее, такое злоупотребление силой, что зачастую люди самого возвышенного умственного и душевного склада невольно поддаются ему. Это кажется им отважным, опасным, и таким образом они расточают самих себя. Они привязаны к распутству, как Мазепа был привязан к дикому коню, они срастаются с ним, они делаются кентаврами и не замечают ни кровавого следа, который оставляют на деревьях лоскутья их кожи, ни волчьих глаз, которые багровеют, глядя им вслед, ни пустыни, ни стаи воронов.

Я окунулся в эту жизнь под влиянием обстоятельств, о которых уже говорил, и теперь должен рассказать, что я там видел.

Когда я впервые увидел пресловутые сборища, называемые театральным балом-маскарадом, мне уже доводилось слышать о кутежах времен Регентства и о французской королеве, переодетой продавщицей фиалок. А на этих маскарадах я встретил продавщиц фиалок, переодетых маркитантками. Я ожидал найти там разврат, но, право же, его там нет. Увидев только потасовку, копоть и мертвецки пьяных девок среди разбитых бутылок, не назовешь все это развратом.

Когда я впервые увидел застольные кутежи, мне уже доводилось слышать об ужинах Гелиогабала и об одном греческом философе, который создал из чувственных наслаждений своего рода культ. Я ожидал найти нечто напоминающее если не радость, то хотя бы забвение, а нашел там то, что хуже всего на свете, — скуку, пытающуюся насладиться жизнью, и англичан, которые говорили друг

другу: «Я делаю то-то и то-то, стало быть, я веселюсь. Я заплатил столько-то золотых, стало быть, я испытываю столько-то удовольствия». И они перетирают на этом жернове свою жизнь.

Когда я впервые увидел куртизанок, мне уже доводилось слышать об Аспазии, которая, сидя на коленях у Алкивиада, вела споры с Сократом. Я ожидал какой-то развязности, наглости и вместе с тем веселости, добродушия и живости, чего-то искрометного, как шампанское, а нашел разинутый рот, неподвижный взгляд и вороватые руки.

Когда я впервые увидел титулованных куртизанок, я уже читал Боккаччо, Банделло и прежде всего Шекспира. Мне снились разряженные красавицы, эти херувимы ада, эти непринужденные в обращении прожигательницы жизни, которым кавалеры «Декамерона» при выходе из церкви подают освященную воду. Много раз я набрасывал карандашом такие головки, столь поэтично безрассудные, столь изобретательные в своей отваге; я представлял себе этих сумасбродных возлюбленных, которые, метнув в вас взглядом, заставляют пережить целый роман и шествуют по жизни плавной и в то же время стремительной поступью, словно некие сирены. Я помнил тех фей из «Новых новелл», что всегда опьянены любовью, если не пьяны ею. А нашел я женщин, которые только и знают, что пишут уйму писем и назначают точные часы свиданий, умеют лгать незнакомым людям и прятать свою низость под маской лицемерия и для которых вся жизнь и вся любовь сводятся к тому, чтобы отдалиться, а потом позабыть.

Когда я впервые вошел в игорный дом, мне уже доводилось слышать о потоках золота, о целых состояниях, выигранных в какие-нибудь четверть часа, и об одном вельможе при дворе Генриха IV, который выиграл на одну карту сто тысяч экю — стоимость его платья. Я же нашел гардеробную, где рабочие, имеющие всего одну рубашку, берут напрокат фрак за двадцать су в вечер, где у

входа сидят жандармы, а голодные люди ставят на карту последний кусок хлеба и, проигравшись, пускают себе плю в лоб.

Когда я впервые увидел те сборища, публичные или закрытые, куда находит доступ та или иная из тридцати тысяч женщин, которым в Париже позволено продаваться, мне уже доводилось слышать о сатурналиях всех времен, о всевозможных оргиях, от эпохи Вавилона до Древнего Рима, от храма Приапа до Оленьего парка, и я всегда видел одно слово, начертанное у входа: «Наслаждение». В наши дни я тоже нашел там всего лишь одно слово, оставшееся от тех времен: «Проституция», но вовеки неизгладимое, вырезанное не на том благородном металле, который имеет цвет солнца, а на самом бледном, как бы окрашенном тусклыми лучами холодного ночного светила, — на серебре.

Когда я впервые увидел толпу... это было в одно ужасное утро, в первый день Великого поста, при возвращении масок из Куртиля. С вечера шел мелкий леденящий дождь; улицы превратились в лужи грязи. Экипажи с масками, сталкиваясь и задевая друг друга, двигались беспорядочной вереницей между двумя длинными шпалерами уродливых мужчин и женщин, стоявших на тротуарах. У мрачных зрителей, что стояли стеной, притаилась в покрасневших от вина глазах ненависть тигра. Выстроившись на целую милю в длину, все эти люди что-то ворчали сквозь зубы и, хотя колеса экипажей касались их груди, не отступали ни на шаг. Я стоял во весь рост на передней скамейке, верх у коляски был откинут. Время от времени какой-нибудь человек в лохмотьях выходил из шпалеры, изрыгал нам в лицо поток ругательств, а потом осыпал нас мукóй. Вскоре в нас начали бросать комьями грязи, однако мы продолжали наш путь, направляясь к Иль-д'Амур и прелестной роще Роменвиля, под сенью которой было подарено некогда столько нежных поцелуев. Один из наших друзей, сидевший на козлах, упал на мостовую и чуть не разбился насмерть. Толпа набросилась на него, чтобы

уничтожить. Нам пришлось выскочить из экипажа и броситься к нему на помощь. одному из трубачей, ехавших верхом впереди нас, швырнули в плечо булыжником — не хватило муки. Ни о чем подобном мне никогда не доводилось слышать.

Я начинал познавать наш век и понимать, в какое время мы живем.

ГЛАВА 3

Деженэ собрал у себя на даче молодежь. Лучшие вина, великолепный стол, карточная игра, танцы, прогулки верхом — все было к услугам гостей. Деженэ был богат и славился своей щедростью. Он отличался античным гостеприимством, которое сочеталось у него с нравами нынешнего времени. К тому же в его доме можно было найти самые лучшие книги; его разговор изобличал в нем человека образованного и воспитанного. Этот человек положительно был загадкой.

Я к нему являлся в молчаливом расположении духа, которое ничто не могло преодолеть; он всячески старался щадить меня. Я не отвечал на его вопросы, он перестал задавать их; главное для него было, чтобы я забыл мою любовницу. Я ездил на охоту, я оказывался за столом столь же хорошим собутыльником, как и другие, и большего он с меня не спрашивал.

На свете немало подобных людей; они всей душой хотят оказать вам услугу и, не задумываясь, швырнут в вас булыжник, чтобы раздавить кусающую вас муху. Они хлопчут только об одном — как бы помешать вам поступить ненадлежащим образом, другими словами — не могут успокоиться, пока не сделают вас похожими на них самих. Достигнув любым способом этой цели, они радостно потирают руки; им и невдомек, что вы можете попасть из огня да в полымя. Все это делается из дружбы.

Одно из величайших несчастий неискушенных юношей заключается в том, что они представляют себе мир в

соответствии с первыми впечатлениями, которые их поразили; но, сказать правду, есть также порода других несчастных людей — это те, что в подобном случае всегда оказываются тут как тут и говорят юноше: «Ты прав, что веришь в зло, мы по опыту знаем это». Мне доводилось слышать, например, об одном странном явлении: это было как бы нечто среднее между добром и злом, некое соглашение между бессердечными женщинами и достойными их мужчинами; они называли это мимолетным чувством и говорили о нем, точно о паровой машине, изобретенной каким-то каретником или подрядчиком по строительной части. Они говорили мне: «В подобных случаях улаживаются о том-то и о том-то, произносят такие-то фразы, которые вызывают в ответ другие, пишут письма таким-то образом, а на колени становятся — таким-то». Все было заранее предусмотрено у них, словно они собирались на некий парад, а волосы у этих милейших людей были седые.

Это казалось мне смешным. На мое несчастье, я не могу сказать женщине, которую презираю, что питаю к ней любовь, не могу, даже зная, что это одна условность и что она не будет введена в заблуждение. Я никогда не повергался на колени, не повергая при этом и моего сердца. Поэтому те женщины, которых называют доступными, незнакомы мне, или если я и попадался им на удочку, то по незнанию и простодушию.

Я понимаю, что можно забыть о своей душе, но не могу допустить, чтобы к ней грубо прикасались. Мне скажут, что в этих словах сквозит гордость, — возможно: я не собираюсь ни превозносить, ни умалять себя. Больше всего я ненавижу женщин, которые насмеются над любовью, и разрешаю им платить мне тем же чувством; между нами никогда не будет спора.

Эти женщины стоят гораздо ниже куртизанок. Куртизанки могут лгать, и эти женщины тоже, но куртизанки могут любить, а эти женщины любить не могут. Я вспоминаю одну куртизанку, любившую меня и сказавшую чело-

веку, который был в три раза меня богаче и с которым она жила: «Вы мне надоели, я ухожу к моему любовнику». Эта продажная женщина была лучше многих других, за чьи ласки не платят.

Я прожил все лето в доме у Деженэ, где узнал, что моя любовница уехала и что она покинула Францию; это известие вызвало в моей душе тоску, которая больше меня не покидала.

При виде столь нового для меня общества, окружавшего меня на этой даче, я почувствовал сначала странное любопытство, глубокое и печальное, которое заставило меня, словно пугливую лошадь, смотреть на все косым взглядом. Вот что явилось первым к тому поводом.

У Деженэ была в то время на редкость красивая любовница, которая его очень любила. Гуляя с ним однажды вечером, я сказал Деженэ, что отдаю ей должное, то есть что восхищаюсь ее красотой и ее привязанностью к нему. Словом, я с жаром расхвалил ее и дал ему понять, что он должен считать себя счастливым.

Деженэ ничего не ответил. Такова была его манера, и я всегда считал его самым сухим человеком на свете. Настала ночь, все разошлись по своим комнатам; спустя четверть часа после того, как я лег спать, раздался стук в мою дверь. Я крикнул: «Войдите», решив, что это кто-нибудь из гостей, страдающих бессонницей.

Вошла женщина, полуобнаженная, бледнее смерти и с букетом в руке. Она приблизилась ко мне и подала букет; к нему был привязан листок бумаги, на котором я увидел следующие несколько слов: «Октаву от его друга Деженэ с условием отплатить тем же».

Едва я прочитал это, как меня словно что-то озарило. Я понял все, что заключалось в этом поступке Деженэ, пославшего мне свою любовницу и, таким образом, сделавшего мне своего рода подарок на турецкий лад. Насколько я знал его характер, тут не было ни показного великодушия, ни проявления нравственной неразборчивости; было только желание дать мне урок. Эта женщина любила

его; я расхвалил ее в беседе с ним, и он хотел научить меня не влюбляться в нее — все равно, приму ли я его дар или откажусь от него.

Все это навело меня на размышления. Бедняжка плакала и не смела утереть слезы, боясь, что я их замечу. Чем пригрозил ей Деженэ, уговаривая пойти ко мне? Этого я не знал.

— Не огорчайтесь, мадемуазель, — сказал я ей. — Идите к себе и ничего не бойтесь.

Она ответила, что, если выйдет раньше утра из моей комнаты, Деженэ отошлет ее обратно в Париж, что мать ее бедна и что она не решается уйти.

— Понимаю, — сказал я, — ваша мать бедна, вы, вероятно, тоже, и если бы я захотел, вы повиновались бы Деженэ. Вы красивы, и это могло бы соблазнить меня. Но вы плачете, а так как плачете вы не обо мне, то остальное мне не нужно. Уходите, я позабочусь о том, чтобы вас не отослали в Париж.

У меня есть одна особенность: склонность к размышлению, которая у большинства людей составляет незыблемое и постоянное свойство ума, во мне не более как инстинкт, независимый от моей воли и овладевающий мной приступами, подобно бурной страсти. Эта склонность появляется у меня время от времени, совершенно неожиданно, вопреки моей воле и независимо от того, где я нахожусь. Но уж если она возникла, я ничего не могу с ней поделать. Она увлекает меня, куда ей вздумается, и по тому пути, по какому ей хочется.

Когда эта женщина ушла, я сел в постели и сказал себе:

«Друг мой, сам бог ниспослал тебе это. Если бы Деженэ не захотел подарить тебе свою любовницу, он, быть может, не ошибся бы, думая, что ты влюбишься в нее.

Хорошо ли ты рассмотрел ее? Величайшая и божественная тайна свершилась в зачатом ее чреве. Подобное существо потребовало от матери-природы самого бдительного попечения; а между тем человек, который хочет излечить тебя, не нашел ничего лучшего, как заставить

тебя прильнуть к ее устам и тем самым отучить тебя от любви.

Отчего это так? Другие люди, без сомнения, тоже восхищались ею, но не подвергались никакому риску; она могла испытать на них любые свои чары; тебе одному грозила опасность.

Однако, какова бы ни была жизнь этого Деженэ, должно же у него быть сердце, раз он живет! Чем он отличается от тебя? Это человек, который ни во что не верит и ничего не боится, у которого нет никаких забот и, быть может, никаких огорчений. Ясно, что легкий укус в пятку привел бы его в ужас: что случилось бы с ним, если бы ему изменило его тело? Ведь тело — это единственное, что еще не умерло в нем. Что же это за существо, которое обращается со своей душой так, как самобичующиеся — со своей плотью? И разве можно жить без разума?

Подумай вот о чем. Представь себе человека, который держит в объятиях самую красивую женщину в мире; он молод и пылок, он находит ее красавицей и говорит ей это; она отвечает, что любит его. Затем кто-то хлопает его по плечу и говорит ему: «Она продажная женщина». Ничего больше — дело сделано. Если бы ему сказали: «Она отравительница», он, может быть, продолжал бы любить ее; он подарил бы ей ровно столько же поцелуев. Но это девка, и о любви так же мало будет речи, как о планете Сатурн.

Что же это за слово? Справедливое, заслуженное, неоспоримое, клеймящее слово — согласен. Но ведь все-таки — только слово. Разве тело убивают словом?

А если ты его любишь, это тело? Тебе наливают стакан вина и говорят: «Не люби этого вина, на шесть франков можно купить четыре стакана». А если ты захмелеешь?

Но ведь Деженэ любит свою любовницу, раз он ей платит. Или у него особая манера любить? Нет, его манера любить — это не любовь, и он так же не чувствует любви к женщине, достойной ее, как и к той, которая ее недостой-

на. Он просто никого не любит, только и всего. Кто же довел его до этого? Родился ли он таким или сделался впоследствии? Любить так же естественно, как пить и есть. Он не человек. Что же он — карлик или гигант? Как? Неужели он всегда уверен в своем бесстрастном теле? Вплоть до того, что безбоязненно кидается в объятия женщины, которая его любит? Как? Даже не бледнея? Никогда не знать другой мены, как только золота на ласки? Что же это за пир — его жизнь и какие пьют напитки из его кубков? И вот в тридцать лет он как старик Митридат — змеиные яды ему привычны и безвредны.

Тут есть великий секрет, дитя мое, ключ, которым надо завладеть. Какими бы рассуждениями ни стали мы оправдывать распутство, можно доказать, что оно естественно один день, один час, сегодня вечером, но не завтра, не ежедневно. Нет на земле ни одного народа, который не смотрел бы на женщину либо как на спутницу и утешение мужчины, либо как на священное орудие его жизни и не чтил бы ее в этих обоих образах. Но вот вооруженный воин прыгает в пропасть, которую бог своими руками вырыл между человеком и животным; уж лучше было бы отречься от дара речи. Кто же тот немой Титан, что осмеливается заглушить поцелуями тела любовь духа и накладывает на свои уста клеймо, превращающее его в неразумную тварь, — печать вечного молчания?

Тут есть нечто неразгаданное. Тут чувствуется дуновение ветра, несущегося из тех зловещих дебрей, которые называют тайными сообществами, одна из тех тайн, какие ангелы, сеющие разрушение, нашептывают друг другу, когда ночь спускается на землю. Такой человек хуже или лучше того, каким создал его бог. Чрево у него подобно чреву бесплодных женщин: либо природа недоделала его, либо там разрослась во мраке какая-то ядовитая трава. Так вот, ни работа, ни занятия науками не могли излечить тебя, друг мой. Забыть и понять — вот твой девиз. Ты перелистывал мертвые книги, но ты слишком молод для развалин. Посмотри вокруг себя: тебя окружает бесцвет-

ное людское стадо. Среди божественных иероглифов сверкают глаза сфинксов, разбери письмена книги жизни! Мужайся, новичок, бросайся в непобедимую реку Стикс, и пусть ее траурные воды несут тебя к смерти или к богу».

ГЛАВА 4

«Все, что тут было благого, — если допустить, что тут могло быть и нечто благое, — это то, что ложные наслаждения являлись семенами скорби и горечи, доводившими меня до крайнего изнеможения». Таковы простые слова, которые говорит о своей юности самый человечный из всех людей — блаженный Августин. Не многие из тех, кто поступал подобно ему, сказали бы эти слова, но у всех они в сердце; я не нахожу в моем сердце иных. Вернувшись в декабре в Париж, я проводил всю зиму в увеселительных поездках, бывал на маскарадах и званых ужинах, почти не расставаясь с Деженэ, который восторгался мною; я же был от себя далеко не в восторге. Чем дольше я жил такой жизнью, тем сильнее ощущал в себе душевную тревогу. Вскоре мне стало казаться, что этот столь странный мир, который я на первый взгляд счел бездонной пропастью, суживается, так сказать, на каждом шагу; там, где мне раньше чудился призрак, я, подходя ближе, различал только тень. Деженэ спрашивал меня, что со мной.

— А с вами-то что? — спрашивал я. — Не вспоминается ли вам кто-нибудь из умерших родственников? Не открылась ли у вас от сырой погоды какая-нибудь старая рана?

И по временам мне казалось, что, не отвечая мне, он меня понимает. Мы кидались к столу и пили до потери сознания; среди ночи мы брали почтовых лошадей и ехали завтракать за десять-двенадцать лье от города; вернувшись, принимали ванну, потом шли обедать, потом сидели за карточный стол, потом шли спать; и когда наконец я оказывался у моей постели, я... я запирал дверь на

задвину, падал на колени и плакал. То была моя вечерняя молитва.

Странное дело! Подстрекаемый гордостью, я старался прослыть таким, каким я, в сущности, не был вовсе. Я похвалялся поступками, худшими, чем те, что я совершал на самом деле, и находил в этом хвастовстве своеобразное удовольствие, смешанное с грустью. Если я действительно делал то, о чем рассказывал, то не испытывал ничего, кроме скуки, но если я выдумывал какое-нибудь сумасбродство, историю о каком-нибудь кутеже или рассказ об оргии, на которой меня не было, мне почему-то казалось, что я чувствую себя более удовлетворенным.

Всего тяжелей мне бывало тогда, когда мы предпринимали увеселительную поездку в один из тех уголков в окрестностях Парижа, где я бывал прежде с моей любовницей. Я впадал в какое-то оцепенение, я уходил один в сторону, с беспредельной горечью глядя на кусты и деревья, и даже ударял их ногой, словно затем, чтобы обратить их в прах. Потом я возвращался, без конца повторяя сквозь зубы: «Бог невзлюбил меня, бог невзлюбил меня». И потом по целым часам не произносил ни слова.

Пагубная мысль, что истина — это нагота, снова приходила мне на ум по всякому поводу.

«Свет, — говорил я себе, — называет свои румяна добродетелью, свои четки — религией, свой волочащийся плащ — благопристойностью. Честь и нравственность — его горничные; он пьет в своем вине слезы нищих духом, которые в него верят; пока солнце на небе, он прогуливается, потупив взор; он ходит в церковь, на бал, на светские собрания, а когда наступает вечер, он развязывает пояс своего платья, и тогда видишь нагую вакханку с козлиными ногами».

Но, рассуждая так, я сам себе внушал ужас, ибо понимал, что если под платьем тело, то под телом — скелет. «Возможно ли, что это и все?» — невольно спрашивал я себя.

Потом я возвращался в город, встречал на своем пути хорошенькую девочку, которую за руку вела мать, взды-

мая, провожал ее глазами и сам как бы вновь становился ребенком.

Хотя я теперь ежедневно общался с моими друзьями и мы внесли в наш беспорядочный образ жизни известный распорядок, я по-прежнему бывал в свете. При виде женщин я испытывал там невыносимое волнение и всегда с трепетом касался женской руки. И все же я твердо решил никогда больше не любить.

Но однажды вечером я вернулся с бала с таким томлением в сердце, что почувствовал — это любовь. За ужином я оказался подле одной женщины, самой очаровательной и утонченной из всех, о ком я сохранил воспоминание. Когда, собираясь уснуть, я закрыл глаза, то увидел ее перед собою. Я счел себя погибшим и тотчас решил не встречаться с ней больше, даже перестать бывать в тех домах, где, как я знал, бывала она. Эта лихорадка длилась две недели, и все это время я почти сплошь пролежал на диване, невольно без конца вспоминая все, вплоть до самых незначущих слов, которые мы сказали друг другу.

Нет в мире такого места, где бы люди более интересовались своим соседом, чем в Париже, а потому вскоре все знакомые, встречавшие меня в обществе Деженэ, объявили меня самым заядлым распутником. Меня удивило мнение света: насколько меня считали простаком и неискушенным новичком, когда я порвал с моей любовницей, настолько теперь меня считали человеком бесчувственным и черствым. Мне говорили даже, что, без сомнения, я никогда не любил эту женщину, что любовь была для меня только забавой, и, говоря это, все думали, что делают мне большой комплимент. А хуже всего было то, что их слова приводили меня в восторг, — так велико было преисполнявшее меня жалкое тщеславие.

Я настойчиво стремился прослыть пресыщенным человеком, а в то же время был полон желаний, и пылкое воображение уносило меня в беспредельную даль. Я начал утверждать, что женщины нисколько меня не интересуют. Мой ум истощался в химерах, и я говорил, что предпо-

читаю их действительности. Короче говоря, единственным моим удовольствием было извращать свою сущность. Стоило мне заметить, что какая-нибудь мысль представляется необычной, что она оскорбляет здравый смысл, — и я уже принимался ее отстаивать, рискуя высказывать самые предосудительные взгляды.

Самым большим моим недостатком была готовность подражать всему, что меня поражало — не красотой своей, а странностью, но, не желая признать себя подражателем, я вдавался в преувеличения, чтобы казаться оригинальным. Мне представлялось, что не существует ничего хорошего или хотя бы сносного, нет такой вещи, ради которой бы стоило обернуться. И все же, как только я разгорался в споре, я уже не находил во французском языке достаточно высокопарного выражения, чтобы похвалить то, что защищал. Однако достаточно было спорщикам присоединиться к моему мнению, как пыл мой тотчас угасал.

Это было естественным следствием моего поведения. Чувствуя отвращение к той жизни, которую я вел, я тем не менее не хотел изменить ее.

Simigliante a quella 'nferma
Che non può trovar posa in su le piume,
Ma con dar voltà, suo dolore scherma.

Dante¹.

Так я терзал мой ум, чтобы обмануть его, и впадал во всевозможные заблуждения, стараясь не быть самым собой.

Но пока мое тщеславие предавалось таким занятиям, сердце мое страдало, и во мне почти всегда было два чело-

¹ Ты — как та больная,
Которая не спит среди перин,
Ворочаясь и отдыха не зная (*ит.*).
Данте. Божественная комедия («Чистилище», песнь VI).
Перевод М. Лозинского.

века: один из них смеялся, а другой плакал. Это было как бы постоянное отраженное действие головы на сердце. Мои собственные насмешки порой причиняли мне величайшее мучение, а самые глубокие мои печали вызывали во мне желание расхохотаться.

Один человек похвалился, что он недоступен суеверным страхам и ничего не боится. Друзья положили ему в постель человеческий скелет и спрятались в соседней комнате, намереваясь понаблюдать за ним, когда он придет домой. Они не услышали никакого шума, но, войдя наутро к нему в комнату, увидели, что он сидит в постели и со смехом перебирает кости, — он потерял рассудок.

Во мне было нечто похожее на этого человека, но только моими излюбленными костями были кости дорогого моему сердцу скелета — то были обломки моей любви, все, что осталось мне от прошлого.

Все же было бы неверно утверждать, что во всем этом распутстве не было и хороших минут. Приятели Деженэ были людьми незаурядными, среди них было много художников и литераторов. Иногда, собираясь якобы кутить и распутничать, мы проводили вместе восхитительные вечера. Один из этих молодых людей был в то время влюблен в красивую певицу, которая пленяла нас своим чистым и меланхоличным голосом. Сколько раз мы, бывало, усевшись в кружок, продолжали слушать ее пение, в то время как стол уже был накрыт. Сколько раз, бывало, в тот миг, когда вылетали из бутылок пробки, один из нас держал в руке томик Ламартина и взволнованным голосом читал его стихи! Надо было видеть, как улетучивались тогда все другие мысли! Часы мелькали, и когда мы — странные распутники! — садились за стол, никто не говорил ни слова, и на глазах у нас выступали слезы.

Особенно Деженэ, в обычное время самый холодный и сухой человек на свете, был в такие дни неузнаваем. Он предавался чувствам столь необычайным, словно это был поэт в экстазе. Но после этих сердечных излияний его, случалось, охватывало какое-то яростное веселье. Разго-

ряченный вином, он сокрушал все: дух разрушения во всех своих боевых доспехах овладевал им, и я не раз видел, как он среди своих безумств швырял стул в закрытое окно с таким грохотом, что хотелось бежать прочь.

Я не мог не сделать этого человека предметом особого изучения. Он казался мне характерным представителем людей такого разряда, которые, видимо, где-то существуют, но мне неизвестны. Когда он совершал какой-нибудь странный поступок, непонятно было, что это — отчаяние больного или причуда избалованного ребенка.

Праздники приводили его в состояние особенного нервного возбуждения, и тогда он вел себя как настоящий школьник. Он проявлял тогда такую нарочитую невозмутимость, что можно было умереть со смеху. Однажды он уговорил меня выйти вдвоем под вечер в масках, нарядившись в причудливые костюмы, причем мы захватили с собой музыкальные инструменты. Мы с важным видом расхаживали так всю ночь среди ужаснейшей кутерьмы. Заметив, что кучер какой-то наемной кареты спит, сидя на козлах, мы выпрягли лошадей, после чего, сделав вид, будто отправляемся с бала домой, стали громко подзывать его. Кучер проснулся, хлестнул лошадей, и они пустились рысцой, а он на своем высоком сиденье так и остался неподвижен. В тот же вечер мы побывали на Елисейских Полях. Увидев другую проезжавшую мимо карету, Деженэ остановил ее, точно какой-то грабитель, и, запугав кучера угрозами, принудил его сойти с козел и лечь животом наземь. Это было преуморительно. Тем временем Деженэ открыл дверцу кареты, и мы обнаружили в ней молодого человека и даму, замерших от испуга. Деженэ велел мне последовать его примеру, открыл обе дверцы, и мы стали входить в одну и выходить в другую, так что бедным седокам чудилось в темноте, будто мимо них движется целая процессия бандитов.

Мне кажется, люди, утверждающие, будто свет обогащает житейским опытом, сами удивляются тому, что им верят. Свет — всего лишь множество вихрей, и между эти-

ми вихрями нет никакой связи: все несутся стаями, точно птицы. Различные кварталы одного города не имеют между собой никакого сходства, и какой-нибудь человек с Шоссе д'Антен может столь же многому научиться в Марэ, как и в Лиссабоне. Верно лишь то, что через эти различные вихри проносятся, с тех пор как существует мир, семь неизменных персонажей: первый зовется надеждой, второй — совестью, третий — общественным мнением, четвертый — завистью, пятый — печалью, шестой — гордостью, а седьмой называется человеком.

Итак, мы, я и мои приятели, были стаей птиц и, то играя, то разъезжая по свету, держались вместе до весны...

«Но при всем том, какие же у вас были женщины? — спросит читатель. — Я не вижу тут распутства, самого распутства».

О жалкие создания, носившие имена женщин и точно сон промелькнувшие в жизни, которая сама была лишь сном, — что мне сказать о вас? Может ли сохраниться какое-нибудь воспоминание там, где никогда не было и тени надежды? Где мне найти вас? Есть ли в человеческой памяти что-либо более безмолвное? Есть ли что-либо более забытое, чем вы?

Если говорить о женщинах, я назову двух. Вот одна.

Судите сами, что делать бедной швее, молоденькой и привлекательной, когда ей восемнадцать лет и она полна желаний? На прилавке у нее роман, где говорится только о любви; она невежественна, не имеет никакого понятия о нравственности, вечно шьет у окна, перед которым, по распоряжению полиции, не проходят больше церковные процессии, но перед которым бродит каждый вечер десяток публичных женщин, имеющих свидетельство о состоянии здоровья и зарегистрированных той же полицией. Что ей делать, когда, утомив в течение целого долгого дня глаза и руки шитьем какого-нибудь платья или шляпки, она с наступлением темноты на минутку присядет у этого окна? Платье, которое она сшила, шляпка, которую она смастерила своими бедными, честными руками, что-

бы ее семье было сегодня на что поужинать, являются перед ее взором на голове и на теле публичной женщины. Тридцать раз в день перед ее дверью останавливается наемный экипаж, и из него выходит проститутка, нумерованная, как фиакр, в котором она разъезжает, и явившаяся пожеманиться с презрительным видом перед зеркалом, примерить, снять и десять раз снова надеть этот печальный наряд — плод усердных трудов и бессонных ночей. Швея видит, как эта женщина вынимает из кармана шесть золотых монет, а сама она получает одну, работая целую неделю. Она оглядывает проститутку с головы до ног, внимательно рассматривает ее драгоценности, провожает ее взглядом до экипажа; а потом — ничего не поделаешь — в темную ночь, когда у нее нет работы, когда мать ее больна, она приотворяет дверь, протягивает руку и останавливает какого-нибудь прохожего.

Такова была история одной девушки, которую я знал. Она немного играла на фортепьяно, умела немного считать, немного рисовать, даже знала немного историю и грамматику — словом, всего понемногу. Сколько раз я с жгучим состраданием смотрел на этот небрежный набросок природы, вдобавок искалеченный обществом! Сколько раз я следил за бледными, мерцающими проблесками этой страждущей и незрелой души, погруженной в глубокий мрак! Сколько раз я пытался раздуть погасшие уголья, зарытые под этой жалкой кучкой золы! Увы!.. Цвет ее длинных волос действительно напоминал золу, и мы прозвали ее Золушкой.

Я был недостаточно богат, чтобы нанять для нее учителей, и по моему совету ею занялся Деженэ. Он заставил ее заново учиться всему тому, что она немного знала прежде. Но она так и не сделала заметных успехов в чем бы то ни было: как только учитель удалялся, она подходила к окну и часами смотрела на улицу, скрестив руки. Какое времяпрепровождение! Какое убожество! Однажды я угрозил ей, что, если она не будет заниматься, я перестану давать ей деньги. Она безмолвно села за работу, но вскоре

я узнал, что она потихоньку убегает из дому. Куда она ходила? Бог знает. Я попросил ее, чтобы, перед тем как уйти совсем, она вышила мне кошелек. Я долго хранил эту грустную реликвию; она висела в моей комнате как один из самых мрачных памятников того упадка, что царит в этом мире.

А вот и другая история.

Было около десяти часов вечера, когда после шумного и утомительного дня мы явились к Деженэ, который опередил нас на несколько часов, чтобы сделать необходимые приготовления. Оркестр уже играл, и гостиная была полна народу.

Большинство приглашенных дам были из актрис. Мне объяснили, почему их ценят больше, чем других женщин: все оспаривают друг у друга знакомство с ними.

Не успел я войти, как вихрь вальса увлек меня. Это чудесное физическое упражнение всегда меня восхищало. Я не знаю другого танца, который во всех своих деталях был бы исполнен такого благородства, был бы более достоин молодости и красоты танцующей пары. Все танцы по сравнению с ним нелепая условность и предлог для пустой болтовни. Полчаса держать женщину в объятиях и увлекать ее за собой, трепещущую помимо ее воли, увлекать так, что нельзя сказать с уверенностью, оберегаете вы ее или совершаете над ней насилие, — это, право же, значит в какой-то степени обладать ею. Некоторые отдаются при этом с такой сладострастной стыдливостью, с таким нежным и чистым самозабвением, что вы не знаете, находясь рядом с ними, что вы ощущаете — страх или желание, не знаете, прижимая их к сердцу, замрете ли вы от наслаждения или ломаете их, как хрупкие стебли тростника. Должно быть, Германия, придумавшая этот танец, — страна, где умеют любить.

Я держал в объятиях великолепную танцовщицу одного из итальянских театров, приехавшую в Париж на время карнавала. Она была в костюме вакханки, сделанном из кожи пантеры. Никогда в жизни я не встречал созда-

ния более томного. Высокого роста, стройная, она вальсировала с поразительной быстротой, и все-таки ее движения казались медлительными. При взгляде на нее могло показаться, что она должна утомлять своего партнера, но вы не чувствовали ее, она кружилась, словно по волшебству. К ее груди был приколот пышный букет, аромат которого опьянял меня. При каждом едва заметном движении моей руки она изгибалась, словно индийская лиана, излучая какую-то мягкость, какую-то неотразимую негу, окутывавшую меня, словно душистое шелковое покрывало. При каждом повороте раздавалось чуть слышное позвякивание ее ожерелья, прикасавшегося к металлическому пояску. Все ее движения были так божественны, что она казалась мне какой-то прекрасной звездой, и при этом она улыбалась улыбкой феи, которая вот-вот улетит. Музыка вальса, нежная и сладострастная, как бы исходила из ее уст, а голова танцовщицы с целым лесом заплетенных в косы черных волос откидывалась назад, словно тяжесть этих волос была непосильна для ее шеи.

Когда вальс кончился, я убежал в один из будуаров и бросился в кресло. Сердце мое учащенно билось, я был потрясен. «О боже, возможно ли это? — вскричал я. — О великолепное чудовище! О дивная змея! Как ты извиваешься, как ты приковываешь к себе касаниями этой мягкой пятнистой кожи! Как хорошо научил тебя брат твой змей обвиваться вокруг древа жизни, держа яблоко во рту! О Мелузина, Мелузина! Сердца мужчин принадлежат тебе. Ты знаешь это, чаровница, хотя твоя ленивая томность и делает вид, будто ничего не замечает. Ты знаешь, что губишь, знаешь, что топишь, знаешь, что прикоснувшийся к тебе будет страдать. Ты знаешь, что люди умирают от твоей улыбки, от аромата твоих цветов, от дыхания твоего сладострастия. Вот почему ты отдаешься с такой истомой, вот почему так нежна твоя улыбка и так свежи твои цветы, вот почему ты так ласково кладешь руку на наши плечи. О боже, боже! Чего же хочешь ты от нас?»

Профессор Алле изрек ужасные слова: «Женщина — это нервы человечества, а мужчина — его мускулы». Сам Гумбольдт, этот великий ученый, сказал, что человеческие нервы окружены невидимой атмосферой. Я не говорю о мечтателях, которые следят за винтообразным полетом летучих мышей Спалланцани и думают, что нашли в природе шестое чувство. Тайны этой природы, которая нас создает, издевается над нами и убивает нас, и без того уже достаточно страшны; могущество ее достаточно глупо, чтобы надо было еще сгущать окружающий нас мрак. Но может ли мужчина считать, что он действительно жил на свете, если он отрицает могущество женщин? Если руки его ни разу не задрожали, когда он после танца выпускал из своих объятий прекрасную танцовщицу? Если он ни разу не испытал того непостижимого ощущения, того расслабляющего магнетизма, который посреди бала, под звуки оркестра, в духоте, застилающей блеск люстры, незаметно исходит от молодой женщины, наэлектризовывая ее самое, и витает вокруг нее, подобно аромату алоэ над раскачивающимся кадиллом?

Я был совершенно ошеломлен. То, что подобное опьянение существует, когда любишь женщину, не было для меня ново: мне был знаком ореол, которым мы окружаем возлюбленную. Но возбуждать такое бурное биение сердца, вызывать к жизни такие призраки только красотой, ароматом цветов и пестрой шкурой хищного зверя, только особыми движениями, особой манерой кружиться в вальсе, перенятой у какого-нибудь театрального плясуна, только округлостью прекрасной руки, — и все это без единого слова, без единой мысли, не достаивая даже заметить произведенное впечатление!.. Что же представлял собой хаос, если таково было творение семи дней?

Однако то, что я испытывал, не было любовью, это была какая-то жажда — не могу подобрать другого слова. Впервые я ощутил, как во мне зазвучала струна, чуждая моему сердцу. Вид этого красивого животного вызвал к жизни другое животное, дремавшее в глубине моего суще-

ства. Я отчетливо сознавал, что не сказал бы этой женщине, что люблю ее, что она мне нравится, не сказал бы даже и того, что она прекрасна. Мои губы хотели лишь одного — целовать ее губы, хотели сказать ей: «О, обвей меня этими ленивыми руками, положи ко мне на грудь эту склоненную голову, прильни к моему рту этой нежной улыбкой». Мое тело любило ее тело. Я был опьянен красотой, как вином.

Мимо меня прошел Деженэ и спросил, что я делаю здесь.

— Кто эта женщина? — спросил я.

— Какая женщина? О ком вы говорите?

Я взял его под руку и повел в залу. Итальянка заметила нас. Она улыбнулась. Я отступил назад.

— Ах, вот что! — сказал Деженэ. — Вы танцевали с Марко?

— Что это за Марко? — спросил я.

— Это та ленивая особа, которая смеется, глядя на нас. Нравится она вам?

— Нет, — ответил я, — я танцевал с ней вальс, и мне захотелось узнать ее имя, вот и все.

Я сказал это, движимый чувством стыда, но едва Деженэ отошел от меня, как я поспешил вслед за ним.

— Вы чересчур торопитесь, — сказал он со смехом. — Марко — не совсем обыкновенная девушка. Она любовница и почти жена господина де ***, нашего посла в Милане. Ко мне в дом ее привез один из его приятелей... Но я поговорю с ней, — добавил он. — Мы не дадим вам умереть — разве уж не найдем никакого средства спасти вас. Возможно, что удастся уговорить ее остаться ужинать.

С этими словами он отошел. Я испытал какое-то необъяснимое беспокойство, увидев, как он подошел к ней. Но они исчезли в толпе, и я не мог проследить за ними. «Неужели это правда? — спрашивал я себя. — Неужели я дойду до этого? И как! В один миг! О боже, неужели я люблю такую женщину?.. Впрочем, — подумал я, — ведь затронута только моя чувственность, сердце мое тут совершенно не участвует».

Таковы были рассуждения, которыми я старался успокоить себя. Но вот несколько минут спустя Деженэ ударил меня по плечу.

— Сейчас мы будем ужинать, — сказал он. — Вы поведете Марко. Она знает, что понравилась вам, все улажено.

— Послушайте, — сказал я ему, — я сам не знаю, что я чувствую. Мне кажется, что я вижу хромого Вулкана с его закопченной бородой и он в своей кузнице осыпает поцелуями Венеру. Он ошеломленно разглядывает округлые формы своей добычи. Он весь уходит в созерцание этой женщины, единственного своего сокровища. Он силится рассмеяться от радости, он как бы трепещет от счастья. И вдруг он вспоминает о Юпитере, своем отце, восседающем на небесах.

Деженэ взглянул на меня, ничего не ответив; потом взял меня под руку и повел с собой.

— Я устал, — сказал он, — мне грустно. Меня раздражает этот шум. Идемте ужинать, это нас подбодрит.

Ужин был великолепен, но я был лишь свидетелем его. Я ни к чему не мог прикоснуться: губы отказывались мне служить.

— Что с вами? — спросила меня Марко.

Но я был недвижим, как статуя, и в немом изумлении разглядывал ее с головы до ног.

Она засмеялась. Засмеялся и Деженэ, издали следивший за нами. Перед ней стоял большой хрустальный бокал в форме кубка; тысячи блестящих граней отражали свет люстр, и он сверкал всеми цветами радуги. Она лениво протянула руку и до краев наполнила бокал золотистой струей кипрского вина, того сладкого восточного вина, которое показалось мне впоследствии таким горьким на пустынном берегу Лидо.

— Возьмите, — сказала она, протягивая мне бокал, — *per voi, bambino mio*¹.

¹ За вас, мой мальчик (ит.).

— За тебя и за меня, — ответил я, в свою очередь протягивая ей бокал.

Она прикоснулась к нему губами, и я осушил его с грустью, которую она, видимо, прочитала в моих глазах.

— Разве вино плохое? — спросила она.

— Нет, — возразил я.

— Или у вас болит голова?

— Нет.

— Так, может быть, вы устали?

— Нет.

— Ах, так, значит, это любовная тоска?

При этих словах, сказанных на ломаном французском языке, глаза ее сделались серьезны. Я знал, что она родом из Неаполя, и при слове «любовь» сердце ее невольно вспомнило об Италии.

Но тут началось настоящее безумие. Головы уже разгорячились, бокалы звенели, на самых бледных щеках уже появился легкий румянец, которым вино окрашивает лица как бы для того, чтобы не дать места румянцу стыдливости. Неясный ропот, похожий на шум морского прибоя, раздавался то громче, то тише. Взгляды то разгорались, то внезапно застывали и теряли всякое выражение. Точно ветром гнало от одного к другому эти неверные хмельные волны. Одна из женщин встала, как встает первый вал еще спокойного моря, почувывая бурю и вздымающийся, чтобы возвестить о ее приближении. Она подняла руку, требуя тишины, залпом выпила свой бокал, и от этого движения целая копна золотистых волос рассыпалась по ее плечам. Она открыла рот, собираясь начать застольную песню. Глаза ее были полузакрыты, она тяжело дышала. Два раза хриплый звук вырывался из ее стесненной груди. Внезапно смертельная бледность выступила на ее лице, и она снова упала на стул.

И тут начался содом, который продолжался еще целый час, до конца ужина. Невозможно было что-нибудь различить в нем. Смех, песни, крики — все смешалось.

— Что вы скажете об этом? — спросил меня Деженэ.

— Ничего, — ответил я, — я заткнул уши и смотрю.

Посреди всей этой вакханалии прекрасная Марко не шевелилась, ничего не пила и, спокойно облокотясь на свою обнаженную руку, лениво мечтала о чем-то. Она не казалась ни удивленной, ни взволнованной.

— Не хотите ли и вы последовать примеру остальных? — спросил я. — Вы только что предложили мне бокал кипрского вина — так не угодно ли и вам отведать его?

С этими словами я до краев налил ей большой бокал. Она медленно подняла его, выпила залпом, потом поставила на стол и вновь приняла свою рассеянную позу.

Чем больше я наблюдал за Марко, тем более странной казалась мне она. Видимо, ничто не доставляло ей удовольствия, но ничто не вызывало и скуки. Казалось, что так же трудно рассердить ее, как и понравиться ей. Она исполняла то, о чем ее просили, но ничего не делала по собственному побуждению. Я вспомнил о духе вечного покоя и подумал, что, если бы его бледная статуя ожила, она была бы похожа на Марко.

— Какая ты — добрая или злая? Грустная или веселая? — спрашивал я ее. — Любила ли ты? Хочешь ли быть любимой? Что ты любишь — деньги, развлечения? Лошадей, деревню, балы? Кто нравится тебе? О чем ты мечтаешь?

Но на все эти вопросы она отвечала все той же улыбкой, не веселой и не грустной, улыбкой, которая говорила: «Не все ли равно?» — и ничего больше.

Я приблизил мои губы к ее губам. Она подарила мне поцелуй, рассеянный и равнодушный, как она сама; потом поднесла к губам платок.

— Марко, — сказал я ей, — горе тому, кто полюбит тебя!

Она взглянула на меня своими черными глазами, затем возвела их к небу и, подняв кверху палец непередаваемым итальянским жестом, тихо произнесла любимое слово женщин своей страны: «Forse!»¹

¹ Может быть! (ит.)

Между тем подали десерт. Многие из гостей уже встали из-за стола: одни курили, другие занялись картами; кое-кто остался сидеть. Некоторые женщины танцевали, иные дремали. Снова начал играть оркестр; свечи догорали, их заменили другими. Мне пришел на память ужин Петрония, когда лампы гаснут вокруг уснувших гостей, а рабы, прокравшись в залу, крадут серебро господ. При всем этом песни не умолкали; три англичанина, три мрачных субъекта, для которых материк — это больница, продолжали тянуть одну из самых зловещих баллад, какие когда-либо рождались в их болотах.

— Вставай, — сказал я Марко. — Поедем!

Она поднялась и взяла меня под руку.

— До завтра! — крикнул мне Деженэ.

Мы вышли из залы.

Когда я подходил к дому Марко, сердце мое учащенно билось; я не мог говорить. Никогда еще я не видел подобной женщины. Она не испытывала ни желанья, ни отвращения, и я не знал, что думать, чувствуя, как дрожит моя рука, прикасаясь к этому неподвижному существу.

Ее спальня, мрачная и полная неги, как и она сама, была едва освещена матовой лампой. Кресла и кушетка были мягки, как постели, и, мне кажется, все было сделано там из пуха и шелка. Войдя, я ощутил резкий запах турецких курительных свечек, но не тех, какие продаются у нас на улицах, а тех, какие привозят из Константинополя, — аромат их считается самым опасным и самым возбуждающим из всех. Она позвонила. Вошла горничная. Не сказав мне ни слова, Марко прошла вместе с ней в альков, и несколько минут спустя я увидел ее уже в постели: опершись на локоть, она лежала в своей обычной ленивой позе.

Я продолжал стоять и смотрел на нее. Странная вещь! Чем больше я любовался ею, чем прекраснее она казалась, тем быстрее улетучивалось желание, которое она мне внушала. Не знаю, быть может, то было действие какой-то магнетической силы, но ее молчание и неподвижность сообщились и мне. Я сделал то же, что она, — растя-

нулся на кушетке напротив алькова, и смертельный холод сковал мою душу. Биение крови в артериях — странные часы, тиканье которых мы слышим только ночью. Человек, не отвлекаемый в это время внешними предметами, углубляется в самого себя и слышит биение собственного пульса. Несмотря на усталость и грусть, я не мог сомкнуть глаз. Глаза Марко были устремлены на меня. Мы молча и, если можно так выразиться, медленно смотрели друг на друга.

— Что вы там делаете? — спросила она наконец. — Разве вы не придете ко мне?

— Приду, — ответил я, — вы так прекрасны!

Слабый вздох, похожий на жалобный стон, раздался в комнате: это лопнула струна на арфе Марко. Я обернулся на этот звук и увидел, что первые бледные лучи утренней зари уже окрасили окна.

Я встал и откинул портьеру. Яркий свет хлынул в комнату. Я подошел к окну и остановился. Солнце сияло на безоблачном небе.

— Так что же — вы придете? — еще раз спросила Марко.

Я знаком попросил ее подождать еще немного. Не знаю почему, видимо из осторожности, она выбрала квартал, отдаленный от центра города. Возможно, что у нее была где-нибудь еще и другая квартира, так как иногда она устраивала приемы: друзья ее любовника посещали ее. Та же комната, где мы находились сейчас, была, очевидно, своего рода «гнездышком любви». Она выходила на Люксембургский сад, который расстилался в отдалении перед моими глазами.

Как пробка, погружаемая в воду, трепещет в держащей ее руке и скользит между пальцами, стремясь всплыть на поверхность, так и во мне трепетало нечто такое, что я не в силах был ни побороть, ни отогнать. Вид аллея Люксембургского сада растревожил мое сердце, и все другие мысли исчезли. Сколько раз, убежав с уроков, я лежал на этих маленьких пригорках в тени деревьев, читая хорошую книгу и отдаваясь необузданной поэзии, — ибо, увы,

таковы были «оргии» моего детства! Сколько далеких воспоминаний всплыло в моем сердце при виде поблекшей зелени лужаек. Здесь, когда мне было десять лет, я гулял с братом и с гувернером, бросая крошки хлеба бедным, застывшим от холода птичкам. Здесь, сидя в уголке, я часами смотрел на маленьких девочек, которые водили хорооводы, и слушал их детские песенки, заставлявшие биться мое бесхитростное сердце. Здесь, возвращаясь из школы, я тысячу раз проходил по одной и той же аллее, погруженный в какой-нибудь стих Вергилия и подталкивая ногой камень.

— О мое детство, ты здесь! — вскричал я. — О боже, ты со мной!

Я обернулся. Марко заснула, лампа погасла, при дневном свете комната приобрела совершенно иной вид: обои, показавшиеся мне небесно-голубыми, оказались зеленоватыми и поблекшими, а Марко, прекрасная статуя, распростертая в алькове, была бледна как смерть.

Невольно вздрогнув, я посмотрел на альков, потом посмотрел в сад. Моя усталая голова отяжелела. Я сделал несколько шагов и сел перед открытым бюро, стоявшим у другого окна. Я облокотился на него, и взгляд мой случайно упал на развернутый листок письма, оставленный сверху: в нем было всего несколько слов. Я машинально прочитал их несколько раз подряд, не думая о том, что читаю, как вдруг, в силу повторения, смысл их дошел до моего сознания. Я был потрясен, хотя понял далеко не все. Я взял листок и еще раз прочитал следующие строчки, написанные с орфографическими ошибками:

«Она умерла вчера. В одиннадцать часов вечера она почувствовала, что слабеет. Она позвала меня и сказала: «Луизон, скоро я свижусь с моим другом. Открой шкаф и достань простыню, что висит на гвозде; это точно такая же, как...» Я заплакала и упала на колени, но она протянула руку и крикнула: «Не плачь! Не плачь!» Она вздохнула так глубоко...»

Конец был оторван. Не могу передать, какое впечатление произвело на меня это зловещее письмо. Я пере-

вернул листок и увидел адрес Марко. Письмо было помечено вчерашним числом.

— Она умерла? Кто же это умер? — невольно вскричал я, подходя к алькову. — Умерла? Но кто же? Кто?

Марко открыла глаза. Она увидела, что я сижу на ее постели с письмом в руке.

— Умерла моя мать, — сказала она. — Так вы не ляжете со мной?

И, проговорив это, она протянула ко мне руку.

— Молчи! — сказал я. — Спи, оставь меня.

Она повернулась к стене и снова заснула. Я смотрел на нее еще некоторое время, пока не убедился, что она уже не услышит меня, и тихо вышел из комнаты.

ГЛАВА 5

Однажды вечером я сидел с Деженэ у камина. Окно было открыто; был один из первых дней марта, этих предвестников весны; незадолго перед тем прошел дождь, нежное благоухание доносилось из сада.

— Что мы будем делать, друг мой, когда придет весна? — спросил я. — Мне хочется попутешествовать.

— Я сделаю то, что сделал в прошлом году, — ответил Деженэ. — Поеду на дачу, когда настанет время туда ехать.

— Как? Вы каждый год делаете то же самое? Значит, вы начнете сначала и будете жить так, как жили в этом году?

— Что же мне, по-вашему, делать?

— Вот именно! — воскликнул я и вскочил с кресла. — Да, вы хорошо сказали — что делать? Ах, Деженэ, как мне все это надоело! Неужели вы никогда не устаете от жизни, которую ведете?

— Нет, — ответил он.

Я стоял перед гравюрой, изображавшей Магдалину в пустыне; невольно я сложил ладони.

— Что это вы делаете? — спросил Деженэ.

— Если бы я был художник, — сказал я, — и хотел бы

изобразить меланхолию, я не стал бы рисовать мечтательную молодую девушку с книгой в руках.

— На кого вы сегодня ополчились? — сказал он со смехом.

— Нет, в самом деле, — продолжал я. — У этой плачущей Магдалины душа исполнена надежды; бледная и болезненная рука, которой она подпирает голову, еще благоухает ароматами, которыми она умастила ноги Христа. Разве вы не видите, что в этой пустыне — целый мир зовущих мыслей? Это вовсе не меланхолия.

— Это женщина, читающая книгу, — ответил он сухо.

— И счастливая женщина, — прибавил я, — и счастливую книгу.

Деженэ понял, что я хотел сказать. Он увидел, что мной овладевает глубокая грусть, и спросил, нет ли у меня какого-нибудь горя. Я колебался, отвечать ли ему, а сердце у меня надрывалось от муки.

— Полно, дорогой Октав, если что-то огорчает вас, доверьте это мне без всяких колебаний. Говорите откровенно, вы найдете во мне друга.

— Я это знаю, — ответил я, — у меня есть друг, но у моей скорби друга нет.

Он стал настаивать, чтобы я высказался.

— Ну, хорошо, — сказал я, — а если я выскажусь, какой для вас в этом будет толк: раз вы ничего тут не можете сделать, да и я тоже? Предлагаете ли вы мне открыть вам тайники сердца или только ответить первым попавшимся словом, привести что-либо в оправдание?

— Будьте искренни, — сказал он.

— Ну, хорошо, — ответил я, — хорошо, Деженэ, вы в свое время давали мне советы, и я прошу вас выслушать меня, как я слушал вас тогда. Вы спрашиваете, что у меня на сердце, я вам скажу.

Позовите первого встречного и скажите ему: «Вот люди, которые проводят свою жизнь в том, что пьют, катаются верхом, смеются, играют в карты, доставляют себе все удовольствия; для них не существует никаких преград,

их закон — собственная прихоть, женщин у них сколько им угодно. Они богаты, не знают никаких забот, и жизнь их — сплошной праздник». Как вы думаете, что вам ответит этот человек? Если только он не ханжа, он скажет вам, что здесь — проявление человеческой слабости, а то и просто решит, что это величайшее счастье, какое можно себе представить.

Теперь дайте этому человеку возможность вести такой же образ жизни; посадите его за стол, и пусть в руке у него будет стакан вина, пусть женщина сядет рядом с ним, и пусть каждое утро пригоршня золота будет пополнять его кошелек. А потом скажите ему: «Вот твоя жизнь. Пока ты будешь засыпать возле твоей возлюбленной, твои лошади будут бить копытами в конюшне; в то время как ты будешь гарцевать на коне по усыпанным песком аллеям, вино будет доходить в твоих подвалах; в то время как ты будешь пить ночи напролет, банкиры будут умножать твое богатство. Стоит тебе пожелать, и твои желания станут действительностью. Ты счастливейший из смертных. Но остерегайся, как бы в один прекрасный вечер тебе не выпить сверх меры, остерегайся, как бы тело твое не лишилось возможности наслаждаться. Это будет большим несчастьем, ибо все горести излечиваются, кроме этой. В одну прекрасную ночь ты будешь нестись вскачь по лесу с веселыми друзьями. Конь твой оступится, ты свалишься в ров, полный тины, и, может быть, твои охмелевшие спутники не услышат твоих отчаянных криков, заглушенных веселыми фанфарами. Остерегайся, как бы они не промчались мимо, не заметив тебя, и как бы гул их веселых голосов не унесся в глубь леса, — не то тебе придется ползти во мраке с разбитым телом. Наступит вечер, и ты проиграешься в карты — ведь удача непостоянна. Когда ты вернешься домой и сядешь у камина, берегись — не стискивай руками лоб, не позволяй печали увлажнять твои веки слезами и не озирайся с горечью в поисках друга; главное же, будь осторожен, не думай в своем одиночестве о тех, у кого где-то под соломенной крышей есть мирная семья, о

тех счастливых, которые засыпают, держа в руке руку подруги. Ибо рядом с тобой, на твоей роскошной постели, будет сидеть лишь одна наперсница — бледное создание, любовница твоих денег. Ты наклонишься к ней, чтобы облегчить свою стесненную грудь, и она решит, что твой проигрыш велик, раз ты так печален. Слезы, льющиеся из твоих глаз, сильно встревожат ее: ведь они могут лишить ее нового платья, могут сорвать перстни с ее пальцев. Не называй ей того, кто обыграл тебя в этот вечер, — может случиться, что она встретится с ним завтра и начнет кокетничать с виновником твоего разорения. Такова человеческая слабость — достаточно ли ты силен, чтобы предаться ей? Мужчина ли ты? Если так, бойся пресыщения: эта болезнь тоже неизлечима; лучше стать трупом, чем живым человеком, пресыщенным жизнью. Есть у тебя сердце? Берегись любви, для распутника это хуже всякой болезни, это значит сделаться смешным: ведь распутник платит своим любовницам, и продажная женщина имеет право презирать только одного мужчину — того, кто ее любит. Есть у тебя страсти? Если так, бойся своего лица; для солдата считается позорным сбросить доспехи, а для распутника — показать, что есть в мире хоть одна вещь, которой он дорожит; его славят именно за то, что ко всему он прикасается мраморными умощенными руками, под которыми все должно скользить. Может быть, ты вспыльчив? Если хочешь жить, научись убивать: вино подчас вызывает ссоры. Есть у тебя совесть? Если так, бойся своего сна; распутник, раскаивающийся слишком поздно, похож на корабль, в котором открылась течь: он не может ни пристать к берегу, ни продолжать путь; тщетно гонят его ветры. Океан засасывает его, он переворачивается вверх дном и исчезает. Если у тебя есть тело, бойся страдания; если есть душа, бойся отчаяния. О несчастный, бойся людей; когда ты будешь идти своей дорогой, тебе почудится необъятная равнина, где, словно цветущие гирлянды, разворачиваются хороводы фарандолы и танцующие держатся за руки, образуя звенья одной цепи; од-

нако это мираж; те, которые смотрят под ноги, знают, что они кружатся на шелковой нитке, натянутой над бездной, и что эта бездна безмолвно поглощает много жертв, не оставляющих на ее поверхности и следа. Смотри не поскользнься! Сама природа закроет перед тобой свои божественные недра; деревья и камыши не узнают тебя; ты нарушил законы твоей матери, ты уже не брат ее питомцев, и птицы умолкают при твоём приближении. Ты одинок! Страхись бога! Ты одинок перед лицом его, ты стоишь, как холодная статуя, на пьедестале твоей воли. Дождь, падающий с неба, уже не освежает, а изнуряет, терзает тебя. Мимолетный ветерок не шлет тебе поцелуя жизни, святого причастия всего живущего: он гонит, он опрокидывает тебя. Каждая женщина, которую ты обнимаешь, отнимает у тебя частицу твоей силы, но ничего не дает взамен; ты истощаешь себя, общаясь с призраками; и там, куда упала капля твоего пота, вырастает одно из тех печальных растений, какие встречаются только на кладбищах. Умри! Ты враг всего того, что любит; согнись под бременем твоего одиночества, не жди старости, не оставляй потомства на земле, не оплодотворяй своей испорченной кровью; исчезни, как дым, и не отнимай солнечного луча у колоса ржи!

Проговорив все это, я упал в кресло, и слезы потоком хлынули у меня из глаз.

— Ах, Деженэ, — вскричал я, рыдая, — не это говорили вы мне. А разве вы не знали об этом? Если же знали, то почему не сказали?

Но Деженэ сидел неподвижно, сложив руки, словно для молитвы. Он и сам был бледен как смерть; слеза катилась по его щеке.

Несколько мгновений мы оба молчали. Раздался бой часов. И вдруг я вспомнил, что ровно год тому назад, в этот самый день, в этот самый час я узнал, что моя любовница изменяет мне.

— Слышите вы бой этих часов? — воскликнул я. — Слы-

шите вы его? Я не знаю, что он возвещает мне, но это страшная минута, и она будет решающей в моей жизни.

Я говорил это в страшном возбуждении, не понимая сам, что происходило во мне. Но почти в ту же секунду в комнату поспешно вошел слуга. Он взял меня за руку, отвел в сторону и сказал вполголоса:

— Сударь, я пришел сообщить вам, что ваш отец при смерти. С ним сделался удар, и доктора говорят, что он безнадежен.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Отец мой жил в деревне недалеко от Парижа. Приехав, я встретил на пороге врача, и он сказал мне:

— Вы опоздали. Ваш отец хотел обнять вас в последний раз.

Я вошел в комнату и увидел своего отца мертвым.

— Сударь, — сказал я врачу, — распорядитесь, пожалуйста, чтобы все ушли и оставили меня здесь одного. Отец мой хотел мне что-то сказать, и он скажет это.

По моему приказанию слуги вышли. Тогда я подошел к кровати и осторожно приподнял саван, которым уже успели закрыть лицо отца. Но едва я взглянул на него и бросился к нему, чтобы его поцеловать, как тут же лишился чувств.

Придя в себя, я услышал чей-то голос, говоривший:

— Если он будет просить об этом, придумайте какой угодно предлог, но не позволяйте.

Я понял, что решено было не допускать меня в комнату покойного, и притворился, что ничего не слышал. Увидев, что я спокоен, меня оставили одного. Я дождался, чтобы все в доме улеглись, взял свечу и вошел в спальню отца. Там я застал молодого священника, который сидел у его кровати.

— Сударь, — обратился я к нему, — было бы слишком смело оспаривать у сироты право провести последнюю ночь возле его отца. Я не знаю, что вам могли сказать по этому поводу, но прошу вас — перейдите в соседнюю комнату. Если что-нибудь случится, я беру это на себя.

Он вышел. Единственная свеча, стоявшая на столе, освещала постель. Я занял место священника и еще раз открыл лицо, которое мне более не суждено было видеть.

— Что вы хотели сказать мне, отец? — спросил я. — Какова была ваша последняя мысль, когда вы искали взглядом вашего сына?

Отец мой писал дневник, в котором имел привычку изо дня в день записывать все, что он делал. Дневник этот лежал сейчас на столе и был открыт. Я подошел к столу и опустил на колени. На развернутой странице было всего несколько слов: «Прощай, сын мой, я люблю тебя и умираю».

Я не проронил ни одной слезы, ни одно рыдание не вырвалось из моей груди. Горло мое было судорожно сжато, а губы словно скованы. Не двигаясь с места, я смотрел на отца.

Ему была известна моя беспорядочная жизнь, и поведение мое не раз служило ему поводом для огорчений и упреков. Во время наших свиданий он всегда говорил о моем будущем, о моей молодости и о моих безумствах. Его советы нередко вырывали меня из рук злой судьбы, и сила их была особенно велика потому, что его жизнь от начала и до конца могла служить образцом чистоты, спокойствия и доброты. Я предполагал, что перед смертью он пожелал меня видеть затем, чтобы еще раз попытаться убедить меня свернуть с того пути, по которому я шел, но смерть слишком поторопилась, внезапно он почувствовал, что успеет сказать одно только слово, и он сказал, что любит меня.

ГЛАВА 2

Невысокая деревянная ограда окружала могилу моего отца. Исполняя его волю, выраженную задолго до смерти, его похоронили на деревенском кладбище. Я ежедневно приходил сюда и просиживал большую часть дня на маленькой скамеечке, поставленной внутри ограды. Осталь-

ное время я проводил в одиночестве в том самом доме, где он умер, и держал при себе только одного слугу.

Каковы бы ни были страдания, причиняемые нам нашими страстями, нельзя сравнивать горести жизни с горем, вызываемым смертью. Первое, что я почувствовал, сидя у постели отца, было сознание, что я неразумный ребенок, который еще ничего не изведal и ничего не знает. Вместе с тем эта смерть вызвала в моем сердце ощущение чисто физической боли, и порой я в отчаянии ломал руки, словно неопытный юноша, внезапно познавший все бремя жизни.

В течение первых месяцев, проведенных мною в деревне, мне и в голову не приходили мысли о прошлом или о будущем. Мне казалось, что это не я жил до сих пор. То, что я испытывал, не было отчаянием и несколько не походило на ту яростную боль, какую я ощущал прежде. Это была лишь какая-то нравственная разбитость, какая-то усталость и полное безразличие ко всему, сопровождавшееся, однако, жгучей горечью, которая подтачивала меня изнутри. Я по целым дням сидел с книгой в руках, но читал мало, или, вернее сказать, вовсе не читал и о чем-то задумывался — не знаю и сам, о чем. У меня не было никаких мыслей, все во мне молчало. Удар, который меня поразил, был так силен и действие его было так продолжительно, что я превратился в какое-то пассивное существо, совершенно неспособное к сопротивлению.

Ларив — так звали моего слугу — был очень предан моему отцу. Пожалуй, после отца это был лучший человек, какого я когда-либо знал. Он был одного с ним роста и, не имея ливреи, носил старое платье отца, которое тот дарил ему. Он был почти одних лет с отцом, в волосах его тоже серебрилась седина, и так как в течение двадцати лет они не расставались друг с другом, то в его манере держаться появилось нечто схожее с манерами отца.

Расхаживая взад и вперед по своей комнате после обеда, я слышал, как Ларив ходит взад и вперед у себя в передней. Несмотря на то что дверь моя была открыта, он ни-

когда не входил ко мне, и мы не обменивались ни единым словом, но время от времени я замечал его слезы, а он видел мои. Так проходили вечера, и лишь после захода солнца, когда было совсем уже темно, я вспоминал о том, что пора попросить зажечь свечи, а он — о том, что пора принести их.

Все в доме оставалось без изменений, мы не тронули с места и листочка бумаги. Большое кожаное кресло отца по-прежнему стояло у камина; его стол, его книги — все было там же, где прежде. Я бережно относился даже к пыли, которая покрывала его мебель, потому что он не любил, когда ее переставляли при уборке. Пустынный дом, привыкший к тишине и полнейшему покою, не ощутил никакой перемены. Мне казалось только, что иной раз, когда, завернувшись в отцовский халат, я усаживался в его кресло, стены дома с состраданием смотрели на меня и чей-то тихий голос спрашивал: «Куда же ушел отец? Мы ясно видим, что тут сидит сирота».

Я получил из Парижа несколько писем и на все эти письма ответил, что хочу провести лето один в деревне, как это обычно делал мой отец. Я начинал проникаться той истиной, что во всяком несчастье есть какая-то частица счастья и что большое горе, что бы там ни говорили, это вместе с тем и большое успокоение. Каковы бы ни были вести, которые нам приносят посланцы божьи, предупредив нас своим прикосновением, они всегда делают доброе дело, отвлекая нас от жизненных треволнений, и там, где раздается их голос, смолкает все остальное. Мимолетные горести богохульствуют и обвиняют небо, истинное горе не обвиняет и не богохульствует, оно вне млет.

По утрам я проводил целые часы, созерцая природу. Мои окна выходили на широкую долину, посреди которой возвышалась деревенская церковь. Все вокруг меня было бедно и спокойно. Зрелище весны, распускающихся цветов и листьев не производило на меня того мрачного впечатления, о котором говорят поэты, видящие в кон-

трастах жизни глумление смерти. Мне кажется, что эта вздорная мысль — если только она не является нарочитым противопоставлением — на деле принадлежит тем людям, которые умеют чувствовать лишь наполовину. Игрок, выходя утром после безобразно проведенной ночи, с горящим взглядом и пустыми руками, может чувствовать себя врагом природы, но что дурного могут сказать зеленеющие листья сыну, который оплакивает своего отца? Слезы, льющиеся из его глаз, — родные сестры росы. Листья плакучей ивы — это те же слезы. Именно глядя на небо, леса и луга, я понял, что представляют собой люди, которые воображают, будто они нашли утешение.

У Ларива не было ни малейшей охоты утешать меня или искать утешения самому. Когда умер мой отец, старик испугался, как бы я не продал дом и не увез его с собой в Париж. Не знаю, была ли ему известна моя прежняя жизнь, но вначале он обнаруживал беспокойство. Когда же он понял, что я прочно водворился в доме, он только взглянул на меня, и его взгляд проник мне в самое сердце. Это было в тот день, когда, по моему приказанию, привезли из Парижа большой портрет отца и повесили его в столовой. Войдя в столовую, чтобы прислуживать за столом, Ларив увидел его. Он остановился в нерешимости, взглядывая то на портрет, то на меня. В его глазах была такая грустная радость, что я не мог устоять перед ней. Кажется, он говорил мне: «Какое счастье! Так, значит, мы будем страдать спокойно!» Я протянул ему руку, и он, рыдая, покрыл ее поцелуями.

Он, так сказать, ухаживал за моим горем, как за хозяином своего собственного. По утрам, подходя к могиле отца, я заставал его там за поливкой цветов. Увидев меня, он тотчас же удалялся и шел домой. Он сопровождал меня во время моих прогулок. Так как обычно я ехал на лошади, а он шел пешком, то я не позволял ему следовать за мной, но не успевал я отъехать и на сто шагов, как Ларив появлялся сзади, с палкой в руке, отирая пот со лба. Я купил

ему у одного из местных крестьян лошадку, и мы стали вместе разъезжать по лесам.

В деревне жили несколько человек, которые прежде часто бывали в доме отца. Моя дверь оказалась закрытой для них. Подчас я и сам жалел об этом, но все люди вызывали во мне раздражение. Погруженный в свои одинокие думы, я решил спустя некоторое время после смерти отца ознакомиться с оставшимися после него бумагами. Ларив принес их мне с благоговейным почтением и, дрожащей рукой развязав пачки, разложил их передо мной.

С первых же строк я почувствовал в сердце ту живительную свежесть, какая стоит в воздухе над тихим озером. Безмятежная ясность души моего отца, словно благоухание, лилась с пыльных страничек по мере того, как я перелистывал их. Вся его жизнь развернулась предо мной, и я мог сосчитать биения этого благородного сердца — день за днем. Я с головой ушел в бесконечные сладкие грезы, и, несмотря на серьезный и твердый тон, господствовавший в этих записках, я открыл в них неизъяснимую прелесть — спокойное сияние его доброты. Когда я читал, мысль о смерти отца все время примешивалась к повести его жизни, и не могу передать, с какой грустью я следил за течением этого прозрачного ручья, который на моих глазах исчез в Океане.

— О праведник, — восклицал я, — человек без страха и упрека! Как ясен твой путь! Преданность друзьям, божественная нежность к моей матери, преклонение перед природой, возвышенная любовь к богу — вот твоя жизнь! Ни для чего иного не было места в твоём сердце. Девственный снег на вершинах гор не чище твоей святой старости, твои седины напоминали его. О отец, отец! Отдай их мне, они моложе моих белокурых волос. Научи меня жить и умереть, как ты. Я посажу на той земле, где ты спишь, зеленую ветвь моей новой жизни, я орошу ее моими слезами, и бог — покровитель всех сирот — даст ей взойти над благочестивой скорбью ребенка и над воспоминаниями старика.

Прочитав эти дорогие мне бумаги, я привел их в порядок и принял решение также писать свой дневник. Я велел переплести точно такую же тетрадь, какая была у отца, и, тщательно изучив по его дневнику распорядок его жизни, взял за правило следовать ему до мельчайших подробностей. Бой часов всякий раз вызывал слезы на моих глазах. «Вот что делал в этот час мой отец», — говорил я себе, и, что бы это ни было — чтение, прогулка или завтрак, — я всегда делал то же. Таким образом я приучил себя к жизни спокойной, размеренной, и эта пунктуальная точность была бесконечно мила моему сердцу. Я ложился спать в блаженном состоянии, которое моя грусть делала еще приятнее. Отец мой много времени уделял уходу за своим садом; остаток дня он посвящал наукам, прогулке, причем физический труд строго чередовался у него с работой ума. Я унаследовал также его привычку к благотворительности и продолжал делать для несчастных то, что делал он. Во время моих поездок по окрестностям я старался отыскать людей, которые могли нуждаться во мне — а таких в нашей долине было немало, — и вскоре бедняки стали издали узнавать меня. Сказать ли?.. Да, я смело скажу: доброе сердце только очищается страданием. Впервые в жизни я был счастлив. Бог благословлял мои слезы, а страдания учили меня добродетели.

ГЛАВА 3

Однажды вечером, гуляя по липовой аллее на окраине деревни, я увидел, как из уединенно стоявшего домика вышла молодая женщина. Она была одета очень просто и носила вуаль, так что я не мог видеть ее лица, но ее фигура и походка показались мне столь очаровательными, что я еще долго следил за ней взглядом. Когда она проходила по соседнему лугу, к ней подбежал белый козленок, который пасся там на свободе. Она погладила его и стала осматриваться по сторонам, словно отыскивая его любимую травку. Возле меня росло дикое тутовое дерево. Я от-

ломил от него ветку и направился к ним, держа ветку в руке. Козленок медленно и боязливо пошел мне навстречу, потом остановился, не решаясь взять ветку из моих рук. Его хозяйка махнула ему рукой, словно желая ободрить его. Но козленок продолжал с беспокойством оглядываться на нее. Тогда молодая женщина подошла ко мне и положила на ветку свою руку, после чего козленок сейчас же взял ветку. Я поклонился, и молодая женщина продолжала свой путь.

Придя домой, я описал Лариву то место, где я был, и спросил, не знает ли он, кто живет там, в маленьком, скромного вида домике с садом. Ему был знаком этот дом. Единственными его обитательницами были две женщины — одна пожилая, слышавшая весьма благочестивой, и другая — молодая, имя которой было госпожа Пирсон. Должно быть, ее-то я и видел. Я спросил у Ларива, кто она и бывала ли она у моего отца. Он ответил, что она вдова, ведет уединенную жизнь и что ему случалось видеть ее у отца, но редко. Это было все, что он мне сообщил. Затем я снова вышел из дому, вернулся к моим липам и сел на скамейку.

Какая-то странная грусть внезапно овладела мною, когда козленок опять подошел ко мне. Я встал, рассеянно глядя на тропинку, по которой пошла раньше госпожа Пирсон, задумчиво побрел по ней и, погруженный в свои мечты, зашел довольно далеко в горы.

Было около одиннадцати часов вечера, когда я вспомнил о том, что пора возвращаться домой. Устав от долгой ходьбы, я направился к видневшейся неподалеку ферме, намереваясь спросить чашку молока и кусок хлеба. К тому же крупные капли начинавшегося дождя предвещали грозу, и я решил переждать ее там. Несмотря на то что в доме горел свет и оттуда доносился шум шагов, никто не ответил на мой стук, и я подошел к окну, чтобы посмотреть, есть ли там кто-нибудь.

В маленькой комнате ярко горел огонь; знакомый мне фермер сидел возле кровати. Я стукнул в стекло и оклик-

нул его по имени. В ту же минуту дверь отворилась, и я с изумлением увидел госпожу Пирсон, которую тотчас узнал.

— Кто там? — спросила она.

Ее присутствие здесь было для меня столь неожиданным, что я не мог скрыть своего изумления. Попросив у нее позволения укрыться от дождя, я вошел в комнату. Я никак не мог понять, что она делает в столь поздний час на этой отдаленной ферме, затерянной среди полей, как вдруг чей-то жалобный стон заставил меня обернуться, и я увидел жену фермера, которая лежала на кровати с печатью смерти на лице.

Госпожа Пирсон, шедшая вслед за мной, села на свое прежнее место — напротив бедняка фермера, видимо подавленного горем, и сделала мне знак не шуметь: больная спала. Я взял стул и сел в уголке, собираясь переждать грозу.

Пока я сидел там, госпожа Пирсон то и дело вставала, подходила к постели, что-то шепотом говорила фермеру. Один из малышей, которого я усадил к себе на колени, рассказал мне, что, с тех пор как мать больна, госпожа Пирсон приходит к ним каждый вечер, а иногда проводит здесь и всю ночь. Она была в этих краях настоящей сестрой милосердия, другой в деревне и не было. Кроме нее, был единственный врач, весьма невежественный.

— Это Бригитта-Роза, — тихо сказал мне малыш. — Разве вы не знаете ее?

— Нет, — ответил я ему так же тихо. — А почему ее называют Розой?

Он ответил, что не знает, что, кажется, когда-то, когда она была еще девушкой, ее наградили венком из роз за скромность, и с тех пор это имя так и осталось за ней.

Госпожа Пирсон была теперь без вуали, и я мог рассмотреть ее лицо. Когда мальчик отошел, я поднял голову и взглянул на нее. Она стояла у кровати и, держа в руке чашку, подносила ее к губам проснувшейся крестьянки. Она показалась мне бледной и немного худощавой, воло-

сы у нее были белокурые с пепельным оттенком. Я не мог бы назвать ее красавицей. Но ее большие черные глаза были устремлены на больную, бедное умирающее существо тоже смотрело на нее, и в этом бесхитростном обмене милосердия и благодарности была та высшая красота, какую нельзя передать словами.

Дождь все усиливался, глубокий мрак окутывал пустынные поля, на секунду освещавшиеся резкими вспышками молнии. Шум грозы, завывание ветра, гнев разнуданных стихий, бушевавших над соломенной крышей, — все это, именно по контрасту с благоговейным молчанием, царившим в хижине, придавало еще большую святость сцене, которой я был свидетелем, придавало ей какое-то странное величие. Я смотрел на это жалкое ложе, на залитые дождем стекла, на густые клубы дыма, возвращаемые назад порывами ветра, на тупое отчаяние фермера, на суеверный страх детей, на всю эту неистовую бурю, осаждавшую обитель умирающей, и когда взор мой падал на кроткую и бледную женщину, которая ходила на цыпочках взад и вперед, ни на минуту не прекращая своих терпеливых благодеяний, и, видимо, не замечала ни бури, ни нашего присутствия, ни своего мужества, ничего, кроме того, что кто-то нуждается в ней, мне казалось, что в спокойных движениях этой женщины есть нечто такое, что яснее самого прекрасного безоблачного неба, и что сама она, окруженная всеми этими ужасами, но ни на минуту не теряющая упования на своего бога, — какое-то неземное существо.

«Кто же она? — спрашивал я себя. — Откуда она явилась? И давно ли она в этих краях? Очевидно, давно, если здесь еще помнят, как ее наградили венком из роз. Как могло случиться, что я до сих пор ничего не слышал о ней? Она приходит одна в эту хижину, приходит так поздно. А если опасность минует и ее больше не позовут сюда, она, конечно, пойдет к другим страждущим. Да, просто одетая, под вуалью, она проходит сквозь все эти грозы, леса и горы, неся жизнь туда, где она гаснет, держа в руке

эту маленькую хрупкую чашу и лаская мимоходом своего козленка. Таким же спокойным и тихим шагом она идет навстречу и собственной смерти. Да, вот что она делала в этой долине, пока я бегал по притонам. Должно быть, она и родилась тут, и тут ее похоронят в скромном уголке кладбища, рядом с милым моим отцом. Так умрет эта безвестная женщина, о которой никто не говорит и только дети с удивлением спрашивают: «Разве вы не знаете ее?»

Не могу передать, что я чувствовал в эти минуты. Я неподвижно сидел в углу, боясь вздохнуть. Мне казалось, что если бы я попробовал помочь ей, если бы протянул руку, чтобы избавить ее от лишнего шага, то совершил бы святотатство, словно коснувшись священных сосудов.

Гроза продолжалась около двух часов. Когда она утихла, больная, приподнявшись на подушке, сказала, что ей лучше и что лекарство, которое она приняла, помогло ей. Дети тотчас подбежали к ее постели и, цепляясь за юбку госпожи Пирсон, глядели на мать широко раскрытыми глазами, в которых светились и тревога и радость.

— Еще бы! — сказал муж, не двинувшись с места. — Ведь мы отслужили обедню за твоё здоровье, и она стояла нам немалых денег!

При этих грубых и глупых словах я взглянул на госпожу Пирсон. Синие круги под глазами, бледность, вся ее поза ясно указывали на усталость, на то, что бессонные ночи подрывают ее здоровье.

— Бедный мой муженек, — ответила больная, — пусть бог вознаградит тебя за это!

Я не мог больше выдержать. Взбешенный тупостью этих грубых существ, которые милосердие ангела ценили менее, нежели услугу корыстолюбивого священника, я вскочил с места, собираясь упрекнуть их в черной неблагодарности и разбранить, как они того заслуживали, но в эту минуту госпожа Пирсон взяла на руки одного из малышей крестьянки и с улыбкой сказала ему:

— Поцелуй свою мать, она спасена.

Услышав эти слова, я остановился. Никогда еще наивное удовлетворение счастливого и доброго сердца не выражалось с большей искренностью на более милом и кротком лице. Теперь на нем не было ни усталости, ни бледности, оно сияло чистой радостью. Молодая женщина тоже возносила благодарность богу: больная заговорила, и не все ли равно, что она сказала.

Несколько минут спустя госпожа Пирсон попросила детей разбудить работника, чтобы тот проводил ее домой. Я подошел к ней и предложил свои услуги. Я сказал, что незачем будить работника, так как нам по дороге, и что она окажет мне честь, если позволит проводить ее.

Она спросила, не я ли Октав де Т. Я ответил утвердительно и, в свою очередь, спросил, помнит ли она моего отца. Мне показалось несколько странным, что этот вопрос вызвал у нее улыбку. Она непринужденно взяла меня под руку, и мы отправились в путь.

ГЛАВА 4

Мы шли молча. Ветер стихал, деревья бесшумно трепетали, стряхивая с веток капли дождя. Изредка вспышки молнии еще сверкали где-то вдалеке. Потеплевший воздух был полон аромата влажной зелени. Вскоре небо очистилось, и луна осветила горы.

Я не мог не думать о странной случайности, пожелавшей, чтобы я оказался ночью, среди пустынных полей, единственным спутником женщины, о существовании которой еще не подозревал несколько часов назад, при восходе солнца. Она позволила мне сопровождать себя благодаря имени, которое я носил, и теперь шла уверенным шагом, рассеянно опираясь на мою руку. Мне казалось, что источником этой доверчивости была либо большая смелость, либо большое простодушие, и, должно быть, в ней действительно было и то и другое, потому что с каждым нашим шагом я чувствовал, как мое сердце становится благородным и чистым.

Мы начали беседовать о больной, от которой шли, обо всем, что попадалось по дороге. Нам и в голову не приходило задавать друг другу те вопросы, какими обычно обмениваются люди при первом знакомстве. Она заговорила о моем отце — все тем же тоном, каким ответила на мой вопрос, помнит ли она его, — то есть почти весело. Слушая ее, я, кажется, начал понимать причину этой веселости: она говорила так не только о смерти, но и о жизни, о страданиях, обо всем на свете. Дело в том, что зрелище людских горестей не отнимало у нее веры в бога, и я почувствовал все благочестие ее улыбки.

Я рассказал ей об уединенной жизни, которую я вел. Из ее слов я узнал, что тетушка ее чаще виделась с моим отцом, нежели она сама, по вечерам они вместе играли в карты. Она пригласила меня бывать у нее, сказав, что я буду желанным гостем в ее доме.

На полпути она почувствовала усталость и присела на скамейку, которую густые деревья защитили от дождя. Я стоял перед ней и смотрел, как бледные лучи луны освещают ее лицо. После недолгого молчания она встала.

— О чем вы задумались? — спросила она, увидев, что я медлю. — Пора идти.

— Я спрашивал себя, — ответил я, — для чего вас создал бог, и решил, что, должно быть, он создал вас для того, чтобы врачевать страждущих.

— Вот фраза, которая в ваших устах может быть только комплиментом, — возразила она.

— Почему?

— Потому что вы кажетесь мне слишком молодым.

— Иногда человек бывает старше своей наружности, — сказал я.

— А иногда человек бывает моложе своих слов, — со смехом ответила она.

— Разве вы не верите в опытность?

— Я знаю, что этим словом большинство мужчин называет свои безрассудства и свои огорчения. Что можно знать в ваши годы?

— Сударыня, мужчина в двадцать лет может иметь больший жизненный опыт, чем женщина в тридцать. Свобода, которой пользуются мужчины, быстрее приводит их к познанию сущности вещей. Они беспрепятственно идут туда, куда их влечет. Они пытаются изведать все. Как только им улыбнется надежда, они тотчас пускаются в путь, бегут, спешат. Оказавшись у цели, они оборачиваются: надежда осталась позади, а счастье обмануло.

Когда я говорил это, мы находились на вершине небольшого холма, откуда начинался спуск в долину. Как бы увлеченная крутизной склона, госпожа Пирсон слегка ускорила шаг. Я невольно последовал ее примеру, и мы побежали вприпрыжку, не разнимая рук, скользя по влажной траве. Наконец, прыгая и смеясь, мы, словно две беззаботные птицы, добрались до подножия холма.

— Вот видите! — сказала госпожа Пирсон. — Еще недавно я чувствовала усталость, а сейчас больше не ощущаю ее... И знаете что, — добавила она самым милым тоном, — я бы посоветовала вам обращаться с вашей опытностью точно так же, как я со своей усталостью. Мы совершили отличную прогулку и теперь поужинаем с большим аппетитом.

ГЛАВА 5

Я пошел к ней на другой же день. Я застал ее за фортепьяно, старая тетушка вышивала у окна, комнатка была полна цветов, чудеснейшее в мире солнце светило сквозь спущенные жалюзи, большая клетка с птицами стояла рядом со старушкой.

Я ожидал найти в ней чуть ли не монахиню или по меньшей мере одну из тех провинциалок, которые не знают, что происходит на расстоянии двух лье от их очага, и живут в замкнутом кругу, никогда не выходя за его пределы. Должен сознаться, что люди, ведущие такое обособленное существование, всегда отпугивали меня. Погребенные в городах под тысячей неведомых кровель, их жи-

лица похожи на водоемы со стоячей водой. Мне кажется, что там можно задохнуться: во всем, что дышит забвением на этой земле, всегда есть частица смерти.

На столе у госпожи Пирсон лежали свежие газеты и книги — правда, она даже не разворачивала их. Несмотря на простоту всего, что ее окружало, в ее мебели, в ее платьях чувствовалась мода, другими словами — новизна, жизнь. Она не уделяла этому особого внимания, не занималась этим, но все делалось само собой. Что касается ее вкусов, то, как я сразу заметил, вокруг нее не было ничего вычурного, все дышало молодостью и было приятно для глаза. Беседа ее свидетельствовала о солидном образовании. Она обо всем говорила непринужденно и со знанием предмета. Несмотря на ее простоту, в ней чувствовалась глубокая и богатая натура. Разносторонний и самостоятельный ум тихо парил над бесхитростным сердцем и привычками к уединенной жизни. Так чайка, кружащаяся в небесной лазури, парит с высоты облаков над кустами, где она свила свое гнездо.

Мы разговаривали о литературе, о музыке, чуть ли не о политике. Этой зимой она ездила в Париж. Время от времени она появлялась и в свете. То, что она там видела, служило ей основой, остальное дополнялось с помощью догадок.

Но самой характерной чертой госпожи Пирсон была ее веселость — веселость, которая не переходила в радость, но была неистошима. Казалось, что она родилась цветком и что эта веселость была его благоуханием.

При ее бледности и больших черных глазах это как-то особенно поражало — тем более что некоторые ее слова, некоторые взгляды ясно говорили о том, что когда-то она страдала и что жизнь оставила на ней свой след. Всматриваясь в нее, вы почему-то чувствовали, что кроткая ясность ее чела была дарована ей не в этом мире, что она дана богом и будет в полной неприкосновенности возвращена богу, несмотря на общение с людьми. И в иные минуты госпожа Пирсон напоминала заботливую хозяй-

ку, защищающую от порывов ветра робкое пламя своей свечи.

Пробыв в ее комнате каких-нибудь полчаса, я не смог удержаться, чтобы не высказать ей всего, что было у меня на сердце. Я думал о своем прошлом, о своих огорчениях, о своих заботах. Я расхаживал взад и вперед, нагибаясь к цветам, вдыхая их аромат, любуясь солнцем. Я попросил ее спеть, она охотно исполнила мою просьбу. Пока она пела, я стоял, облокотясь на подоконник, и смотрел, как прыгают в клетке ее птички. Мне пришло в голову изречение Монтеня: «Я не люблю и не уважаю грусть, хотя люди точно сговорились окружить ее особым почетом. Они облачают в нее мудрость, добродетель, совесть. Глупое и дурное украшение».

— Какое счастье! — невольно вскричал я. — Какой покой! Какая радость! Какое забвение!

Добрая тетушка подняла голову и взглянула на меня с удивленным видом. Госпожа Пирсон перестала петь. Я густо покраснел, сознавая всю нелепость своего поведения, и сел, не сказав более ни слова.

Мы вышли в сад. Белый козлик, которого я видел накануне, лежал там на траве. Заметив свою хозяйку, он тотчас подбежал к ней и пошел за нами уже как старый знакомый.

Когда мы собирались повернуть в аллею, у калитки вдруг появился высокий бледный молодой человек, закутанный в какое-то подобие черной сутаны. Он вошел, не позвонив, и поздоровался с госпожой Пирсон. Я заметил, что его физиономия, которая и без того показалась мне малоприятной, несколько омрачилась, когда он меня увидел. Это был священник, и я уже встречал его в деревне. Его звали Меркансон. Он недавно окончил курс в семинарии Святого Сульпиция и состоял в родстве с местным кюре.

Он был одновременно тучен и бледен, что никогда не нравилось мне и что действительно производит неприятное впечатление: болезненное здоровье — ну, не бессмыс-

лица ли это? К тому же у него была манера говорить медленно, но вместе с тем отрывисто — манера, избобличавшая педанта. Даже его походка, в которой не было ничего молодого, ничего решительного, отталкивала меня. Что же касается его взгляда, то взгляда у него, можно сказать, не было вовсе. Не знаю, что думать о человеке, глаза которого ничего не выражают. Вот признаки, по которым я составил себе мнение о Меркансоне и которые, к несчастью, не обманули меня.

Он уселся на скамейку и начал говорить о Париже, называя его современным Вавилоном. Он только что прибыл оттуда и знал решительно всех. Он бывал у госпожи де Б., это сущий ангел. Он читал проповеди в ее салоне, и их слушали, преклонив колена. (Хуже всего было то, что он говорил правду.) Одного из его друзей, которого он сам ввел туда, недавно выгнали из коллежа за то, что он обольстил одну девицу, и это очень дурно, очень печально. Он наговорил тысячу любезностей госпоже Пирсон, восторгаясь ее благотворительной деятельностью. До него дошли слухи о ее благодеяниях, о том, как она заботится о больных, вплоть до того, что сама ухаживает за ними. Это так прекрасно, так благородно. Он не преминет рассказать об этом в семинарии Святого Сульпиция. Уж не собирался ли он сообщить об этом и самому господу богу?

Утомленный этой длинной речью и желая удержаться от пренебрежительного жеста, я улегся на траву и стал играть с козленком. Меркансон устремил на меня свой безжизненный, тусклый взгляд.

— У прославленного Верньо, — сказал он, — тоже была эта странная привычка — садиться на землю и играть с животными.

— Это весьма невинная странность, господин аббат, — возразил я. — Если бы все наши странности были столь же невинны, мир мог бы существовать сам по себе, без всякого участия множества людей, которым не терпится вмешаться в его дела.

Мой ответ не понравился Меркансону. Он нахмурил-

ГЛАВА 6

ся и заговорил о другом. Он явился сюда с поручением: его родственник, местный кюре, рассказал ему об одном бедняке, который не мог заработать себе на хлеб; живет он там-то и там-то. Он сам, Меркансон, уже был у него и принял в нем участие. Он надеется, что госпожа Пирсон...

Пока он говорил, я все время смотрел на госпожу Пирсон и с нетерпением ждал, что она что-нибудь скажет, как будто звук ее голоса должен был утолить боль, которую мне причинял голос священника, но она только низко поклонилась ему, и он удалился.

После его ухода веселость снова вернулась к нам, и мы решили пойти в оранжерею, находившуюся в глубине сада.

Госпожа Пирсон обращалась со своими цветами точно так же, как со своими птицами и со своими соседями-фермерами. Для того чтобы она, этот добрый ангел, могла быть веселой и счастливой, все окружавшее ее должно было наслаждаться жизнью, должно было получать свою каплю воды и свой луч солнца. Поэтому ее оранжерея сохранилась в образцовом порядке и была прелестна.

— Господин де Т., — сказала мне госпожа Пирсон, когда мы осмотрели оранжерею, — вот и весь мой маленький мирок. Теперь вы видели все, что у меня есть, и на этом кончаются мои владения.

— Сударыня, — ответил я, — если имя моего отца, благодаря которому я имел честь войти в ваш дом, позволит мне снова прийти сюда, я поверю, что счастье еще не совсем забыло меня.

Она протянула мне руку, и я почтительно пожал ее, не осмелившись поднести к губам.

Вечером, придя домой, я запер дверь и лег в постель. Перед моими глазами стоял маленький белый домик. Я представлял себе, как завтра вечером я выйду из дому, миную деревню, липовую аллею и постучусь у ее калитки.

— О мое бедное сердце! — воскликнул я. — Хвала небу! Ты еще молодо, ты можешь жить, ты можешь любить!

Как-то вечером я был у госпожи Пирсон. Вот уже более трех месяцев, как я виделся с ней почти ежедневно, и могу сказать об этом времени лишь одно — я видел ее. «Быть с людьми, которых любишь, — говорит Лабрюйер, — это все, что нам нужно. Мечтать, говорить с ними, молчать возле них, думать о них, думать о вещах более различных, но в их присутствии, — не все ли равно, что делать, лишь бы быть с ними».

Я любил. В течение трех месяцев мы совершали вместе длинные прогулки. Я был посвящен во все тайны ее скромного милосердия. Мы пробирались вместе по темным лесным тропинкам: она — на маленькой лошадке, я — пешком, с тросточкой в руке. Так, то оживленно беседуя, то погружаясь в мечты, мы подходили к дверям хижин и стучались в них. На опушке леса стояла скамейка, где я поджидал ее после обеда, и мы встречались там как бы случайно, но постоянно. Утром — музыка, чтение; вечером — партия в карты с тетюшкой у камина, где, бывало, сживал мой отец; и всегда и везде она была здесь, рядом; ее улыбка, ее присутствие заполняли мое сердце. Какими же путями, о провидение, ты привело меня к несчастью? Волю какого неумолимого рока мне предназначено было исполнить? Как! Эту жизнь, полную свободы, эту близость, полную очарования, этот покой, эту зарождающуюся надежду мне суждено было... О боже, на что жалуются люди? Что может быть сладостнее любви?

Жить, да, ощущать сильно, глубоко, что ты существуешь, что ты человек, созданный богом, — вот первое и главное благодетельное любви. Любовь — неизъяснимое таинство, в этом нет сомнения. Несмотря на тяжелые цепи, несмотря на пошлость, я бы сказал даже — несмотря на всю мерзость, которой окружают ее, несмотря на целую гору извращающих и искажающих ее предрассудков, под которой она погребена, несмотря на всю грязь, которой ее обливают, — любовь, стойкая и роковая любовь все же

является божественным законом, столь же могущественным и столь же непостижимым, как тот закон, который заставляет солнце сиять в небе. Скажите мне, что такое эти узы, которые крепче, прочнее железа и которые нельзя ни видеть, ни осязать? Чем объяснить, что вы встречаете женщину, смотрите на нее, говорите ей два слова и уже никогда больше не можете ее забыть? Почему именно ее, а не другую? Сошлитесь на рассудок, привычку, чувственность, на ум, на сердце и объясните, если сможете. Вы увидите лишь два тела, одно здесь, другое там, и между ними... Что же? Воздух, пространство, бесконечность? О глупцы, считающие себя людьми и осмеливающиеся рассуждать о любви! Разве вы видели ее, что можете говорить о ней? Нет, вы только ощущали ее. Вы обменялись взглядом с неизвестным вам существом, проходившим мимо, и вдруг от вас отлетело нечто, не имеющее названия. Вы пустили корни в землю, как зерно, которое пряталось в траве и вдруг почувствовало, что жизнь проснулась в нем и скоро оно созреет для жатвы.

Мы сидели вдвоем у открытого окна. В глубине сада бил небольшой фонтан, и до нас долетал его шум. О боже! Я хотел бы сосчитать все до единой капли, которые упали в то время, как мы сидели там, в то время, как она говорила и я отвечал ей. Ее присутствие опьяняло меня до потери сознания.

Говорят, ничто не передается быстрее, чем чувство антипатии, но, по-моему, мы еще быстрее угадываем, что нас понимают и что любовь будет взаимной. Какую цену приобретает тогда каждое слово! Впрочем, важно ли то, о чем говорят губы, когда прислушиваешься к тому, что отвечает твоему сердцу другое сердце? Как бесконечно сладостно впервые смотреть на женщину, к которой испытываешь влечение! Вначале все, что ты говоришь ей, что она отвечает тебе, кажется первой пробой, робким испытанием. Вскоре рождается какая-то странная радость: ты чувствуешь, что разбудил эхо, что ты начинаешь жить в другом человеке. Какое единение! Какая близость! А ко-

гда убеждаешься в том, что любишь и любим, когда находишь в дорогом тебе существе родственную душу, которую искал, какое спокойствие овладевает тобою! Слова замирают на губах. Ты заранее знаешь, что тебе скажут и что ты ответишь. Души переполнены, но уста молчат. О, какое это безмолвие! Какое полное забвение всего окружающего!

Хотя моя любовь, возникшая с первого же дня, теперь уже не знала предела, уважение, которое я питал к госпоже Пирсон, не позволяло мне высказаться. Быть может, если бы она не так легко подарила мне свою дружбу, я был бы смелее — ведь она производила на меня такое сильное впечатление, что, уходя от нее, я всегда испытывал страстный восторг. Но в самой ее откровенности, в том доверии, с каким она ко мне относилась, было что-то останавливающее меня. К тому же она стала считать меня другом благодаря имени моего отца, и это заставляло меня быть с ней еще почтительнее: я хотел быть достойным этого имени.

Некоторые думают, что говорить о любви — значит любить. Мы редко говорили о ней. Всякий раз, как мне случалось затронуть эту тему, госпожа Пирсон отвечала неохотно и начинала говорить о другом. Я не понимал причины ее сдержанности — в ней не было ни малейшего жеманства, — но иногда мне казалось, что лицо ее принимало в таких случаях легкий оттенок суровости и даже страдания. Так как я никогда не задавал ей вопросов относительно ее прошлого и не собирался задавать их и впредь, то не спрашивал у нее объяснений по этому поводу.

По воскресеньям в деревне устраивались танцы, и она почти всегда принимала в них участие. В эти дни ее туалет, такой же скромный, как обычно, бывал несколько более наряден: цветок в волосах, яркая ленточка, какой-нибудь бантик придавали ей более молодой, более непринужденный вид. Танцы, которые она очень любила как приятное физическое упражнение и несколько этого не

скрывала, вызывали у нее шаловливую резвость. У нее было постоянное место возле маленького оркестра, состоявшего из местных музыкантов, и она прибегала туда, смеясь и болтая с деревенскими девушками, которые хорошо знали ее. Начав танцевать, она уже ни на минуту не останавливалась, и мне казалось, что на этих сборищах она разговаривала со мной более дружески, чем обычно, и ее обращение становилось менее сдержанным. Я не танцевал, так как все еще носил траур, но, стоя за ее стулом и видя ее в таком хорошем расположении духа, не раз испытывал искушение открыть ей свою любовь.

Однако, сам не знаю почему, при одной мысли об этом меня охватывал непреодолимый страх. Думая о признании, я становился серьезен посреди самого веселого разговора. Иногда я решал написать ей, но сжигал свои письма, не дописав их и до половины.

В этот вечер я обедал у нее, я восхищался спокойствием, царившим в ее доме, я думал о мирной жизни, которую вел, о счастье, которым наслаждался с тех пор, как узнал ее, и говорил себе: «Чего же больше? Разве тебе не достаточно того, что есть? Как знать? Быть может, это все, что предназначено тебе богом? Что будет, если я скажу ей о своей любви? Быть может, она запретит мне бывать у нее. Станет ли она счастливее, если я скажу ей это? Стану ли счастливее я сам?»

Я стоял, опершись на фортепьяно, и эти размышления навеяли на меня грусть. День угасал, она встала и зажгла свечу. Возвращаясь, она заметила слезу, катившуюся по моей щеке.

— Что с вами? — спросила она.

Я отвернулся. Я искал, что ответить, и не находил; я боялся встретиться с ней взглядом. Я подошел к окну. Воздух был тих, луна поднималась над липовой аллеей, той аллеей, где я увидел ее в первый раз. Я впал в такую глубокую задумчивость, что даже забыл о ее присутствии. Наконец я простер руки к небу, и рыдание вырвалось из моей груди.

Она встала и подошла ко мне.

— Что же, что с вами? — еще раз спросила она.

Я ответил, что при виде этой пустынной широкой долины мне вспомнилась смерть отца; затем я простился с нею и ушел.

Мне и самому было не вполне ясно, почему я решил молчать о своей любви. Вместо того чтобы идти домой, я, как безумный, блуждал по поселку и по лесу. Заметив скамейку, я сел, потом стремительно вскакивал и шел дальше. Около полуночи я подошел к дому госпожи Пирсон. Она стояла у окна. Увидев ее, я задрожал. Я хотел повернуть назад, но меня словно околдовали. Медленно и грустно я подошел к ее окну и опустился на скамью.

Не знаю, узнала ли она меня, но несколько минут спустя она запела своим мягким и свежим голосом какой-то романс, и почти в тот же миг на мое плечо упал цветок. Это была роза, которая весь вечер была приколоты к ее груди. Я поднял ее и поднес к губам.

— Кто там? — спросила она. — Это вы?

И она назвала мое имя.

Садовая калитка была приотворена. Не отвечая, я встал и вошел в сад. Дойдя до середины лужайки, я остановился. Я шел как лунатик, не отдавая себе отчета в том, что делал.

И вдруг она появилась в дверях дома. Она стояла с нерешительным видом, пристально всматриваясь в глубину сада, освещенного луной. Наконец она сделала несколько шагов по направлению ко мне. Я пошел ей навстречу. Я не мог выговорить ни слова. Я упал перед ней на колени и взял ее руку.

— Выслушайте меня, Октав, — сказала она, — я знаю все. Но если это дошло до такой степени, то вы должны уехать. Вы бываете здесь ежедневно, и разве я встречаю вас не как желанного гостя? Разве этого мало? Чем я могу помочь вам? Я подарила вам свою дружбу, и мне жаль, что вы так быстро отняли у меня свою.

Сказав это, госпожа Пирсон умолкла, как бы ожидая ответа. Однако, видя, что я молчу, подавленный грустью, она мягко высвободила свою руку, отошла на несколько шагов, еще раз остановилась, потом медленно вошла в дом.

Я остался на лужайке. То, что она сказала, не было для меня неожиданностью, и я немедленно принял решение — уехать. Я встал с разбитым сердцем, но без колебаний, и еще раз обошел сад. Я посмотрел на дом, на окошко ее комнаты, открыл калитку, вышел, закрыл ее за собой и приник губами к замку.

Придя домой, я сказал Лариву, что собираюсь рано утром уехать, и велел ему приготовить все необходимое. Бедный старик был удивлен, но я знаком приказал ему повиноваться и ни о чем не спрашивать. Он принес большой чемодан, и мы принялись укладываться.

Было уже пять часов утра и начало светать, когда я впервые спросил себя, куда я еду. При этой столь естественной мысли, которая до сих пор не приходила мне в голову, мужество оставило меня. Я окинул взглядом долину, посмотрел на горизонт. Мною овладела непреодолимая слабость, я почувствовал, что изнемогаю от усталости. Я сел в кресло, и постепенно мои мысли смешались. Я провел рукою по лбу — он был совершенно влажен от пота. Меня охватила жестокая лихорадка, ноги и руки дрожали, с помощью Ларива я едва дотащился до постели. В голове у меня был такой сумбур, что я почти не помнил о том, что произошло. Так прошел весь день. К вечеру я услышал звуки оркестра. Это был воскресный бал, и я велел Лариву сходить туда и посмотреть, там ли госпожа Пирсон. Ее там не оказалось, и я послал Ларива к ней домой. Все окна были закрыты. Служанка сказала ему, что ее хозяйка вместе со своей теткой уехали на несколько дней к одному родственнику, который жил в Н., маленьком, до-

вольно отдаленном городке. Кроме того, Ларив принес мне письмо, которое ему передали там для меня. Письмо было следующего содержания:

«Вот уже три месяца, как я встречаюсь с вами, и месяц, как я заметила, что вы питаете ко мне чувство, которое в вашем возрасте называют любовью. Мне показалось, что вы решили скрыть его от меня и побороть себя. Я и прежде уважала вас, а это заставило меня уважать вас еще больше. Я не стану упрекать вас за то, что произошло, за то, что сила воли изменила вам.

То, что вы принимаете за любовь, на деле — всего лишь жажда обладания. Я знаю, что многие женщины стремятся возбудить это чувство, оно льстит их самолюбию. Я считала, что можно, и не прибегая к этому недостойному способу, нравиться людям, которых мы приближаем к себе, но, видимо, даже и такое тщеславное желание таит в себе опасность, и я виновата в том, что допустила его по отношению к вам.

Я старше вас несколькими годами и прошу вас больше не встречаться со мной. Напрасно вы будете пытаться забыть минуту слабости — то, что произошло между нами, не может ни повториться, ни вполне изгладиться из нашей памяти.

Я не без грусти расстаюсь с вами. Сейчас я уезжаю на несколько дней, и если по возвращении я не застаю вас в наших краях, то буду признательна вам за это последнее доказательство вашей дружбы ко мне и вашего уважения.

Бригитта Пирсон».

Лихорадка целую неделю держала меня в постели. Как только я смог писать, я ответил, что ее желание будет исполнено и что я уеду. Я написал это искренно, без малейшего намерения обмануть ее, но отнюдь не сдержал своего обещания. Не успел я отъехать и на два лье, как

крикнул кучеру, чтобы он остановил лошадей, и вылез из кареты. Я стал расхаживать по дороге. Я не мог оторвать глаз от деревни, еще видневшейся в отдалении. Наконец после мучительных колебаний я почувствовал, что не в состоянии ехать дальше и что скорее соглашусь умереть, чем снова сесть в карету. Итак, я велел кучеру поворачивать обратно и, вместо того чтобы ехать в Париж, как я предполагал, направился прямо в Н., где находилась госпожа Пирсон.

Я приехал туда в десять часов вечера. Остановившись в гостинице, я попросил указать мне дом родственника госпожи Пирсон и, совершенно не думая о том, что делаю, сейчас же отправился туда. Мне открыла служанка. Я попросил ее передать госпоже Пирсон, если она здесь, что к ней пришли с поручением от господина Депре. Так звали священника нашей деревни.

Пока служанка уходила в дом, я стоял в маленьком темном дворе. Шел дождь, и я укрылся в сенях около неосвященной лестницы. Вскоре появилась госпожа Пирсон, следом за которой шла служанка. Госпожа Пирсон быстро сбежала со ступенек, но было темно, и она не заметила меня. Я подошел к ней и коснулся ее руки. Она с ужасом отпрянула.

— Что вам нужно? — вскричала она.

Голос ее так дрожал, и, когда подошла служанка со свечой, я увидел на ее лице такую бледность, что не знал, что подумать. Неужели мое неожиданное появление могло до такой степени взволновать ее? Эта мысль на мгновение блеснула в моем уме, но я сказал себе, что скорее всего она просто испугалась, и это было вполне естественно со стороны женщины, пораженной неожиданностью.

Между тем она более спокойным тоном повторила свой вопрос.

— Вы должны позволить мне еще раз увидеться с вами, — сказал я. — Я уеду, я покину наши края, ваше требование будет исполнено, клянусь вам в этом. Я сделаю даже

больше, чем вы хотели: я продам дом моего отца, продам все мое имущество и навсегда уеду за границу, но только при условии, что увижу вас еще раз. В противном случае я остаюсь. Вам нечего опасаться с моей стороны, но я твердо решил поступить так и не изменю своего решения.

Она нахмурилась и с каким-то странным выражением посмотрела по сторонам, потом ответила мне почти приветливо:

— Приходите завтра днем. Я приму вас.

Сказав это, она ушла.

На следующий день я пришел к ней около полудня. Меня ввели в комнату, обитую выцветшей материей и уставленную старинной мебелью. Она была одна и сидела на кушетке. Я сел напротив.

— Сударыня, — сказал я ей, — я приехал не для того, чтобы говорить вам о своих страданиях или чтобы отречься от любви, которую я чувствую к вам. То, что произошло между нами, нельзя забыть — вы сами написали мне об этом, и это правда. Но вы говорите, что по этой причине мы не можем больше видеться друг с другом, не можем оставаться друзьями, и тут вы ошибаетесь. Я люблю вас, но я ничем вас не оскорбил. Ваше отношение ко мне не могло измениться — ведь вы не любите меня. Итак, если мы снова будем встречаться, нужно только одно — чтобы кто-то поручился вам за меня, и таким поручителем может быть именно моя любовь.

Она хотела прервать меня.

— Дайте мне договорить, умоляю вас. Никто не знает лучше меня, что, несмотря на все мое уважение к вам и вопреки всем обещаниям, какими я мог бы связать себя, любовь сильнее всего. Повторяю вам еще раз, я не собираюсь отречься от того, чем переполнено мое сердце. Но ведь вы сами сказали мне, что не со вчерашнего дня знаете о моей любви к вам. Что же удерживало меня от объяснения до сих пор? Страх потерять вас. Я боялся, что вы перестанете принимать меня, и вот это случилось. По-

ставьте же мне условие, что при первом моем слове о любви, при первом случае, когда у меня вырвется жест или мысль, несовместимые с чувством самого глубокого уважения, ваша дверь навсегда закроется для меня. Я уже молчал в прошлом, точно так же я буду молчать и впредь. Вы полагаете, что я полюбил вас месяц назад, нет, я люблю вас с первого дня. Заметив мою любовь, вы не перестали видеться со мной. Если прежде вы достаточно уважали меня, чтобы считать неспособным оскорбить вас, то почему бы я мог потерять ваше уважение теперь? Я пришел просить вас вернуть мне это уважение. Что я вам сделал? Я упал на колени, я даже не вымолвил ни одного слова. Что нового вы узнали? Все это вы знали и прежде. Я проявил слабость, потому что мне было больно. Сударыня, мне двадцать лет, но то, что я знаю о жизни, так прискучило мне (я мог бы употребить более сильное слово), что сейчас во всем мире не найдется такого маленького, такого незаметного уголка — ни в обществе людей, ни даже в полном одиночестве, — который бы мне хотелось занять. Пространство, заключенное между четырьмя стенами вашего сада, это единственное место на земле, где я дышу свободно, а вы — единственное человеческое существо, внушившее мне любовь к богу. Я от всего отказался еще до встречи с вами — зачем же отнимать у меня единственный солнечный луч, оставленный мне провидением? Если это делается из страха — то чем же я мог внушить вам его, в чем моя вина перед вами? Если из жалости к моим страданиям, то вы ошибаетесь, думая, что я еще могу излечиться. Может быть, два месяца назад это еще было возможно, но я предпочел видеть вас и страдать и не жалею об этом, что бы ни случилось. Единственное несчастье, которого я боюсь, это потерять вас. Испытайте меня. Если когда-нибудь я почувствую, что наше соглашение слишком тяжело для меня, я уеду, и вы хорошо знаете, что это так, — ведь вот вы отсылаете меня сейчас и видите, что я готов уехать. Чем же вы рискуете, если дадите мне еще один или

два месяца того единственного счастья, которое еще возможно для меня?

Я ждал ее ответа. Она порывисто встала, потом снова села. С минуту она молчала.

— Уверю вас, что все это не так, — сказала она наконец.

Мне показалось, что она ищет выражений, которые бы показались мне не слишком суровыми, что она хочет смягчить свой ответ.

— Одно слово! — воскликнул я, вставая. — Одно только слово! Я знаю ваше сердце, и если в нем найдется хоть капля сострадания ко мне, я буду бесконечно благодарен вам. Скажите одно слово! От этой минуты зависит вся моя жизнь.

Она покачала головой. Я видел, что она колеблется.

— Вы думаете, что я могу излечиться? — вскричал я. — Пусть же бог оставит вам эту уверенность, если вы прогоните меня отсюда...

Сказав это, я посмотрел вдаль, и при мысли, что мне придется уехать, мною вдруг овладело чувство такого ужасного одиночества, что кровь застыла у меня в жилах. Я стоял перед ней, не отрывая глаз от ее лица, ожидая ее слов: вся моя жизнь зависела сейчас от движения ее губ.

— Хорошо, — сказала она, — выслушайте меня. Ваш приезд — большая неосторожность. Не нужно, чтобы люди думали, что вы приезжали сюда ради меня. Я дам вам поручение к одному из друзей нашей семьи. Может быть, вам покажется, что он живет слишком далеко и что ваше отсутствие продлится слишком долго, но это ничего: лишь бы оно не было чересчур коротким. Что бы вы там ни говорили, — добавила она с улыбкой, — а небольшое путешествие успокоит вас. Вы остановитесь по пути в Вогезах и проедете до Страсбурга. Через месяц или лучше через два вы приедете и сообщите, как вы выполнили мое поручение. Мы увидимся, и тогда я отвечу вам лучше, чем сейчас.

В тот же вечер мне передали от госпожи Пирсон письмо, адресованное господину Р. Д. в Страсбург. Три недели спустя поручение было выполнено, и я вернулся домой.

Во время этой поездки я не переставал думать о ней и потерял всякую надежду когда-либо ее забыть. Однако я твердо решил не говорить ей о своих чувствах: неосторожность, вследствие которой я чуть было не потерял ее, причинила мне слишком жестокие страдания, чтобы я стал снова подвергать себя этому риску. Мое уважение к госпоже Пирсон не позволяло мне сомневаться в ее искренности, и в ее попытке уехать из этих мест я не усматривал ничего похожего на лицемерие. Словом, я был твердо убежден, что при первом моем слове о любви она навсегда закроет предо мной свою дверь.

Я нашел ее похудевшей и изменившейся. Обычная улыбка казалась теперь печальной на ее побледневших губах. Она сказала мне, что была больна.

Мы больше не возвращались к тому, что произошло. Она, видимо, не хотела вспоминать об этом, а я не хотел начинать этот разговор. Вскоре мы возобновили наши прежние отношения — отношения добрых соседей, но мы оба чувствовали неловкость, и между нами создалась какая-то искусственная фамильярность. Временами мы точно говорили друг другу: «Так было прежде, пусть же так будет и теперь». Она дарила меня доверием, как бы возвращая мне прежние права, что было не лишено некоторого очарования, но наши беседы сделались холоднее по той причине, что, пока мы говорили, наши глаза вели между собой другой, безмолвный разговор. В словах, которыми мы обменивались, больше незачем было искать скрытого смысла. Мы больше не старались, как это бывало прежде, проникнуть друг другу в душу. Пропал тот интерес к каждому слову, к каждому чувству, пропало любопытство, с каким мы стремились поглубже узнать друг друга. Она была ласкова со мной, но я почему-то боялся

этой ласковости. Я гулял с ней в саду, но уже не сопутствовал ей в ее далеких прогулках. Мы больше не бродили вместе по полям и лесам. Когда мы оставались одни, она садилась за фортепьяно. Звук ее голоса уже не пробуждал в моем сердце тех юношеских порывов, тех радостных восторгов, которые напоминают рыдания, исполненные надежды. Прощаясь, она по-прежнему протягивала мне руку, но эта рука была безжизненна. Наша непринужденность была натянутой, все наши разговоры были полны раздумья, в глубине наших сердец таилось много грусти.

Мы оба чувствовали, что между нами все время стоит некто третий — моя любовь. Мои поступки ничем не выдавали ее, но вскоре меня выдало мое лицо: я потерял веселость, силы, румянец здоровья перестал играть на моих щеках. Не прошло и месяца, а я уже не походил на самого себя.

Однако в наших беседах я все время подчеркивал свое отвращение к светской жизни, свое нежелание когда-либо вернуться к ней. Я всячески старался доказать госпоже Пирсон, что она не должна раскаиваться в данном мне позволении снова бывать у нее в доме. Иногда я в самых мрачных красках рисовал ей мое прошлое и давал понять, что, если бы мне пришлось расстаться с ней, я был бы обречен на одиночество, которое хуже смерти; я говорил ей, что ненавижу общество, и правдивое описание моей жизни доказывало ей мою искренность. Иногда я напускал на себя веселость, которая совершенно не соответствовала тому, что было у меня на сердце, но должна была ей показать, что, позволив мне видаться с нею, она спасла меня от ужаснейшего несчастья. Приходя, я почти каждый раз благодарил ее, чтобы иметь возможность вернуться к ней вечером или на следующее утро.

— Все мои мечты о счастье, — говорил я, — все мои надежды, все стремления сосредоточены в этом маленьком уголке земли. Вне того воздуха, которым дышите вы, для меня нет жизни.

Она видела мои страдания и не могла не жалеть меня. Мое мужество внушало ей сострадание, и во всех ее словах, движениях, во всем ее обращении со мной сквозила какая-то особая мягкость. Она чувствовала, какая борьба происходила во мне. Мое послушание льстило ее самолюбию, но бледность моего лица тревожила ее, в ней просыпались инстинкты сестры милосердия. Иногда же ее тон становился каким-то неровным, почти кокетливым.

«Завтра меня не будет дома». Или: «Не приходите в такой-то день», — говорила она почти капризно. Потом, видя, что я ухожу печальный и покорный, она внезапно смягчалась и добавляла: «Впрочем, не знаю. Зайдите на всякий случай». Или прощалась со мной более ласково, чем обычно, и до самой калитки провожала меня более грустным, более приветливым взглядом.

— Не сомневайтесь, это само провидение привело меня к вам, — говорил я ей. — Быть может, если б мне не случилось встретиться с вами, сейчас я бы снова погряз в разврате. Бог послал мне в вас светлого ангела, чтобы отвести меня от бездны. На вас возложена святая миссия. Кто знает, что случилось бы со мной, если б я потерял вас, и куда завели бы меня безысходное горе, преждевременный пагубный опыт и страшный поединок между молодостью и скукой?

Эта мысль — а выражая ее, я был вполне искренен — имела огромное влияние на женщину, отличавшуюся восторженной набожностью и пылкой душой. Возможно, что только по этой причине госпожа Пирсон и разрешила мне по-прежнему бывать у нее в доме.

Однажды, в ту самую минуту, когда я собирался идти к ней, кто-то постучался ко мне, и в комнату вошел Меркансон, тот самый священник, которого я видел в саду госпожи Пирсон в день моего первого посещения. Он начал с извинений, столь же скучных, как он сам, по поводу того, что явился ко мне, не будучи со мной знакомым. Я возразил, что отлично знаю его как племянника нашего юре, и спросил, в чем дело.

Он долго с принужденным видом осматривался по сторонам, точно подыскивая слова, и перетрогал пальцем все предметы, лежавшие у меня на столе, словно не зная, с чего начать. Наконец он объявил, что госпожа Пирсон больна и поручила ему сообщить мне, что сегодня она не может меня принять.

— Больна? Но ведь вчера я ушел от нее довольно поздно, и она была совершенно здорова!

Он поклонился.

— Скажите, господин аббат, зачем понадобилось, если даже она и больна, извещать меня об этом через третье лицо? Она живет не так далеко, и не было бы большой беды в том, чтобы заставить меня прогуляться туда лишний раз.

Тот же ответ со стороны Меркансона. Я не мог понять, зачем он явился ко мне и, главное, зачем ему дали такое поручение.

— Хорошо, — сказал я ему. — Завтра я увижу госпожу Пирсон, и она все объяснит мне.

Он снова начал мяться: госпожа Пирсон поручила ему также... Он должен мне сказать... Он взял на себя...

— Да что же, что? — вскричал я, потеряв терпение.

— Милостивый государь, вы чересчур горячитесь. Я полагаю, что госпожа Пирсон больна серьезно. Она не сможет видаться с вами всю неделю.

Еще один поклон — и он удалился.

Было совершенно ясно, что за этим визитом скрывалась какая-то тайна: либо госпожа Пирсон не хотела больше меня видеть — и я не знал, чему приписать ее нежелание, — либо Меркансон вмешался по собственному побуждению.

Весь этот день я терпеливо ждал. На другой день ранним утром я уже был у дверей госпожи Пирсон, где встретил служанку. Последняя сообщила мне, что ее госпожа в самом деле серьезно больна, но, несмотря на все просьбы, она не согласилась ни взять у меня деньги, ни отвечать на мои вопросы.

Проходя через деревню, я увидел Меркансона, окруженного школьниками — учениками его дяди. Я прервал его разглагольствования и попросил его на два слова.

Он дошел со мной до площади, но теперь настала моя очередь мяться, так как я не знал, с чего начать, чтобы выманить у него его тайну.

— Сударь, — сказал я ему, — умоляю вас, скажите мне, правда ли то, что вы мне сообщили вчера, или тут есть какая-то другая причина. Помимо того, что в деревне нет врача, которого бы можно было пригласить к госпоже Пирсон, мне чрезвычайно важно узнать, в чем дело.

Он начал всячески изворачиваться и уверять, что госпожа Пирсон действительно больна, что она послала за ним и поручила ему известить меня об этом, что он выполнил ее поручение и ничего больше не знает.

Между тем, разговаривая таким образом, мы дошли до конца главной улицы и оказались в совершенно безлюдном месте. Видя, что ни хитрость, ни просьбы не помогают, я внезапно остановился и схватил его за руки.

— Что это значит, милостивый государь? Уж не собираетесь ли вы прибегнуть к насилию?

— Нет, но я хочу, чтобы вы ответили мне.

— Милостивый государь, я никого не боюсь и сказал вам все, что должен был сказать.

— Вы сказали то, что должны были сказать, но не то, что вам известно. Госпожа Пирсон ничем не больна — это я знаю, я в этом уверен.

— Откуда вы это знаете?

— Мне сказала служанка. Почему она перестала принимать меня, почему поручила передать это мне именно вам?

В это время на дороге показался какой-то крестьянин.

— Пьер, — крикнул ему Меркансон, — подождите меня, мне надо переговорить с вами.

Крестьянин подошел к нам. Это было все, чего хотел Меркансон; он понимал, что при постороннем человеке я не решусь прибегнуть к насилию. Я и в самом деле выпус-

тил его руки, но при этом оттолкнул так сильно, что он ударился спиной о дерево. Он сжал кулаки, но ушел, не сказав ни слова.

Всю неделю я провел в сильном волнении: я ходил к госпоже Пирсон по три раза на дню, но меня упорно не принимали. Наконец я получил от нее письмо. Она писала, что мои частые посещения стали в деревне предметом сплетен, и просила впредь бывать у нее реже. Но ни слова о Меркансоне и о своей болезни.

Подобная предосторожность была столь несвойственна ей и до такой степени противоречила горделивому презрению, с каким она обычно относилась к подобным сплетням, что сначала я не мог заставить себя поверить ее письму, но, не находя никакого иного объяснения ее поступку, я ответил, что у меня одно желание — беспрекословно ей повиноваться. Однако выражения, которые я употреблял в моем письме, были проникнуты невольной горечью.

Я намеренно не пошел к ней в тот день, когда мне было позволено навестить ее, и не посылал справляться о ее здоровье, чтобы дать понять, что не верю в ее болезнь. Я не знал, почему она решила оттолкнуть меня, но поистине я был так несчастлив, что по временам серьезно подумывал, не покончить ли с этой невыносимой жизнью. По целым дням я бродил в лесу, и однажды случай привел меня встретить ее там.

Я был в самом плачевном состоянии. Я едва осмелился задать ей несколько робких вопросов относительно ее поведения, она не пожелала объясниться откровенно, и я прекратил разговор об этом.

Теперь все свелось для меня к тому, что я считал дни, тянувшиеся вдали от нее, и по целым неделям жил надеждой на новую встречу. Каждую минуту я чувствовал желание броситься к ее ногам и излить перед ней свое отчаяние. Я говорил себе, что она не сможет остаться равнодушной, что она ответит хотя бы несколькими словами сострадания. Но тут ее внезапный отъезд, ее суровость

приходили мне на память, и я с трепетом думал о том, что могу потерять ее навсегда, и готов был лучше умереть, нежели снова подвергнуться этому риску.

Таким образом, не имея возможности открыть ей мои страдания, я терял последние силы. Теперь я словно нехотя подходил к ее дому. Я предчувствовал, что найду там новый источник горестей, и действительно каждый раз находил его. Сердце разрывалось у меня, когда я прощался с ней, и каждый раз мне казалось, что я никогда больше ее не увижу.

Она тоже потеряла свой прежний естественный тон, потеряла прежнюю непринужденность. Она говорила мне о том, что собирается путешествовать, с деланой небрежностью делилась со мной желанием навсегда уехать из этих мест, и эти планы пугали меня до полусмерти. Если ей случалось на минуту сделаться искренней и простой, она сейчас же спешила замкнуться в убийственную холодность. Как-то раз ее обращение довело меня до того, что я не смог удержаться от слез в ее присутствии. Она невольно побледнела. Когда я уходил, она сказала мне, стоя в дверях:

— Завтра я собираюсь в Сен-Люс (это была одна из соседних деревушек), но это слишком далеко, чтобы идти пешком. Если вы ничем не заняты, приезжайте сюда верхом завтра утром: мы поедем вместе.

Само собой разумеется, что я не заставил себя ждать. Ее слова привели меня в восторженное состояние, и я лег спать счастливый, но утром, выходя из дому, я, напротив, испытывал непреодолимую грусть. Возвращая мне потерянное почетное право сопутствовать ей в ее одиноких прогулках, она явно уступила своему капризу, и каприз этот был очень жесток, если она не любила меня. Она знала, что я страдаю, — зачем было злоупотреблять моим мужеством, если она не переменила решения?

Эта мысль, невольно пришедшая мне в голову, совершенно преобразила меня. Когда, садясь на лошадь, она оперлась ногой на мою руку, у меня сильно забилося серд-

це, не знаю сам от чего — от страсти или от гнева. «Если моя любовь тронула ее, то к чему эта сдержанность? — подумал я. — Если же это простое кокетство, то зачем такая вольность в обращении?»

Таковы все мужчины. При первой же моей фразе она заметила, что я избегаю ее взгляда и что во мне есть какая-то перемена. Я не говорил с ней и ехал по другой стороне дороги. Пока мы были в долине, она казалась спокойной и только время от времени оборачивалась, чтобы посмотреть, следую ли я за ней; но когда мы оказались в лесу и стук копыт наших лошадей глухо раздался под темными сводами деревьев и среди уединенных скал, ее вдруг охватила дрожь. Временами она останавливалась, словно поджидая меня — я держался несколько поодаль, — потом, когда я подъезжал ближе, снова пускалась в галоп. Вскоре мы достигли склона горы, и пришлось ехать шагом. Тогда я поехал рядом с ней, но ни она, ни я не поднимали головы. Наконец я взял ее за руку.

— Бригитта, — сказала я, — надоедал ли я вам своими жалобами? С тех пор как я вернулся, мы видимся каждый день, и каждый вечер, придя домой, я спрашиваю себя, когда наступит смерть, но говорил ли я вам об этом? Вот уже два месяца, как я потерял покой, силы, надежду, но докучал ли я вам своей злополучной любовью, которая пожирает, которая убивает меня? Впрочем, вы знаете все и без слов. Взгляните на меня. Надо ли говорить вам о ней? Разве вы не видите, что я страдаю и что каждую ночь я лью слезы? Не приходилось ли вам встречать в этих сумрачных лесах несчастного, который сидел тут, закрыв лицо руками? Не находили ли вы на этих кустах вереска следов его слез? Взгляните на меня, взгляните на эти горы. Помните ли вы о том, что я люблю вас? Они, эти немые свидетели, знают это. Эти скалы, эти уединенные тропинки, они знают это. Зачем было приводить меня к ним? Разве вам мало было моих страданий? Разве мужество хоть раз изменило мне? Разве я недостаточно покорно выполнял ваши требования? Какому испытанию, каким

ужасным мукам вы подвергаете меня! И за какое преступление? Если вы не любите меня, то зачем вы здесь?

— Уедем отсюда, — сказала она. — Проводите меня домой. Поедем обратно.

— Нет, — ответил я, схватив повод ее лошади. — Нет, потому что я заговорил о любви, и если мы вернемся сейчас домой, то я потеряю вас, я это знаю. Я заранее знаю все, что вы мне скажете дома. Вам захотелось посмотреть, до какого предела может дойти мое терпение, вы бросили вызов моим страданиям, — не для того ли это, чтобы получить право прогнать меня? Вам надоел этот печальный влюбленный, который страдал без жалоб и покорно пил из горькой чаши вашего пренебрежения! Вы знали, что наедине с вами, в тени этих деревьев, среди этих пустынных лесов, где возникла моя любовь к вам, я больше не смогу молчать! Вам захотелось быть оскорбленной — так вот, сударыня, пусть я потеряю вас, но довольно мне плакать, довольно страдать, довольно подавлять безумную любовь, подтачивающую мое сердце. Довольно вам мучить меня!

Она сделала движение, как бы собираясь соскочить с лошади, но я схватил ее в объятия и прижался губами к ее губам. В тот же миг она побледнела, глаза ее закрылись, она выпустила из рук поводья и соскользнула на землю.

— Великий боже! — вскричал я. — Она любит меня — она ответила на мой поцелуй!

Я соскочил с лошади и подбежал к ней. Она лежала на траве. Я приподнял ее, она открыла глаза. Охваченная внезапным ужасом, она задрожала всем телом, оттолкнула мою руку, разрыдалась и отбежала от меня.

Я неподвижно стоял на дороге и любовался ею: прекрасная как день, она прислонилась к дереву; ее длинные волосы рассыпались по плечам, руки еще дрожали, щеки покраснелись, и на них, как жемчужины, блистали слезы.

— Не подходите ко мне! — крикнула она. — Не приближайтесь ко мне ни на шаг!

— О любимая, — сказал я, — не бойтесь меня. Если мой

поступок оскорбил вас, накажите меня за него. У меня была минута ярости и боли. Делайте со мной что хотите. Теперь вы можете уехать, можете услать меня, куда вам будет угодно, — я знаю, что вы любите меня, Бригитта, и здесь вы в большей безопасности, чем все короли в своих дворцах.

При этих словах госпожа Пирсон взглянула на меня, и счастье всей моей будущей жизни как молния сверкнуло в ее влажных от слез глазах. Я перешел через дорогу и опустился перед ней на колени. Как мало любит тот, кто может передать, какими словами его возлюбленная призналась ему в своей любви!

ГЛАВА 10

Если б я был ювелиром и выбрал в своей сокровищнице жемчужное ожерелье, желая подарить его своему другу, то для меня было бы большой радостью самому надеть это ожерелье ему на шею, но если бы я был на месте этого друга, то, мне кажется, я бы скорее умер, чем вырвал ожерелье из рук ювелира.

Я заметил, что большинство мужчин торопятся поскорее овладеть женщиной, которая их любит. Я же всегда поступал совершенно иначе — и не из расчета, а повинаясь какому-то врожденному чувству. Женщина, которая любит и сопротивляется, любит недостаточно сильно. Та, которая любит достаточно сильно и все-таки сопротивляется, знает, что она менее любима.

После того как госпожа Пирсон призналась мне в своей любви, она относилась ко мне с большим доверием, чем когда бы то ни было. Моя почтительность внушала ей такую светлую радость, что ее прекрасное лицо сияло, как только что распустившийся цветок. У нее теперь часто бывали порывы шаловливой веселости, внезапно сменявшиеся минутами глубокого раздумья. Иногда она обращалась со мной почти как с ребенком, иногда же смотрела на меня глазами, полными слез. Бывали дни, когда она при-

думывала тысячу забав, чтобы иметь предлог сказать мне более нежное слово или подарить невинную ласку, а потом вдруг уходила от меня, садилась поодаль и предавалась внезапно охватившим ее мечтам. Сидя где-нибудь в аллее, я наблюдал за ней — есть ли в мире зрелище более сладостное, чем это?

— О друг мой, — говорил я ей, когда она возвращалась ко мне. — Сам бог радуется, видя, как сильна моя любовь к вам!

Однако я не смог скрыть от нее ни неистовства моей страсти, ни тех страданий, которые я испытывал, борясь с нею. Как-то вечером я рассказал госпоже Пирсон, что утром получил неприятное известие: мне сообщили, что был проигран важный процесс, означавший большую перемену в моих денежных делах.

— Как же вы можете смеяться, рассказывая мне об этом? — спросила она.

— Существует изречение какого-то персидского поэта, — сказал я. — «Тот, кто любим прекрасной женщиной, защищен от ударов судьбы».

Госпожа Пирсон ничего не ответила мне, но в течение всего вечера она была веселее, чем обычно. Играя в карты с ее теткой, я проигрывал. Госпожа Пирсон всячески подшучивала надо мной, говорила, что я ничего не смыслю в игре и непременно проиграю, так что в конце концов я действительно проиграл все, что было у меня в кошельке. Когда старушка ушла к себе, она вышла на балкон, и я молча последовал за ней.

Была чудесная ночь. Луна уже заходила за горизонт, и звезды еще ярче сияли на потемневшей лазури неба. Не чувствовалось ни малейшего ветерка; деревья стояли неподвижно, воздух был полон благоухания.

Она стояла, облокотясь на перила и устремив взгляд в небо. Я наклонился к ней и смотрел на ее мечтательное лицо. Вскоре я тоже поднял глаза к небу. Какое-то задумчивое сладострастие овладело нами. Мы вместе вдыхали доносившийся до нас аромат буков, мы следили взглядом

за последними бледными отблесками, уходящими вместе с луной, которая спускалась за черную стену каштанов. Я припомнил день, когда с отчаянием смотрел в необъятную пустоту этого прекрасного неба, и вздрогнул при этом воспоминании. Сейчас все кругом было так полно содержания! Я почувствовал, что благодарственный гимн рвется из моего сердца и что наша любовь возносится к богу. Я обвил рукой стан моей дорогой возлюбленной, она тихо повернула ко мне лицо: глаза ее были полны слез. Ее тело склонилось, как тростник, полуоткрытые губы приникли к моим губам, и вселенная была забыта.

ГЛАВА 11

О бессмертный ангел счастливых ночей, кто расскажет, что скрывается в твоём безмолвии? О поцелуй, таинственный нектар, изливаемый жаждущими устами! О упоение чувств, о сладострастие, — да, ты вечно, как вечен бог! Возвышенный порыв плоти, полное слияние двух существ, трижды священное сладострастие, — что сказали о тебе те, кто восхвалял тебя? Они назвали тебя скоропреходящей, о великая созидательная сила, они сказали, что твое мимолетное появление лишь на миг осветило их краткую жизнь. Вот слова, которые поистине короче, чем последний вздох умирающего, слова, вполне уместные в устах грубого, чувственного существа, которое удивляется тому, что живет один час, и свет вечной лампы принимает за искру, высеченную из кремня. О любовь, основа мира! Драгоценное пламя, которое вся природа, подобно бодрствующей весталке, беспрестанно поддерживает в храме божьем! Ты очаг, ты источник всего существующего, и сами духи разрушения погибли бы, если бы погасили тебя! Я не удивляюсь, что твое имя оскорбляют, ибо они не знают тебя — те, которые думают, будто видели тебя, думают так потому, что глаза их были открыты. Ведь когда ты находишь своих истинных апостолов, соединившихся на земле в поцелуе, ты повелева-

ещь им сомкнуть вежды, как завесы, чтобы никто не мог видеть лицо счастья.

Но вы, наслаждения, томные улыбки, первые ласки, робкое «ты», первый лепет возлюбленной, вы принадлежите нам, вас мы можем видеть, и разве вы не так же дороги богу, как все остальное, вы, прекрасные херувимы, что парите в алькове и возвращаете к действительности человека, пробудившегося от райского сновидения? Ах, милые дети любви, как ваша мать дорожит вами! А вы, задушевные беседы, приподымающие покрывало над первыми тайнами, полные дрожи и еще чистые прикосновения, уже ставшие ненасытными взгляды, боязливо запечатлевающие в сердце неизгладимый и прекрасный образ возлюбленной, — вы, и только вы, создаете любовников.

О владычество! О победа! И ты, венец всего, безмятежность счастья! Первый взгляд счастливец, обращенный к действительной жизни, возврат к обыденным вещам, на которые они смотрят сквозь призму радости, первые шаги по полям и лесам рядом с любимой — кто опишет вас? Какими человеческими словами можно рассказать о самой незначительной ласке?

Тот, кто в расцвете юности вышел прекрасным свежим утром из дома возлюбленной и за кем обожаемая рука бесшумно закрыла дверь, кто шел, сам не зная куда, взирая на леса и равнины, кто не слышал слов, обращенных к нему прохожими, кто сидел на уединенной скамейке, смеясь и плача без причины, кто прижимал руки к лицу, чтобы вдохнуть остатки аромата, кто вдруг забыл обо всем, что он делал на земле до этой минуты, кто говорил с деревьями на дороге и с птицами, пролетающими мимо, кто, наконец, попав в общество людей, вел себя как счастливый безумец, а потом, опустившись на колени, благодарил бога за это счастье, — тот не станет жаловаться, умирая: он обладал женщиной, которую любил.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА I

Теперь я должен рассказать о судьбе, постигшей мою любовь, и о перемене, которая произошла во мне. Чем же я могу объяснить эту перемену? Ничем: я могу лишь рассказать о ней и добавить: «Все это правда».

Прошло ровно два дня с тех пор, как я стал любовником госпожи Пирсон. Было одиннадцать часов вечера, я только что принял ванну и теперь направлялся к ней. Была чудесная ночь. Я ощущал такое физическое и душевное довольство, что готов был прыгать от радости и простирал руки к небу. Она ждала меня на верхней площадке лестницы, прислонясь к перилам; зажженная свеча стояла на полу рядом с ней. Увидев меня, она тотчас побежала мне навстречу. Мы поднялись в ее спальню и заперлись на ключ.

Она обратила мое внимание на то, что изменила прежнюю прическу, которая мне не нравилась, добавив, что провела весь день, стараясь заставить волосы лечь именно так, как хотел я; сообщила, что убрала из алькова картину в противной черной раме, казавшейся мне слишком мрачной, что переменила цветы в вазах, — а их было много, во всех углах. Она начала рассказывать обо всем, что делала со времени нашего знакомства, о том, что она видела мои страдания, о том, как страдала она сама, как тысячу раз решала уехать, решала бежать от своей любви, как придумывала всяческие способы уберечься от меня, как советовалась с теткой, с Меркансоном и с кюре, как поклялась себе, что скорее умрет, чем отдастся мне, и как

все это развеялось под влиянием такого-то и такого-то слова, сказанного мною, такого-то взгляда, такого-то случая — и каждое признание сопровождалось поцелуем. Все, что нравилось мне в ее комнате, все те безделушки, расставленные на ее столиках, которые привлекли когда-то мое внимание, — все это она хотела подарить мне, хотела, чтобы я сегодня же унес с собой и поставил к себе на камин. Все ее занятия — утром, вечером, в любое время — должен отныне распределять я по моему усмотрению, она же готова всему подчиниться; людские сплетни нисколько не трогают ее, и если прежде она делала вид, будто прислушивается к ним, то лишь для того, чтобы отдалить меня, но теперь она хочет быть счастливой и заткнуть уши: ведь ей недавно исполнилось тридцать лет, и недолго уж ей быть любимой мною.

— Скажите, вы будете долго любить меня? Есть ли хоть доля правды в тех красивых речах, которыми вы сумели вскружить мне голову?

И тут нежные упреки по поводу того, что я пришел поздно, что чересчур долго занимался своим туалетом, что, принимая ванну, вылил на себя слишком много духов, или слишком мало, или надушился не теми духами, какие она любит. А после милое признание в том, что она нарочно осталась в ночных туфлях, чтобы я видел ее обнаженную ножку, что эта ножка так же бела, как ее рука, но что, в общем, она совсем не красива и ей хочется быть во сто раз лучше, что она была хороша в пятнадцать лет.

Она ходила взад и вперед, обезумев от любви, раскрасневшись от радости, и не знала, что придумать, что сказать, чтобы еще и еще раз отдаться мне, отдать душу, и тело, и все, что у нее было.

Я лежал на кушетке; я чувствовал, как при каждом ее слове одна за другой удаляются и исчезают дурные минуты моей прошлой жизни. Звезда любви снова восходила на моем горизонте, и мне казалось, что я похожу на полное жизни дерево, которое при порыве ветра стряхивает с себя сухие листья, чтобы одеться свежей зеленью.

Она села за фортепьяно и сказала, что сейчас сыграет мне мелодию Страделлы. Я более всего люблю церковную музыку, и мелодия, которую она уже как-то пела, показалась мне очень красивой.

— Вот я и провела вас, — сказала она, кончив играть. — Эту мелодию сочинила я сама, а вы поверили мне.

— Эту мелодию сочинили вы?

— Да, и я нарочно сказала, что это ария Страделлы, чтобы узнать, понравится ли она вам. Я никогда не играю своей музыки, если мне случится сочинить что-нибудь, но сейчас мне захотелось сделать опыт, и, как видите, он удался: ведь мне удалось обмануть вас.

Какой чудовищный механизм — душа человека! Что могло быть невиннее этой хитрости? Мало-мальски сообразительный ребенок мог бы придумать ее, чтобы удивить своего наставника. Она от души смеялась, говоря мне это, надо мной же внезапно нависла какая-то туча, я переменялся в лице.

— Что такое? — спросила она. — Что с вами?

— Ничего. Сыграйте мне еще раз эту мелодию.

Пока она играла, я шагал по комнате. Я проводил рукой по лбу, словно отгоняя от себя какой-то туман, я топал ногой и пожимал плечами, смеясь над собственным безумием. Наконец я уселся на подушку, упавшую на пол. Она подошла ко мне. Чем больше я старался бороться с духом тьмы, завладевшим мною в эту минуту, тем более сгущался мрак, окутавший мой мозг.

— Вы и в самом деле так хорошо лжете? — спросил я. — Так, значит, эту мелодию сочинили вы! Как видно, ложь дается вам без труда.

Она удивленно взглянула на меня.

— Что такое? — спросила она.

Невыразимая тревога появилась на ее лице. Разумеется, она не могла думать, что я был способен серьезно упрекать ее за такую невинную шутку, во всем этом ее беспокоила лишь овладевшая мною грусть, но чем ничтожнее был повод, тем удивительнее было мое поведение. В пер-

вую минуту ей еще хотелось верить, что я тоже шучу, но, увидев, что я все больше бледнею и готов лишиться чувств, она замерла на месте, точно статуя, полураскрыв рот и наклонившись ко мне.

— Боже праведный! — воскликнула она. — Возможно ли это?

Ты, может быть, улыбнешься, читатель, прочитав эти строки, я же содрогаюсь даже сейчас, когда пишу их. У несчастья, как у болезни, есть свои симптомы, и нет ничего опаснее, когда находишься в море, маленькой черной точки на горизонте.

Когда забрезжило утро, моя дорогая Бригитта выдвинула на середину комнаты круглый маленький белый столик и поставила на него ужин, или, вернее сказать, завтрак, так как птицы уже пели, а в цветнике жужжали пчелы. Она все приготовила сама, и я не хотел пить ни одной капли, пока она не подносила стакан к своим губам. Голубоватый дневной свет, проникавший сквозь пестрые полотняные шторы, озарял ее прелестное лицо с большими, немного уставшими глазами. Ей хотелось спать, и, обнимая меня, она томно уронила голову мне на плечо с тысячей нежных слов на устах.

Я не мог противиться этой очаровательной доверчивости, и сердце мое вновь раскрылось для радости. Мне показалось, что дурной сон, который привиделся мне, навсегда отлетел от меня, и я попросил у нее прощения за минуту безумия, в которой и сам не отдавал себе отчета.

— Друг мой, — с горячностью сказал я ей, — мне больно, что я несправедливо упрекнул тебя за невинную шутку, но если ты меня любишь, никогда не лги мне — даже по пустякам: ложь кажется мне чудовищной, и я не могу переносить ее.

Она легла в постель. Было уже три часа утра, но я сказал, что хочу подождать, пока она заснет. Я видел, как закрылись ее прекрасные глаза, слышал, как она что-то прошептала, улыбаясь во сне, когда я целовал ее на прощание, склонившись над ее изголовьем. Наконец я ушел со

спокойным сердцем, обещая себе наслаждаться своим счастьем и никогда больше не позволять чему бы то ни было омрачать его.

Однако на следующий же день Бригитта сказала мне как бы вскользь:

— У меня есть толстая тетрадь, в которой я записываю свои мысли, все, что придет мне в голову, и я хочу дать вам прочесть то, что я написала о вас в первые дни нашего знакомства.

Мы вместе прочитали все, что относилось ко мне, обменявшись при этом тысячей шуточных замечаний, после чего я начал рассеянно перелистывать тетрадь. Быстро переворачивая страницы, я вдруг случайно задержался на какой-то написанной крупными буквами фразе. Я отчетливо разобрал несколько ничего не значащих слов и хотел было продолжать, как вдруг Бригитта остановила меня.

— Не читайте этого, — сказала она. Я бросил тетрадь на стол.

— В самом деле, — ответил я, — я и сам не знаю, что делаю.

— Вы, кажется, опять приняли это всерьез? — спросила она со смехом, как видно, заметив рецидив моей болезни. — Возьмите тетрадь. Я хочу, чтобы вы прочли ее.

— Не будем больше говорить об этом. Да и что там может быть интересного для меня? Ваши секреты, дорогая моя, принадлежат только вам.

Тетрадь осталась на столе, и, как я ни боролся с собой, я не мог оторвать от нее глаз. Мне вдруг послышался голос, шептавший мне что-то на ухо, и предо мной появилась сухая физиономия Деженэ с его леденящей улыбкой. «Зачем явился сюда Деженэ?» — спросил я самого себя, словно он действительно был здесь. Я увидел его лицо, освещенное огнем моей лампы, увидел Деженэ таким, каким он был в тот вечер, когда пронзительным голосом излагал мне свой катехизис разврата.

Глаза мои были все еще прикованы к этой тетради, а в

памяти смутно всплывали забытые слова, слышанные мною давным-давно, но заставившие сжаться мое сердце. Витавший надо мной дух сомнения влил в мои жилы каплю яда, его испарения мутили рассудок, и я почти шатался под влиянием начинавшегося болезненного опьянения. Какую тайну скрывала от меня Бригитта? Я отлично знал, что мне стоило только нагнуться и раскрыть тетрадь... Но в каком месте? Как узнать страницу, на которую меня натолкнул случай?

К тому же самолюбие не позволяло мне взять тетрадь. Впрочем, действительно ли это было самолюбие? «О боже, — сказал я себе с мучительной тоской, — неужели прошлое — это призрак? Неужели он может выходить из своей могилы? О несчастный, неужели ты больше не сможешь любить?»

Все мое былое презрение к женщинам, все те хвастливо-насмешливые фразы, которые я повторял, как заученный урок, как роль в дни моей беспутной жизни, внезапно пришли мне на память, и — странная вещь! — если раньше, щеголяя этими фразами, я не верил им, то теперь мне казалось, что они правдивы — или, по крайней мере, были правдивы.

Я был знаком с госпожой Пирсон уже четыре месяца, но ничего не знал о ее прошлом и никогда не задавал ей никаких вопросов. Я отдался любви к ней с безграничным доверием и безграничным увлечением. Мне доставляло какое-то особенное удовольствие не расспрашивать о ней ни других, ни ее самое. К тому же подозрительность и ревность были настолько чужды моему характеру, что я был больше удивлен, ощутив в себе эти чувства, чем Бригитта — обнаружив их во мне. Никогда — ни в моих юношеских увлечениях, ни в обычных житейских делах — я не проявлял недоверчивости, а скорее, напротив, был беспечен и, можно сказать, не знал никаких сомнений. Мне понадобилось собственными глазами увидеть измену моей любовницы, чтобы поверить, что она могла изменить мне. Сам Деженэ, читая мне свои наставления, постоянно

подшучивал над легкостью, с какой я обычно поддавался обману. Вся история моей жизни служила доказательством того, что я был скорее доверчив, нежели подозрителен, и вот почему, когда вид этой тетради вызвал во мне такие странные ощущения, мне показалось, что во мне родилось какое-то новое, незнакомое мне самому существо. Рассудок мой восставал против моих чувств, и я с ужасом спрашивал себя, куда все это может привести.

Однако страдания, которые я перенес, воспоминание о вероломстве, которого я был свидетель, мое исцеление, бывшее ужаснее самой болезни, рассуждения друзей, развращенная среда, в которой я жил, печальные истины, в которых я убедился сам или которые понял и угадал благодаря пагубной проницательности, наконец, распутство, презрение к любви, разочарование — все это таилось в моем сердце, хоть я и сам еще не знал об этом, и в минуту, когда я надеялся воскреснуть для надежды и для жизни, все эти дремавшие во мне фурии проснулись и, схватив меня за горло, крикнули, что они здесь, что они со мной. Я наклонился и раскрыл тетрадь, но сейчас же захлопнул ее и снова бросил на стол. Бригитта смотрела на меня; в ее прекрасных глазах не было ни оскорбленной гордости, ни гнева, в них светилась лишь нежная тревога, словно перед ней был больной.

— Неужели вы думаете, что у меня есть от вас тайны? — спросила она, целуя меня.

— Нет, — ответил я, — я думаю только, что ты прекрасна и что я хочу умереть, любя тебя.

Дома, во время обеда, я спросил у Ларива:

— Скажи, пожалуйста, что, собственно, представляет собой эта госпожа Пирсон?

Он удивленно взглянул на меня.

— Ты уже много лет живешь в этих краях, — сказал я, — ты должен знать ее лучше, чем я. Что говорят о ней в деревне? Что о ней думают? Какую жизнь вела она до знакомства со мной? Кто посещал ее?

— Право, сударь, она всегда жила так же, как живет

сейчас: гуляла по окрестностям, играла в пикет с теткой и помогала бедным. Крестьяне называют ее Бригиттой-Розой. Я никогда ни от кого не слышал о ней ничего дурного, разве только — что она ходит по полям одна-одинешенька в любое время дня и ночи, но ведь это делается с такой доброй целью! Поистине, она — провидение здешних мест. Что до ее знакомых, так, кроме священника и господина Далана, который приезжает к ней в свободное время, у нее никто не бывает.

— А кто такой этот господин Далан?

— Это владелец замка, вон там, за горой. Он приезжает сюда только на охоту.

— Он молод?

— Да, сударь.

— Это, должно быть, родственник госпожи Пирсон?

— Нет, он был другом ее мужа.

— А давно умер ее муж?

— В День всех святых будет пять лет. Хороший был человек.

— А не говорят ли, что... что этот Далан ухаживал за ней?

— За вдовой-то! Гм... Да по правде сказать, сударь... — Он запнулся со смущенным видом.

— Отвечай же!

— Да, пожалуй, кое-что и говорили, но я ничего об этом не знаю и ничего не видел.

— А ведь ты только что сказал мне, что в деревне о ней не болтают ничего дурного.

— Да о ней никогда ничего такого и не говорили, и притом я думал, что вы, сударь, знаете об этом.

— Так как же — говорят это или не говорят? Да или нет?

— Да, сударь, пожалуй, что и так.

Я встал из-за стола и вышел на улицу. Там я встретил Меркансона. Я ожидал, что он постарается избежать встречи со мной; напротив — он подошел ко мне сам.

— Сударь, — начал он, — в прошлый раз вы проявили

признаки гнева, о которых человеку моего сана не пристало хранить воспоминание. Выражаю вам свое сожаление по поводу того, что я взял на себя поручение не вполне уместное (он любил витиеватые фразы) и вмешался в ваши дела, проявив при этом известную навязчивость.

Я ответил ему столь же вежливо, рассчитывая, что на этом он покинет меня, но он зашагал рядом со мной.

«Далан! Далан! — повторял я сквозь зубы. — Кто же расскажет мне о Далане?» Ведь Ларив сказал мне лишь то, что может сказать слуга. От кого он мог узнать об этом? От какой-нибудь горничной или от кого-нибудь из крестьян. Мне нужен такой свидетель, который мог бы видеть Далана в доме госпожи Пирсон и был бы в состоянии разобраться в их отношениях. Этот Далан не выходил у меня из головы, и так как я не мог говорить ни о чем другом, то сейчас же заговорил с Меркансоном о Далане. Я так никогда и не смог уяснить себе, что за человек был Меркансон — был ли он зол, глуп или хитер. Достоверно одно — что он должен был ненавидеть меня и что он старался причинить мне все те неприятности, какие были в его власти.

Госпожа Пирсон, питавшая самые дружеские чувства к нашему юре (и он вполне заслуживал их), в конце концов почти невольно перенесла свое расположение и на его племянника. Последний гордился этим, а следовательно, и ревновал ее. Ревность не всегда порождается любовью. Есть люди, которые могут безумно ревновать из-за простой любезности, ласкового слова, одной улыбки красивых губ.

Вначале Меркансон, так же как и Ларив, был, видимо, удивлен моими вопросами. Я сам удивлялся им еще более, чем он, — но кто хорошо знает самого себя в этом мире? После первых же слов священника я увидел, что он отлично понимает, чего, собственно, я добиваюсь, но решил не говорить мне этого.

— Каким образом вы, сударь, так давно зная госпожу Пирсон и будучи приняты у нее в доме в качестве доволь-

но близкого друга (по крайней мере, так мне показалось), ни разу не встретили там господина Далана? Впрочем, у вас, должно быть, появилась какая-то особая причина, которую мне отнюдь не надлежит знать, если нынче вы нашли нужным осведомиться о нем. Я, со своей стороны, могу сказать, что это почтенный дворянин, исполненный добросердечия и человеколюбия. Он был, так же как и вы, сударь, запросто принят в доме госпожи Пирсон. Он держит большую свору охотничьих собак и устраивает у себя в замке прекрасные приемы. Так же как и вы, сударь, он постоянно музицировал с госпожой Пирсон. Что до его благотворительной деятельности, то он всегда аккуратнейшим образом выполнял свои обязанности по отношению к бедным. Бывая в этих краях, он, так же как и вы, сударь, постоянно сопровождал эту даму в ее прогулках. Семья его пользуется в Париже прекрасной репутацией. Я заставлял его у госпожи Пирсон почти всякий раз, как у нее бывал. Нравственность его считается безупречной. Вы, конечно, понимаете, сударь, что я имею в виду лишь вполне пристойную близость — такую близость, которая допускается между людьми столь достойными. Я думаю, что он приезжает сюда исключительно ради охоты, он был другом мужа госпожи Пирсон. Говорят, что он очень богат и очень щедр. Впрочем, я лично почти не знаю его, разве только понаслышке...

Какое множество напыщенных и тяжеловесных фраз обрушил на меня этот палач! Я смотрел на него, стыдясь, что слушаю его, не смея задать ему хоть один новый вопрос и в то же время не смея оборвать его болтовню. Он продолжал свою туманную клевету столько времени, сколько ему было угодно; он вонзил мне в сердце свой кривой кинжал так глубоко, как ему захотелось. После этого он ушел, я не смог удержать его, а в сущности, он не сказал мне ничего определенного.

Я остался на улице один. Начинало темнеть. Не знаю, что было во мне сильнее — ярость или грусть. Доверие, заставившее меня слепо отдаться любви к моей дорогой

Бригитте, было так сладостно и так естественно для меня, что я не мог допустить мысли, будто все это счастье оказалось обманом. Чистое и бесхитрое чувство, которое привлекло меня к ней — причем я ни минуты не колебался и не боролся с ним, — казалось мне само по себе достаточной гарантией того, что она достойна этого чувства. Неужели эти четыре месяца, полные такого счастья, были всего лишь сном?

«А ведь, собственно говоря, — внезапно подумал я, — эта женщина отдалась мне очень быстро. Уж не было ли лжи в стремлении избегать меня, которое я замечал в ней сначала и которое исчезло от одного моего слова? Уж не столкнул ли меня случай с одной из женщин, каких много? Да, все они начинают с этого: делают вид, что убегают, чтобы мы преследовали их. Даже лани поступают так, таков инстинкт самки. Разве она сама, по собственному побуждению, не призналась мне в любви в ту минуту, когда мне казалось, что она никогда уже не будет моей? Разве не оперлась она на мою руку в первый же день нашего знакомства, совершенно меня не зная, с легкомыслием, которое должно было бы заставить меня усомниться в ней? Если этот Далан был ее любовником, то вполне возможно, что их отношения сохранились и поныне: эти светские связи не имеют ни начала, ни конца. Встречаясь, любовники возобновляют их, а расставаясь, забывают друг о друге. Если этот господин опять приедет сюда, она, конечно, встретится с ним, но, по всей вероятности, не сочтет нужным порвать и со мною. Что это за тетка, что это за таинственный образ жизни, где вывеской служат благотворительные дела, что это за вызывающая свобода, не боящаяся никаких сплетен? Уж не авантюристки ли эти две женщины, с их маленьким домиком, с их пресловутым благоразумием и благонравием, благодаря которым они так быстро внушают людям уважение к себе и еще быстрее выдают себя? Так или иначе, но нет сомнения, что я с закрытыми глазами попался в любовную интрижку, приняв ее за роман. Однако что же мне делать? Я не знаю

здесь никого, кроме этого священника, а он не желает говорить открыто, и его дядя скажет мне еще того меньше. О боже, кто спасет меня? Как узнать правду?»

Так говорила во мне ревность. Так, забыв все свои слезы, все свои страдания, я дошел до того, что по прошествии двух дней с тревогой спрашивал себя, почему Бригитта отдалась мне. Так, подобно всем неверующим, я уже подбирал чувства и мысли, которые могли помочь мне спорить с фактами, придираться к мертвой букве и анатомизировать то, что я любил.

Погруженный в свои мысли, я медленным шагом дошел к дому Бригитты. Калитка была открыта, и, проходя через двор, я увидел свет в кухне. Мне пришло в голову порасспросить служанку. Итак, я повернул в сторону кухни и, перебирая в кармане несколько серебряных монет, ступил на порог.

Но чувство глубокого омерзения внезапно остановило меня. Эта служанка была худая, морщинистая старуха, вечно скорбленная, как все люди, занимающиеся тяжелой физической работой. Она возилась с грязной посудой, стоявшей на плите. Жалкий огарок свечи дрожал в ее руке, вокруг нее были наставлены кастрюли, тарелки, остатки обеда, который доедал какой-то бродячий пес, вошедший сюда так же робко, как я. Теплые тошнотворные испарения подымались от сырых стен. Заметив меня, старуха таинственно улыбнулась: она видела, как я тихонько крался утром из спальни ее хозяйки. Я вздрогнул от отвращения к самому себе и к тому, зачем я пришел сюда. Да, это место вполне соответствовало гнусному поступку, который я собирался совершить. Я убежал прочь от этой старухи: мне показалось, что она была олицетворением моей ревности и что запах грязной посуды, которую она мыла, исходил из моего собственного сердца.

Бригитта стояла у окна и поливала свои любимые цветы. Соседский ребенок, который сидел в глубоком кресле, весь обложенный подушками, уцепился за ее рукав и с набитым конфетами ртом изо всех сил пытался расска-

зать ей что-то на своем радостном и непонятном языке. Я сел возле нее и поцеловал ребенка в пухлые щечки, словно надеясь вернуть хоть немного невинности моему сердцу. Бригитта приняла меня боязливо: видимо, она заметила, что ее образ уже замутился в моих глазах. Я, со своей стороны, избегал ее взгляда. Чем больше я восхищался красотой и чистым выражением ее лица, тем упорнее повторял себе, что такая женщина, если она не ангел, должна быть чудовищем вероломства. Я старался припомнить каждое слово Меркансона и, так сказать, сличал намеки этого человека с обликом моей возлюбленной и с прелестными очертаниями ее лица. «Она очень хороша, — думал я, — и очень опасна, если только умеет обманывать, но я перехитрю ее и не поддамся ей. Она знает, что я собой представляю».

— Дорогая моя, — сказал я ей после длительного молчания, — я только что написал одному из моих друзей, который обратился ко мне за советом. Это весьма наивный юноша. Он узнал, что женщина, которая недавно отдалась ему, имеет одновременно с ним еще и другого любовника, и теперь он спрашивает, что ему делать.

— Что же вы ему ответили?

— Я задал ему два вопроса: «Хороша ли она собой и любите ли вы ее? Если вы ее любите, забудьте ее. Если она хороша и вы ее не любите, продолжайте встречаться с ней ради наслаждения, которое она вам дает. Вы всегда успеете ее покинуть, и если вам нужна только красота, то не все ли равно, кто будет вашей любовницей — она или другая?»

Услышав эти слова, Бригитта посадила ребенка, которого перед тем взяла на руки, и села на диван, стоявший на другом конце комнаты. Мы не зажигали свечей. Луна, освещавшая то место, откуда ушла Бригитта, отбрасывала глубокую тень на диван, где она сидела сейчас. Слова, сказанные мною, были так грубы, так безжалостны, что я и сам был ранен ими, и мое сердце преисполнилось горечи. Ребенок с беспокойством звал Бригитту и тоже сделался

грустен, глядя на нас. Его радостные возгласы, его милый лепет постепенно умолкли, и он заснул в своем кресле. Теперь мы молчали все трое, и облако закрыло луну.

В комнату вошла служанка, присланная за ребенком; принесли свечи. Я встал, встала и Бригитта. Но внезапно она прижала руки к сердцу и упала на пол возле своей кровати.

Я в ужасе бросился к ней. Она не потеряла сознания и попросила меня никого не звать. Она рассказала мне, что у нее давно уже, с самой юности, бывают сильные сердцебиения, которые всегда появляются столь же неожиданно, но что эти припадки не представляют никакой опасности и не требуют никаких лекарств. Я стоял на коленях рядом с нею, она нежно раскрыла объятия, я обнял ее и положил ее голову на свое плечо.

— Ах, друг мой, — сказала она, — как мне жаль вас!

— Послушай, — прошептал я ей на ухо, — я жалкий безумец, но я не могу ничего таить в себе. Кто этот Далан, который живет на горе и иногда навещает тебя?

По-видимому, она удивилась, услышав от меня это имя.

— Далан? — повторила она. — Это друг моего мужа.

Ее взгляд говорил мне: «Почему вы спрашиваете меня о нем?» — и мне показалось, что лицо ее омрачилось. Я закурил губу. «Если она хочет меня обмануть, — подумал я, — то я сделал ошибку, заговорив об этом».

Бригитта с усилием встала. Она взяла веер и начала большими шагами ходить по комнате. Она тяжело дышала, я задел ее самолюбие. В течение нескольких минут она о чем-то думала, и мы обменялись двумя-тремя холодными, почти враждебными взглядами. Наконец она подошла к своему бюро, открыла его, вынула пачку писем, завязанную шелковым шнурком, и бросила их мне, не произнеся ни слова.

Но я не смотрел ни на нее, ни на письма. Я только что бросил в пропасть камень, и теперь до меня доносился отголосок его падения. Впервые я увидел на лице Бригитты

выражение оскорбленной гордости. В ее глазах не было больше ни беспокойства, ни жалости, и если только что я почувствовал, что сделался совершенно другим человеком, то передо мной также была незнакомая женщина.

— Прочтите это, — сказала она наконец. Я подошел и протянул руку.

— Прочтите, прочтите это! — холодно повторяла она.

Письма были у меня в руке. В эту минуту я был настолько убежден в ее невинности и так остро ощущал свою несправедливость, что меня охватило глубокое раскаяние.

— Вы напомнили мне, что я должна рассказать вам историю своей жизни, — сказала она. — Сядьте, сейчас вы узнаете ее. Потом вы откроете эти ящики и прочитаете все, что там есть, — будь это написано моей или чужой рукой.

Она села и указала мне на кресло. Я видел, с каким усилием она говорила. Она была бледна как смерть, ее горло судорожно сжималось, изменившийся голос был едва слышен.

— Бригитта! Бригитта! — вскричал я. — Не говорите мне ничего, умоляю вас! Бог свидетель, что я не таков, как вы меня считаете. Я никогда не был ни подозрителен, ни недоверчив. Меня погубили, мне искалечили сердце. Печальный опыт привел меня на дно бездны, и в течение целого года я не видел на земле ничего, кроме зла. Бог свидетель, что до сегодняшнего дня я и сам не считал себя способным на эту низкую роль, самую неблагородную роль на свете — роль ревнивца. Бог свидетель, что я люблю вас и что во всем мире лишь вы одна могли бы исцелить меня от прошлого. До сих пор я встречал лишь таких женщин, которые обманывали меня и были недостойны любви. Я вел развратную жизнь, мое сердце полно воспоминаний, которые никогда не изгладятся. Моя ли вина, если клевета, если самое смутное, самое необоснованное обвинение находят теперь в этом сердце больные струны, готовые отозваться на все, похожее на страдание? Сегодня вечером мне назвали имя человека, которого я не знаю, о существовании которого я не имел понятия. Мне

намекнули, что о вас и о нем ходят слухи, которые ровно ничего не доказывают. Я не хочу расспрашивать вас о чем-либо. Эти слухи причинили мне боль, я открылся вам, и это непоправимая ошибка. Но скорее я брошу все эти письма в огонь, чем соглашусь сделать то, что вы мне предложили. Ах, друг мой, не унижайте меня, не оправдывайтесь, не увеличивайте моих мучений. Могу ли я серьезно подозревать вас в обмане? Нет, Бригитта, вы прекрасны, и вы искренни, каждый ваш взгляд говорит мне, что вы достойны самой горячей любви. Если бы вы знали, какие пороки, какие чудовищные измены видел мальчик, который стоит сейчас перед вами! Если бы вы знали, как с ним обходились, как издевались над всем, что было в нем хорошего, как старательно учили его всему, что ведет к сомнению, к ревности, к отчаянию! О дорогая моя возлюбленная, если бы вы знали, кого любите! Не делайте мне упреков, имейте мужество пожалеть меня. Мне необходимо забыть о том, что в мире существует кто-либо, кроме вас. Как знать, какие испытания, какие ужасные минуты скорби ждут меня впереди! Я и сам не подозревал, что это может быть так, не думал, что мне предстоит бороться. Только с тех пор, как вы стали моей, я понял, что я сделал. Целуя вас, я почувствовал, как осквернены мои губы. Во имя неба, помогите мне жить! Бог сотворил меня не таким, я был лучше.

Бригитта нежно обняла и поцеловала меня. Она попросила меня рассказать ей все, что подало повод к этой грустной сцене. Я рассказал ей лишь о том, что мне сообщил Ларив, не решившись признаться, что расспрашивал Меркансона. Она потребовала, чтобы я непременно выслушал ее объяснения. Господин Далан когда-то любил ее, но это человек легкомысленный, ветреный и непостоянный. Она дала ему понять, что не хочет вторично выходить замуж, а потому просит его больше не говорить с ней об этом, и он не стал настаивать, но с тех пор его посещения постепенно становились все реже, и теперь он не

приезжает вовсе. Она вынула из пачки одно из писем и показала его мне — дата его была совсем недавней. Я невольно покраснел, найдя в нем подтверждение ее слов. Она уверила меня, что прощает мне все, и вместо наказания взяла с меня слово, что отныне я буду немедленно делиться с ней всем, что только может вызвать во мне малейшее подозрение на ее счет. Наш договор был скреплен поцелуем, и утром, когда я уходил от нее, мы оба не помнили о существовании господина Далана.

ГЛАВА 2

Какая-то вялая бездеятельность, окрашенная горькой радостью, — вот обычное состояние распутника. Это следствие беспорядочной жизни, в основе которой лежат не потребности тела, а капризы ума, причем первое должно постоянно подчиняться второму. Молодость и воля могут противостоять излишествам, но природа молча мстит за себя, и в тот день, когда она одерживает верх, воля умирает.

Тогда, вновь увидев возле себя предметы, еще вчера возбуждавшие в нем желание, но будучи уже не в состоянии овладеть ими, человек может отнестись к окружающему лишь с улыбкой отвращения. Однако же то, что так сильно влекло его к себе прежде, никогда не вызывает в нем равнодушия. Развратник бурно кидается на то, что он любит. Его жизнь — сплошная горячка, его тело, чтобы найти наслаждение, вынуждено прибегать к помощи крепких напитков, куртизанок и бессонных ночей. Поэтому в дни скуки и лени он острее всякого другого человека ощущает расстояние, отделяющее его бессилие от его соблазнов, и, чтобы противостоять этим соблазнам, ему необходима гордость. Она помогает ему поверить в то, что он сам пренебрег ими. Таким образом он оплевывает все пиршества своей жизни и, переходя от страст-

ной жажды к глубокому пресыщению, идет навстречу смерти, влекомый холодным тщеславием.

Хотя я уже не был развратником, внезапно случилось так, что мое тело вспомнило о прошлом. Вполне понятно, что до сих пор это не могло иметь места. Перед лицом скорби, которую вызвала во мне смерть отца, в первое время умолкло все остальное. Затем пришла пылкая любовь. Пока я был одинок, скуке не с кем было бороться. Не все ли равно одинокому человеку, как проходит время — весело или скучно?

Подобно тому как цинк, этот полуметалл, извлеченный из голубоватой руды, в соединении с чистой медью дает солнечный луч, поцелуи Бригитты постепенно разбудили в моем сердце то, что в нем дремало. Стоило мне оказаться рядом с ней, как я понял, что я такое.

Бывали дни, когда уже с самого утра я находился в каком-то странном расположении духа, не поддающемся определению. Я просыпался без всякой причины, словно человек, который прокутил всю ночь и совершенно обесилел. Все внешние впечатления бесконечно утомляли меня, все знакомые, привычные предметы были противны и вызывали досаду. Вмешавшись в разговор, я высмеивал то, что говорили другие или что думал я сам. Растянувшись на диване и как бы не в силах пошевелиться, я умышленно расстраивал все прогулки, о которых накануне договаривался с Бригиттой. Я старался припомнить все самое искреннее, самое нежное, что когда-либо в хорошие минуты говорил моей дорогой возлюбленной, и не успокаивался до тех пор, пока не портил и не отравлял своими ироническими шутками эти воспоминания счастливых дней.

— Неужели вы не могли бы оставить мне хоть это? — с грустью спрашивала меня Бригитта. — Если в вас уживаются два столь различных человека, то не можете ли вы, когда просыпается дурной, забыть о том, что делал хороший?

Однако терпение, с которым Бригитта встречала эти нелепые выходки, лишь сильнее возбуждало мою мрачную веселость. Как странно, что человек, который страдает, хочет заставить страдать и тех, кто ему дорог! Иметь так мало власти над собой — что может быть хуже этой болезни? Что может быть мучительнее страданий женщины, которая видит, что мужчина, только что лежавший в ее объятиях, издевается по какому-то непонятному и ничем не оправданному капризу над самыми святыми, самыми сокровенными тайнами их счастливых ночей? И не смотря на все, она не убегала от меня. Наклонясь над своим вышиванием, она сидела рядом, в то время как я с жестокой радостью оскорблял любовь и изливал свое безумие устами, еще влажными от ее поцелуев.

В такие дни я, против обыкновения, любил говорить о Париже и рисовал свою развратную жизнь как лучшую в мире.

— Вы настоящая богомолка, — со смехом говорил я Бригитте, — вы и понятия не имеете, что это такое. Нет ничего приятнее беззаботных людей, которые забавляются любовью, не веря в то, что она существует.

Не значило ли это, что я и сам не верил в нее?

— Что ж, — отвечала мне Бригитта, — научите меня всегда нравиться вам. Быть может, я не менее красива, чем те любовницы, по которым вы тоскуете. Если у меня нет остроумия, благодаря которому они развлекали вас, то я готова учиться ему. Ведите себя так, словно вы меня не любите, и предоставьте мне молча любить вас. Пусть я похожа на богомолку, но я не менее предана любви, чем предана богу. Скажите, как мне доказать вам эту любовь?

И вот среди бела дня она наряжалась перед зеркалом как на бал или на праздник, разыгрывая кокетство, которое было ей невыносимо, стараясь подражать моему тону, смеясь и порхая по комнате.

— Ну что, нравлюсь я вам теперь? — спрашивала она. — Какую из ваших любовниц я вам напоминаю? Достаточно

ли я хороша, чтобы заставить вас забыть, что еще можно верить в любовь? Похожа ли я на беззаботную женщину?

А потом, в разгаре этого искусственного веселья, она вдруг невольно вздрагивала, отворачивалась, и я видел, как дрожали печальные цветы, которыми она украсила свою прическу. Тогда я бросался к ее ногам.

— Перестань, — говорил я ей, — ты слишком похожа на тех, кому хочешь подражать, а мои уста были достаточно порочны, чтобы осмелиться назвать их в твоём присутствии. Сними с себя эти цветы, это платье. Смоём искренними слезами эту веселость. Не напоминай мне о том, что я блудный сын, мое прошлое слишком хорошо известно мне.

Однако и самое мое раскаяние было жестоко: оно доказывало Бригитте, что призраки, жившие в моем сердце, были облечены плотью и кровью. Мой ужас лишь яснее говорил ей, что ее покорность, ее желание нравиться мне вызывали в моем представлении чей-то нечистый образ. Да, это было так. Я приходил к Бригитте, преисполненный радости, клянясь забыть в ее объятиях все мои страдания, забыть прошлое; я на коленях уверял ее в моем уважении, я приближался к ее кровати как к святыне; заливаясь слезами, я умоляюще протягивал к ней руки. Но вот она делала то или иное движение, она снимала платье и произносила то или иное слово, и вдруг мне приходила на память продажная женщина, которая, подойдя как-то вечером к моей постели и снимая платье, сделала такое же движение и произнесла это самое слово!

Бедная преданная душа! Как страдала ты, когда я бледнел, глядя на тебя, когда мои руки, готовые тебя обнять, безжизненно опускались на твои нежные, прохладные плечи, когда поцелуй замирал на моих губах, а свет любви — этот чистый, божественный луч — внезапно исчезал из моих глаз, словно стрела, отогнанная ветром! О Бригитта, какие жемчужины падали тогда с твоих ресниц! В какой сокровищнице высокого милосердия черпала ты терпеливой рукою твою печальную любовь, исполненную сострадания?

В течение длительного времени хорошие и дурные дни чередовались почти равномерно. То я был резким и насмешливым, то нежным и любящим, то черствым и надменным, то полным раскаяния и покорным. Образ Деженэ, впервые явившийся мне словно для того, чтобы предостеречь меня, теперь беспрестанно приходил мне на память. В дни сомнений и холодности я, так сказать, беседовал с ним. Часто, оскорбив Бригитту какой-нибудь жестокой насмешкой, я сейчас же говорил себе: «Будь он на моем месте, он бы сделал еще и не то!»

Иногда, надевая шляпу и собираясь идти к ней, я смотрел на себя в зеркало и думал:

«Да, собственно, что за беда? В конце концов, у меня красивая любовница. Она отдалась распутнику — пусть же принимает меня таким, каков я есть».

Я приходил с улыбкой на губах и бросался в кресло с беспечным и развязным видом. Но вот Бригитта подходила ко мне и смотрела на меня своими большими кроткими, полными беспокойства глазами. Я брал в свои руки ее маленькие белые ручки и отдавался бесконечной задумчивости.

Как назвать то, у чего нет имени? Был я добр или зол? Подозрителен или безумен? Незачем думать об этом, надо примириться. Это было так, а не иначе.

У нас была соседка — молодая женщина, некая госпожа Даниэль. Она была недурна собой и при этом очень кокетлива, была бедна, но хотела прослыть богатой. Она приходила к нам по вечерам и всегда крупно играла с нами в карты, хотя проигрыш ставил ее в весьма затруднительное положение. Она пела, хотя была совершенно безголоса. Похороненная злой судьбой в этой глухой, безвестной деревушке, она была обуреваема ненасытной жаждой наслаждений. Она не переставала говорить о Париже, где проводила всего два или три дня в году. Она стремилась следить за модой, и моя добрая Бригитта, сколько могла, помогала ей в этом, сострадательно улыбаясь ее претензиям. Муж ее служил в межевом ведомстве. По

праздникам он возил ее в главный город департамента, и молодая женщина, нацепив на себя все свои тряпки, с упоением танцевала в гостиных префектуры с офицерами гарнизона. Она возвращалась оттуда усталая, но с блестящими глазами и спешила приехать к нам, чтобы рассказать о своих успехах и маленьких победах над мужскими сердцами. Все остальное время она занималась чтением романов, не уделяя никакого внимания своему хозяйству и семейной жизни, которая, впрочем, была не из приятных.

Всякий раз, как она у нас бывала, я не упускал случая посмеяться над ней, считая, что так называемый светский образ жизни, который она вела, был как нельзя более смешон. Я прерывал ее рассказы о балах вопросами о ее муже и об отце мужа, которых она ненавидела больше всего на свете — одного потому, что это был ее муж, а другого за то, что он был простой крестьянин. Словом, всякий раз, как мы встречались, у нас сейчас же возникали споры.

В мои дурные дни я принимался иногда ухаживать за этой женщиной единственно для того, чтобы огорчить Бригитту.

— Посмотрите, как госпожа Даниэль правильно понимает жизнь! — говорил я ей. — Она всегда весела. Такая женщина была бы очаровательной любовницей!

И я без конца расхваливал ее: ее незначительная болтовня превращалась у меня в исполненную остроумия беседу, ее преувеличенные претензии я объяснял вполне естественным желанием нравиться. Виновата ли она в том, что бедна? Зато она думает только о наслаждении и открыто признается в этом. Она не читает другим нраву и сама не слушает их. Я дошел до того, что посоветовал Бригитте во всем брать пример с госпожи Даниэль, и сказал, что именно такой тип женщин нравится мне больше всего.

Недалекая госпожа Даниэль все же заметила следы грусти в глазах Бригитты. Это было странное создание:

добрая и искренняя, когда голова ее не была занята тряпками, она становилась глупенькой, как только начинала думать о них. Поэтому она совершила поступок, очень похожий на нее самое, то есть и добрый и в то же время глупый. В один прекрасный день, гуляя вдвоем с Бригиттой, она бросилась в ее объятия и сказала, что я начал ухаживать за ней, что я обратился к ней с намеками, не оставляющими никаких сомнений, но что ей известны наши отношения и она скорее умрет, чем разрушит счастье подруги. Бригитта поблагодарила ее, и госпожа Даниэль, успокоив таким образом свою совесть, начала посылать мне еще более нежные взгляды, изо всех сил стараясь разбить мое сердце.

Вечером, когда она ушла, Бригитта суровым тоном рассказала мне о том, что произошло в лесу, и попросила на будущее время избавить ее от подобных оскорблений.

— Не потому, чтобы я придавала значение или верила этим шуткам, — сказала она, — но если вы хоть немного любите меня, то, мне кажется, нет необходимости сообщать посторонним, что вы чувствуете эту любовь не каждый день.

— Неужели это так важно? — смеясь, спросил я. — Ведь вы отлично видите, что я подшучиваю над ней и делаю все это, чтобы убить время.

— Ах, друг мой, друг мой, — ответила Бригитта, — вот в том-то и горе, что вам надо убивать время.

Несколько дней спустя я предложил Бригитте поехать со мной в префектуру и посмотреть, как танцует госпожа Даниэль. Она нехотя согласилась. Пока она заканчивала свой туалет, я, стоя у камина, упрекнул ее в том, что она потеряла свою прежнюю веселость.

— Что с вами? — спросил я (я знал это не хуже, чем она сама). — Почему у вас теперь всегда такой унылый вид? Право, вы делаете наше уединение довольно печальным. Когда-то я знал вас более жизнерадостной, более живой, более откровенной. Не слишком лестно сознавать себя

виновником этой перемены. Вы настоящая отшельница. Поистине, вы созданы для монастыря.

Это было в воскресенье. Когда мы проезжали по главной улице деревни, Бригитта остановила карету, чтобы поздороваться со своими добрыми подружками, милыми цветущими деревенскими девушками, которые шли танцевать под липы. Поговорив с ними, она еще долго смотрела в окошко кареты. Она так любила прежде эти скромные танцующие. Я заметил, что она поднесла к глазам платок.

В префектуре мы застали госпожу Даниэль в разгаре веселья. Я начал танцевать с нею и приглашал ее так часто, что это было замечено. Я наговорил ей кучу комплиментов, и она отвечала на них весьма благосклонно.

Бригитта сидела напротив; она неотступно следила за нами взглядом. Трудно передать, что я чувствовал в тот вечер: это была какая-то смесь удовольствия и огорчения. Я прекрасно видел, что она ревнует, но это не только не трогало меня, а напротив, возбуждало желание встревожить ее еще сильнее.

Возвращаясь домой, я ожидал от нее упреков, но она не сказала мне ничего, да и в следующие два дня продолжала оставаться мрачной и молчаливой. Когда я приходил, она целовала меня, а потом мы усаживались друг против друга и, лишь изредка обмениваясь незначительными фразами, погружались в свои мысли. На третий день она наконец заговорила, высказала мне множество горьких упреков, заявила, что мое поведение совершенно непонятно и объяснить его можно только тем, что я ее разлюбил; такая жизнь, говорила она, свыше ее сил, и она готова на все, но не может больше выносить мои странные выходки, мою холодность. Глаза ее были полны слез, и я уже собирался просить у нее прощения, как вдруг у нее вырвалось несколько таких обидных слов, что самолюбие мое возмутилось. Я ответил ей в том же тоне, и наша ссора приняла бурный характер. Я сказал, что это просто смешно, если я не смог внушить своей любовнице достаточно-

го доверия к себе и она не хочет положиться на меня даже в мелочах, что госпожа Даниэль — только предлог: ведь Бригитта прекрасно знает, что я не думаю серьезно об этой женщине; что ее мнимая ревность — это самый настоящий деспотизм и что, в конце концов, если такая жизнь надоела ей, то от нее одной зависит ее прекратить.

— Хорошо, — ответила она, — я тоже не узнаю вас с тех пор, как стала вам принадлежать. Должно быть, прежде вы играли комедию, чтобы уверить меня в вашей любви. Теперь эта комедия надоела вам, и вы не можете дать мне ничего, кроме мучений. Вы подозреваете меня в измене по первому слову, которое кто-то сказал вам, а я должна терпеть явное оскорбление. Вы уже не тот человек, которого я любила.

— Я знаю, что такое ваши страдания, — ответил я. — Быть может, они будут повторяться при каждом моем шаге? Скоро мне уже нельзя будет разговаривать ни с одной женщиной, кроме вас. Вы притворяетесь обиженной только для того, чтобы самой иметь возможность оскорбить меня. Вы обвиняете меня в деспотизме, чтобы я превратился в вашего раба. Я нарушаю ваш покой — что ж, живите спокойно, больше вы не увидите меня.

Мы расстались врагами, и я провел день, не видя ее. Но на другой день, около полуночи, я почувствовал такую тоску, что не мог бороться с ней. Я заливался слезами, я осыпал себя упреками, которые были вполне заслужены. Я говорил себе, что я безумец, и притом злой безумец, если заставляю страдать лучшее, благороднейшее создание в мире. И я побежал к ней, чтобы упасть к ее ногам.

Войдя в сад, я увидел, что ее окно освещено, и сомнение невольно закралось мне в душу. «Она не ждет меня в такой час, — подумал я. — Кто знает, что она делает? Вчера я оставил ее в слезах; быть может, сейчас она весело распевает и совершенно забыла о моем существовании. Быть может, сейчас я застаю ее сидящей перед зеркалом, как когда-то застал ту, другую. Надо войти потихоньку, и я буду знать, что мне делать».

Я подошел на цыпочках к ее комнате, и, так как случайно дверь была приотворена, я смог увидеть Бригитту, не будучи замечен ею.

Она сидела за письменным столом и что-то писала в той самой толстой тетради, которая впервые возбудила мои подозрения на ее счет. В левой руке у нее была маленькая деревянная коробочка, на которую она время от времени взглядывала с какой-то нервной дрожью. В спокойствии, царившем в комнате, было что-то зловещее. Бюро было открыто, и в нем лежали аккуратно сложенные пачки бумаг: казалось, их только что привели в порядок. Входя, я нечаянно стукнул дверью. Она встала, подошла к бюро, заперла его, затем с улыбкой пошла мне навстречу.

— Октав, друг мой, — сказала она, — мы оба еще дети. Наша ссора бессмысленна, и если бы ты сейчас не пришел ко мне, нынче же ночью я была бы у тебя. Прости меня, это я виновата. Завтра госпожа Даниэль придет ко мне обедать. Если хочешь, накажи меня за мой деспотизм, как ты его называешь. Лишь бы ты любил меня, и я буду счастлива. Забудем то, что произошло, и постараемся не портить наше счастье.

ГЛАВА 3

Ссора наша была, пожалуй, менее печальна, чем наше примирение. У Бригитты оно сопровождалось какой-то таинственностью, которая вначале испугала меня, а потом оставила в душе непрерывное ощущение тревоги.

Чем дальше, тем все более развивались в моей душе, несмотря на все мои усилия подавить их, две злобные стихии, доставшиеся мне в наследство от прошлого: яростная ревность, изливавшаяся в издевательствах и упреках, и сменявшая ее жестокая веселость, которая заставляла меня с притворным легкомыслием оскорблять и вышучивать то, что было мне дороже всего в мире. Так меня преследовали, не давая ни минуты покоя, безжалостные вос-

поминания. Так Бригитта, с которой я обращался то как с неверной любовницей, то как с продажной женщиной, понемногу впадала в уныние, отравлявшее всю нашу жизнь. И хуже всего было то, что это уныние, хотя я и знал его причину, знал, что виновником его был я сам, тем не менее беспредельно тяготило меня. Я был молод и любил развлечения. Каждодневное уединение с женщиной старше меня годами, которая страдала и томилась, ее лицо, с каждым днем становившееся все более и более печальным, — все это отталкивало мою юность и вызывало во мне горькие сожаления о прежней свободе.

Когда в прекрасные лунные ночи мы медленно бродили по лесу, нас обоих охватывало чувство глубокой грусти. Бригитта смотрела на меня с состраданием. Мы сидели на скалу, возвышавшуюся над пустынным ущельем, и проводили там долгие часы. Ее полузакрытые глаза, глядя в мои, проникали в самую глубь моего сердца, затем она переводила взгляд на деревья, на небо, на долину.

— Бедный мой мальчик, — говорила она, — как мне тебя жаль! Ты уже не любишь меня!

Чтобы добраться до этой скалы, надо было пройти два лье лесом да столько же на обратном пути — целых четыре лье, Бригитта не боялась ни усталости, ни темноты. Мы выходили в одиннадцать часов вечера и иногда возвращались только утром. Отправляясь в такие большие походы, она надевала синюю блузу и мужской костюм, шутливо замечая, что ее обычное платье не подходит для лесной чащи. Она решительно шагала впереди меня по песку, и в ней было такое милое сочетание женского изящества и детской храбрости, что я то и дело останавливался полюбоваться ею. Казалось, что, пустившись в путь, она взяла на себя какую-то трудную, но священную задачу, и она шла как солдат, размахивая руками и громко распевая. Иногда она оборачивалась, подходила и целовала меня. Все это — на пути к скале. Когда же мы шли обратно, она опиралась на мою руку. Песни умолкали, начинались откровенные признания, нежные фразы, которые она

произносила вполголоса, хотя на расстоянии двух лье в окружности не было ни души, кроме нас. Я не помню, чтобы, возвращаясь домой, мы когда-нибудь обменялись хоть одним словом, которое бы не дышало любовью и дружбой.

Как-то вечером, направляясь к нашей скале, мы пошли по новой, придуманной нами самими дороге, — вернее сказать, пошли лесом, совсем не придерживаясь дороги. Бригитта шагала так решительно, и маленькая бархатная фуражка на ее густых белокурых волосах делала ее до такой степени похожей на храброго мальчика-подростка, что минутами во время трудных переходов я совсем забывал о том, что она женщина. Не раз случалось, что, карабаясь по скалам, ей приходилось звать меня на помощь, меж тем как я, забыв о ней, уже успевал подняться выше. Не могу передать впечатления, какое производил тогда, в эту чудесную светлую ночь, раздававшийся в гуще леса женский голосок, полужалобный, полувеселый, принадлежавший маленькому школьнику, который цеплялся за кусты дрока, за стволы деревьев и не мог сделать ни шагу дальше. Я брал ее на руки.

— Ну-с, сударыня, — говорил я ей со смехом, — вы хорошенький маленький горец, смелый и ловкий, но ваши белые ручки совсем исцарапаны, и я вижу, что, несмотря на подбитые гвоздями толстые башмаки, палку и воинственный вид, мне придется перенести вас.

И вот мы поднялись на скалу, совсем запыхавшись. Собираясь в поход, я опоясался ремнем и привязал к нему фляжку с водой. Когда мы оказались на вершине, моя дорогая Бригитта попросила у меня фляжку, но оказалось, что я потерял ее, как потерял и огниво, при помощи которого мы читали написанные на столбах названия дорог, если нам случалось заблудиться, а это бывало нередко. Я залезал тогда на столбы и старался быстро высечь огонь, чтобы успеть разобрать полустертые буквы. Все это мы проделывали со смехом, словно маленькие дети, да мы и были детьми. Стоило посмотреть на нас где-ни-

будь на перекрестке, когда надо было разобрать надписи не на одном, а на пяти или шести столбах, пока не находилась та, которая требовалась. Но в этот вечер все наше снаряжение осталось где-то в траве.

— Что ж, — сказала Бригитта, — переночуем здесь. Тем более что я устала. Правда, эта скала немного жестковата для постели, но мы сделаем ее помягче — наложим сухих листьев. Давайте сядем и не будем больше говорить об этом.

Вечер был чудесный; всходила луна, и я как сейчас вижу ее слева от себя, Бригитта долго смотрела, как она медленно поднималась из-за черной стены зубчатых лесистых холмов, вырисовывавшихся на горизонте. По мере того как лунный свет, уже не заслоняемый густыми деревьями, озарял небо, песенка Бригитты замедлялась и становилась все печальнее. Наконец она склонилась ко мне и обвила руками мою шею.

— Не думай, — сказала она, — что я не понимаю твоего сердца или упрекаю тебя за страдания, которые ты мне причиняешь. Друг мой, не твоя вина, если ты не в силах забыть прошлое. Ты искренне полюбил меня, и если бы даже мне пришлось умереть от этой любви, я никогда не пожалею о том дне, когда стала твоей. Ты надеялся, что возродишься к жизни и забудешь в моих объятиях тех женщин, которые тебя погубили. Увы, Октав, когда-то я смеялась, слушая, как ты говоришь о своей ранней опытности, думала, что ты хвалишься ею, как ребенок, не знающий жизни. Я верила, что стоит мне захотеть, и все хорошее, что есть в твоём сердце, всплывет наружу при первом моем поцелуе. Ты тоже верил в это, но мы оба ошиблись. Ах, мой мальчик! У тебя в сердце рана, которая не может закрыться. Как видно, ты очень любил ту женщину, которая тебя обманула, да, ты любил ее больше, увы, гораздо больше, чем меня, если вся моя бедная любовь не может изгладить ее образ. И, как видно, она жестоко обманула тебя, если вся моя верность не может вознаградить тебя за ее измену! А другие? Что они сделали,

эти презренные женщины, чем они отравили твою юность? Должно быть, наслаждения, которые они тебе продавали, были очень остры и очень страшны, если ты просишь меня подражать им? Ты помнишь о них и тогда, когда я с тобою! Ах, мой мальчик, это больше всего.

Мне легче видеть тебя несправедливым и взбешенным, легче терпеть, когда ты упрекаешь меня за мнимые преступления и вымещаешь на мне зло, причиненное первой твоей возлюбленной, нежели видеть на твоём лице эту ужасную веселость, эту циничную усмешку, эту личину разврата, которая, словно гипсовая маска, внезапно встает между нашими губами. Скажи, Октав, чем объяснить это? Чем они вызываются, эти дни, когда ты с презрением говоришь о любви и грустно высмеиваешь самые нежные изливания нашего чувства? Как же сильно должна была повлиять на твою чувствительную натуру ужасная жизнь, которую ты вел, если подобные оскорбления все еще помимо воли срываются с твоих уст! Да, помимо воли, ибо у тебя благородное сердце и ты сам краснеешь за свои поступки, ты слишком любишь меня, чтобы не страдать, видя мои страдания. Ах, теперь-то я знаю тебя. Когда я впервые увидела тебя таким, меня охватил непередаваемый ужас. Мне показалось, что ты просто безнравственный человек, что ты нарочно притворился влюбленным, не испытывая никакой любви ко мне, что это и есть твое настоящее лицо. Ах, друг мой! Я решилась умереть. Какую ночь я провела! Ты не знаешь моей жизни, не знаешь, что у меня — да, да, у меня! — не менее печальный жизненный опыт, чем у тебя. Жизнь радостна, но, увы, лишь для тех, кто ее не знает.

Милый Октав, вы не первый человек, которого я любила. В глубине моего сердца похоронена печальная история, и я хочу, чтобы вы узнали ее. Отец с ранней моей юности предназначил меня в жены единственному сыну своего старого друга. Они были соседями и оба владели небольшими именьями. Наши семейства видались ежедневно и, можно сказать, жили вместе. Но вот отец мой

умер, мать умерла задолго перед тем, и я осталась под прищотом тетушки, вы знаете ее. Через некоторое время после смерти отца ей понадобилось совершить небольшую поездку, и она поручила меня попечениям отца моего будущего мужа. Он всегда называл меня своей дочерью, и все кругом так хорошо знали, что я выхожу замуж за его сына, что нас постоянно оставляли одних, давая нам неограниченную свободу.

Казалось, что этот молодой человек — вам незачем знать его имя — всегда любил меня. Давнишняя детская дружба с годами перешла в любовь. Когда мы оставались наедине, он начинал говорить об ожидавшем нас счастье, рисовал мне свое нетерпение. Я была лишь годом моложе его. Случилось так, что он свел знакомство с одним безнравственным человеком, с проходивцем, который всецело подчинил его своему влиянию. В то время как я с детской доверчивостью отдавалась ласкам своего жениха, он решил обмануть отца, нарушить слово, данное ему и мне, обесчестить меня, а затем бросить.

Однажды утром его отец пригласил нас в свой кабинет и здесь, в присутствии всех членов семьи, назначил день нашей свадьбы. Вечером того же дня мой жених встретился со мной в саду, заговорил о любви еще более пылко, чем обычно, сказал, что, поскольку день нашей свадьбы решен, он считает себя моим мужем и что он давно уже мой муж в глазах бога. Я могу привести в свое оправдание лишь мою молодость, неведение и доверие, которое к нему питала. Я отдалась ему, еще не став его женой, а неделю спустя он покинул дом своего отца. Он бежал с женщиной, с которой его свел этот новый приятель. Он написал нам, что уезжает в Германию, и мы никогда больше не видели его.

Вот в нескольких словах история моей жизни. Мой муж знал ее, как теперь знаете вы. Я очень горда, мой мальчик, и в своем одиночестве я поклялась, что никогда ни один мужчина не заставит меня выстрадать еще раз то, что я выстрадала тогда. Я увидела вас и забыла свою клят-

ву, но не забыла своих страданий. Вы должны бережно обходиться со мной, Октав. Если вы больны, то и я тоже больна. Мы должны заботиться друг о друге. Теперь вы видите, дорогой мой, я тоже хорошо знаю, что такое воспоминания прошлого. И мне тоже они внушают минутами мучительный страх, когда я нахожусь рядом с вами, но я буду мужественнее, чем вы, потому что, мне кажется, из нас двоих я страдала больше. Начинать придется мне. Мое сердце не очень уверено в себе, я еще очень слаба. Жизнь моя в этой деревушке текла так спокойно, пока не явился ты! Я так твердо обещала себе ничего не изменять в ней! Все это делает меня особенно требовательной. И все-таки, несмотря ни на что, я твоя. Как-то, в одну из твоих хороших минут, ты сказал, что провидение поручило мне заботиться о тебе, как о сыне. Это правда, друг мой, я не всегда чувствую себя твоей возлюбленной. Часто бывают дни, когда мне хочется быть твоей матерью. Да, когда ты причиняешь мне боль, я перестаю видеть в тебе любовника, ты становишься для меня больным, недоверчивым или упрямым ребенком, и мне хочется вылечить этого ребенка, чтобы вновь найти того, кого я люблю и хочу любить всегда. Только бы бог дал мне достаточно силы на это, — добавила она, глядя на небо. — Только бы бог, который видит нас, который слышит меня, бог матерей и возлюбленных, помог мне выполнить эту задачу. И тогда — пусть я паду под этим непосильным бременем, пусть моя гордость возмущается, пусть бедное мое сердце готово разорваться... пусть вся моя жизнь...

Она не договорила, слезы хлынули из ее глаз. О боже, она опустилась на колени, сложила руки и склонилась над камнем. Ее фигурка дрожала на ветру, как кусты вереска, росшие вокруг нас. Хрупкое и возвышенное создание! Она молилась за свою любовь. Я нежно обнял ее.

— О мой единственный друг! — вскричал я. — Моя возлюбленная, мать, сестра! Помолись и за меня, попроси, чтобы я мог любить тебя той любовью, какой ты заслуживаешь. Попроси, чтобы я мог жить, чтобы мое сердце

омялось в твоих слезах и чтобы оно сделалось непорочным.

Мы упали на камни. Все молчало вокруг нас. Сияющее звездное небо раскинулось над нашими головами.

— Узнаешь ли ты это небо? — спросил я у Бригитты. — Помнишь ли ты наш первый вечер?

Благодарение богу, мы ни разу больше не приходили к этой скале. Это — алтарь, оставшийся неоскверненным, единственное из немногих видений моей жизни, еще не утратившее в моих глазах своего белого одеяния.

ГЛАВА 4

Как-то вечером, переходя через площадь, я поравнялся с двумя мужчинами, которые стояли, разговаривая между собой.

— Говорят, что он очень груб с ней, — сказал один довольно громко.

— Сама виновата, — ответил другой. — Зачем было выбирать такого человека? До сих пор он знался только с продажными женщинами. Теперь она наказана за свое безумие.

Было темно; я хотел подойти ближе, чтобы рассмотреть говоривших и услышать продолжение разговора, но, заметив меня, они тотчас удалились.

Бригитту я застал в тревоге; ее тетка была серьезно больна. Она едва успела сказать мне несколько слов. Целую неделю я не имел возможности видеться с ней и узнал только, что она выписала врача из Парижа. Наконец она прислала за мной.

— Тетушка умерла, — сказала она мне, — я потеряла единственное близкое существо, еще оставшееся у меня на земле. Теперь я одна в мире и хочу уехать отсюда.

— Так, значит, я решительно ничего для вас не значу?

— О друг мой, вы знаете, что я люблю вас, и часто мне кажется, что и вы любите меня. Но могу ли я рассчитывать на вас? Я принадлежу вам, но, к несчастью, вы не при-

надлежите мне. Это о вас Шекспир сказал свои грустные слова: «Сделай себе платье из переливчатого шелка, потому что сердце твое подобно опалу, отливающему тысячей цветов». А я, Октав, — добавила она, показывая на свое траурное платье, — я обрекла себя на один цвет, и это надолго, я не собираюсь изменять ему.

— Вы можете уехать, если хотите, но я или покончу с собой, или поеду вслед за вами. Ах, Бригитта, — вскричал я, бросаясь перед ней на колени, — когда умерла ваша тетка, вы решили, что у вас никого больше нет! Это самое жестокое наказание, какому вы могли меня подвергнуть. Никогда еще я так болезненно не ощущал всей ничтожности своей любви к вам. Вы должны отказаться от этой чудовищной мысли. Я ее заслужил, но она убивает меня. О боже! Неужели правда, что я ничего не значу в вашей жизни, а если значу — то лишь в силу того зла, которое причинил вам!

— Не знаю, кто так интересуется нами в этих краях, — сказала она. — С некоторых пор в деревне и в окрестностях идут странные пересуды. Одни говорят, что я погубила себя, обвиняют меня в неосторожности, в легкомыслии. Другие изображают вас жестоким и опасным человеком. Не знаю, каким образом, но люди проникли в самые сокровенные наши мысли. То, что, как мне казалось, было известно только мне одной — неровность вашего характера и печальные сцены, вызванные этим, — все вышло наружу. Моя бедная тетушка рассказала мне об этом. Она давно уже знала все, но скрывала от меня. Уж не ускорило ли все это ее смерть, не сделало ли ее более мучительной? Когда я встречаюсь с моими старыми приятельницами, они холодно здороваются со мной или удаляются при моем приближении. Даже мои милые крестьянки, эти славные деревенские девушки, которые так меня любили, пожимают плечами, когда видят, что мое место у оркестра пустоует на их скромном воскресном бале. Как и чем объяснить все это? Я не знаю, и, конечно, вы тоже не знаете причины, но мне надо уехать, я больше не в силах

выносить это. А эта смерть, эта внезапная и ужасная болезнь и, главное, это одиночество! Эта опустевшая комната! Я теряю мужество. О друг мой, друг мой, не покидайте меня!

Она заплакала. В соседней комнате я заметил разбросанные в беспорядке вещи, чемодан, стоявший на полу; все указывало на приготовления к отъезду. Мне стало ясно, что Бригитта, как только умерла ее тетка, хотела было уехать без меня, но что у нее не хватило мужества. И действительно, она была так удручена, так подавлена, что с трудом говорила. Положение ее было ужасно, и виновником этого был я. Мало того, что она была несчастна, но ее публично оскорбляли, и человек, в котором она должна была бы найти утешение и поддержку, являлся для нее лишь источником еще больших тревог и мучений.

Я так остро ощутил всю тяжесть своей вины, что мне стало стыдно перед самим собой. После стольких обещаний, стольких бесплодных порывов, стольких планов и надежд — вот что я сделал, и это в течение трех месяцев!

Я думал, что в сердце моем таилось сокровище, а нашел в нем лишь ядовитую желчь, тень мечты и несчастье женщины, которую обожал. Впервые я увидел себя в истинном свете. Бригитта ни в чем не упрекала меня. Она хотела уехать и не могла, она готова была продолжать страдать. И вдруг я спросил у себя, не должен ли я оставить ее, не должен ли бежать и освободить ее от мучений.

Я встал, прошел в соседнюю комнату и сел на чемодан Бригитты. Закрыв лицо руками, я долго сидел здесь в каком-то оцепенении. Потом я осмотрелся по сторонам и увидел все эти наполовину упакованные свертки, увидел платье, разбросанные по стульям. Увы, я узнавал все эти вещи, все эти платья, — кусочек моего сердца был во всем, что прикасалось к ней. Я начал понимать, как велико было причиненное мною зло! Я вновь увидел, как моя дорогая Бригитта идет по липовой аллее и белый козленок бежит за нею следом.

— О человек, — воскликнул я, — по какому праву ты сде-

дал это? Кто дал тебе смелость прийти сюда и коснуться этой женщины? Кто позволил тебе причинять страдания? Ты причесываешься перед зеркалом и идешь, самодовольный фат, к твоей огорченной возлюбленной. Ты бросаешься на подушки, на которых она только что молилась за тебя и за себя, и небрежножимаешь ее тонкие, еще дрожащие руки. Ты ловко умеешь воспламенить бедную головку и в минуту любовного исступления бываешь весьма красноречив, немного напоминая адвокатов, которые с красными от слез глазами выходят после проигранного ими ничтожного процесса. Ты корчишь из себя блудного сынка, ты играешь страданием, ты небрежно, с помощью булавочных уколов, совершаешь убийство в будуаре. Что же ты скажешь богу, когда дело твое будет окончено? Куда уходит женщина, которая тебя любит? Куда ты скользишь, в какую пропасть готов ты упасть в тот миг, когда она хочет опереться на тебя? С каким лицом будешь ты хоронить, когда наступит день, твою бледную и печальную любовницу, как она только что похоронила единственное существо, заботившееся о ней? Да, да, в этом нет сомнения, ты похоронишь ее, ибо твоя любовь убивает, сжигает ее. Ты отдал ее на растерзание твоим фуриям, и ей приходится укрощать их. Если ты поедешь за этой женщиной, она умрет по твоей вине. Берегись! Ее ангел-хранитель в нерешимости стоит на ее пороге. Он постучался в этот дом, чтобы прогнать из него роковую и постыдную страсть. Это он внушил Бригитте мысль об отъезде. Быть может, в эту минуту он шепчет ей на ухо свое последнее предостережение. О убийца! О палач! Берегись! Речь идет теперь о жизни и смерти!

Так говорил я самому себе. И вдруг я увидел на краю кушетки полосатое полотняное платьице, уже сложенное и готовое исчезнуть в чемодане. Оно было свидетелем одного из наших немногих счастливых дней. Я дотронулся до него и взял его в руки.

— Как я расстанусь с тобой! — сказал я. — Я потеряю тебя! О милое платьице, ты хочешь уехать без меня?

«Нет, я не могу покинуть Бригитту. В такую минуту это было бы подлостью: она только что потеряла тетку, она осталась одна, какой-то тайный враг распускает о ней нехорошие слухи. Это может быть только Меркансон. Должно быть, он разболтал о моем разговоре с ним относительно Далана и, увидев мою ревность, понял и угадал все остальное. Да, да, это змея, обрызгавшая своей ядовитой слюной мой любимый цветок. Прежде всего я должен наказать его за это, а потом загладить зло, причиненное мною Бригитте. Безумец, я думал оставить ее, тогда как должен посвятить ей всю жизнь, искупить свою вину перед ней и взамен пролитых из-за меня слез дать ей заботу, любовь и счастье. Оставить ее, когда я теперь единственная ее опора, единственный друг, единственный защитник, когда я должен следовать за ней на край вселенной, заслонять ее от опасности своим телом, утешать в том, что она полюбила меня и отдалась мне!»

— Бригитта! — вскричал я, входя в комнату, где она сидела. — Подождите меня, через час я буду здесь.

— Куда вы идете? — спросила она.

— Подождите, — повторил я, — не уезжайте без меня. Вспомните слова Руфи: «Куда бы ты ни пошел, твой народ будет моим народом и твой бог — моим богом. Земля, где умрешь ты, станет и моей могилой, и меня похоронят вместе с тобою!»

Я поспешно простился с ней и побежал к Меркансону. Мне сказали, что его нет, и я вошел в дом, чтобы дождаться его.

Я сидел в углу на кожаном стуле в комнате священника, перед его черным и грязным столом. Время тянулось медленно, и я уже соскучился ждать, как вдруг мне пришла на память дуэль, которая была у меня из-за первой моей возлюбленной.

«Я получил тогда серьезную рану и к тому же прослыл смешным безумцем, — думал я. — Зачем я пришел сюда? Этот священник не станет драться. Если я затею с ним ссору, он ответит, что его сан запрещает ему слушать мои

слова, а когда я уйду, примется болтать еще больше. Да и, в сущности говоря, в чем заключается эта болтовня? Почему она так беспокоит Бригитту? Говорят, что она губит свою репутацию, что я дурно обращаюсь с ней и что она напрасно терпит все это. Какой вздор! Никому нет до этого никакого дела! Пускай себе болтают! В таких случаях, прислушиваясь к подобной ерунде, мы только придаем ей чрезмерное значение: Разве можно запретить провинциалу интересоваться своим соседом? Разве можно запретить ханжам сплетничать о женщине, у которой появился любовник? Разве есть такое средство, которое могло бы положить конец сплетне? Если говорят, что я дурно обращаюсь с ней, мое дело доказать обратное моим поведением, но никак не грубой выходкой. Было бы так же глупо искать ссоры с Меркансоном, как глупо бежать отсюда из-за каких-то слухов. Нет, уезжать не надо, это было бы ошибкой, это значило бы подтвердить перед всеми правоту наших врагов и сыграть на руку болтунам».

Я вернулся к Бригитте. Прошло меньше получаса, а я уже три раза переменял решение. Я начал отговаривать ее от поездки, рассказал о том, где был и почему не сделал того, что собирался сделать. Она выслушала меня с покорным видом, но не хотела отказаться от своего намерения: дом, где умерла ее тетка, стал ей ненавистен. Понадобилось немало усилий с моей стороны, чтобы убедить ее остаться. Наконец она согласилась. Мы повторили друг другу, что не будем обращать внимания на мнение света, что ни в чем не уступим ему и ничего не изменим в нашем обычном образе жизни. Я поклялся ей, что моя любовь вознаградит ее за все горести, и она сделала вид, что поверила мне. Я сказал, что этот случай ясно показал мне, как глубоко я виноват перед ней, сказал, что отныне мое поведение докажет ей мое раскаяние, что я хочу прогнать все призраки прошлого, искоренить зародыш зла, еще живший в моем сердце, что ей никогда больше не придется страдать ни от моего чрезмерного самолюбия, ни от

моих капризов, — и вот, терпеливая и грустная, крепко обнимающая меня, она подчинилась чистейшему капризу, который сам я принимал за проблеск разума.

ГЛАВА 5

Однажды, войдя в дом, я увидел открытой дверь в комнату, которую она называла своей часовней: в самом деле, здесь не было никакой мебели, кроме молитвенной скамеечки и маленького алтаря, на котором стояло распятие и несколько ваз с цветами. Все в этой комнатке — стены, занавеси — было бело как снег. Иногда Бригитта запиралась здесь, но с тех пор, как мы жили вместе, это бывало редко.

Я заглянул в дверь и увидал, что Бригитта сидит на полу среди разбросанных цветов. В руках у нее был маленький венок, как мне показалось — из засохшей травы, и она ломала его.

— Что это вы делаете? — спросил я. Она вздрогнула и поднялась.

— Ничего, — сказала она. — Это детская игрушка — старый венок из роз, который завял в этой часовенке. Он давно уже висит здесь... Я пришла переменить цветы.

Голос ее дрожал. Казалось, она готова была лишиться чувств. Я вспомнил, что ее называли Бригиттой-Розой, и спросил, уже не тот ли это венок, который был когда-то подарен ей в дни ее юности.

— Нет, — ответила она, бледнея.

— Да! — вскричал я. — Да! Клянусь жизнью, это он! Дайте мне хоть эти кусочки.

Я подобрал их и положил на алтарь, потом долго смотрел молча на то, что осталось от венка.

— А разве не права была я, если это действительно тот самый венок, что сняла его со стены, где он висел так долго? — спросила она. — К чему хранить эти останки? Бригитты-Розы уже нет, как нет тех роз, от которых она получила свое прозвище.

Она вышла из комнаты, и до меня донеслось рыдание. Дверь захлопнулась, я упал на колени и горько заплакал.

Когда я пришел к ней, она сидела за столом. Обед был готов, и она ждала меня. Я молча сел на свое место, и мы не стали говорить о том, что лежало у нас на сердце.

В самом деле, это Меркансон рассказал в деревне и в соседних поместьях о моем разговоре с ним по поводу Далана и о подозрениях, которые я невольно при нем обнаружил. Всем известно, как быстро распространяется сплетня в провинции, как быстро она обрастает подробностями и переходит из уст в уста. Именно это и случилось.

Наши отношения с Бригиттой были теперь не те, что прежде. Как ни слаба была ее попытка уехать, все же она сделала эту попытку и осталась только по моей просьбе; это налагало на меня известные обязательства. Я обещал не смущать ее покоя ни ревностью, ни легкомыслием. Каждое вырвавшееся у меня резкое или насмешливое слово было уже проступком, каждый обращенный на меня грустный взгляд был ощутительным и заслуженным укором.

Добрая и простодушная от природы, вначале она находила в нашей уединенной жизни особую прелесть: она могла теперь, ни о чем не заботясь, видеться со мной в любое время. Быть может, она так легко пошла на это, желая доказать мне, что любовь для нее важнее, чем доброе имя. Мне кажется, она раскаивалась в том, что приняла так близко к сердцу злословие сплетников. Так или иначе, но, вместо того чтобы соблюдать осторожность и оберегать себя от постороннего любопытства, мы стали вести более свободный и беззаботный образ жизни, чем когда бы то ни было.

Я приходил к ней утром, и мы завтракали вместе. Не имея в течение дня никаких занятий, я выходил только с нею. Она оставляла меня обедать, и, следовательно, мы проводили вечер вместе, а когда мне надо было идти домой, придумывали тысячу предлогов, принимали тысячу мнимых предосторожностей, по правде сказать, совер-

шенно бесполезных. В сущности говоря, я попросту жил у нее, а мы делали вид, будто никто об этом не знает.

Некоторое время я выполнял свое обещание, и ни одно облачко не омрачало нашего уединения. То были счастливые дни, но не о них следует говорить.

В деревне и в окрестностях ходили слухи, что Бригитта открыто живет с каким-то распутником, приехавшим из Парижа, что любовник дурно обращается с ней, что они то расходятся, то опять сходятся и что все это плохо кончится. Если прежде все превозносили Бригитту, то теперь все порицали ее. Те самые поступки, которые в прошлом вызывали всеобщее одобрение, истолковывались теперь самым неблагоприятным образом. То, что она одна ходила по горам — а это всегда было связано с ее благотворительностью и никогда ни в ком не возбуждало ни малейшего подозрения, — теперь сделалось предметом пошлых шуток и насмешек. О ней отзывались как о женщине, которая совершенно перестала считаться с общественным мнением и которую неминуемо ждет в будущем заслуженная и ужасная кара.

Я говорил Бригитте, что не следует обращать внимания на сплетни, и делал вид, что меня они несколько не беспокоят, но в действительности эти толки стали для меня невыносимы. Иногда я нарочно выходил из дому и посещал соседей с целью услышать что-нибудь определенное, какую-нибудь фразу, которая дала бы мне право счесть себя оскорбленным и потребовать удовлетворения. Я внимательно прислушивался ко всем разговорам, которые шепотом велись в гостиных, но ничего не мог уловить. Чтобы на свободе позлословить, люди ждали моего ухода. Возвращаясь домой, я говорил Бригитте, что вся эта болтовня — вздор, что было бы безумием заниматься ею, что о нас могут сплетничать сколько угодно, но я не желаю ничего знать об этом.

Бесспорно, я был виноват, невыразимо виноват перед Бригиттой. Если она была неосторожна, то разве не мне следовало обдумать положение и предупредить ее об

опасности? Вместо этого я, можно сказать, принял сторону света и пошел против нее.

Вначале я был беспечен, но вскоре стал злым.

— Люди дурно отзываются о ваших ночных прогулках, — говорил я. — Вполне ли вы уверены в том, что они не правы? Не было ли каких-нибудь приключений в гротах и аллеях этого романтического леса? Не случилось ли вам, возвращаясь в сумерках домой, опереться на руку незнакомца, как вы однажды оперлись на мою руку? Только ли человеколюбие служило вам божеством в том прекрасном зеленом храме, в который вы входили так бесстрашно?

Взгляд, который бросила на меня Бригитта, когда я впервые заговорил с ней таким тоном, никогда не изгладится из моей памяти. Я невольно вздрогнул, но тут же сказал себе: «Полно! Если я буду вступаться за нее, она сделает то же, что моя первая возлюбленная, — высмеет меня, и я прослышу дураком в глазах всех».

От сомнения до отрицания — один шаг. Философ и атеист — родные братья. Сказав Бригитте, что ее прошлое внушает мне сомнения, я стал сомневаться в нем, а усомнившись, перестал верить в его невинность.

Я стал воображать, будто Бригитта изменяет мне, — это она, Бригитта, с которой я не расставался и на час в течение целого дня. Иногда я намеренно отлучался на довольно продолжительное время и уверял себя, что делаю это с целью испытать ее. В действительности же, сам того не сознавая, я поступал так лишь затем, чтобы доставить себе повод для подозрений и насмешек. Я любил говорить, что больше не ревную ее, что теперь я далек от прежних нелепых страхов. И, разумеется, это означало, что теперь я недостаточно уважаю ее, чтобы ревновать.

Вначале я хранил свои наблюдения про себя. Вскоре я начал находить удовольствие в том, чтобы высказывать их Бригитте. Когда мы отправлялись гулять, я говорил ей: «Какое хорошенькое платье! Если не ошибаюсь, точно такое было у одной из моих любовниц». Когда сидели

за столом: «Знаете, милая, прежняя моя любовница обычно пела за десертом. Не мешало бы и вам взять с нее пример». Когда она садилась за фортепьяно: «Ах, сыграйте мне, пожалуйста, вальс, который был в моде прошлой зимой. Это напомнит мне доброе старое время».

Читатель, это продолжалось шесть месяцев! В течение шести месяцев Бригитта, страдавшая от клеветы и оскорблений со стороны общества, терпела от меня все презрительные замечания, все обиды, какими только вспылчивый и жестокий развратник может оскорбить женщину, которой он платит.

После этих ужасных сцен, во время которых ум мой изощрялся, изобретая пытки, терзавшие мое собственное сердце, то обвиняя, то насмехаясь, но всегда мучась жадной страдания и возвратов к прошлому, — после этих сцен какая-то странная любовь, какой-то доходивший до исступления восторг овладевали мною, и Бригитта становилась для меня кумиром, становилась для меня божеством. Через четверть часа после того, как я оскорбил ее, я стоял перед ней на коленях. Едва перестав обвинять, я уже просил у нее прощения; едва перестав насмехаться, я плакал. И тогда меня охватывало небывалое исступление, какая-то горячка счастья. Я испытывал болезненную радость, неистовство моих восторгов почти лишало меня рассудка. Я не знал, что сделать, что придумать, чтобы загладить зло, которое причинил. Я не выпускал Бригитту из своих объятий и заставлял ее сто, тысячу раз повторять, что она любит, что она прощает меня. Я обещал искупить свою вину и клялся, что пушу пулю в лоб, если обижу ее еще раз. Эти душевные порывы длились целые ночи напролет, и, лежа у ног моей возлюбленной, я не переставал говорить, не переставал плакать, опьяненный безграничной, расслабляющей, безумной любовью. А потом рассветало, наступало утро, я падал без сил на подушку, засыпал и просыпался с улыбкой на губах, осмеивая все и ничему не веря.

В эти ночи, исполненные какого-то страшного сладострастия, Бригитта, казалось, совершенно забывала о

том, что во мне жил другой человек, не тот, который был сейчас перед ее глазами. Когда я просил у нее прощения, она пожимала плечами, словно говоря: «Разве ты не знаешь, что я все прощаю тебе?» Ей передавалось мое опьянение. Сколько раз, бледная от наслаждения и любви, она говорила мне, что хочет видеть меня именно таким, что эти бури — ее жизнь, что ее страдания дороги ей, если они покупаются такой ценой, что она ни о чем не будет жалеть, пока в моем сердце останется хоть искорка любви к ней, что эта любовь, должно быть, убьет ее, но она надеется, что мы умрем вместе, — словом, что ей приятно и мило все, и оскорбления и обиды, лишь бы они исходили от меня, и что эти восторги станут ее могилой.

Между тем время шло, а мой недуг все усиливался. Припадки злобы, желание уязвить приняли мрачный и болезненный характер. Вспышки безумия доводили меня иногда до настоящих приступов лихорадки, налетавших совершенно неожиданно. По ночам я просыпался, дрожа всем телом, обливаясь холодным потом. От внезапного шума, от всякого неожиданного впечатления я вздрагивал так сильно, что все кругом пугались. Бригитта ни на что не жаловалась, но лицо ее страшно изменилось. Когда я начинал оскорблять ее, она безмолвно уходила и запиралась у себя в комнате. Благодарение богу, я ни разу не поднял на нее руку; во время самых сильных припадков гнева я бы скорее умер, чем дотронулся до нее.

Однажды вечером мы сидели одни со спущенными занавесями, дождь стучал в стекла.

— Сегодня я чувствую себя веселым, — сказал я, — но эта ужасная погода наводит тоску. Не надо поддаваться ей. Знаете что, давайте развлекаться наперекор буре.

Я встал и зажег все свечи, вставленные в канделябры. Небольшая комната внезапно осветилась, словно при иллюминации. Яркое пламя камина (это было зимой) распространяло удушливую жару.

— Чем бы нам заняться до ужина? — спросил я.

И тут я вспомнил, что в Париже было сейчас время

карнавала. Я увидел перед собой кареты с масками, мчащиеся навстречу друг другу по бульварам. Я услышал громкий говор веселой толпы у входа в театры. Мне вспомнились сладострастные танцы, пестрые костюмы, вино и безумства. Вся моя молодость заговорила во мне.

— Давайте переоденемся, — сказал я Бригитте. — Никто не увидит, но это не важно! Правда, у нас нет костюмов, зато есть из чего смастерить их, и это будет еще забавнее. Мы очень мило проведем время.

Мы нашли в шкафу платья, шали, накидки, шарфы, искусственные цветы. Бригитта была терпелива и весела, как обычно. Мы нарядились, и она сама причесала меня. Затем мы нарумянились и напудрились — все, что понадобилось для этой цели, нашлось в старинной шкатулке, кажется, доставшейся ей от тетки. Через какой-нибудь час мы просто не узнавали друг друга. Вечер прошел в пении и в придумывании разных шалостей. Около часу пополуночи настало время ужинать.

Наряжаясь, мы перерыли все шкафы. Один из них, стоявший недалеко от стола, остался полуоткрытым. Садясь ужинать, я заметил на полке тетрадь, в которой Бригитта часто писала, — я уже говорил о ней.

— Ведь это, кажется, собрание ваших мыслей? — спросил я и, протянув руку, достал тетрадь. — Если вы не сочтете это нескромным, я загляну в нее.

Хотя Бригитта и сделала движение, чтобы помешать мне, я развернул тетрадь. На первой странице мне бросились в глаза следующие слова: «Мое завещание».

Оно было написано спокойной и твердой рукой. В нем Бригитта, без горечи и без гнева, правдиво рассказывала обо всем, что выстрадала из-за меня с тех пор, как стала принадлежать мне. Она заявляла о своем твердом решении переносить все до тех пор, пока я буду ее любить, и умереть, когда я оставлю ее. Ее намерения были вполне определенны. День за днем она отдавала отчет в своей жизни, в принесенных мне жертвах. Все, что она потеряла, все, на что надеялась, ужасное чувство одино-

чества, которое не покидало ее и в моих объятиях, растущая пропасть, разделявшая нас все более и более, жестокие поступки, которыми я платил за ее любовь и самоотречение, — все это было рассказано без единой жалобы; напротив, она еще старалась оправдать меня. В конце она переходила к своим личным делам и делала подробные распоряжения, касавшиеся ее наследников. С жизнью она решила покончить при помощи яда — добавляла она. Смерть ее будет совершенно добровольной, и она безусловно запрещает, чтобы память о ней послужила поводом для каких бы то ни было преследований против меня. «Молитесь за него!» — таковы были последние слова ее завещания.

В шкафу на той же полке я нашел коробочку, которую уже видел однажды: в ней был какой-то мелкий синеватый порошок, похожий на соль.

— Что это такое? — спросил я у Бригитты, поднося коробочку к губам.

Она испустила крик ужаса и бросилась ко мне.

— Бригитта, — сказала я, — попрощайтесь со мной. Я беру с собой эту коробку. Вы забудете меня и будете жить, если не хотите сделать меня убийцей. Я еду сегодня же ночью и не прошу вас о прощении. Быть может, вы и простили бы меня, но бог видит, что я этого недостоин. Поцелуйте же меня в последний раз.

Я наклонился к ней и поцеловал ее в лоб.

— Подождите! — вскричала она с выражением смертельной тоски, но я оттолкнул ее и бросился вон.

Три часа спустя я был готов к отъезду, и почтовые лошади подъехали к моему дому. Дождь все еще лил, и я оцупью сел в карету. Кучер тронул лошадей, и в тот же миг я почувствовал, как чьи-то руки обняли меня и чьи-то губы с рыданием прижались к моим губам.

Это была Бригитта. Я сделал все возможное, чтобы уговорить ее остаться. Я крикнул кучеру, чтобы он остановил лошадей. Я сказал ей все, что только мог придумать, чтобы убедить ее выйти из кареты. Я даже обещал,

что когда-нибудь, когда время и путешествия изгладят память о причиненном ей зле, я вернусь к ней. Я силился доказать, что завтра может повториться то же, что было вчера. Я повторял, что могу сделать ее только несчастной, что связать себя со мной — значило сделать меня убийцей. Я испробовал все — мольбы, клятвы, даже угрозы. На все это она отвечала:

— Ты уезжаешь, так возьми и меня с собой. Бежим отсюда, бежим от прошлого. Мы больше не можем жить здесь, поедem в другое место, куда угодно, поедem и умрем вместе в каком-нибудь уголке земли. Мы должны быть счастливы — я тобою, а ты мною.

Я поцеловал ее с таким восторгом, что сердце мое едва не разорвалось.

— Трогай! — крикнул я кучеру.

Мы бросились в объятия друг к другу, и лошади понеслись вскачь.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА I

Решившись предпринять дальнейшее путешествие, мы прибыли в Париж. Так как необходимые приготовления и кое-какие дела, которые нам надо было привести в порядок, требовали времени, нам пришлось снять на месяц меблированную квартиру.

Намерение покинуть Францию сразу все изменило: радость, надежда, доверие — все вернулось к нам. Огорчения и ссоры исчезли при мысли о скором отъезде. На смену пришли мечты о счастье и клятвы вечно любить друг друга. Мне хотелось заставить наконец мою дорогую возлюбленную навсегда забыть все перенесенные ею страдания. Мог ли я противостоять стольким доказательствам ее нежной привязанности, ее мужественному самоотречению? Бригитта не только прощала меня, — она собиралась принести мне величайшую жертву: бросить все, чтобы следовать за мной. Чем меньше я чувствовал себя достойным той преданности, какую она мне выказывала, тем сильнее мне хотелось, чтобы в будущем моя любовь вознаградила ее за это. Наконец-то мой добрый гений восторжествовал над злым, восхищение и любовь одержали верх в моем сердце.

Наклонившись рядом со мной над картой, Бригитта искала на ней местечко, где мы могли бы укрыться. Мы еще не решили, где оно будет, и в этой неопределенности было для нас такое острое и такое неизведанное удовольствие, что мы нарочно делали вид, будто не можем ни на чем остановиться. Во время этих поисков головы на-

ши соприкасались, моя рука обвивала стан Бригитты. «Куда мы поедем? Что будем делать? Где начнется новая жизнь?» Как передать, что я испытывал, когда в разгаре всех этих надежд поднимал иногда взгляд на Бригитту? Какое раскаяние охватывало меня, когда я смотрел на это прекрасное и спокойное лицо, улыбавшееся при мысли о будущем и еще бледное от страданий прошлого! Когда я сидел рядом с ней, обняв ее, и ее палец скользил по карте, когда она тихим голосом рассказывала мне о своих делах, о своих планах, о нашем будущем уединении, я готов был отдать за нее жизнь! Мечты о счастье, пожалуй, вы единственное истинное счастье в этом мире!

Мы уже около недели проводили время в беготне и в покупках, как вдруг однажды к нам явился какой-то молодой человек: он привез письма для Бригитты. После разговора с ним она показалась мне грустной и удрученной, но я смог узнать у нее только одно — что письма были из Н., того самого городка, где я впервые признался ей в любви и где жили единственные ее родственники, еще остававшиеся в живых.

Между тем наши сборы быстро приближались к концу, и в моем сердце не было места ни для одного чувства, кроме нетерпеливого желания поскорее уехать. Радость, которую я испытывал, держала меня в постоянном возбуждении. Утром, когда я вставал и солнце заглядывало к нам в окна, я ощущал прилив какого-то пьянящего восторга. Я входил тогда на цыпочках в комнату, где спала Бригитта. Не раз, просыпаясь, она находила меня стоящим на коленях в ногах ее постели: я смотрел, как она спит, и не мог удержать слез. Я не знал, какими средствами убедить ее в искренности моего раскаяния. Если когда-то любовь к первой моей возлюбленной заставляла меня совершать безрассудства, то теперь я совершал их во сто крат больше: все странное и безумное, что только может внушить человеку исступленная страсть, теперь неудержимо влекло меня к себе. Я теперь просто боготворил Бригитту, и несмотря на то, что она принадлежала мне уже более по-

лугода, мне казалось, когда я подходил к ней, что я вижу ее в первый раз. Я едва осмеливался поцеловать край одежды этой женщины, той самой женщины, которую я терзал так долго. Иногда какое-нибудь слово, сказанное ею, заставляло меня вздрагивать, словно ее голос был незнаком мне. Порой я с рыданием бросался в ее объятия, порой смеялся без причины. О прежних своих поступках я не мог говорить без ужаса и отвращения. Я мечтал о храме, посвященном любви, где я смыл бы с себя прошлое и надел новые одежды, которые никто не мог бы с меня сорвать.

Я видел когда-то картину Тициана, изображающую святого Фому, который влагает персты в раны Христа, и теперь часто вспоминал о ней: если бы я сравнил любовь с верой человека в бога, то мог бы сказать, что я сам походил на этого Фому. Как назвать то чувство, которое выражает его тревожное лицо? Он еще сомневается, но уже готов преклониться. Он прикасается к ране, изумленное проклятие замирает на его открытых устах, и с них тихо слетает молитва. Кто это — апостол или нечестивец? Так ли велико его раскаяние, как велико было нанесенное им оскорбление? Ни он сам, ни художник, ни ты, смотрящий на него, — никто не знает этого. Спаситель улыбается, и все исчезает, как капля росы, в лучах его неизмеримого милосердия. Вот таким же бывал и я в присутствии Бригитты — безмолвным и как бы постоянно удивленным. Я дрожал при мысли, что в душе ее мог сохраниться прежний страх и что бесконечные перемены, которые она видела во мне, могли подорвать ее доверие. Однако по прошествии двух недель она начала ясно читать в моем сердце и поняла, что, видя ее искренность, я сделался искренним и сам, а так как мое чувство поддерживалось ее мужеством, то она перестала сомневаться как в том, так и в другом.

Комната наша была полна беспорядочно разбросанных вещей, альбомов, карандашей, книг, пакетов, и над всем этим по-прежнему царилла наша любимая карта. Мы

уходили и приходили, и при каждом удобном случае я бросался к ногам Бригитты, которая называла меня лентяем и со смехом говорила, что ей все приходится делать самой, так как я ни на что не гожусь. Укладываясь в дорогу, мы строили бесконечные планы. До Сицилии не близкий путь, но зима там такая мягкая! Это самый приятный климат. Генуя с ее белыми домиками, зелеными садами, растущими вдоль дорог, и Апенниннами, виднеющимися на горизонте, прекрасна! Но сколько там шуму! Какое множество народу! Из трех проходящих по улице мужчин один непременно монах, а другой — солдат. Флоренция печальна, это средневековье, еще живущее среди нас. Решетчатые окна и ужасная коричневая краска, которой выпачканы все дома, просто невыносимы. А что нам делать в Риме? Ведь мы собираемся путешествовать не для того, чтобы искать ярких впечатлений, и, уж конечно, не затем, чтобы учиться. Не отправиться ли нам на берега Рейна? Нет, сезон уже кончился, и хоть мы и не ищем светского общества, все-таки как-то грустно ехать туда, куда ездят все, но в то время, когда там никого нет. А Испания? Мы встретили бы там слишком много затруднений: там надо маршировать, словно в походе, и быть готовым ко всему, кроме покоя. Поедем в Швейцарию! Туда ездят очень многие, но лишь глупцы пренебрежительно отзываются о ней. Там, и только там, сверкают во всем своем великолепии три краски, наиболее любимые богом: лазурь неба, зелень долин и белизна снегов на вершинах гор.

— Уедем, уедем, — говорила Бригитта, — улетим, как птицы. Давайте вообразим, дорогой Октав, что мы только вчера познакомились друг с другом. Вы встретили меня на бале, я понравилась вам и сама полюбила вас. Вы рассказываете мне, что в нескольких лье отсюда, в каком-то маленьком городке, у вас была возлюбленная — некая госпожа Пирсон, рассказываете о том, что произошло между вами. Я не желаю верить этой истории и надеюсь, вы не вздумаете посвящать меня в подробности вашего увлечения женщиной, которую покинули ради меня. В свою

очередь, и я признаюсь вам на ушко, что еще недавно я любила одного шалопаю, который причинил мне немало горя. Вы мне выражаете свое сочувствие, просите молчать о том, что было дальше, и мы даем друг другу слово, что никогда больше не будем вспоминать о прошлом.

Когда Бригитта говорила мне это, я испытывал чувство, похожее на жадность. Я обнимал ее дрожащими руками.

— О боже, — восклицал я, — я и сам не знаю, что заставляет меня трепетать — радость или страх. Я увезу тебя, мое сокровище. Перед нами бесконечная даль, и ты моя. Мы уедем. Пусть умрет моя юность, пусть умрут воспоминания, тревоги и горести! О моя добрая, моя мужественная подруга! Ты превратила мальчика в мужчину. Если бы теперь мне случилось потерять тебя, я уже никогда больше не смог бы полюбить. Быть может, прежде, когда я еще не знал тебя, исцеление могло бы прийти ко мне и от другой женщины, но теперь ты, одна ты во всем мире, можешь убить меня или спасти, ибо я ношу в сердце рану, нанесенную всем тем злом, которое я тебе причинил. Я был неблагодарен, слеп, жесток, но, хвала богу, ты еще любишь меня. Если когда-нибудь ты возвратишься в деревню, где я впервые увидел тебя под липами, взгляни на этот опустевший дом: там, наверно, живет призрак, — ведь человек, который вышел с тобой оттуда, это не тот человек, который вошел туда.

— Правда ли это? — спрашивала Бригитта, и ее прекрасное лицо, сияющее любовью, обращалось к небу. — Правда ли, что я принадлежу тебе? Да, вдали от этого ужасного света, который преждевременно состарил тебя, да, там ты будешь любить меня, мой мальчик. Там ты будешь настоящим, и где бы ни был уголок земли, куда мы поедем искать новую жизнь, ты сможешь без угрызений совести забыть меня в тот день, когда разлюбишь меня. Мое назначение будет исполнено, и у меня всегда останется бог, которого я смогу возблагодарить за это.

Какие мучительные, какие тяжелые воспоминания встают в моей душе еще и теперь, когда я повторяю себе

эти слова! В конце концов было решено, что прежде всего мы поедем в Женеву и выберем у подножия Альп спокойное местечко, где можно будет провести весну. Уже Бригитта говорила о прекрасном озере, уже я мысленно вдыхал свежий ветерок, волнующий его поверхность, и наслаждался живительным ароматом зеленой долины. Уже я видел перед собой Лозанну, Веве, Оберланд, а за вершинами Монте-Розы — необъятную равнину Ломбардии. Уже забвение, покой, жажда бегства, все духи счастливого уединения звали, манили нас к себе. И когда по вечерам, взявшись за руки, мы безмолвно смотрели друг на друга, нас уже охватывало то странное и возвышенное чувство, которое завладевает сердцем накануне далеких путешествий, то таинственное и необъяснимое головокружение, которое порождается и страхом перед изгнанием и надеждой паломника. О боже, это твой голос призывает человека в такие минуты, предупреждая его, что он придет к тебе. Разве у человеческой мысли нет трепещущих крыльев и туго натянутых звонких струн? Что мне сказать еще? Ведь целый мир заключался для меня в этих немногих словах: «Все готово, мы можем ехать».

И вдруг Бригитта начинает тосковать. Голова ее все время опущена, она постоянно молчит. Когда я спрашиваю ее, не больна ли она, она угасшим голосом отвечает «нет». Когда я заговариваю о дне отъезда, она встает и с холодной покорностью продолжает свои приготовления. Когда я клянусь ей в том, что она будет счастлива, что я посвящу ей всю жизнь, она запирается у себя и плачет. Когда я целую ее, она бледнеет и подставляет мне губы, но избегает моего взгляда. Когда я говорю ей, что еще не поздно, что она еще может отказаться от наших планов, она хмурит брови с жестким и мрачным выражением. Когда я умоляю ее открыть мне сердце, когда я повторяю, что готов умереть, что пожертвую для нее своим счастьем, если это счастье может вызвать у нее хоть один вздох сожаления, она бросается мне на шею, потом вдруг останавливается и отталкивает меня, как бы неволью. И вот,

наконец, я вхожу в комнату, держа в руке билет, где помечены наши места в безансонском дилижансе. Я подхожу к ней, кладу билет к ней на колени, она простирает руки, вскрикивает и падает без чувств у моих ног.

ГЛАВА 2

Все мои старания угадать причину столь неожиданной перемены были напрасны, все мои вопросы остались без ответа. Бригитта была больна и упорно хранила молчание. Как-то раз, после того как весь день я провел, умоляя ее объясниться и теряясь в догадках, я вышел на улицу и побрел сам не зная куда. Когда я проходил мимо здания Оперы, какой-то барышник предложил мне билет, и бессознательно, повинуясь старой привычке, я вошел в театр.

Я был не в состоянии сосредоточиться на том, что происходило на сцене и в зале: я был так огорчен и вместе с тем так растерян, что внешние впечатления как бы перестали воздействовать на мои чувства и я, если можно так выразиться, жил в себе. Все мои силы объединились вокруг одной мысли, и чем больше я обдумывал ее, тем меньше понимал. Что это за ужасное, неожиданное препятствие опрокидывало вдруг, накануне отъезда, столько планов и надежд? Если дело касалось обычной житейской неприятности или даже действительного несчастья, вроде материальной потери или смерти кого-нибудь из друзей, то чем объяснялось упорное молчание Бригитты? После всего, что она сделала для меня, и в ту минуту, когда самые заветные наши мечты были так близки к осуществлению, какого рода могла быть тайна, которая разрушала наше счастье и которую она ни за что не хотела открыть мне? Мне! Она не хотела поделиться со мной! Пусть ее огорчения, ее дела, пусть даже страх перед будущим или какие-нибудь другие причины, вызывающие грусть, нерешительность или гнев, удерживают ее здесь на некоторое время или заставляют вовсе отказаться от этого столь же-

ланного путешествия — почему бы не открыться мне? Однако сердце мое находилось тогда в таком состоянии, что я не мог предположить во всем этом что-либо предсудительное. Даже тень подозрения отталкивала меня и внушала отвращение. С другой стороны, можно ли было ждать непостоянства или даже простого каприза от этой женщины — женщины, которую я так хорошо знал? Итак, я блуждал в потемках, не видя перед собой ни одного даже бледного огонька, который мог бы указать мне путь.

Напротив меня, на галерее, сидел молодой человек, лицо которого показалось мне знакомым. Как это часто бывает, когда ум поглощен какой-либо мыслью, я бессознательно смотрел на него, надеясь, что его наружность поможет мне вспомнить его имя. И вдруг я узнал его: это он приносил Бригитте письма из Н., о чем я уже упоминал выше. Я инстинктивно вскочил, намереваясь подойти и поговорить с ним, но, чтобы добраться до его места, надо было потревожить множество зрителей, и мне пришлось ждать антракта.

Если кто-нибудь и мог пролить ясность на единственный предмет моего беспокойства, то только этот молодой человек, и никто иной, — такова была первая мысль, которая пришла мне в голову. За последние несколько дней он неоднократно беседовал с госпожой Пирсон, и я вспомнил, что после его ухода я неизменно заставал ее грустной, и не только в первый раз, но и всякий раз, как он приходил. Он виделся с ней и накануне и утром того дня, когда она заболела. Бригитта не показывала мне писем, которые он приносил ей. Возможно, что ему была известна истинная причина, задерживавшая наш отъезд. Быть может, он и не был полностью посвящен в тайну, но, бесспорно, мог ознакомить меня с содержанием этих писем, и я имел основания считать его достаточно осведомленным относительно наших дел, чтобы не бояться обратиться к нему с таким вопросом. Я был в восторге, что увидел его, и, как только занавес опустился, выбежал в коридор, чтобы встретиться там с ним. Не знаю, заметил ли

он, что я подхожу к нему, но только он пошел в противоположную сторону и вошел в одну из лож. Я решил дожидаться, пока он выйдет, и с четверть часа прогуливался, все время не спуская глаз с двери в ложу. Наконец она открылась, он вышел. Я тотчас же издал поклоны ему и устремился к нему навстречу. Он сделал несколько нерешительных шагов в мою сторону, потом внезапно повернул назад, спустился с лестницы и исчез.

Мое намерение подойти к нему было чересчур очевидно, чтобы он мог таким образом ускользнуть от меня без явного нежелания встретиться со мной. Он должен был знать меня в лицо, да, впрочем, если бы даже он и не узнал меня, то человек, который видит, что другой человек направляется к нему, должен, по крайней мере, подождать его. Мы были одни в коридоре в эту минуту, так что сомнений не оставалось — он не хотел говорить со мной. Мне и в голову не пришло увидеть в его поступке дерзость: человек этот почти ежедневно бывал в моей квартире, я всегда оказывал ему любезный прием, манеры его отличались скромностью и простотой — как мог я допустить, что он хотел оскорбить меня? Нет, он хотел только избежать встречи со мной и избавиться от неприятного разговора. Но почему же, почему? Эта вторая тайна взволновала меня почти так же сильно, как первая, и, как ни старался я прогнать эту мысль, исчезновение молодого человека невольно связывалось в моем уме с упорным молчанием Бригитты.

Неизвестность — самая мучительная из всех пыток, и во многих случаях моей жизни я подвергал себя большим несчастьям именно потому, что не имел терпения ждать. Вернувшись домой, я застал Бригитту как раз за чтением этих злосчастных писем из Н. Я сказал ей, что мое душевное состояние невыносимо и что я хочу во что бы то ни стало покончить с ним; что я хочу знать причину происшедшей в ней внезапной перемены, какова бы она ни была, и что, в случае если она не ответит мне, я буду рассмат-

ривать ее молчание как безусловный отказ ехать со мной и даже как приказание навсегда оставить ее.

Она с большой неохотой показала мне одно из писем, которые были у нее в руках. Родственники писали, что ее отъезд навсегда опозорил ее, что причина его всем известна и что они считают себя вынужденными предупредить ее о последствиях этого шага; что она открыто живет со мной как моя любовница, но все же, несмотря на то, что она вдова и вольна располагать собою по своему усмотрению, на ней еще лежит ответственность за имя, которое она носит; что если она будет упорствовать в своем решении, то ни они сами и никто из ее старинных друзей не захотят больше видаться с нею, — словом, с помощью всевозможных угроз и советов они убеждали ее вернуться домой.

Тон этого письма возмутил меня, и сначала я увидел в нем только оскорбление.

— Должно быть, молодой человек, который носит вам эти нравоучения, взялся передавать их вам устно! — вскричал я. — И, видимо, он весьма искусно делает свое дело, не так ли?

Глубокая грусть, отразившаяся на лице Бригитты, заставила меня задуматься, и гнев мой утих.

— Поступайте как хотите, — сказала она. — Вы окончательно погубите меня, но участь моя в ваших руках, и вы давно уже распоряжаетесь ею. Мстите, если вам угодно, моим старым друзьям за их последнюю попытку образумить меня, вернуть меня свету, мнением которого я когда-то дорожила, и напомнить о чести, которую я потеряла. Я не скажу вам ни одного слова, и если вы захотите продиктовать мне ответ, я напишу все, что вы пожелаете.

— Я желаю одного, — ответил я, — узнать ваши намерения. Напротив, это мне надлежит сообразоваться с ними, и, клянусь вам, я готов на это. Скажите, остаетесь вы, едете или же я должен уехать один?

— К чему эти вопросы? — возразила Бригитта. — Разве я когда-нибудь говорила вам, что переменила решение?

Я нездорова и не могу ехать в таком состоянии, но как только я поправлюсь или хотя бы смогу встать с постели, мы поедем в Женеву, как было решено.

На этом мы расстались, но ледяная холодность, с которой она произнесла эти слова, опечалила меня сильнее, чем мог бы опечалить отказ. Уже не в первый раз родные пытались разорвать подобными предостережениями нашу связь, но до сих пор, каково бы ни было впечатление, производимое этими письмами на Бригитту, она быстро забывала о них. Можно ли было поверить, что это единственное соображение так сильно подействовало на нее сейчас, если оно не оказывало на нее никакого влияния в менее счастливые дни? Я спрашивал себя, не было ли в моем поведении со времени нашего приезда в Париж чего-нибудь такого, в чем бы я мог упрекнуть себя. «Быть может, это просто слабость женщины, которая отважилась было на смелый поступок, но отступает в решительную минуту? — думал я. — Быть может, это «последнее колебание», употребляя слово, которым развратники могли бы назвать подобное чувство? Однако же веселость, которую с утра до вечера выказывала Бригитта еще неделю назад, бесконечные планы, которые она с такой радостью строила вновь и вновь, ее обещания, уверения — все это было так искренне, неподдельно, так непринужденно. И ведь это она, она сама хотела ехать, даже помимо моей воли. Нет, тут кроется какая-то тайна, но как узнать ее, если на все мои вопросы Бригитта приводит довод, который не может быть настоящим? Я не могу сказать ей, что она солгала, как и не могу принудить ее ответить что-либо другое. Она говорит, что не раздумала ехать, но если она говорит это таким тоном, то не должен ли я решительно отказаться от поездки? Могу ли я принять подобную жертву, когда она смотрит на нее как на долг, как на приговор, когда то, что я считал даром любви, приходится почти требовать, ссылаясь на данное слово? О боже, неужели я унесу в своих объятиях это бледное, это угасающее создание? Неужели я привезу на чужбину, так далеко и так

надолго, быть может, на всю жизнь, только покорную жертву? «Я сделаю все, что ты хочешь!» — говорит она. Нет, нет, я не хочу злоупотреблять ее терпением, и, если она еще неделю будет ходить с таким печальным лицом, если она не прервет своего молчания, я не выдержу этого, я уеду один».

Безумец, разве я был в силах сделать это! Я был так счастлив еще совсем недавно, что не имел мужества по-настоящему оглянуться назад и думал лишь о том, каким способом увезти Бригитту. Всю ночь я провел не смыкая глаз и на следующий день, рано утром, решился на всякий случай зайти к тому молодому человеку, которого видел в Опере. Не знаю, что толкало меня на это — гнев или любопытство, не знаю, чего, в сущности, я хотел от него добиться, но я подумал, что теперь он не сможет, по крайней мере, избежать встречи со мной, а это было все, к чему я стремился.

Адреса его я не знал и решил узнать его у Бригитты под тем предлогом, что было бы невежливо с моей стороны не отдать визита человеку, который бывает у нас так часто, — о нашей встрече в театре я не сказал ей ни слова. Бригитта лежала в постели, и по ее усталым глазам видно было, что она плакала. Когда я вошел в ее комнату, она протянула мне руку и спросила: «Чего вы хотите от меня?» Голос ее был грустен, но ласков. Мы обменялись несколькими дружескими словами, и я ушел не с таким тяжелым сердцем.

Юношу, к которому я направлялся, звали Смит. Он жил недалеко от нас. Какое-то необъяснимое беспокойство овладело мною, когда я постучал в его дверь, и, словно ослепленный неожиданным светом, я медленно вошел в комнату. При первом же движении Смита вся кровь застыла в моих жилах. Он лежал в постели, лицо его было так же бледно и так же расстроено, как только что у Бригитты; он протянул мне руку и точно таким же тоном сказал мне те же слова: «Чего вы хотите от меня?»

Думайте что угодно, но в жизни человека бывают такие случайности, которые не поддаются объяснению разума. Я сел, не в силах ответить ему, и, словно пробудившись от сна, повторял самому себе заданный им вопрос. В самом деле, зачем я пришел к нему? Как сказать ему, что меня привело? И даже если предположить, что мне было бы бесполезно расспросить его, то неизвестно еще, захочет ли он отвечать. Он привез письма и знал тех, кто их писал, но ведь я и сам знал не меньше после того, как Бригитта показала мне одно из них. Я не решался обратиться к нему с вопросом, опасаясь выдать то, что происходило в моем сердце. Первые фразы, которыми мы обменялись, были вежливы и незначительны. Я поблагодарил его за то, что он взял на себя поручение родных госпожи Пирсон, сказал, что перед отъездом из Франции мы тоже попросим его оказать нам кое-какие услуги, после чего мы умолкли, удивляясь тому, что находимся в обществе друг друга.

Я стал смотреть по сторонам, как это обычно бывает с людьми, испытывающими смущение. Комната, которую занимал молодой человек, была на пятом этаже, и все в ней свидетельствовало о честной и трудолюбивой бедности. Кое-какие книги, музыкальные инструменты, портреты в деревянных рамках, бумаги, аккуратно разложенные на письменном столе, старое кресло да несколько стульев — это было все, но все дышало чистотой, заботливостью и производило приятное впечатление. Что касается Смита, то его открытое, одухотворенное лицо сразу располагало в его пользу. На камине я увидел портрет пожилой женщины и, задумавшись, рассеянно подошел к нему. Смит сказал мне, что это портрет его матери.

Тут я вспомнил, что Бригитта часто рассказывала мне о Смите, и множество забытых подробностей всплыло в моей памяти. Бригитта знала его с детства. До того как я приехал в ее края, она иногда встречалась с ним в Н., но после моего приезда она ездила туда только однажды, и в это время его как раз не было там. Таким образом, я лишь

случайно узнал кое-какие факты из его жизни, и они произвели на меня сильное впечатление. Он занимал незначительную должность, позволявшую ему, однако, содержать мать и сестру. Его отношение к этим двум женщинам заслуживало величайшей похвалы. Он во всем отказывал себе ради них, и хотя как музыкант обладал недоюжинными способностями, которые могли бы привести его к славе, безукоризненная честность и исключительная скромность всегда заставляли его предпочесть шансам на успех тихую и спокойную жизнь. Словом, он принадлежал к той немногочисленной группе людей, которые живут, не делая шума, и благодарны тем, кто не замечает их достоинств.

Мне рассказывали о некоторых его поступках, вполне достаточных для характеристики человека: он был страстно влюблен в хорошенькую девушку, жившую по соседству, и ухаживал за ней больше года, после чего родители девушки наконец согласились выдать за него свою дочь. Она была так же бедна, как он. Они уже собирались подписать брачный контракт, и все было готово к свадьбе, как вдруг мать спросила его: «А кто выдаст замуж твою сестру?» Этих слов было достаточно: он понял, что если женится, то весь его заработок будет уходить на собственную семью и, следовательно, сестра останется без приданого. Он сейчас же разрушил начатое и мужественно отказался от брака и от любви. Вот тогда-то он и приехал в Париж, где получил место, которое занимал до сих пор.

Всякий раз, как мне приходилось слышать эту историю, о которой много говорили в тех краях, у меня возникало желание познакомиться с ее героем. Это спокойное и незаметное самоотвержение представлялось мне более достойным восхищения, чем самые громкие подвиги на поле битвы. Увидев портрет матери Смита, я сейчас же вспомнил все это и, перенеся взгляд на него самого, удивился тому, что он так молод. Я не смог удержаться, чтобы не спросить его, сколько ему лет. Оказалось, что мы ровесники.

Пробило восемь часов, и он встал, но, сделав несколько шагов, пошатнулся и покачал головой.

— Что с вами? — спросил я.

Он ответил, что ему пора идти на службу, но что он не в состоянии держаться на ногах.

— Вы больны?

— У меня лихорадка, мне сильно нездоровится.

— Вчера вечером вы чувствовали себя лучше... Я видел вас в Опере, если не ошибаюсь.

— Простите, я не узнал вас. У меня бесплатный вход в этот театр, и я надеюсь, мы еще встретимся там с вами.

Чем больше я смотрел на этого юношу, на эту комнату, на эту обстановку, тем сильнее ощущал, что не смогу заговорить об истинной цели моего посещения. Пришедшая мне накануне мысль, будто Смит мог восстановить против меня Бригитту, сама собой исчезла. На лице его отражалась искренность и в то же время какая-то суровость, удерживавшая меня и внушавшая уважение. Мало-помалу мысли мои приняли другое направление, я внимательно смотрел на него, и мне показалось, что он тоже с любопытством наблюдает за мной.

Нам обоим было по двадцати одному году, но как велика была разница между нами! Весь ход его существования определялся размеренным боем часов; все, что он видел в жизни, была дорога от его одинокой комнаты до канцелярии в недрах какого-то министерства; он отсылал матери все свои сбережения — ту лепту человеческой радости, которую с такой жадностью сжимает рука всякого труженика; он жаловался на эту ночь болезни потому только, что она лишала его дня тяжелого труда; у него была лишь одна мысль, одно благо — забота о благе ближнего, и это с самого детства, с тех пор, как его руки научились работать! А я! Что сделал я с этим драгоценным, быстротечным, умолимым временем, с временем, впитывающим столько трудового пота? Был ли я человеком? Кто из нас двоих жил настоящей жизнью?

Для того чтобы почувствовать все то, что я высказал сейчас на целой странице, нам понадобился один только взгляд. Глаза наши встретились и больше не отрывались друг от друга. Он заговорил о моем путешествии и о той стране, куда мы собирались ехать.

— Когда вы едете? — спросил он.

— Не знаю. Госпожа Пирсон заболела и уже три дня как не встает с постели.

— Три дня! — невольно вырвалось у него.

— Да. А почему это так удивляет вас?

Он встал и бросился ко мне с протянутыми руками и застывшим взглядом. Все его тело сотрясало от лихорадочного озноба.

— Вам нехорошо? — спросил я и взял его за руку, но в тот же миг он вырвал эту руку, закрыл лицо и, не в силах удержаться от слез, медленно побрел к кровати.

Я смотрел на него с недоумением. Жестокий приступ лихорадки совершенно обессилил его. Опасаясь оставить его одного в таком положении, я снова подошел к нему. Он резко оттолкнул меня, словно охваченный каким-то необъяснимым ужасом. Наконец он пришел в себя.

— Извините меня, — проговорил он слабым голосом, — я не в состоянии беседовать с вами. Будьте добры оставить меня одного. Как только силы позволят мне, я зайду поблагодарить вас за ваше посещение.

ГЛАВА 3

Бригитта начала поправляться. Как она и говорила мне прежде, она хотела ехать сразу после выздоровления, но я воспротивился этому, и мы решили подождать еще недели две, чтобы она могла вполне окрепнуть для предстоящей дороги.

По-прежнему печальная и задумчивая, она все же была приветлива со мной. Несмотря на все мои попытки вызвать ее на откровенность, она повторяла, что письмо, которое она показала мне, было единственной причиной ее

грусти, и просила перестать говорить об этом. Итак, вынужденный молчать, как молчала она, я тщетно старался угадать, что происходило в ее сердце. Нам обоим тяжело было теперь оставаться наедине, и мы каждый вечер отправлялись в театр. Там, сидя рядом в глубине ложи, мы изредка пожимали друг другу руку; время от времени красивый музыкальный отрывок, какое-нибудь поразившее нас слово заставляли нас обменяться дружеским взглядом, но по дороге в театр, как и по дороге домой, мы оба молчали, погруженные в свои мысли. Двадцать раз на день я готов был броситься к ее ногам и умолять ее как о милости, чтобы она нанесла мне смертельный удар или возвратила счастье, на миг мелькнувшее предо мною. Двадцать раз, в ту самую минуту, когда я уже собирался сделать это, выражение ее лица менялось, она вставала с места и уходила от меня или же холодной фразой останавливала готовый излиться сердечный порыв.

Смит приходил к нам почти ежедневно. Несмотря на то что его появление в нашем доме было причиной всех несчастий и что после визита к нему в моей душе остались какие-то странные подозрения, тон, каким он говорил о нашей поездке, его чистосердечие и простота неизменно успокаивали меня. Я беседовал с ним по поводу привезенных им писем, и мне показалось, что если он был не так оскорблен ими, как был оскорблен я, то все же они глубоко огорчили его. Он не знал прежде их содержания и теперь, как старинный друг Бригитты, громко возмущался ими, повторяя, что сожалеет о взятом поручении. Видя сдержанность, с какой обращалась с ним госпожа Пирсон, я не мог предположить, чтобы она сделала его своим поверенным. Итак, мне приятно было встречаться с ним, хотя между нами все еще оставалось чувство натянутости и стеснения. Он обещал быть после нашего отъезда посредником между Бригиттой и ее родными и предотвратить скандальный разрыв. Уважение, которым он пользовался в своих краях, должно было иметь большое значение при этих переговорах, и я не мог не оценить

подобной услуги. Это была благороднейшая натура. Когда мы бывали втроем и ему случалось заметить некоторую холодность или принужденность между мной и Бригиттой, он всеми силами старался развеселить нас. Если порой его и беспокоило то, что происходило между нами, он никогда не проявлял ни малейшей назойливости, и видно было, что он искренно желает нам счастья. Если он говорил о нашей связи, то всегда с истинным уважением, как человек, для которого узы любви освящены богом. Словом, это был настоящий друг, и он внушал мне полное доверие.

Однако, несмотря на все это и вопреки его усилиям, он был печален, и я не мог побороть в себе странных мыслей, невольных пришедших мне в голову. Слезы, пролитые молодым человеком в моем присутствии, его болезнь, случившаяся в то самое время, когда заболела моя возлюбленная, какая-то грустная симпатия, которая, как мне казалось, существовала между ними, — все это тревожило и волновало меня. Еще месяц назад я и по менее значительному поводу выказал бы бешеную ревность, но теперь — в чем мог я подозревать Бригитту? Что бы она ни скрывала от меня, разве она не собиралась все же уехать со мной? И даже если допустить, что она открыла Смиту какую-то неизвестную мне тайну, то какого рода могла быть эта тайна? Что предосудительного могло быть в их печали и в их дружбе? Она знала его ребенком; после долгих лет она встретила с ним в то самое время, когда собиралась уехать из Франции; она находилась сейчас в затруднительном положении, и волею случая он узнал об этом, более того — он послужил как бы орудием ее несчастья. Разве не вполне естественно было, что время от времени они обменивались грустными взглядами и что вид этого юноши вызывал у Бригитты воспоминания о прошлом и невольные сожаления? И, в свою очередь, мог ли он, думая об отъезде, не испытывать при этом невольного страха перед опасностями далекого путешествия, перед случайностями скитальческой жизни, почти что жизни

изгнанницы, навсегда лишенной родины? Разумеется, так оно и было, и я чувствовал, глядя на них, что это на мне лежит обязанность подойти к ним, успокоить, убедить в том, что они могут положиться на меня, сказать Бригитте, что моя рука будет поддерживать ее до тех пор, пока она будет нуждаться в этой опоре, сказать Смит, что я благодарен ему за участие и за услуги, которые он собирался нам оказать. Я чувствовал это, но не мог поступить так. Смертельный холод сжимал мне сердце, и я не мог заставить себя встать со своего кресла.

Вечером, когда Смит уходил, мы молчали или говорили о нем. Я находил какое-то странное удовольствие, ежедневно упрасывая Бригитту рассказывать мне все новые и новые подробности относительно этого человека. Правда, она ничего не могла добавить к тому, что я уже сообщил читателю. Как я уже говорил, его жизнь всегда была бедной, незаметной и честной, ее можно было рассказать в нескольких словах, но я заставлял Бригитту без конца повторять мне эти слова, не зная сам, почему это так занимает меня.

Должно быть, в глубине моего сердца таилось страдание, в котором я сам себе не признавался. Если бы этот человек приехал в то время, когда у нас царила радость, и привез Бригитте ничего не значащее письмо, если бы он пожал ей руку, садясь в карету, — разве я обратил бы на это хоть малейшее внимание? Пусть бы он не узнал меня в Опере, пусть бы не сдержал при мне слез, причина которых была мне неизвестна, разве все это имело бы для меня хоть какое-нибудь значение, будь я счастлив? Но не зная, о чем грустит Бригитта, я в то же время отлично понимал, что мое прежнее отношение к ней — что бы она там ни говорила — было как-то связано с ее теперешним угнетенным состоянием. Если бы в течение тех шести месяцев, которые мы прожили вместе, я был таким, каким должен был быть, ничто в мире — я твердо знал это — не могло бы омрачить нашу любовь. Смит был человек заурядный, но добрый и преданный. Его простые и скром-

ные достоинства напоминали чистые прямые линии, на которых отдыхает глаз. Вы узнавали его за четверть часа, и он внушал вам доверие, если не восхищение. Я не мог не сказать самому себе, что если бы любовником Бригитты был он, она бы с радостью уехала с ним.

Я сам пожелал отдалить наш отъезд и уже раскаивался в этом, Бригитта тоже иной раз торопила меня.

— Что удерживает нас здесь? — спрашивала она. — Я выздоровела, все готово.

И в самом деле, что удерживало меня? Не знаю. Сидя у камина, я попеременно смотрел то на Смита, то на мою возлюбленную. Оба были бледны, задумчивы, молчаливы. Я не знал причины их грусти, но невольно повторял себе, что эта причина, так же как и тайна, которую я хотел разгадать, была общей для обоих. Однако мое чувство не походило на те смутные и болезненные подозрения, какие мучили меня прежде, — нет, теперь это был инстинкт, непреодолимый, роковой. Какое странное существо человек! Мне нравилось оставлять их вдвоем у камина, а самому уходить мечтать на набережную. Я стоял там, прислонясь к перилам, и глядел на воду, словно уличный бездельник.

Когда они беседовали о своей жизни в Н. и Бригитта, почти развеселившись, начинала говорить со Смитом материнским тоном, напоминая ему о днях, проведенных вместе, я, несомненно, страдал, и вместе с тем слушать их было мне приятно. Я задавал им вопросы, беседовал со Смитом о его матери, о его работе, о его планах. Я предоставлял ему возможность показать себя в выгодном свете, заставлял его побороть застенчивость и раскрыть перед нами свои достоинства.

— Вы, кажется, очень любите вашу сестру? — спрашивал я его. — Когда вы думаете выдать ее замуж?

И он, краснея, говорил нам, что приданое стоит дорого, что свадьба эта состоится года через два, а может быть, и раньше, если здоровье позволит ему взять дополнительную работу, за которую он получит особое вознагра-

граждение; что на родине у него есть друг, старший сын довольно состоятельных родителей, что они уже почти сговорились относительно сестры и что счастье может прийти, когда о нем не думаешь, как приходит покой; что сам он отказался в пользу сестры от скромной доли наследства, оставленного отцом; что мать его противится этому, но что он настоит на своем во что бы то ни стало: ведь мужчина должен жить своим трудом, тогда как судьба девушки решается в день ее свадьбы. Так постепенно он раскрывал перед нами всю свою жизнь, всю свою душу, и я смотрел, как Бригитта слушает его. Потом, когда он прощался, собираясь уходить, я провожал его до дверей и стоял задумчиво, неподвижно до тех пор, пока на лестнице не замирал звук его шагов.

Тогда я возвращался в спальню, где Бригитта готовилась ко сну. Я с жадностью созерцал это прекрасное тело, эти сокровища красоты, которыми я обладал так долго. Она расчесывала свои длинные волосы, завязывала их косыночкой и отворачивалась, когда платье ее падало на пол, словно Диана, входящая в воду. Она ложилась в постель, я убежал к себе, и мне ни на секунду не приходила мысль, что Бригитта изменяет мне или что Смит влюблен в нее. Я и не думал подозревать их или следить за ними. Я не понимал, что происходит, я только говорил себе: «Она очень хороша, а бедный Смит — славный малый, у них обоих какое-то большое горе, и у меня тоже». Эта мысль разрывала мне сердце, но в то же время утешала меня.

Однажды, заглянув в чемоданы, мы заметили, что нам недостает кое-каких мелочей, и Смит взялся приобрести их. Он проявлял поразительную неутомимость и говорил, что, поручая ему что-либо, мы доставляем ему большое удовольствие. Как-то раз, вернувшись домой, я застал его у нас: стоя на коленях, он пытался запереть один из чемоданов. Бригитта сидела за фортепьяно — мы взяли его напрокат по приезду в Париж — и играла одну из тех старинных мелодий, в которые она вкладывала так много выражения и которые были так дороги мне. Я остановился в

передней возле полуоткрытой двери. Каждая нота проникала мне в душу; никогда еще она не пела так грустно и с таким чувством.

Смит слушал ее с восхищением. В руках у него была пряжка от ремня. Он сжал ее, потом выронил и устремил взгляд на платья, которые сам только что уложил и прикрыл простыней. Когда пение прекратилось, он не изменил позы. Бригитта, не снимая рук с клавиш, смотрела вдаль. Я еще раз увидел слезы в глазах молодого человека, я был и сам готов разрыдаться. Не отдавая себе отчета в своих ощущениях, я вошел в комнату и протянул ему руку.

Бригитта вздрогнула.

— Разве вы были здесь? — с удивлением спросила она.

— Да, я был здесь, — ответил я. — Пойте же, моя дорогая, умоляю вас. Я хочу еще раз услышать ваш голос.

Не ответив ни слова, Бригитта еще раз запела ту же арию. И для нее тоже она была воспоминанием. Она видела мое волнение, волнение Смита, голос изменил ей. Последние звуки, едва уловимые, казалось, растворились в воздухе. Она встала и поцеловала меня. Моя рука все еще была в руке Смита. Я почувствовал, как он судорожно сжал ее. Он был бледен как смерть.

В другой раз я принес альбом с литографиями, изображавшими виды Швейцарии. Мы вдвоем рассматривали их, и время от времени, найдя какой-нибудь понравившийся ей пейзаж, Бригитта задерживалась на нем. Один из них показался ей интереснее прочих. Это был вид одной местности в кантоне Во, неподалеку от дороги на Бриг: зеленая долина, усаженная яблонями, в тени которых паслось стадо; в отдалении деревушка, состоявшая из дюжины деревянных домиков, в беспорядке рассеянных по дугу и громоздящихся по окрестным холмам. На переднем плане, у подножия дерева, сидела девушка, а перед ней стоял молодой парень, видимо работник с фермы, и, держа в руке окованную железом палку, указывал на дорогу, по которой только что пришел, — извилистую тропинку, теряющуюся в горах. Над ними высились Альпы — три

снежные вершины, позолоченные лучами заходящего солнца, венчали весь этот пейзаж, исполненный простоты и в то же время прекрасный. Долина напоминала зеленое озеро, и глаз следил за его очертаниями с величайшим спокойствием.

— Не поехать ли нам сюда? — предложил я Бригитте и, взяв карандаш, набросал на рисунке несколько штрихов.

— Что это вы делаете? — спросила она.

— Хочу попробовать, не удастся ли мне, изменив немного это лицо, сделать его похожим на вас, — ответил я. — Мне кажется, что красивая шляпа этой крестьянки чудесно пошла бы вам. И, может быть, мне удастся также придать этому бравому горцу некоторое сходство со мной.

По-видимому, моя выдумка понравилась Бригитте, и, вооружившись ножичком, она быстро стерла на рисунке лица юноши и девушки. Я начал рисовать ее портрет, а она пыталась сделать мой. Лица были очень миниатюрны, так что мы не стали особенно придираться. Было решено, что портреты изумительно похожи; и действительно, при желании вполне можно было узнать в них наши черты. Мы посмеялись над этим, альбом остался открытым, и несколько минут спустя я вышел из комнаты, так как меня зачем-то вызвал слуга.

Когда я вернулся, Смит стоял, наклонившись над столом, и рассматривал литографию с таким вниманием, что даже не заметил, как я вошел. Он был погружен в глубокую задумчивость. Я сел на свое прежнее место у камина, обратился с какими-то словами к Бригитте, и лишь тогда он поднял голову. С минуту он смотрел на нас обоих, затем поспешно протиснулся с нами, и я увидел, как, проходя через столовую, он стиснул руками лоб.

Замечая подобные проявления скорби, я всякий раз уходил в свою комнату. «Что это? Что это?» — спрашивал я себя. И, сложив руки, я словно умолял кого-то... Кого же? Не знаю сам — быть может, моего доброго гения, а быть может — злую судьбу.

ГЛАВА 4

Сердце мое громко кричало, что надо ехать, но я по-прежнему медлил. Какое-то тайное и горькое наслаждение приковывало меня по вечерам к моему креслу. Когда мы ждали Смита, я не находил покоя до тех пор, пока не раздавался его звонок. Чем объяснить, что какая-то частица нашей души упивается собственным несчастьем?

Каждый день какое-нибудь слово, быстрый жест, взгляд приводили меня в трепет. И каждый день другое слово, другой взгляд производили на меня противоположное впечатление и снова повергали в состояние неуверенности. В силу какой необъяснимой тайны оба они были так печальны? И в силу какой другой тайны я оставался недвижим, словно каменное изваяние, и спокойно смотрел на них, тогда как в ряде подобных случаев я проявлял неистовство и даже ярость? Я не в силах был пошевелиться, я — тот самый человек, который в любви подвержен был приступам такой жестокой ревности, какая бывает только на Востоке. Целые дни я проводил в ожидании чего-то и сам не мог бы сказать, чего я жду. Вечером я садился на свою кровать и говорил себе: «Ну, давай думать об этом». Но через минуту я закрывал лицо руками и восклицал: «Нет, это невозможно!» А на следующий день повторялось то же самое.

Когда Смит посещал нас, Бригитта была более ласкова со мной, чем когда мы оставались одни. Как-то вечером нам случилось обменяться довольно резкими словами, но, заслышав из передней его голос, она вдруг подошла и села ко мне на колени. Что до него, то он был неизменно спокоен и грустен, но, видимо, это стоило ему постоянных усилий. Все его жесты были размеренны, говорил он мало и медленно, но вырывавшиеся у него порой резкие движения лишь составляли еще более разительный контраст с его обычной сдержанностью.

Можно ли назвать любопытством пожирившее меня нетерпение, если припомнить те обстоятельства, в кото-

рых я находился в то время? Что бы я ответил, если бы кто-нибудь спросил у меня: «Какое вам дело? Вы чересчур любопытны»? Быть может, впрочем, это и было только любопытство.

Мне вспоминается, что однажды у Королевского моста на моих глазах утонул человек. В то время я учился в школе плавания и в этот день вместе с товарищами делал в воде различные упражнения. За нами шла лодка, где сидели два учителя плавания. Это было в разгаре лета. Наша лодка встретила с другой, так что под главным пролетом моста нас оказалось более тридцати человек. Внезапно одному из пловцов сделалось дурно. Я слышу крик и оборачиваюсь. На поверхности воды я вижу две трепещущих руки, потом все исчезает. Мы немедленно нырнули. Тщетно. Только час спустя удалось вытащить труп, который застрял под плотом.

То ощущение, которое я испытал, погрузившись в реку, никогда не изгладится из моей памяти. Я всматривался в мутные и глубокие слои воды, которые с глухим рокотом окружали меня со всех сторон. Я нырял все глубже и глубже, насколько мне позволяло дыхание, потом выплывал на поверхность, обменивался краткими вопросами с другими пловцами, столь же встревоженными, и опять продолжал эту ловлю. Я был полон ужаса и надежды. Мысль, что, быть может, сейчас меня схватят две судорожно сжимающихся руки, вызвала во мне невыразимую радость и невыразимый страх, и в лодку я сел лишь тогда, когда совершенно изнемог от усталости.

Если разврат не притупляет ум человека, то одним из неизбежных его следствий является какое-то извращенное любопытство. Выше я уже рассказал о том чувстве, которое испытал, когда впервые пришел к Деженэ. Сейчас я подробнее разовью свою мысль.

Истина, этот остов всего видимого, требует, чтобы всякий человек, каков бы он ни был, пришел к ней в свой день и в свой час и коснулся ее бессмертного костяка, вло-

жив руку в какую-нибудь случайную рану. Это называется — познать мир, и опыт дается лишь такую ценой.

Так вот — одни в ужасе отступают перед этим испытанием, другие, слабые и испуганные, останавливаются перед ним, колеблющиеся, словно тени. Некоторые создания божьи, и, может быть, лучшие из них, переносят его, но потом сразу умирают. Большинство забывает, и вот так все мы несемся навстречу смерти.

Но есть люди — и, бесспорно, это несчастные люди, — которые не отступают, не дрожат, не умирают и не забывают. Когда приходит их очередь коснуться несчастья, то есть истины, они твердым шагом приближаются к ней, протягивают руку и — страшная вещь! — преисполняются любви к посиневшему утопленнику, которого находят в глубине вод. Они хватают его, ощупывают, сжимают в объятиях. Они уже пьяны от желания знать. Теперь они смотрят на вещи лишь затем, чтобы увидеть их сущность; сомневаться и познавать — вот все, что им нужно. Они обшаривают мир, словно шпионы господ бога, их мысли оттачиваются, как стрелы, и зрение у них становится острым, как у рыси.

Люди развращенные подвержены этой неистовой страсти более всех других — и по вполне понятной причине: если обыденная жизнь — это ровная и прозрачная поверхность реки, то развратники, гонимые быстрым течением, ежеминутно касаются ее дна. Так, например, после бала они отправляются в публичный дом. Только что, кружась в вальсе, они сжимали в своей руке руку стыдливой девушки и, быть может, заставили ее сердце затрепетать, — и вот они идут, мчатся, сбрасывают плащи и усаживаются за стол, потирая руки. Последняя фраза, обращенная ими к прекрасной и порядочной женщине, еще не успела замереть на их губах, а они уже повторяют ее, раздражаясь смехом. Да что там! Разве за несколько серебряных монет они не снимают с женщины одежду, оберегающую ее целомудрие, разве они не снимают с нее платье — этот таинственный покров, как бы исполненный

уважения к тому существу, которое он украшает и которое облекает, почти не прикасаясь к нему? Какое же представление о свете может возникнуть у таких людей? Они то и дело встречаются там, словно актеры за кулисами театра. Кто более, чем они, привык к этим поискам сущности вещей, к этому глубокому, к этому нечестивому анализу? Послушайте только, как они говорят обо всем, употребляя самые непристойные, самые грубые, самые гнусные выражения! Ведь только эти и кажутся им настоящими, все остальное — игра, условность, предрассудки. Рассказывают ли они анекдот, делятся ли друг с другом своими ощущениями — всегда у них грязное, циничное слово, всегда буквальный смысл, всегда что-то мертвящее! Они не говорят: «Эта женщина любила меня», а говорят: «Я обладал этой женщиной». Не говорят: «Я люблю», а говорят: «Я испытываю желание». Они никогда не говорят: «Если это будет угодно богу!», но всегда: «Если я захочу». Не знаю уж, что они думают о самих себе и какие произносят монологи.

Отсюда неизбежное следствие — лень или любопытство. Ибо, видя во всем только зло, эти люди, однако, не могут не знать, что другие продолжают верить в добро. Следовательно, либо их беспечность должна одержать верх и они сумеют заткнуть уши, либо звуки остального мира внезапно разбудят их. Отец не мешает сыну идти туда, куда идут другие, куда ходил и сам Катон; он говорит, что молодость должна перебеситься. Однако, воротившись домой, юноша смотрит на свою сестру, что-то происходит с ним после часа, проведенного наедине с грубой действительностью, и он не может не сказать себе: «У моей сестры нет ничего общего с той тварью, у которой я только что был». Но с этого дня его не покидает тревога.

Любопытство, возбуждаемое злом, — это гнусная болезнь, зарождающаяся от всякого нечистого соприкосновения. Это инстинкт, заставляющий привидения бродить среди могил и поднимать могильные плиты; это невыразимая пытка, которую бог карает тех, кто согрешил. Им

хотелось бы верить в то, что все грешны, хотя, быть может, это привело бы их в отчаяние. А пока что они исследуют, ищут, спорят, они наклоняют голову, подобно архитектору, который прилаживает наугольник, и изо всех сил стараются увидеть то, что им хочется видеть. Если зло очевидно, они улыбаются; оно еще не доказано, а они уже готовы поклясться в нем; они отворачиваются, увидев добро. «Как знать?» — вот великая формула, вот первые слова, которые произнес дьявол, когда небеса закрылись перед ним. Увы! Сколько несчастных породили эти два слова! Сколько бедствий и смертей, сколько ужасных взмахов косы, занесенной над готовой созреть жатвой! Сколько сердец оказались разбитыми, сколько семей оказались разрушенными после того, как были произнесены эти слова! «Как знать?», «Как знать?». Постыдные слова! Уж лучше было тем, кто произнес их, последовать примеру баранов, которые не знают, где бойня, и идут туда, пощипывая траву. Это лучше, чем быть вольнодумцем и читать Ларошфуко.

Лучшим доказательством этой мысли может послужить то, о чем я рассказываю сейчас. Моя возлюбленная хотела уехать со мной, и для этого мне стоило только сказать слово. Я видел, что она грустит, зачем же я медлил? Что, если бы мы уехали? Она пережила бы минуту колебания — и только. После трех дней пути все было бы забыто. Наедине со мной она бы думала обо мне одном. Зачем было мне разгадывать тайну, не угрожавшую моему счастью? Она соглашалась ехать, и это было главное. Мне оставалось только скрепить наш договор поцелуем... Послушайте же, что я сделал вместо этого.

Однажды вечером у нас обедал Смит. Я рано ушел к себе и оставил их вдвоем. Закрывая за собою дверь, я слышал, как Бригитта просила подать чай. На следующее утро, войдя в ее комнату, я случайно подошел к столу и увидел возле чайника только одну чашку. Никто не входил в комнату до меня, и, следовательно, слуга не мог ничего унести из того, что подавалось накануне. Я осмотрел все

столы вокруг себя, надеясь увидеть где-нибудь другую чашку, и убедился, что ее нет.

— Смит долго еще оставался вчера? — спросил я у Бригитты.

— Он ушел в двенадцать часов.

— Кто-нибудь из служанок помогал вам раздеваться, когда вы ложились?

— Нет. Все в доме уже спали.

Я все еще искал взглядом чашку, и у меня дрожали руки. В каком это фарсе выведен ревнивец, который достаточно глуп, чтобы справляться об исчезнувшей чашке? «По какому поводу Смит и госпожа Пирсон могли пить из одной чашки?» Вот к чему сводилась благородная мысль, пришедшая мне в голову!

Все еще держа чашку в руке, я ходил с ней взад и вперед по комнате. И вдруг я расхохотался и бросил ее на пол. Она разбилась на тысячу осколков, и я каблуком раздавил их.

Бригитта не произнесла ни слова. В последующие два дня она выказывала мне холодность, граничившую с презрением, и я заметил, что со Смитом она обращалась более непринужденно и более ласково, чем обычно. Она называла его просто Анри и дружески улыбалась ему.

— Мне хочется подышать воздухом, — сказала она как-то после обеда. — Вы пойдете в Оперу, Октав? Я охотно пошла бы туда пешком.

— Нет, я останусь дома, идите без меня.

Она взяла Смита под руку и ушла. Я пробыл один весь вечер. Передо мной лежала бумага, и я хотел записать свои мысли, но не смог.

Подобно любовнику, который, оставшись один, сейчас же достает спрятанное на груди письмо возлюбленной и предается дорогим мечтам, я целиком отдавался чувству глубокого одиночества и прятался от людей, чтобы предаться своим сомнениям. Передо мной стояли два пустых кресла, в которых обычно сидели Смит и Бригитта. Я с жадностью разглядывал их, словно они могли что-

нибудь рассказать мне. Я тысячу раз перебирал в уме то, что видел и слышал. Время от времени я подходил к дверям и бросал взгляд на чемоданы, которые стояли вдоль стены и ждали уже целый месяц. Я тихонько открывал их, рассматривал платья, книги, аккуратно уложенные заботливыми и нежными руками. Я прислушивался к стуку проезжавших экипажей, и этот стук заставлял усиленно биться мое сердце. Я раскладывал на столе нашу любимую карту Европы, бывшую свидетельницей таких чудесных планов, и здесь, в присутствии всех моих надежд, в той самой комнате, где они зародились и были так близки к осуществлению, я давал волю самым ужасным предчувствиям.

Это невероятно, но я не ощущал ни гнева, ни ревности, одну только безграничную скорбь. Я не подозревал, и все же я сомневался. Человеческий ум так причудлив, что он умеет создавать из того, что видит, и несмотря на то, что видит, сотни причин для страдания. Право же, мозг человека напоминает тюрьмы времен инквизиции; стены в них покрыты столькими орудиями пыток, что вы не можете понять ни назначения их, ни формы и невольно задаете себе вопрос, что это — клещи или игрушки? Помому, сказав возлюбленной: «Все женщины обманывают», — мы как будто говорим ей: «Вы обманываете меня!»

То, что происходило в моем уме, было, пожалуй, не менее изощренно, чем самый утонченный софизм. То был своеобразный диалог между рассудком и совестью. «Что, если я потеряю Бригитту?» — говорил рассудок. «Но ведь она едет с тобой», — отвечала совесть. «Что, если она изменяет мне?» — «Как может она изменить тебе — ведь даже в своем завещании она просит молиться за тебя!» — «Что, если Смит любит ее?» — «Безумец, какое тебе дело, раз ты знаешь, что она любит тебя?» — «А если она любит меня, то почему она так печальна?» — «Это ее тайна, и ты должен уважать эту тайну». — «Будет ли она счастлива, если я увезу ее?» — «Люби ее, и она будет счастлива». — «Почему, когда этот человек смотрит на нее, она как будто боится встретиться с ним взглядом?» — «Потому, что она

женщина, а он молод». — «Почему, когда она смотрит на него, он внезапно бледнеет?» — «Потому, что он мужчина, а она прекрасна». — «Почему он упал со слезами в мои объятия, когда я пришел к нему? Почему однажды он стиснул руками лоб?» — «Не спрашивай о том, чего ты не должен знать». — «Почему я не должен этого знать?» — «Потому, что ты ничтожен и слаб, и потому, что всякая тайна принадлежит богу». — «Но почему я страдаю? Почему я не могу без ужаса думать об этом?» — «Думай о твоём отце и о том, как делать добро». — «Но если я не могу думать об этом? Если меня привлекает зло?» — «Стань на колени и исповедуйся. Если ты веришь в зло, значит, ты совершил его». — «Но если я и совершил зло, то разве в этом моя вина? Зачем добро предало меня?» — «Если ты сам пребываешь во тьме, значит ли это, что следует отрицать свет? Если существуют предатели, зачем тебе принадлежать к их числу?» — «Затем, что я боюсь быть обманутым». — «Почему ты проводишь ночи без сна? Младенцы спят в этот час. Почему ты остался один?» — «Потому что я думаю, сомневаюсь и боюсь». — «Когда же ты сотворишь молитву?» — «Тогда, когда поверю. Зачем мне солгали?» — «Зачем ты сам лжешь, трус? Лжешь в эту самую минуту! Почему ты не умираешь, если не умеешь страдать?»

Так говорили и стонали во мне два страшных и противоречивых голоса, и еще один, третий, кричал: «Увы! Увы! Где моя невинность? Увы! Где дни моей юности?»

ГЛАВА 5

Какой страшный рычаг человеческая мысль! Это наша защита и наш оплот. Лучший подарок, сделанный нам богом. Она принадлежит нам и повинуется нам, мы можем метнуть ее в пространство, но стоит ей оказаться вне нашего слабого черепа, и кончено — мы уже не властны над ней.

Откладывая со дня на день наш отъезд, я терял силы, сон, и жизнь незаметно уходила из моего тела. Садясь за

стол, я чувствовал смертельное отвращение к пище. Ночью два бледных лица — лицо Смита и лицо Бригитты, — которые я подолгу наблюдал в течение дня, преследовали меня в ужасных сновидениях. Вечером, когда они отправлялись в театр, я отказывался сопровождать их, а потом все-таки шел туда, прятался в партере и оттуда следил за ними. Иногда я притворялся, что у меня есть дело в соседней комнате, я проводил там целый час, прислушиваясь к их разговору. Случалось, что меня охватывало непреодолимое желание затеять ссору со Смитом, заставить его драться со мной, и я внезапно поворачивался к нему спиной во время дружеской беседы... Но вот он подходил ко мне и с удивленным видом протягивал мне руку. Случалось, что ночью, когда все в доме спали, меня охватывало искушение подойти к бюро Бригитты и похитить ее бумаги. Однажды, чтобы не поддаться этому искушению, мне пришлось выйти на улицу. Более того — как-то раз я хотел было с ножом в руках заставить Бригитту и Смита, под угрозой смерти, объяснить мне, почему они так печальны. В другой раз я чуть было не обратил эту ярость против самого себя. С каким стыдом пишу я эти строки! И если бы кто-нибудь спросил у меня, что же, в сущности, заставляло меня поступать так, я не знал бы, что ответить.

Видеть, знать, сомневаться, выведывать, тревожить — и делать себя несчастным, проводить дни прислушиваясь, а ночью обливаясь слезами, повторять себе, что я умру от горя, и верить, что для этого есть серьезная причина, чувствовать, как одиночество и слабость навсегда изгоняют надежду из моего сердца, воображать, будто я подслушиваю, тогда как я слушал во мраке лишь лихорадочное биение собственного пульса; на все лады повторять избитые и плоские фразы: «Жизнь — сон, нет ничего прочного в этом мире»; и, наконец, проклинать, богохульствовать, повинуюсь своей боли и своему капризу, — таковы были мои развлечения, мои любимые занятия, ради которых я отказался от любви, от свежего воздуха, от свободы!

Великий боже, свобода! Да, бывали минуты, когда, не смотря ни на что, я все еще думал о ней. Посреди стольких безумств, причуд и нелепостей у меня бывали взлеты, внезапно заставлявшие меня отрешаться от самого себя. Иногда их вызывало дуновение ветра, освежавшее мне лицо, когда я выходил из своей темницы, иногда страничка книги, которую я читал, если эта книга не принадлежала перу тех современных лжецов, которых называют памфлетистами и которым бы следовало в интересах элементарной общественной гигиены запретить критиковать и философствовать. Такие минуты случались редко, и мне хочется, раз уж я упомянул об этом, рассказать об одной из них. Как-то вечером я читал «Мемуары» Констана и нашел там следующие строки:

«Зальсдорф, саксонский хирург, сопровождавший принца Христиана, был во время битвы при Ваграме ранен в ногу снарядом. Вдруг Амедей фон Кербург, адъютант (забыл — чей именно), находившийся шагах в пятнадцати от него, упал, раненный в грудь ядром, и у него хлынула кровь горлом. Зальсдорф видит, что, если молодому человеку не будет оказана помощь, тот умрет. Собрав все свои силы, он подползает к нему, пускает ему кровь и спасает жизнь. Зальсдорф умер в Вене через четыре дня после ампутации».

Прочитав это, я бросил книгу и залился слезами. Об этих слезах я не жалею; я провел благодаря им хороший день, так как говорил только о Зальсдорфе и не думал ни о чем другом. И в этот день мне не приходило в голову подзревать кого-либо. Жалкий мечтатель! Стоило ли мне вспоминать о том, что когда-то и я был добрым? К чему это могло послужить мне? Не к тому ли, чтобы в отчаянии простирать руки к небу, спрашивать себя, зачем я родился, и искать, нет ли где-нибудь другого снаряда, который бы освободил меня навеки? Увы! Это была вспышка, лишь на миг прорезавшая окружавший меня мрак.

Подобно исступленным дервишам, которые, кружась, доводят себя до экстаза, человеческая мысль, вращаясь

вокруг самой себя, устает от бесполезной работы самоуглубления и останавливается, ужаснувшись. Кажется, что внутри человека — пустота и что, проникнув в глубь своего «я», он достигает последнего поворота спирали: здесь, как на вершине гор, как в глубине родников, ему не хватает воздуха и бог запрещает ему идти дальше. Тогда объятые смертельным холодом сердце, алчущее забвения, хочет устремиться наружу, чтобы возродиться к новой жизни. Оно ищет жизненных сил во всем, что его окружает, оно с жадностью вдыхает воздух, но находит лишь созданные им самим химеры, которым оно отдало эти силы и которые теперь осаждают его, как призраки, не знающие пощады.

Такое положение вещей не могло больше продолжаться. Измученный неуверенностью, я решил, чтобы узнать истину, сделать один опыт.

Я заказал на десять часов вечера почтовых лошадей — карету мы наняли еще прежде — и распорядился, чтобы к назначенному часу все было готово. Вместе с тем я запретил что-либо говорить об этом госпоже Пирсон. К обеду пришел Смит. За столом я проявлял бóльшую веселость, нежели обычно, и, не сообщая им о своем намерении, завел разговор о нашем путешествии. Я сказал Бригитте, что готов отказаться от него, если у нее нет особого желания ехать, что я прекрасно чувствую себя в Париже и охотно останусь здесь до тех пор, пока ей будет здесь приятно. Я начал превозносить удовольствия, какие можно найти только в этом городе: говорил о балах, о театрах, о всевозможных развлечениях, которые встречаешь тут на каждом шагу.

— Словом, — сказал я, — я не вижу причины менять местопребывание, раз мы так счастливы здесь, и вовсе не то роплюсь уезжать.

Я ожидал, что она будет настаивать на нашем намерении ехать в Женеву, и не ошибся. Правда, ее доводы были весьма слабы, но после первых же слов я сделал вид, что

уступаю ее желанию, и поспешил переменить разговор, словно все было решено.

— А почему бы и Смигу не поехать с нами? — добавил я. — Правда, его удерживают здесь занятия, но разве он не сможет взять отпуск? И разве его блестящие способности — он сам не хочет найти им применение — не могут обеспечить ему свободное приличное существование повсюду, где бы он ни был? Пусть он едет без церемонии. Карета у нас большая, и мы вполне можем предложить ему место. Молодой человек должен повидать мир, нет ничего печальнее в его годы, чем замыкаться в узком кругу... Разве я не прав? — спросил я у Бригитты. — Послушайте, дорогая, употребите свое влияние, вам он не сможет отказать. Убедите его подарить нам шесть недель. Будем путешествовать втроем, и после поездки в Швейцарию, которую Смит совершит вместе с нами, он с большим удовольствием вернется в свой кабинет и примется за работу.

Бригитта присоединилась ко мне, хотя и понимала, что это приглашение несерьезно. Смит не мог отлучиться из Парижа, не рискуя потерять место, и ответил, что, к сожалению, не может принять наше предложение. Между тем я велел подать бутылку вина, и, продолжая полусерьезно разговор на эту тему, все мы оживились. После обеда я вышел на четверть часа, чтобы проверить, исполнены ли мои приказания, потом вернулся, подошел к фортепьяно и весело предложил заняться музыкой.

— Давайте проведем этот вечер дома, — сказал я. — Послушайте меня, не пойдем сегодня в театр. Я не музыкант, но умею слушать. Если Смигу станет скучно, мы поставим его играть, и время пролетит быстрее, чем где бы то ни было.

Бригитта не заставила себя просить, она охотно запела. Смит аккомпанировал ей на виолончели. Нам подали все необходимое для приготовления пунша, и вскоре яркое пламя горящего рома осветило нас. От фортепьяно мы перешли к столу, потом снова занялись музыкой. За-

тем сели за карты. Все шло именно так, как я хотел, мы развлекались, и только.

Глаза мои были прикованы к стенным часам, и я с терпением ждал, чтобы стрелка дошла до десяти. Меня пожирало беспокойство, но я достаточно владел собой и не выдал себя. Наконец назначенная минута настала: я услышал свист кнута, услышал, как лошади въехали во двор. Бригитта сидела возле меня. Я взял ее за руку и спросил, готова ли она к отъезду. Она взглянула на меня с удивлением, видимо, думая, что я шучу. Тогда я сказал, что за ее намерение ехать показалось мне настолько твердым, что я решил заказать лошадей и что именно для этого я выходил из дому. Тут как раз вошел слуга и доложил, что вещи уже в карете и теперь ждут только нас.

— Так это не шутка? — спросила Бригитта. — Вы хотите ехать сегодня же?

— А почему бы и нет, — ответил я, — раз мы оба решили уехать из Парижа?

— Как! Сейчас? Сию минуту?

— Конечно. Ведь уже месяц, как у нас все готово. Вы сами видите, что надо было только привязать к экипажу наши чемоданы. Раз уж мы решили, что не останемся здесь, надо ехать, и чем раньше, тем лучше. Я того мнения, что надо все делать быстро и ничего не откладывать на завтра. Сегодня вы расположены путешествовать, и я спешу воспользоваться этим. Зачем без конца ждать и медлить? Я не могу больше выносить эту жизнь. Ведь вы хотите ехать, не так ли? Так едем, теперь все зависит от вас одной.

Наступило глубокое молчание. Бригитта подошла к окну и увидела, что лошади в самом деле поданы. Впрочем, мой тон не мог оставить в ней никаких сомнений, и, как ни мгновенно было это решение, оно исходило от нее самой. Она не могла ни отречься от своих слов, ни придумать предлог для отсрочки. Итак, она покорилась. Она задала несколько вопросов, как бы желая удостовериться, что все в порядке. Затем, убедившись, что было сделано

все необходимое, начала искать что-то во всех углах. Взяла шаль и шляпку, потом положила их и снова начала искать.

— Я готова, — сказала она. — Я здесь. Так, значит, мы едем? Мы сейчас уедем?

Она взяла свечу, заглянула в мою комнату, потом в свою, открыла все сундуки и шкафы, потом спросила ключ от своего бюро, который потерялся, по ее словам. Куда мог деваться этот ключ? Она держала его в руках час назад.

— Ну вот, ну вот, я готова, — повторяла она в крайнем возбуждении. — Поедемте, Октав, давайте сойдем вниз.

Говоря это, она все еще продолжала что-то искать и наконец опять села возле нас.

Я сидел на диване и смотрел на Смита, стоявшего передо мной. Он не потерял самообладания и не казался ни взволнованным, ни удивленным, но две капли пота выступили у него на висках, и я услышал, как хрустнула в его руке костяная игральная фишка, кусочки которой рассыпались по полу. Он протянул нам обе руки.

— Доброго пути, друзья мои! — сказал он.

Новое молчание. Я продолжал наблюдать за ним и ждал, не скажет ли он еще что-нибудь. «Если тут есть тайна, — думал я, — то когда же я узнаю ее, если не в эту минуту? Она, наверное, на языке у обоих. Пусть у них сорвется хотя бы намек, и я на лету поймаю его».

— Где вы предполагаете остановиться, милый Октав? — спросила Бригитта. — Ведь вы напишете нам, Анри? Вы не забудете о моих родных и сделаете для меня, что сможете?

Взволнованным голосом, но внешне спокойный, он ответил, что готов служить ей от всего сердца и сделает все возможное.

— Не могу отвечать за результат, — сказал он. — Судя по полученным вами письмам, надежды очень мало, но я сделаю все, что от меня зависит, и, может быть, несмотря ни на что, мне вскоре удастся прислать вам какое-нибудь уте-

шительное известие. Располагайте мной, я вам искренно предан.

Сказав нам еще несколько дружеских слов, он собрался уходить, но я встал и опередил его: мне хотелось в последний раз оставить их вдвоем. Разочарование и ревность яростно бушевали в моем сердце. Закрыв за собой дверь, я сейчас же приник к замочной скважине.

— Когда я увижу вас? — спросил он.

— Никогда, — ответила Бригитта. — Прощайте, Анри.

Она протянула ему руку. Он наклонился, поднес ее к губам, и я едва успел отскочить назад, в темноту. Он вышел, не заметив меня.

Оставшись наедине с Бригиттой, я почувствовал полное отчаяние. Она ждала меня с мантильей на руке. Ее волнение было слишком явно, чтобы можно было не видеть его. Она уже нашла ключ, который искала, и ее бюро было открыто. Я снова сел у камина.

— Послушайте, — сказал я, не смея взглянуть на нее, — я был настолько виноват перед вами, что должен ждать и страдать, не имея никакого права жаловаться. Происшедшая в вас перемена причинила мне такое горе, что я не мог удержаться, чтобы не спросить вас о ее причине, но теперь я больше ни о чем не спрашиваю. Вам тяжело уезжать? Скажите мне об этом, и я покорюсь.

— Уедем! Уедем! — вскричала она.

— Поедем, если хотите, но только будьте откровенны. Как бы ни страшен был ожидающий меня удар, я даже не осмелюсь спросить, откуда он исходит, я безропотно подчинюсь всему. Но если я должен буду когда-нибудь потерять вас, не возвращайте мне надежды — богу известно, что я этого не переживу.

Она стремительно обернулась.

— Говорите мне о вашей любви, — сказала она, — не говорите о ваших страданиях.

— Так знай же, что я люблю тебя больше жизни! В сравнении с моей любовью страдания кажутся мне

сном. Поедем со мной на край света, и либо я умру, либо буду жить благодаря тебе!

С этими словами я хотел было подойти к ней, но она побледнела и отступила назад. Тщетно она пыталась вызвать улыбку на свои сжатые губы.

— Минутку, еще минутку, — сказала она, наклонясь над бюро, — мне надо сжечь кой-какие бумаги.

Она показала мне письма из Н., разорвала их и бросила в камин, затем вынула другие бумаги, просмотрела и разложила на столе. Это были счета из магазинов, среди них были и неоплаченные. Разбирая их, она начала с жаром говорить, щеки ее запылали, словно от лихорадки. Она просила у меня прощения за свое упорное молчание и за все свое поведение со времени нашего приезда. Она выказывала мне больше нежности, больше доверия, чем когда бы то ни было. Смеясь, она хлопала в ладоши и говорила, что наше путешествие обещает быть чудесным. Словом, она была вся любовь или, по крайней мере, подобие любви. Не могу выразить, как я страдал от ее напускной веселости. Эта скорбь, таким образом изменявшая самой себе, была страшнее слез и горше упреков. Мне легче было бы видеть с ее стороны холодность и равнодушие, чем это возбуждение, с помощью которого она хотела побороть свое сердце. Мне казалось, что я вижу пародию на самые счастливые наши минуты. Те же слова, та же женщина, те же ласки, но то самое, что две недели назад опьяняло меня любовью и счастьем, теперь внушало мне ужас.

— Бригитта, — сказал я ей вдруг, — какую же тайну скрываете вы от меня? И если вы любите меня, то зачем разыгрываете передо мной эту ужасную комедию?

— Я? — возразила она, как бы оскорбленная моим вопросом. — Что заставляет вас думать, будто я играю комедию?

— Что заставляет меня думать это! Дорогая моя, признайтесь, что у вас смертельная тоска в сердце, что вы испытываете жестокую муку, и я открою сам свои объятия.

Положите голову ко мне на плечо и поплачьте. Вот тогда я, может быть, увезу вас, но сейчас — нет, ни за что.

— Уедем, уедем! — снова повторила она.

— Нет, клянусь душою, нет! Пока нас разделяет ложь или маска, я не уеду. Уж лучше видеть несчастье, чем такую веселость.

Она молчала, пораженная тем, что ее слова не обманули меня и что я разгадал ее, как она ни старалась все скрыть.

— Зачем нам обманывать друг друга? — продолжал я. — Неужели я так низко пал в ваших глазах, что вы можете притворяться передо мной? Уж не считаете ли вы себя приговоренной к этой несчастной и унылой поездке? Кто я, тиран, неограниченный властелин? Или палач, который тащит вас на казнь? Неужели вы так боитесь моего гнева, что прибегаете к подобным уверткам? Зачем вы лжете — неужели из чувства страха?

— Вы ошибаетесь, — ответила она, — прошу вас, ни слова больше.

— Почему вы так неискренни? Если вы не пожелали сделать меня своим поверенным, то неужели у вас нет ко мне хоть дружеского чувства? Если мне нельзя знать причину ваших слез, так не могу ли я хоть бы видеть, как они льются? Неужели вы так мало верите мне, неужели не допускаете, что я уважаю ваши горести? Да что же такого я сделал, что вы не хотите поделиться ими со мной? И нельзя ли найти средство помочь им?

— Нет, — сказала она, — вы ошибаетесь. Если вы будете расспрашивать меня дальше, то причините несчастье себе и мне. Разве не довольно того, что мы едем?

— Да как же я могу ехать, когда стоит взглянуть на вас, чтобы увидеть, что эта поездка вам противна, что вы едете против воли, что вы уже раскаиваетесь в своем решении? Что же все это значит, великий боже! Что вы скрываете от меня? И к чему играть словами, когда мысли ваши так же ясны, как это зеркало? Да разве я не буду последним негодяем, если приму без возражений то, что

вы мне даете с такой неохотой? И вместе с тем — как отказаться? Что я могу сделать, если вы молчите?

— Нет, я еду добровольно. Вы ошибаетесь, Октав, я люблю вас. Перестаньте же меня мучить.

Она вложила в эти слова такую нежность, что я упал перед ней на колени. Кто устоял бы перед ее взглядом, перед божественным звуком ее голоса?

— О боже! — вскричал я. — Так вы любите меня, Бригитта? Моя дорогая, вы любите меня?

— Да, я люблю вас, да, я принадлежу вам. Делайте со мною все, что хотите. Я последую за вами, уедем вместе. Идемте, Октав, нас ждут.

Сжимая в своих руках мою руку, она поцеловала меня в лоб.

— Да, это необходимо, — прошептала она. — Да, я этого хочу и буду хотеть до последнего вздоха.

«Это необходимо?» — повторил я про себя. Я встал. На столе оставался теперь лишь один листок бумаги. Бригитта просмотрела его, взяла в руку, перевернула и бросила на пол.

— Это все? — спросил я.

— Да, все.

Заказывая лошадей, я не думал, что мы действительно уедем, я просто хотел сделать попытку, но силою вещей моя попытка превратилась в реальность. Я отворил дверь. «Это необходимо!» — повторял я про себя.

— Это необходимо! — произнес я вслух. — Бригитта, что означают эти слова? Я не понимаю их. Объяснитесь, или я остаюсь. Почему вы считаете, что должны любить меня?

Она упала на кушетку.

— Ах, несчастный, несчастный! — вскричала она с отчаянием, ломая руки. — Ты никогда не научишься любить!

— Что ж, быть может, вы сказали правду, но богу известно, что я умею страдать. Итак, это необходимо, вы должны любить меня? В таком случае вы должны также ответить на мой вопрос. Пусть я навсегда потеряю вас,

пусть эти стены обрушатся на мою голову, но я не выйду отсюда, не узнав тайны, которая мучит меня уже месяц. Вы скажете мне все, или я расстанусь с вами. Быть может, я безрассуден, безумен, быть может, я сам гублю свою жизнь, быть может, я спрашиваю о том, о чем бы мне лучше не знать или притворяться незнающим, быть может, наше объяснение навсегда разрушит наше счастье и воздвигнет между нами непреодолимую преграду, быть может, оно сделает невозможным наш отъезд, тот отъезд, о котором я столько мечтал, но, чего бы это ни стоило и вам и мне, вы будете говорить откровенно, или я откажусь от всего.

— Нет, нет, я ничего не скажу!

— Вы скажете! Неужели вы думаете, что я поверил вашей лжи, неужели вы думаете, что, постоянно видя вас, видя, что вы стали так же не похожи на себя, как день не похож на ночь, я мог не заметить этой перемены? Неужели вы воображаете, что, ссылаясь на какие-то ничтожные письма, которые не стоит и читать, вы заставите меня удовлетвориться первым попавшимся предложением потому только, что вам не угодно было найти другой? Разве ваше лицо маска, на которой нельзя прочесть то, что происходит в вашем сердце? И, наконец, какого же вы мнения обо мне? Меня не так легко обмануть, как кажется; берегитесь, как бы ваше молчание не открыло мне лучше всяких слов то, что вы так упорно скрываете от меня.

— Да что же я скрываю от вас?

— Что! И вы спрашиваете об этом у меня! Для чего вы задаете мне этот вопрос? Не для того ли, чтобы довести меня до крайности и потом избавиться от меня? О да, конечно, ваша оскорбленная гордость только того и ждет, чтобы я вышел из себя. Весь арсенал женского лицемерия будет к вашим услугам, если я выскажусь откровенно. Вы ждете, чтобы я первый обвинил вас, а потом ответите мне, что такая женщина, как вы, не унижится до оправданий. О, какими презрительными, какими горделивыми взглядами умеют защищаться самые преступные, самые

коварные женщины! Ваше главное оружие — молчание, это известно мне не со вчерашнего дня. Вы только и ждете оскорбления, а пока что вы молчите. Что ж, боритесь с моим сердцем, оно всегда будет биться в унисон с вашим, но не боритесь с моим рассудком: он тверже железа и не уступит вашему.

— Бедный мальчик, — прошептала Бригитта, — так вы не хотите ехать?

— Нет, я поехал бы только с моей возлюбленной, а вы уже не любите меня. Довольно я боролся, довольно страдал, довольно терзал свое сердце! Довольно я жил во мраке ночи — надо, чтобы наступил день. Будете вы говорить? Да или нет?

— Нет.

— Как хотите. Я подожду.

Я отошел от нее и сел в противоположном конце комнаты, твердо решив, что не встану с места до тех пор, пока не узнаю того, что хотел узнать. Она, видимо, размышляла и, не скрывая своего волнения, ходила по комнате.

Я жадным взглядом следил за ней. Ее упорное молчание все более усиливало мой гнев, но мне не хотелось, чтобы она заметила это. Я не знал, на что решиться. Наконец я открыл окно.

— Велите распрягать лошадей и заплатите сколько следует! Я не поеду сегодня, — крикнул я.

— Несчастный! — сказала Бригитта.

Я медленно закрыл окно и снова сел, сделав вид, что не слышал ее восклицания, но в душе у меня бушевала такая ярость, что я с трудом сдерживал себя. Это холодное молчание, этот дух сопротивления привели меня в полное отчаяние. Если бы меня действительно обманула любимая женщина и я не сомневался в ее измене, мои страдания не могли бы быть мучительней. С того момента, как я приговорил себя остаться в Париже, я сказал себе, что нужно любую ценой заставить Бригитту объясниться. Тщетно перебирал я в уме все способы, какие могли бы помочь мне в этом; чтобы найти такой способ сию же ми-

нуту, я отдал бы все на свете. Что сделать? Что сказать? Она была здесь, рядом, и смотрела на меня с грустным спокойствием. Я услышал, как распрягают лошадей. Вот они побежали мелкой рысью, и вскоре звон бубенчиков затерялся в уличном шуме. Мне стоило только крикнуть, чтобы воротить их, и все же этот отъезд казался мне чем-то непоправимым. Я запер дверь на задвижку, и чей-то голос шепнул мне на ухо: «Теперь ты наедине с существом, от которого зависит, жить тебе или умереть».

Не переставая думать об этом и ломая голову в поисках тропинки, которая могла бы привести меня к истине, я вдруг вспомнил один из романов Дидро, где женщина, ревнуя любовника, прибегает, чтобы рассеять свои сомнения, к довольно своеобразному средству. Она заявляет, что разлюбила его и хочет с ним расстаться. Маркиз Дезарси (имя любовника) попадает в ловушку и признается, что его тоже тяготит их любовь. Эта странная сцена, прочитанная мною в ранней юности, показалась мне тогда образцом остроумия, и я невольно улыбаюсь сейчас, вспоминая о впечатлении, которое она произвела на меня в то время. «Как знать? — подумал я. — Быть может, если я поступлю так же, Бригитта будет введена в заблуждение и откроет мне свою тайну».

От мыслей гневных и яростных я вдруг перешел к придумыванию разных хитростей и уловок. «Неужели так уж трудно заставить женщину проговориться помимо ее воли? К тому же эта женщина — моя любовница. Я очень недалек, если не могу добиться такой простой вещи». И я растянулся на диване, приняв непринужденный и небрежный вид.

— Итак, моя милая, — весело сказал я, — сегодня вы, кажется, не расположены к сердечным излияниям?

Она с удивлением взглянула на меня.

— Ах, бог мой, — продолжал я, — ведь рано или поздно мы должны будем высказать друг другу всю правду. Так вот, чтобы подать вам пример, я, пожалуй, начну первый.

Это сделает вас доверчивее, ведь друзья всегда могут столкнуться между собой.

По-видимому, несмотря на тон этих слов, мое лицо выдавало меня: Бригитта продолжала ходить по комнате, словно не слыша моих слов.

— Как вам известно, вот уже полгода, как мы сошлись, — продолжал я. — Образ жизни, который мы ведем, не слишком весел. Вы молоды, я тоже молод. Скажите, если бы вдруг случилось так, что наша совместная жизнь перестала нравиться вам, хватило бы у вас мужества признаться мне в этом? Даю вам слово, что, если бы это произошло со мной, я не стал бы таиться от вас. К чему? Разве любить — преступление? А если так, то любить меньше или совсем разлюбить — тоже не может быть преступлением. Что удивительного, если мы в наши годы чувствуем потребность в перемене?

Она остановилась.

— В наши годы! — повторила она. — И вы говорите это мне? Теперь я спрошу у вас — зачем вы разыгрываете передо мной эту комедию?

Я покраснел.

— Садись сюда и выслушай меня, — сказал я, схватив ее за руку.

— К чему? Ведь это не вы говорите сейчас со мной.

Мне стало стыдно за свое притворство, и я отбросил его.

— Выслушайте меня, — настойчиво повторил я, — и, умоляю вас, сядьте сюда, рядом со мной. Если вам угодно хранить молчание, то, по крайней мере, сделайте мне одолжение и выслушайте то, что я скажу.

— Я слушаю. Что же вы хотите сказать мне?

— Представьте себе, что кто-нибудь заявил бы мне сейчас: «Вы трус!» Мне двадцать два года, но я уже дрался на дуэли. Мое сердце, все мое существо возмутилось бы при этих словах. Разве я не сознавал бы в глубине души, что я не трус? И все же мне пришлось бы выйти к барьеру, драться с первым встречным, пришлось бы рисковать жизнью... Зачем? Затем, чтобы доказать, что это ложь, — в

противном случае этой лжи поверят все. Слово «трус» требует такого ответа, кто бы его ни произнес и когда бы это ни случилось.

— Вы правы, но что вы хотите сказать этим?

— Женщины не дерутся на дуэли, но общество создано так, что любое существо, независимо от его пола, обязано в некоторые минуты своей жизни — будь эта жизнь размеренна, как часы, и прозрачна, как стекло, — обязано все поставить на карту. Подумайте сами, кто может избежать этого закона? Возможно, такие люди найдутся, но каковы последствия? Если это мужчина, его ждет бесчестие. Если женщина, ее ждет... забвение. Всякое существо, живущее полной жизнью, должно доказать, что оно действительно живет. И вот для женщины, так же как для мужчины, наступает минута, когда на нее нападают. Если у нее есть храбрость, то она встанет и примет бой. Но удар шпагой не докажет ее невиновности, она должна не только защищаться, но и сама ковать свое оружие. Ее подозревают — кто же? Посторонний человек? В таком случае она может и должна пренебречь его мнением. Возлюбленный? Если она его любит, то его мнение для нее дороже жизни, и она не может пренебречь им.

— Единственный ее ответ — молчание.

— Вы ошибаетесь. Подозревая ее, любовник тем самым наносит ей тяжкое оскорбление? Согласен. За нее говорят ее слезы? Ее прошлое, ее преданность, ее терпение? Все это верно. Но что же произойдет, если она будет молчать? Любовник потеряет ее и будет сам виноват в этом, а время докажет ее правоту — не такова ли ваша мысль?

— Возможно. Но прежде всего — она должна молчать.

— Возможно — говорите вы? Нет, если вы не ответите мне, я несомненно потеряю вас. Мое решение твердо: я еду один.

— Послушайте, Октав...

— Хорошо! — вскричал я. — Так, значит, время дока-

жет вашу правоту? Договаривайте, ответьте хотя бы на это — да или нет?

— Надеюсь, что да.

— Вы надеетесь! Прошу вас чистосердечно задать себе этот вопрос. При мне вы имеете такую возможность в последний раз — это бесспорно. Вы говорите, что любите меня, и я верю вам. Но я подозреваю вас. Хотите вы, чтобы я уехал и чтобы время доказало вашу правоту, или...

— Да в чем же вы подозреваете меня?

— Я не хотел говорить об этом, так как вижу, что это бесполезно. Но, в конце концов, пусть будет по-вашему: да и не все ли равно, от чего страдать! Итак, вы обманываете меня, вы любите другого. Вот тайна, которую хранили вы и я.

— Кого же? — спросила она.

— Смита.

Она рукой закрыла мне рот и отвернулась. Я замолчал. Мы оба погрузились в свои мысли и сидели с опущенными глазами.

— Выслушайте меня, — сказала она наконец, сделав над собой усилие. — Я много выстрадала и призываю небо в свидетели, что готова отдать за вас жизнь. До тех пор, пока у меня останется хоть слабая искорка надежды, я готова страдать и дальше, но, друг мой, рискуя снова возбудить ваш гнев, я все же скажу вам, что я только женщина. Силы человеческие имеют предел. Я никогда не отвечу вам на этот вопрос. Все, что я могу сделать сейчас, — это в последний раз стать на колени и снова обратиться к вам с мольбой — уедем!

И она склонилась ко мне. Я встал.

— Безумец, — сказал я с горечью, — тысячу раз безумец тот, кто хоть однажды в жизни хотел добиться правды от женщины! Он добьется лишь презрения, и что ж — он его заслужил. Правда! Ее знает лишь тот, кто подкупает горничных или подслушивает у изголовья возлюбленной, когда она говорит во сне. Ее знает тот, кто сам становится женщиной и чья низость приобщает его ко всем тайнам

мрака. Но мужчина, который открыто спрашивает о правде, который честно протягивает руку за этой ужасной милостыней, такой мужчина никогда не добьется ее! Его остерегаются, вместо ответа на его вопросы пожимают плечами, а если он выйдет из терпения, женщина драпирруется в свою добродетель с видом оскорбленной весталки и изрекает великие женские истины, как, например: «подозрение убивает любовь» или «нельзя простить того, на что невозможно ответить». Ах, боже праведный, как я устал! Когда же кончится все это?

— Когда вам будет угодно, — ответила она ледяным тоном. — Я не менее устала от этого, чем вы.

— Сию минуту! Я покидаю вас навсегда, и пусть время доказывает вашу правоту. Время! Время! О холодная подруга! Когда-нибудь вы вспомните об этом прощании. Время! А твоя красота, любовь, счастье — куда уйдет все это? Неужели ты отпускаешь меня без сожаления? Ах да, ведь в тот день, когда ревнивый любовник узнает, что он был несправедлив, в тот день, когда он убедится в этом, он поймет, какое сердце он оскорбил, — не так ли? Он заплачет от стыда, он потеряет радость и сон, он будет жить лишь одной мыслью — мыслью, что мог быть счастлив в прошлом. Но возможно, что в этот самый день, увидев себя отмищенной, его гордая возлюбленная побледнеет и скажет себе: «Почему я не сделала этого раньше!» И поверьте, если она любила его, удовлетворенное самолюбие не сможет ее утешить.

Я хотел говорить спокойно, но уже не владел собой: теперь я, в свою очередь, возбужденно ходил по комнате. Бывают взгляды, похожие на удары шпагой, они скрещиваются, как отточенные клинки, — такими взглядами обменивались в эту минуту я и Бригитта. Я смотрел на нее, как узник смотрит на дверь своей темницы. Чтобы сломать печать, скреплявшую ее уста, и заставить ее заговорить, я готов был отдать свою и ее жизнь.

— Чего вы хотите? — спросила она. — Что я должна сказать вам?

— То, что у вас на сердце. Неужели вы настолько жестоки, что можете заставлять меня повторять это?

— А вы, вы! — вскричала она. — Да вы во сто крат более жестоки, чем я. «Безумец тот, кто хочет узнать правду!» — говорите вы. Безумна та, которая надеется, что ей поверят, — вот что могу сказать я. Вы хотите узнать мою тайну, а моя тайна состоит в том, что я люблю вас. Да, я безумна! Вы ищете соперника, вы обвиняете эту бледность, причина которой в вас, вы вопрошаете ее. Безумная, я хотела страдать молча, хотела посвятить вам всю жизнь, хотела скрыть от вас мои слезы, — ведь вы выслеживаете их, словно это улики преступления. Безумная, я хотела переплыть моря, покинуть с вами Францию и вдали от всех, кто меня любил, умереть на груди у человека, который сомневается во мне. Безумная, я думала, что правда сквозит во взгляде, в тоне голоса, что ее можно угадать, что она внушает уважение. Ах, когда я думаю об этом, меня душат слезы! Если все это так, то зачем было толкать меня на поступок, который должен навсегда лишить меня спокойствия? Я теряю голову, я не знаю, что со мной!

Она склонилась ко мне, рыдая.

— Безумная! Безумная! — повторяла она раздирающим душу голосом.

— Что же это? — продолжала она. — До каких пор вы будете упорствовать? Что могу я сказать в ответ на эти вновь и вновь рождающиеся, вновь и вновь меняющиеся подозрения? Я должна оправдаться — говорите вы. В чем? В том, что я готова ехать, любить, умереть, в том, что я полна отчаяния? А если я притворяюсь веселой, то эта веселость тоже вам неприятна. Уезжая, я жертвую вам всем, а вы — вы не проедете и одного лье, как уже начнете оглядываться назад. Везде, всегда, что бы я ни сделала, меня встречают оскорбления и гнев! Ах, дорогой мой, какой смертельный холод, какая мука наполняет сердце, когда видишь, что самое простое, самое искреннее слово вызывает у вас подозрение и насмешку! Этим вы лишаете себя единственного счастья, какое есть в мире: счастья лю-

бить беззаветно. Вы убьете в любящих вас сердцах все возвышенные и тонкие чувства, вы дойдете до того, что будете верить лишь в самые низменные побуждения. От любви у вас останется лишь то, что видимо, что осязаемо. Вы молоды, Октав, перед вами еще долгая жизнь, у вас будут другие возлюбленные. Да, вы сказали правду, удовлетворенное самолюбие — это еще не все, и не оно утешит меня, но дай бог, чтобы когда-нибудь хоть одна ваша слеза заплатила мне за те слезы, которые вы заставляете меня проливать в эту минуту.

Она встала.

— Должна ли я говорить, должны ли вы узнать, что в течение этих шести месяцев я ни разу не ложилась спать, не повторяя себе, что все бесполезно и что вы никогда не излечитесь, и ни разу не встала утром, не сказав себе, что надо сделать еще попытку; что вы не сказали мне ни одного слова, после которого я бы не почувствовала, что должна вас покинуть, и не подарили мне ни одной ласки, после которой я бы не почувствовала, что лучше умру, чем расстанусь с вами; что день за днем, минута за минутой, постоянно колеблясь между страхом и надеждой, я тысячу раз пыталась победить либо свою любовь, либо свои страдания; что, как только я открывала вам свое сердце, вы бросали насмешливый взгляд в самую глубину его, и, как только я закрывала его перед вами, мне казалось, что в нем хранится сокровище, которое предназначено вам, только вам! Рассказать ли вам о всех этих слабостях, о всех этих маленьких тайнах, которые кажутся ребячеством тем, кто их не понимает? О том, как после ссоры я, бывало, запиралась у себя в комнате и перечитывала ваши первые письма; об одном любимом вальсе, который всегда успокаивал меня, когда я чересчур нетерпеливо ждала вашего прихода? Ах, несчастная! Как дорого тебе обойдутся эти молчаливые слезы, эти сумасбродства, столь милые сердцу слабых! Плачь же теперь: эта пытка, эти страдания оказались бесполезны.

Я хотел прервать ее.

— Нет, нет, оставьте меня, — сказала она. — Должна же и я хоть раз высказаться перед вами. Скажите: что заставляет вас сомневаться во мне? Вот уже полгода, как я принадлежу вам — мыслью, душой и телом. В чем смеете вы меня подозревать? Вы хотите ехать в Швейцарию? Я готова ехать с вами — вы видите это. Вам кажется, что у вас есть соперник? Напишите ему письмо — я подпишусь под ним, и вы сами отнесете его на почту. Что мы делаем? Куда это заведет нас? Необходимо прийти к какому-то решению. Ведь мы еще вместе. Так зачем же ты хочешь меня покинуть? Не могу же я в одно и то же время быть и вблизи и вдали от тебя. «Надо иметь возможность верить своей возлюбленной», — говоришь ты, и это правда. Или любовь благо, или она зло; если она благо, надо верить в нее, если она зло, надо избавиться от этого зла. Все это похоже на какую-то игру, но ставкой в этой игре служат наши сердца, наши жизни — вот в чем весь ужас! Хочешь умереть? Я готова. Но кто же, кто же я, если можно сомневаться во мне?

Она остановилась перед зеркалом.

— Кто же я? — повторила она. — Подумали ли вы о том, что говорите? Посмотрите на мое лицо. Сомневаться в тебе! — вскричала она, обращаясь к своему отражению. — Жалкое, бледное лицо, тебе не доверяют! Бедные исхудалые щеки, бедные усталые глаза, вы внушаете подозрения, вы и ваши слезы! Продолжайте же страдать. Пусть эти поцелуи, иссушившие вас, навсегда закроют вам веки. Сойди в сырую землю, бедное, хрупкое, обессиленное тело! Быть может, когда ты будешь покоиться в ней, тебе наконец поверят, если только сомнение верит в смерть. О грустный призрак! На каких берегах будешь ты бродить и стенать? Какое пламя пожирает тебя? Стоя на пороге могилы, ты еще строишь планы путешествия! Умри же! Бог свидетель, что ты хотела любить. Ах, какие сокровища пробудило в твоём сердце могущество любви! Какие сладкие грезы навеяла она на тебя, и как горек был яд, убивший эти грезы! Что ты сделала дурного, за что ты наказана этой лихорадкой, сжигающей тебя? Что за ярость

одушевляет безумца, который толкает тебя в гроб, тогда как губы его говорят о любви? Во что ты превратишься, если будешь продолжать жить? Не довольно ли? Не пора ли кончить? Какое свидетельство твоей скорби может оказаться убедительным, если тебе самой, бедному живому свидетельству, бедному очевидцу, если не верят даже и тебе? Разве есть такая пытка, которой ты еще не подвергалась? Какими мучениями, какими жертвами насытишь ты эту жадную, ненасытную любовь? Ты станешь всеобщим посмешищем — и только. Тщетно будешь ты искать пустынную улицу, где прохожие не указывали бы на тебя пальцем. Ты потеряешь всякий стыд, всякое подобие той непрочной добродетели, которая была так дорога тебе когда-то.

И человек, ради которого ты так унизишь себя, первый накажет тебя за это. Он будет укорять тебя за то, что ты живешь для него одного, что ты бросила ради него вызов свету, а если твои друзья вздумают роптать вокруг тебя, он начнет искать, нет ли в их взглядах чрезмерного сострадания. Если же чья-то рука еще пожмет твою руку и если в пустыне твоей жизни случайно встретится существо, которое мимоходом пожалеет тебя, он обвинит тебя в измене. О несчастная! Помнишь ли ты тот летний день, когда голову твою украсили венком из белых роз? Неужели это ты носила его? Ах, рука, которая повесила его на стену часовенки, еще не распалась в прах, как тот венок. О моя долина! Старая моя тетушка, уснувшая вечным сном! Мои липы, моя белая козочка, мои добрые фермеры, которые так любили меня! Помните ли вы, как я была счастлива, горда, спокойна и уважаема всеми? Кто же забросил на мой путь незнакомца, который хочет оторвать меня от всего родного? Кто дал ему право ступить на тропинку моего селения? О несчастная, зачем ты обернулась, когда он впервые последовал за тобой? Зачем ты приняла его как брата? Зачем открыла ему дверь своего дома и протянула руку? Октав, Октав, зачем ты полюбил меня, если все должно было кончиться так печально?

Она готова была лишиться чувств. Я поддержал ее и усадил в кресло. Она уронила голову на мое плечо. Страшное усилие, которое она сделала над собой, чтобы сказать мне эти горькие слова, совсем разбило ее. Вместо оскорбленной любовницы я вдруг увидел перед собой страдающего, больного ребенка. Глаза ее закрылись, и она застыла без движения в моих объятиях.

Придя в себя, она пожаловалась на страшную слабость и ласково попросила, чтобы я оставил ее одну: ей хотелось лечь в постель. Она едва держалась на ногах. Я донес ее на руках до алькова и осторожно положил на кровать. На лице ее не было никаких следов страдания; она отдыхала от своего горя, как усталый человек отдыхает от тяжелой работы, и, казалось, уже не помнила о нем. Ее хрупкий и нежный организм уступал без борьбы, и, как она сказала сама, я не рассчитал ее сил. Она держала мою руку в своей, я обнял ее, наши губы, все еще губы любовников, как бы невольно слились в поцелуе, и после этой мучительной сцены она с улыбкой заснула на моей груди, как в первый день нашей любви.

ГЛАВА 6

Бригитта спала. Молча, неподвижно сидел я у ее изголовья. Подобно пахарю, который после грозы считает колосья, оставшиеся на опустошенном поле, я заглянул в самого себя и попытался измерить глубину зла, которое причинил.

Оно было непоправимо — я сразу понял это. Бывают страдания, самая чрезмерность которых показывает нам, что это предел, и чем сильнее стыд и раскаяние мучили меня, тем яснее я чувствовал, что после подобной сцены нам оставалось одно — расстаться. Бригитта выпила до дна горькую чашу своей печальной любви, и, несмотря на все ее мужество, я должен был, если не хотел ее смерти, дать ей наконец покой. Нередко случалось и прежде, что она горько упрекала меня и, быть может, вкладывала в

свои упреки больше гнева, чем в этот раз. Но теперь это были уже не просто слова, продиктованные оскорбленным самолюбием, то была истина, которая долго таилась в глубине ее сердца и теперь вышла на поверхность, разбив его. К тому же обстоятельства, при которых все это произошло, и мой отказ уехать с ней убивали всякую надежду. Если бы даже она сама захотела простить меня, у нее не хватило бы на это силы. И этот сон, эта временная смерть существа, которое более уже не в состоянии страдать, были достаточно красноречивы. Ее внезапное молчание, ласковость, которую она проявила, когда так грустно вернулась к жизни, ее бледное лицо, все, вплоть до ее поцелуя, свидетельствовало о том, что наступил конец и что если еще существовали узы, которые могли бы соединить нас, то я навсегда разорвал их. То, наконец, что она могла спать в эту минуту, ясно говорило, что стоит мне причинить ей страдание еще раз, и она опять заснет, но уже вечным сном. Раздался бой часов, и я почувствовал, что минувший час унес с собой всю мою жизнь.

Не желая звать прислугу, я сам зажег ночник Бригитты. Я смотрел на этот слабый свет, и мне казалось, что мои мысли так же колеблются в полумраке, как его изменчивые лучи.

Я мог говорить или делать все, что угодно, но мысль потерять Бригитту еще ни разу не представлялась мне в отчетливой форме. Я тысячу раз собирался разойтись с ней, но тот, кто любил, знает, что это значит. Это случилось в порыве отчаяния или гнева. До тех пор, пока я знал, что она любит меня, я был уверен и в своей любви к ней. Неизбежность впервые встала между нами. Я ощущал какую-то неопределенную, тупую боль. Сгорбившись, я сидел у алькова, и, хотя вся безмерность моего несчастья была ясна мне с первого мгновения, я не испытывал горя. Слабая и испуганная, душа моя словно отступала перед тем, что понимал мой ум. «Итак, — говорил я себе, — это бесспорно. Я сам хотел этого и сделал все своими руками. Сомнения нет, мы больше не можем жить вместе. Я не хочу убить эту женщину, следовательно, я должен с

ней расстаться. Это решено, и завтра я уеду». Говоря это себе, я не думал ни о своей вине, ни о прошлом, ни о будущем. В эту минуту я не помнил ни о Смите, ни о ком бы то ни было. Я не смог бы сказать, что привело меня к такому выводу, не смог бы сказать, что я делал в течение целого часа. Я рассматривал стены комнаты, и, кажется, единственная мысль, заботившая меня, была мысль о том, с каким дилижансом я уеду. Это состояние странного спокойствия длилось довольно долго. Так человек, пораженный ударом кинжала, вначале не ощущает ничего, кроме холода стали; он еще делает несколько шагов по дороге и в недоумении, с помутившимся взглядом, спрашивает себя, что с ним случилось. Но понемногу, капля за каплей, начинает сочиться кровь, рана открывается, давая ей дорогу, земля окрашивается темным пурпуром, приближается смерть. Заслышав ее шаги, человек трепещет от ужаса и падает, сраженный. Так и я, внешне спокойный, чувствовал приближение несчастья. Шепотом повторяя себе слова, сказанные мне Бригиттой, я раскладывал возле ее постели все то, что, как я знал, обычно приготавливалось ей на ночь. Я смотрел на нее, подходил к окну и прижимался лбом к стеклу, глядя в нависшее темное небо, потом снова подходил к кровати. «Уехать завтра» — такова была единственная моя мысль, и вдруг это слово «уехать» дошло до моего сознания.

— Боже! — вскричал я. — Бедная моя возлюбленная, я не умел тебя любить и теперь теряю тебя.

При этих словах я вздрогнул, точно их произнес другой человек. Они отдались во всем моем существе, словно порыв ветра, прошумевший в натянутых струнах арфы и едва не разбивший ее. В один миг два года страданий всплыли в моей памяти, а вслед за ними, как их следствие, как их завершение, ощущение действительности овладело мною. Как могу я передать эту скорбь? Я думаю, что тот, кто любил, поймет меня с полуслова. Я коснулся руки Бригитты, и, должно быть увидев меня во сне, она произнесла мое имя.

Я встал и начал ходить по комнате. Слезы градом хлынули из моих глаз. Я простирал руки, словно желая схватить ускользавшее от меня прошлое.

«Возможно ли это? — повторял я. — Я теряю тебя? Но ведь я никого не могу любить, кроме тебя одной. Ты уедешь? Это конец? Ты, моя жизнь, моя обожаемая возлюбленная, ты меня покинешь, и я больше не увижу тебя?..»

— Нет, нет, никогда! — произнес я вслух и повторил, обращаясь к спящей Бригитте, словно она могла слышать меня: — Никогда, никогда! Знай, я никогда не соглашусь на это! Да и зачем? К чему такая гордость? Разве нет другого средства загладить оскорбление, которое я нанес тебе? Умоляю, поищем его вместе. Ведь ты уже столько раз простила меня. Нет, нет, ты меня любишь, ты не сможешь уехать, у тебя не хватит решимости. И что же мы станем делать потом?

Ужасное, страшное неистовство внезапно овладело мною: я начал бегать по комнате, произнося что-то бессвязное, отыскивая на столах какое-нибудь орудие смерти. Наконец я упал на колени и начал биться головой о кровать. Бригитта шевельнулась во сне, и я замер на месте.

«Что, если бы я разбудил ее! — сказал я себе, затрепетав. — Что ты делаешь, жалкий безумец? Не мешай ей спать до утра. У тебя есть еще целая ночь, чтобы любоваться ею».

Я сел на прежнее место. Я так боялся разбудить Бригитту, что не смел вздохнуть. Сердце мое как будто остановилось вместе с моими слезами. Меня охватил леденящий холод, я дрожал всем телом. «Смотри на нее, смотри на нее, — мысленно повторял я, словно желая принудить себя к молчанию, — смотри, ведь это еще позволено тебе».

Наконец мне удалось успокоиться, и по моим щекам снова потекли слезы, но в них уже не было прежней горечи. Ярость сменилась умилением, мне показалось, что чей-то жалобный стон раздался в воздухе. Я склонился над изголовьем Бригитты и стал смотреть на нее, словно

мой добрый ангел велел мне в последний раз запечатлеть в душе ее дорогие черты.

Как она была бледна! Ее длинные ресницы, окаймленные синеватыми кругами, еще блестели, влажные от слез. Стан, некогда столь воздушный, теперь согнулся, словно под тяжестью какой-то ноши. Исхудавшая щека покоилась на маленькой слабой руке. На лбу, казалось, виднелся кровавый след того тернового венца, которым награждают за самоотречение. Я вспомнил хижину. Как молода была Бригитта всего шесть месяцев назад! Как весела, свободна, беспечна! Во что я превратил все это? Мне показалось, что я слышу чей-то незнакомый голос; он напевал старинный романс, давно забытый мною:

Altra volta gieri biele,
Blanch'e rossa com'un'flore;
Ma ora nò. Non son più biele,
Consumatis dal'amore.

Эту грустную народную песенку я слышал когда-то от первой моей любовницы, но смысл ее впервые дошел до меня. До сих пор я хранил ее в памяти бессознательно, не понимая слов. Почему я вдруг вспомнил ее? Он был здесь, мой увядший цветок, готовый умереть, сожженный любовью.

— Смотри, смотри! — рыдая, повторял я. — Подумай о тех, кто жалуется, что любовницы не любят их. Твоя возлюбленная любит тебя, она принадлежала тебе, а ты потерял ее, потому что не умел любить.

Но боль была слишком жестока; я встал и снова начал ходить по комнате.

— Да, — продолжал я, — смотри на нее. Подумай о тех, кого мучит тоска и кто уносит в далекие края свою неразделенную скорбь. Твои страдания встречали сочувствие, ты не был одинок ни в радости, ни в горе. Подумай о тех, кто живет без матери, без близких, без собаки, без друга, о тех, кто ищет и не находит, о тех, чьи слезы вызывают смех, о тех, кто любит и кого презирают, о тех, кто умирает и о ком забывают. Вот здесь, перед тобою, в этом алько-

ве спит существо, как будто нарочно созданное для тебя природой. Как в самых высоких сферах разума, так и в самых непроницаемых тайнах материи и формы этот дух и это тело были нераздельны с тобой, они — твои братья. В течение полугода уста твои ни разу не произнесли ни слова, сердце ни разу не забило, не услышав ответного слова, ответного биения сердца. И эта женщина, которую бог послал тебе, как он посылает росу траве, только скользнула по твоему сердцу. Это создание, которое перед лицом неба раскрыло тебе объятия и отдало тебе свою жизнь и свою душу, исчезает как тень, не оставляя следа. В то время как губы твои касались ее губ, в то время как твои руки обвивали ее шею, в то время как ангелы вечной любви соединяли вас в одно существо узами крови и сладострастия, вы были дальше друг от друга, чем два изгнанника на противоположных концах земли, разделенные целым миром. Смотри на нее, но только не нарушай тишины. У тебя есть еще целая ночь, чтобы любоваться ею, если ее не разбудят твои рыдания.

Голова моя постепенно разгорячалась, все более и более мрачные мысли волновали и пугали мой ум, какая-то непреодолимая сила побуждала меня заглянуть в глубь моей души.

Делать зло! Так вот какова была роль, предназначенная мне провидением. Это я должен был делать зло, хотя в минуты самого яростного исступления совесть все-таки шептала мне, что я добр! Я, которого безжалостная судьба все дальше увлекала в пропасть, хотя тайный ужас указывал мне всю ее глубину. Но ведь если бы даже мне пришлось своими руками совершить преступление и пролить кровь, я бы все-таки, несмотря ни на что, еще и еще раз повторил себе, что сердце мое невинно, что я заблуждался, что это не я поступал так, а моя судьба, мой злой гений, какое-то другое существо, которое поселилось в моей оболочке, но было мне чуждо! Я! Я должен был причинять зло! В течение шести месяцев я выполнял эту задачу, не проходило дня, чтобы я не добавил чего-нибудь к своему нечестивому делу, и результат был здесь, передо мной.

Человек, который любил Бригитту, обижал, оскорблял ее, отдалился от нее и снова вернулся к ней, преисполнил ее тревоги, измучил подозрениями и наконец бросил на ложе страданий, — этим человеком был я. Я бил себя в грудь, глядя на нее, я не мог поверить своим глазам. Я всматривался в Бригитту, я прикасался к ней, словно желая убедиться, что я не ошибся, что это не сон. Мое жалкое лицо, отражавшееся в зеркале, с удивлением смотрело на меня. Кто, кто это принял вдруг мой облик? Что это за безжалостный человек богохульствовал моими устами и мучил моими руками? Неужели это он был когда-то ребенком, которого мать называла Октавом? Неужели его образ я видел, наклоняясь над светлыми ручьями, когда пятнадцатилетним подростком гулял среди лесов и полей и сердце мое было так же чисто, как их прозрачные воды?

Я закрыл глаза и стал думать о днях моего детства. Как солнечный луч внезапно разрезает тучу, так тысячи воспоминаний прорезали вдруг мою душу. «Нет, — сказал я себе, — не я сделал это. Все, что окружает меня здесь, в этой комнате, — нелепый сон». Мне припомнилось время, когда я еще не ведал зла, когда сердце мое радостно отзывалось на первые жизненные впечатления. Мне припомнился старик нищий, сидевший обычно на каменной скамье у дверей одной фермы. По утрам после завтрака меня часто посылали отнести ему остатки с нашего стола. Слабый, согбенный, он протягивал ко мне свои морщинистые руки и благодарил, ласково улыбаясь. Я вновь ощутил на лице дуновение утреннего ветерка, что-то свежее, как роса, снизошло с неба в мою душу... Но вдруг я открыл глаза, и при слабом свете ночника ужасная действительность вновь встала предо мною.

«И ты еще считаешь себя правым? — с омерзением спросил я себя. — О вчерашний ученик разврата! Ты плачешь и думаешь, что слезы очистили тебя? Но, может быть, то, что ты принимаешь за свидетельство своей невинности, — всего лишь угрызения совести, а какой убийца не ощущает их? Твоя добродетель кричит тебе о своих

страданиях — уж не чувствует ли она, что приходит ее конец? О несчастный! Ты думаешь, что глухие голоса, стонущие в твоём сердце, это рыдания? А что, если это крики чайки, зловещей птицы бурь, привлеченной кораблекрушением? Говорили ли тебе о детстве тех, кто умер, запянав себя кровью? Эти люди тоже были добрыми в свое время, они тоже иногда закрывали лицо руками, вспоминая о прошлом. Ты делаешь зло и раскаиваешься? Нерон тоже раскаивался, убив свою мать. Кто сказал тебе, будто слезы смывают преступление?

Но если даже так, если правда, что одна половина твоей души никогда не будет принадлежать злу, — что сделаешь ты с другой половиной? Ты будешь левой рукой ощупывать раны, нанесенные правой. Свою добродетель ты превратишь в саван и похоронишь под ним свои злодеяния. Тыпустишь в ход свой меч, а потом, как Брут, вырежешь на нем одно из напыщенных изречений Платона! В сердце существа, которое раскроет тебе объятия, ты вонзишь это разукрашенное оружие, уже носящее следы раскаяния; ты отвезешь на кладбище несчастную жертву твоих страстей, и жалкий цветок твоего сострадания быстро облетит на ее могиле. А потом ты скажешь тем, кто увидит тебя: «Что же делать! Меня научили убивать, но заметьте, что я еще способен плакать об этом и что когда-то я был лучше». Ты будешь говорить о своей юности, убеждать себя в том, что небо должно простить тебя, что твои прегрешения невольны, и, дав волю своему красноречию, ты будешь просить свои бессонные ночи, чтобы они подарили тебе хоть немного покоя.

Впрочем, как знать? Ты еще молод. Чем больше ты будешь доверяться своему сердцу, тем дальше заведет тебя гордость. Бригитта — первая жертва на твоём пути. Если завтра она умрет, ты поплачешь над ее гробом. А куда ты пойдешь, расставшись с ней? Возможно, ты отправишься месяца на три в Италию? Ты закутаешься в плащ, как англичанин, страдающий сплином, и в одно прекрасное утро, сидя в кабачке за стаканом вина, убедишь себя в том, что твое раскаяние утихло, что пора забыть то, что было,

и начать новую жизнь. Слишком поздно ты узнал слезы — берегись, как бы не настал день, когда ты совсем разочиишься плакать. Как знать? Если когда-нибудь твои страдания, которые, как тебе кажется сейчас, вполне искренни, будут встречены насмешкой, если когда-нибудь на балу красавица презрительно улыбнется, узнав, что ты еще верен памяти умершей возлюбленной, не станешь ли ты гордиться и хвастать тем, что сегодня раздирает тебе душу? Когда настоящее, которое приводит тебя в трепет и которому ты не смеешь взглянуть в лицо, делается прошлым, старой историей, смутным воспоминанием, — не станешь ли ты, развалясь в кресле за ужином среди распутников, с улыбкой рассказывать о том, что прежде вызывало у тебя слезы? Так привыкают к позору, таков обычный ход вещей здесь, на земле. В юности ты был добр, сейчас слаб, в будущем ты станешь злым.

«Мой бедный друг, — чистосердечно сказал я себе, — мне хочется дать тебе совет: пожалуй, ты должен умереть. Сейчас ты добр. Воспользуйся этой минутой, чтобы никогда больше не сделаться злым. Пока женщина, которую ты любишь, умирает здесь, на этой постели, пока ты чувствуешь отвращение к самому себе, положи руку на ее сердце — оно еще бьется, и этого довольно. Закрой глаза и не открывай их больше, пусть тебя не будет на ее погребении, — так ты избавишь себя от опасности на другой же день забыть свое горе. Ударь себя кинжалом, пока в твоей душе еще живет любовь к богу, давшему тебе эту душу. Что останавливает тебя — твоя молодость? И о чем ты жалеешь — о том, что волосы твои не успели поседеть? Пусть же они никогда не станут седыми, если не поседел этой ночью.

Да и что тебе делать на земле? Куда ты пойдешь, если выйдешь отсюда? На что надеешься, если останешься здесь? Да, я знаю, когда ты смотришь на эту женщину, тебе кажется, что в сердце твоём все еще скрыто сокровище. И, не правда ли, ты теряешь не то, что было, а скорее то, что могло бы быть? Ведь прощание особенно печально, когда чувствуешь, что не высказал всего, что мог. Так

почему же ты не высказал этого час назад? Когда часовая стрелка была немного ближе к полуночи, ты мог еще быть счастлив. Если ты страдал, то почему не открыл свою душу? Если любил, то почему не сказал об этом? Ты словно скряга, умирающий от голода над своим сокровищем. Ты запер свою дверь на засовы и теперь бьешься о них. Ты стараешься расшатать их, но они крепки, они выкованы твоими руками. О безумец! У тебя были желания, и ты осуществлял их, но ты не подумал о боге. Ты играл счастьем, как ребенок играет погремушкой, не понимая, как драгоценно и как хрупко то, что было у тебя в руках. Ты пренебрегал этим счастьем, ты смеялся над ним, ты откладывал радость обладания и не слышал молитв, которые произносил твой ангел-хранитель, желая сберечь для тебя эту мимолетную тень света! Ах, если в небесах есть у тебя такой ангел-хранитель, когда-либо бодрствовавший над тобой, то что делает он в эту минуту? Он сидит перед органом, его крылья полураскрыты, пальцы лежат на клавишах из слоновой кости. Он начинает играть бессмертный гимн, гимн любви и вечного забвения. Но вот колени его подкашиваются, крылья опускаются, голова склоняется, как сломанный тростник. Ангел смерти коснулся его плеча, и он исчезает в бесконечности.

А ты? В двадцать два года ты остаешься один на земле, тогда как благородная и возвышенная любовь, тогда как сила молодости, быть может, сделали бы тебя человеком. После стольких печалей и горестей, после стольких сомнений, после легкомысленной юности над тобой мог наконец взойти спокойный и ясный день; твоя жизнь, посвященная любимому существу, могла наконец наполниться новым содержанием, — и вот в эту самую минуту все рушится и гибнет вокруг тебя! Теперь тебя томят уже не смутные желания, а действительные сожаления, теперь у тебя уже не пустое, а опустошенное сердце! И ты колеблешься? Чего ты ждешь? Ведь ей не нужна больше твоя жизнь, и, значит, она не нужна никому. Она уходит от тебя — уйди же от себя и ты. Пусть те, кому была дорога твоя молодость, заплачут о тебе — таких не много. Пусть

тот, кто молчал, находясь рядом с Бригиттой, навсегда останется безмолвным. Пусть тот, кто проник в ее сердце, навсегда сбережет о нем воспоминание. А ведь если ты и дальше захочешь жить, тебе придется вычеркнуть его. Если ты захочешь сохранить свое жалкое существование, тебе останется один выход — окончательно осквернить память о Бригитте. Да, теперь ты лишь этой ценой можешь купить жизнь. Чтобы вынести ее бремя, тебе придется не только забыть о твоей любви, но и вообще забыть о том, что любовь существует, не только отказаться от того хорошего, что в тебе было, но даже убить все, что еще могло бы стать таким. Иначе как сможешь ты вспоминать об этом? Ты не сделаешь и шага, не засмеешься, не заплачешь, не подашь милостыни бедняку, ты не сможешь быть добрым ни одной секунды — не то вся кровь твоя, прихлынув к сердцу, крикнет тебе, что бог создал тебя добрым для счастья Бригитты. Каждый самый ничтожный твой поступок будет отзываться в тебе звонким эхом, и твое горе откликнется на него жалобным стоном. Все, что будет волновать твою душу, пробудит в ней лишь сожаление, и даже надежда, эта посланница неба, этот священный друг, призывающий нас к жизни, превратится для тебя в неумолимый призрак и сделается братом-близнецом твоего прошлого. Все твои попытки вернуться к жизни будут лишь длительными порывами раскаяния. Пробираясь во мраке, убийца прижимает руки к груди: он боится прикоснуться к чему-либо, боится, как бы его не уличили стены. То же будет и с тобой. Сделай выбор между душой и телом — надо убить либо то, либо другое. Воспоминание о добре толкает тебя к злу; стань трупом, если не хочешь стать собственной тенью. О дитя, дитя! Умри честным, чтобы люди могли плакать на твоей могиле!»

Охваченный страшным отчаянием, я упал на колени перед кроватью. Мне казалось, что я схожу с ума, я потерял всякое представление о том, где я и что со мною. В эту минуту Бригитта вздохнула во сне, слегка откинула закрывавшую ее простыню, словно она давила ее, и я увидел ее обнаженную белую грудь.

При взгляде на нее все мои чувства закипели. От боли или от страсти? Не знаю. И вдруг ужасная мысль мелькнула в моем уме — я вздрогнул. «Как! — сказал я себе. — Оставить все это другому! Умереть, быть зарытым в землю, в то время как эта белая грудь будет свободно дышать под небесным сводом? Боже праведный! Рука другого будет ласкать эту тонкую прозрачную кожу, губы другого прильнут к этим губам! Другая любовь завладеет этим сердцем! Другой будет здесь, у этого изголодавшегося! Бригитта будет жить, она будет счастлива и любима, а я буду лежать в углу кладбища и гнить в глубине черной ямы! Сколько времени понадобится ей, чтобы забыть меня, если завтра меня не станет? Сколько слез она пролетит? Быть может, ни одной! И ни единого друга, ни единого человека, который не поспешил бы сказать ей, что моя смерть — благо, не поспешил бы ее утешить, заклиная поскорее забыть меня! Если она заплачет, ее постараются развлечь; если перед ней встанет какое-нибудь воспоминание, его прогонят; если она не разлюбит меня, ее вылечат от этой любви, как от опасной болезни. А она сама!.. Быть может, в первые дни она и скажет, что хочет последовать за мной, но через месяц отвернется, увидев издали плачущую иву, посаженную на моей могиле. Да и как могло бы быть иначе?»

Может ли женщина тосковать о ком-либо, когда она так прекрасна? Если даже она захочет умереть с горя, ее прелестная грудь скажет ей, что она жаждет жить, и зеркало подтвердит это. А в тот день, когда слезы иссякнут и уступят место первой улыбке, кто не поздравит ее с выздоровлением? Когда, после недели молчания, она уже будет в силах слышать мое имя, потом, когда она сама начнет произносить его с томным взглядом, словно говорящим «утешьте меня», и, наконец, когда она уже не будет избегать воспоминаний обо мне, но не будет говорить об этом, когда прекрасным весенним утром она распахнет окно и птички запоют среди утренней росы, когда она задумается и скажет: «Я любила», — кто будет тогда возле нее? Кто осмелится сказать ей, что надо любить снова? Ах, меня уже не будет рядом с нею! Ты будешь слушать

его, изменница. Ты наклонишь головку, краснея, как роза, готовая распусться. Красота и молодость расцветут на твоём лице. Ты скажешь, что сердце твое закрылось для любви, но глаза засияют таким ярким светом, что каждый луч его будет призывать к поцелую. О, как они хотят, чтобы их любили, те женщины, которые говорят, что уже не могут любить! И что тут удивительного? Ты тоже женщина, ты знаешь цену своему телу, своей алебастровой груди, тебе не раз говорили, как она прелестна. Скрывая все это под платком, ты не думаешь, подобно девственнице, что все так же хороши, как ты, и ты знаешь цену своему целомудрию. Как может женщина, которой восхищались, отказаться от этого восхищения? Она не может жить в тени, не слыша похвал своей красоте. Да и самая ее красота — лишь отражение восторженного взгляда любовника. Да, это так! Тот, кто любил, не в состоянии жить без любви. Узнав о чьей-то смерти, человек еще больше привязывается к жизни. Бригитта любит меня и, может быть, умерла бы от этой любви, но если я убью себя, другой будет обладать ею.

Другой, другой! — повторял я, склоняясь над постелью, и лоб мой касался ее плеча. — А ведь она вдова! — подумал я. — Она уже видела смерть. Эти маленькие нежные руки уже ухаживали за больным и похоронили его. Она знает, сколько времени льются слезы, а во второй раз слез бывает меньше. О боже! Что мешает мне убить ее сейчас, пока она спит? Ведь если бы я разбудил ее сейчас и сказал, что время настало и мы должны умереть, слившись в последнем поцелуе, она согласилась бы на это. Какое же мне дело до всего остального? И разве смерть — не конец всему?»

Я нашел на столе нож и сжал его в руке.

«Страх, трусость, суеверие? Что они знают об этом, те, которые произносят эти слова? То, что говорится о загробной жизни, предназначено для толпы, для невежд, никто этому не верит в глубине души. Кто из кладбищенских сторожей видел, чтобы мертвый восстал из гроба и постучал в дверь священника? Привидения водились

лишь в прежние времена, а сейчас полиция воспретила им появляться в благоустроенных городах, и под землю стонут только живые, которых похоронили чересчур поспешно. Кто мог бы заставить смерть онеметь, если прежде она говорила? Церковным процессиям не разрешают больше мешать уличному движению — неужели поэтому небеса мирятся с забвением, в котором пребывают? Смерть — вот конец, вот цель. Бог установил ее, люди спорят о ней, но у каждого написано на челе: «Что бы ты ни делал — ты умрешь».

Что скажуг, если я убью Бригитту? Мы не услышим этого — ни она, ни я. Завтра напечатают в газете, что Октав де Т. убил свою любовницу, а послезавтра об этом будет забыто. Кто пойдет провожать нас в последний путь? Любой из этих провожатых спокойно сядет завтракать, когда вернется домой. А мы — мы будем лежать рядом в грязной, сырой земле, люди будут ходить над нами, и шум их шагов нас не разбудит. Не правда ли, моя любимая, не правда ли, нам будет хорошо там? Земля — мягкое ложе, никакие страдания не смогут настичь нас. В соседних могилах не будут судачить по поводу нашего союза. Наши мертвые кости сольются в мирном и смиренном объятии. Смерть — великая утешительница, и то, что она соединила, нельзя разъединить. Так почему бы небытие могло испугать тебя, бедное тело, давно уже обещанное ему? Ведь каждый час приближает тебя к смерти, каждый твой шаг обрушивает одну из ступенек, на которой ты только что стояло. Ты питаешься смертью, воздух давит и сокрушает тебя, земля, которую ты попираешь ногами, непреодолимо притягивает тебя к себе. Сойди же вниз, сойди! Откуда такой страх? Что тебя пугает — это слово? Так скажем просто: «Перестанем жить». Разве не приятно отдохнуть? Мы ведь так устали. Зачем колебаться, когда разница лишь в том — немногим раньше или немногим позже? Материя нетленна, — говорят нам, — и естествоиспытатели без конца терзают самую крошечную пылинку, тщетно стараясь ее уничтожить. Если материя — свойство случайности, то почему бы ей не изменить род пытки, поскольку она не

может изменить хозяина? Не все ли равно богу, в какой форме я существую и каковы внешние признаки моей скорби? Стрдание живет в моем мозгу, оно принадлежит мне, и я убиваю его, но череп не принадлежит мне, и я отдаю его тому, кто ссудил меня им: пусть поэт сделает из него кубок и пьет из него свое молодое вино!

В чем можно упрекнуть меня и кто посмеет сделать мне этот упрек? Кто тот неумолимый судия, который придет и скажет мне, что я употребил во зло свою власть? Что он знает об этом? Разве он заглянул в мою душу? Если каждое существо должно выполнить свою задачу и если отказаться от нее преступно, то самыми великими преступниками являются дети, умирающие на груди у кормилиц, — не так ли? Почему же они избавлены от этой необходимости? Кому послужит на пользу урок, если счета сводятся лишь после смерти? Очевидно, в небесах пусто, если человека наказывают за то, что он жил, ибо с него достаточно уже и того, что он должен жить, и я не знаю, кто мог задать такой вопрос, — разве только Вольтер на смертном одре: достойный и последний возглас бессилия возмущенного старого атеиста. Зачем? К чему вся эта борьба? Кто же следит оттуда, с неба, и кому нужны все эти мучительные агонии? Кто тратит время, забавляясь зрелищем вечной смены жизни и смерти? Видеть, как воздвигаются здания и как на их месте вырастает трава... Как насаждают деревья и как они падают, пораженные молнией... Как человек идет и как смерть кричит ему: «Стой!» Видеть, как текут и как высыхают слезы! Видеть, как любят, — и вот лицо уже в морщинах... Видеть, как молятся, падают ниц, просят и простирают руки, а жатва не увеличивается ни на один колос!

Кто же, кто создал все это — и для чего? Чтобы убедиться в том, что все созданное — ничто? Земля наша гибнет — Гершель говорит, что это от охлаждения. Кто же держит в руке эту каплю сгущенных паров и смотрит, как она испаряется? Так рыбак берет пригоршню морской воды, чтобы получить из нее крупинку соли. Великая сила притяжения, поддерживающая мир, истощает и подтачи-

вает его, повинувшись бесконечному стремлению. Каждая планета влачит свои горести, поскрипывая на своей оси. Все они призывают друг друга с разных концов неба и, тоскуя по отдыху, ждут, которая из них остановится первой. Бог следит за ними, и они выполняют прилежно и неизменно свою никчемную, бессмысленную работу. Они вращаются, страдают, сгорают, гаснут и зажигаются снова, опускаются и поднимаются, следуют одна за другой и избегают друг друга, сцепляются, точно кольца, и несут на своей поверхности тысячи вновь и вновь обновляющихся существ. Существа эти суетятся, тоже скрещиваются, на минуту прижимаются друг к другу, потом падают, и их место заступают другие. Туда, где угасает одна жизнь, сейчас же спешит другая; воздух устремляется в то место, где он чувствует пустоту. Нигде никакого беспорядка, все размещено, установлено, начертано золотыми буквами и огненными параболами; под звуки небесной музыки все уходит по безжалостным тропинкам жизни, и притом навсегда. И все это — ничто!

А мы, бедные безыменные призраки, бледные и печальные тени, жалкие однодневки, мы, в которых на секунду вдохнули жизнь для того только, чтобы могла существовать смерть, мы выбиваемся из сил, стремясь доказать самим себе, что тоже играем какую-то роль и что кто-то замечает нас. Мы не решаемся вонзить себе в грудь маленькое стальное оружие, не можем хладнокровно пустить себе пулю в лоб. Нам кажется, что если мы убьем себя, на земле снова воцарится хаос. Мы записали и привели в систему божеские и человеческие законы, а теперь сами боимся наших катехизисов. Мы безропотно страдаем тридцать лет, но думаем, что боремся. Наконец страдание одерживает верх, мы посылаем в святилище мысли щепотку пороха, и цветок распускается на нашей могиле».

С этими словами я приблизил нож, который был у меня в руке, к груди Бригитты. Я уже не владел собой, я был как в бреду и не знаю, что могло бы произойти дальше... Я отбросил простыню, чтобы обнажить сердце Бригит-

ты, и вдруг увидел на ее белой груди маленькое распятие из черного дерева.

Я отпрянул, пораженный страхом. Рука моя разжалась, нож упал. Это распятие Бригитте дала ее тетка, находясь на смертном одре. Правда, я не помнил, чтобы хоть раз видел его на моей возлюбленной. Должно быть, собираясь в дорогу, она надела его на шею как талисман, предохраняющий от опасностей путешествия. Я сложил руки и невольно опустился на колени.

— Господи, — сказал я дрожа, — господи, ты был тут!

Пусть те, которые не верят в Христа, прочтут эти строки. Я тоже не верил в него. Ни ребенком, ни студентом коллежа, ни взрослым человеком я не посещал церковь. Моя религия, если у меня была религия, не признавала ни обрядов, ни символов, и если я верил в бога, то в бога без образа, без культа и без откровения. Еще в юности, отравленный сомнениями прошлого века, я впил в себя скудное молоко неверия. Человеческая гордость — это божество себялюбцев — запрещала моим устам молиться, и моя испуганная душа прибегала к надежде на небытие. В то мгновение, когда я увидел на груди Бригитты изображение Христа, я был словно пьяный, я был безумен, но, не веря в него сам, я отступил, зная, что она верит в него. Не пустой страх остановил в эту минуту мою руку. Кто видел меня? Я был один во мраке ночи. Меня не связывали предрассудки света. Кто мешал мне убрать с глаз этот кусочек черного дерева? Я мог бы бросить его в камин, а я бросил свой нож. Ах, как велико было мое потрясение в эту минуту, какой глубокий след оставило оно в моей душе! Как жалки люди, оскорбляющие насмешкой то, что может спасти человека! Что нам до названия, до формы, до догмата веры? Все, что служит добру, священно для нас. Как смеем мы касаться бога?

Подобно тому как под лучами солнца снег сходит с гор и глетчер, грозивший небу, превращается в ручеек, поющий в долине, — в сердце моем открылся живительный источник. Струя раскаяния растворила в себе мои страдания. Я едва не совершил преступления, и все же, как толь-

ко рука моя выронила оружие, я почувствовал, что сердце мое невинно. Одно мгновение вернуло мне спокойствие, силы и рассудок. Я снова подошел к постели, склонился над своим сокровищем и поцеловал распятие.

— Спи с миром, — сказал я. — Да хранит тебя бог! Улыбаясь во сне, ты только что избежала самой страшной опасности, какая когда-либо тебе угрожала. Но рука, которая поднялась на тебя, больше никому не причинит зла. Я не убью ни тебя, ни себя — клянусь в этом! Я сумасброд, безумец, ребенок, возомнивший себя мужчиной. Благодарение богу, ты жива, ты молода и прекрасна, и ты забудешь меня. Если сможешь, ты простишь мне зло, которое я тебе причинил, и исцелишься. Спи с миром до утра, Бригитта, а утром ты решишь нашу судьбу. Каков бы ни был твой приговор, я безропотно подчинюсь ему. А ты, Иисус, спасший ее, прости меня и скрой от нее то, что произошло. Я родился в нечестивый век, и мне еще многое надо искупить. Бедный забытый сын божий, меня не научили тебя любить. Я никогда не искал тебя в храмах, но, хвала небу, я еще не разучился трепетать там, где вижу тебя. Я счастлив, что хоть раз, перед тем как умереть, приник губами к твоему изображению, покоившемуся на сердце, переполненном тобою. Оберегай же это сердце до его последнего вздоха, не покидай его, священный защитник, помни, что один несчастный не посмел умереть от собственной скорби, увидев тебя, пригвожденного к кресту. Ты спас безбожника от преступления. Будь он верующим, ты бы утешил его. Ты вселил в него раскаяние, прости же тех, кто отнял у него веру. Прости всех тех, кто богохульствует. Должно быть, в минуту отчаяния они никогда не видали тебя. Людские радости безжалостны в своем презрении. О Христос, счастливыцы мира сего полагают, что им никогда не придется прибегнуть к тебе! Прости им: ведь если их гордость оскорбляет тебя, то рано или поздно слезы все равно приведут их к тебе. Пожалей их за то, что они считают себя защищенными от бурь и, чтобы обратиться к тебе, нуждаются в суровых уроках несчастья. Наша мудрость и наш скептицизм — громоздкие

игрушки в руках ребенка. Прости нас за то, что мы возомнили себя безбожниками, прости, ты, улыбающийся на Голгофе. Худшая из всех наших мимолетных слабостей — тщеславная попытка забыть тебя. Но ты видишь, все это тени, которые рассеиваются от одного твоего взгляда. Ведь ты и сам был человеком, именно страдание сделало тебя богом. Орудие пытки вознесло тебя на небо — прямо в объятия твоего всемогущего отца. Нас тоже приводят к тебе страдания, и лишь в терновом венце мы приходим поклониться твоему изображению. Мы касаемся твоих окровавленных ног окровавленными руками — ведь ты принял муку, чтобы несчастные возлюбили тебя.

Первые лучи утренней зари начинали проникать в комнату. Понемногу все просыпалось, воздух наполнялся отдаленными неясными звуками. Чувствуя полное изнеможение, я собирался оставить Бригитту и немного отдохнуть. Когда я выходил из комнаты, брошенное на кресло платье соскользнуло на пол возле меня, и из его складок выпал сложенный листок бумаги. Я поднял его. Это было письмо, и я узнал почерк Бригитты. Оно не было запечатано, я развернул его и прочитал следующие строки:

«23 декабря 18..

Когда вы получите это письмо, я буду далеко от вас, а может быть, вы никогда не получите его. Судьба моя связана с судьбой человека, которому я всем пожертвовала. Жизнь без меня для него невысказана, и я постараюсь умереть для него. Я люблю вас, прощайте, пожалуйста о нас обоих».

Прочитав письмо, я посмотрел на адрес: «Г-ну Анри Смигу, в г. Н., до востребования».

ГЛАВА 7

На следующий день в двенадцать часов, при свете яркого декабрьского солнца, молодой человек и молодая женщина проходили под руку по саду Пале-Рояля. Минував его, они вошли в ювелирную лавку и, выбрав там два

одинаковых кольца, с улыбкой обменялись ими. Затем, немного погуляв, они зашли позавтракать к «Братьям провансальцам» и поднялись в одну из тех мансард, откуда во всей своей широте открывается чудеснейший в мире вид. Отослав лакея и оставшись наедине, они подошли к окну и нежно пожали друг другу руки. Молодой человек был в дорожном костюме. Судя по радости, отражавшейся на его лице, можно было принять его за новобранца, впервые показывающего молодой жене жизнь и развлечения Парижа. Его веселость была спокойной и ровной, такой, какая обычно сопутствует счастью. Человек опытный сразу узнал бы в нем мальчика, который становится мужчиной, начинает с большим доверием относиться к людям и закаляет свое сердце. Время от времени взгляд молодого человека обращался к небу, потом снова падал на подругу, и в глазах его блистали слезы, но он не мешал им литься и улыбался, не вытирая их. Молодая женщина была бледна, задумчива и не отрываясь смотрела на своего друга. Лицо ее носило следы глубокого страдания, которое не пыталось спрятаться под маской, но в то же время не могло устоять перед веселостью молодого человека. Когда он улыбался, она тоже улыбалась, но ни разу не улыбнулась первая; когда он обращался к ней, она отвечала, она ела то, что он предлагал, — но в душе ее царил какое-то безмолвие, которое оживало лишь в редкие минуты.

В ее томности и уступчивости просвечивала та душевная мягкость, та дремота, которая является неотъемлемым свойством более слабого из двух любящих существ, когда одно живет только в другом и сердце его — лишь отголосок сердца друга. Молодой человек хорошо понимал это и, казалось, был исполнен гордости и благодарности, но именно эта гордость и показывала, что его счастье было для него ново. Когда его спутница внезапно становилась печальна и опускала взор, он, чтобы ее ободрить, силился принять уверенный и решительный вид, но это не всегда ему удавалось, и порой спокойствие ему изменяло. Посторонний наблюдатель ни за что не смог бы понять

эту смесь силы и слабости, радости и горя, смятения и покоя. Можно было принять эту пару за два счастливейших и вместе с тем за два несчастливейших создания в мире, но, даже и не зная их тайны, нельзя было не почувствовать, что они много выстрадали вместе и что, каково бы ни было их неведомое горе, они скрепили его печатью более могущественной, чем сама любовь, — печатью дружбы. Они пожимали друг другу руки, но взгляды их оставались чистыми. Они были совершенно одни и все-таки говорили вполголоса. Словно подавленные бременем своих мыслей, они склонялись друг к другу, но губы их не сливались в поцелуе. Нежно и торжественно они смотрели друг на друга, как двое слабых, которые хотят вступить на путь добра. Когда пробил час пополудни, молодая женщина глубоко вздохнула.

— Октав, — сказала она, не глядя на своего собеседника, — что, если вы ошиблись!

— Нет, друг мой, — ответил молодой человек. — Поверьте мне, я не ошибся. Вам придется страдать много, быть может, долго, а мне — всю жизнь, но мы оба найдем исцеление: вас исцелит время, меня — смерть.

— Октав, Октав, — повторила молодая женщина, — уверены ли вы в том, что не ошиблись?

— Я не думаю, дорогая Бригитта, чтобы мы могли когда-нибудь забыть друг друга, но мне кажется, что сейчас мы еще не можем простить друг другу, а к этому нужно прийти во что бы то ни стало, даже если нам суждено никогда больше не видеться.

— Отчего бы нам и не увидеться снова? Отчего когда-нибудь... Вы еще так молоды! — И она добавила с улыбкой: — Мы сможем спокойно увидеться после первого же вашего увлечения.

— Нет, друг мой, когда бы мы ни встретились, я не перестану любить вас — знайте это. Только бы тот, кому я вас оставляю, кому отдаю вас, мог оказаться достойным вас, Бригитта. Смит славный, добрый и честный человек, но, как бы вы ни любили его, вы все еще любите и меня —

ведь, если б я пожелал остаться или увезти вас, вы бы согласились?

— Это правда, — ответила молодая женщина.

— Правда? Правда? — повторил молодой человек, и вся душа его вылилась в его взгляде. — Правда, что если б я захотел, вы поехали бы со мной? — И он спокойно добавил: — Вот почему мы никогда больше не должны встречаться. В жизни бывают увлечения, которые будоражат мозг и чувства, ум и сердце. Но есть такая любовь, которая не волнует, — она проникает в глубь человека и умирает лишь вместе с существом, в котором пустила корни.

— Но вы будете писать мне?

— Да, в первое время — ведь страдания, которые мне предстоят, настолько жестоки, что полное отсутствие всего того, что я любил и к чему привык, могло бы теперь убить меня. Когда вы почти не знали меня, я лишь постепенно, осторожно подходил к вам, подходил не без страха... затем наши отношения стали более короткими... и наконец... Но не будем говорить о прошлом. Постепенно мои письма сделаются реже, и наступит день, когда они совсем прекратятся. Вот так я спущусь с горы, на которую начал подыматься год назад. В этом будет много грусти, но, пожалуй, и некоторое очарование. Остановившись на кладбище перед зеленеющей могилой, где вырезаны два дорогих имени, мы испытываем таинственную скорбь, и из глаз наших льются слезы, но эти слезы лишены горечи, — мне хотелось бы с таким же чувством вспоминать о том, что и я жил когда-то.

При этих словах молодая женщина опустила в кресло и зарыдала. Молодой человек тоже плакал, но стоял неподвижно, словно не желал заметить свое горе. Когда их слезы иссякли, он подошел к своей подруге, взял ее руку и поднес к губам.

— Поверьте мне, — сказал он, — ваша любовь, как бы ни называлось чувство, которое живет в вашем сердце, придает силу и мужество. Не сомневайтесь, дорогая Бригитта, никто не поймет вас лучше, чем понимал я. Другой будет любить вас с большим достоинством, но никто не

будет любить вас так глубоко. Другой будет бережно относиться к тем чертам вашего характера, которые я оскорблял, он окружит вас своей любовью: у вас будет лучший любовник, но не будет более нежного брата. Дайте же мне руку, и пусть свет смеется над высокими словами, которые недоступны его пониманию: «Останемся друзьями и простимся навеки». Задолго до того, как мы впервые ждали друг друга в объятиях, какая-то часть нашего существа уже знала о том, что мы будем близки. Так пусть же эта часть нашего «я», соединившаяся перед лицом неба, не знает о том, что мы расстаемся здесь, на земле. Пусть ничтожная мимолетная ссора не пытается разрушить наше вечное счастье.

Он держал руку молодой женщины в своей руке, лицо ее было еще влажно от слез. Она встала, подошла к зеркалу, с какой-то странной улыбкой вынула ножницы и отрезала свою длинную косу — лучшее свое украшение. С секунду она смотрела на свою обезображенную прическу, затем отдала эту косу возлюбленному.

Снова раздался бой часов, пора было уходить. Когда они шли обратно по галерее Пале-Рояля, лица их были так же веселы, как утром.

— Какое чудесное солнце, — сказал молодой человек.

— И чудесный день... — ответила Бригитта. — Пусть же ничто не изгладит воспоминания о нем здесь!

И она прижала руку к сердцу. Они пошли быстрее и затерялись в толпе.

Час спустя почтовая карета спускалась с невысокого холма у заставы Фонтенбло. Молодой человек сидел в ней один. Он в последний раз взглянул на свой родной город, видневшийся в отдалении, и порадовался тому, что из трех человек, страдавших по его вине, только один остался несчастным.

Новеллы

I

Вы, конечно, помните, сударыня, свадьбу мадемуазель Дюваль? Правда, говорили об этом браке один лишь день, как это всегда и бывает в Париже, но все же он явился событием в известных кругах. Если память мне не изменяет, замужество девицы Дюваль состоялось в 1825 году. Она тогда только что вышла из монастырского пансиона, ей было восемнадцать лет, и у нее имелось восемьдесят тысяч франков годового дохода. У г-на Марсана, ее жениха, не было ровно ничего, кроме графского титула и некоторых надежд получить звание пэра после смерти дяди, — однако Июльская революция разбила эти надежды. Состояния у него не было никакого, бурно прожитая молодость осталась уже за плечами. Говорят, он жил в меблированных комнатах на шестом этаже, прямо оттуда и отправился в церковь Сен-Рок, чтобы повести невесту к алтарю; зато после венчанья карета отвезла его в один из лучших особняков предместья Сент-Оноре. Станный брак, по видимости заключенный весьма опростоволупно! Он вызвал множество толков, но все домыслы оказались неверными, так как ни один не был простым: ведь досужим умам непременно хотелось найти какую-нибудь необыкновенную причину столь необычного союза. Необходимо привести кое-какие обстоятельства, ему предшествовавшие, — они к тому же дадут некоторое представление о нашей героине.

Эммелина росла самым шаловливым, самым прилежным, болезненным и упрямым ребенком и к пятнадцати

годам вытянулась в высокую, стройную девушку, беленькую, румяную и весьма независимого нрава. Она отличалась ровным характером и большой беспечностью, предметом ее желаний неизменно было лишь то, что затрагивало ее сердце. Эммелина не знала никакого принуждения, всегда занималась одна и только так, как ей заблагорассудится. Хорошо зная свою дочку, г-жа Дюваль сама потребовала для нее этой свободы, которая отчасти возмещала отсутствие руководства: природная пламенная любознательность и влечение к наукам — лучшие учителя для благородных умов. Эммелина была наделена серьезным складом ума и вместе с тем жизнерадостностью, а благодаря юному возрасту последнее качество перевешивало. При всей своей склонности к «философствованию» она обрывала самое глубокое свое раздумье шуткой и уже видела одну только комическую сторону вопроса. Она заливалась звонким смехом, хотя была в комнате одна, а в пансионе ей нередко случалось будить среди ночи соседку своею шумной веселостью.

Эммелина обладала богатым, гибким воображением и казалась слегка восторженной; целые дни она рисовала или писала, а вспомнится ей любимый мотив, она тотчас все бросит, сядет за фортепьяно и раз по сто на все лады играет для себя понравившуюся мелодию; она была не из болтливых и, не отличаясь чрезмерной доверчивостью, не стремилась к дружеским излипаниям: какая-то стыдливость удерживала ее от разговоров о своих чувствах. Она любила собственным умом разгадывать те мелкие загадки, какие в жизни человеческой встают на каждом шагу, и — странное дело! — находила в этом большое удовольствие, о чем окружающие и не подозревали. Но чувство собственного достоинства всегда ставило границы ее любопытству — и вот один из многих примеров, доказывающих это ее свойство.

Весь день она проводила за своими занятиями в библиотеке, где в больших застекленных шкафах стояло около трех тысяч томов. Ключи всегда торчали в замочной

скважине, но Эммелина дала обещание не дотрагиваться до них. Она самым честным образом сдержала слово, и это можно поставить ей в заслугу, ибо ее обуревала смертельная жажда все узнать. Пожирать книги взглядами ей не было запрещено, и поэтому она затвердила наизусть все их заглавия, она изучила таким способом все полки, одну за другой, и, чтобы дотянуться до самой верхней, ставила стул на стол и взбиралась на него; спросили бы вы у нее любой том, она достала бы его с закрытыми глазами. У нее были любимые писатели, о которых она судила по названиям их книг, и, конечно, жестоко при этом ошибалась. Но речь сейчас не о том.

В библиотеке ее столик стоял у высокого окна, выходящего в довольно темный двор. Восклицание одного близкого знакомого, друга ее матери, открыло Эммелине глаза — только тогда она заметила, как уныла эта комната, сама же она никогда не чувствовала воздействия внешней обстановки на свое расположение духа. Людей, придающих значение тому, что составляет внешний уют, она относилась к разряду маньяков. Всегда она ходила с непокрытой головой, не боясь ни солнца, ни ветра, трепавшего ей волосы, и бывала очень довольна, если дорóгой попадет под дождь и вымокнет до нитки; в деревне она со страстью занималась упражнениями, требующими физических усилий, как будто в них была для нее вся жизнь. Ей ничего не стоило проскакать на лошади семь-восемь лье; в пешеходных прогулках она была всегда впереди всех; она превосходно бегала, лазила по деревьям и досадовала, что из приличия люди не ходят по парапетам набережных, вместо того чтобы чинно шагать по тротуару, и не съезжают по перилам лестниц. А сверх того она любила, живя летом в поместье матери, одна уходить в поле, куда-нибудь далеко, чтобы на приволье любоваться природой и не видеть вокруг себя ни одной живой души. Любовь к уединенным уголкам и удовольствие, которое ей доставляли прогулки в ужасную погоду, исходили из уверенности, говорила она, что *никто не пойдет для моциона разыскивать ее*. Эта

странная мысль увлекала ее в весьма дальние прогулки; усевшись в лодку, она пускалась в плавание вниз по течению реки, которая пересекала парк, а выбравшись из него, отважная девица сама не знала, куда она держит путь и где пристанет к берегу. Как позволяли ей домашние подвергать себя таким опасностям? Не берусь ответить на этот вопрос.

Сумасбродка Эммелина была еще вдобавок и большая насмешница. Родной ее дядя, человек превосходный, отличался тучностью и круглой глуповатой, вечно улыбающейся физиономией. Племянница уверила дядюшку, что чертами лица и умом она вышла вся в него, и приводила уморительные доказательства такого сходства. Достоуважаемый человек питал поэтому беспредельную нежность к своей племяннице. Она играла с ним как с ребенком, бросалась ему на шею, когда он приходил, взбиралась к нему на плечи. И до какого возраста длились такие ребячества? Этого я тоже не могу сказать. Любимой забавой маленькой шалуньи было заставить дядюшку, лицо, в общем, довольно сановитое и важное, читать ей вслух — дело для него оказывалось нелегким, так как он не видел в книгах никакого смысла и по-своему расставлял в них пунктуацию; посередине фразы он обязательно делал остановку, так как к этому времени у него уже не хватало дыхания. Можете себе представить, какая получалась галиматья! Девочка умирала от смеха. Должен, впрочем, добавить, что в театре она иной раз смеялась на мелодрамах и приходила в уныние на самых веселых фарсах.

Прошу у вас извинения, сударыня, за все эти пустячные подробности, которые, в конце концов, рисуют нам лишь портрет избалованного ребенка. Но благодаря им вы поймете, что такая натура позднее должна была во всем действовать по-своему, — иначе, чем обычно поступают люди.

Когда Эммелине исполнилось шестнадцать лет, вышеупомянутый дядюшка отправился путешествовать по Швейцарии и взял с собой племянницу. При виде гор Эм-

мелина словно лишилась рассудка, так бурно она выражала свои восторги. Она кричала, выскакивала из коляски, погружала свое личико в прозрачную воду ключа, бывшего из скалы. Ей хотелось взобраться по отвесной круче на острые горные вершины, спуститься к потокам, бурлившим в пропастях; она подбирала камешки, срывала с утесов мох; как-то раз, войдя в крестьянскую хижину, она ни за что не захотела уходить оттуда — пришлось чуть ли не силой ее увести; и когда ее усадили в коляску, она кричала крестьянам: «Ну, дорогие, ну, милые мои друзья, зачем вы позволяете увезти меня?»

Когда она появилась в свете, у нее еще не было и тени кокетства. Разве это дурно, что девушка вступает в жизнь, не вооруженная великими правилами житейской мудрости? Не знаю. А разве не случается, что зачастую, предостерегая от опасности, как раз и наталкивают на нее? Свидетельством тому могут послужить иные бедняжки, которым наговорили о любви таких ужасов, что стоит им войти в гостиную — у них уже все фибры сердца напряжены от страха и, как струны эоловой арфы, отзываются на самый легкий вздох. В делах любви Эммелина была невежественна. Она прочла несколько романов, набрала там целую коллекцию фраз, которые называла «дурацкими сантиментами», и потешалась над ними. Насмешливая девица дала себе слово жить в качестве зрительницы комедии. Она совсем не думала ни о своей внешности, ни о нарядах, собираясь на бал, надевала газовое платье так же равнодушно, как охотничий костюм, прикалывала цветок к волосам, не думая, идет ли он к ее прическе, и, ни единой минутки не повертевшись перед зеркалом, весело спешила к карете. Вы, конечно, понимаете, что при таком приданом, как у нее (состояние ее было значительным еще при жизни матери), Эммелине ежедневно предлагали женихов. Каждому она производила смотр и отказывала; всякий раз этот экзамен претенденту служил для нее поводом к беспощадным насмешкам. Она умела смеяться человека взглядом с такой самоуверенностью, какую

не часто встретишь у девушек ее возраста; а вечером, запершись со своими подружками, изображала в лицах утреннее свидание; при ее природном даре подражания сцена приобретала необыкновенно комический характер. У одного жениха был, по ее уверениям, растерянный вид, другой — настоящий фат; один говорит гнусаво, другой не умеет как следует поклониться. Взяв в руки шляпу своего дядюшки, она входила в комнату, садилась в кресло и, как это водится при первом визите, заводила речь о погоде, потом постепенно подходила к брачному вопросу и вдруг, оборвав представление, разражалась хохотом; веселый смех — таков был ответ всем искателям ее руки.

Но вот настал день, когда она долго стояла перед зеркалом и с большим вниманием прикалывала цветы к своему корсажу. В этот день она была приглашена на званый обед, и горничная, подав ей новое платье, услышала досадливое замечание молодой хозяйки, что платье сшито безо всякого вкуса. И тут Эммелине вспомнились слова старинной песенки, которой няня в детстве баюкала ее:

А ежели хотим поклонника пленить,
Знать, сами мы готовы полюбить.

Вдумавшись в эти слова, Эммелина вдруг почувствовала необычайное волнение. Весь вечер она была задумчива, и впервые окружающие нашли, что она грустна.

Г-н Марсан тогда только что прибыл из Страсбурга, где стоял его полк; он отличался редкостной мужественной красотой и энергичным выражением лица. Впрочем, вы его знаете. Мне неизвестно, был ли он на званом обеде, на котором Эммелина появилась в новом платье, зато я знаю, что он получил приглашение на охоту, устроенную г-жой Дюваль в ее превосходном поместье близ Фонтенбло. Эммелина тоже участвовала в развлечении. В ту минуту, когда въезжали в лес, лошадь Эммелины, испугавшись резкого звука охотничьего рога, понесла. Привыкнув справляться с норовистыми лошадьми, Эмма сдержала своего скакуна, а потом решила его наказать. Но слиш-

ком сильный удар хлыстом едва не стоил ей жизни. Горячий конь понесся по полю во весь опор и помчал неосторожную всадницу прямо к глубокому оврагу. Г-н Марсан, соскочив с седла, бросился наперерез и остановил лошадь — она грудью толкнула его, он упал и сломал себе руку.

С этого дня характер Эммелины круто изменился. Ее привычная веселость сменилась какой-то странной рассеянностью. В скором времени г-жа Дюваль умерла, ее поместье с охотничьими угодьями было продано, и кое-кто говорил, что в предместье Сент-Оноре юная девица Дюваль неизменно приподнимала штору в тот час, когда красавец Марсан проезжал верхом на лошади, направляясь на Елисейские Поля. Как бы то ни было, через год Эммелина объявила родным о своем непоколебимом решении выйти за него. Нечего и говорить, какой шум и возмущение это вызвало и как все старались отговорить Эммелину. Полгода родня упорно сопротивлялась, но все слова и действия оказались напрасными — пришлось уступить, и девица Дюваль стала графиней де Марсан.

II

После свадьбы к Эммелине возвратилась веселость. Довольно любопытное зрелище — видеть, как девушка, выйдя замуж, вновь становится девочкой. В дни борьбы за свою любовь Эммелина была ни жива ни мертва, а лишь только она победила, жизнерадостность ее вновь забила ключом, как ручей, преодолевший преграду, которая на миг остановила его быстрые струи.

Но милые ребячества оживляли теперь не темную девичью комнатку — рамкой для них служили роскошные покои особняка Марсанов и строгие светские салоны, и вы, конечно, представляете себе, какое впечатление они там производили. Граф, человек серьезный, а иногда даже угрюмый, уныло сопутствовал молодой жене при ее выездах в свет; Эммелина же над всем посмеивалась, ни о

чем не заботясь. Сначала супругам удивлялись, потом о них шушукались, а потом привыкли, как привыкают ко всему. Г-н Марсан, считавшийся незавидным женихом, в качестве мужа приобрел весьма солидную репутацию. Впрочем, если бы и нашлись суровые судьи, кого бы не обезоружила приветливая веселость Эммелины? Дядюшка Дюваль постарался разгласить под сурдинку, что состояние его племянницы защищено статьями брачного контракта от посягательства на него со стороны супруга и повелителя Эммелины. Свет удовлетворился этим любезным доверительным сообщением, а о загадочных обстоятельствах, которые предшествовали браку и привели к нему, стали говорить как о женской прихоти, и сплетники сочинили тут целый роман.

Однако любопытные спрашивали себя втихомолку — какие же необыкновенные достоинства г-на Марсана могли так очаровать богатую невесту, что она решилась на столь великое безрассудство. Неудачникам, которым не повезло в жизни, нелегко свыкнуться с мыслью, что можно бросить к ногам бедного человека двухмиллионное состояние, не имея на то особых, чуть ли не сверхъестественных причин. Эти несчастные, видимо, не знают, что если большинство людей преклоняется перед богатством, то встречаются молодые девушки, которые и понятия не имеют о значении денег, тем более если эти юные особы богаты от рождения и если отец наживал деньги не у них на глазах. Так было и с Эммелиной: она вышла за г-на Марсана потому, что он ей понравился, и потому, что у нее не было ни отца, ни матери — некому было удержать ее, но о разнице в состоянии она не подумала ни разу. Г-н Марсан очаровал ее своей внешностью — красотой и силой. Он совершил ради нее, да еще у нее на глазах, героический поступок, а ведь от одного этого может забиться девичье сердце. И так как природная жизнерадостность иной раз прекрасно уживается с романтичностью, сердце Эммелины полно было восторженного чувства. Сумасбродка графиня любила своего мужа до безумия, ника-

кие сокровища, по ее мнению, не были достойны его, а когда она шла с ним под руку, ничто в мире не заставило бы ее обернуться.

Прошло четыре года после свадьбы; супруги редко бывали в светѣ. Они сняли загородный дом на берегу Сены, близ Мелена. В тех краях несколько деревушек носят название «Майская»; дом, очевидно, был построен на месте старой мельницы, потому его и назвали «Майская мельница». Это был очаровательный уголок, вид оттуда открывался чудесный. По высокому левому берегу реки шла аллея, обсаженная тополями, а из сада вел к реке спуск по склону зеленого холма.

За домом находился птичий двор, содержавшийся в большой опрятности, с весьма нарядными строениями для птиц, и посредине их был расположен домик для фазанов. Вокруг «Майской мельницы» зеленел огромный сад, сливавшийся с лесом Ла-Рошет. Вам знаком, сударыня, этот парк, а помните вы «Аллею вздохов»? Не знаю, почему ей дали такое название, но, по моему, оно очень подходит к этой аллее. Когда солнце пробивается сквозь густую зелень ветвей, сплетающихся зеленым шатром над узкой дорожкой, и вы одиноко прогуливаетесь там в знойный полдень, наслаждаясь прохладной тенью и видя перед собою бесконечную пустынную галерею, у вас на душе как-то тревожно и вместе с тем светло, и невольная задумчивость овладевает вами.

Эммелина терпеть не могла этой аллеи за то, что она чересчур «меланхолична», и, говоря о ней, дурачилась, как школьница. Зато она восхищалась птичьим двором и ежедневно проводила там два-три часа, играя с ребятами фермера. Боюсь, что моя героиня покажется вам глупенькой, если вы узнаете, что гости, приезжавшие на «Майскую мельницу», заставляли иной раз графиню Марсан на верхушке стога сена, где она с увлечением орудовала огромными вилами, не обращая внимания на то, что прическа ее растрепалась и высохшие травинки запутались у нее в волосах. Однако надо сказать, что, завидев

гостей, она, вспорхнув, словно птица, мгновенно оказывалась на земле; не успели вы наглядеться на взбалмошную девчонку, как перед вами уже была хозяйка дома, графиня, принимавшая вас у себя с чарующим радушием, за которое ей можно было многое простить.

Если ее не находили на птичьем дворе, тогда надо было искать в глубине парка, на зеленом холмике среди «скал»; это была игрушечная «пустыня», уединенный уголок, как у Руссо в Эрменонвиле, — три камешка и кустик вереска. Усевшись там в тени, она пела во весь голос, читая «Надгробные слова» Боссюэ или другой столь же душеспасительный труд. Если ее и там не оказывалось, значит, она каталась верхом где-нибудь среди виноградников, заставляя мирную деревенскую лошадку скакать через канавы и подпорки, поддерживающие виноградные лозы, с невозмутимым хладнокровием дрессируя для своей забавы бедную клячу. Если же Эммелины не было ни на виноградниках, ни в «пустыне», ни на птичьем дворе, она наверняка сидела за фортепьяно, разбирая какой-нибудь новый клавираусцуг. Вытянув шейку, она впивалась глазами в черные значки, и от волнения у нее дрожали руки; она вся была поглощена чтением нот, вся трепетала от радостного ожидания: вот сейчас под ее пальцами зазвучит прекрасная мелодия, звуки сложатся в стройную музыкальную фразу. Но если и табурет, стоявший перед фортепьяно, пустовал, — вы, несомненно, увидели бы хозяйку дома у камелька: вот она, бросив у огня диванную подушку, примостилась на ней и помешивает щипцами раскаленные угли. Рассеянный взгляд ее ищет в прожилках мраморной облицовки камина, на которой дрожат отсветы пламени, человеческие лица, фигуры фантастических животных, пейзажи, — множество образов питает ее грезы; забывшись в этом созерцании, она порой не замечает, что раскаленные щипцы прожигают ей носок туфли.

«А ведь она и в самом деле сумасбродка», — скажете вы. Что ж, сударыня, я ведь не роман сочиняю, и вы прекрасно это заметили.

Но так как, невзирая на свое сумасбродство, Эммелина была еще и умна, у нее как-то незаметно, без всяких стараний с ее стороны, составилась собственный кружок из умных людей, собиравшихся в ее доме. Г-ну де Марсану в 1829 году пришлось выехать в Германию по делу о наследстве, которое, кстати сказать, ничего ему не принесло. Не пожелав взять с собою жену, он доверил ее попечениям своей тетки, маркизы д'Эннери, и та приехала на «Майскую мельницу».

Г-жа д'Эннери любила светскую жизнь; она была прекрасна в прекрасные дни Империи и до сих пор все еще выступала с шаловливым достоинством, словно влачила за собой длинный шлейф нарядного платья. Старый веер с блестками, неразлучный спутник маркизы, служил ей ширмочкой, из-за которой лукаво выглядывали только ее глаза, когда она позволяла себе отпустить какую-нибудь вольную шуточку, что случалось довольно часто; но она никогда не забывала о правилах приличия и, лишь только опускала веер, тотчас опускала долу и глаза. Сначала ее взгляды и речи до крайности удивляли Эммелину, ибо при всех своих сумасбродствах г-жа де Марсан была на редкость чиста душой. Забавные рассказы маркизы, ее воззрения на брак, улыбочки, с которыми она говорила о знакомых супружеских парах, унылые возгласы «уввы!» в повествовании о ее собственной невозвратной молодости — все это поражало Эммелину, и она то впадала в глубокое раздумье, то предавалась безудержной радости, — словно в детстве, когда ей читали вслух какую-нибудь захватывающую волшебную сказку.

Старухе маркизе показали «Аллею вздохов», и это место ей, само собой разумеется, понравилось; прохаживаясь с ней по дорожке, Эммелина сквозь целый ливень вздорных глупостей смутно видела в рассказах старухи самую суть вещей, то есть, попросту говоря, — образ жизни парижан.

Они прогуливались вдвоем каждое утро и доходили до леса Ла-Рошет; г-жа д'Эннери тщетно пыталась заставить

племянницу рассказать историю ее любви и всячески пыталась у нее, что же происходило в тот таинственный год, когда девица Дюваль встретила в Париже г-на де Марсана и он стал за ней ухаживать; маркиза спрашивала, смеясь, бывали ли у них свидания, поцеловались ли они хоть раз до свадьбы — словом, как зародилось меж ними пламя страсти. Эмелина всю свою жизнь хранила об этом молчание; может быть, я ошибаюсь, но, мне кажется, тут причиной было то, что она ни о чем не могла говорить без насмешки, а шутить над этим она не желала. Видя, что все ее старания напрасны, старуха переменяла тактику и однажды спросила, жива ли еще в сердце Эмелины, после четырех лет супружества, столь необычная любовь.

— Люблю его все так же, как и в первый день, — ответила Эмелина, — и буду любить до последнего дня жизни.

Услышав эти слова, г-жа д'Эннери остановилась и торжественно поцеловала племянницу в лоб.

— Дорогое дитя, — сказала она, — ты заслуживаешь счастья, а как должен быть счастлив человек, любимый тобой! — Произнеся напыщенным тоном это изречение, она сразу разжала объятия и, выпрямившись, добавила игриво: — А мне казалось, что господин де Сорг умильно на тебя поглядывает.

Г-н де Сорг был молодой щеголь, поклонник моды, заядлый охотник и знаток лошадей; он часто приезжал на «Майскую мельницу» — скорее к графу, чем к его жене. Правда, он довольно умильно поглядывал на графиню, но какой же повеса, находясь в двенадцати лье от Парижа, не посматривает ласково на любую хорошенькую женщину? Эмелина никогда не обращала на него никакого внимания, только заботилась как хозяйка дома, чтобы ему было хорошо. Он был ей совершенно безразличен, а после замечания тетушки она втайне возненавидела его и не могла подавить в себе это чувство. Но случилось так, что именно в день разговора о нем с маркизой, возвращаясь домой, она увидела во дворе уже знакомую ей карету г-на де Сорга. Через минуту появился и он сам и, поздоровав-

шись с Эмелиной, выразил сожаление, что слишком поздно возвратился из деревни, где он провел лето, и поэтому уже не застал г-на де Марсана. При виде этого человека Эмелина не могла скрыть некоторой взволнованности, вызванной не то отвращением, не то глубоким удивлением, — она покраснела, и гость это заметил.

В качестве постоянного посетителя Оперы и человека, содержащего двух-трех фигуранток, которым он давал по сто экю в месяц, г-н Сорг мнил себя истым донжуаном и считал необходимым выдерживать эту роль. Направляясь к столу, он решил узнать, насколько графиня де Марсан увлечена им, и для испытания крепко сжал ей руку. Она вздрогнула всем телом, так новы были для нее подобные впечатления; для самодовольного фата этого было вполне достаточно, он опьянел от гордости.

Целый месяц тетушка уверяла, что г-н де Сорг — «обожатель» Эмелины, это был неистощимый источник старомодных шуточек и насмешек, которые Эмелина выслушивала скрепя сердце, лишь по доброте сердечной заставляя себя терпеть все это. По каким причинам старухе маркизе был любезен «обожатель» Эмелины, а что в нем нравилось ей меньше — этого, к счастью или к несчастью, невозможно не только сказать, а даже и угадать. Но нетрудно себе представить, какое действие производили на Эмелину тетушкины воззрения; старуха подкрепляла их примерами, почерпнутыми в современной истории нравов и принципами благовоспитанных людей, которые искусны в науке любви, как учитель танцев в фигурах кадрили. В книге, столь же опасной, как и те связи, о которых говорит ее название, есть одна глубокая мысль, пожалуй, недостаточно оцененная: «Ничто так не развращает молодую женщину, — говорится там, — как уверенность в развращенности тех людей, коих она обязана уважать». Однако речи г-жи д'Эннери пробуждали в душе Эмелины совсем иные чувства. «Что мне делать, — думала она, — если свет так устроен?» Постоянно ее тревожили мысли об отсутствующем муже; ей так хотелось, чтобы он был под-

ле нее, когда она мечтает у огня; по крайней мере, можно было бы посоветоваться с ним, спросить у него правду — он, должно быть, знает жизнь, ведь он мужчина; Эммелина чувствовала, что ей не надо бояться той правды, которую она услышит из любимых уст.

Она решила написать мужу и пожаловаться ему на тетушку. Письмо было написано и запечатано, и Эммелина уже собиралась послать его, как вдруг по странному свойству своего характера она, смеясь, бросила это послание в огонь. «До чего я глупа! Нашла о чем беспокоиться! — сказала она про себя с обычной своей веселостью. — Неужели я испугалась этого красавчика с умильным взором?» Как раз в эту минуту вошел г-н де Сорг. Очевидно, дорогой он принял самые смелые решения, ибо тотчас же затворил дверь, затем, не произнеся ни слова, схватил Эммелину в объятия и поцеловал ее.

Она онемела от изумления и вместо ответа дернула за шнурок звонка. Г-н де Сорг в качестве опытного донжуана тотчас все понял и удрал. В тот же вечер он написал графине длинное письмо, и с тех пор его на «Майской мельнице» больше не видели.

III

Эммелина никому не рассказала о своем приключении. Она увидела в нем урок для себя и повод для размышлений. Расположение духа ее несколько не испортилось, но вечером, когда г-жа д'Эннери, по своему обыкновению, перед тем как удалиться на покой, поцеловала ее, она слегка вздрогнула.

Теперь Эммелина уже и не думала жаловаться на тетушку, наоборот, старалась сблизиться с ней и сама вызывала ее на разговоры. Исчезновение «обожателя» прогнало всякую мысль об опасности, и графиней овладело ненасытное любопытство. Молодость свою маркиза прожила очень бурно, в полном смысле слова; приоткрывая истину лишь на какую-нибудь треть, она и то могла развлечь слу-

шателей весьма занимательными рассказами, а своей племяннице, да еще после обеда, она иной раз делала и более откровенные признания. Правда, каждое утро она просыпалась с благим намерением ничего больше не говорить и отречься от всего, что она уже сообщила; но ее забавные анекдоты, к несчастью, походили на баранов Панурга: по мере того как день клонился к вечеру, число откровенных признаний все увеличивалось, и когда часы били полночь, иной раз случалось, что стрелка указывала и число былых интрижек, описанных почтенной дамой.

Уютно устроившись в глубоком кресле, Эммелина внимательно слушала; нечего и говорить, что, прерывая свое степенное молчание, она частенько хохотала до упаду или задавала уморительно наивные вопросы. Сквозь осторожные недомолвки и необходимые умолчания рассказчицы г-жа де Марсан разгадывала прошлое своей тетушки — словно драгоценную старинную рукопись, где не хватает нескольких листков, так что сообразительности читателя предоставляется восполнить пробелы; в этих любопытных историях жизнь представляла перед нею в новом свете; она видела, что управлять марионетками в человеческой комедии может лишь тот, кто умеет дергать их за ту или другую ниточку и держит все нити в своих руках. Эта мысль породила у Эммелины глубокую снисходительность к людям, навсегда сохранившуюся у нее; в самом деле, ведь ее как будто ничто не возмущало и она никогда не судила сурово своих друзей; умудренная опытом, она смотрела на себя как на существо особое, ни на кого не похожее, и, благодушно посмеиваясь над слабостями ближних, не желала им подражать.

И вот тогда-то, возвратившись в Париж, она стала той прелестной графиней де Марсан, о которой столько говорили. Она вошла в моду. Теперь Эммелина совсем не походила ни на прежнюю наивную девицу Дюваль, ни на взбалмошную и почти всегда растрепанную молодую особу, какой она была в первые годы замужества. Одно-единственное испытание — и вдруг она преобразилась. Роди-

лась женщина с твердой волей, с душой и умом, не стремившаяся к любовным интригам, к победам над мужскими сердцами, женщина, признанная всеми весьма благоразумной и вместе с тем умевшая всем понравиться. Кажется, она говорила себе: «Что ж, раз мир так устроен, примем его таким, как он есть!» Она разгадала суть светской жизни, и, как вы, вероятно, помните, целый год без нее не обходилось ни одно празднество, ни один бал, ни одно развлечение. Все думали и говорили, что только любовь могла привести к такой разительной перемене, и новое очарование графини объяснили новой страстью к какому-то счастливцу. Как быстро люди судят и как часто ошибаются! Обаяние Эммелины исходило из твердого ее решения никого не обижать и не давать себя в обиду. К г-же де Марсан больше всех можно было применить прелестные слова одного из наших поэтов: «Я живу любопытством»¹; этими словами о ней сказано все.

Возвратился г-н де Марсан; из-за неудачных результатов своей поездки он не мог похвалиться веселым расположением духа. Все его планы рухнули. А тут еще произошла Июльская революция — и он лишился своих эполет. Сохраняя верность партии, которой он служил, он вел жизнь очень замкнутую, лишь изредка бывал с визитами в предместье Сен-Жермен. В этих печальных обстоятельствах Эммелина заболела; долгие страдания подточили ее хрупкое здоровье, и она ждала уже смерти. За год она так истаяла, что ее нельзя было узнать. Дядя повез ее в Италию, и она вернулась с ним уже из Ниццы только в 1832 году.

Я говорил, что у Эммелины был свой дружеский кружок, и он вновь составиля по ее возвращении, но сама-то она изменилась: живая, проворная женщина стала домохозяйкой, а быстрота, столь характерная для движений ее стройного тела, теперь свойственна была лишь ее уму.

¹ «Я живу любопытством» — В. Гюго, «Марьон Делорм». (Прим. автора.)

Так же как и муж, она редко бывала в обществе; каждый вечер вы бы увидели свет в окнах ее комнаты. Там всегда собирались близкие ее друзья. Избранные умы тяготеют друг к другу, и особняк супругов Марсан вскоре стал очень приятным домом, где собирались интересные люди; получить доступ в этот салон было не слишком трудно, но и не слишком легко, и у г-жи де Марсан хватило здравого смысла не превращать его в бюро патентованных умников. Г-н де Марсан, привыкший к более деятельной жизни, томился скукой, не имея никаких занятий. Беседы и праздность никогда ему не нравились. Он стал реже бывать в гостиной графини, а затем и совсем перестал там появляться. Говорили даже, что жена ему надоела и он завел себе любовницу, но так как это не доказано, не будем об этом говорить.

Однако Эммелине было двадцать пять лет, и она скучала, не отдавая себе в том отчета. Ей вспоминалась «Аллея вздохов» и тревожившее ее там чувство одиночества. Какое-то смутное желание бродило в ее душе, ей казалось, что чего-то ей недостает, но она тщетно пыталась разобраться, чего же именно ей не хватало. Ей и на ум не приходило, что можно в своей жизни любить дважды; она полагала, что уже истощила все сокровища сердца, и муж был в ее глазах их единственным хозяином. Когда она слышала в опере Малибран, ею овладевал невольный трепет; возвратившись домой, она запиралась в своей комнате и, случалось, пела всю ночь одна; порою горло ее судорожно сжималось, и звуки замирали на устах.

Эммелине думалось, что страсти к музыке достаточно, чтобы быть счастливой. Свою ложу в Итальянской опере она велела обтянуть шелком, как будуар, старательно ее разукрасила. Некоторое время убранство этой ложи было предметом ее непрерывных забот; она сама выбрала ткани для драпировок, приказала перенести из дому свое любимое зеркало в готической раме; отдаваясь всей душой этой забаве, Эммелина каждый день придумывала что-нибудь новое для своих декоративных затей; она соб-

ственноручно вышила обивку для табурета, и ее рукоделье представляло собою истинный шедевр; наконец, когда убранство ложи было завершено и больше уже нечего было к нему добавить, она очутилась как-то вечером одна в своем любимом уголке: давали моцартовского «Дон Жуана». Она не смотрела ни на сцену, ни в зрительный зал; ею овладело неодолимое нетерпенье: Рубини, госпожа Хейнефеттер и мадемуазель Зонтаг пели «Трио Масок», публика заставила их бисировать. Забывшись в грезах, Эмелина слушала, взволнованная до глубины души; наконец, придя в себя, она заметила, что протянула руку на соседний стул и крепко сжимает свой носовой платок — за отсутствием дружеской руки. Она не задалась вопросом, почему нет с ней в театре мужа, а лишь спросила себя, почему она слушает музыку в одиночестве, и эта мысль смутила ее.

Вернувшись домой, она застала мужа в гостиной, он играл с приятелем в шахматы. Эмелина села в сторонке и почти невольно устремила взгляд на графа. Она следила за сменой выражений на его лице. Еще не так давно, когда ей было восемнадцать лет, это лицо, отличавшееся благородством черт, она видела таким прекрасным — ей вспомнилось, как он бросился наперерез ее лошади. Сейчас г-н де Марсан, видимо, проигрывал, и сердито нахмуренные брови не красили его. Вдруг он улыбнулся, — счастье опять было на его стороне, глаза его заблестели.

— Вы, значит, очень любите эту игру? — улыбаясь, спросила Эмелина.

— Так же, как музыку, — ответил он, — надо же время убить.

Он продолжал партию, не глядя на жену.

— Только чтобы убить время! — тихонько сказала г-жа де Марсан, отходя ко сну в своей спальне. Слова эти не давали ей спать. «Он такой красивый, такой отважный, — думала она, — и он любит меня». Сердце ее заколотилось; она прислушивалась к тиканью часов, и однообразное постукивание маятника ее раздражало; не в силах вынести

его, она встала и остановила часы. «Да что это со мной? Зачем я это делаю? — спрашивала она себя. — Ну, вот умолкнут эти часы, а разве я остановлю время? Оно бежит минута за минутой, за часом час».

Устремив застывший взгляд на часы, она вся отдалась мыслям, до тех пор никогда еще ей не приходившим. Она думала о прошлом, о будущем, о быстротечности жизни; она спрашивала себя, зачем живут на земле люди, в чем смысл их существования и дел и что ждет нас за гробом. Заглянув в свое сердце, она увидела, что жила по-настоящему лишь один день — тот, в который почувствовала, что к ней пришла любовь. Все остальное время она как будто видела смутный сон, дни тянулись один за другим, однообразно, как покачивание маятника. Она приложила ладонь ко лбу, голова ее пылала. Эмелина чувствовала неодолимую жажду жизни, — хотя бы и ценой страдания. В это мгновение она предпочла бы страдать, чем томиться скукой. Она решила во что бы то ни стало зажить по-другому. Прежде всего отправиться путешествовать. Но куда? Она строила множество планов поездок в чужие края, но ни одна страна не привлекала ее. Да и зачем ехать куда-то? Что она найдет в скитаниях? Все порывы бесполезны, бесплодны, все в жизни неверно... И Эмелину охватила такая тоска, что ей стало страшно, не подкрадывается ли к ней безумие; она подбежала к пианино, хотела сыграть свое любимое «Трио Масок», но при первых же аккордах залилась слезами и замерла в немом отчаянии.

IV

Среди постоянных посетителей особняка Марсанов был один молодой человек по имени Жильбер. Чувствую, сударыня, что, заговорив о нем, я касаюсь щекотливого вопроса и, право, уж не знаю, как выберусь из затруднительного положения.

За шесть месяцев этот молодой человек сделался за-всегдаем, навещал графиню раз или два в неделю, но

чувство, которое он испытывал близ нее, пожалуй, нельзя назвать любовью. Ведь что ни говорите, а любовь — это надежда; однако Эммелина, какую ее знали друзья, хотя и внушала желанья, но ни ее характер, ни поведение отнюдь их не воспламеняли. Впрочем, в присутствии графини Жильбер не задавался такими вопросами. Эммелина нравилась ему и умением вести разговор, и своими воззрениями, и своими вкусами, и остроумием, и искоркой лукавства, которое придает очарование уму. Вдали от нее воспоминания о ее взгляде, улыбке, о мелькнувших потаенных сокровищах красоты овладевали им и неотвязно преследовали, как преследуют нас после музыкального вечера обрывки какой-нибудь мелодии, от которых мы никак не можем отделаться; но когда он видел Эммелину, к нему вновь возвращалось спокойствие, и то, что он так легко мог встречаться с нею, вероятно, и не давало его страсти разгореться; ведь иной раз мы, лишь разлучившись навсегда с тем, кого любили, чувствуем, как сильна была наша любовь.

Друзья, собиравшиеся по вечерам в доме Эммелины, почти всегда заставляли ее в окружении гостей; Жильбер приходил обычно к десяти часам, когда в гостиной больше всего было народу; никто из гостей не оставался последним, уходили все вместе в полночь, иногда позднее, если кто-нибудь рассказывал занимательную историю. Словом, за полгода Жильбер, хотя и постоянно бывал в доме, ни разу не оставался наедине с графиней. Однако он очень хорошо ее знал, пожалуй, лучше, чем самые близкие ее друзья, — то ли по природной проницательности, то ли по иной причине, о которой тоже следует сказать. Он любил музыку так же горячо, как Эммелина, а поскольку главная наша склонность всегда объясняет очень многое, музыка помогла ему разгадать ее: мелодия любимого романса, отрывок итальянской арии были для него ключом к сокровищнице; лишь только мелодия смолкала, он обращал взор к Эммелине, и редко бывало, чтоб взгля-

ды их не встретились. Когда заходила речь о новой книге или пьесе, сыгранной накануне в театре, если один из них высказывал свое мнение, другой кивком соглашался с ним. Рассказывал ли кто-нибудь анекдот, оба смеялись одной и той же остроте, а слушая трогательный рассказ о благородном поступке, оба одновременно опускали глаза из боязни выдать свое волнение. Чтобы все выразить добрыми старыми словами, скажем, что меж ними была взаимная симпатия. Но ведь это любовь, заметите вы. Не извольте торопиться, сударыня. Любви еще не было.

Жильбер часто бывал в Итальянской опере и иногда просиживал целый акт в ложе графини. Случилось так, что он был в ложе и в тот вечер, когда опять давали «Дон Жуана»; господин де Марсан тоже был в театре. Когда запели «Трио Масок», Эммелина невольно посмотрела на соседний стул, вспомнив, как она сжимала в руке свой носовой платок; на этот раз в мечты был погружен Жильбер; весь захваченный низкими, глубокими звуками контрабасов и гармонией мрачного трио, он всей душой наслаждался пением мадемуазель Зонтаг, да и кто бы не чувствовал себя до безумия влюбленным в эту очаровательную певицу; глаза Жильбера блестели, на побледневшем лице, обрамленном черными кудрями, отражалось наслаждение, которое он испытывал, полуоткрытые губы вздрагивали, а рука тихонько отбивала такт, ударяя по обтянутому бархатом барьеру. Эммелина улыбнулась: должен сказать откровенно, что ее супруг, сидевший в глубине ложи, спал глубоким сном.

Столько есть препятствий, не позволяющих повторяться такого рода случаям, что подобные встречи бывают очень редко, но тем большее впечатление они производят и дольше сохраняется о них воспоминание. Жильбер не подозревал о тайных мыслях Эммелины и о том, какое сравнение она сделала. Однако бывали дни, когда он задавал себе вопрос, счастлива ли графиня, и не мог поверить, что она счастлива, а когда начинал думать об

этом, совсем запутывался. Эммелина и он жили в одном и том же круге, встречались с одними и теми же людьми, и, естественно, у них было множество поводов переписываться друг с другом о каких-нибудь пустяках; в равнодушных строках этих записок, где точно соблюдались законы светского этикета, всегда была, однако, возможность вставить какое-нибудь слово, мысль, порождавшие мечты. Не раз случалось, что Жильбер все утро сидел в задумчивости за письменным столом, положив перед собой развернутое письмо г-жи де Марсан, и время от времени невольно заглядывал в него. Взволнованное воображение заставляло его искать особый смысл в самых незначительных словах. Эммелина иногда ставила перед своей подписью итальянское «Vostrissima», и хотя это была самая обычная формула дружелюбия, он твердил себе, что это слово все же означает: «Всецело ваша».

Жильбер не принадлежал к числу волокит, как г-н де Сорг, но и у него были любовницы. Он вовсе не питал к женщинам скороспелого и показного презрения, которым любят щеголять молодые люди, но у него составилось о светских дамах свое собственное мнение, и я лучше всего передам его сущность, если скажу, что г-жа де Марсан казалась ему исключением из правила. Разумеется, есть много добродетельных женщин, — ах, нет, сударыня, я обмолвился, — все женщины добродетельны, но ведь и добродетельной можно быть по-разному. Эммелина была молода, красива, богата, чуть меланхолична, в иных случаях восторженна, в иных до крайности равнодушна, всегда окружена блестящим обществом, полна всяких талантов, любила развлечения, — какие странные основания для добродетели, думал Жильбер. «А ведь как она хороша!» — восхищался он втайне, прогуливаясь теплыми августовскими вечерами по Итальянскому бульвару. Она, конечно, любит мужа, но только как друга, а настоящей любви уже нет. Неужели она больше никого не полюбит? Раздумывая так, он вспомнил, что у него уже полгода нет любовницы.

Однажды, делая визиты своим знакомым, он проходил мимо особняка супругов Марсан и постучался к ним в дверь, хотя время для посещения было неурочное — три часа дня: он надеялся застать графиню одну и сам себе удивлялся, как ему раньше не приходила в голову такая замечательная мысль. Швейцар сообщил, что графиня нет дома; Жильбер отправился домой в очень дурном расположении духа и, по своему обыкновению, что-то бормотал сквозь зубы. Нечего и говорить, о чем он думал. Погрузившись в свои мысли, он в рассеянности свернул с обычного своего пути. Кажется, на перекрестке Бюсси он налетел на какого-то прохожего и, довольно сильно толкнув его, к величайшему удивлению этого незнакомца, громко произнес: «О, если бы в любви я все же мог признаться!..»

Конечно, ему тотчас же стало страшно стыдно. «Вот безумие!» — пробормотал он и, невольно засмеявшись, бросился прочь, но тут заметил, что его забавный возглас похож на строчку стиха, и довольно складную. В школьные годы он одно время сочинял стихи, и сейчас ему пришла фантазия срифмовать вторую строку, и, как вы увидите дальше, это ему удалось.

Следующий день была суббота — приемный день у графини. Г-н де Марсан уже начал уставать от уединенной жизни, и в тот вечер было множество народу; горели все люстры, все двери были отворены, перед камином собрался пестрый круг гостей: женщины по одну сторону, мужчины — по другую; словом, обстановка, не подходящая для нежных записочек. Жильбер не без труда приблизился к хозяйке дома. Поболтав четверть часа с нею и ее соседками о вещах безразличных, он вытащил из кармана сложенный листок бумаги и принялся теревить его. Листок, хотя и смятый, походил все же на письмо, и Жильбер надеялся, что это заметят; и действительно, кто-то заметил, но, к огорчению Жильбера, не Эммелина. Он положил листок в карман, потом вновь вытащил его; наконец графиня взглянула на сложенную бумажку и спросила, что у него в руках.

— Да вот, стихи сочинил в честь одной прекрасной дамы и готов показать их вам, но только при одном условии: если угадаете, кто моя красавица, обещайте не вредить мне в ее глазах.

Эммелина взяла листок и прочла следующие стихи:

К НИНОН

О, если б вам в любви я все же мог признаться —
Что, синеглазая, вы молвили б в ответ?
Любовь терзает нас — как от нее спастись?..
Она безжалостна и к вам, — и, может статься,
Навлек бы на себя тогда ваш гнев поэт.

О, если б я сказал, что в тягостном молчанье
Прошли шесть месяцев неодолимых мук?
Нинон, вы так умны, что о моем признании
Вы, как волшебница, провели б заранее
И мне ответили б: «Я знаю все, мой друг!»

О, если б я сказал, что стал я вашей тенью
И, к вам прикованный, живу я как во сне?
Вы знаете, Нинон, что вам к лицу сомненье,
И на мольбы мои с оттенком сожаленья
Вы возрадили бы, что трудно верить мне.

О, если б я сказал о том, что вам известно,
Что ваших милых слов мне не забыть теперь, —
Тогда, сударыня, тогда ваш взгляд прелестный
Сверкнул бы молнией карающей небесной
И указали б вы мне, может быть, на дверь.

О, если б даже я сказал, что втихомолку
Я плачу и молюсь, один в тиши ночной, —
Когда смеетесь вы презрительно и колко,
Ваш ротик за цветок любая примет пчелка, —
Пожалуй, стали б вы смеяться надо мной!

Но все ж до этого, Нинон, вам не дознаться —
Я буду приходить, садиться у огня,
И слушать голос ваш, и пеньем упиваться,
И вы вольны шутить, смеяться, сомневаться, —
Вы не узнаете, что мучает меня!

О, сколько разгадал я тайн в любовной муке!
По вечерам стою, застыв на краткий миг,
Когда по клавишам порхают ваши руки, —
Иль вы уносите со мной под вальса звуки,
В объятиях моих сгибаясь, как тростник.

Но только ночь придет и мир угомонится, —
К себе вернувшись в дом, завешу я окно,
Чтоб без свидетелей достойно насладиться
Своим сокровищем — я вправе им гордиться:
То сердце чистое, что вами лишь полно.

Да, я люблю! Любовь моя вне подозренья,
Я никому о ней ни слова не скажу:
Мне тайна дорога, мне дороги мученья —
И клятву я даю любить без сожаленья,
Но не без радости, — ведь я на вас гляжу!

И все ж блаженства мне не суждено дожидаться!
Жизнь или смерть найти у ваших ног — о нет!
Как горестно, увы, мне в этом убеждаться!
О, если б вам в любви я все же мог признаться,
Что, синеглазая, вы молвили б в ответ?¹

Закончив чтение, Эммелина молча возвратила листок Жильберу. Немного спустя она сама попросила у него стихи, прочла вторично и, оставив листок у себя, с равнодушным видом держала его в руке, как это делал незадолго перед тем Жильбер, потом кто-то подошел к ней, она встала и забыла отдать стихи.

V

Кто мы такие? Отчего действуем так легкомысленно? Жильбер шел на этот вечер в таком веселом расположении духа, а возвратившись, весь дрожал, как лист на ветру. То, о чем говорилось несколько преувеличенно в его стихах, что было не совсем правдивым, стало правдой, как только к ним прикоснулась Эммелина. Однако она ни-

¹Перевод А. М. Арго.

чего не ответила. А спросить при таком множестве свидетелей было невозможно. Не обиделась ли она? Что означает ее молчание? Заговорит ли она о его стихах при первой встрече? И что она скажет? Непрестанно перед ним всплывал образ Эммелины, лицо ее было то холодным и даже суровым, то ласковым и улыбающимся. Не в силах терпеть долее такую неуверенность, Жильбер, проведя бессонную ночь, на следующий день поспешил к графине; ему сообщили, что она заказала лошадей и уехала на «Майскую мельницу».

Жильберу вспомнилось, что несколько дней назад он вскользь спросил Эммелину, собирается ли она ехать в деревню, и она ответила, что нет, не едет. Воспоминание это поразило его. «Это из-за меня она уехала, — подумал он, — она страшится меня, она меня любит». При этом слове он весь замер, дыхание стеснилось в его груди, и какой-то ужас охватил его, он затрепетал при мысли, что так скоро смутил столь благородное сердце. Запертые ставни, пустынный двор, фургон, в который слуги что-то грузили, поспешный отъезд графини, так напоминавший бегство, — все это удивило и взволновало Жильбера. Он медленно пошел к себе домой. За какие-нибудь четверть часа он стал совсем другим человеком. Он не заглядывал вперед, ничего не рассчитывал, не помнил, что делал накануне и какие причины привели его в особняк Марсанов; ни тени гордости не было у него, за весь день он ни разу не подумал, как ему воспользоваться этим стечением обстоятельств, как встретиться с Эммелиной. Она уже не представляла перед ним ни суровой, ни ласковой, он лишь ясно видел, как она сидит на террасе и читает его стихи, он шептал: «Она любит меня», и спрашивал себя, достоин ли он ее любви.

Жильберу еще не исполнилось двадцати пяти лет, он прислушивался к голосу совести, но тут же в нем заговорила молодость. На следующее утро он сел в почтовую карету, отправляющуюся в Фонтенбло, и к вечеру приехал на «Майскую мельницу». Когда о нем доложили, Эммели-

на была одна; она приняла его с явным смущением и, увидев, что он затворил дверь, сразу побледнела, вспомнив г-на де Сорга. Но при первом же слове Жильбера она заметила, что он робеет не меньше, чем она. Против обыкновения, он даже не пожал ей руку и сел поодаль с таким застенчивым и сдержанным видом, какого у него прежде не бывало. Около часу они беседовали с глазу на глаз, и ни разу речь не заходила ни о стихах Жильбера, ни о любви, которую они выражали.

Вернулся с прогулки г-н де Марсан; лицо Жильбера омрачилось: он подумал, что очень плохо воспользовался своей первой встречей с любимой женщиной. А Эммелину волновали совсем иные чувства: она была растрогана уважением к ней, переполнявшим душу Жильбера, ею овладела весьма опасная задумчивость, она поняла, что Жильбер любит ее, и с того мгновения, как почувствовала себя в безопасности, сама его полюбила.

На следующее утро, когда Эммелина спустилась к завтраку, она была прелестна юной свежестью — ее лицо и ее сердце помолодели на десять лет. Ей вздумалось покататься верхом, хотя погода стояла отвратительная; она приказала оседлать норовистую кобылу и, казалось, нарочно подвергала опасности свою жизнь; размахивая хлыстом над головой встревоженной лошади, она не могла удержаться от странного удовольствия ни с того ни с сего ударить ее; лошадь в бешенстве взвивалась на дыбы, роняя пену с взмыленных боков, а всадница испытующе поглядывала на Жильбера. Послав своего скакуна галопом, он догнал Эммелину и хотел схватить ее лошадь под уздцы.

— Не надо, не надо, — сказала она, смеясь. — Нынче утром я не упаду.

Пришлось им все-таки заговорить о стихах Жильбера, и оба много толковали о них, но лишь глазами, а ведь взгляды бывают красноречивее слов. Жильбер провел на «Майской мельнице» три дня и каждую минуту готов был упасть на колени перед Эммелиной; он дрожал от страха, что не устоит перед соблазном обнять ее, но лишь только

она делала шаг, он отстранялся, давая ей дорогу, словно боялся коснуться даже ее платья. На третий день к вечеру он сообщил, что завтра утром уезжает; за вечерним чаем говорили о вальсе и о стихах лорда Байрона, в которых он бранит вальс. Эммелина заметила, что поэт говорит с такой враждебностью о вальсе, должно быть, из зависти, так как хромота делала для него недоступным это удовольствие, казавшееся ему, вероятно, очень большим; в подтверждение своей мысли она достала томик стихов Байрона и для того, чтобы и Жильбер мог читать вместе с ней, села так близко рядом с ним, что касалась локонами его щеки. Почувствовав это легкое прикосновение, он весь затрепетал от радости, и если б не соседство г-на де Марсана, не устоял бы против искушения. Эммелина это угадала и, густо покраснев, закрыла книгу, — вот и все приключение.

Какой странный воздыхатель, не правда ли, сударыня? Есть пословица, утверждающая, что отложить — еще не значит потерять. Я вообще не люблю пословиц, ведь среди них найдутся изречения на любые обстоятельства; все они друг другу противоречат и могут быть притянуты для обоснования каких угодно поступков. И, признаюсь, та, которую я привел, кажется мне верной лишь в одном случае из ста — и то в применении к людям особо терпеливым, не столько смиренным, сколько равнодушным. Только праведникам, блаженствующим в райских кущах, можно так говорить — им спешить некуда, у них впереди целая вечность, но нам, простым смертным, времени отпущено в обрез, и проволочки для нас обидны. Отдаю моего героя на ваш справедливый суд. Впрочем, поступи он иначе, его, мне думается, постигла бы участь г-на де Сорга.

Г-жа де Марсан к концу недели вернулась в Париж. Однажды под вечер Жильбер пришел к ней. Погода стояла невыносимо жаркая, г-жа де Марсан была одна в будуаре, читала, полулежа на диване. На ней было белое кисейное платье, оставлявшее открытыми руки и шею. Цветы, сто-

явшие в двух жардиньерках, наполняли комнату нежным ароматом; через отворенную дверь из сада вливался теплый благоуханный воздух. Все располагало к томной неге. Однако беседу г-жи де Марсан и Жильбера то и дело пронизывали язвительные колкости, непривычные для них. Я уже упоминал, что им постоянно случалось выражать в одно и то же время и почти в одних и тех же словах свои мысли и впечатления, но в тот вечер они ни в чем не были между собой согласны и, следовательно, оба были неискренни. Эммелина произвела смотр некоторым своим знакомым дамам. Жильбер тотчас принялся восхвалять их, в ответ Эммелина подвергла их соответственно суровой критике. Сгущались сумерки, настала тишина. Вошел слуга и принес зажженную лампу; г-жа де Марсан заявила, что свет режет ей глаза, и велела поставить лампу в гостиной. Отдав такое приказание, она, казалось, пожалела об этом, встала с каким-то смущенным видом и направилась к фортепьяно.

— Посмотрите-ка табурет из моей ложи, я велела его переделать, и мне его только что принесли, — теперь я стану им пользоваться, когда буду музицировать. Сейчас я вам сыграю что-нибудь и обновлю табурет в вашу честь.

Она тихонько взяла несколько аккордов, потом потекла мелодия, и Жильбер узнал свою любимую вещь — «Желание» Бетховена. Постепенно музыка увлекла Эммелину, игра ее исполнилась страстной выразительности, руки ее бегали по клавишам с такой быстротой и силой, что невольно билось сердце, и вдруг она останавливалась, как будто у нее захватило дыхание; звуки то разрастались, то замирали. Никакие слова не сравнятся в нежности с языком музыки. Жильбер стоял близ Эммелины, и время от времени ее прекрасные глаза устремляли к нему взгляд, словно о чем-то спрашивали его. Облокотившись на фортепьяно, Жильбер смотрел на нее, и оба боролись с охватившим их волнением, как вдруг довольно забавное происшествие оторвало их от сладостных грез.

Табурет, на котором сидела Эммелина, вдруг сломался, и она упала на пол, к ногам Жильбера. Он бросился к ней, протягивая руку; Эммелина, смеясь, поднялась с его помощью; Жильбер был бледен как смерть, он боялся, что она сильношиблась.

— Да полно вам, — сказала она. — Дайте-ка мне стул. Можно подумать, что я упала с шестого этажа.

Она заиграла кадрили, пальцы ее бойко бегали по клавишам, а сама музыкантша подтрунивала над волнением и испугом своего слушателя.

— Но ведь это же так естественно, что я испугался, когда вы упали, — сказал он.

— Полноте! — заметила она. — Просто у вас нервы не в порядке. Уж не думаете ли вы, что я вам признательна за ваши страхи? Сознаюсь, упала я очень смешно, но я нахожу, — сухо добавила она, — что ваш испуг еще смешнее.

Жильбер несколько раз прошелся по комнате, а звуки кадрили под пальцами Эммелины становились все менее веселыми. Она почувствовала, что своими насмешками больно задела его. От волнения он не мог говорить. Он возвратился на прежнее свое место и встал, облокотившись на фортепьяно; на глазах у него появились слезы, он не мог сдержать их. Эммелина тотчас встала и, забившись в дальний угол, села там в молчании. Жильбер подошел к ней, упрекая ее за суровость. На этот раз она не могла вымолвить ни слова и сидела не шевелясь, во власти невыразимого волнения; он взялся было за шляпу, хотел уйти, но не имел сил решиться на это; он сел подле Эммелины, она отвернулась и повела рукой, как будто хотела сказать: «Уходите»; он схватил ее руку и прижал к своей груди. В это мгновение раздался звонок у входных дверей. Эммелина бросилась в другую комнату.

На следующий день Жильбер вновь очутился в особняке Марсанов и заметил, бедняга, что идет туда, лишь в ту минуту, когда позвонил у дверей. По опыту прошлых своих увлечений он опасался, что г-жа де Марсан встретит его сурово, с видом оскорбленного достоинства. Он

ошибся: Эммелина была очень спокойна, снисходительна и сразу сказала ему, что ждала его. Но тут же она с твердостью заявила:

— Мы больше не должны видеться. Я не раскаиваюсь в своей вине и не хочу ни в чем себя обманывать. Но пусть я причину вам страдания, пусть и сама буду страдать, — между нами стоит мой муж. Я не могу лгать. Забудьте меня.

Жильбер был потрясен этой откровенностью, в словах Эммелины звучала самая неподдельная искренность. Он не пожелал прибегнуть к пошлым фразам, к притворным угрозам покончить с собою, которые всегда выступают на сцену в подобных случаях; он попытался быть столь же мужественным, как графиня, и этим доказать ей, как глубоко его уважение к ней. Он ответил Эммелине, что готов повиноваться ей и на некоторое время уедет из Парижа; она спросила, куда он намерен поехать, и пообещала написать ему. Ей хотелось, чтобы он все знал о ней, и в нескольких словах Эммелина рассказала ему историю своей жизни, обрисовала свое одиночество, томление своей души и не стала изображать себя более счастливой, чем была на самом деле. Она возвратила Жильберу его стихи и поблагодарила за то, что он подарил ей минуту счастья.

— Я ухватилась за него, не размышляя и не желая размышлять, — сказала она. — Я уверена, что невозможное меня остановило бы, но перед возможным я не могла устоять. Надеюсь, вы не усмотрите в моем поведении кокетства, я не вела игры. Мне следовало больше подумать о вас, но вы, я надеюсь, не так влюблены, чтобы не скоро от этого исцелиться.

— Я буду откровенен, — ответил Жильбер, — и скажу вам, что я не знаю, как все обернется, но не думаю, что я исцелюсь. Меня пленила в вас не столько красота, сколько ваш ум и характер. Разлука и годы могут стереть в нашей памяти образ прелестного лица, но лишиться близости такого существа, как вы, — утрата непоправимая. Конечно, по видимости, я исцелюсь и почти наверное через некоторое время вновь возвращусь к своим привычкам,

но даже холодный рассудок всегда будет твердить мне, что вы наполнили бы счастьем мою жизнь. Стихи, которые вы мне вернули, написаны как будто нечаянно, в минуту опьяняющего вдохновения, но чувство, выраженное в них, живет во мне с той минуты, как я узнал вас, и у меня нет сил таить это чувство, потому что оно искреннее и прочное. Итак, мы оба с вами будем несчастны; в угоду требованиям света мы приносим жертву, которую ничто не может возместить.

— Нет, не в угоду свету, а ради нас самих, — вернее, вы сделаете это ради меня. Ложь для меня невыносима; вчера, когда вы ушли от нас, я чуть было не призналась во всем мужу. Ну, довольно, — добавила она веселым тоном, — довольно, друг мой, постараемся жить.

Жильбер почтительно поцеловал ей руку, и они расстались.

VI

Но едва они приняли мужественное решение, как оба почувствовали, что не в силах его осуществить. Они поняли это без долгих разговоров. Два месяца Жильбер не приходил к г-же де Марсан, и за два месяца разлуки оба лишились сна и аппетита. И вот однажды вечером, в конце этого срока, Жильбера охватила такая тоска, такое отчаяние, что он невольно взялся за шляпу и в обычный час явился к графине, словно ничего меж ними не было. Ей и в голову не пришло упрекнуть его, что он не сдержал слова. С первого взгляда она угадала, как много он выстрадал; сама же она так побледнела, так изменилась, что, взглянув на нее, Жильбер почувствовал раскаяние, зачем он не пришел раньше.

Чувство, заполнившее сердце Эммеины, нельзя назвать ни прихотью, ни страстью: это был властный голос самой природы, потребность молодой души в новой любви. Она не размышляла о характере Жильбера — он ей нравился, он был тут, рядом, он говорил, что любит ее, но

и любовь эта была совсем иной, чем у г-на де Марсана. Вся душа Эммеины изболелась, ум, пламенное воображение, все благородные свойства ее восторженной натуры неведомо для нее были подавлены, и она страдала. Невольные и словно бы беспричинные, как ей думалось, слезы лились из ее глаз, и она допытывалась — что же их порождает; и музыка, и цветы, и даже повседневные привычки ее одинокой жизни открыли ей тайну: нужно было любить и бороться или же смириться и умереть.

Поняв это, графиня де Марсан с горделивой смелостью измерила взглядом бездну, в которую ей предстояло упасть. И когда Жильбер вновь сжал ее в своих объятиях, она подняла глаза к небу, словно призывая его в свидетели своего греха и говоря, как дорого она поплатится за свою вину. Жильбер понял ее унылый взор: благородное сердце его подруги возлагало на него великую задачу. Он чувствовал, что судьба Эммеины в его руках, что в его власти вернуть ее к жизни или навсегда унижить. Эта мысль наполнила его гордостью, но еще больше радостью: он поклялся всецело посвятить себя Эммеине и возблагодарил бога за истинную любовь, которую узнал.

Необходимость лгать все же удручала Эммеину, однако она больше не говорила об этом возлюбленному и скрывала горькое чувство; впрочем, ей и на ум не приходило продолжать сопротивление, раз она не в силах противиться всегда. Она как будто взвесила все, что ее ожидает — будущие страдания и будущее счастье, — и смело поставила на карту свою жизнь. После того как Жильбер вернулся, ей пришлось на три дня поехать в деревню. Он умолял ее о свидании перед отъездом. «Если вы требуете, я сделаю это, — ответила она, — но заклинаю вас, подождите немного».

На четвертый день, около полуночи, некий молодой человек вошел в «Английское кафе».

— Что прикажете подать, сударь? — спросил лакей.

— Самое лучшее, что у вас есть, — ответил молодой

человек таким ликующим тоном, что все оглянулись на него.

В тот самый час в дальней комнате особняка Марсанов сквозь приотворенные решетчатые ставни и опущенную занавеску можно было бы увидеть свет. Запершись в своей спальне, г-жа де Марсан в легком ночном одеянии сидела одна в низеньком кресле. «Завтра я буду принадлежать ему. Отдаст ли он мне свое сердце?»

В эту минуту Эммелина не размышляла о своем поведении, не сравнивала себя с другими женщинами. И душевная скорбь и угрызения совести были далеко от нее в этот миг; все исчезло, уступив мысли о том, что ждет ее завтра. Осмелюсь ли сказать, что тревожило эту прелестную и благородную женщину в столь опасный час ее жизни, что беспокоило чувствительную и честную душу накануне того дня, когда она совершила единственный промах, за который ей пришлось жестоко корить себя.

Она думала о своей красоте. Любовь, преданность, искреннее чувство, постоянство, взаимное сходство взглядов, страх, опасность — все было позабыто, изгнано, уничтожено живейшим беспокойством, сомнением в своих чарах, в своей телесной красоте. Свет, видный нам сквозь ставни, разливается от канделябра, который она держит в руке. Перед ней зеркало, она озирается, прислушивается, — ни единого свидетеля, ни малейшего шума! Она приподняла свои покровы и робко предстает перед возлюбленным, как в античном сказании предстала Венера перед юным пастухом.

О следующем дне вам лучше всего расскажет, сударыня, письмо, которое я приведу, — письмо Эммелины к сестре, где она сама говорит обо всем пережитом ею:

«Я принадлежу ему. Вслед за волнениями пришла крайняя усталость. Я чувствовала себя разбитой, но это состояние было мне отрадно. Весь вечер я провела в полусне. Мне грезились смутные видения, я слышала далекие голоса, я различала шепот: «Мой ангел, жизнь моя!» — и еще больше изнемогала. Ни разу не вспомнились мне тре-

воги, томившие меня вчера, я была в полусне, мне не забыть этой чудесной дремоты, которой я пожелала бы для себя и в раю. Я легла в постель и уснула сном младенца. Утром, в миг пробуждения, мне смутно вспомнилось то, что случилось накануне, и вся моя кровь хлынула к сердцу. Я затрепетала, сразу же приподнялась, села на постели и вдруг сказала вслух, очень громко: «Все кончено!» Потом уткнулась головой в колени и замерла. Я заглянула в самую глубину своей души. И в первый раз мне пришла страшная мысль: а вдруг он дурно судит обо мне? Я уступила с такой простотою, что у него могло сложиться очень плохое мнение. Невзирая на его ум и деликатность, я могла опасаться его житейского опыта. А что, если с его стороны была лишь прихоть, желание одержать еще одну победу? Я же так была изумлена, взволнована, потрясена чувствами, захватившими меня, что не могла в достаточной мере проникнуть в его сердце. И мне стало страшно, у меня дыхание стеснилось в груди. Ну что ж, храбро сказала я себе, он предо мной в долгу. Но придет день, когда он узнает, поймет меня и искупит свою вину. Мрачные размышления вдруг озарило сладкое воспоминание. Я чувствовала, что на моих губах играет улыбка, предо мной возникло его лицо, каким я видела его вчера, — прекрасное тем необычным выражением, которого я не встречала нигде, даже в лучших творениях великих художников: я так ясно читала в его чертах любовь, уважение, преклонение и робость, боязнь не достигнуть страстно желанного. Вот высочайшее счастье для женщины. И, словно убаюканная этими мыслями, я принялась одеваться. Какое огромное удовольствие обдумывать свой наряд, когда ждешь любимого».

VII

Эммелине потребовалось пять лет, чтобы увидеть, как мало счастья принес ей первый ее избранник; после этого она страдала целый год; шесть месяцев она боролась против нарождавшейся страсти, два месяца после

признания в любви противилась; наконец она пала, и счастье ее длилось две недели.

Две недели — очень малый срок, не правда ли? Я начал свое повествование без долгих рассуждений, а когда дошел до этих обстоятельств, которые и побудили меня взяться за перо, вижу, что мне собственно нечего сказать — разве лишь то, что дни счастья были коротки. Где же мне пытаться обрисовать его? Как выразить невыразимое — то, что величайшие в мире гении давали лишь угадывать в своих созданиях, ибо слово здесь бессильно. Разумеется, вы и не ждете от меня такой попытки, — я не совершу святотатства. Можно описать то, что исходит от сердца, но нельзя изобразить сокровенную жизнь сердца. Впрочем, если счастье длится всего лишь две недели, разве успеет человек заметить его? Эммелина и Жильбер были ошеломлены своим блаженством, еще не смели поверить ему, еще полны были восторженного восхищения и чудесной нежности, переполнявшей их сердца. «Возможно ли, — спрашивали они себя, — что мы когда-то обменялись равнодушным взглядом и холодным рукопожатием?» — «Как! — говорила Эммелина. — Я когда-то могла смотреть на тебя без слез умиления, заволакивающих глаза? Я слушала тебя, и меня не тянуло целовать твои губы? Ты говорил со мною так же, как со всеми, и я отвечала тебе, не промолвив ни слова о том, что я тебя люблю?» — «Нет, нет, — возражал Жильбер, — твой взгляд и голос выдавали тебя. Боже мой, как глубоко они запали мне в душу! А меня останавливал страх. Это я виноват, что мы так поздно полюбили друг друга». И они сжимали друг другу руки, словно говорили без слов: «Надо успокоиться, иначе мы умрем от волнения».

Едва лишь начали они привыкать видеться украдкой и наслаждаться самой опасностью тайных свиданий, едва Жильбер узнал новый облик Эммелины, то очарование, которым вдруг пленяет женщина, бросаясь в объятия любовника; едва лишь засияла сквозь слезы улыбка Эммелины, едва успели они поклясться в вечной любви, едва эти

бедные дети, поверив судьбе, без страха предались ей, полные радостной уверенности, что надежда на взаимность не обманула их и что у них еще все впереди, — «Ах, как мы будем счастливы!» — говорили они, — как вдруг их счастье рухнуло.

Граф де Марсан был человек твердого склада и в важных жизненных обстоятельствах отличался безошибочной проницательностью. Он заметил, как печальна его жена, решил, что она уже меньше любит его, и не очень огорчился такой переменой. Но он видел, что она чем-то озабочена, встревожена, и не желал оставить это без внимания. Взяв на себя труд поискать причины этого беспокойства, он легко их нашел. При первом же его вопросе она смутилась, при втором готова была во всем признаться, но он не захотел выслушивать подобные признания; не говоря никому ни слова, он вышел из дому и снял себе квартиру в тех самых меблированных комнатах, где жил до женитьбы. Вечером, когда Эммелина уже собиралась лечь в постель, он вошел к ней в комнату в халате и, сев напротив жены, сказал ей приблизительно следующее:

— Вы знаете меня, дорогая моя, довольно хорошо, вам известно, что я не ревнив. Я очень любил вас, теперь я вас уважаю и всегда буду питать к вам чувство уважения и дружбы. Разумеется, в нашем возрасте, да еще после нескольких лет супружества, нам обоим необходимо проявить терпимость по отношению друг к другу для того, чтобы мы могли по-прежнему жить в мире. Я лично пользуюсь свободой, подобающей мужчине, и считаю справедливым предоставить свободу и вам. Если бы я принес в наш дом такое же состояние, как вы, я бы не ограничился словами, а дал бы вам понять это на деле. Но я беден, и наш брачный договор, согласно моему желанию, оставил меня бедняком. И то, что со стороны кого-либо другого было бы лишь благоразумной снисходительностью, с моей стороны окажется низостью. Какие бы ни соблюдались предосторожности, роман никогда не удастся сохра-

нить в тайне — рано или поздно о нем неизбежно пойдут толки. И когда настанет такой день, меня, как вы, конечно, понимаете, не отнесут к числу покладистых мужей или хотя бы смешных слепцов, а будут видеть во мне подлеца, готового все стерпеть ради денег. Устроить шумный скандал, покрывающий при любом его исходе позором два семейства, — это совсем не в моем характере; я не питаю ненависти ни к вам, ни к кому бы то ни было, а поэтому пришел заранее объявить вам свое решение, чтобы предотвратить последствия, которые могут быть вызваны неожиданностью. Со следующей недели я переезжаю в те меблированные комнаты, где я жил, когда познакомился с вашей матушкой. Очень сожалею, что вынужден остаться в Париже, но я не имею средств отправиться в путешествие; где-то надо жить, а прежняя моя квартира мне нравится. Подумайте и сообщите мне, что вы намерены делать; я сообразуюсь с вашими желаниями, если это окажется возможным.

Г-жа де Марсан слушала молча. Она была ошеломенена и словно окаменела. Она хорошо видела, что муж ее принял твердое решение, но не могла этому поверить; почти невольно она кинулась ему на шею.

— Нет, нет! — воскликнула она. — Ничто в мире не заставит меня согласиться на разрыв.

Но ответом ей было упорное молчание. Эммелина разрыдалась и, бросившись перед мужем на колени, хотела признаться в своей вине; он остановил ее, он отказался выслушать ее. Пытаясь успокоить Эммелину, он еще раз сказал, что нисколько не сердится, и, невзирая на ее мольбы, ушел.

На следующий день они не виделись; Эммелина спросила, у себя ли граф; ей ответили, что он ушел рано утром и до вечера его не будет дома. Эммелина хотела было дожидаться его и с шести часов вечера заперлась в комнатах мужа, но у нее не хватило смелости для предстоящего объяснения, и она возвратилась на свою половину.

Утром граф вышел к завтраку в костюме для верховой езды. Слуги уже начали укладывать его чемоданы, и коридор был загроможден лежавшими в беспорядке вещами. Как только граф переступил порог, Эммелина подошла к нему, он поцеловал ее в лоб; они молча сели за стол; завтрак подан был в спальне графини. Напротив Эммелины стояло большое зеркало, она видела в нем свое отражение, и ей казалось, что перед нею призрак. Рассыпавшиеся в беспорядке волосы, измученное лицо — все, казалось, говорило о совершенном ею грехе. Неуверенным голосом она спросила графа, все ли еще он намерен оставить дом. Он ответил, что не изменит своего решения и собирается уехать в следующий понедельник.

— Нельзя ли как-нибудь отсрочить переезд? — спросила она умоляющим тоном.

— Но ведь положение измениться не может, — ответил граф. — Вы все обдумали? Что вы намерены делать?

— Все, что вы захотите, — промолвила графиня.

Г-н де Марсан промолчал.

— Все, все, что вы захотите, — повторила она. — Скажите, чем могу я смягчить вас? Какую жертву мне принести? Какое искупление моей вины вы согласитесь принять?

— Вы сами должны это знать, — ответил граф.

Он встал из-за стола и, не прибавив больше ни слова, удалился; но вечером он вновь пришел к жене, и лицо его было уже менее суровым.

Два эти дня истерзали Эммелину, она была бледна как смерть. Г-н де Марсан заметил это, и невольная жалость шевельнулась в его душе.

— Ну что, дорогая? — спросил он. — Что с вами?

— Я все думаю, думаю, — тихо сказала она, — и вижу, что ничего нельзя изменить.

— Вы так его любите? — спросил он.

Невзирая на его ледяной вид, Эммелина почувствовала, что в нем говорит ревность. Она подумала, что это

свиданье — попытка сблизиться с нею вновь, и такая мысль была для нее тягостна. «Все мужчины одинаковы, — думала она, — они не ценят любовь, в которой уверены, а когда потеряют ее по своей вине, загораются страстью». Ей хотелось узнать, верно ли она угадала его чувства, и она сказала высокомерно:

— Да, сударь, я люблю его. Хоть в этом не буду лгать.

— Понимаю, — ответил г-н де Марсан. — Было бы нелепо с моей стороны вступать тут в борьбу против кого бы то ни было. Для этого у меня нет возможностей, да и желания нет.

Эммелина увидела, что она ошиблась, хотела ответить, но в растерянности не находила слов. Да и в самом деле, могла ли она осудить поведение графа? Он угадал то, что произошло, и принял решение — справедливое, но вовсе не жестокое. Она пыталась что-то объяснить и, сбившись, умолкла; из глаз ее потекли слезы. Г-н де Марсан мягко сказал:

— Успокойтесь. Вы совершили ошибку, но помните, что у вас есть друг, который все знает и поможет вам исправить вашу ошибку.

— А что сделал бы этот друг, — спросила Эммелина, — если б он был так же богат, как я? Ведь именно из-за этих мерзких денег он решил меня покинуть. Что вы сделали бы, если б не существовало нашего брачного договора?

Поднявшись с кресла, Эммелина подошла к письменному столу, достала из ящика брачный договор и сожгла его на огне горевшей свечи. Граф молча смотрел и не остановил ее.

— Я вас понимаю, — сказал он наконец. — Правда, то, что вы сделали сейчас, не имеет особого значения, так как у нотариуса хранится дубликат договора, но этот поступок делает вам честь, и я горячо вас благодарю. Но подумайте, — добавил он, обнимая Эммелину, — подумайте... Если б вы и уничтожили все эти формальности, разве я захотел бы воспользоваться таким выгодным положением?

Ведь это значило бы злоупотреблять своим преимуществом. Я знаю, вы можете одним росчерком пера сделать меня столь же богатым, как и вы, — но я ни за что не соглашусь на это, и сегодня меньше, чем когда-либо.

— Какой гордец! — в отчаянии воскликнула Эммелина. — Почему вы отказываетесь?

И, слегка сжав ее руку, г-н де Марсан ответил:

— Потому, что вы его любите.

VIII

В прекрасный день погожей осени, когда солнце сияло так ярко, как будто прощалось с увядающей зеленью, Жильбер сидел у открытого окна в маленькой квартирке, которую снимал на третьем этаже дома, находившегося на уединенной улице за Елисейскими Полями. Напевая арию из «Нормы», он внимательно разглядывал каждый экипаж, проезжавший по шоссе. Лишь только экипаж приближался к углу улицы, пение обрывалось, но коляска, не останавливаясь, продолжала свой путь, и приходилось ждать следующего экипажа. В тот день их проезжало очень много, но настороженный взгляд Жильбера так и не увидел ни в одном шляпки из итальянской соломки и черной накидки. Прошел час, потом два; теперь уже нечего было ждать; раз двадцать Жильбер вытаскивал из кармана часы, раз двадцать совершал путешествие по своей комнате, поминутно переходя от надежды к отчаянию, но, наконец, спустился на улицу и некоторое время бродил по аллеям. Возвратившись, он спросил у швейцара, нет ли писем, — и получил отрицательный ответ. Весь день его томили мрачные предчувствия. Около десяти часов вечера он с некоторым страхом поднялся по широким ступеням особняка Марсанов.

Фонарь не был зажжен — это удивило и встревожило Жильбера. Он позвонил, никто не вышел на звонок; он толкнул дверь, она отворилась; он заглянул в столовую и

остановился; появилась горничная, он спросил, может ли графиня принять его.

— Сейчас доложу, — ответила горничная.

Она вошла в гостиную. Жильбер, стоя у дверей, услышал знакомый, но несколько изменившийся, дрожащий голос, тихо промолвивший:

— Скажите, что меня нет дома.

Он сам говорил мне, что этот краткий и столь неожиданный ответ, который он услышал в темноте, был для него больнее, чем удар шпагой. Он вышел в невыразимом удивлении: «Она дома, она, вероятно, видела меня, — думал он. — Что же случилось? Разве не может она сказать мне хоть одно слово или написать мне?» Прошла неделя. Ни писем, ни возможности увидеть графиню. Наконец он получил следующее письмо:

«Прощайте! Вспомните о вашем намерении отправиться путешествовать — дайте мне слово уехать. Какую жестокую жертву я сейчас приношу! От рокового решения, которое я хотела принять, меня удерживает лишь то, что я услышала однажды от вас, — немногие, но глубоко прочувствованные слова. Я не посягну на свою жизнь. Но не отнимайте у меня той надежды, той мысли, которая может принести мне хотя бы подобие спокойствия. Позвольте мне, друг мой, возложить эту надежду на вас — но на расстоянии — и поставить некоторые условия. Вот если, например, вы почувствуете полное равнодушие ко мне, если, возвратившись и окрепнув волей, вы больше не захотите видеть меня и никогда уж вам не будет вспоминаться мой образ, моя любовь... для меня станет невозможным влачить дальше ужасное свое существование. В разлуке всегда несчастнее тот, кто остается, — значит, вам лучше уехать. Позволят ли вам отлучиться ваши дела? А мне куда же ехать, в какие края? Ответьте мне. У вас больше силы, а я совсем обессилела, пожалейте меня. Скажите мне что-нибудь — ну, например, что вы скоро исцелитесь. Я знаю, это неправда, но все равно скажите.

Нам лучше не видеться перед вашим отъездом, — ведь мне нужна сила душевная, а где ж мне ее взять? Всю эту неделю я плачу и пишу вам, но только все письма бросаю в огонь. Наверно, и это письмо покажется вам бессвязным. Муж мой все знает, солгать я не могла; впрочем, он и без того все знал. Но что бы я ни говорила в этих строках, как мне выразить разлад между моим сердцем и рассудком? Постарайтесь сейчас больше бывать в обществе — пусть ваш внезапный отъезд не произведет впечатления странной неожиданности. Я еще не скоро смогу выезжать в свет и принимать у себя. Меня поминутно душат слезы, и я не могу слова сказать. Вы напишете мне, не правда ли? Неужели вы уедете, не написав мне хоть несколько слов? Ведь вы отправитесь путешествовать, скоро вас здесь не будет!»

Жильбер не мог поверить своему несчастью, ему казалось, что все это дурной сон. Он хотел бежать к г-ну де Марсану, вызвать его на дуэль. Он бросился на пол в своей комнате и долго плакал самыми горькими слезами. Наконец он решил увидеться с графиней во что бы то ни стало, потребовать объяснения этого разрыва, в котором ничего не мог понять. Он бросился в особняк Марсанов и, ничего не спросив у слуг, прошел в гостиную. Там он остановился, испугавшись мысли, что он, быть может, скомпрометирует любимую женщину и погубит ее. Послышались чьи-то шаги, он спрятался за гардину. Через комнату прошел граф. Оставшись один, Жильбер подкрался к застекленной двери и приоткрыл ее. Эммелина лежала в постели, подле стоял ее муж. У изножия кровати были брошены окровавленные простыни; врач, стоя перед умывальником, вытирал полотенцем руки. Картина эта ужаснула Жильбера, он затрепетал при мысли, что своей неосмотрительностью может увеличить несчастье возлюбленной, и, выйдя на цыпочках, никем не замеченный, покинул особняк.

Вечером он узнал, что графиня чуть было не умерла; новое письмо сообщило ему в подробностях все, что про-

изошло. «Никогда не искать встречи друг с другом для нас невозможно, нечего и думать об этом, — писала Эммелина, — напрасно вы страшились такой беды, я и мысли о ней не допускаю. Но все же нам придется разлучиться на полгода, на год — вот почему меня душат рыдания, вот что разбивает мне сердце, но ничего другого не остается».

И Эммелина добавляла, что, если перед отъездом его будет слишком сильно томить желание проститься с нею, она согласится на свидание. Он отказался от этой встречи — ведь ему нужно было сохранить душевные силы; но хотя он был убежден, что ему необходимо уехать, он не мог на это решиться. Жизнь без Эммелины казалась ему бессмысленной и какой-то ненастоящей, фальшивой. Однако он дал себе клятву во всем повиноваться г-же де Марсан и, если понадобится, пожертвовать и жизнью ради ее покоя. Он привел свои дела в порядок, простился с друзьями и всем объявил, что отправляется в Италию. Но когда все было готово и Жильбер уже получил заграничный паспорт, он заперся у себя и день за днем проводил в слезах, хотя каждый вечер давал себе слово уехать.

У Эммелины, как вы, конечно, и предполагаете, оказалось не больше мужества. Лишь только здоровье позволило ей совершить поездку на лошадях, она уехала на «Майскую мельницу». Г-н де Марсан сопровождал ее. Во время болезни он проявлял к ней братскую привязанность и чисто материнскую заботливость. Нечего и говорить, что он все простил и, видя страдания жены, отказался от своего намерения разойтись с нею. Он больше не заговаривал о Жильбере и, думается, вряд ли с тех пор хоть раз произнес его имя, оставаясь один на один с графиней. Вести о предстоящем путешествии Жильбера дошли до него, но это, по-видимому, оставило его равнодушным — не обрадовало и не огорчило. По его поведению можно было угадать, что в глубине души он считает себя виноватым перед женой за то, что пренебрегал ею и так мало сделал для ее счастья. Когда Эммелина, опираясь на руку му-

жа, медленно прогуливалась с ним по «Алее вздохов», он казался почти таким же печальным, как и она; Эммелина была ему благодарна за то, что он никогда не напоминал ей о былой их любви и не пытался бороться против ее любви к другому.

Эммелина сожгла письма Жильбера и, принеся эту горестную жертву, сберегла лишь один листок, на котором рукой ее любовника было написано: «Ради вас сделаю все на свете!» Перечитав эти слова, она не могла решиться уничтожить обрывок — это было последнее прощание бедного Жильбера. Она вырезала ножницами эту строчку из письма и долго носила на груди, у сердца, эту полоску бумаги. «Если мне когда-нибудь придется расстаться с ней, — писала она Жильберу, — я лучше ее проглочу. Жизнь моя теперь словно щепотка пепла, и, поверите ли, я не могу без слез смотреть на потухший камин».

Вы, пожалуй, спросите меня, — а была ли Эммелина искренна? Не делала ли она попыток увидеться с любовником? Не раскаивалась ли в принесенной жертве? Не думала ли она изменить свое решение? Да, сударыня, думала, — я не хочу рисовать Эммелину ни лучше, ни более твердой, чем она была в действительности. Да, она пыталась лгать, обманывать мужа; несмотря на все свои клятвы, свои обещания, свои муки и раскаянье, она свиделась с Жильбером и за два часа, проведенных с ним, вновь узнала блаженство безумной страсти и любви; но, возвратившись домой, почувствовала, что она больше не может ни обманывать, ни лгать; скажу вам больше — то же почувствовал и сам Жильбер и не просил у нее нового свидания.

А путешествие свое он все откладывал и даже не заговаривал больше о нем. Вскоре ему уже захотелось убедиться, что он стал спокойнее и что не будет никакой опасности, если он никуда не поедет. В письмах к Эммелине он упрашивал ее позволить ему провести зиму в Париже. Она колебалась и, отказываясь от любви, начинала гово-

речь о дружбе. Оба искали всяческих поводов продлить свои страдания, хотя бы зрелищем взаимных мук. Чем все это могло бы кончиться? Право, не знаю.

IX

Кажется, я уже говорил вам, сударыня, что у Эммелины есть сестра. Это высокая красивая девушка, и к тому же добрейшей души. То ли от чрезвычайной застенчивости, то ли по какой-либо иной причине она при редких встречах с Жильбером разговаривала с ним крайне сдержанно, почти с отвращением. А Жильбер держал себя ветреником, беседу вел просто и непринужденно, но иной раз говорил вещи, которые могли оскорбить высокое целомудрие и девичью скромность. Даже самый характер Жильбера, его непосредственная и восторженная натура не должны были вызывать никакой симпатии в суровой Саре — так звали сестру Эммелины. Итак, несколько учтивых слов, которыми иной раз им приходилось обмениваться, несколько комплиментов Саре, когда она пела в кругу знакомых, да иногда приглашение на кадрили — вот и все, чем ограничивалось их знакомство, дружба между ними не завязывалась.

В запутанных обстоятельствах, сложившихся за последнее время в жизни Жильбера, случилось так, что он получил приглашение на бал от подруги г-жи де Марсан и, считаясь с желанием своей возлюбленной, счел необходимым поехать туда. На этом вечере была и Сара. Жильбер подсел к ней. Он знал, какая нежная привязанность соединяет графиню и ее сестру, и рад был случаю поговорить о любимой с кем-нибудь, кто ее понимает. Предлогом послужила недавняя болезнь Эммелины: спросить о ее здоровье — ведь это значило спросить о ее любви. Против обыкновения, девушка отвечала ему доверчиво и мягко; когда они разговорились, оркестр заиграл ритурнель

к кадрилю, к Саре подошел ее кавалер, но она отказалась танцевать, сославшись на усталость.

Под музыку среди шумного оживления бала они могли говорить свободно, и девушка дала понять Жильберу, что ей известна причина болезни Эммелины. Она коснулась страданий сестры, описала то, чему была свидетельницей. Жильбер слушал, потупившись; когда он поднял голову, по щеке его катилась слеза. Сара вся затрепетала, ее прекрасные голубые глаза затуманились.

— Вы ее любите больше, чем я думала, — сказала она.

И с этого мгновения она стала совсем другой — никогда еще она не выражала ему такого доверия; она призналась, что уже давно заметила роман своей сестры, и объяснила свою холодность к Жильберу тем, что причисляла его к легкомысленным светским людям, которые волочатся за всеми женщинами, нисколько не заботясь о печальных последствиях своих любовных интриг. Она говорила об Эммелине как сестра и подруга, говорила горячо и откровенно. Искренность, с которой она убеждала Жильбера, что его святая обязанность возвратить покой Эммелине, поразила Жильбера и подействовала на него сильнее всех доводов, за четверть часа этой беседы пред ним ясно предстала его участь.

Начались приготовления к котильону.

— Сядемте в круг, — сказал Жильбер, — танцевать мы не будем и сможем без помехи разговаривать — никто нас и не заметит.

Сара согласилась. Они заняли места и продолжали разговор об Эммелине. Все же время от времени кто-либо из танцоров приглашал Сару, и ей приходилось участвовать в фигурах котильона, кружиться, держать конец шарфа, букет или веер. Жильбер оставался сидеть на своем стуле и, погрузившись в размышления, рассеянно смотрел, как его прелестная соседка прыгает и улыбается, хотя глаза ее еще влажны от слез. Потом она возвращалась, и они продолжали свою грустную беседу. Под мелодии не-

мецких вальсов, ласкавшие слух Жильбера в первые дни его любви, он дал в тот вечер клятву уехать и все забыть.

Когда пришло время разъезда, Жильбер и сестра Эмелины встали с какой-то торжественностью.

— Вы дали мне слово, — сказала девушка, — и я полагаюсь на вас. Вы должны спасти мою сестру. — И, не заботясь о том, что их могут увидеть, она взяла его за руку и добавила: — А когда вы уедете, помните, что порою мы с ней вдвоем будем думать о бедном путешественнике.

После этих слов они расстались, и на следующий день Жильбер уехал.

ФРЕДЕРИК И БЕРНЕРЕТТА

I

Это было в последние годы Реставрации. Молодой человек из Безансона по имени Фредерик Омбер приехал в Париж изучать право. Его родители были небогаты и высылали ему скромное содержание, но он вел размеренный образ жизни, и этих средств ему хватало. Фредерик поселился в Латинском квартале, чтобы не далеко было ходить на лекции. По характеру и склонностям он был домосед и лишь мимоходом познакомился с местами гуляний, достопримечательностями и памятниками Парижа, которые обычно привлекают любопытство всех приезжих. Общество немногих молодых людей, с которыми он сблизился на юридическом факультете, да посещение нескольких семейных домов, открывших ему свои двери по рекомендательным письмам, составляли все его развлечения. Он был в постоянной переписке с родными и, по мере того как сдавал экзамены, сообщал им о своих успехах. После трех лет усидчивого труда пришла, наконец, пора получить звание адвоката. Оставалось только защитить диссертацию, и Фредерик уже наметил день возвращения в Безансон, но тут одно непредвиденное обстоятельство нарушило на время его покой.

Фредерик жил на улице Ла-Гарп, в небольшой комнате на четвертом этаже. На подоконнике у него стояли цветы, и он сам за ними ухаживал. Однажды утром, поливая их, он заметил в окне противоположного дома молодую девушку. Увидя Фредерика, она рассмеялась и взглянула на него так открыто и весело, что он не удержался и кив-

нул ей. Она с готовностью ответила на его поклон, и с этой поры у них вошло в привычку по утрам приветствовать друг друга из окна. Как-то раз Фредерик поднялся ранее обычного; поздоровавшись со своей соседкой, он взял листок бумаги, сложил его в форме записки и показал издали молодой девушке, как бы спрашивая, может ли он ей написать. Но она отрицательно покачала головкой и скрылась с недовольным видом.

На другой день случай свел их на улице. Девушка возвращалась домой в сопровождении какого-то молодого человека. Фредерик не знал его и не помнил, чтобы когда-нибудь встречал этого юношу среди студентов. Соседка же, хоть и была в шляпке, по повадке и наряду показалась Фредерику тем, что в Париже зовется гризеткой. Ее кавалер, судя по возрасту, мог быть ее братом или возлюбленным, но скорее походил на возлюбленного, чем на брата. Так или иначе, Фредерик решил больше не думать об этом приключении. Настали первые холода, и он убрал цветы с подоконника, однако помимо воли все поглядывал в окно. Он пододвинул поближе к нему свой рабочий стол и так приладил занавеску, чтобы иметь возможность незаметно наблюдать за соседкой.

Девушка тоже больше не показывалась по утрам. Иногда ее можно было увидеть часов в пять вечера; она зажигала лампу и затем закрывала ставни. Однажды Фредерик осмелился послать ей воздушный поцелуй. К его удивлению, она вернула ему поцелуй с той же непринужденностью, с какой некогда ответила на его первый поклон. Фредерик снова взял сложенный листок бумаги, все еще лежавший на столе, и, объясняясь знаками, попросил, чтобы она ему написала или разрешила прислать ей записочку. Но ответ был не более благоприятным, чем в первый раз: гризетка опять покачала головой. Так продолжалось неделю: поцелуи принимались охотно, письма же на ходились под запретом.

По прошествии недели раздосадованный неизменным отказом Фредерик разорвал листок на глазах у сосед-

ки. Увидя это, она сперва рассмеялась, затем постояла в нерешительности, вытащила из кармана фартучка записку и в свою очередь показала ее студенту. Нетрудно догадаться, что он-то не покачал головой. Говорить он не имел возможности и потому написал крупными буквами на большом листе рисовальной бумаги три слова: «Я вас обожаю!» Затем пристроил лист на стуле, а по бокам поставил зажженные свечи; и хорошенькая гризетка, вооружившись лорнетом, без труда прочла первое признание своего воздыхателя. Она ответила улыбкой и сделала Фредерику знак сойти вниз и взять записочку, которую она ему показала.

Погода была пасмурная, на улице стоял густой туман. Молодой человек проворно спустился, перебежал дорогу и вошел в дом соседки. Дверь была не заперта, и девушка ждала его внизу у лестницы. Фредерик, не говоря ни слова, заключил ее в объятия и расцеловал. Она кинулась от него прочь, вся дрожа.

— А где же записка? — крикнул он. — Когда и как я снова увижу вас?

Она остановилась, сделала несколько шагов к Фредерику, сунула ему в руку записочку и сказала:

— Вот, возьмите и больше не уходите из дому на ночь.

Дело в том, что как-то на днях нашему студенту, невзирая на всю его скромность, действительно случилось ночевать вне дома, и гризетка это заметила.

Когда между влюбленными царит согласие, для них не существует препятствий. В записке, врученной Фредерику, сообщалось, что необходимо соблюдать большую осторожность, что влюбленным грозит опасность, а заканчивалось все вопросом, где они встретятся. В квартире Фредерика это невозможно, говорилось в записке. Следовательно, надо было искать комнатку поблизости. В Латинском квартале в них нет недостатка. Когда было уже назначено первое свидание, Фредерик получил следующее письмо:

«Вы говорите, что обожаете меня, но ни разу не сказали, красива ли я. Вы меня еще не разглядели, а чтобы полюбить, нужно сначала хорошенько рассмотреть. Я сейчас выйду из дома с моей служанкой, а вы идите по улице навстречу, подойдите ко мне, как к знакомой, и скажите несколько слов. Смотрите на меня хорошенько, пока будете говорить. Если найдете, что я недостаточно красива, скажите прямо, я не рассержусь. Так ведь бывает, к тому же я не злая.

Тысяча поцелуев,
Бернеретта».

Фредерик подчинился приказанию возлюбленной. Нечего и говорить, что в исходе этого испытания можно было не сомневаться, хотя Бернеретта, повинувшись утонченному кокетству, вместо того чтобы принарядиться для этой встречи, появилась в домашнем платье, а волосы спрятала под шляпку. Студент отвесил ей почтительный поклон и сказал, что она сегодня красивее, чем всегда. Он вернулся домой в полном восторге от своей победы. Но еще прекраснее показалась ему Бернеретта на следующий день, когда она пришла на свидание и он убедился, что его возлюбленная может обойтись не только без украшений и нарядов, но даже и без самой легкой одежды.

II

Фредерик и Бернеретта предалися любви, не успев обменяться и двумя словами. Когда же они заговорили, то сразу стали называть друг друга на «ты». Тесно обнявшись, они сели у камина, где пылал яркий огонь. Тут Бернеретта, прижавшись раздумывавшейся от счастья щекой к щеке своего возлюбленного, стала рассказывать ему о себе. Она была провинциальной актрисой, ее имя — Луиза Дюран, а по сцене — Бернеретта. Вот уже два года она близка с одним молодым человеком, но теперь охладела к нему. Она хочет во что бы то ни стало отделаться от

него и переменить образ жизни, либо вернуться на сцену, если найдется поддержка, либо обучиться какому-нибудь ремеслу. Ни о своей семье, ни о своем прошлом она, в сущности, ничего не сказала, только выразила решительное намерение порвать узы, ставшие для нее невыносимыми. Фредерик не захотел ее обманывать и чистосердечно описал свое положение. Человек небогатый, не знающий света, он был бы для нее слишком слабой опорой. «Я не могу принять на себя все заботы о тебе, — прибавил он, — и потому ни за что не хочу быть причиной вашего разрыва. Делить же тебя с другим мне было бы слишком тяжело, значит, как мне ни грустно, я должен удалиться, но я навсегда сохраню в сердце воспоминание об этом счастливом дне».

При таком неожиданном заявлении Бернеретта расплакалась.

— Зачем тебе уходить! — воскликнула она. — Ведь если я рассорюсь со своим любовником, то вовсе не из-за тебя, я давно уже на это решилась. И разве ты перестанешь меня любить оттого, что я поступлю в обучение к белошвейке? Конечно, досадно, что ты не богат, но что ж поделаешь? Как-нибудь проживем.

Фредерик пытался возражать, но Бернеретта поцелуем заставила его умолкнуть.

— Не будем больше говорить и даже думать об этом, — сказала она, — когда тебе захочется меня видеть, подай мне знак в окно и не заботься об остальном. Это все тебя не касается.

Месяца полтора Фредерик не притрагивался к своей работе. Начатая диссертация лежала на столе, и время от времени он прибавлял к ней одну-две строчки. Он знал, что если ему вздумается повеселиться, то стоит лишь открыть окно, и Бернеретта всегда готова поспешить на свидание к нему. Когда он спрашивал ее, как это она располагает такой свободой, она неизменно отвечала, что это его не касается. У него были небольшие сбережения, которые быстро иссякли. Недели через две ему пришлось

прибегнуть к помощи друга, чтобы угостить свою возлюбленную ужином.

Когда этот друг, по имени Жерар, узнал о перемене в жизни Фредерика, он сказал ему:

— Берегись — ты влюблен. У твоей гризетки ничего нет за душой, да и у тебя — не много. На твоём месте я бы поостерегся провинциальной актрисы. Такого рода страсть заводит иной раз дальше, чем думаешь.

Фредерик ответил, смеясь, что речь идет не о страсти, а лишь о мимолетном любовном приключении, и рассказал Жерару, как из своего окна познакомился с Бернереттой.

— Это самое беспечное создание, — сказал он Жерару, — нет никого безобиднее, чем она, и ничего менее серьезного, чем наша связь.

Жерар сдался на эти доводы, но все же взял с Фредерика слово заняться делом. Фредерик уверил друга, что диссертация почти готова, и, чтобы не оказаться обманщиком, в самом деле просидел несколько часов за работой. Но как раз в этот вечер его ждала Бернеретта. Они вместе отправились в «Шомьер», и работа была отложена.

«Шомьер» — своего рода Тиволи Латинского квартала; это — место встреч студентов и гризеток. Там вы не увидите благовоспитанного общества, зато там непринужденно развлекаются, пьют пиво, танцуют; там царит оживленное и подчас довольно бурное веселье. Модницы там носят круглые чепчики, а щеголи — бархатные курточки. Там курят, пьют вино и наслаждаются любовью прямо под открытым небом. Будь вход в этот сад запрещен зарегистрированным в полиции девушкам, он был бы, пожалуй, единственным местом в Париже, где сохранились все старые традиции привольной студенческой жизни, которые ныне утрачиваются с каждым днем.

Как провинциал, Фредерик не особенно разбирался в людях, с которыми он сталкивался в «Шомьере», а Бернеретта думала только о том, чтобы повеселиться, и, уж конечно, не собиралась обращать на них его внимание.

Нужно обладать некоторым светским навыком, чтобы знать, где дозволено развлекаться. Наша счастливая парочка над этим не задумывалась. Протанцевав всю ночь напролет, они возвращались домой усталые и довольные. Фредерик был так неискушен, что считал подлинным счастьем эти первые сумасбродства юности. Когда Бернеретта шла по Новому бульвару, легко опираясь на его руку и шаловливо подпрыгивая на ходу, ему казалось, что нет ничего пленительнее, чем жить так день за днем. Порой то он, то она спрашивали друг друга, в каком положении у них дела, но ни тот, ни другая не в состоянии были дать ясного ответа на этот вопрос. Важно было то, что меблированная комнатка близ Люксембургского сада была оплачена на два месяца вперед. Иногда Бернеретта являлась, держа под мышкой завернутый в бумагу паплет, а Фредерик приносил бутылку доброго вина, и они усаживались за стол. На десерт Бернеретта пела куплеты из своих прежних ролей в водевилях; если она забывала слова, Фредерик тут же импровизировал стихи в честь своей подруги, а когда не находил рифмы — заменял ее поцелуем. Так, наедине, проводили они ночь, не замечая, как течет время.

— Ты решительно ничего не делаешь, — говорил ему Жерар, — и твое мимолетное приключение может продлиться дольше, чем истинная страсть. Берегись, ты тратишь деньги и пренебрегаешь всеми возможностями их заработать.

— Успокойся, — отвечал Фредерик, — моя диссертация подвигается, а Бернеретта поступает в обучение к белошвейке. Дай мне спокойно насладиться минутой счастья и не тревожься за будущее.

Между тем приближалась пора, когда надо было печатать диссертацию. Фредерик закончил ее наспех, тем не менее она была признана удовлетворительной, и молодого человека приняли в адвокатуру. Он отправил в Безансон несколько экземпляров своей диссертации вместе с дипломом. Отец Фредерика ответил на эту радостную

весть присылкой куда более значительной суммы денег, чем требовалось на расходы, связанные с отъездом на родину. Так обрадованный отец, сам того не подозревая, пришел на помощь любви. Теперь Фредерик мог вернуть своему другу деньги, которые тот ему одолжил, и доказать ему неосновательность его опасений. Бернеретте он хотел сделать подарок, но она отказалась.

— Для меня лучший подарок — ужин вдвоем с тобой, — сказала она. — Единственное, что мне от тебя нужно, — это ты сам.

Бернеретта обладала таким веселым нравом, что, когда ей случалось огорчиться, это сразу было по ней заметно. Как-то раз Фредерик застал ее очень грустной и спросил, чем она опечалена. После некоторого колебания Бернеретта вынула из кармана письмо.

— Это анонимное письмо, — сказала она. — Мой приятель получил его вчера, передал мне и сказал, что не верит безымянным обвинениям. Кто написал это? Не знаю. Письмо безграмотно и грубо, но неприятностей от этого будет не меньше. Меня называют падшей женщиной и вполне точно указывают день и час наших последних свиданий. По всей вероятности, это кто-нибудь из нашего дома — то ли привратница, то ли горничная. Я не знаю, что делать и как мне уберечься от опасности.

— Какой опасности? — спросил Фредерик.

— Я думаю, — смеясь, ответила Бернеретта, — что дело идет ни много ни мало как о моей жизни. Мой приятель — человек крутого нрава, и если он узнает, что я его обманываю, он вполне способен меня убить.

Фредерик тщетно перечитывал письмо, разглядывал его со всех сторон, — он не мог узнать почерка. Он вернулся домой очень встревоженный и решил не видаться с Бернереттой несколько дней, но вскоре получил от нее записку следующего содержания:

«Он все знает. Не знаю, кто ему сказал. Думаю, что привратница. Он придет к вам, он хочет вызвать вас на ду-

эль. У меня нет больше сил говорить об этом. Я ни жива ни мертва».

Весь день Фредерик не выходил из своей комнаты. Он ждал, что соперник придет к нему или хотя бы пришлет вызов на дуэль. К его удивлению, ни того, ни другого не последовало ни в этот день, ни на завтра, ни через неделю. Наконец он узнал, что у Бернеретты было объяснение с ее любовником, г-ном де Н., после чего она оставила свой дом и убежала к матери. Возлюбленный же ее, покинутый, одинокий, в отчаянии от того, что потерял Бернеретту, которую любил без памяти, вышел однажды утром из дому и более не показывался. По прошествии четырех дней — так как он все еще не возвращался — взломали дверь его квартиры. На столе он оставил письмо, в котором сообщал о своем роковом решении. Лишь неделю спустя в Медонском лесу были найдены останки несчастного.

III

Это самоубийство произвело на Фредерика глубокое впечатление. Хотя он и не был знаком с молодым человеком и никогда не говорил с ним, но слышал его имя и знал, что оно принадлежит знатному роду; Фредерик увидел родителей и братьев покойного в трауре и узнал печальные подробности, сопровождавшие поиски тела. Все в квартире Бернеретты было опечатано. Вскоре вывезли и мебель; окно, у которого работала Бернеретта, осталось открытым настежь, являя взорам голые стены опустевшего жилища.

Человек испытывает угрызения совести, лишь когда он виноват. Фредерик не знал за собой серьезной вины. Он никого не обманывал; ему, в сущности, даже не было известно, каковы отношения у гризетки с ее любовником. Но он содрогался от ужаса при мысли, что стал невольным виновником столь рокового исхода.

«Почему не пришел он ко мне, — думал Фредерик, — почему не на меня направил он свое смертоносное оружие, а нашел ему столь трагическое применение? Не знаю, как бы я поступил и что бы произошло между нами, но сердце говорит мне, что тогда не случилось бы этого несчастья. Если бы я знал, что он так любит ее, если бы я видел его отчаяние — кто знает? — быть может, я бы уехал; быть может, искренним и дружеским словом убедил бы его, что не все потеряно, что его намерение безрассудно и рана излечима. Во всяком случае, он остался бы в живых. Насколько мне было бы легче, если бы он ранил меня на дуэли. Невыносимо думать, что, лишая себя жизни, он, быть может, произносил мое имя!»

Фредерик был полон этих печальных размышлений, когда пришло письмо от Бернеретты. Она была больна и не вставала с постели. Во время последнего ее объяснения с г-ном де Н. тот ударил ее, она упала и сильно ушиблась. Фредерик вышел из дому, чтобы навестить Бернеретту, но у него не хватило на это духу. Ему казалось, что, сохранись у него прежние отношения с Бернереттой, он стал бы чувствовать себя убийцей. Фредерик решил уехать. Приведя в порядок дела, он отослал несчастной девушке все, что у него осталось, и пообещал не покидать ее, если она окажется в трудном положении. Затем он уехал в Безансон.

Его приезд, как это легко себе представить, был праздником для всей семьи. Фредерика поздравляли с новым званием, без конца расспрашивали о пребывании в Париже. Отец был горд сыном и поспешил представить его всем видным лицам в городе. Вскоре родные сообщили Фредерику, что в его отсутствие у них созрело решение женить его. Они имели в виду молодую и красивую особу с хорошим состоянием. Фредерик не отказался, но и не согласился. В душе у него была непреодолимая печаль. Он покорно ездил всюду, куда бы его ни приглашали, добросовестно отвечал всем, кто его расспрашивал, и пытался даже ухаживать за своей нареченной. Но делал он это без

всякого увлечения, почти против воли, — не потому, что Бернеретта была ему так дорога и он готов был отказаться от заманчивой женитьбы; просто последние события произвели на него слишком сильное впечатление, и он все еще не мог прийти в себя. В сердце, взволнованном воспоминаниями, нет места надежде, во всей своей остроте эти два чувства исключают друг друга, и лишь ослабевая и смягчаясь, они примиряются.

Молодая особа, о которой шла речь, отличалась весьма меланхолическим нравом. Она не чувствовала к Фредерику ни симпатии, ни отвращения. Как и Фредерик, она только из послушания родителям подчинилась их воле. Им предоставили полную свободу беседовать друг с другом, и оба они скоро поняли, что любви между ними нет, зато сама собой пришла дружба. Однажды обе семьи совместно совершили загородную прогулку; на обратном пути Фредерик взял свою невесту под руку. Она спросила, не оставил ли он в Париже какую-нибудь привязанность, и Фредерик рассказал свою историю, которая поначалу ей показалась забавной. Да и Фредерик говорил об увлечении Бернереттой как о мимолетной шалости, и мадемуазель Дарси (так звалась молодая особа) думала, что речь идет о пустяках. Но, дослушав до конца, она отнеслась ко всему этому серьезно.

— Великий боже, — сказала она, — как это ужасно. Я понимаю, что вы должны были пережить, и от этого еще больше ценю вас. Но вы не виноваты, предоставьте все времени. Ваши родители, так же как и мои, спешат, вероятно, осуществить задуманную женитьбу. Доверьтесь мне. Я избавлю вас, насколько это возможно, от неприятностей. Во всяком случае, постараюсь, чтобы вам не пришлось выслушать отказ.

На этом они расстались, однако Фредерику показалось, что мадемуазель Дарси тоже хочет сделать ему признание, и он не ошибся. Выяснилось, что она любит молодого небогатого офицера, который просил ее руки и был отвергнут ее родителями. Фредерик поклялся мадемуа-

зель Дарси, что ей никогда не придется раскаться в своей откровенности. У них установилось молчаливое соглашение — не подчиняться воле родителей, делая в то же время вид, что они им повинуются. С тех пор Фредерика и молодую девушку постоянно видели вместе, они танцевали на балах, болтали в гостиных, уединялись на прогулках. Но, после того как они целый день вели себя, точно влюбленные, вечером, прощаясь, они пожимали друг другу руки и повторяли, что никогда не станут супругами.

Такие отношения таят в себе большую опасность. В них есть заманчивое очарование, и сердце доверчиво отдается ему. Но любовь — божество ревнивое и начинает гневаться, если ее перестают бояться. Иной раз только потому и влюбляются, что поклялись не любить.

Время шло, и к Фредерику вернулась прежняя веселость; он говорил себе, что, в конце концов, не его вина, если мимолетное любовное приключение кончилось так мрачно, что всякий на его месте поступил бы так же и пора забыть о том, чего нельзя поправить. Он начал находить удовольствие в ежедневных встречах с мадемуазель Дарси; она казалась ему теперь гораздо красивее, чем при первом знакомстве. Фредерик вел себя с ней по-прежнему, но постепенно в его речах и в дружеском внимании появился оттенок теплоты, в значении которого трудно было обмануться. Девушка и не обманывалась. Женский инстинкт тотчас подсказал ей, что происходит в сердце Фредерика. Она была польщена и почти тронута. Но была ли мадемуазель Дарси более постоянной по своей натуре, чем Фредерик, или не захотела нарушить раз данное слово, только она решила окончательно порвать с молодым человеком и отнять у него всякую надежду. Для этого она лишь ждала, чтобы он объяснился более определенно. Такой случай вскоре представился.

Как-то вечером Фредерик был особенно оживлен. Когда все сели пить чай, мадемуазель Дарси уединилась в маленькой гостиной. Мечтательное настроение, часто свойственное женщинам, придавало в этот вечер ее

взгляду и словам неизъяснимое очарование. Она безотчетно чувствовала, что способна произвести сильное впечатление, и не могла устоять против желания испытать свою власть, хотя бы даже и во вред себе. Фредерик видел, как она вышла, и последовал за ней. Приблизившись, он сказал, что заметил ее печальное расположение духа, и затем продолжал:

— Помните ли вы, дорогая, что недалек тот день, когда вам предстоит дать окончательный ответ? Какой думаете вы найти выход из этого затруднения? Я пришел просить у вас совета. Отец беспрестанно задает мне все тот же вопрос, и я уже не знаю, как ему отвечать. Что я могу возразить против нашего союза и чем объяснить мой отказ? Если я попробую сказать, что нахожу вас недостаточно красивой, умной или благонравной, никто мне не поверит. Значит, я должен признаться, что люблю другую? Но чем дольше мы будем откладывать решение, тем меньше правды будет в таком признании. И может ли быть иначе? Могу ли я безнаказанно видеть вас все время? Может ли образ далекой отсутствующей женщины не изгладиться из моей памяти, когда вы здесь, рядом со мной? Скажите же, что я должен отвечать и что вы сами об этом думаете? Неужели ваши намерения неизменны и вы хотите, чтобы ваша молодость угасла в одиночестве? Неужели вы останетесь верны воспоминанию? Достаточно ли будет вам одного этого воспоминания? Я сужу по себе и признаюсь, что не могу этому поверить, я ведь чувствую, что противиться собственному сердцу — значит обманывать себя. Удел человека — забывать и любить. Я сдержу свое слово, если на то ваша воля, но не скрою, что мне будет тяжело повиноваться. Знайте же, что теперь от вас одной зависит наше будущее, и решайте.

— Меня не удивляет то, что я услышала, — ответила мадемуазель Дарси, — так говорят все мужчины. Они живут минутой и порой готовы поставить на карту жизнь ради того, чтобы полюбезничать. У женщин тоже бывают подобные соблазны, разница в том, что женщины умеют ус-

тоять перед ними. Я напрасно доверилась вам и, справедливости ради, должна быть наказана за это. Но даже если мой отказ оскорбит вас и навлечет на меня ваше неудовольствие, я должна сказать одну истину, которую вы оцените со временем. Знайте же, что тот, кто способен любить, любит только один раз в жизни. Люди непостоянные не умеют любить, они играют сердцами. Принято думать, что для брака достаточно одной дружеской привязанности; иногда это может быть и так, но возможен ли союз для нас, если вы знаете, что я люблю другого? Предположим, что сейчас, воспользовавшись моей доверчивостью, вы уговорите меня выйти за вас замуж, но как вы примиритесь с моей тайной любовью, когда я стану вашей женой? Не довольно ли одного этого, чтобы сделать несчастными нас обоих? Допустим, что ваши парижские увлечения — всего только шалости, свойственные молодым людям. Но неужели вы думаете, что это говорит в вашу пользу? Могут ли я безразлично относиться к тому, что у вас столь легкомысленный характер? Поверьте мне, Фредерик, — добавила она, беря молодого человека за руку, — когда-нибудь вы полюбите, и тогда, если только вспомните меня, вы отдадите мне должное за то, что я решилась высказать вам сегодня столько горьких истин. Вы еще узнаете, что такое любовь.

С этими словами мадемуазель Дарси встала и удалилась. Она заметила смятение Фредерика и то впечатление, какое ее речь произвела на него. Он остался глубоко опечаленным. Бедный юноша был слишком неопытен и не мог предположить, чтобы в таком решительном объяснении таилась доля кокетства. Ему были неведомы странные мотивы, руководящие порой поступками женщин. Он не знал, что когда действительно хотят отказать, то довольствуются одним коротким словом «нет», а если женщина пускается в рассуждения, значит, она ждет, чтобы ее переубедили.

Как бы то ни было, а этот разговор повлиял на Фредерика самым печальным образом. Вместо того чтобы по-

стараться доказать мадемуазель Дарси ее неправоту, он в последующие дни стал избегать всякого случая поговорить с ней наедине. Она же была слишком самолюбива, чтобы раскаяться в своем поступке, и позволила ему отдалиться без всякого объяснения. Фредерик заговорил с отцом о необходимости пройти практику. Что же касается предполагавшегося брака, то мадемуазель Дарси взялась сама уладить это дело. Она не посмела отказать наотрез, боясь разгневать родителей, но попросила, чтобы ей дали время подумать, и добилась обещания, что ее оставят в покое на год. Итак, Фредерик решил вернуться в Париж. Родители немного увеличили сумму, посылаемую ему. Покидая Безансон, юноша был еще грустнее, чем в день своего приезда. Воспоминание о последнем разговоре с мадемуазель Дарси преследовало его, как роковое предсказание. И в то время как почтовая карета уносила его все дальше и дальше от родного края, он повторял про себя: «Вы еще узнаете, что такое любовь».

IV

На этот раз Фредерик поселился не в Латинском квартале; у него были дела в суде, и он снял комнату на набережной О-Флер. Вскоре к нему зашел его друг Жерар. Во время отсутствия Фредерика Жерар получил довольно значительное наследство. Смерть старого дяди принесла ему богатство. У него теперь была квартира на Шоссе-д'Антен, лошади, кабриолет, и, кроме того, он содержал красивую любовницу. У Жерара появились обширные знакомства, в его доме собиралась молодежь, и целыми днями, а иногда и ночами шла игра в карты; он посещал балы, спектакли, гулянья; словом, из скромного студента Жерар превратился в светского молодого человека.

Вихрь удовольствий, которым предавался Жерар, захватил и Фредерика; впрочем, он не оставлял своих занятий в суде. Фредерик скоро научился презирать прежние развлечения в «Шомьере». Уж, конечно, не там можно

было встретить так называемую золотую молодежь. Правда, нередко ее представители появлялись и в менее почтенной компании, но раз уж так принято, считается более достойным развлекаться у Мюзара со всякими шалопаями, чем на Новом бульваре с порядочными людьми. Жерар никуда не хотел выезжать без своего друга. Фредерик пытался сопротивляться, но всегда кончалось тем, что он позволял себя уговорить. Так он узнал неведомый ему доселе мир, увидел вблизи актрис и танцовщиц. Знакомство с этими небожительницами производит на провинциала огромное впечатление. Он сблизился с игроками и прожигателями жизни, с людьми, которые могли говорить с улыбкой о проигрыше в двести луидоров. Ему случалось проводить с ними ночь и видеть, как, просидев двенадцать часов за вином и картами, эти молодые люди наутро, совершая свой туалет, уже размышляли, как позабыться днем. Фредерик бывал на ужинах, куда каждый приходил с женщиной, которую содержал. С этими женщинами не считали нужным разговаривать, а уходя, уводили их с собой, как берут свою трость и шляпу. Короче говоря, Фредерик разделял все безрассудства и удовольствия тех немногих избранных, которые ведут легкую, беспечную жизнь и не знают огорчений, как будто с остальным человечеством их связывает только одно: стремление к наслаждениям.

Постепенно Фредерик стал втягиваться в эту жизнь. Она избавляла его от грустных мыслей и назойливых воспоминаний. В этой среде действительно нельзя было оставаться не то что печальным, но даже озабоченным. Здесь надо было или веселиться, или уходить совсем. Все же Фредерик корил себя за то, что, изменив своей рассудительности и бережливости, он лишил себя последней опоры. Не располагая средствами для крупной карточной игры, он тем не менее стал играть; к несчастью, вначале он выигрывал, и это дало ему возможность проигрывать в дальнейшем. Прежде он одевался у старого безансонского портного, который многие годы шил на всю их

семью. Теперь Фредерик написал ему, что больше не нуждается в его услугах, и завел себе модного портного. Вскоре у него не стало времени посещать судебные заседания, да и могло ли быть у него свободное время, если он постоянно находился среди молодых людей, которые в своей суетливой праздности не успевали даже прочитать газеты. Итак, практику свою он проходил на бульварах; обедал в кафе, катался в Булонском лесу; носил нарядное платье; в карманах его звенело золото. Чтобы стать законченным денди, ему недоставало только лошади и любовницы.

Правду сказать, это был существенный пробел. В былые времена мужчина мог считаться мужчиной и жить полной жизнью, лишь обладая тремя вещами: лошадью, женщиной и шпагой. Из числа этих трех друзей благородного человека наш прозаический и малодушный век вычеркнул прежде всего самого достойного, верного и неразлучного спутника мужчины: никто уже больше не носит шпаги. Но — увы! — мало кто имеет и верховую лошадь, а бывают и такие, которые кичатся тем, что живут без любовницы.

Однажды, чтобы заплатить неотложные долги, Фредерику пришлось обратиться за помощью кое к кому из своих товарищей по развлечениям. Но они не смогли его выручить. В конце концов он получил три тысячи франков под вексель у банкира, который знал его отца. Когда после многих волнений эта сумма оказалась у него в кармане, он почувствовал себя спокойно и радостно и решил пройтись по бульвару, прежде чем возвратиться домой. На углу Рю-де-ла-Пэ, которую он пересекал, чтобы попасть в Тюильри, какая-то женщина, шедшая под руку с молодым человеком, увидела Фредерика и засмеялась. Это была Бернеретта. Он остановился и проводил ее глазами. Она тоже обернулась несколько раз. Фредерик, отдавая себе отчет, изменил направление и очутился в кафе де Пари.

Там он провел около часа и уже собирался было подняться в ресторан пообедать, когда Бернеретта снова

прошла мимо него. Она была одна. Он остановил ее и спросил, не хочет ли она пообедать с ним. Бернеретта согласилась, взяла его под руку, но предложила поехать в более скромное место.

— Пойдем в кабачок, — весело сказала она, — не люблю я обедать на виду.

Они взяли фиакр и, как в былые времена, прежде чем о чем-либо спросить, осыпали друг друга тысячью поцелуев.

Свидание их было радостным, никаким печальным воспоминаниям не было места. Все же Бернеретта пожаловалась, что Фредерик не навестил ее. Он ответил только, что она сама должна знать, почему это произошло. Она посмотрела в глаза возлюбленного и поняла, что нужно промолчать. Любовники сели у горящего камина, как в день их первого свидания; они ни о чем не думали и лишь хотели вволю насладиться счастливой встречей, дарованной им случаем. Шампанское внесло оживление; вместе с этим напитком поэтов, которым пренебрегают лишь привередники, полились и нежные речи. После обеда Фредерик и Бернеретта поехали в театр. В одиннадцать часов Фредерик спросил, куда ее отвезти. Бернеретта помолчала, не то стыдясь, не то робея, и, наконец, обхватив руками шею Фредерика, шепнула ему застенчиво на ухо:

— К тебе.

Он несколько удивился, узнав, что она свободна.

— А даже если бы я и не была свободна, разве ты не знаешь, что я люблю тебя? — ответила она. — Но я свободна, — прибавила она поспешно, заметив, что Фредерик заколебался. — Может быть, человек, с которым ты меня только что встретил, навел тебя на какие-то мысли? Ты его рассмотрел?

— Нет, я смотрел только на тебя.

— Это чудесный мальчик, у него модная лавка, и он довольно богат; он хочет на мне жениться.

— Ты говоришь — жениться? И это серьезно?

— Очень серьезно. Я от него ничего не скрыла. Он зна-

ет историю всей моей жизни. Но он влюблен в меня. Он познакомился с моей матерью и месяц тому назад сделал предложение. Моя мать не хотела ничего ему говорить обо мне и чуть не поколотила меня, когда узнала, что я все рассказала. Он хочет, чтобы я заведовала его лавкой. Это было бы неплохим занятием, он ведь зарабатывает тысяч пятнадцать в год. Увы, это невозможно.

— Почему невозможно? Есть какие-нибудь препятствия?

— Я тебе потом скажу, сначала поедем к тебе.

— Нет — прежде расскажи мне все откровенно.

— Я боюсь, что ты будешь смеяться надо мной. Я его уважаю и очень к нему расположена, это самый хороший человек на свете, но он слишком толстый.

— Слишком толстый? Что за ерунда!

— Но ты его не разглядел: он мал ростом и толст, а ты так хорошо сложен!

— А каков он лицом?

— Не так уж плох. У него хорошее, доброе лицо, и он действительно добр, а это уже достоинство. Я ему благодарна гораздо более, чем могу это выразить. Если бы я только пожелала, он и не женившись на мне сделал бы для меня много хорошего. Ни за что на свете я не хотела бы его огорчить. И если бы могла оказать ему услугу, то сделала бы это от всего сердца.

— Ну, выходи за него замуж, если так.

— Нет, нет — он слишком толстый; это невозможно. Едем же к тебе, мы еще поболтаем.

Фредерик не устоял перед соблазном, и когда на следующее утро он проснулся, былые невзгоды и прелестные глазки мадемуазель Дарси — все было забыто.

V

Бернеретта ушла после завтрака и не позволила Фредерiku проводить ее домой. Полученные деньги Фредерик отложил с твердым намерением заплатить долги, но

не спешил с этим. Спустя некоторое время он ужинал у Жерара. Гости разошлись на рассвете. Фредерик собирался уже уходить, когда Жерар остановил его.

— Ты что думаешь делать? — спросил он. — Ложиться спать уже поздно — поедем завтракать за город.

Они быстро договорились, и Жерар послал разбудить свою любовницу и сказать ей, чтобы она приготовилась к прогулке.

— Как жаль, — сказал он своему приятелю, — что тебе некого пригласить, мы поехали бы вчетвером, это было бы куда веселее.

— За этим дело не станет, — ответил Фредерик, уступая порыву тщеславия. — Если хочешь, я черкну словечко, и пусть твой грум отнесет, это здесь неподалеку. Правда, сейчас немного рановато, но я не сомневаюсь, что Бернеретта явится.

— Великолепно. А что это за Бернеретта? Уж не прежняя ли твоя гризетка?

— Совершенно верно; это по поводу нее ты читал мне наставления.

— В самом деле? — смеясь, сказал Жерар. — Но, возможно, я был прав, — прибавил он, — у тебя характер постоянный, а с такими девушками это опасно.

Жерар не успел еще договорить, как вошла его возлюбленная. Бернеретта тоже не заставила себя ждать. Для этого случая она принарядилась, как только могла. Послали за наемной каретой и, несмотря на довольно холодную погоду, отправились в Монморанси. Небо было ясное, солнце сияло, молодые люди курили, обе дамы пели. Не проехав и одного лье, они стали приятельницами.

В Монморанси компания решила совершить прогулку верхом. Пустив лошадь вскачь по лесу, Фредерик почувствовал, как сильно забилося его сердце; никогда еще не было ему так хорошо. Бернеретта была рядом с ним, он видел, какое впечатление производит на Жерара прелестное лицо молодой девушки, разгоревшееся от скачки, и гордился этим. Они долго кружили по лесу, потом реши-

ли сделать привал на небольшом холме, где находились маленький домик и мельница. Мельничиха вынесла им бутылку белого вина, и они расположились прямо на земле, среди вереска.

— Нам следовало бы захватить пирожков, — сказал Жерар, — верховая езда способствует пищеварению, и я проголодался; мы бы закусили на траве, прежде чем вернуться в гостиницу.

Бернеретта достала из кармана слоеный пирожок, который она прихватила по дороге в Сен-Дени, и так мило предложила его Жерару, что тот даже поцеловал ей руку, принимая пирожок.

— Вместо того чтобы возвращаться в деревню, — сказала она, — давайте лучше пообедаем здесь. Наверное, у этой женщины найдется в ее домишке кусок баранины, да вот и куры, — почему бы их не зажарить? Спросим-ка, можно ли все это устроить, а пока будет приготовляться обед, мы погуляем в лесу. Что вы на это скажете? Право, это гораздо лучше, чем есть древних куропаток в гостинице «Белая лошадь».

Предложение было принято. Мельничиха хотела было отказаться, но, ослепленная блеском золотой монеты, полученной от Жерара, тотчас принялась за дело и принесла в жертву население своего птичника. Обед получился необыкновенно веселым и продлился гораздо дольше, чем рассчитывали его участники. Вскоре солнце скрылось за живописными холмами Сен-Ле, тяжелые тучи надвинулись на долину, и начался проливной дождь.

— Что теперь делать, — сказал Жерар, — до Монморанси не менее двух лье, и это не летняя гроза, которую можно переждать, а настоящий зимний дождь на всю ночь.

— Ну, почему же, — сказала Бернеретта, — зимний дождь проходит, как и всякий другой. Сыграем в карты, чтобы развлечься, а когда взойдет луна, будет хорошая погода.

Но, как и следовало ожидать, у мельничихи не оказалось карт, и игра не состоялась. Сесиль, возлюбленная

Жерара, начала беспокоиться за свое новое платье и с сожалением вспоминала о гостинице. Лошадей пришлось укрыть в сарае. В комнату вошло двое дюжих молодцов довольно неприветливого вида. Это были сыновья мельничихи. Они спросили ужин и, казалось, не особенно-то были рады посторонним. Жерар начал терять терпение, у Фредерика испортилось настроение. Нет более унылого зрелища, чем вид людей, которые только что смеялись и чье веселье прервано внезапной помехой. Одна Бернеретта сохраняла прекрасное расположение духа и, казалось, ни на что не обращала внимания.

— Если у нас нет карт, — сказала она, — я предложу вам другую игру. Прежде всего попытаемся найти муху, хотя сейчас и ноябрь месяц.

— Муху? — переспросил Жерар. — Что вы собираетесь с ней делать?

— Сначала поищем, а потом увидим.

После тщательных поисков муха была найдена. Бедняжка оцепенела от холода. Бернеретта осторожно взяла муху и положила ее посреди стола, затем усадила всех вокруг.

— Теперь, — сказала она, — пусть каждый возьмет по куску сахара и положит его перед собой на стол, затем бросит в тарелку какую-нибудь монету. Это будет ставкой. Только не двигайтесь и не говорите, дайте мухе очнуться. Вот она уже летает. Смотрите — сейчас она сядет на один из кусков сахара, улетит, сядет на другой, снова вернется — как ей вздумается. Всякий раз, когда муха сядет на сахар и задержится на нем, владелец этого куска берет из тарелки монету — и так до тех пор, пока тарелка не опустеет. Тогда мы начнем сначала.

Забавная выдумка Бернеретты развеселила всех. Сделали, как она сказала. Прилетели еще две-три мухи, все играющие в торжественном молчании следили за ними глазами; как только муха садилась на сахар, раздавался дружный смех. Так незаметно прошел час; тем временем дождь прекратился.

— Не переносу унылых женщин, — говорил Жерар своему другу на обратном пути. — Надо признаться, что веселость — великое благо, может быть, самое большое из всех, потому что, обладая им, можно обходиться без остальных. Твоей гризетке удалось обратить час скуки в час забавы. Это одно заставляет меня ценить ее много больше, чем если бы она сочинила эпическую поэму. Как ты думаешь, долго ли продлится ваша любовь?

— Не знаю, — ответил Фредерик, подражая небрежному тону своего приятеля, — если она тебе нравится, можешь поухаживать за ней.

— Ты неискренен; ты же любишь ее, и она тебя любит.

— Да, как и прежде, — из прихоти.

— Бойся таких прихотей.

— Догоняйте же нас, господа! — крикнула Бернеретта. Она и Сесиль мчались вскачь впереди. На небольшой плоской возвышенности девушки придержали лошадей, и вся кавалькада сделала остановку. Выходила луна, медленно выплывая из-за чащи леса; по мере того как она поднималась, тучи словно отступали перед ней. Внизу у подножия холма расстилалась долина, она тонула во мраке, и только было слышно, как там, в глубине, куда не проникал взгляд, глухо волновалось от ветра темное море зелени. В шести лье от Парижа можно было подумать, что находишься где-то над отрогами Шварцвальда. Внезапно ночное светило точно вынырнуло из-за горизонта. Широкий луч скользнул по верхушкам леса и мгновенно залил светом все вокруг. Высокие деревья, купы каштанов, лужайки, тропинки, холмы — все обрисовалось вдали, как по волшебству. Фредерик и его спутники обменялись взглядами, удивленные и обрадованные, что видят друг друга.

— А ну-ка, Бернеретта, — воскликнул Фредерик, — спой нам песню!

— Печальную или веселую? — спросила она.

— Какую хочешь. Спой охотничью! Быть может, на нее ответит эхо.

Бернеретта откинула назад вуаль и начала, подражая

напеву охотничьего рожка, но вдруг остановилась. Ее взгляд поразила яркая звезда Венера, мерцавшая над самым холмом. Подчиняясь очарованию более нежных чувств и мыслей, Бернеретта запела на мотив немецкой песни стихи, которые Фредерик сочинил когда-то под впечатлением отрывка из Оссиана:

Вечерняя звезда, далекая богиня,
Чей лучезарен лик меж облаков в огне,
Из своего дворца в бездонной глубине
Что видишь ты в долине синей?
Гроза рассеялась, и ветры кротко спят,
Дрожа, роняет лес алмазы слез росистых,
Ночная бабочка на крыльях золотистых
Полей впивает аромат.
Что ищешь ты во тьме земного круга?
Но ты склоняешься к вершинам темных гор,
Скользишь с улыбкою, печальная подруга,
И опускается мерцающий твой взор.

Звезда, бегущая к холмам темно-зеленым,
В плаще ночных небес дрожащая слезой,
Ты, на кого глядит пастух, когда по склонам
Свои стада ведет извилистой тропой, —
Звезда, куда от нас летишь ты торопливо?
Не к ложу ль в тростниках отыскиваешь путь?
Куда летишь одна в час ночи молчаливый,
Чтоб в глубине морской жемчужиной мелькнуть?
О, если суждено, прекрасное светило,
Чтоб лен волос твоих в пучине вод исчез,
Пускай хоть миг еще нам льется свет твой милый.
Звезда, звезда любви, не покидай небес!¹

Бернеретта пела; луна освещала ее лицо, придавая ему очаровательную бледность. Сесиль и Жерар похвалили чистоту и свежесть ее голоса, а Фредерик нежно поцеловал возлюбленную.

Они вернулись в гостиницу и сели ужинать. За десертом Жерар, разгоряченный выпитой бутылкой мадеры,

¹ Перевод Э. Л. Линецкой.

стал так услужлив и любезен с Бернереттой, что Сесиль затеяла с ним ссору. Они наговорили друг другу колкостей, и Сесиль ушла из-за стола, а Жерар последовал за ней в самом дурном расположении духа.

Оставшись наедине с Бернереттой, Фредерик спросил ее, догадалась ли она о причине этой размолвки.

— Конечно, — ответила Бернеретта, — это же не стихи, и каждый это понимает.

— Ну и что же ты об этом думаешь? Ты приглянулась этому молодому человеку; его любовница ему наскучила, и, я думаю, тебе достаточно сказать слово, чтобы он бросил ее.

— Какое нам до этого дело! Или ты ревнуешь?

— Нисколько. Ты же прекрасно знаешь, что я не имею права ревновать тебя.

— Объясни мне, что ты хочешь сказать?

— Милое дитя мое, я хочу сказать, что ни мое состояние, ни род моих занятий не позволяют мне быть твоим любовником. Ты знаешь это давно, я тебя никогда не обманывал на этот счет. Если бы я захотел разыгрывать перед тобой знатного вельможу, я бы разорился, не сделав тебя счастливой. Мне едва хватает моего содержания; кроме того, в скором времени я должен буду вернуться в Безансон. Ты видишь, что об этом я говорю с тобой вполне откровенно, хотя мне и тяжело, но есть некоторые вещи, о которых я так говорить не могу. Твое дело подумать и позаботиться о своем будущем.

— Другими словами, ты мне советуешь заняться твоим другом?

— Нет, это он готов заняться тобой. Жерар богат, а я нет. Он живет в Париже, в самой гуще всевозможных развлечений, мне же предназначено быть всего лишь провинциальным адвокатом. Ты очень нравишься Жерару, и, может быть, это для тебя счастливый случай.

Несмотря на кажущееся спокойствие, Фредерик, говоря все это, был взволнован. Бернеретта молчала, она

прижалась к окну и плакала, стараясь скрыть свои слезы. Фредерик заметил это и подошел к ней.

— Оставьте, — сказала она, — вы никогда не снизойдете до того, чтобы ревновать меня. Я понимаю и не жалуясь, но мне очень больно; вы слишком жестоко говорите, друг мой, вы обращаетесь со мной как с продажной женщиной; я не заслужила этого; вы причиняете мне большое горе.

Заранее было решено переночевать в гостинице и вернуться в Париж на другой день. Все еще утирая глаза, Бернеретта сняла с шеи платок и повязала им на ночь голову возлюбленного. Затем прижалась к плечу Фредерика, тихонько увлекая его к алькову.

— Какой же ты гадкий, — сказала она, целуя его, — почему ты не хочешь меня любить?

Фредерик заключил ее в объятия. Он понимал, чему подвергает себя, уступая минутной слабости. Чем больше ему хотелось отдаться этому порыву, тем больше страшился он самого себя. Он готов был сказать Бернеретте, что любит ее, но роковое слово замерло у него на губах; Бернеретта же сердцем почувствовала его, и оба они загнули счастливые. Один — оттого, что все же не произнес этого слова, другая — оттого, что угадала его.

VI

На этот раз Фредерик по возвращении проводил Бернеретту домой. Он увидел, как бедно ее жилище, и сразу понял, почему сначала она не хотела, чтобы ее провожали. Бернеретта жила в меблированных комнатах, вход туда вел через длинный темный коридор. Она занимала две крошечные каморки со скудной обстановкой. Фредерик попытался задать ей несколько вопросов по поводу того плачевного положения, в котором она, по-видимому, находилась, но она отвечала уклончиво.

Спустя несколько дней Фредерик зашел навестить Бернеретту; войдя в дом, он услышал наверху на лестнице

странный шум. Кричали женщины, кто-то звал на помощь, кто-то грозил, кто-то предлагал послать за полицией. Среди беспорядочного хора этих голосов выделялся голос молодого человека, который не замедлил появиться перед Фредериком. Одежда на нем была изорвана, он был бледен и пьян от вина и ярости.

— Ты мне заплатишься за это, Луиза, — кричал он, ударя кулаком по перилам, — ты мне за это заплатишься! Я еще до тебя доберусь и заставлю тебя слушаться или выкину отсюда. Я плюю на ваши угрозы и весь этот женский визг! Скоро вы меня опять увидите, так и знайте!

Говоря это, он спустился с лестницы и в бешенстве выбежал из дома. Фредерик колебался, подниматься ли ему наверх, но тут он увидел Бернеретту на площадке. Она рассказала о причине разыгравшейся сцены. Только что ушедший человек был ее брат.

— Вы слышали это уродливое имя — Луиза, — плача, говорила Бернеретта, — и вы знаете, что, к несчастью, это мое имя. Мой брат был сегодня в кабаке, а когда он приходит оттуда, вы сами видите, как он со мной обращается, если я не даю ему денег, чтобы ему снова вернуться в кабак.

В полном смятении, заливаясь слезами, она рассказала Фредерiku то, что всегда пыталась от него скрыть. Родители ее были крайне бедны. Отец столярничал. В детстве с ней обращались очень жестоко, и как только ей исполнилось шестнадцать лет, продали ее одному уже немолодому человеку. Он был богат и щедр и дал ей некоторое образование, но вскоре умер. Оставшись без средств, Бернеретта поступила в провинциальный театр, и тут брат стал преследовать ее из города в город, заставлял отдавать ему весь заработок, осыпал побоями и оскорблениями, если она не могла удовлетворить его требований. Когда ей минуло восемнадцать лет, она добилась признания своего совершеннолетия. Но даже власть закона не в силах была оградить ее от посещений ненавистного брата, который внушал ей ужас своей грубостью и

бесчестил гнусным поведением. Таков был в общих чертах рассказ, вырвавшийся у Бернеретты в минуту отчаяния. Все это она рассказала так простодушно, что Фредерик не мог сомневаться в ее правдивости.

Он был тронут, и даже если бы не любил ее, то почувствовал бы жалость к бедной девушке. Он узнал, где живет брат Бернеретты. Несколько золотых монет и решительный разговор уладили дело. На случай, если молодой человек явится снова, привратнице было велено сказать, что Бернеретта переехала в другой квартал. Но мало было обеспечить покой Бернеретты, когда она нуждалась в самом необходимом, и Фредерик заплатил ее долги, вместо того чтобы заплатить собственные. Напрасно она пыталась отговорить его от этого. Он и думать не хотел, что поступает опрометчиво и что эта опрометчивость может иметь неприятные последствия. Он повиновался велению сердца и поклялся никогда не раскаиваться в этом, что бы ни случилось в будущем.

Но раскаяться ему пришлось, и очень скоро. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства по старому векселю, нужно было заключить новые обязательства, гораздо более тяжелые. Природа не одарила его беспечностью, которая в подобных обстоятельствах освобождает человека хотя бы от страха перед надвигающейся бедой. Наоборот, из всех своих прежних качеств он сохранил одно — предусмотрительность. Он, вероятно, стал бы мрачным и молчаливым, если бы это было возможно в его возрасте. Друзья заметили в нем перемену, но он не захотел сознаться в ее причине; стараясь обмануть других, он хитрил сам с собой и, то ли по слабости, то ли за отсутствием другого выхода, положился на волю providения.

С Бернереттой, однако, он держался по-прежнему и продолжал говорить о своем близком отъезде, но это были только слова, он все не уезжал и каждый день навещал ее. Он привык к ее лестнице, и коридор уже не казался ему таким темным. Две маленькие комнатки, которые он находил вначале убогими, стали теперь в его глазах при-

влекательными. По утрам в них светило солнце и нагревало их — такие они были крошечные. В них нашлось место для фортепьяно, взятого напрокат. По соседству оказался хороший ресторан, откуда приносили обеды. У Бернеретты был дар, которым обладают только женщины, да и то не часто. Она была и безрассудна и вместе с тем бережлива. К этому присоединялся еще более редкий дар — она была всегда всем довольна, и ее единственным желанием было доставить радость окружающим.

Надо сказать и об ее недостатках; она не была ленивой, но проводила дни в непостижимой праздности. Со своим маленьким хозяйством она справлялась поразительно быстро, а затем сидела целый день на диване сложа руки. Она толковала о своем обучении шитью и вышиванию так же, как Фредерик о своем отъезде, другими словами — дальше разговоров дело не шло. К несчастью, таковы многие женщины, в особенности женщины определенного круга, которым более, чем другим, следовало бы заниматься каким-нибудь ремеслом. Есть в Париже девушки, которые родились в бедности, но никогда не возьмут в руки иголку; они скорее согласятся умереть с голоду, хотя свои руки и натирая их миндальными отрубями.

Когда пришла Масленица и с нею карнавальные развлечения, Фредерик, посещавший все балы, являлся к Бернеретте в самое различное время — то утром на рассвете, то среди ночи. Не раз, подойдя к ее двери, он невольно спрашивал себя, застанет ли ее одну; и если его уже заменил соперник, то имеет ли он право сетовать? Конечно, нет, раз он сам отказался от этого права. Признаться ли, что он боялся этого и в то же время почти желал? Тогда у него хватило бы решимости уехать. Неверность возлюбленной заставила бы его покинуть ее. Но Бернеретта всегда была одна — днем она сидела у камина, расчесывая свои длинные волосы, падавшие ей на плечи. А если звонок Фредерика раздавался ночью, она выбегала к нему полуобнаженная, с закрытыми глазами и смеющимся ртом и бросалась ему на шею, еще даже не совсем

проснувшись, разжигала огонь, доставала из буфета ужин, всегда проворная и приветливая. Она никогда не спрашивала, откуда пришел ее возлюбленный. Кто мог бы устоять перед соблазном такой легкой и приятной жизни и перед такой редкой и необременительной любовью? Каковы бы ни были дневные заботы, Фредерик всегда засыпал счастливым. И мог ли он просыпаться грустным; если, открывая глаза, видел свою подругу, которая весело хлопотала, приготовляя ему воду для умывания и завтрак?

Если верно, что редкие встречи и беспрестанно возникающие препятствия разжигают страсть и придают наслаждению остроту новизны, то надо признаться и в том, что есть особое очарование, быть может, более сладостное и более опасное, в постоянном общении с теми, кого любишь. Говорят, что привычка приводит к пресыщению. Возможно; но вместе с тем она порождает взаимное доверие и забвение самого себя; любовь, выдержавшая такое испытание, может уже ничего не бояться. Любовники, встречающиеся изредка, никогда не могут быть уверены, что поймут друг друга. Они ждут минут счастья, хотят убедить себя, что счастливы, и тщетно ищут невозможно — слов, чтобы высказать свои чувства. Тем, кто живет вместе, ничего не надо высказывать словами; они мыслят и чувствуют согласно, они обмениваются взглядами; идя рядом,жимают друг другу руки. Только они одни знают восхитительное блаженство и ласковую прелесть завтрашнего утра. В дружеской непринужденности они находят отдых от восторгов любви. Мне всегда вспоминаются эти пленительные узы, когда я вижу двух лебедей, которые тихо плывут по течению, отражаясь в чистой, прозрачной воде.

Вначале Фредерика увлек великодушный порыв, а затем очарование этой новой для него жизни пленило его. К несчастью для автора этого рассказа, только перо Бернардена де Сен-Пьера способно придать интерес бесхитрым подробностям безмятежной любви. К тому же

для украшения своего простодушного повествования этот искусный писатель располагал знойными ночами Иль-де-Франса и пальмами, бросающими трепетные тени на обнаженные плечи Виргинии. Своих героев он изобразил на фоне богатейшей природы. А мои героини — посмею ли сказать? — каждое утро отправлялись в тир Тиволи стрелять из пистолета, оттуда — к своему другу Жерару, иногда обедали у Бери; вечером ехали в театр. Посмею ли сказать, что когда они чувствовали себя усталыми, то играли в шашки у своего камина? Кто захочет читать такие заурядные подробности, да и к чему это, если достаточно сказать одно: они любили друг друга и жили вместе. Так продолжалось около трех месяцев.

К этому времени Фредерик оказался в столь затруднительном положении, что объявил своей подруге о необходимости расстаться. Она давно была готова к этому и не сделала никакого усилия, чтобы удержать его: она знала, что он пожертвовал для нее всем, чем мог; ей оставалось только покориться и постараться скрыть от него свое горе. В последний раз они пообедали вместе. Уходя, Фредерик сунул в муфту Бернаретты пакетик — и в нем все, что у него еще оставалось. Она проводила его до дому и всю дорогу молчала. Когда фиакр остановился, она поцеловала возлюбленного руку, уронила несколько слезинок, и они расстались.

VII

Между тем у Фредерика не было ни намерения, ни возможности уехать домой. Принятые им долговые обязательства, с одной стороны, и практика — с другой, удерживали его в Париже. Он горячо принялся за работу, чтобы прогнать охватившую его тоску. Он перестал бывать у Жерара, на целый месяц заперся дома и выходил только затем, чтобы отправиться в суд. Внезапное одиночество, наступившее после столь рассеянной жизни, повергло его в глубокую меланхолию. Иногда он проводил целые

дни, шагая по комнате вдоль и поперек, не притрагиваясь к книгам и не зная, что с собой делать. Масленица отошла. За февральскими снегопадами последовали ледяные мартовские дожди. Не стало больше ни забав, ни друзей, чтобы отвлечь Фредерика от печальных дум, и он с горечью предавался чувству уныния, которое навеивает это тоскливое время года, не даром прозванное «мертвым сезоном».

Как-то раз Жерар навестил Фредерика и спросил его о причине столь внезапного исчезновения. Фредерик не стал скрывать от друга, чем вызвано его отшельничество, но от предложенной помощи отказался.

— Настало время, — сказал он Жерару, — покончить с привычками, которые ни к чему не могут привести меня, кроме гибели. Лучше претерпеть некоторые неприятности, чем довести себя до настоящей беды.

Фредерик не скрывал своего горя от разлуки с Бернереттой, и Жерару оставалось только пожалеть друга, хотя он и приветствовал принятое им решение.

В середине Великого поста Фредерик отправился на бал в Оперу. Публики там оказалось мало. В этом последнем прощании с зимними развлечениями не было даже сладости воспоминаний. Оркестр, более многочисленный, чем посетители, играл в пустом зале кадрили минувшего зимнего сезона. Несколько масок слонялись по фойе; их манера держаться и речь говорили о том, что женщины из общества не посещают более эти забытые праздники. Фредерик уже собирался уходить, когда к нему подседа маска, и он узнал Бернеретту. Она сказала, что пришла только в надежде повстречать его. Он спросил, что она делала с тех пор, как они не виделись; она ответила, что надеется снова поступить в театр и учит роль для дебюта. Фредерику очень хотелось повести ее ужинать, но он вспомнил, с какой легкостью он при таких же обстоятельствах дал себя увлечь по возвращении из Безансона. Он пожал Бернеретте руку и вышел из зала один.

Говорят, что лучше горе, чем скука. Это грустное изречение, к несчастью, справедливо. Перед лицом горя,

каково бы оно ни было, благородная душа находит в себе силы и мужество для борьбы с ним; большое страдание часто оказывается большим благом. Скука же, напротив, точит и разрушает человека. Ум цепенеет, тело томится в неподвижности, мысль витает без цели. Когда жизнь лишена смысла, подобное состояние хуже смерти. Если страсть находится в противоречии с благоразумием, жизненными интересами и здравым смыслом, то каждый может с легкостью и по всей справедливости порицать человека, отдавшего себя такой страсти. Для подобных случаев существует множество готовых доводов, и волей-неволей приходится на них сдаваться. Но вот рассудок и благоразумие одержали верх, и страсть принесена в жертву. Какие аргументы остаются тогда у философа и софиста? Что ответят они человеку, который скажет: «Я последовал вашим советам, но я все потерял. Я поступил благоразумно, но я страдаю».

Так было с Фредериком. Бернеретта дважды написала ему. В первом письме она уверяла, что жизнь стала ей невыносима, умоляла хоть изредка навещать ее, не покидать окончательно. Но Фредерик слишком мало доверял самому себе, чтобы уступить этой просьбе. Второе письмо пришло спустя некоторое время. «Я виделась с моими родителями, — писала Бернеретта, — они стали лучше ко мне относиться. Один из моих дядюшек умер и завещал нам немного денег. Я заказала платья для моего дебюта, они должны вам понравиться. Зайдите ко мне на минутку, когда будете проходить мимо». На этот раз Фредерик дал себя уговорить и навестил свою подругу. Но все, что она написала, оказалось неправдой; просто она хотела увидеть его. Он был тронут ее постоянством, но тем очевиднее стала для него печальная необходимость противиться ее настойчивости. Однако, как только он заговорил об этом, Бернеретта остановила его.

— Я все знаю, — сказала она, — поцелуй меня и уходи.

Жерар уехал в деревню и увез с собой Фредерика. Весенние ясные дни, верховая езда — все это подействовало

благотворно на Фредерика, и мало-помалу к нему вернулась его веселость. Отношения Жерара с его возлюбленной тоже разладились. По его собственному выражению, он «отослал» свою любовницу, ему хотелось пожить на свободе. Молодые люди вместе разъезжали по лесам и вместе ухаживали за хорошенькой фермершей из соседнего местечка. Но вскоре из Парижа приехали гости. Прогулки уступили место карточной игре, обеды стали шумными и продолжительными. Эта жизнь, некогда ослеплявшая Фредерика, была ему теперь невыносима, и он вернулся к своему одиночеству.

Фредерик получил письмо из Безансона. Отец извещал его, что мадемуазель Дарси собирается вместе со своими родителями в Париж. Действительно, они прибыли на той же неделе. Фредерик, хотя и неохотно, все же явился к ней. Он нашел ее такою же, какой оставил, — она по-прежнему верна была своей тайной любви и готова использовать эту верность, как одно из ухищрений кокетства. Все же она созналась, что сожалеет о некоторых слишком резких словах, сказанных ею во время их последнего объяснения, и просила Фредерика простить ей, если она усомнилась в его скромности. Тут она добавила, что замуж выходить не хочет, но снова предлагает ему дружбу, теперь уже навеки. Подобные предложения всегда найдут отклик у того, кто несчастлив, у кого невесело на душе. Фредерик поблагодарил мадемуазель Дарси и стал изредка бывать у нее, находя даже некоторую прелесть в вечерах, проведенных в ее обществе.

Потребность в острых ощущениях заставляет иногда людей пресыщенных стремиться к необычному. Но чтобы такая молодая особа, как мадемуазель Дарси, могла обладать столь прихотливым и странным нравом, казалось совершенно невероятным. И тем не менее это было именно так. Она без особого труда добилась доверия Фредерика и заставила его рассказать о своей любви.

Вероятно, она могла бы его утешить или невинным женским кокетством хотя бы немного рассеять его пе-

чаль. Но ей заблагорассудилось поступить иначе. Вместо того чтобы порицать его беспорядочную жизнь, она объявила, что любовь оправдывает все, что его безрассудства делают ему честь; вместо того чтобы поддержать его решение, она твердила, что не постигает, как он мог принять его. «Будь я мужчиной и располагай такой свободой, как вы, ничто в мире не могло бы разлучить меня с любимой женщиной. Я с радостью пошла бы навстречу всем лишениям и даже, если нужно, нищете, но не отказалась бы от возлюбленной».

Подобные речи звучали довольно странно в устах молодой особы, не знавшей в жизни ничего, кроме своего дома и тесного круга родных. Но именно поэтому они производили особенно сильное впечатление. У мадемуазель Дарси было две причины играть эту роль, которая, кстати сказать, ей нравилась. С одной стороны, ей хотелось прослыть романтической девицей и доказать, что у нее великодушное сердце; с другой — ее поведение служило доказательством, что она отнюдь не винит Фредерика, забывшего ее, но даже одобряет его страсть к Бернеретте. Бедный юноша вторично попался на эту женскую хитрость и позволил семнадцатилетней девочке убедить себя. «Вы правы, — отвечал он, — в конце концов, жизнь так коротка, а счастье так редко на земле, что глупо раздумывать и добровольно создавать себе огорчения, когда столько есть горестей неизбежных». Тогда мадемуазель Дарси меняла тему: «А любит ли вас ваша Бернеретта? — спрашивала она с презрительным видом. — Вы, кажется, говорили, что она гризетка? Можно ли принимать в расчет подобных женщин? Достояна ли она каких бы то ни было жертв? Оценит ли она их?» — «Не знаю, — отвечал Фредерик. — Я и сам не питаю к ней особенно глубоких чувств, — прибавлял он беспечным тоном. — Возле нее я всегда думаю лишь, как бы приятно провести время. Сейчас я просто скучаю. В этом все зло». — «Как вам не стыдно! — восклицала мадемуазель Дарси. — Какая же это страсть!»

Заговорив на эту тему, молодая особа так воодушевлялась, точно речь шла о ней самой; тут ее живое воображение находило себе богатую пищу.

— Разве это любовь, — говорила она, — если вы ищете только приятного времяпрепровождения? Если вы не любите эту женщину, зачем вы у нее бывали? А если вы любите ее, зачем же вам расставаться? Она, наверное, страдает, плачет. Могут ли жалкие денежные расчеты найти себе место в благородной душе? Я не думала, что у вас холодное сердце и что вы такой же раб своих личных интересов, как и мои родители. Ведь они из-за этого разбили мою жизнь. Разве это достойно молодого мужчины, не должны ли вы краснеть за свое поведение? Да нет, вы даже не знаете, страдаете ли вы и о чем сожалеете! Вас может утешить первая встречная. Все это у вас от праздности ума. Ах, разве так любят! Я вам предсказывала в Безансоне, что когда-нибудь вы узнаете, что такое любовь, но сегодня я говорю вам, что вы никогда этого не узнаете, если будете так малодушны.

Как-то вечером, после одной из таких бесед, Фредерик возвращался домой и был застигнут дождем. Он зашел в кафе выпить стакан пунша. Если наше сердце остается долго во власти уныния, достаточно небольшого возбуждения, чтобы оно забилося быстрее, и тогда кажется, что душа подобна наполненной чаше, готовой перелиться через край. Выйдя из кафе, Фредерик ускорил шаги. Два месяца одиночества и лишений оказались тяжелым испытанием. Теперь он почувствовал непреодолимую потребность стряхнуть гнет благоразумия и вздохнуть полной грудью. Не раздумывая, он направился к дому Бернеретты. Дождь прошел; при свете луны он глядел на знакомые окна, на двери дома, на улицу, где жила его подруга, — все такое привычное и дорогое. С трепетом он взялся за звонок и, как прежде, спросил себя, застанет ли он в комнатке наверху все тот же огонь под тлеющими углями и готовый ужин на столе. Перед тем как позвонить, он на минуту заколебался.

«Ну что тут плохого, если я проведу часок у Бернеретты и попрошу немного ласки в память прошлого? Что может мне грозить? Ведь завтра мы снова будем оба свободны. Нас разлучила суровая необходимость, но почему же мне бояться провести с Бернереттой хоть несколько мгновений?»

Была полночь. Он тихонько позвонил, дверь открылась. Но когда он уже поднимался по лестнице, привратница окликнула его и сказала, что никого нет дома. Это было впервые, что Фредерик не заставал Бернеретты. Он подумал, что она в театре, и сказал, что подождет. Но привратница воспротивилась этому. После долгих колебаний она, наконец, сообщила, что Бернеретта ушла из дому рано и вернется только завтра.

VIII

Зачем притворяться равнодушным, если любишь, — ведь все равно придется жестоко страдать в тот день, когда уже не станет сил скрывать от себя истину. Фредерик столько раз клялся себе, что не будет ревновать Бернеретту, и столько раз повторял это же своим друзьям, что в конце концов сам поверил тому, что говорил. Он вернулся домой пешком, насвистывая кадрили.

«У нее есть любовник, — сказал он себе, — тем лучше для нее, это как раз то, чего я желал. Отныне я могу быть спокоен...»

Но как только он оказался дома, им овладела смертельная слабость. Он сел и сжал голову руками, как бы собирая свои мысли. После бесполезной борьбы естественные чувства взяли верх. Когда он поднялся, по лицу его лились слезы. Он признался самому себе, что страдает, и нашел в этом некоторое облегчение.

На смену жестокому потрясению пришло крайнее уныние. Одиночество стало ему нестерпимо, и Фредерик провел несколько дней, навещая знакомых или бесцельно бродя по улицам. То он пытался вернуть себе былую на-

пускную беспечность, то впадал в слепую ярость и мечтал о мести. Им постепенно овладевало отвращение к жизни. Он вспомнил о печальном случае, сопровождавшем начало его любви, и этот роковой пример стоял у него перед глазами.

— Я начинаю понимать его, — говорил Фредерик Жерару. — Меня больше не удивляет, что в подобных случаях можно желать себе смерти. Убивают себя не из-за женщины, а потому, что бесполезно и невыносимо жить, страдая так ужасно, какова бы ни была причина этого страдания.

Жерар слишком хорошо знал своего друга, чтобы сомневаться в искренности его отчаяния, и слишком любил Фредерика, чтобы предоставить его самому себе. Благодаря могущественным связям, которыми он никогда не пользовался для себя, Жерар нашел способ устроить Фредерику назначение в одно из посольств. Однажды утром он явился к своему другу с приказом министра иностранных дел отправиться к месту службы.

— Путешествие, — сказал Жерар, — единственное верное лекарство от всякой печали. Чтобы заставить тебя покинуть Париж, я сделался просителем и, благодарение богу, преуспел в этом. Если у тебя хватит мужества, отправляйся немедленно в Берн, куда тебя посылает министр.

Фредерик не колебался, он поблагодарил друга и тотчас же занялся приведением в порядок своих дел. Он написал отцу и сообщил ему о своих новых намерениях, испрашивая его согласия. Ответ пришел благоприятный. Через две недели долги были уплачены, ничто не мешало больше отъезду Фредерика, и он отправился за паспортом.

Мадемуазель Дарси задавала ему тысячу вопросов, но он больше не хотел на них отвечать. Пока он сам не понимал, что творится в его сердце, он, по мягкости характера, уступал любопытству юной наперсницы. Но теперь, испытывая подлинное страдание, он ни за что не согласился бы говорить о нем шутя. Он узнал, какую опасность таит в себе его страсть, и вместе с тем понял, насколько

участие, которое в нем приняла мадемуазель Дарси, было пустым и вздорным. Тогда он поступил так, как поступают в подобных случаях все. Стремясь ускорить свое выздоровление, он стал утверждать, что уже выздоровел; что любовная интрижка, правда, вскружила ему голову, но в его возрасте пора думать о более серьезных вещах. Мадемуазель Дарси, как легко себе представить, не одобряла подобных чувств. Для нее не существовало в мире ничего более важного, чем любовь, и все остальное казалось ей не стоящим внимания; так, по крайней мере, она говорила. Фредерик не мешал ее рассуждениям и с готовностью соглашался, что никогда не будет способен любить. Его сердце слишком явно говорило ему обратное. Он выдавал себя за ветреника и очень хотел, чтобы это было правдой.

Чем менее чувствовал он в себе мужества, тем больше торопился с отъездом и в то же время никак не мог отогнать неотвязную мысль: кто же теперь любовник Бернеретты? Что она теперь делает? Не следует ли ему попытаться увидеть ее еще раз? Жерар считал, что не следует. У него было правило — ничего не делать наполовину, и он советовал Фредерику предать все забвению, если уж тот решил расстаться с возлюбленной. «Что ты хочешь узнать? — говорил Жерар. — Бернеретта или вовсе тебе ничего не скажет, или откроет лишь долю истины. Тебе известно, что у нее новый возлюбленный, зачем же заставлять ее признаваться? Женщина никогда не говорит об этом откровенно со своим прежним любовником, даже если примирение с ним невозможно. Да и на что ты надеешься? Она тебя больше не любит».

Жерар умышленно говорил так резко, чтобы внушить хоть немного мужества своему другу. Тем, кто когда-нибудь любил, я предоставляю судить о впечатлении, которое эти слова производили на Фредерика. Правда, многие из тех, кто любил, не знают горечи внезапного разрыва. Все узы в этом мире, даже самые прочные, со временем ослабевают, и лишь немногие рвутся сразу. Те, чья любовь постепенно остывала от разочарования, пресы-

щения или разлуки, не могут представить себе, что бы они испытали, если бы их постиг неожиданный удар. Внезапный разрыв ранит даже самое холодное сердце, и оно обливается кровью. Нечувствительным может остаться только тот, в ком нет ничего человеческого. Это самая глубокая из всех ран, которые смерть наносит нам в этом мире прежде, чем сразить нас. Если вы не следили глазами, полными слез, за улыбкой неверной возлюбленной, вы не поймете, что значат слова: «Она тебя больше не любит». Но тот, кто пролил много горьких слез из-за неверности любимой, никогда не забудет своего отчаяния, и в его душе навсегда останется след этого печального жизненного испытания. Если бы я захотел описать это душевное состояние тем, кто его не изведал, то сказал бы, что не знаю, какое горе страшнее — смерть или неверность любимой женщины.

Фредерик ничего не мог ответить на суровые советы Жерара. Но какой-то инстинкт, более властный, чем разум, восставал в нем против этих советов. Фредерик избрал иной путь, чтобы достичь своей цели. Не отдавая себе отчета, чего он хочет и к чему это может привести, он стал искать возможности любой ценой получить известия о своей подруге. У него было довольно красивое кольцо, на которое Бернеретта часто заглядывалась. Несмотря на всю свою любовь к Бернеретте, Фредерик никак не мог решиться подарить ей эту вещь, полученную им от отца. Теперь он вручил кольцо Жерару с просьбой передать его Бернеретте, причем сказал, что оно принадлежит ей и она его забыла. Жерар охотно взялся за поручение, но не торопился его выполнить. Однако Фредерик настаивал, и Жерару пришлось уступить.

Однажды утром оба друга вышли вместе из дому. Жерар отправился к Бернеретте, а Фредерик остался ждать его в Тюильри. Он смешался с толпой гуляющих. Ему было грустно. Он не без сожаления расстался с дорогой для него семейной реликвией. А что хорошего мог он от этого ждать? Вряд ли он услышит что-нибудь утешительное.

Жерар встретится с Бернереттой, но если даже у нее и вырвется какое-то невольное признание или она прольет несколько слезинок, ведь Жерар непременно это скроет. Фредерик не спускал глаз с решетки сада, ожидая каждую минуту увидеть сквозь нее своего друга, возвращающегося с равнодушным выражением лица. Пусть даже так! Но ведь Жерар должен был видеть Бернеретту. Невозможно, чтобы после этого ему нечего было сказать! Так много зависит от случая. Он мог узнать о каких-то неизвестных обстоятельствах. Чем дольше задерживался Жерар, тем больше росла надежда в сердце Фредерика.

А между тем небо было безоблачно, зелень только начинала распускаться. В Тюильри есть дерево, прозванное деревом Двадцатого марта. Это — каштан; говорят, он расцвел в день, когда родился «римский король». С тех пор это дерево каждый год расцветает в ту же пору. Прежде Фредерик часто сживал под этим каштаном и теперь, задумавшись, по привычке направился к нему. Каштан, верный своей поэтической славе, был весь в цвету, и его душистые ветви распространяли первое весеннее благоухание. Женщины, дети, молодые люди прогуливались взад и вперед. Все лица дышали радостью весны. Фредерик размышлял о своем будущем, о путешествии, о стране, которую увидит; помимо воли, тревога и надежда закрадывались в его душу. Все окружающее, казалось, звало к новой жизни. Фредерик думал о том, что он — опора и гордость своего отца, что с первых дней жизни он видел от него только ласку. Постепенно мысли более спокойные и разумные одержали верх над его встревоженными чувствами. Многоликая толпа, сновавшая перед глазами Фредерика, наводила его на размышления об изменчивости и многообразии жизни. Действительно, какое странное зрелище — это множество людей, если задуматься о том, что у каждого из них своя судьба. Что другое может дать более верное понятие о том, чем мы являемся перед лицом провидения? «Надо жить, — подумал Фредерик, — и подчиниться высшей воле. Надо идти вперед, даже когда

страдаешь, потому что никто не знает, куда ведут его пути. Я свободен, я еще очень молод, надо найти в себе силы и смириться».

Фредерик сидел, погруженный в эти мысли, когда к нему подбежал взволнованный и бледный Жерар.

— Друг мой, — сказал он, — надо идти. Скорее, не будем терять времени.

— Куда идти?

— К ней. Я советовал то, что считал разумным. Но бывают случаи, когда рассудительность вредна и осторожность неуместна.

— Скажи же мне, наконец, что случилось! — вскричал Фредерик.

— Сейчас узнаешь; идем, бежим.

Они вместе поспешили к Бернеретте.

— Поднимись один, — сказал Жерар, — а я быстро вернусь. — И он удалился.

Фредерик вошел в комнату. Ключ был в дверях, ставни закрыты.

— Бернеретта, — позвал он, — где вы?

Ответа не было.

Он двинулся вперед в потемках и при свете догорающего камина увидел свою подругу, сидящую перед ним на полу.

— Что с вами, — спросил он, — что случилось?

Снова молчание.

Он подошел к ней и взял ее за руку.

— Встаньте же, — сказал он, — что вы тут делаете на полу?

Но едва он произнес эти слова, как в ужасе отступил. Рука, которую он держал, была холодна, как лед, и к его ногам упало безжизненное тело.

В испуге он стал звать на помощь. В это время Жерар уже входил в сопровождении врача. Открыли окна, Бернеретту перенесли на кровать. Врач осмотрел больную, покачал головой и отдал распоряжения. Сомнений не было — по всем признакам, бедная девушка приняла яд. Но

какой — это врач не знал и тщетно старался угадать. Он начал с того, что пустил большой кровью. Фредерик поддерживал ее, обняв за плечи. Она открыла глаза, узнала его и поцеловала, потом снова впала в беспамятство. Вечером ее заставили выпить чашку кофе. Она пришла в себя, как будто пробудилась от сна. Ее стали расспрашивать, какой яд она приняла. Вначале она отказывалась отвечать, но врач настаивал, и она призналась. На медном подсвечнике, стоявшем на камине, были видны следы напильника. Бернеретта прибегла к этому ужасному средству, чтобы усилить действие слабой дозы опиума, так как аптекарь, к которому она обратилась, отказался дать ей более сильную дозу.

IX

Только в конце второй недели можно было считать, что Бернеретта вне опасности. Она начала вставать с постели и могла уже чуть больше есть. Но здоровье ее было подорвано, и врач сказал, что она будет болеть всю жизнь.

Фредерик не покидал ее. Он еще не знал, что заставило ее искать смерти. Он удивлялся только, что ни одна живая душа не беспокоилась о ней. В самом деле, в течение двух недель никто не навещил ее — ни родные, ни знакомые. Возможно ли, чтобы ее новый любовник покинул ее в таком состоянии? Или его уход и был причиной отчаяния девушки? Оба предположения казались Фредерику одинаково неправдоподобными, а Бернеретта дала ему понять, что не хочет говорить об этом. Жестокие сомнения терзали Фредерика, его мучила затаенная ревность, но любовь и жалость удерживали возле Бернеретты.

Несмотря на свои страдания, Бернеретта не скупилась на проявления самой нежной любви. Она была полна благодарности за те заботы, которые Фредерик ей расточал, и в его присутствии казалась веселее, чем когда-либо. Только и веселость была какая-то грустная, точно затуманенная страданием. Она прилагала все усилия, чтобы раз-

влечь его и удержать возле себя. Если он уходил, она спрашивала, в котором часу он вернется. Она хотела, чтобы он обедал у ее изголовья, хотела, засыпая, держать его руку. Она рассказывала ему тысячи историй из своего прошлого, надеясь, что это рассеет его. Но как только речь заходила о настоящем и о поступке, чуть не стоившем ей жизни, — она замолкала. Никакие расспросы, никакие мольбы Фредерика не действовали. Если же он продолжал настаивать, она хмурилась и становилась печальной.

Однажды вечером Бернеретта лежала в постели; ей только что снова пустили кровь; из плохо закрывшейся ранки вытекло несколько капелек крови. Она с улыбкой следила за алой слезой, катившейся по мраморно-белой руке.

— Ты все еще меня любишь? — спросила она Фредерика. — Все эти ужасы не вызвали у тебя отвращения ко мне?

— Я люблю тебя, — ответил он, — и теперь нас ничто не разлучит.

— Неужели это правда, — воскликнула она, целуя его. — Не обманывайте меня, скажите мне, что это не сон!

— Нет; это не сон, моя прекрасная, моя дорогая Бернеретта. Мы будем жить спокойно, мы будем счастливы.

— Увы, этого не может — не может быть, — вскричала она с отчаянием и тихо добавила: — А если этого не может быть — тогда придется начинать сызнова.

Последние слова она прошептала еле слышно, но Фредерик их уловил, и его охватила дрожь. На следующий день он передал их Жерару.

— Я принял решение, — сказал Фредерик, — не знаю, как на это посмотрит мой отец, но я люблю Бернеретту, и, что бы ни случилось, я не дам ей умереть.

Он действительно принял смелое решение, но ему не оставалось ничего другого. Фредерик написал отцу и поведал ему всю историю своей любви. В этом письме он забыл упомянуть о неверности Бернеретты. Он говорил только об ее красоте, постоянстве, о той кроткой настойчивости, которую она проявила, чтобы снова увидеть его,

и, наконец, об ужасной попытке самоубийства, на которую она решилась.

Отец Фредерика, семидесятилетний старик, любил своего единственного сына больше жизни. Со всей поспешностью он примчался в Париж. Вместе с ним приехала его сестра — мадемуазель Омбер, очень набожная старая дева. К несчастью, ни достойный старик, ни тетюшка не отличались скрытностью, и не успели они приехать, как все их знакомые узнали, что Фредерик до безумия влюблен в гризетку, которая из-за него отравилась. К этому прибавляли, что он собирается на ней жениться. Недоброжелатели завопили о позоре, пятнающем семейную честь. Под предлогом, будто она защищает интересы молодого человека, мадемуазель Дарси рассказала с самыми романтическими подробностями все, что знала от самого Фредерика. Короче говоря, вместо того чтобы отворотить грозу, Фредерик навлек ее на себя, и она со всей силой разразилась над его головой.

Прежде всего он вынужден был предстать перед советом родных и друзей и претерпеть нечто вроде допроса. Не то чтобы с ним обошлись как с подсудимым, наоборот, к нему были очень снисходительны, но ему пришлось обнажить свою душу и услышать, как обсуждаются вслух его самые сокровенные тайны. Само собой разумеется, что никто ничего не решил. Г-н Омбер захотел увидеться с Бернереттой; он пошел к ней, долго с ней беседовал, задал девушке тысячу вопросов, на которые она отвечала так мило и чистосердечно, что тронула сердце старика. Он вспомнил молодость и собственные любовные проказы. После разговора с Бернереттой он ушел смущенный и очень взволнованный. Вызвав сына, он сообщил ему, что решил выделить небольшую сумму денег для Бернеретты, если она пообещает обучиться какому-нибудь ремеслу, когда выздоровеет. Фредерик передал это предложение своей подруге.

— А что ты сам собираешься делать? — спросила она его. — Думаешь ли ты оставаться или уехать?

Он ответил, что остается. Но не так думали его родные. В этом вопросе г-н Омбер был непоколебим. Он обрисовал сыну всю опасность, весь позор и недопустимость подобной связи. В мягких и осторожных выражениях он дал понять Фредерику, что тот губит свою репутацию и свое будущее. Заставив Фредерика призадуматься, отец прибег к последнему средству, имеющему неотразимую власть над сыновним сердцем: он стал умолять, и Фредерик пообещал все, что от него хотели. Он испытал столько потрясений, столько противоречивых влияний, что больше не знал, на что решиться, и, видя надвигающуюся со всех сторон беду, не имел мужества ни бороться, ни сделать окончательный выбор. Даже Жерар, всегда такой твердый, тщетно искал какой-нибудь спасительный выход и вынужден был признать, что остается только предоставить все судьбе.

Внезапно два неожиданных события все изменили.

Однажды вечером Фредерик сидел один в своей комнате, как вдруг вошла Бернеретта. Она была бледна, волосы ее рассыпались в беспорядке, глаза горели лихорадочным огнем, все говорило о крайнем возбуждении. Ее речь, вопреки обыкновению, была отрывистой и резкой. Она сказала, что пришла требовать от Фредерика решительного объяснения.

— Вы убить меня хотите, — воскликнула она. — Любите вы меня или нет? Вы же не ребенок! Неужели вам на каждом шагу нужна посторонняя помощь? В уме ли вы, чтобы советоваться с отцом, как вам быть с вашей любимой? Что нужно всем этим людям? Разлучить нас! Если вы хотите того же — вам не нужны их советы, если нет — то они тем более не нужны. Вы должны уехать? Возьмите меня с собой. Я никогда не выучусь никакому ремеслу. На сцену я не могу поступить. Это теперь не для меня. Я слишком страдаю от неизвестности и не могу больше ждать; решайтесь!

Так говорила она долго, прерывая Фредерика, когда тот пытался отвечать. Он старался ее успокоить, но безус-

пешно. Столь сильное возбуждение не поддавалось никаким увещаниям. В конце концов, измученная и обессиленная, Бернеретта разразилась слезами. Фредерик не мог противиться такой беспредельной любви, он прижал к себе возлюбленную и бережно отнес ее на кровать.

— Ты останешься со мной, — сказал он, — и да покарает меня небо, если я позволю кому-нибудь вырвать тебя из моих рук. Я не хочу больше ни видеть, ни слышать никого, кроме тебя. Ты упрекаешь меня в малодушии, и ты права, но ты увидишь, я буду действовать решительно. Пусть отец оттолкнет меня, ты поедешь со мной. Если господь бог создал меня бедным, что ж, мы будем жить в бедности. Мне дела нет ни до моего имени, ни до моей семьи, ни до моего будущего.

Слова эти, произнесенные со всем жаром убеждения, утешили Бернеретту. Она попросила своего друга проводить ее до дому пешком. Несмотря на усталость, ей хотелось подышать воздухом. По дороге они уговорились о том, как действовать дальше: Фредерик сделает вид, будто подчиняется воле отца; вместе с тем он постарается доказать, что, не имея большого состояния, весьма рискованно вступать на дипломатическое поприще, и попросит разрешения закончить свою юридическую практику в суде. Г-н Омбер, вероятно, уступит — при условии, что сын забудет свою безрассудную любовь. Бернеретта переедет в другой квартал, и все подумают, что она уехала совсем. Она же снимет маленькую комнатку на улице Ла-Гарп или где-нибудь поблизости и будет жить так бережливо, что содержания Фредерика хватит на двоих. Как только отец вернется в Безансон, Фредерик переедет к ней, и они заживут вместе. В остальном они полагались на бога. Таков был план, на котором остановились бедные любовники. Как всегда бывает в таких случаях, они считали успех его обеспеченным.

Два дня спустя, после ночи, проведенной без сна, Фредерик явился к своей подруге в шесть часов утра. Накануне у него было объяснение с отцом, которое его

очень взволновало: отец настаивал на отъезде в Берн. Мужество Фредерика поколебалось, он пришел к Бернеретте, чтобы обнять ее и почерпнуть сил для борьбы. В комнате никого не было, постель — пуста. Он допросил привратницу и убедился со всей достоверностью, что обманут и у него есть соперник.

На этот раз он почувствовал больше негодования, чем боли. Измена была слишком грубой, и любовь уступила место презрению. Вернувшись домой, он написал Бернеретте длинное письмо, осыпая ее самыми горькими упреками. Но вместо того, чтобы отправить письмо, он его разорвал. Столь ничтожное существо было недостойно его гнева. Он решил уехать как можно скорее. В почтовой карете, отправлявшейся на следующий день в Страсбург, оказалось свободное место. Фредерик оставил его за собой и поспешил предупредить отца о своем отъезде. Все родные приветствовали его решение, и, уж конечно, никто не спросил, почему он так поспешил послушаться их советов. Один Жерар знал правду. Мадемуазель Дарси заявила, что считает этот поступок недостойным и что мужчины всегда малодушны. Мадемуазель Омбер прибавила свои сбережения к скромной сумме, которую увозил с собой ее племянник. На прощальный обед собралась вся семья, и Фредерик уехал в Швейцарию.

Х

Дорожные впечатления, усталость от долгого пути, прелесть перемены, новые служебные обязанности скоро вернули Фредерику душевное равновесие. Теперь он с ужасом вспоминал роковую страсть, едва не погубившую его. В посольстве он встретил самый приветливый прием. У него были хорошие рекомендации. Его внешность располагала в его пользу. Природная скромность придавала еще больше ценности его способностям, и они от этого только выигрывали. Вскоре он занял в обществе по-

четное место; перед ним открывалось самое радужное будущее.

Бернеретта писала ему несколько раз. Она весело спрашивала его, совсем ли он уехал и не собирается ли скоро вернуться. На первые письма он не ответил. Но письма продолжали приходить и становились все более настойчивыми. Наконец Фредерик потерял терпение. Он ответил, высказав все, что накопилось у него в сердце. В самых горьких выражениях он спрашивал Бернеретту, как могла она забыть о том, что дважды изменила ему, и просил избавить его в будущем от притворных уверений, которые его больше не обманут. Он прибавил, что в конце концов благословляет провидение, которое вовремя просветило его ум и сердце. Он писал, что решение его бесповоротно и если он и вернется во Францию, то только после долгого пребывания за границей.

Отправив это письмо, он почувствовал облегчение. Теперь он совершенно освободился от бремени прошлого. Бернеретта перестала ему писать, и он больше о ней не слышал.

В окрестностяхерна в красивом доме жила одна состоятельная английская семья. Фредерик был представлен ей. Гостей радушно принимали три юные девицы. Старшая из сестер, которой было всего двадцать лет, отличалась редкой красотой. Вскоре она заметила, что произвела на молодого атташе сильное впечатление, и не осталась к этому равнодушной. Фредерик еще недостаточно оправился от пережитого, чтобы отдаться новой любви, но после всех волнений и страданий чувствовал потребность открыть свое сердце безмятежному и чистому чувству.

Прекрасная Фанни не стала поверенной его сердечных тайн, как мадемуазель Дарси. Но хотя Фредерик и не рассказал ей о своих страданиях, она угадала, что он лишь недавно перенес большое горе. Однако Фредерик как будто находил утешение в нежном взоре ее синих глаз, и по-

этому она часто обращала свой взгляд в сторону молодого человека.

Благосклонность порождает чувство симпатии, а чувство симпатии приводит к любви. Так протекли три месяца, и если любовь еще и не пришла к Фредерику и Фанни, все же они были очень близки к ней. Человек с таким мягким и впечатлительным характером, как у Фредерика, обычно отличается постоянством, но лишь при условии полного доверия. Жерар был прав, говоря в былые времена, что Фредерик будет любить Бернеретту гораздо дольше, чем предполагает. Так это и было, пока Бернеретта сама любила его или, по крайней мере, казалось, что любит. Оскорбить слабое сердце — это поставить под угрозу самое его существование. Слабое сердце не может оставаться верным воспоминанию, заставляющему его страдать. Оно или разбивается, или забывает. День за днем Фредерик все больше привыкал жить только для Фанни, и вскоре встал вопрос о свадьбе. Молодой человек не обладал состоянием, но у него было прочное положение, влиятельные связи, в его пользу говорила любовь, устраняющая все препятствия. Было решено обратиться с ходатайством ко французскому двору, и когда Фредерик будет назначен вторым секретарем, он станет супругом Фанни.

Наконец этот счастливый день пришел. Наутро, как только новобрачные поднялись, Фредерик, опьяненный счастьем, заключил жену в объятия, и они сели у камина, прижавшись друг к другу. Потрескивание огня и внезапная вспышка пламени заставили его вздрогнуть. По странной причуде памяти ему вдруг представился день, когда он вот так же впервые сидел с Бернереттой около камина в маленькой комнатке. Тем, кто наделен достаточным воображением, чтобы верить в предчувствия, я предоставляю объяснить такую странную случайность — именно в эту минуту Фредерику подали письмо с парижским штемпелем, извещавшее его о смерти Бернеретты. Мне нет надобности описывать изумление и горе Фреде-

рика. Я ограничусь тем, что предложу взору читателя строки последнего прощания бедной девушки со своим другом. Там в немногих словах, вместе и веселых и печальных, как это было свойственно Бернеретте, вы найдете объяснение ее поступкам:

«Ах, Фредерик, вы хорошо знали, что это был сон. Мы не могли жить спокойно и счастливо. Я хотела умереть. Но ко мне пришел молодой человек, мы с ним познакомились еще во времена моей былой славы. Тогда, в Бордо, он был без ума от меня. Не знаю, где он достал мой адрес. Он бросился к моим ногам, как будто я все еще была театральной королевой, и предложил мне свое не очень значительное состояние и вовсе незначительное сердце. Это произошло на следующий день, не забудь этого, мой друг, на следующий день после того, как ты оставил меня, сказав, что уезжаешь. Мне было не слишком весело, мой любимый, и я не очень хорошо знала, буду ли каждый день обедать. Я дала себя уговорить и ушла с ним. К несчастью, я не выдержала. Я переехала к нему, но тут же вернулась обратно и решила умереть.

Да, хороший мой, я захотела покинуть тебя. Ведь я знаю, что у меня ничего не получилось бы с обучением. И все же, когда я во второй раз решила на это, — мое решение было твердо. Но ко мне снова пришел твой отец — вот чего ты не знал. Что могла я сказать ему? Я пообещала забыть тебя. Я вернулась к моему поклоннику. Боже, как я тосковала! Моя ли вина, что с тех пор, как я полюбила тебя, все мужчины кажутся мне уродливыми и глупыми? Но я же не могу питаться воздухом. Что мне было делать?

Я не убиваю себя, мой друг, я лишь заканчиваю свое существование; это — не трагическое убийство. Здоровье мое подорвано, утрачено навсегда. Все бы это ничего, если бы не тоска. Говорят — ты женишься: красива ли она? Прощай, прощай! В первый солнечный день вспомни и тот день, когда ты поливал цветы на своем окне. О, как быстро я тебя полюбила! Когда я видела тебя, меня охва-

тывала дрожь, и я бледнела. Я была счастлива с тобой. Прощай!

Если бы только твой отец захотел, мы бы никогда не расстались, но у тебя не было денег — вот в чем все горе! У меня тоже их не было. Если бы я поступила к белошвейке, я бы долго там не осталась. Так чего же ты хочешь? Я сделала две попытки вернуться к прежнему, и ничего у меня не получилось.

Я уверяю тебя, я хочу умереть не потому, что обезумела; я в твердом уме. Мои родители (да простит им бог!) еще раз побывали у меня. Если бы ты только знал, что они хотят из меня сделать! Какое отвращение быть жертвой нищеты, жалкой игрушкой, которую рвут на части. Если бы мы с тобой были бережливее прежде, когда мы любили друг друга, — было бы лучше. Но тебе хотелось, чтобы мы ходили в театр и развлекались. Славные вечера мы с тобой проводили в «Шомьере».

Прощай, мой любимый, в последний раз прощай. Если бы я чувствовала себя лучше, я поступила бы в театр, но от меня осталась одна тень. Никогда не упрекай себя в моей смерти. Я знаю, что, если бы ты только мог, ты бы ничего этого не допустил. Я многое понимала и не смела сказать. Я видела, что все к этому шло, но не хотела мучить тебя.

Я пишу тебе ночью, и эта ночь так печальна; поверь мне, она гораздо печальнее той, когда ты позвонил у моей двери и не застал меня. Я никогда не думала, что ты будешь ревновать. Когда я узнала, что ты рассердился, мне было и тяжело и радостно. Почему ты не остался ждать меня тогда наперекор всему? Ты бы увидел, с каким лицом я вернулась после своего любовного похождения. Но все равно, ты любил меня больше, чем хотел показать.

Мне надо кончать, но я не могу. Я цепляюсь за этот листок, как за последнее, что мне осталось в жизни. Строчки ложатся все теснее; я хотела бы собрать все свои силы и всё послать тебе. Нет, ты не знал моего сердца. Ты любил меня, потому что ты добрый, ты приходил ко мне

из жалости и еще немножечко потому, что тебе это доставляло удовольствие. Если бы я была богата, ты бы никогда не оставил меня — так я всегда говорю себе, и это единственное, что придает мне мужество. Прощай.

Дай бог, чтобы мой отец никогда не узнал угрызений совести за все зло, которое он причинил. Чего бы я не дала, чтобы только уметь зарабатывать на хлеб, чтобы иметь в руках какое-нибудь ремесло! Теперь я поняла это, но слишком поздно. Если бы можно было в детстве увидеть в зеркале всю свою жизнь, я бы так не кончила. И ты бы меня все еще любил. А может быть, и нет, раз ты женишься.

Как ты мог написать мне такое жестокое письмо? Твой отец требовал, чтобы я оставила тебя, ты собирался уехать — разве я могла думать, что поступаю дурно, поставившись завести другого возлюбленного? Но я никогда не испытывала ничего подобного и не видела ничего более смешного, чем его лицо, когда я объявила ему, что возвращаюсь к себе.

Твое письмо привело меня в отчаяние. Два дня я просидела у камина, не в силах двинуться или произнести слово. Я родилась очень несчастной, друг мой. Ты даже не поверишь, как дурно обращался со мной господь бог все эти жалкие двадцать лет моей жизни. Это было так странно, точно кто-то побился об заклад причинять мне зло. Когда я была ребенком, меня били, и если я плакала, меня выгоняли на улицу: «Ступай, посмотри, не идет ли дождь», — говорил отец. Когда мне минуло двенадцать лет, меня заставляли стругать доски. А как меня мучили, когда я стала женщиной! Вся моя жизнь прошла в том, что я пыталась жить и, наконец, поняла, что надо умереть.

Да благословит тебя бог! Ты один, один мне дал многие дни счастья. С тобой я дышала полной грудью. Да вознаградит тебя за это бог! Будь счастлив, свободен, о друг мой! Будь любим, как любит тебя твоя умирающая, твоя бедная Бернеретта!

Не грусти, всему приходит конец. Помнишь немецкую трагедию, которую читал мне однажды вечером у нас дома? Герой пьесы спрашивает: «Что воскликнем мы, умирая?» — «Свобода!» — отвечает маленький Жорж. Ты плакал тогда, читая эти слова. Плачь же и теперь — это последний возглас твоей подруги.

Бедняки умирают без завещания, но я посылаю тебе прядь моих волос. Я помню, как-то парикмахер сжег мне волосы щипцами, и ты чуть не побил его. Раз ты не хотел, чтобы жгли мои волосы, ты не бросишь эту прядь в огонь.

Прощай, еще раз прощай навеки.

Твоя верная подруга
Бернеретта.

Мне говорили, что, прочитав это письмо, Фредерик сделал попытку покончить с собой. Я не буду рассказывать здесь об этом. Люди равнодушные слишком склонны видеть смешное в подобных поступках, если самоубийца остается жить. Суждение света весьма печально на этот счет: над теми, кто пытается умереть, смеются и забывают тех, кто умирает.

СЫН ТИЦИАНА

I

Это было в Венеции. Ранним февральским утром 1580 года по Пьяцетте проходил молодой человек. Его одежда была в беспорядке: шляпа, украшенная развевающимся алым пером, надвинута была на уши, шпага и плащ волочились по плитам мостовой. Он быстро шел к набережной Скьявони, небрежно перешагивая через рыбаков, спавших прямо на земле. Дойдя до моста Делла Палья, он остановился и посмотрел по сторонам. Луна садилась за Джудеккой, и утренняя заря уже позолотила Палаццо дожей. Из соседнего дворца вырывались клубы дыма, озаренные вспышками пламени. Балки, камни, глыбы мрамора, тысячи обломков загромождали Тюремный канал. Только что случившийся пожар разрушил жилище патриция, окруженное водой. Сноп искр то и дело взлетали к небу, и в их зловещем свете был виден солдат, стоявший на часах среди развалин.

Ни картина разрушения, ни прелесть неба, окрашенного самыми нежными оттенками зари, не взволновали, казалось, молодого человека. Он поглядел вдаль, словно желая дать отдых утомленным глазам, но, видимо, дневной свет был ему неприятен, потому что он завернулся в плащ и продолжал свой путь уже бегом.

Вскоре он снова остановился у дверей одного из дворцов и постучал. Слуга с факелом в руке тотчас открыл ему. На пороге молодой человек обернулся, еще раз взглянул на небо и воскликнул:

— Клянусь Вакхом, дорого обошелся мне этот карнавал!

Молодого человека звали Помпонио Филиппе Вечеллио. Это был второй сын Тициана, с детских лет отличавшийся одаренностью и живым воображением. Отец возлагал на него большие надежды, но страсть к игре толкнула Пиппо на путь безрассудства. Прошло всего четыре года со дня кончины великого художника и его старшего сына Орацио, умерших почти одновременно, и за это короткое время юный Пиппо промотал уже большую часть громадного состояния, полученного в наследство от отца и брата. Вместо того чтобы развивать природные способности и поддерживать блеск своего имени, он целыми днями спал, а все ночи напролет проводил за игорным столом у некоей графини Орсини, вернее «так называемой графини», которая занималась тем, что разоряла венецианскую молодежь. Каждый вечер у нее собиралось многочисленное общество аристократов и куртизанок: играли в кости, ужинали, а так как ужины, конечно, не оплачивались, то само собой разумеется, что игра в кости должна была возместить хозяйке дома ее расходы. По мере того как таяли горы цехинов и обильнее лилось кипрское вино, нежные взгляды становились все красноречивее и жертвы графини, одурманенные игрой и вином, теряли и разум и деньги.

Герой нашей повести, когда мы увидели его, только что покинул этот чреватый опасностями дом. Истекшая ночь принесла ему две большие потери. Помимо того, что он проигрался дотла в пасс-дис, во дворце Дольфино во время пожара погибла его единственная законченная картина, которую все знатоки находили превосходной. Это полотно, написанное на историческую тему вдохновенно и смело, было достойно едва ли не кисти самого Тициана. Проданное богатому сенатору, оно разделило участь многих других ценных произведений искусства: неосторожность слуги превратила все эти сокровища в пепел. Но гибель картины не так печалила Пиппо, он го-

раздо больше думал о своем проигрыше и о том, что неудача особенно упорно преследовала его весь вечер.

Войдя к себе, он прежде всего приподнял ковер, покрывавший стол, и пересчитал оставшиеся в ящике деньги. Затем он переоделся с помощью слуги в домашнее платье и стал глядеть в окно, так как от природы был нрава веселого и беззаботного. Уже совсем рассвело, и Пиппо никак не мог решить — закрыть ли ему ставни и лечь спать или продолжать бодрствовать, как все. Он давно уже не видал восхода солнца, и небо в это утро показалось ему особенно радостным. Все еще не решив, ложиться ли ему спать, он выпил на балконе чашку шоколада; его клонило ко сну. Но только он закрывал глаза, как видел дрожащие руки, бледные лица, слышал стук игральных костей в кожаном стаканчике.

— Как чертовски не везет! — пробормотал Пиппо. — Проиграть при пятнадцати! Совершенно невероятно!

Ему мерещился его постоянный противник, старый Веспасиано Меммо. Вот он выбрасывает восемнадцать очков и сгребает все золото, лежащее горками на сукне. Тут Пиппо быстро открывал глаза, чтобы рассеять дурной сон, и принимался глядеть на набережную и на проходящих девушек. Вдруг ему показалось, что вдали идет женщина в маске. Он удивился, хотя было время карнавала¹. Но ведь бедняки обычно не носят масок, а предположить, что благородная венецианка вышла одна, пешком, в этот час, было бы еще более странно. Вглядевшись, он понял, что принял за маску лицо негритянки. Вскоре она приблизилась, и Пиппо заметил, что она недурно сложена. Шла она быстро; от налетевшего порыва ветра пестрое в цветах платье вдруг плотно облегло ее бедра и обрисовало стройную фигуру. Пиппо перегнулся через решетку балкона и с изумлением увидел, что негритянка

¹ В те времена в Венеции, пока длился карнавал, было принято ходить в масках. (Прим. автора.)

остановилась и постучала в дверь его дома. Привратник не торопился отворять.

— Кого тебе нужно? — крикнул молодой человек. — Не ко мне ли ты, чернушечка? Меня зовут Вечеллио, и, чтобы тебе не ждать, я сейчас сам тебе открою.

Негритянка взглянула наверх:

— Вас зовут Помпонио Вечеллио?

— Да, а если хочешь — Пиппо.

— Вы сын Тициана?

— К твоим услугам. Чем могу быть тебе полезен?

Бросив на Пиппо быстрый любопытный взгляд, негритянка отступила на два-три шага, ловко кинула на балкон завернутую в бумагу коробочку и поспешила прочь, несколько раз оглянувшись. Пиппо поднял коробочку, открыл и нашел в ней красивый кошелек, завернутый в кусок материи. Он тут же подумал, что под оберткой должна находиться записка, которая объяснит это странное приключение. Записка там действительно оказалась, но была загадочна, как и все остальное. Она содержала всего несколько слов:

«Не расточай слишком легко то, что содержится во мне; выходя из дому, бери только одну золотую монету, этого достаточно на один день. А если к вечеру от нее что-нибудь останется, то, как бы мало это ни было, всегда найдется бедняк, который будет благодарен тебе и за это».

Пиппо на сто ладов повертел коробочку, тщательно рассмотрел кошелек, еще раз выглянул на набережную и наконец понял, что ничего больше не узнает.

«Признаться — странный подарок, — сказал себе Пиппо, — и получил я его на редкость не вовремя. Совет хорош, но того, кто уже на дне Адриатического моря, поздно предупреждать, что ему грозит опасность утонуть. Кто же, черт возьми, мог мне это прислать?»

Пиппо догадывался, что чернокожая девушка была чьей-то служанкой. Он стал перебирать в памяти знакомых женщин и друзей, которые могли бы послать ему такой подарок, и так как не страдал излишней скромно-

стью, то решил, что подарок прислан женщиной, а не кем-нибудь из его приятелей. Расшитый золотом бархатный кошелек был на редкость изящен. «Его не могли купить в лавке торговца — он слишком изыскан», — решил Пиппо и стал перебирать в уме сначала самых красивых женщин Венеции, потом — менее красивых, и на том остановился. Он спрашивал себя, как же узнать, кто прислал кошелек, и начинал строить самые смелые, самые лестные для себя предположения. Иной раз Пиппо казалось, что он напал на след. С бьющимся сердцем вглядывался он, стараясь угадать почерк: одна княгиня из Болоньи именно так писала заглавные буквы, но почерк прекрасной дамы из Брешии был тоже похож на этот.

Ничего нет досаднее, как среди таких мечтаний натолкнуться на неприятную догадку. Это почти то же, что наступить на змею, гуляя по цветущему лугу. Подобное чувство охватило Пиппо, когда он вдруг вспомнил про некую монну Бьянкину, которая с недавних пор необычайно ему докучала. Она была довольно хороша собой; у Пиппо было с ней легкое приключение на одном маскараде, но никакой любви к ней он не питал. Монна Бьянкина, напротив, внезапно вспыхнула к молодому человеку страстью и упорно принимала за проявление чувства то, что было лишь проявлением вежливости. Она надоедала ему, часто писала и осыпала нежными упреками. Однажды, уходя от нее, он дал себе клятву никогда больше не возвращаться и твердо держал слово. Сейчас он подумал, что именно монна Бьянкина была способна вышить для него кошелек и прислать в подарок. При этой мысли все его оживление пропало, и мечты, которые он лелеял, рассыпались в прах. Чем больше раздумывал Пиппо, тем правдоподобнее казалось его предположение. Это привело его в дурное расположение духа, он закрыл окно и решил лечь спать.

Но сон не шел. Несмотря на всю вероятность последней догадки, Пиппо не мог отказаться от сомнения, ласкавшего его самолюбие, и невольно снова погрузился в

раздумье. То ему хотелось забыть про кошелек, чтобы он ему больше и не вспоминался; то хотелось, чтобы Бьянкина вовсе не существовала и он мог бы свободнее строить догадки. Он уже задернул полог кровати и отодвинулся подальше, чтобы дневной свет не проникал к нему, как вдруг вскочил с постели и позвал слуг. Простая мысль, не приходившая до сих пор ему в голову, осенила его: монна Бьянкина была небогата и держала всего лишь одну служанку, и притом не чернокожую девушку, а простую толстушку из Кьоджи. Каким же образом могла бы монна Бьянкина раздобыть себе для этого случая таинственную посланницу, которую Пиппо никогда раньше не встречал в Венеции? «Да будет благословенно твое черное лицо и африканское солнце, окрасившее его», — воскликнул он. Не медля более, он потребовал свой камзол и приказал подать гондолу.

II

Пиппо решил навестить синьору Доротею, жену авогадора Паскуалиго. Эта дама почтенного возраста была одной из самых богатых и умных женщин в республике и, кроме того, приходилась Пиппо крестной матерью. А так как в Венеции не было ни одного видного лица, которого синьора Доротея не знала бы, то Пиппо надеялся, что она сможет пролить свет на занимавшую его тайну. Но час был еще слишком ранний, чтобы он мог явиться к своей покровительнице, и Пиппо решил сначала пройтись под аркадами Прокураций.

И вот случаю было угодно, чтобы он как раз встретил монну Бьянкину, которая покупала материи. Пиппо тоже вошел в лавку и после нескольких малозначащих слов вдруг сказал, сам не зная зачем:

— Монна Бьянкина, сегодня утром вы прислали мне прелестный подарок и дали благоразумный совет. Почтительнейше благодарю вас за то и за другое.

Говоря так уверенно, он, быть может, рассчитывал

разом покончить с мучившими его сомнениями, но монна Бьянкина была слишком хитра, чтобы выразить удивление, не зная, насколько это в ее интересах. В действительности она ничего не посылала, но поняла, что представляется возможность ввести Пиппо в заблуждение. Правда, она ответила, что не понимает, о чем идет речь, но, говоря это, не преминула улыбнуться с таким лукавством и так стыдливо покраснела, что Пиппо, вопреки вероятности, утвердился в своем предположении, что кошелек был прислан именно ею.

— А с каких пор у вас в услужении эта красивая негритянка? — спросил он.

Сбитая с толку этим вопросом, не зная, что ответить, монна Бьянкина поколебалась мгновение, потом вдруг громко рассмеялась и внезапно покинула Пиппо. Оставшись один, страшно разочарованный, Пиппо отказался от намерения посетить синьору Доротею; он вернулся домой, бросил кошелек в угол и больше о нем не думал.

Несколько дней спустя Пиппо проиграл на слово большую сумму денег. Отправляясь платить долг, он взял подаренный кошелек, потому что тот был удобный, вместительный и красиво выделялся у него на поясе. В этот вечер Пиппо играл снова и вновь проигрался.

— Желаете продолжать? — спросил его мессер Веспасиано, старый государственный нотариус, когда у Пиппо уже не оставалось денег.

— Нет, — ответил тот, — я не хочу больше играть на слово.

— Но я одолжу вам сколько хотите, — воскликнула графиня Орсини.

— И я тоже, — сказал Веспасиано.

— И я тоже, — нежным и звонким голосом повторила одна из многочисленных племянниц графини, — но раскройте ваш кошелек, синьор Вечеллио, там еще остался один цехин.

Пиппо улыбнулся — действительно, на дне кошелька лежал забытый цехин.

— Хорошо, — сказал он, — сыграем еще раз, но только я ставлю один этот цехин, не больше.

Он взял кожаный стаканчик, бросил кости, выиграл и продолжал играть, все время удваивая ставки. Через час он вернул все, что проиграл и в тот день и накануне.

— Желаете продолжать? — в свою очередь спросил он мессера Веспасиано, перед которым уже не осталось ни единого цехина.

— Нет, надо быть большим глупцом, чтобы дать себя выпотрошить человеку, который ставит один цехин. Будь проклят этот кошелек, он заколдован.

Взбешенный нотариус покинул зал. Пиппо собирался последовать за ним, но тут племянница, которая сказала Пиппо про цехин, обратилась к нему, смеясь:

— Так как своей удачей вы обязаны мне, то подарите мне цехин, на который вы выиграли.

На этом цехине была маленькая метка, по которой его можно было легко узнать. Пиппо порылся, нашел его и уже протянул было руку, чтобы отдать хорошенькой племяннице, как вдруг воскликнул:

— Нет, красавица, клянусь честью, вы его не получите, а чтобы доказать, что я вовсе не такой скупец, прошу вас принять от меня взамен десять цехинов. Что же касается этого цехина, то я хочу последовать полученному недавно совету — я дарю его провидению.

С этими словами он бросил цехин за окно.

«Невероятно, чтобы кошелек монны Бьянкины приносил мне счастье, — думал он, возвращаясь домой. — Возможно ли, чтобы вещь, мне неприятная, стала моим талисманом? Это было бы слишком странной насмешкой судьбы».

Вскоре он заметил, что действительно выигрывает всякий раз, когда берет с собой этот кошелек. Опуская в него золотую монету, Пиппо не мог избавиться от несколько суеверного чувства. Иногда он невольно задумывался над справедливостью сказанного в записке, обнаруженной на дне коробочки. «Цехин, конечно, это цехин, —

говорил он себе. — Многие и его не каждый день имеют». Эта мысль заставляла Пиппо быть менее беспечным и немного сокращать свои траты.

К несчастью, монна Бьянкина не забыла разговора с Пиппо в Прокурациях и не хотела рассеивать заблуждения, в которое ввела молодого человека при последней встрече. А чтобы у него не зародилось сомнения, она стала время от времени посылать ему то цветы, то какую-нибудь безделушку, сопровождая их короткими записками. Как было уже сказано, Пиппо очень надоела ее навязчивость, и он решил ни слова не отвечать.

Тогда, доведенная до крайности его холодностью, монна Бьянкина решилась на дерзкий шаг, очень рассердивший Пиппо. В его отсутствие она явилась к нему в дом одна и, подкупив слугу, проникла в комнаты. Там и нашел ее Пиппо, вернувшись домой, и был вынужден сказать без обиняков, что не любит ее и просит оставить его в покое.

Бьянкина была красива. Она пришла в страшную ярость, осыпала молодого человека упреками, на этот раз отнюдь не отличавшимися нежностью, сказала, что он обманул ее, говоря о своей любви, что она считает себя скомпрометированной, и добавила, наконец, что она ему отомстит.

Все эти угрозы не на шутку рассердили Пиппо и в доказательство, что он их не боится, он заставил Бьянкину взять обратно присланный ею утром букет. Тут же ему под руку подвернулся и кошелек. В порыве раздражения Пиппо воскликнул: «Вот, возьмите и кошелек. Он принес мне счастье, но я ничего не хочу от вас, так и знайте!»

Молодой человек тотчас пожалел о своей вспышке, а Бьянкина, конечно, не создалась в обмане. Она ничем не выдала себя, хоть и была в бешенстве, — взяла кошелек и ушла, твердо решив заставить Пиппо раскаяться в том, что он так грубо обошелся с ней.

Вечер Пиппо провел, как обычно, за игорным столом и проигрался. И в следующие дни он не был счастливее. Мессер Веспасиано неизменно выкидывал большее коли-

чество очков и выигрывал у Пиппо значительные суммы. Пиппо негодовал на судьбу, возмущался собственным суеверием, но упрямо продолжал играть и снова проигрывал. Наконец, уходя как-то от графини Орсини и спускаясь по лестнице, он не выдержал и воскликнул:

— Да простит мне бог, но, кажется, старый дурень был прав: мой кошелек заколдован. С тех пор как я вернул его Бьянкине, я ни разу не выкинул сносных костей.

В эту самую минуту он заметил впереди пестрое в цветах платье, из-под которого виднелись быстрые стройные ножки. Это была таинственная негритянка. Пиппо ускорил шаг и, поравнявшись с девушкой, спросил, кто она такая и кто ее госпожа.

— Кто бы это мог знать? — ответила африканка с лукавой улыбкой.

— Думаю, что ты. Ты ведь служанка монны Бьянкины?

— Нет. А кто такая монна Бьянкина?

— Черт возьми, да та самая, что поручила тебе однажды отнести мне коробочку, которую ты так ловко бросила на мой балкон.

— Нет, ваша светлость, вы ошибаетесь.

— Не притворяйся, я все знаю, она сама мне сказала.

— Ну, уж если она сама сказала... — повторила нерешительно негритянка, пожала плечами, подумала минуту и, легонько ударив Пиппо веером по щеке, воскликнула:

— Над тобой подшутили, красавчик! — и бросилась бежать.

Улицы Венеции — такой сложный лабиринт, они пересекаются таким прихотливым и неожиданным образом, что Пиппо, позволив девушке ускользнуть, уже не смог ее догнать. Он был в замешательстве, так как явно сделал два промаха: во-первых, отдал Бьянкине кошелек, во-вторых, не смог удержать негритянку. Бродя без цели по городу, Пиппо почти безотчетно направился ко дворцу синьоры Доротеи, своей крестной. Он раскаивался, что не навестил ее раньше, как предполагал; обычно он

советовался с ней обо всем, что его занимало, и почти всегда извлекал пользу из ее советов.

Пиппо застал синьору Доротею в саду. Она была одна. Поцеловав ей руку, он сказал:

— Представьте себе, дорогая крестная, какую я сделал глупость. Недавно мне прислали кошелек...

Но едва он произнес эти слова, как синьора Доротея рассмеялась.

— Ну что ж, разве этот кошелек не красив? Не находишь ли ты, что золотые цветы очень хорошо выделяются на красном бархате?

— Как, — воскликнул молодой человек, — возможно ли, что вы знаете...

В эту минуту в сад вошло несколько сенаторов. Почтенная дама поднялась им навстречу, так и не ответив на вопросы, которыми продолжал засыпать ее удивленный Пиппо.

III

После ухода сенаторов синьора Доротея не пожелала больше ничего объяснять своему крестнику, несмотря на все его просьбы и всю его настойчивость. Она не хотела вмешиваться в это приключение и теперь досадовала на себя за то, что, не сдержав первого порыва веселости, выдала чужую тайну. Но Пиппо продолжал настаивать, и она сказала:

— Дитя мое, особа, которая вышла для тебя этот кошелек, бесспорно одна из самых красивых и благородных дам в Венеции, и, назвав ее имя, я, наверное, оказала бы тебе большую услугу. Вот все, что могу сказать. Удовольствуйся этим. Мне хотелось бы порадовать тебя, но я не могу выдать секрет, который знаю я одна, и принуждена молчать. Я смогла бы открыть тебе имя этой дамы только по ее просьбе, иначе это было бы недостойно.

— Недостойно... Дорогая крестная, неужели вы думаете, что, доверившись мне...

— Довольно, — прервала почтенная дама; но, несмотря на свою величавость, она не чужда была легкого лукавства и добавила: — Ты пишешь иногда стихи — вот и напиши сонет по этому поводу.

Пиппо понял, что ничего больше не добьется, и перестал настаивать, но его любопытство, как вы догадываетесь, было возбуждено до крайности. В тайной надежде, что прекрасная незнакомка может прийти вечером в гости к синьоре Доротее, Пиппо не решился покинуть дом своей крестной и остался обедать у авогадора Паскуалиго; но никого, кроме сенаторов, судей и видных чиновников республики, он там не встретил.

Вечером, покинув гостей синьоры Доротей, Пиппо отправился посидеть в рощице. Он раздумывал, что же ему теперь делать, и решил, во-первых, добиться, чтобы Бьянкина вернула ему кошелек, и, во-вторых, последовать совету, который шутя дала ему синьора Доротей, — написать сонет о своем приключении; когда же сонет будет готов, отнести его крестной. Она, конечно, не преминет показать его прекрасной незнакомке. Не откладывая, Пиппо принялся приводить в исполнение оба плана.

Он поправил камзол, искусно надвинул шляпу на ухо и посмотрелся в зеркало — хорош ли у него вид, так как первой его мыслью было обольстить Бьянкину притворными уверениями в любви и подействовать на нее лаской. Но он тут же отказался от этого намерения, рассудив, что таким путем он только воскресит в этой женщине ее страсть, и она снова начнет ему докучать. Тогда он принял совершенно противоположное решение и поспешил к Бьянкине, будто чем-то взбешенный. Он приготовился устроить ей отчаянную сцену и так ее напугать, чтобы она раз и навсегда оставила его в покое.

Монна Бьянкина принадлежала к числу тех белокурых венецианок с черными глазами, чья ненависть во все времена считалась опасной. С тех пор как Пиппо так грубо с ней обошелся, она не подавала никаких вестей и, несомненно, в тишине готовила месть, которой пригрози-

ла. Необходимо было нанести решительный удар, даже под страхом ухудшить положение.

Пиппо ворвался к Бьянкине в ту минуту, когда она собиралась выйти из дому; он встретил ее на лестнице и заставил вернуться.

— Что вы наделали, несчастная! — вскричал он. — Вы погубили все мои надежды. Ваша месть свершилась!

— Боже правый! Что с вами? — спросила ошеломленная Бьянкина.

— И вы еще спрашиваете! Где злополучный кошелек? Вы солгали, что он прислан вами! Посмейте еще раз повторить эту ложь!

— Что за важность, если я и солгала? Я не знаю, где ваш кошелек.

— Верни мне его, или я убью тебя! — закричал Пиппо и бросился на несчастную женщину. Не щадя нового платья, в которое бедняжка нарядилась, он грубо сорвал с ее груди покрывало и приставил кинжал к сердцу.

Бьянкина испугалась, что он убьет ее, и начала звать на помощь, но Пиппо заткнул ей рот своим платком, так что она не могла больше крикнуть, и заставил вернуть кошелек, который, к счастью, у нее сохранился. После этого Пиппо сказал:

— Ты причинила горе знатной семье! Ты навсегда нарушила покой одной из самых блестящих фамилий Венеции! Трепещи! Эти всеильные и страшные люди следят за тобой. Отныне ни ты, ни твой муж не ступите и шагу, чтобы это не стало им известно. Правители Ночи внесли твое имя в свои списки. Вспомни о подземельях Дворца дождей. Ты хитростью проникла в страшную тайну, но при первом слове, что ты произнесешь о ней, весь твой род исчезнет с лица земли.

Сказав это, он удалился. А надо знать, что в те времена в Венеции нельзя было произнести ничего более устрашающего. Беспощадные тайные приговоры *corte maggio*¹ внушали ужас, и каждый, кто мог хотя бы предполо-

¹ Большого Совета (*ит.*).

жить, что на него падает подозрение, уже заранее считал себя погибшим. Так случилось и с мужем Бьянкины, мессером Орио, когда жена рассказала ему об угрозах Пиппо, разумеется, кое о чем умолчав. Правда, Бьянкина действительно не знала, чем вызваны эти угрозы, да и сам Пиппо этого не знал, потому что вся история была выдумкой. Мессер Орио благоразумно решил, что нет нужды знать, чем именно навлек он на себя гнев верховных владык, и гораздо важнее избежать последствий этого гнева. Он не был уроженцем Венеции. Его родители жили в глубине материка. На другой же день после описанных событий он с женой отплыл на корабле, и с тех пор никто о них больше ничего не слыхал. Таким образом Пиппо избавился от Бьянкины и с лихвой отплатил ей за ту злую шутку, которую она с ним сыграла. Всю остальную жизнь Бьянкина была уверена, что с кошельком, который она хотела присвоить, действительно связана какая-то государственная тайна. Все в этом странном происшествии было ей непонятно, и она могла только строить догадки. Для родителей мессера Орио это событие стало предметом постоянных бесед между собой, и, наконец, в результате всевозможных предположений они создали довольно правдоподобную легенду.

«Одна знатная дама, — говорили они, — влюбилась в Тицианелло, то есть в сына Тициана, который, в свою очередь, был увлечен донной Бьянкиной и вздыхал о ней, разумеется, совершенно безнадежно. Знатная дама — не кто иная, как сама догаресса, — собственными руками вышила кошелек и подарила его Тицианелло. Судите же, как она разгневалась, узнав, что этот кошелек, знак ее любви, Тицианелло отдал Бьянкине».

Такова была семейная хроника, которую шепотом рассказывали в маленьком домике мессера Орио в Падуе.

Довольный успехом первого замысла, Пиппо стал раздумывать о том, как бы выполнить и второй — сочинить сонет в честь прекрасной незнакомки. Он был все еще невольно взволнован разыгранной им же удивительной ко-

медией и с легкостью, не без воодушевления стал набрасывать стихи. Восторженные слова любви, надежды, тайной страсти, свойственные языку поэтов, теснились в его воображении. Но тут он подумал про себя: «Ведь крестная сказала мне, что речь идет об одной из самых красивых и знатных женщин Венеции, значит, я должен соблюдать соответствующий тон и обращаться к ней с большей почтительностью».

Он перечеркнул все написанное и впал в другую крайность: подобрал несколько звучных рифм и не без труда стал подгонять к ним выражения самых высоких и благородных мыслей и чувств, какие только могли соответствовать его представлению о незнакомке. Смелые надежды сменились робкими сомнениями, вместо горячих слов о тайне и о любви он говорил теперь о благодарности и уважении. Не имея возможности восхвалять прелесть женщины, которую никогда не видал, он очень осторожно пользовался неопределенными выражениями, применимыми к любой внешности. Короче говоря, после двух часов труда и размышлений были написаны четырнадцать строк стихов, вполне сносных, очень благозвучных и весьма невыразительных.

Он переписал их набело на красивом листе пергамента, тщательно разрисовал поля цветами и птицами и раскрасил их. Но едва он закончил работу и перечитал стихи, как тут же выбросил их за окно в протекающий около дома канал. «Зачем я все это делаю? — спросил он себя. — Для чего? Стоит ли продолжать приключение, если оно ничего не говорит моему сердцу».

Он взял в руки мандолину и начал расхаживать по комнате, перебирая струны и напевая старинную песенку, сочиненную на слова одного из сонетов Петрарки. Так прошло несколько минут. Вдруг Пиппо остановился, его взгляд упал на кошелек, который он отнял у Бьянкины и как трофей снова водворил на столе. Пиппо почувствовал, что сердце его забилось сильнее, и он уже больше не

думал ни о приличиях, ни о впечатлении, какое он может произвести. Он сказал себе: «Женщина, которая сделала это для меня, несомненно любит меня и умеет любить. Вышить такими тонкими нитями, подобрать такие живые краски — долгая и трудная работа. Вышивая, она думала обо мне. В короткой записке, присланной вместе с кошельком, был совет друга и ни одного легкомысленного слова. Это вызов любви, брошенный женщиной с благородным сердцем; и если даже ее мысли были заняты мною не дольше одного дня, я должен смело поднять перчатку». Он снова принялся за дело и, взяв в руки перо, ощутил волнение, тревогу и надежду, каких никогда не знал даже за игорным столом при самых крупных своих ставках. Не раздумывая больше и не останавливаясь, он быстро написал сонет. Вот его приблизительный перевод:

Когда Петрарку я читал, то с детских лет
О славе помышлял, дрожа от восхищенья.
Он как любовник пел; он был в любви поэт;
Язык богов лишь он постиг в своем твореньи.

Лишь он умел внимать сердечному биенью
И на лету ловить улыбки беглый свет,
Чтобы чертить потом ее изображение,
К алмазу приложив свой золотой стилет.

Пусть вам, кто мне прислал слова приязни жаркой,
Их написав вчера, чтоб завтра позабыть,
Моя признательность летит вослед незримо.

Я только сердцем схож — не гением с Петраркой
И на земном пути могу одно свершить:
Дать руку спутнику и жизнь отдать любимой¹.

На следующий день Пиппо отправился к синьоре Доротею. Как только они остались наедине, он положил сонет на колени почтенной дамы и сказал: «Это для вашей подруги». Синьора Доротея сначала удивилась, потом прочла стихи и поклялась, что никогда не согласится по-

¹ Перевод Ю. Б. Корнеева.

казать их кому-либо. Но Пиппо только рассмеялся, — он знал, что крестная поступит как раз наоборот, — и покинул синьору Доротею, заверив ее, что ничуть не сомневается в ней.

IV

Всю последующую неделю Пиппо провел в большом волнении, но это волнение имело свою прелесть. Он никуда не выходил из дому, точно боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть свою судьбу. В таком поведении было больше благоразумия, чем это обычно свойственно его возрасту: ему ведь было всего двадцать пять лет, а в молодости мы часто проскакиваем мимо цели из-за желания поскорее ее достигнуть. Судьба благосклонна к тем, кто умеет сам себе помочь и вовремя воспользоваться счастливым случаем. Недаром Наполеон сказал, что судьба — женщина. Но как раз поэтому она и любит делать вид, что добровольно дарует то, что у нее берут силой, не нужно только ее торопить.

Своенравная богиня постучалась в дверь к молодому человеку лишь девять дней спустя, к вечеру. И, как видите, не попусту. Он сбежал вниз и сам открыл дверь. На пороге стояла негритянка, в руках у нее была роза. Она поднесла ее к губам Пиппо со словами:

— Поцелуйте этот цветок, на нем поцелуй моей госпожи. Может ли она прийти к вам, не опасаясь быть узнанной?

— Было бы очень неосторожно прийти ко мне среди бела дня, слуги непременно заметят ее. Не может ли она прийти ночью?

— Нет, нет. Да и кто на ее месте решился бы на это? Ночью она не может ни выйти из дому, ни принять вас у себя.

— Тогда придется встретиться в другом месте. Я укажу где.

— Нет, госпожа хочет прийти именно сюда. Подумайте лучше, как это все устроить.

Пиппо на минуту задумался.

— Может ли твоя госпожа рано встать?

— Хоть с восходом солнца.

— Хорошо, тогда слушай. Обычно я просыпаюсь очень поздно, и весь дом, конечно, тоже спит допоздна. Если твоя госпожа придет на рассвете, я буду ждать ее, и она войдет ко мне так, что никто ее не увидит. Ну, а как уйти, это я устрою, если только она может остаться у меня до наступления ночи.

— Она так и сделает. Можно прийти к вам завтра?

— Да, завтра на рассвете, — сказал Пиппо.

Он высыпал горсть цехинов в косынку вестницы и, ни о чем больше не спрашивая, вернулся к себе в комнату. Он решил никуда не выходить и бодрствовать до утра. Но, чтобы слуги думали, будто он ложится спать, приказал раздеть себя. Оставшись один, Пиппо разжег поярче камин, надел вышитую золотом рубашку, надушенный воротник и белый бархатный камзол с рукавами из китайского шелка. Когда все было готово к встрече, он сел у окна и принялся мечтать о своем приключении.

В той поспешности, с какой незнакомка назначала Пиппо свидание, он не усмотрел ничего необычайного. Не следует забывать, что дело происходило в шестнадцатом веке, а в те времена любовные похождения протекали гораздо стремительнее, чем в наши дни. Можно с уверенностью сказать, что в ту эпоху считалось искренностью то, что мы назвали бы нескромностью, и, может быть, тогда казалось просто лицемерием то, что сегодня зовется добродетелью. Во всяком случае, женщина, увлеченная красивым молодым человеком, без дальних слов отправлялась к нему на свидание, и в его глазах это несколько не роняло ее достоинства. Никто даже не думал краснеть за поступки, которые считал естественными. В те времена вельможа французского двора мог носить на шляпе вместо султана шелковый чулок своей возлюблен-

ной, а тем, кто удивлялся, видя его в таком уборе в Луврском дворце, он не стесняясь отвечал, что это чулок женщины, в которую он смертельно влюблен.

Все это настолько отвечало характеру Пиппо, что, родись он и в наш век, вряд ли его взгляд на эти вещи был бы иным. Несмотря на сумасбродство и распущенность, Пиппо никогда не лгал самому себе, хотя, конечно, ему случалось иногда солгать другому. Я хочу сказать, что он ценил вещи по существу, а не за их внешние качества. Он был способен на притворство, но прибегал к хитрости лишь в том случае, когда его побуждало к этому искреннее увлечение. Ему приходило в голову, что присланный подарок — всего лишь каприз, но все же он никак не допускал мысли, что это каприз пустой кокетки. Я уже сказал, что именно позволяло ему так думать: изящество и тщательность, с какими был вышит кошелек, свидетельствавали о том, как много труда и времени было посвящено этой работе.

Его воображение уже заранее рисовало картины предвкушаемого счастья. Но тут он вспомнил рассказ о свадебных обычаях в Турции. Жители Востока впервые видят лицо невесты лишь после свадьбы. До этого невеста показывается жениху, как и всем остальным, закутанная в покрывало. Жених доверяет тому, что говорят родители, и женится, так сказать, на слово. По окончании свадебного обряда молодая женщина открывает мужу свое лицо, и тогда он судит воочию, удачна ли заключенная сделка. А так как отказываться все равно поздно, то ему остается только признать ее удачной. В конце концов, нельзя сказать, чтобы эти союзы были несчастливее других.

Пиппо находился именно в положении такого жениха. Правда, он не рассчитывал, что незнакомка окажется девственницей, но это его не очень огорчало. Его преимущество заключалось в том, что он не связывал себя никакими торжественными узами и сейчас мог предаваться сладостному ожиданию, не опасаясь осложнений в буду-

щем. Это казалось ему вполне достаточным, чтобы возместить то, чего он, возможно, будет лишен. Он представил себе, что его и вправду ожидает первая брачная ночь; удивительно ли, что в его возрасте эта мысль доставляла ему бурную радость?

Для молодого человека первая брачная ночь — самое большое счастье, какое только может нарисовать его горячее воображение, так как этому счастью не предшествовали ни заботы, ни огорчения. Правда, философы утверждают, что огорчения придают остроту удовольствию, но Пиппо считал, что от плохого соуса рыба не может стать вкуснее. Ему нравились удовольствия, доставившиеся без труда, но грубых радостей он не любил. Изысканные же наслаждения обходятся, к несчастью, дорого — это почти неизбежный закон. Свадебная ночь — исключение из этого правила. Вожделение и возможность осуществить свои желания без усилий — вот то, чем больше всего дорожат мужчины. Свадебная ночь — единственный случай, когда обе эти склонности находят полное удовлетворение. В комнату молодого человека приводят девушку, убранную цветами и не знающую любви. В течение пятнадцати лет ее мать стремилась внушать ей самые благородные чувства и обогащать ее ум. При других обстоятельствах молодому человеку, может быть, целый год пришлось бы вымалывать один взгляд восхитительного создания, а мужу достаточно раскрыть объятия, чтобы овладеть сокровищем. Мать удаляется из комнаты. Сам бог благословляет их союз. Если бы только, очнувшись наутро от волшебного сновидения, мужчина не оказывался женатым, то кто бы не захотел повторять все это каждый вечер?

Пиппо не жалел, что не расспросил негритянку. Ведь любая служанка в подобном случае не преминет расхвалить свою госпожу, будь та страшна, как смертный грех. Ему достаточно было немногих слов, что обронила синьора Доротей, хотелось только знать, какие волосы у его незнакомки — белокурые или темные. Чтобы составить себе

представление о женщине, про которую вам известно лишь, что она красива, очень важно знать цвет ее волос. Пиппо долго колебался, какой оттенок предпочесть, и успокоился наконец, решив, что у нее каштановые волосы. Но тогда встал вопрос, какие же у нее глаза. Пиппо полагал, что у брюнетки глаза должны быть черные, а у блондинки — голубые. Он решил, что у его дамы глаза голубые, но не того неопределенного светло-голубого цвета, что кажется то серым, то зеленоватым, а цвета чистой небесной лазури; глаза, что в минуты страсти темнеют и принимают оттенок воронова крыла.

Не успел он представить себе эти очаровательные глаза, их глубокий нежный взор, как его фантазия дорисовала и лоб, белее снега, и щеки, нежные, как персик, розовые, как вершины Альп в утренних лучах солнца; тонкий точеный носик, как у античной скульптуры, называемой «Греческий амур»; алый рот — не слишком большой и не слишком маленький, два ряда жемчужин, сквозь которые веет свежее и сладостное дыхание; изящный округлый подбородок, открытое, но немного высокомерное лицо, матово-белую, чуть-чуть удлиненную шею, без единой морщинки, увенчанную, как стебель цветком, головкой, грациозной и симпатичной¹. Оставалось только пожелать, чтобы этот образ, созданный фантазией, превратился в явь. «Она придет, — думал Пиппо, — она будет здесь, как только наступит день». Удивительнее всего было то, что в своих грезах Пиппо, сам того не подозревая, нарисовал верный портрет своей будущей возлюбленной.

Когда пушечный выстрел с фрегата, стоящего на страже у входа в гавань, возвестил шесть часов утра, Пиппо заметил, что огонь в его светильнике стал красноватым, а окна слегка поглубели. Пиппо быстро подошел к окну.

¹ *Simpatia* — итальянское слово, не имеющее соответствия во французском языке, может быть, потому, что во французском характере нет соответствия тому, что оно выражает. (Прим. автора.)

На этот раз глаза его не смыкались, движения были свободны, он никогда еще не чувствовал себя таким бодрым, хотя и провел бессонную ночь. Заря уже загоралась, но Венеция еще спала. Эта ленивица, родина наслаждений, не просыпается так рано. В час, когда у нас открываются лавочки и по улицам спешат пешеходы и экипажи, над пустынной лагуной клубятся туманы и пеленой окутывают молчаливые дворцы.

Ветерок чуть-чуть рябил воду. Несколько парусников показались вдали со стороны Фузины. Они везли королевые морей дневные запасы провианта. Высоко над спящим городом, выступая из сумрака, сиял ангел на колокольне Св. Марка, и первые лучи солнца сверкали на его золоченых крыльях.

Тем временем в многочисленных церквах Венеции зазвонили к заутрене. При звуке колоколов голуби стаями поднялись в воздух. Венецианские голуби инстинктом прекрасно угадывают число ударов колокола и стремительно летят через набережную Скьявони на большую площадь, где для них в этот час всегда рассыпают зерно. Туман мало-помалу рассеялся, встало солнце. Рыбаки проснулись, встряхнули свои плащи и начали приводить в порядок лодки. Один из них чистым и звонким голосом затянул народную песенку, из глубины какого-то склада ему ответил чей-то бас, и еще какой-то голос вдали подхватил припев второго куплета. Вскоре образовался целый хор, каждый пел за работой, и чудесная утренняя песня приоткрывала рождение дня.

Дом Пиппо стоял на набережной Скьявони на углу маленького канала, недалеко от дворца Нани. В эту минуту вдали, на темном канале, блеснула пила гондолы. На корме ее стоял всего лишь один гондольер, но хрупкое суденышко несло как стрела, легко рассекая воду; казалось, оно скользит по зеркальной поверхности в такт размеренному движению весла.

У моста между каналом и большой лагуной гондола остановилась. Из нее вышла женщина в маске; стан ее был

строен, осанка благородна. Дама направилась к набережной, Пиппо тотчас спустился вниз и пошел навстречу. «Это вы?» — тихо спросил он. Вместо ответа дама оперлась на руку, которую он ей предложил, и последовала за ним. Никто из слуг в доме еще не вставал. Молча, на цыпочках прошли они по нижней галерее, где спал привратник. В комнатах молодого человека дама опустилась на диван и некоторое время оставалась в задумчивости. Она сняла маску, и Пиппо убедился, что синьора Доротея не обманула его, — перед ним была одна из красивейших женщин Венеции, наследница двух знатных родов — Беатриче Лоредано, вдова прокуратора Донато.

V

Как описать очарование первого взгляда Беатриче, когда, открыв лицо, она посмотрела вокруг себя? Она едва достигла двадцати четырех лет, но уже полтора года была вдовой. Поступок ее мог показаться читателю слишком смелым, но она поступала так впервые в жизни. До встречи с Пиппо она, нет сомнения, любила только мужа. Решившись на этот шаг, Беатриче была так взволнована, что ей пришлось собрать все свои силы, чтобы не вернуться с полпути. В ее глазах отражались и любовь, и смятение, и отвага.

Пиппо глядел на нее с таким восхищением, что не мог говорить. Когда бы вам ни случилось увидеть женщину безупречной красоты, вы непременно испытываете чувство изумления и благоговения. Пиппо часто встречал Беатриче на прогулке и в обществе, всегда сам восторгался ее красотой и видел, как восторгаются ею другие. Она была дочерью Пьетро Лоредано, члена Совета Десяти, и правнучкой знаменитого Лоредано, принимавшего деятельное участие в процессе Джакомо Фоскари. Гордыня этой семьи хорошо была известна в Венеции, и Беатриче, по всеобщему мнению, унаследовала эту черту предков. Ее рано выдали замуж за прокуратора Донато. После его

смерти она стала совершенно свободной и сделалась обладательницей большого состояния. Первые вельможи республики добивались ее руки, но на все их старания понравиться ей она отвечала самым пренебрежительным равнодушием. Ее высокомерный и замкнутый характер почти что вошел в поговорку. Поэтому Пиппо был удивлен вдвойне: прежде всего он никогда бы не осмелился даже предполагать, что таинственная незнакомка, над которой он, сам того не зная, одержал победу, была Беатриче Донато, а кроме того, сейчас она была так не похожа на самое себя, что Пиппо казалось, будто он видит ее впервые. Любовь придает очарование даже самому обыкновенному лицу, здесь же она проявила свое могущество, сделав еще более прекрасным совершенное создание природы.

Пиппо молчал несколько мгновений, затем приблизился к даме и взял ее за руку. Ему хотелось выразить охватившее его чувство изумления, благодарности и счастья. Но она не отвечала, казалось, не слышала и пребывала в неподвижности, ничего не замечая, как будто все происходящее было сном. Пиппо долго говорил, она не сделала ни одного движения. Тогда он сел рядом и обнял ее за талию.

— Вчера вы прислали мне поцелуй на лепестках розы, — сказал он, — позвольте мне теперь вернуть его вам, коснувшись цветка еще более свежего и прекрасного.

С этими словами он поцеловал ее в губы. Она не сделала никакого усилия, чтобы помешать ему, но ее взгляд, бесцельно блуждавший вокруг, остановился на Пиппо. Она тихонько оттолкнула его и, покачав головой, сказала с грустью, полной прелести:

— Вы не любите меня, для вас это только прихоть. А я вас люблю. Я хочу стать перед вами на колени.

И она действительно склонилась перед Пиппо. Напрасно он пытался удержать ее и умолял подняться. Она выскользнула из его объятий и опустилась на колени.

Странно и даже неприятно видеть женщину в такой

смирной позе, хотя бы то было выражение любви; так выражать свои чувства естественно только для мужчин. Вид коленопреклоненного всегда вызывает тягостное смущение, и даже судьи иногда прощают виновного, упавшего на колени. Все сильнее изумляясь, смотрел Пиппо на чудесное видение. Если в первую минуту, когда он узнал Беатриче, его охватило чувство благоговения, то что же должен был он испытывать, видя ее у своих ног? Вдова Донато, дочь Лоредано стояла перед ним на коленях. Ее бархатное платье, затканное серебряными цветами, растилалось на плитах пола, рассыпавшиеся волосы и накинутое на них покрывало ниспадали до земли. Из этого прелестного обрамления выступали белоснежные плечи и молитвенно сложенные руки, а влажные глаза были подняты на Пиппо. Потрясенный до глубины души, Пиппо отступил на несколько шагов. Его опьянило чувство торжества. Он не был аристократического происхождения, и сознание, что Беатриче сложила к его ногам свою патрицианскую гордость, как молнией обожгло душу молодого человека.

Но эта вспышка тщеславия длилась мгновение и тотчас угасла. Такое проявление любви должно было породить чувства более высокие, нежели суетное тщеславие. Когда мы склоняемся над прозрачным источником, в нем тотчас появляется наше отражение, и когда мы ниже наклоняемся к воде, наш двойник поднимается из глубины навстречу нашему взгляду. Так и в человеческой душе любовь рождает ответную любовь с одного взгляда. Пиппо упал на колени рядом с Беатриче, и, склоненные друг к другу, они обменялись первым поцелуем.

Беатриче была дочерью Лоредано, но в ее жилах текла и кровь ее матери — нежной Бьянки Контарини. На свете не было существа совершеннее этой женщины, первой красавицы Венеции. Всегда приветливая, всем довольная, она горячо любила родину, и ее жизнь могла служить примером и в мирное время и в дни войны. Бьянка каза-

лась старшей сестрой своих дочерей. Она умерла молодой и даже в гробу была прекрасна.

Бьянка научила Беатриче любить и понимать искусство, особенно живопись. Это не значит, что молодая вдова стала большим знатоком в этой области. Она бывала и в Риме и во Флоренции, но творения Микеланджело не возбуждали в ней ничего, кроме любопытства. Будь она римлянкой, она любила бы только Рафаэля, но Беатриче была дочерью Адриатики и предпочитала Тициана. В то время как все окружающие занимались придворными интригами или государственными делами республики, ее привлекали только новые картины и беспокоило, какая судьба ждет ее любимое искусство после смерти старого Вечеллио. Во дворце Дольфино она видела единственное законченное полотно Тицианелло, погибшее позднее во время пожара, как уже было рассказано. Картина молодого художника произвела на нее впечатление. После этого Беатриче встретила у синьоры Доротеи самого Пиппо, почувствовала к нему непреодолимое влечение и полюбила его.

Во времена Юлия II и Льва X живопись не была ремеслом, как теперь. Для художников она была тогда культом, для вельмож — выражением просвещенного вкуса, славой — для Италии и страстью — для женщин. Если в те времена папа покидал Ватикан, чтобы навестить Буонаротти, то дочь знатного венецианца могла не стыдяться полюбить Тицианелло. Но Беатриче хотела стать не только любовницей Пиппо, но и его вдохновительницей и сделать из него великого художника. Эта мечта окрыляла и возвышала ее страсть. Беатриче знала о беспорядочной жизни Пиппо и решила вырвать его из среды, которой он был окружен. Она верила, что, несмотря на все беспутство Пиппо, священный творческий огонь не угас в нем, а лишь подернулся пеплом, и любовь оживит божественную искру. Целый год молодая женщина колебалась и втайне лелеяла свой замысел. Изредка она встречала Пиппо, а проезжая по набережной, смотрела на окна его

дома. Однажды ей в голову пришла затея вышить и послать Пиппо кошелек, и она не устояла перед искушением. Правда, Беатриче дала себе слово, что дальше этого не пойдет и никогда не предпримет ничего большего. Но когда синьора Доротея показала ей стихи Пиппо, слезы радости брызнули из глаз молодой женщины. Она понимала, что подвергается опасности, стремясь осуществить свою мечту, но это была мечта женщины, а «чего хочет женщина — того хочет бог», — сказала себе Беатриче, выходя из дому.

Вот мысли и чувства, которые руководили ею, а искренность ее любви была ей защитой. Жертвуя своей гордостью и опускаясь перед Пиппо на колени, Беатриче приносила первую молитву богу любви, но нетерпеливое божество уже требовало иной жертвы, и Беатриче колеблясь разделила ложе Тицианелло, как если бы она была его женой. Она сняла покрывало, накинула его на статую Венеры, стоявшую в спальне, и вот, прекрасная и бедная, подобная самой богине, отдалась своей судьбе.

Беатриче провела весь день у Пиппо, как было условлено. На закате за ней пришла гондола, та самая, что привезла ее. Молодая женщина вышла тайком, как и вошла. Слуги были удалены под различными предлогами. Дома оставался только привратник. Привыкший к образу жизни своего господина, он не удивился, что вместе с Пиппо по галерее идет женщина в маске. Когда же у выхода дама приподняла кружево маски и Пиппо поцеловал ее на прощанье, привратник бесшумно подкрался и прислушался.

— Ты никогда не замечал меня раньше? — весело спросила дама.

— Конечно, замечал, — ответил Пиппо, — но я не знал, что твое лицо так прекрасно. Я уверен, ты сама не понимаешь, как ты красива.

— И ты тоже не знаешь, как ты красив. Ты прекрасен, как день. И в тысячу раз красивее, чем я думала. Ты будешь любить меня?

— О да — долго, долго.

— А я — всегда.

При этих словах они расстались. С порога своего дома Пиппо провожал глазами гондолу, уносившую Беатриче Донато.

VI

Прошло две недели, а Беатриче не начинала разговора о своем замысле. Правда, она сама немного позабыла о нем.

Первые дни любви похожи на первые экспедиции испанцев, когда они открыли Новый Свет. Отправляясь в плавание, они обещали своему правительству точно выполнять предписания, составлять и присылать географические карты и насаждать в Америке цивилизацию. Но едва достигали цели, как при виде незнакомого неба, девственных лесов, золотых и серебряных россыпей тотчас теряли память; в погоне за неизведанным они забывали и обещания и Европу, но зато им случалось найти сокровища. Так иногда бывает и с любовниками.

Ещё одна причина оправдывала забывчивость Беатриче. За эти две недели Пиппо ни разу не играл в кости и ни разу не посетил графиню Орсини. Это было уже началом благоразумной жизни, так, по крайней мере, считала Беатриче, и неизвестно, была она права или нет. Половину дня Пиппо проводил подле своей возлюбленной, а потом — любовался морем в кабачке на Лидо, потягивая самосское вино. Он больше не встречался с друзьями, нарушил все свои привычки, не замечал ни дня, ни часа, не заботился о своих поступках. Словом, он был опьянен и наслаждался чувством полной отрешенности от всего окружающего, какое наступает после первых объятий прекрасной женщины. И можно ли сказать в подобном случае о мужчине — мудр он или безрассуден?

Пиппо и Беатриче были созданы друг для друга, они поняли это с первого дня, но все же необходимо было вре-

мя, чтобы убедиться в этом окончательно, а месяц не такой уж долгий срок. Итак, прошел месяц, а о живописи даже и речи не было. Зато дни были наполнены любовью, музыкой, прогулками на гондолах и загородными поездками. Знатным дамам иногда больше улыбается тайная прогулка в кабачок предместья, чем ужин в будуаре. Беатриче разделяла эти вкусы. Обеду у самого дожа она готова была предпочесть свежую рыбу, съеденную наедине с Пиппо где-нибудь в беседке на Квинтавалле. После такой трапезы они с Пиппо садились обычно в гондолу и плыли вокруг Армянского острова. Именно там, между городом и Лидо, между небом и морем, советую я тебе, читатель, светлой лунной ночью насладиться любовью по-венециански.

Однажды, уже месяц спустя, Беатриче пришла к Пиппо, как всегда тайком, и застала его очень веселым. Он только что позавтракал и, когда она вошла, расхаживал по комнате, напевая. Солнце заливало светом все вокруг, и в его лучах на столе сверкала серебряная ваза, полная цехинов. Накануне вечером Пиппо играл в кости и выиграл у мессера Веспасиано полторы тысячи пиастров. На часть этих денег он купил китайский веер, душистые перчатки и золотую цепь великолепной венецианской работы. Все это он положил в шкатулку кедрового дерева, инкрустированную перламутром, и подарил Беатриче.

Она с радостью приняла подарок, но когда узнала, что он куплен на выигранные деньги, то отказалась от него. Не разделяя веселости Пиппо, она погрузилась в задумчивость. «Может быть, Пиппо уже меньше любит меня, если вернулся к прежним развлечениям?» — так размышляла она. Во всяком случае, Беатриче видела, что пришла пора поговорить с Пиппо и сделать попытку заставить его отказаться от беспорядочной жизни, в которую он готов был вновь погрузиться.

Дело было нелегкое. За месяц Беатриче узнала характер Пиппо: он был очень беспечен во всем, что касалось повседневной жизни, и с наслаждением предавался far

niente¹. Но в более важных делах руководить им было не просто, как раз из-за этой его беспечности. Если кто-нибудь пытался повлиять на него, он не спорил, не сопротивлялся, позволял убеждать себя сколько угодно, а поступал по-своему. Чтобы достигнуть цели, Беатриче прибегла к уловке: она спросила — не хочет ли Пиппо написать ее портрет?

Он охотно согласился. На следующий же день он купил холст и велел принести в спальню великолепный мольберт резного дуба, принадлежавший его отцу. Беатриче явилась с утра, закутанная в просторные темные одежды. Как только Пиппо приготовился писать, она сбросила их и предстала в костюме, весьма напоминавшем тот, в котором Парис Бордоне изобразил свою «Венчанную Венеру»... Волосы Беатриче, схваченные над лбом и перевитые жемчугом, падали длинными волнистыми прядями на ее руки и плечи. Жемчужное ожерелье, спускавшееся до пояса и скрепленное золотым фермуаром на обнаженной груди, струясь, обрисовывало ее безупречные линии. Платье из тафты, переливавшейся розово-голубым, было подхвачено у колена рубиновой пряжкой и позволяло видеть гладкую как мрамор ногу. На руках у нее были драгоценные браслеты, на ногах — туфли красного бархата без задков, с золотой шнуровкой.

Бордоне, ученик Тициана, пользовался большой славой в Италии. Было известно, что его «Венера» — портрет одной венецианской дамы; возможно, Беатриче знала ее и знала, конечно, что сама она красивее этой женщины. В Пиппо она хотела возбудить чувство соперничества и желание доказать, что он может превзойти Бордоне. Несколько мгновений Пиппо пристально глядел на Беатриче.

— Клянусь Дианой, — воскликнул он, — «Венера» Бордоне просто торговка устрицами, переодетая богиней. Вот передо мной мать Амура и возлюбленная бога войны!

¹ Праздности (ит.).

Легко поверить, что при виде такой прекрасной модели первый порыв Пиппо был далек от намерения сразу же начать работу. На мгновение Беатриче испугалась: не слишком ли она красива, не опасно ли средство она выбрала для осуществления своего плана — изменить жизнь Пиппо? Все же портрет был начат. Пиппо рассеянно делал первый набросок, как вдруг нечаянно выронил кисть. Беатриче нагнулась за ней и, подавая Пиппо, сказала: «Твой отец так же когда-то уронил кисть. Карл Пятый поднял ее и возвратил ему. Я хочу поступить как цезарь, хоть я и не императрица».

Пиппо был безгранично привязан к отцу, восхищался им и всегда говорил о нем с величайшим уважением. Воспоминание взволновало его. Он встал и открыл шкаф. «Вот кисть, о которой вы упомянули, — промолвил он и показал Беатриче. — Эту кисть мой отец хранил как реликвию, с тех пор как ее коснулась рука властителя половины вселенной».

— Вы были свидетелем этого случая? — спросила Беатриче. — Не можете ли вы рассказать о нем?

— Я был еще ребенком, — ответил Пиппо, — но все помню. В Болонье происходила встреча папы с императором. Тогда велись переговоры о Флорентийском герцогстве, а вернее, решалась судьба Италии. Все видели Павла Третьего и Карла Пятого, которые разговаривали, сидя на террасе. И пока длилась беседа, город был погружен в молчание. Через час все было решено. Молчание сменилось страшным шумом. Отовсюду неслись крики, ржанье лошадей. Никто не знал, что будет дальше, все волновались, все хотели знать. Но было приказано хранить глубочайшую тайну. Жители города с любопытством и ужасом глядели даже на самых незначительных представителей обоих дворов. Шли слухи о расчленении Италии, о новых княжествах, о том, что многим предстоит изгнание. Мой отец работал тогда над большой картиной; он стоял наверху лестницы, которой пользовался, когда писал. Вдруг двери распахнулись, вошли воины с алебардами и вы-

строились вдоль стены; вбежал паж и громко крикнул: «Цезарь!» Через несколько мгновений появился император, затянутый в жесткий камзол; он прятал улыбку в свою рыжую бороду. Отец, удивленный и обрадованный неожиданным посещением, быстро, насколько позволял его возраст — а он был уже стар, — спустился с лестницы, держась за перила, и выронил кисть. Никто не двинулся, потому что присутствие императора всех превратило в изваяния. Мой отец был смущен своей медлительностью и неловкостью, но спешить боялся, чтобы не ушибиться. Карл Пятый сделал несколько шагов, медленно нагнулся и поднял кисть. «Тициан, — сказал он звучным и властным голосом, — Тициан вполне достоин услуги императора». И с неповторимым величием он подал кисть моему отцу. Встав на одно колено, отец принял ее.

Выслушав взволнованный рассказ Пиппо, Беатриче долго молчала. Она опустила голову и так была поглощена своими мыслями, что Пиппо наконец спросил ее, о чем она задумалась.

— Вот о чем, — ответила она. — Карл Пятый умер, и сын его стал королем Испании. Что сказали бы о Филиппе Втором, если бы он предоставил шпаге отца покрываться ржавчиной в шкафу, вместо того чтобы носить ее?

Пиппо улыбнулся и, хотя прекрасно понял мысль Беатриче, все же спросил, что она хочет этим сказать.

— Я хочу сказать, — ответила Беатриче, — что ты тоже наследник короля. Бордоне, Моретто, Романино — хорошие живописцы, Тинторетто и Джорджоне — большие художники, но Тициан — король, а в чьих руках сейчас его скипетр?

— Мой брат Орацио был бы великим художником, если бы не умер.

— Я в этом не сомневаюсь, — воскликнула Беатриче, — и вот что скажут о сыновьях Тициана: «Один был бы велик, если бы не умер, а другой — если бы захотел»,

— Ты думаешь? — смеясь, сказал Пиппо. — Что ж, при

этом прибавят: «Но он предпочитал прогулки в гондоле с Беатриче Донато».

Беатриче ждала совсем другого, и этот ответ сбил ее с толку. Но она не сдалась и продолжала тоном уже более серьезным:

— Перестань шутить и выслушай. Твоей единственной картиной любовались все, и нет человека, который бы не жалел о ее гибели. Но жизнь, которую ты ведешь, — страшнее пожара во дворце Дольфино, потому что она пожирает тебя самого. Ты думаешь только о развлечениях и не отдаешь себе отчета в том, что заблуждения молодости, простительные другим, для тебя — постыдны. Сын разбогатевшего купца может предаваться игре в кости, а Тицианелло — нет. Какая польза от того, что ты не уступаешь в мастерстве нашим самым старым художникам и обладаешь молодостью, которой у них нет? Тебе надо только сделать усилие, чтобы достигнуть успеха, но ты не желаешь утруждать себя. Твои друзья обманывают тебя. Мой долг сказать, что ты оскорбляешь память своего отца. И кто же, кроме меня, напомнит тебе об этом? Пока ты богат — всегда найдутся люди, которые помогут тебе разориться. Пока ты красив — женщины будут тебя любить. Но что ожидает тебя в будущем, если теперь, пока ты молод, никто не скажет тебе всей правды? Я ваша любовница, мой дорогой повелитель, но я хочу быть также и вашей возлюбленной. Уж лучше бы вы родились в бедности! Если вы меня любите — работайте. На окраине города я нашла укромный одноэтажный домик. Если хотите, мы его обставим по нашему вкусу. У нас будет два ключа — один у вас, другой я оставлю себе. Там мы будем чувствовать себя свободно и можем никого не опасаться. Вы велите отнести туда мольберт, и, если пообещаете работать хотя бы только два часа в день, я буду ежедневно приходить к вам. Хватит ли у вас терпения? Если вы согласитесь, то через год, возможно, вы меня уже разлюбите, но у вас появится привычка работать, а Италия приобре-

тет еще одно великое имя. Если вы откажетесь, я не перестану любить вас, но буду знать, что вы меня не любите.

Беатриче вся дрожала, говоря это. Она боялась обидеть возлюбленного и вместе с тем считала своим долгом высказать все начистоту. От страха, от желания нравиться глаза ее сияли. Теперь она была похожа не на Венеру, а на музу. Пиппо помедлил с ответом. Она была так хороша, что он залюбовался ею. А для нее эти мгновения были полны тревоги. Правда, Пиппо почти не слышал ее предостережений, он наслаждался трогательным звуком ее голоса. Беатриче убеждала его от всей души. Говорила она на чистейшем тосканском наречии, но с венецианской мягкостью. Когда живая песня льется из прекрасных уст, мы не слишком-то много внимания уделяем словам, порой приятнее почти не слышать их и всецело отдаваться музыке. Приблизительно так было и с Пиппо. Не особенно вникая в то, о чем просит его Беатриче, он подошел к ней, поцеловал в лоб и сказал:

— Обещаю все, чего бы ты ни пожелала. Ты прекрасна, как ангел.

Было решено, что с этого дня Пиппо будет ежедневно работать. Беатриче пожелала, чтобы он дал письменное обязательство. Она вынула свои таблички и набросала несколько строк. Влюбленная и гордая, она обратилась к Пиппо со словами:

— Ты знаешь, что мы, Лоредано, честно платим по своим счетам¹. Я вписываю твое имя как имя моего должника. Ты должен мне два часа работы каждый день в течение

¹ После осуждения Фоскари Джакомо Лоредано, сын Пьетро, считал своим долгом или делал вид, что считает долгом, отомстить за свою семью. В торговые книги (он вел торговлю, как почти все патриции того времени) он собственноручно внес имя дожа в список должников: «За смерть моего отца и дяди» — стояло там. На обороте он оставил чистую страницу для пометок о покрытии долга и там после гибели дожа написал: «L'ha pagata» — «Он уплатил» (Д а р ю. История Венецианской республики). (Прим. автора.)

ние года. Подпиши, оплачивай честно, и я буду знать, что ты любишь меня.

— Итак, решено, — проговорил он, — что я начну с твоего портрета.

Беатриче поцеловала его и шепнула на ухо:

— И я тоже сделаю твой портрет, чудесный, очень похожий, но не бездушный, а живой.

VII

Если любовь Беатриче и Пиппо вначале была похожа на бьющий из-под земли родник, то теперь ее можно было сравнить с разлившимся ручьем, постепенно прокладывающим свое русло в песке. Чем ближе они узнавали друг друга, тем больше любили. Будь Пиппо знатного происхождения, он, конечно, женился бы на Беатриче. Но хотя Вечелли и принадлежали к хорошей кадорской фамилии из Фриула, все же подобный брак был невозможен. Ему воспротивились бы не одни ближайшие родственники Беатриче. Все в Венеции, кто только носил патрицианское имя, пришли бы в негодование. Они охотно допускали всевозможные любовные похождения и ничего не имели против того, чтобы благородная дама была возлюбленной художника, но никогда не простили бы этой самой женщине, вздумай она выйти за него замуж. Таковы были предрассудки той эпохи, которая все же была лучше нашей.

Домик обставили. Пиппо сдержал слово и каждый день приходил туда. Сказать, что он работал, — было бы некоторым преувеличением, но он делал вид, а вернее, ему казалось, что он работает. Беатриче со своей стороны выполняла даже больше, чем обещала, — она приходила всегда первой. Портрет был начат, но подвигался медленно. Чаще всего к нему даже не прикасались. Во всяком случае, он стоял на мольберте и выполнял роль свидетеля, то ли поощряющего любовь, то ли оправдывающего лень.

Каждое утро Беатриче посылала с негритянской своему возлюбленному букет цветов. Она хотела приучить Пиппо рано вставать. «Художник должен быть на ногах с зарей, — говорила Беатриче, — вся его жизнь зависит от солнечного света, это стихия его искусства, без солнца живописец не может творить».

Мысль казалась Пиппо правильной, но применение ее в жизни — весьма обременительным. Случалось, что букет, принесенный негритянской, он ставил в стакан с сахарной водой, приготовленной ему на ночь, и снова засыпал. Когда, направляясь в маленький домик, он проходил под окнами графини Орсини, ему казалось, будто деньги сами собой шевелятся в его кармане. Однажды на прогулке он встретил мессера Веспасиано, и тот спросил, почему его больше нигде не видно.

— Я поклялся, — ответил Пиппо, — в руки не брать стакана для костей и не прикасаться к картам; но раз уж мы встретились — сыграем в орел и решку на деньги, что при нас.

Мессер Веспасиано, несмотря на преклонный возраст и должность нотариуса, был завзятым игроком. Он имел неосторожность согласиться, подбросил пиастр, проиграл тридцать цехинов, и нельзя сказать, чтобы остался этим очень доволен. «Какая досада, — подумал Пиппо, — что нельзя пойти сыграть в кости. Кошелек Беатриче, я уверен, продолжал бы приносить мне счастье, и в одну неделю я отыграл бы все, что потерял за два года».

Тем не менее Пиппо с большой охотой подчинялся желаниям своей возлюбленной. Его маленькая тихая мастерская выглядела такой веселой! Это был какой-то совсем иной, новый и все же чем-то знакомый мир, потому что холст и мольберт напоминали Пиппо его детство. Вещи, которые некогда окружали нас, легко становятся вновь привычными, а если с ними связаны воспоминания, то они делаются нам еще дороже, хотя мы часто сами не знаем — почему именно. Когда ясным утром Пиппо брался за палитру и располагал на ней живые блестящие

краски, чувствуя, что вот они готовы подчиниться его руке, ему казалось, что он слышит позади строгий голос отца, который кричит ему: «А ну-ка, бездельник! О чем ты замечтался? Принимайся-ка смелей за работу!» Эти воспоминания заставляли Пиппо оглядываться, но вместо сурового лица Тициана он видел Беатриче, ее обнаженные руки и грудь, лоб, увенчанный жемчугами. Она ждала, чтобы позировать ему, и, улыбаясь, говорила: «Мой повелитель, я готова!»

Поверьте, что Пиппо не оставался равнодушен к советам Беатриче и что она на них не скупилась. Беатриче говорила о венецианских мастерах, о той славе, какую они завоевали среди других итальянских школ, о том величии, какого достигало искусство, и тут же указывала на его современный упадок. В этом она была более чем права. С Венецией происходило то, что некогда случилось с Флоренцией, — она теряла не только свою былую славу, но и уважение к ней. Микеланджело и Тициан прожили почти по сто лет. Они научили свою родину искусству и боролись за него против безвременья, насколько хватало человеческих сил. И вот оба древних столпа рухнули. Едва успели похоронить знаменитых мастеров, как их предали забвению, чтобы до небес превознести каких-то жалких новаторов. Брешия, Кремона создали новые школы и объявили превосходство новой живописи над старой. В Венеции сын одного из учеников Тициана, присвоив прозвище Пиппо, стал называть себя, как он, Тицианелло и наводнял патриаршую церковь живописью самого дурного вкуса.

Пусть даже Пиппо не тревожил позорный упадок искусства родины, но его не могла не раздражать непристойность подобного положения. Когда при нем восхваляли плохую картину или где-нибудь в церкви, рядом с творением отца, он встречал чье-либо бездарное полотно, Пиппо испытывал такую же досаду, какую должен ощущать патриций, найдя в списках «Золотой книги» имя незаконнорожденного. Беатриче понимала досаду Пип-

по. В каждой женщине в той или иной степени живет Далила, и каждая умеет при случае воспользоваться тайной слабостью Самсона. Несмотря на свое благоговение перед великими именами, Беатриче считала нужным изредка похвалить какого-нибудь посредственного живописца. Ей нелегко было противоречить самой себе, но все же она очень ловко придавала фальшивым похвалам оттенок правдоподобия. Этими выдумками ей часто удавалось привести Пиппо в дурное расположение духа. И Беатриче замечала, что в такие минуты он особенно горячо и нетерпеливо принимался работать и писал с вдохновением и смелостью настоящего мастера. Но природное легкомыслие вскоре одерживало верх, Пиппо внезапно бросал кисть и предлагал: «Давай-ка лучше выпьем стакан кипрского вина и не будем больше говорить об этом вздоре».

Такое непостоянство характера могло бы привести в уныние кого угодно, но не Беатриче. Мы знаем из истории примеры самой упорной ненависти, зачем же удивляться, если и любовь может быть такой настойчивой? Беатриче была убеждена в непреложности истины, что привычка всевластна. И вот откуда у нее взялась эта уверенность. Она видела, как ее отец, человек чрезвычайно богатый, на старости лет, несмотря на свою болезненность, изнурял себя неблагодарным трудом, занимаясь кропотливейшими подсчетами только для того, чтобы на несколько цехинов увеличить свое огромное состояние. Часто она умоляла его побереечь себя, но он неизменно отвечал, что это привычка с юных лет, ставшая для него необходимостью, и он не бросит ее, пока жив. Беатриче это запомнила и не хотела ничего предрешать, пока Пиппо не втянется в повседневную работу. «Жажда славы — благородная страсть, и она должна быть не менее сильной, чем страсть к наживе».

Так думала Беатриче, и она не ошибалась, но трудность заключалась в том, что, прежде чем привить Пиппо хорошую привычку, надо было искоренить дурную. Существуют сорняки, которые можно вырвать без особых уси-

лий; страсть к азартным играм не из их числа, это, пожалуй, единственная страсть, которая может соперничать с любовью. Мы знаем много примеров, когда честолюбцы, распутники, ханжи подчинялись влиянию женщины, игроки же почти никогда. Этому легко найти объяснение. Деньги, золото воплощают в себе возможность любых наслаждений, и поэтому в игре сосредоточены почти все наши страсти. Каждая игра, каждая выброшенная кость влекут потерю или приобретение какого-то количества золота или серебра, и каждая монета — это залог безграничных наслаждений. У того, кто выигрывает, рождаются тысячи желаний, он им свободно предается, он изыскивает новые, уверенный, что сможет их удовлетворить. Здесь же кроется и причина отчаяния того, кто проигрывает; его внезапно охватывает сознание бессилия, тем более тягостное, что еще недавно он держал в руках огромные суммы. Частая смена таких потрясений истощает и вместе с тем возбуждает душевные силы человека, погружает его в состояние какого-то дурмана. Обычные ощущения уже недостаточно остры для него и уже ничуть его не волнуют; они чередуются слишком медленно и последовательно, игрок же привык напрягать все свои чувства в короткие мгновения.

К счастью для Пиппо, отец оставил ему такое громадное состояние, что ни проигрыш, ни выигрыш не могли подействовать на него столь пагубно. Пиппо толкала к игре скорее праздность, нежели порок. К тому же он был еще слишком молод, чтобы зло стало непоправимым. Само непостоянство его склонностей давало возможность надеяться, что он исправится, если только неустанно его оберегать. Беатриче это поняла и, не заботясь о собственной репутации, почти все дни проводила со своим возлюбленным. А чтобы привычка не породила пресыщения, она пускала в ход все свое женское кокетство — беспрестанно меняла не только прическу и украшения, но даже свою речь. Из страха наскучить Пиппо она каждый день появлялась в новом платье. Пиппо замечал все эти

маленькие хитрости и был не так глуп, чтобы сердиться, наоборот — платил тем же: его расположение духа и обращение изменялось не реже, чем он менял кружевные воротники. Для этого ему не надо было делать никаких усилий — только следовать природным наклонностям. Иногда он говорил, смеясь: «Пескарь — это маленькая рыбешка, а каприз — это уже маленькая страсть».

Такая жизнь нравилась и Пиппо и Беатриче, оба они ценили наслаждения и жили в полном согласии. Одно только тревожило молодую женщину: каждый раз, когда она заводила речь о планах на будущее, Пиппо отвечал: «Сперва сделаем твой портрет».

— Прекрасно, все это давно решено, — соглашалась Беатриче. — А что ты думаешь делать дальше? Портрет нельзя будет выставить, и как только ты его закончишь, нужно подумать о картине, которая принесла бы тебе известность. Готов ли у тебя какой-нибудь сюжет? Будет ли картина духовного содержания или на историческую тему?

Всякий раз, когда Беатриче задавала ему этот вопрос, Пиппо сейчас же находил способ отвлечься каким-нибудь пустяком, чтобы не слышать; нагибался, чтобы поднять платок, поправлял пуговицу на камзоле или придумывал еще что-нибудь в этом роде.

Беатриче начала думать, что, быть может, это тайна художника и Пиппо не хочет делиться своими замыслами. Но на свете не было человека более общительного и менее замкнутого, чем Пиппо. «Неужели он обманывает меня? — думала Беатриче. — Что, если его уступчивость — только притворство и он не намерен сдержать свое слово?»

Когда ее одолевали подобные сомнения, Беатриче принимала торжественный, немного даже надменный вид и говорила: «Помните — вы дали мне обещание, вы обязались выполнять его в течение года, посмотрим же, действительно ли вы человек слова». Не успевала Беатриче окончить фразу, как Пиппо нежно обнимал ее и повто-

рял: «Сначала сделаем твой портрет». И ему всегда удавалось переменить разговор.

Можно себе представить, как ей хотелось поскорее увидеть портрет законченным. Наконец через полтора месяца это свершилось. Беатриче была так весела во время последнего сеанса, что не могла усидеть на месте. Она вскакивала с кресла, подбегала к портрету и каждый раз вскрикивала от удовольствия и восхищения. Пиппо работал медленно, время от времени покачивая головой: внезапно он нахмурился и резким движением провел по полотну тряпкой, которой вытирал кисти. Беатриче кинулась к нему и увидела, что он стер глаза и рот. Она была так потрясена, что не могла сдержать слез. Но Пиппо спокойно укладывал краски в ящик. «Взгляд и улыбка — вот что труднее всего передать, — сказал он. — Этого не сделать без вдохновения. У меня нет уверенности в своей руке, и не знаю, будет ли когда-нибудь».

Так портрет и остался обезображенным, и каждый раз, когда Беатриче смотрела на эту голову без рта и глаз, ее тревога возрастала.

VIII

Читатель заметил, наверное, что Пиппо предпочитал греческие вина; и хотя восточным винам не особенно свойственно развязывать языки, все же после хорошего обеда, за десертом, Пиппо не прочь был поболтать. В таких случаях Беатриче всегда старалась навести разговор на живопись, но как только об этом заходила речь, неизменно случалось одно из двух — либо Пиппо умолкал, и у него на лице появлялась особая улыбка, которую так не любила Беатриче, либо он говорил об искусстве с непонятным безразличием и пренебрежением. А чаще всего во время этих бесед ему приходила в голову одна странная мысль.

— Можно было бы написать прекрасную картину, — говорил он. — Она должна изображать Кампо Ваччино в Ри-

ме, на закате дня. Необъятное небо, пустынная площадь. На первом плане среди развалин играют дети, на втором — проходит молодой человек, закутанный в плащ. Он бледен, тонкие черты лица искажены страданием. При взгляде на него должно быть понятно, что этот человек умирает. В одной руке у него палитра и кисти, другой он опирается на плечо молодой статной женщины, которая обернулась к нему с улыбкой. А для пояснения надо внизу картины указать день, когда происходит эта сцена, — Страстная пятница 1520 года.

Беатриче прекрасно понимала смысл этой аллегии. Именно в Страстную пятницу 1520 года в Риме умер Рафаэль. Великий человек умер в объятиях своей возлюбленной. И это было всем известно, хотя слухи об этом и старались опровергнуть. Значит, картина, о которой говорил Пиппо, должна была изображать Рафаэля за несколько мгновений до его конца. Такая сцена, переданная истинным художником, с большой простотой и силой, могла бы быть прекрасной; но Беатриче догадывалась, в чем тайный смысл задуманной картины, она читала это в глазах возлюбленного.

В то время как все в Италии единодушно сокрушались по поводу обстоятельств кончины Рафаэля, Пиппо, наоборот, имел обыкновение восхищаться этой кончиной; он часто говорил, что, несмотря на весь гений Рафаэля, смерть его была прекрасней его жизни. Эта мысль возмущала Беатриче и вместе с тем не могла не вызывать улыбки: ведь, значит, любовь — дороже славы. Если женщина и может осудить подобные взгляды, то уж оскорбить ее они, во всяком случае, не могут; избери Пиппо иной пример, Беатриче, может быть, с ним и согласилась бы.

— Но зачем же, — говорила она, — противопоставлять друг другу то, что так хорошо сочетается? Любовь и слава — разве они не сестры? Почему же ты хочешь их разлучить?

— Никогда нельзя делать хорошо две вещи сразу, — возражал Пиппо. — Ведь ты не посоветуешь купцу сочи-

нять стихи, когда он занят своими подсчетами, или поэту мерить холст, в то время как он подбирает рифмы, почему же ты хочешь заставить меня заниматься живописью, когда я влюблен?

Беатриче не знала, что ей ответить, так как не решалась сказать, что любовь — это не занятие.

— Ты что же — хочешь умереть, как Рафаэль? — спрашивала она. — А если так, почему тебе и не начать, как он?

— О нет, наоборот, — отвечал Пиппо, — я боюсь умереть, как Рафаэль, а потому и не хочу поступать, как он. Рафаэль или не должен был влюбляться, если хотел быть художником, или напрасно занимался живописью, раз уж он был влюблен. Вот почему он и умер тридцати семи лет, правда, славной смертью, но ведь хорошей смерти все же не существует. Если бы он создал на пятьдесят творений меньше, это было бы несчастьем для папы, которому пришлось бы заказывать кому-то другому роспись своих капелл, но Форнарину зато получила бы на пятьдесят поцелуев больше, а Рафаэль избежал бы запаха масляных красок, очень вредного для здоровья.

— Ты что же, хочешь сделать из меня Форнарину? — восклицала тогда Беатриче. — Мало того, что ты не заботишься ни о твоей славе, ни о твоей жизни, ты хочешь еще, чтобы мне пришлось тебя хоронить?

— Нет, — отвечал Пиппо, поднося к губам бокал с вином, — уж если бы я мог превратить тебя в кого-нибудь, я сделал бы из тебя Стафилею¹.

Высказывая такие мысли, Пиппо не шутил, как это могло бы показаться по его нарочито легкомысленному тону. За шуткой он скрывал здравые взгляды, и вот в чем они заключались.

В истории искусств нередко говорится о той легкости, с какой великие мастера создают свои произведения, при этом упоминаются имена тех, кто якобы умел соче-

¹ Нимфа, в которую был влюблен Вакх. Он превратил ее в гроздь винограда. (Прим. автора.)

тать работу с рассеянной жизнью и даже праздностью. Но это величайшее заблуждение. Нет ничего невозможного в том, что опытный художник, уверенный в своей кисти и в своей славе, может иногда сделать прекрасный этюд даже среди развлечений и удовольствий. Говорят, что да Винчи писал иногда, держа в одной руке лиру, а в другой — кисть; однако знаменитый портрет Джоконды находился на его мольберте четыре года. Случайные удачи — лишь редкое исключение, и похвалы, которые им расточают, обычно очень преувеличены. Все истинно прекрасное требует длительных усилий и сосредоточенности. Без терпеливого труда не может быть и подлинной гениальности.

Пиппо был убежден в бесспорности этой истины, а пример отца подтверждал ее. Кажется, не существовало на свете художника более смелого, чем Тициан, не считая его ученика — Рубенса. Но если рука Тициана была быстрой, то мысль его была терпеливой. Все девяносто девять лет своей жизни он непрестанно трудился как живописец. Вначале он писал с робкой кропотливостью и сухостью, и это делало его работы похожими на готические картины Альбрехта Дюрера. Только после долгих лет труда Тициан решил дать волю своему гению и свободу своей кисти. И все же ему пришлось не однажды в этом раскаться. Был случай, когда Микеланджело, глядя на одно из полотен Тициана, высказывал сожаление, что в Венеции пренебрегают основными законами рисунка.

Надо сказать, что во времена, о которых идет речь, в Венеции царил печальная нетребовательность в искусстве, всегда являющаяся первым признаком упадка. С помощью своего имени и некоторой доли дерзости, а также благодаря той школе, какую он прошел, Пиппо мог бы легко и быстро прославиться. Но именно этого и не хотел Пиппо, так как считал бы для себя постыдным воспользоваться невежеством простаков. Он вполне разумно говорил себе, что сын зодчего не имеет права разрушать соз-

данное его отцом, и если уж сын Тициана сделается художником — его долг бороться против упадка в живописи.

Но чтобы решиться на подобный подвиг, надо быть готовым посвятить ему всю свою жизнь. А удастся ли чего-нибудь добиться? Пиппо сомневался. Силы одного человека слишком ничтожны, чтобы бороться против целой эпохи. Людской поток захлестнет его, как водоворот увлекает одинокого пловца. И что же произошло бы? Пиппо не заблуждался на свой счет. Он знал, что рано или поздно его снова потянет к прежним забавам, и это грозило тем, что его жертва, какова бы она ни была — полная или неполная, — окажется бесполезной. А какие это принесет плоды? Сейчас он молод, богат, здоров, и у него красивая возлюбленная. Чтобы быть счастливым, притом не давая никакого повода упрекнуть себя, ему нужно только предоставить солнцу всходить и заходить. Стоило ли отказываться от всех этих сокровищ ради неверной славы, всегда готовой ускользнуть?

По зрелом размышлении Пиппо решил прикинуться равнодушным, и мало-помалу это равнодушие стало для него естественным. «Если я проучусь еще двадцать лет и попытаюсь идти по стопам моего отца, мне все равно суждено петь перед глухими, а если силы мне изменят — я обещаю свое имя», — говорил он и в заключение весело восклицал: «К черту живопись! Жизнь слишком коротка!»

Пока они с Беатриче пререкались, портрет все оставался неоконченным. Однажды Пиппо случайно зашел в монастырь Сервитов. На лесах, возвышающихся посредине капеллы, он увидел сына Марко Вечеллио, того самого, который, как сказано раньше, называл себя тоже Тицианелло. Этот молодой человек не имел никакого разумного основания присваивать себе такое имя, если не считать того, что он был в дальнем родстве с Тицианом и что при крещении ему было дано имя Тито. Это имя он и переделал в Тициана, а затем — в Тицианелло, почему многие венецианские простофили считали его наследни-

ком гения великого художника и восторгались его фресками. Никогда до сих пор Пиппо не придавал значения этой нелепой мистификации. Но то ли в эту минуту ему показалось неприятным встретиться с мнимым Тицианелло, то ли он серьезнее обычного отнесся к значению своего имени, только он подошел к помосту, опиравшемуся на шаткие подпорки, и ударом ноги вышиб одну из них. По счастью, леса не обрушились, но так сильно качнулись, что мнимый Тицианелло, пошатнувшись как пьяный, потерял равновесие и упал на свои краски, перепачкавшись самым забавным образом.

Можно себе представить ярость Тито. Поднявшись на ноги, он быстро соскочил со своего помоста и накинулся на Пиппо, осыпая его бранью. Оба они были готовы тут же в церкви обнажить шпаги, но разнимать их бросился священник. Испуганные молящиеся разбежались, осеняя себя крестным знаменем, а любопытные не замедлили появиться. Тито кричал во все горло, что его хотели убить, и громко требовал правосудия. Опрокинутая подпорка служила уликой. Среди присутствующих поднялся ропот, и кто-то более решительный уже хотел было схватить Пиппо за воротник. Сначала Пиппо со смехом смотрел на происходящее, потому что повиновался до сих пор только своему взбалмошному характеру. Но, услышав, что его называют убийцей и готовы тащить в тюрьму, он рассердился, с силой оттолкнул того, кто хотел его задерживать, и ринулся на Тито.

— Это тебя, — закричал он, схватив Тито, — тебя надо взять за шиворот, отвести на площадь Святого Марка и там повесить, как вора. Да знаешь ли ты, охотник до чужих имен, с кем ты говоришь! Меня зовут Помпонио Вечеллио, я сын Тициана. Я только пнул ногой твою трухлявую развалину, а будь на моем месте отец, можешь быть уверен, он-то уж показал бы тебе, как называться Тицианелло, он бы так тебя потрянул на твоём дереве, что ты свалился бы с него, как гнилое яблоко. Да на этом бы он и не успокоился. Чтобы проучить тебя по заслугам, он тебя,

дерзкого школяра, за ухо стащил бы в мастерскую, откуда ты сбежал, не умея еще и головы нарисовать. По какому праву ты мараешь стены этого монастыря и подписываешь моим именем свои мерзкие фрески? Пойди поучись анатомии, порисуй лет десять ободранные трупы, как это делал я у моего отца, и тогда посмотрим, кто ты такой, имеешь ли ты вообще право на подпись; а пока и думать не смей присваивать мою, не то я швырну тебя в канал и окрещу раз и навсегда.

С этими словами Пиппо вышел из церкви. Как только в толпе услышали его имя, все тотчас успокоилось, раступились, чтобы дать ему пройти, и с любопытством последовали за ним. Он же отправился в домик, где его ждала Беатриче. Там, не теряя времени на рассказ о приключении, он схватил палитру и, все еще разгоряченный, принялся за работу над портретом.

Не прошло и часа, как Пиппо закончил портрет и внес в него большие изменения: убрал некоторые излишние подробности, вольнее расположил складки тканей, поправил фон и аксессуары, которым в венецианской живописи придается очень большое значение, и, наконец, дописал глаза и рот. Ему удалось несколькими мазками придать им безукоризненную выразительность: взгляд был гордый и нежный, губы, оттененные легким пушком, приоткрылись, точно с них вот-вот слетит живое слово, зубы сверкали, как жемчуг.

— Ты будешь называться не «Венчанной Венерой», а «Венерой Влюбленной», — сказал Пиппо, когда все закончил.

Легко представить себе радость Беатриче. Пока Пиппо работал, она едва осмеливалась дышать. Без конца целовала она художника, благодарила и сказала, что отныне будет называть его не Тицианелло, а Тицианом. Весь остаток дня она говорила лишь о бесчисленных совершенствах, которые то и дело открывала в портрете. Беатриче понимала, что его нельзя показать публике, и сожалела об этом; но она вместе с тем готова была просить, чтобы

портрет все же был выставлен. Вечер они провели в Квинтавалле, и никогда еще оба влюбленных не были так веселы и счастливы. Пиппо веселился как ребенок. Был очень поздний час, когда наконец Беатриче, после бесконечных заверений в любви, нашла в себе силы расстаться с Пиппо на несколько часов.

Она не спала всю ночь. Ее волновали самые радужные мечты и самые сладостные надежды. Она уже видела воплощение своих грез, видела, как вся Италия превозносит ее возлюбленного и завидует ему, а благодарная Венеция признает, что обязана Пиппо своей возрожденной славой.

На следующий день Беатриче, как обычно, первой пришла на свидание и, поджидая Пиппо, стала разглядывать дорогой ей портрет. Он был написан на фоне пейзажа, где на первом плане высилась скала. На этой скале Беатриче различила несколько строк, начертанных кинорью. Встревоженная, она наклонилась, чтобы прочесть их. Тонким готическим шрифтом был написан следующий сонет:

Вот Беатриче, дочь патрициев Донато,
Чей облик на земле был райски чист и строг,
Чье сердце, полюбив, хранило верность свято,
Чьим дивным телом бог высокий дух облек.

Запечатлеть ее на полотне когда-то
И обессмертить тем сын Тициана смог.
Потом, не прославлять другую дав зарок,
От живописи он отрекся без возврата.

Прохожий, мне бросать упреки не спеши:
Хотя черты твоей любимой хороши,
Но прелестью с моей она сравнима еле.

Взгляни и мне поверь, что слава — звук пустой,
Раз мой портрет, как он ни блещет красотой,
Не стоит одного лобзания модели¹.

¹ Перевод Ю. Б. Корнеева.

Впоследствии, сколько усилий ни прилагала Беатриче, ей ни разу больше не удалось заставить своего возлюбленного взяться за работу. Он был непреклонен к ее мольбам. А когда она слишком горячо настаивала, он читал ей свой сонет.

Так до самой смерти он оставался верен своей лени, а Беатриче, говорят, оставалась верна своей любви. Они прожили долго как двое супругов, и можно лишь пожалеть о том, что Лоредано, уязвленные в своей семейной гордости этой открытой связью, уничтожили портрет Беатриче¹, как некогда случай уничтожил первую картину работы Тицианелло.

¹ Лишь благодаря изысканиям известного любителя искусств господина Дольони стало известно, что эта картина существовала. (Прим. автора.)

МАРГО

I

В большом доме готической архитектуры на улице Перш, в квартале Марэ, жила в 1804 году одна пожилая дама, которую знал и любил весь квартал. Ее звали госпожа Дорадур. Это была женщина доброго старого времени, не принадлежавшая ко двору, но вышедшая из хорошей семьи среднего круга, богатая, благочестивая, веселая и добросердечная. Она вела очень уединенную жизнь. Единственное ее занятие состояло в том, что она раздавала милостыню да играла в бостон с соседями. Обедать у нее садились в два часа, ужинали в девять. Из дому она почти не выходила, бывала только в церкви, а иной раз, на обратном пути, совершала небольшую прогулку на Королевскую площадь. Словом, она осталась верна обычаям и отчасти модам своего века, весьма мало заботясь о нашем, чаще почитывала молитвенник, нежели газеты, представляла свету идти своей дорогой и думала только об одном — как бы умереть спокойно.

Так как госпожа Дорадур любила поговорить и даже была несколько болтлива, то вот уже двадцать лет — с тех пор, как овдовела, — постоянно держала при себе компаньонку. Эта компаньонка, с которой она никогда не расставалась, превратилась для нее в подругу. Они постоянно ходили вместе к обедне, вместе гуляли, вместе сидели у камина. Мадемуазель Урсула хранила ключи от погреба, от шкафов, даже от конторки. Это была высокая, сухопарая, мужеподобная девица, cedившая слова сквозь зубы, весьма властная и довольно сварливая. Госпожа До-

радур, будучи невысока ростом, обыкновенно висела, по-детски лепеча, на руке этой неприятной особы, называла ее милочкой и позволяла ей помыкать собой. Она безгранично доверяла своей любимице и заблаговременно выделила ей немалую толику в своем завещании. Это было небезызвестно мадемуазель Урсуле, а потому она уверяла всех, что любит свою госпожу больше, чем самое себя, и говорила о ней не иначе, как возводя очи к небу и вздыхая от умиления.

Само собой разумеется, что истинной хозяйкой дома была мадемуазель Урсула. Пока госпожа Дорадур, полулежа в своих глубоких креслах, вязала что-нибудь в уголке гостиной, мадемуазель Урсула, вооруженная ключами, величественно расхаживала по коридорам, хлопала дверьми, расплачивалась с поставщиками провизии и изводила прислугу. Но как только наступал час обеда и являлись гости, она робко входила в своем скромном темном платье, с постной физиономией, почтительно кланялась, умела ступешаться и быть незаметной. В церкви никто не молился с таким усердием, никто не потуплял глаз столь смиренно. Госпоже Дорадур, чье благочестие было вполне искренним, случалось иногда задремать посреди проповеди. Мадемуазель Урсула тихонько толкала ее локтем, и сам священник умел ценить это. У госпожи Дорадур были арендаторы, жильцы, управители. Мадемуазель Урсула проверяла их счета и не имела себе равных по части придинок и кляуз. В доме благодаря ей нельзя было найти ни пылинки: все было выметено, вычищено, вылизано; стулья всегда стояли на своих местах, белье сияло белизной, посуда сверкала, часы шли минута в минуту. Все это необходимо было домоправительнице, чтобы иметь возможность вволю браниться и царить во всем блеске своей славы.

Сказать правду, госпожа Дорадур была не совсем слепа к недостаткам своей приятельницы, но всю жизнь она умела видеть в людях одно только хорошее. Дурное казалось ей чем-то неясным, и она терпела его, не понимая.

К тому же привычка была над ней всесильна: вот уже двадцать лет, как она опиралась на руку мадемуазель Урсулы и как они вместе пили утренний кофе. Когда ее любимица кричала чересчур громко, госпожа Дорадур откладывала в сторону вязанье и спрашивала своим нежным, как флейта, голоском: «Что там такое, моя милочка?» Но «милочка» не всегда удостоивала ее ответом, а если и входила в объяснения, то эти объяснения были таковы, что госпожа Дорадур поскорее возвращалась к своему вязанью и начинала вполголоса напевать песенку, чтобы их не слышать.

И вдруг стало известно, что мадемуазель Урсула все эти годы злоупотребляла оказываемым ей доверием и обманывала всех, начиная со своей хозяйки. Она не только нажила целый капитал на тех хозяйственных покупках, которыми распоряжалась, но, не дожидаясь, пока войдет в силу завещание госпожи Дорадур, постепенно присваивала себе ее платья, белье и даже драгоценности. Безнаказанность придает смелости — компаньонка наконец дошла до того, что похитила шкатулку с бриллиантами, которые, правда, госпожа Дорадур никогда не надевала, но которые она с незапамятных времен бережно хранила в одном из ящиков комода на память о своих былых чарах. Госпожа Дорадур не пожелала отдать под суд женщину, которую прежде любила; она ограничилась тем, что прогнала ее и даже отказалась повидаться с ней в последний раз. Но тут она внезапно оказалась в таком ужасном одиночестве, что стала проливать горькие слезы. Несмотря на все свое благочестие, она не смогла удержаться, чтобы не посетовать на превратности всего земного и на жестокие капризы слепого случая, не пощадившего даже ее отрадного старческого заблуждения.

Как-то раз, когда ее сосед и друг, некий господин Дебре, зашел навестить ее и утешить, она обратилась к нему за советом.

— Что теперь будет со мной? — говорила она. — Я не могу жить одна. Где мне найти новую подругу? Та, кото-

рой я лишилась, была так дорога мне, я так с нею свыклась, что, несмотря на черную ее неблагодарность, мне жаль, что ее больше нет со мною. А кто поручится мне за новую? Какое доверие смогу я теперь питать к незнакомой женщине?

— Несчастье, которое вас постигло, — отвечал ей господин Дебре, — будет еще тяжелее, если оно заставит усомниться в добродетели даже такую доверчивую душу, как ваша. На свете есть немало негодяев и множество лицемеров, но есть же и честные люди. Возьмите другую компаньонку. Выбирайте ее обдуманно, не спеша, но не будьте и чересчур подозрительны. Один раз ваше доверие обманули — тем больше оснований полагать, что во второй раз этого не случится.

— Должно быть, вы правы, — отвечала госпожа Дорадур, — но мне очень грустно, и я нахожусь в большом затруднении. Я ни одной души не знаю в Париже. Не будете ли вы так добры навести справки и найти мне какую-нибудь честную девушку? Ей будет у меня хорошо, а я, по крайней мере, смогу опереться на ее руку, когда пойду в церковь Святого Франциска Ассизского.

Господин Дебре, постоянный обитатель квартала Марэ, был не слишком проворен и не обладал широким кругом знакомств. Однако он сразу же принялся за поиски, и несколько дней спустя у госпожи Дорадур появилась новая компаньонка, которую она вскоре полюбила всем сердцем, так как была столь же привязчива, сколь добра. Однако по прошествии двух или трех месяцев новопривышную пришлось прогнать, так как она оказалась не то чтобы нечестной, но и не вполне честной. Это было новым огорчением для госпожи Дорадур. Она сделала попытку поискать еще, обращалась ко всем соседям, даже поместила объявление в «Справочном листке», — ей опять не повезло.

Тогда ее охватило уныние. Опираясь на палку, добрая старушка стала одна ходить в церковь. Она решила дожить остаток дней без посторонней помощи, говорила

она. И вот она попыталась скрыть от людей свое горе и свою старость. Однако, когда она поднималась по лестнице, ноги у нее дрожали, — ей было семьдесят пять лет! По вечерам она сидела у камина, опустив голову, праздно сложив руки. Одиночество было для нее невыносимо. Вскоре ее здоровье, и без того слабое, пошатнулось, и мало-помалу она стала впадать в меланхолию.

У нее был единственный сын, по имени Гастон, рано избравший военное поприще и сейчас стоявший в гарнизоне. Она написала ему и, рассказав о своих горестях, попросила приехать, чтобы помочь в ее затруднениях. Гастон нежно любил свою мать. Он попросил отпуск и получил его. Но, к несчастью, гарнизон его находился в Страсбурге — городе, который, как известно, изобилует самыми хорошенькими гризетками Франции. Только здесь можно встретить этих черноволосых немков, сочетающих в себе германскую томность и французскую живость. Гастон пользовался расположением двух миленьких табачных торговков, которым вовсе не хотелось его отпускать. Тщетно пытался он уговорить их, даже пошел на то, чтобы показать письмо, полученное от матери. Они придумали столько всяческих доводов, что в конце концов убедили его, и он со дня на день откладывал свой отъезд.

А за это время госпожа Дорадур уже серьезно занемогла. Она была от рождения такой веселой и уныние было ей так не свойственно, что оно могло стать для нее только болезнью. Доктора не знали, что с нею делать.

— Оставьте меня, — говорила она, — я хочу умереть одна. Раз все, кого я любила, меня покинули, к чему мне дожить остатком жизни, которая никому больше не нужна?

В доме царили глубочайшая печаль и вместе с тем ужаснейший беспорядок. Слуги, видя, что госпожа их умирает, и зная, что ее завещание уже сделано, перестали заботиться о ней. Комнаты и мебель, некогда содержавшиеся в такой чистоте, теперь были запущены и покрыты пылью.

— О моя дорогая Урсула! — восклицала госпожа Дорадур. — О моя милочка! Где ты? Ты бы разогнала всех этих бездельников!

Однажды днем, когда ей было особенно плохо, окружающие с удивлением увидели, что она вдруг приподнялась в постели, раздвинула полог и надела очки. В руке она держала письмо, которое ей только что подали и которое она распечатала с большой осторожностью. В верхней части почтового листка была красивая виньетка, изображавшая храм Дружбы с алтарем посередине и с двумя пылающими сердцами на алтаре. Все слова были написаны крупным косым почерком, выведены очень ровно, а на концах больших букв красовались длинные завитушки. Это было поздравление к Новому году, и в нем значилось приблизительно следующее:

«Милостивая государыня и дорогая крестная маменька!

Я беру в руки перо, чтобы пожелать вам счастья и благополучия в новом году, и пишу от имени всего нашего семейства, потому что никто у нас не знает грамоты, кроме меня. Батюшка, матушка и братья желают вам того же. До нас дошло, что вы заболели, и мы молимся Богу, чтобы он послал вам доброго здоровья, в надежде, что так оно и будет. Вместе с этим письмом я осмеливаюсь послать вам немного жареной свинины и остаюсь с любовью и уважением

Ваша крестница и покорная слуга
Маргарита Пьеделе».

Прочитав это письмо, госпожа Дорадур положила его под подушку, велела немедленно послать за господином Депре и продиктовала ему ответ. Никто в доме не знал содержания этого ответного письма, но, как только оно было отослано, больная сделалась спокойнее, а через несколько дней она стала так же весела и здорова, как прежде.

II

Дядюшка Пьеделе был босиец, иначе говоря, уроженец Босии, где он провел всю свою жизнь и где рассчитывал также и умереть. Это был старый и честный фермер, трудившийся на земле поместья Онвиль, близ Шартра, принадлежавшей госпоже Дорадур. Он отроду не видывал ни леса, ни горы, так как никогда не уезжал со своей фермы дальше города или окрестностей, а Босия, как известно, — равнина. Реку он, правда, видел — это была Эра, протекавшая рядом с его домом. Что же касается моря, то он верил в его существование так, как верят в рай, то есть подумывал порой, что придется когда-нибудь увидеть его. Вот почему он и считал, что только три вещи достойны восхищения на этом свете: шартрская колокольня, красивая девушка и хорошее ржаное поле. Ученость его была невелика: он знал, что летом бывает жарко, зимой — холодно, и знал, почему продавали зерно на прошлом базаре. Но если в знойный полдень, в час, когда пахари отдыхают, старик выходил с заднего двора поздороваться со своей нивой, нельзя было не залюбоваться его высокой широкоплечей фигурой, четко выделявшейся на фоне неба. Казалось, что колосья стоят при нем более прямо и более величаво, что сошники плугов ярче блестят на солнце. Завидев хозяина, работники с его фермы, расположившиеся в тени и уплетавшие толстые ломти хлеба с сыром, почтительно снимали шапки. Волы спокойно пережевывали жвачку, лошади встряхивали головами, когда хозяйская рука ласково хлопывала их по крутым бокам.

— Наша сторона — житница Франции, — говаривал порою старик; и, наклонив голову, шел дальше, глядя на ровные борозды своей пашни, весь поглощенный этим созерцанием.

Тетушка Пьеделе, его жена, родила ему девять человек детей, из них восемь мальчиков, и, пожалуй, все восемь были теперь без малого шести футов ростом. Правда, что таков был и рост самого старика, а мать тоже не на-

много ему уступала — в ней было пять футов пять дюймов, и она считалась первой красавицей во всей округе. Восемь сыновей, сильные, как быки, гроза и гордость своего села, беспрекословно повиновались отцу. Это были, так сказать, лучшие и усерднейшие его работники, становившиеся попеременно то возчиками, то пахарями, то молотильщиками. Любо было посмотреть на эту восьмерку молодых, когда, засучив рукава и вооружившись вилами, они громоздили стог сена; любо было взглянуть на них в воскресенье, когда все восемь, рука об руку, шли к обедне, а отец выступал впереди; и, наконец, любо было посмотреть на них, когда вечером, после рабочего дня, они усаживались за длинный кухонный стол и вели дружескую беседу, уписывая похлебку и чокаясь большими оловянными кружками.

И вот в этой семье великанов появилось на свет маленькое создание, пышущее здоровьем, но совсем крохотное. То был девятый ребенок тетушки Пьеделе — девочка, Маргарита, которую все называли Марго. Она не доставала головой и до локтя своих братьев, а отец, когда хотел ее поцеловать, всегда поднимал ее и ставил на стол. Маленькой Марго еще не исполнилось шестнадцати лет. Ее вздернутый носик, правильный, вечно смеющийся рот с белыми зубами, позолоченные солнцем щеки, руки в ямочках и полненькая фигурка делали ее олицетворением радости и веселья. Она была отрадой всего семейства. Сидя в кругу своих братьев, она сияла и тешила глаз, словно василек в пучке колосьев.

— Уж я, право, не знаю, — говаривал дядюшка Пьеделе, — как это моя жена умудрилась родить мне такую дочку. Настоящий подарок божий, да и только! Так или иначе, а эта пичужка будет веселить меня всю мою жизнь.

Марго вела все домашнее хозяйство. Мамаша Пьеделе, женщина еще крепкая, нарочно возложила на нее эти обязанности, чтобы с молодых лет приучить дочь к бережливости и порядку. Марго хранила ключи от белья и винного погреба, она же заведовала и посудой (хотя,

правда, считала ниже своего достоинства ее мыть), накрывала на стол, разливала вино и пела песенку за десертом. Служанки называли ее не иначе, как мадемуазель Маргарита, потому что она умела себя поставить. К тому же, как говорили добрые люди, это была редкая скромница и разумница. Не то чтобы она совсем не была кокеткой — ведь все-таки она была молода, хороша собой и к тому же приходилась дочерью Еве. Но я бы не посоветовал какому-нибудь парню, будь он даже первым щеголем на селе, попытаться обнять ее покрепче за талию. Ему бы не поздоровилось. Как-то раз сын одного фермера, по имени Жарри, любивший поухаживать за девушками, вздумал поцеловать ее во время танца — и что же? Он получил хорошую оплеуху.

Приходский священник оказывал Марго величайшее уважение. Когда ему нужно было поставить кого-нибудь в пример, он постоянно выбирал именно ее. Однажды он даже сделал ей такую честь, что упомянул о ней в своей проповеди и назвал образцом для всей паствы. Если бы «успехи просвещения», как принято говорить, не упразднили старинного и прекрасного обычая наших предков — увенчивать достойнейшую из молодых девушек белыми розами, то Марго непременно ходила бы в венке из белых роз, что было бы даже лучше проповеди, но «эти господа» в восемьдесят девятом году упразднили и не такое. Марго умела шить и даже вышивать. Кроме того, отец пожелал, чтобы она выучилась правильно писать, читать и немного ознакомилась с грамматикой и географией. Воспитанием ее занялась одна монахиня-кармелитка. Итак, Марго сделалась оракулом в своей деревне. Стоило ей открыть рот, как все крестьяне преисполнялись изумления. Она говорила им, что земля — шар, и они верили ей на слово. По воскресеньям, когда она танцевала на лужайке, ее окружала обычно целая толпа — у нее ведь был когда-то даже учитель танцев, — и ее манера отплясывать бурре приводила в восторг всех зрителей. Словом, она ухитря-

лась вызывать одновременно и любовь и восхищение, а ведь считается, что это не так-то легко.

Читателю уже известно, что Марго была крестницей госпожи Дорадур и что это она написала старушке поздравительное письмо на красивой бумаге с виньеткой. Письмо это, в котором не было и десяти строчек, стоило юной дочке фермера немалых трудов и долгих размышлений, потому что она была не очень сильна в изящной словесности. Как бы там ни было, но госпожа Дорадур, всегда питавшая нежную любовь к Марго и зная ее за самую порядочную девушку во всей деревне, решила попросить папашу Пьеделе, чтобы тот отпустил к ней дочку, и попытаться сделать ее своей компаньонкой.

Как-то вечером старик Пьеделе внимательно разглядывал новое колесо, только что приделанное к одной из тележек. Жена его стояла с озабоченным видом под навесом сарая и, вооружившись большими щипцами, крепко держала за морду испуганного быка, чтобы тот не вертелся и не мешал ветеринару, делавшему ему перевязку. Работники обтирали соломой лошадей, только что вернувшихся с водопооя. Гнали домой стадо, и величественная процессия коров направлялась к хлеву в лучах заходящего солнца. Марго, сидя на охалке клевера, читала старый номер «Имперской газеты», который ей дал господин кюре¹.

В эту минуту сам кюре вошел во двор и, подойдя к старику, вручил ему письмо от госпожи Дорадур. Старик с почтением распечатал конверт, но едва лишь пробежал он первые несколько строк, как вынужден был присесть на скамью — до такой степени он был взволнован и поражен.

— Просить у меня мою дочку! — вскричал он. — Мою единственную дочку, мою дорогую Марго!

¹ Это точное изображение картины, какую представляла одна ферма, виденная автором в 1818 году, когда ему было семь лет от роду, и которая запечатлелась в его памяти. (Прим. автора.)

При этих словах тетюшка Пьеделе в ужасе подбежала к мужу. Сыновья, только что вернувшиеся с поля, обступили отца. Одна Марго продолжала сидеть в отдалении, не смея ни вздохнуть, ни пошевелиться. После первых возгласов все семейство застыло в мрачном молчании.

Тогда заговорил кюре и стал перечислять те преимущества, какие ожидали Марго в случае, если бы она приняла предложение своей крестной. Госпожа Дорадур не раз делала добро семье Пьеделе, она — их благодетельница. Теперь ей понадобился человек, который мог бы скрасить ей жизнь, позаботился бы о ней самой и о ее доме. Она доверчиво обратилась за помощью к семье своего фермера и, уж конечно, не только будет хорошо обходиться со своей крестницей, но и обеспечит ее будущность. Старик выслушал священника, не говоря ни слова, потом сказал, что должен несколько дней подумать, прежде чем принять какое-либо решение.

Только через неделю, после долгих колебаний и горьких слез, было решено, что Марго отправится в Париж. Мать была безутешна: просто стыд, говорила она, делать из их дочки служанку, когда ей стоит только выбрать среди самых лучших женихов во всей округе, и она станет богатой фермершей. Братья Пьеделе впервые в жизни не могли столковаться между собой и все время ссорились: одни — соглашаясь на отъезд Марго, а другие — восставая против него. Словом, в доме царило неслыханное смятение и уныние. Но старик помнил, что в один неурожайный год госпожа Дорадур, вместо того чтобы потребовать у него арендную плату, прислала ему кошелек с деньгами. Он всем велел замолчать и объявил, что его дочь поедет.

Когда настал день отъезда, в двуколку запрягли лошадь, чтобы отвезти Марго в Шартр, откуда она должна была ехать дальше дилижансом. Никто в этот день не вышел в поле, почти вся деревня собралась во дворе фермы. Марго сделали полное приданое; к повозке, и спереди и сзади, были привязаны разные ящички, сундучки и кар-

тонки — родители хотели, чтобы их дочь не ударила лицом в грязь и в Париже. Марго простилась со всеми и хотела было еще раз обнять отца, но в эту минуту господин кюре взял ее за руку и прочитал отеческое наставление по поводу ее путешествия, ее будущей жизни в Париже и тех опасностей, которые могли встретиться на ее пути.

— Храните, молодая девица, свою добродетель! — воскликнул в заключение достойный пастырь. — Это драгоценнейшее из сокровищ. Берегите его, а Бог позаботится об остальном.

Старик Пьеделе был растроган до слез, хотя он и не все понял в речи священника. Он прижал дочь к сердцу, поцеловал ее, отошел, потом снова обнял и поцеловал ее еще раз. Он хотел было что-то сказать, но не смог произнести ни слова.

— Хорошенько запомни советы господина кюре, — проговорил он наконец изменившимся от волнения голосом, — запомни их хорошенько, мое бедное дитя... Да, черт побери, не забывай их... — неожиданно добавил он.

Кюре, который уже простер было руки, чтобы благословить Марго, замер на месте, услышав это грубое выражение. Старик произнес его только для того, чтобы справиться со своим волнением. Он отвернулся от священника и, ничего больше не сказав, ушел в дом.

Марго забралась в повозку, и лошадь уже готова была тронуться, как вдруг послышался чей-то плач, такой громкий, что все обернулись. Тут все заметили мальчика лет четырнадцати, на которого до сих пор никто не обращал внимания. Его звали Пьеро, и занятие его было не из самых почтенных — он пас индюшек, — но он горячо любил Марго, хотя, разумеется, чувство это было не любовью, а дружбой. Марго тоже любила этого бедного мальчугана. Не раз, чтобы подсластить его сухой хлеб, она давала ему то горсть вишен, то веточку винограда. Он был неглуп, и ей нравилось болтать с ним или учить тому немногому, что знала она сама, а так как они были почти ровесники, то нередко случалось, что после урока учительница и уче-

ник вместе играли в прятки. Сейчас Пьеро, в тех самых деревянных башмаках, которые Марго когда-то подарила ему, чтобы он не ходил босиком, стоял в уголке двора, посреди своего скромного стада, и, глядя на эти самые башмаки, заливался горячими слезами. Марго сделала ему знак подойти и протянула руку. Он взял ее и поднес к лицу, как бы желая поцеловать, но вместо этого прижал ее к своим глазам. Марго отняла руку, всю мокрую от его слез, в последний раз простилась с матерью, и двуколка покадилась.

III

Когда в Шартре Марго села в дилижанс и поняла, что через каких-нибудь двадцать лье она увидит Париж, это настолько взбудоражило ее, что она сделалась сама не своя. Как ни грустно ей было при мысли, что она рассталась с родным селом, в ней невольно заговорило любопытство — ведь о Париже ей всегда говорили как о каком-то чуде, и она не могла себе представить, что своими глазами увидит этот прекрасный город. Среди ее дорожных спутников был один коммивояжер, который, по привычке, свойственной людям его профессии, болтал без умолку. Марго слушала его басни с благоговейным вниманием. По тем немногочисленным вопросам, какие она отважилась ему задать, он увидел всю ее неопытность и превзошел самого себя, изобразив перед ней столицу в таком неправдоподобном и преувеличенном виде, что, послушав его, вы ни за что не могли бы понять, о каком городе шла речь — о Париже или о Пекине. Марго свято верила каждому его слову, а он был не из тех, кого могла бы остановить мысль, что на первом же своем шагу она обнаружит его ложь. Такова великая притягательная сила шарлатанства. Я помню, по дороге в Италию со мной случилось то же, что с Марго. Один из моих спутников описывал мне Геную, которую мне вскоре предстояло увидеть. Он лгал

мне на корабле, лгал в виду самого города, продолжал лгать и на пристани.

Экипажи, прибывающие из Шартра, въезжают в Париж через Елисейские Поля. Можно себе представить восхищение жительницы Босии при виде этого великолепного въезда, не имеющего себе подобных во всем мире и словно нарочно созданного для приема какого-нибудь героя-триумфатора, властелина вселенной. После этого тихие узкие улицы квартала Марэ показались Марго довольно унылыми. Однако, когда фиакр остановился у подъезда госпожи Дорадур, красивый фасад дома привел ее в восторг. Дрожащей рукой она подняла молоток и постучала со смешанным чувством радости и страха. Госпожа Дорадур ждала свою крестницу; она приняла ее с распростертыми объятиями, осыпала поцелуями, назвала своей дочерью, усадила в мягкие кресла и тотчас же велела подать ей ужин.

Оглушенная шумом дороги, Марго разглядывала ковры, панели на стенах, позолоченную мебель, а главное, блестящие зеркала, украшавшие гостиную. Ей, всю жизнь причесывавшейся перед тем самым зеркальцем, перед которым обыкновенно брился ее отец, казалось удивительным и чудесным видеть свой образ, по-разному отражавшийся со всех сторон. Мягкое и любезное обращение крестной, ее изысканная и сдержанная манера изъясняться тоже произвели на девушку большое впечатление. Даже наряд почтенной дамы, ее широкое платье из плотной шелковой материи в цветочках, высокий чепец и пудренные волосы — все это заставило Марго задуматься и показало, что она имеет дело с существом совсем особенным. Так как у нее была способность схватывать все на лету, а также склонность к подражанию, вообще свойственная детям, то не прошло и часа с начала беседы Марго с госпожой Дорадур, как она уже стала пытаться ее копировать. Она села прямее, поправила чепчик и призвала на помощь все свои знания из области грамматики. К сожалению, отличное столовое вино, которое госпожа Дорадур,

желая подкрепить Марго после утомительного путешествия, дала ей выпить неразбавленным, затуманило ее мысли, и глаза у нее начали слипаться. Крестная взяла девочку за руку, отвела в прелестную комнатку, где еще раз ее поцеловала, пожелала ей спокойной ночи и удалилась.

Почти сейчас же вслед за этим в дверь кто-то постучал, и вошла горничная. Сняв с Марго шаль и чепчик, она встала перед ней на колени и стала разувать ее. Марго совсем спала и позволяла делать с собой все, что угодно. Лишь после того, как с нее сняли рубашку, она заметила, что ее раздевают, и, невзирая на то, что была совсем нагая, учтиво поклонилась горничной. Затем она быстро прочитала вечернюю молитву и поспешно улеглась в постель. При свете ночника она заметила, что мебель у нее в комнате тоже с позолотой и что здесь тоже стоит одно из тех великолепных зеркал, которые так ей полюбились. Над зеркалом были вырезаны маленькие амуры, и ей показалось, что это добрые духи, которые приглашают ее как можно чаще в него смотреться. Она пообещала себе непременно воспользоваться этим приглашением и, убаюканная самыми радужными грезами, крепко уснула.

В деревне встают рано, и на следующее утро наша юная сельская жительница проснулась вместе с птичками. Она приподнялась на подушке и, заметив в милом ее сердцу зеркале свою хорошенькую заspanную мордочку, удостоила себя благосклонной улыбки. Вскоре появилась горничная и почтительно осведомилась, не угодно ли барышне выкупаться в ванне. При этом она набросила ей на плечи ярко-красный байковый халатик, показавшийся Марго пурпурной мантией короля.

Ванная комната госпожи Дорадур была более изящным и светским уголком, чем это подобало бы ванной комнате столь благочестивой дамы. Она была сооружена еще при Людовике XV. Ванна, стоявшая на некотором возвышении, находилась в полукруглой, искусственного мрамора нише, обрамленной позолоченными розами; множество неизбежных амуров обрамляло потолок. На

стене против ванны висела копия «Купальщиц» Буше — копия, сделанная, быть может, рукою самого Буше. Цветочная гирлянда вилась вдоль карниза; пушистый ковер покрывал пол, а шелковая занавеска, изящно подобранная кверху, пропускала сквозь решетчатые ставни таинственный полусвет. Разумеется, вся эта роскошь немного поблекла от времени, а позолота потускнела, но именно поэтому здесь было еще приятнее, и вам казалось, что вы вдыхаете остатки благоухания тех шестидесяти лет безумств, когда царствовал «возлюбленный король».

Оставшись здесь одна, Марго робко подошла к возвышению. Сначала она стала рассматривать позолоченных грифов, стоявших по обе стороны ванны. Она не решалась войти в воду, которая была по меньшей мере розовой водой в ее представлении. Но вот она осторожно сунула в нее одну ножку, потом другую и замерла на месте, созерцая картину. Она мало понимала в живописи, и нимфы Буше показались ей богинями; она не представляла себе, что подобные женщины могут существовать на земле, что можно есть такими белыми руками, ступать такими маленькими ножками. Чего бы только она не дала за то, чтобы быть такой же красавицей! Ей и в голову не приходило, что она со своими загорелыми руками во сто крат красивее этих кукол. Легкое движение занавески вывело ее из задумчивости; она вздрогнула при мысли, что ее могут увидеть, и погрузилась в воду до самой шеи.

Вскоре какая-то сладостная истома овладела ею. Она принялась играть в воде кончиком своего пеньюара, как это делают дети, начала считать цветы и розетки на стенах и на потолке, потом стала разглядывать маленьких амуров, но ей не понравились их толстые животы. Тогда она прислонилась головой к краю ванны и взглянула в полуоткрытое окно.

Ванная комната была расположена в нижнем этаже, и окно ее выходило в сад. Разумеется, это был не английский сад, а просто старинный сад во французском вкусе, ничуть не уступающем любому другому: прекрасные ал-

лей, посыпанные песком и окаймленные самшитом, цветники, пестреющие разнообразием хорошо подобранных красок, красивые статуи, разбросанные там и сям, и лабиринт из белых буков в глубине. Марго смотрела на этот лабиринт, и темный вход в него вызывал в ней смутные мечтания. Ей пришла на память игра в прятки, и она подумала, что в извилинах лабиринта есть, должно быть, много укромных местечек, где можно отлично прятаться.

Красивый молодой человек в гусарском мундире вышел в эту минуту из лабиринта и направился к дому. Миновав цветник, он прошел так близко от окошка ванной комнаты, что задел локтем ставень. Марго невольно вскрикнула от испуга. Молодой человек остановился, приоткрыл ставень и приблизил голову к окну. Он заметил Марго, сидящую в ванне, и покраснел, хотя был гусар. Марго тоже покраснела, и молодой человек удалился.

IV

Есть в подлунном мире одна беда, тяжкая для всех смертных, а в особенности для молоденьких девушек: дело в том, что благоразумие — это своего рода труд, и для того чтобы быть мало-мальски благоразумным, необходимо прилагать много усилий, тогда как надеть глупостей очень легко, стоит только поддаться самому себе. Гомер утверждает, что Сизиф был разумнейшим из смертных. Однако поэты единодушно обрекли его вкатывать на вершину горы огромную каменную глыбу, которая сейчас же снова падает вниз на беднягу, и тот немедленно начинает все сначала. Истолкователи выбились из сил, доискиваясь смысла этой пытки; я же не сомневаюсь в том, что древние с помощью сей прекрасной аллегии хотели изобразить благоразумие. Ведь благоразумие и в самом деле — огромный камень, который мы непрерывно катим вверх и который постоянно падает обратно нам на голову. Заметьте при этом, что в тот день, когда он вырывается у нас из рук, никто уже не помнит, сколько лет подряд

мы возились с ним, и, напротив, если какой-нибудь сумасброд случайно совершит хоть один благоразумный поступок, все без конца восторгаются им. Вот сумасбродство — это не камень. Это мыльный пузырь, который, танцуя, кружится перед нами, окрашиваясь, словно радуга, всеми оттенками, какие только существуют в природе. Пузырь этот, правда, может иногда лопнуть, бросив нам в глаза несколько водяных брызг, но в тот же миг образуется новый пузырь, и, чтобы поддерживать его в воздухе, от нас требуется только одно — дышать.

Путем этих философских размышлений я хочу показать, что нет ничего удивительного, если Марго чуточку влюбилась в молодого человека, увидевшего ее в ванне, а также хочу добавить, что это вовсе не рисует ее с дурной стороны. Когда в наши дела вмешивается любовь, она не нуждается в помощниках, и все мы знаем, что закрыть перед ней дверь еще не значит помешать ей войти. Здесь же она вошла через окно, и вот как это случилось.

Молодой человек в гусарском мундире был не кто иной, как Гастон, сын госпожи Дорадур, который, не без труда оторвавшись от своих гарнизонных увлечений, только что приехал к матери. Волею судеб комнатка, где жила Марго, была угловой, так же как и комната Гастона, и окна их приходились почти как раз одно против другого, и притом на весьма близком расстоянии. Марго обедала вместе с госпожой Дорадур и проводила с ней все время до ужина. Но с семи часов утра до полудня она оставалась в своей комнате, а Гастон в эти часы по большей части находился в своей, так что Марго в это время не могла найти лучшего занятия, как шить, сидя у окошка, и смотреть на своего соседа.

Близкое соседство во все времена являлось источником больших бед. Нет ничего опаснее хорошенькой соседки. Впрочем, пусть даже она будет дурна собой, все равно нельзя ручаться за исход дела — столько раз придется ее видеть, что рано или поздно она поневоле покажется вам красивой. У Гастона было маленькое круглое зер-

кальце, прибитое у окна по обычаю холостяков. Перед этим зеркальцем он брился, причёсывался и повязывал галстук. Марго заметила, что у него прекрасные белокурые волосы, выщипанные от природы. И вот она без промедления купила себе флакон душистой помады и позаботилась о том, чтобы две пряди черных волос, выбивавшиеся у нее из-под чепчика, всегда были гладки и блестяли. Далее она заметила, что у Гастона красивые галстуки и что он часто их меняет, — она тут же накупила себе целую дюжину шейных платков, лучше которых не было во всем Марэ. У Гастона, кроме того, была та самая привычка, которая возбудила такое негодование женевского философа и даже поссорила его с Гриммом, его другом: он ухаживал за своими ногтями «с помощью инструмента, нарочно сделанного для этой цели», как говорил Руссо. Марго была не столь великим философом, каким был Руссо, поэтому, вместо того чтобы прийти в негодование, она купила себе щеточку для ногтей и, желая спрятать руки, которые, как я уже говорил, были у нее несколько красноваты, стала носить черные митенки, открывавшие только кончики ее пальцев. У Гастона было много и других прекрасных вещей, с которыми Марго уже нечего было делать, как, например, красные штаны и небесно-голубая куртка, отороченная черным галуном. У Марго был, правда, ярко-красный байковый халатик — но чем ей было ответить на голубую куртку? Она притворилась, что у нее болит ушко, и сделала себе маленькую шапочку из голубого бархата, которую стала надевать по утрам. Увидав, что над изголовьем молодого человека висит портрет Наполеона, она стала искать для себя портрет Жозефины. И наконец однажды, во время завтрака, когда Гастон сказал, что он очень любит яичницу, Марго поборола свою застенчивость и проявила невероятную доблесть, объявив, что никто в мире не может приготовить яичницу лучше ее, что дома она всегда стряпала ее сама и что она умоляет крестную попробовать яичницу ее приготовления.

Так пыталась бедняжка проявить свою робкую любовь, но Гастон не замечал ее. Да и мог ли этот молодой человек, развязный, самоуверенный, привыкший к шумным развлечениям и к гарнизонной жизни, заметить ее ребяческие уловки? Страсбургские гризетки ведут себя несколько иначе, когда им придет в голову какая-нибудь любовная фантазия. Гастон обедал с матерью, потом ухаживал на весь вечер, и так как Марго ни за что не могла уснуть до его возвращения, то она поджидала его, сидя за занавеской. Видя в ее окошке свет, молодой человек думал иногда, проходя по двору: «Почему эта девочка еще не спит?» Иногда бывало и так, что, занимаясь своим туалетом, он бросал на Марго рассеянный взгляд, который, однако, волновал ее до глубины души. Но она сейчас же отворачивалась и, кажется, скорее бы умерла, нежели осмелилась выдержать этот взгляд. Необходимо, впрочем, заметить, что в гостинной она была совсем другой. Сидя рядом с крестной, она старалась казаться серьезной, сдержанной и с благопристойным видом слушала болтовню госпожи Дорадур. Когда к ней обращался Гастон, она напрягала все силы, чтобы ответить как можно лучше, и — странная вещь! — отвечала ему почти без всякого смущения. Пусть объяснит, кто может, что творится в пятнадцатилетней головке! Любовь Марго была как бы замкнута в четырех стенах ее комнаты; она находила ее, как только входила туда, и оставляла там, когда уходила, но ключ она забирала с собой, чтобы никто в ее отсутствие не мог осквернить это маленькое святилище.

Надо полагать, что общество госпожи Дорадур невольно делало Марго осмотрительной и заставляло ее задуматься, беспрестанно напоминая о расстоянии, отделявшем ее от Гастона. Другая на месте Марго, быть может, впала бы в отчаяние или, напротив, исцелилась бы, видя всю опасность своего чувства. Но Марго ни разу не спросила себя — даже и в глубочайших тайниках своего сердца, — что может ей дать ее любовь. В самом деле, существует ли что-нибудь бессмысленнее того вопроса, ка-

кой обычно задают влюбленным: «К чему это может привести вас?» — «Ах, добрые люди, это приведет меня к тому, чтобы любить, понимаете — любить!»

Едва успев проснуться, Марго вскакивала с постели и босиком, в ночном чепчике, бежала к окну, чтобы отдернуть край занавески и посмотреть, открыты ли ставни у Гастона. Если ставни были еще закрыты, она тотчас же опять ложилась и сторожила минуту, когда раздастся стук оконной задвижки, который она никогда не смешивала ни с каким другим. Как только эта минута наступала, она надевала туфли, халатик, в свою очередь, отворяла окошко и с заспанным видом вертела головкой то в одну сторону, то в другую, словно желая взглянуть, какова погода. Затем она притворяла одну створку с таким расчетом, чтобы ее мог видеть только Гастон, ставила на маленький столик зеркало и начинала расчесывать свои прекрасные волосы. Она не знала, что опытная кокетка показывается только тогда, когда туалет ее совсем окончен, и никогда не позволит взглянуть на себя, пока она не нарядилась. Гастон причесывался при ней, поэтому и она причесывалась при Гастоне. Загороженная своим зеркалом, она время от времени бросала робкие взгляды на противоположное окно, готовая тут же опустить глаза, если бы Гастон взглянул в ее сторону. Когда волосы ее были хорошенько расчесаны и подобраны, она надевала свой маленький, вышитый деревенским узором тюлевый чепчик, с которым так и не пожелала расстаться. Этот чепчик всегда сверкал белизной, так же как и широкий отложной воротничок, спускавшийся в виде накидки ей на плечи и делавший ее немного похожей на молодую монашенку. В таком виде, с голыми руками, в коротенькой юбке, сидела она, ожидая кофе.

Вскоре Пелажи, ее горничная, появлялась с подносом в руках и в сопровождении кота — необходимого предмета обихода всех обитателей квартала Марэ. Этот кот неизменно являлся к Марго с утренним визитом и пользовался особой привилегией — устраиваться в креслах напротив

хозяйки и делить с ней ее завтрак. Понятно, что это было для Марго только лишний повод пококетничать. Свернувшись клубочком в кресле, старый балованный кот с важностью принимал поцелуи, адресованные вовсе не ему. Марго не давала ему покоя: брала на руки, бросала на постель, гладила его, дразнила. За все десять лет своего житья в доме он никогда не видел ничего подобного. Нельзя сказать, чтобы все это очень ему нравилось, но так как, в сущности говоря, характер у него был довольно кроткий и он чувствовал к Марго большое расположение, то терпеливо переносил все, что с ним проделывали. После кофе Марго снова подходила к окну, опять смотрела, хороша ли погода, потом прикрывала ту створку, которая оставалась открытой, не закрывая ее, однако, до конца. Для человека с настоящим охотничьим инстинктом это была бы самая пора насторожиться. Марго завершала свой туалет. Но она вовсе не желала, чтобы за ней подглядывали, — что вы! Она умирала от страха, что ее могут увидеть, и в то же время ей до смерти хотелось, чтобы ее увидели. Но если так, была ли Марго девушкой скромной? О да, она была скромна, чиста и невинна. Что же она делала? Она надевала ботинки, нижнюю юбку, платье, и в шелку, оставленную в окне, пожалуй, можно было бы разглядеть, как она протягивает руку за лежащей на столе булавкой. А как бы она поступила, если бы заметила, что за ней наблюдают? Тотчас захлопнула бы окно. Так зачем же было оставлять его полуоткрытым? Вот этого я не знаю, спросите у нее сами.

Так обстояло дело до того дня, когда между госпожой Дорадур и ее сыном состоялась длинная конфиденциальная беседа. После этого у них сделался какой-то таинственный вид, и теперь они часто разговаривали намеками. Спустя некоторое время госпожа Дорадур сказала Марго:

— Знаешь, дитя мое, скоро ты увидишься с твоей матерью — мы проведем осень в Онвиле.

V

Онвильский дом госпожи Дорадур находился в одной миле от Шартра и в полумиле от фермы родителей Марго. Это был не то чтобы замок, но очень красивое здание с большим парком. Госпожа Дорадур редко его посещала, и в продолжение многих лет там жил только ее управитель. Эта внезапная поездка, таинственные беседы, которые вели между собой молодой человек и его старушка мать, удивляли и тревожили Марго.

Прошло только два дня после прибытия госпожи Дорадур, и еще не все вещи были распакованы, когда на дороге показались десять колоссов, выступавших в полном боевом порядке: это семейство Пьеделе шло поздравить с приездом новопривывших. Мать несла корзину с фруктами, сыновья держали в руках по горшку левкоев, а старик отец с важным видом нес в оттопыренных карманах две огромные дыни, выбранные им самим и показавшиеся ему лучшими во всем огороде. Госпожа Дорадур приняла эти подарки со свойственным ей добродушием, и так как она предвидела визит своего фермера, то сейчас же вынула из шкафа восемь цветных шелковых жилетов для сыновей, кусок кружева для матушки Пьеделе, а для старика красивую широкополую шляпу с лентой, украшенную золотой пряжкой. Когда они обменялись приветствиями, перед родными предстала Марго, сияющая радостью, пышущая здоровьем. После того как все по очереди ее расцеловали, госпожа Дорадур произнесла целую речь, расхваливая кротость, скромность и благоразумие своей крестницы, причем щеки молодой девушки, уже и без того румяные от полученных поцелуев, вспыхнули еще ярче. Матушка Пьеделе, видя нарядное платье Марго, рассудила, что ее дочка, должно быть, очень счастлива, и, как всякая мать, не могла не сказать ей, что никогда еще не видела ее такой хорошенькой.

— Ей-богу, это правда, — подтвердил отец.

— Разумеется, правда, — повторил голос, при звуке ко-

торого Марго вся затрепетала: это был Гастон, только что вошедший в комнату.

В эту минуту через дверь, которая оставалась открытой, все заметили стоявшего в прихожей Пьеро — маленького пастуха, того самого мальчугана, что так горько плакал, когда Марго уезжала из деревни. Он все время шел следом за своими хозяевами, несколько поодаль, и теперь, не смея войти в гостиную, робко кланялся издали.

— Что это за мальчик? — спросила госпожа Дорадур. — Подойди сюда, мой милый, поздоровайся с нами.

Пьеро поклонился еще раз, но, несмотря на все уговоры, так и не вошел в комнату. Он покраснел до корней волос и пустился бежать со всех ног.

«Так, значит, вы находите меня хорошенькой? — тихо повторяла про себя Марго, прогуливаясь одна по парку, когда ее родные ушли домой. — Но как же дерзки, однако, молодые люди! Не понимаю, как могут они говорить при всех такие вещи! Я даже и взглянуть-то на него не смею, а он вслух говорит мне слова, от которых приходится краснеть. Должно быть, подобные комплименты вошли у него в привычку и он не придает им никакого значения. И все же, когда мужчина говорит женщине, что она кажется ему хорошенькой, — это очень много, это что-то вроде признания в любви».

При этой мысли Марго остановилась и спросила себя: а что же это такое — признание в любви? Она много слышала об этом, но все-таки не представляла себе ясно. «Как это признаются, что любят?» — думала она. Она не могла допустить, чтобы при этом говорили только: «Я люблю вас». Ей казалось, что тут должно быть что-то совсем другое, что для этого существуют совсем иные, особенные слова, что все это облечено какой-то таинственностью, полной опасностей и очарования. Она на своем веку прочла только один роман — не знаю, право, его названия. Это был растрепанный том, валявшийся на чердаке у них дома. В нем говорилось о каком-то сицилийском разбойнике, похитившем монахиню, и там она нашла несколько непонятных фраз, которые — так ей казалось — были

именно любовными речами. Но господин кюре говорил, что все романы — вздор, а ей до смерти хотелось узнать правду; только к кому бы обратиться с таким вопросом? Комната Гастона в Онвиле была уже не так близко от комнаты Марго, как в Париже. Конец взглядам, которые бросаешь украдкой, конец стуку оконной задвижки. Каждый день, в пять часов утра, раздавался слабый звон.

Это сторож будил Гастона, ударяя в колокол, находившийся под окном молодого человека. Тот вставал и уезжал на охоту. Притаившись за решетчатым ставнем, Марго видела, как, окруженный собаками, с ружьем в руке, он садился на лошадь и исчезал в тумане, окутывавшем поля. Она провожала его взглядом с таким волнением, словно была какой-нибудь плененной владельницей замка, чей возлюбленный отправлялся в Палестину. Нередко Гастон, лениясь отворить ворота, заставлял свою лошадь перескочить через изгородь, и тогда Марго испускала глубокие, никому не ведомые вздохи, в которых была и горечь и сладость. Она воображала, что охотникам грозят величайшие опасности, и, когда Гастон весь в пыли приезжал вечером домой, она осматривала его с ног до головы, желая удостовериться, что он не ранен, — как будто он возвращался с поля битвы. Когда же он вынимал из своей охотничьей сумки зайца или пару куропаток, ей казалось, что перед ней победоносный воин, нагруженный трофеями, отобранными у врага.

И вот однажды то, чего она опасалась, в самом деле случилось. Перескакивая через плетень, Гастон свалился с лошади и упал прямо в куст терновника. Он отделался несколькими царапинами, но какие жгучие переживания вызвало это происшествие у Марго! Ее обычная осторожность чуть было ей не изменила. Она едва не лишилась чувств. Потом, сложив руки, начала шепотом молиться. Чего бы только она не дала, чтобы ей позволили стереть кровь, которая текла по руке молодого человека! Она положила в карман самый красивый свой платочек, вышитый — а такой был у нее только один, — и стала с нетерпением ждать, не представится ли возможность как бы слу-

чайно вынуть его, чтобы Гастон мог хоть на секунду обернуть им свою руку. Увы, судьба отказала ей даже и в этом утешении. За ужином, когда несколько капель крови выступило из раны Гастона, жестокий отказался от платка, предложенного девушкой, и обернул руку салфеткой. Это так огорчило Марго, что ее глаза наполнились слезами.

Она не могла, впрочем, предположить, что Гастон пренебрегает ее любовью. Нет, он просто не знал о ней, — что же можно было сделать? Временами она мирилась с этим, временами выходила из терпения. Самые незначительные события поочередно являлись для нее поводами для радости или для горя. Одна приветливая фраза, один взгляд Гастона делали ее счастливой на целый день. Если же он проходил по гостиной, не обратив на нее внимания, если вечером уходил к себе, не попрощавшись с ней легким кивком головы, как это бывало обычно, она не спала всю ночь, доискиваясь, чем могла она вызвать его неудовольствие. Если ему случалось сесть подле нее и похвалить ее рукоделие, она вся сияла от счастья и благодарности. А если за обедом он отказывался от предложенного ею блюда, она уже воображала, что он разлюбил ее.

В иные дни ей делалось просто жаль себя, она начинала сомневаться в своей привлекательности и иногда целый вечер считала себя дурнушкой. Порой же в ней возмущалась женская гордость, и, стоя перед зеркалом, она с досадой пожимала плечами, думая о равнодушии Гастона. Иногда в припадке отчаяния и гнева она мяла свой воротничок и надвигала на глаза чепчик. В другой раз порыв оскорбленного самолюбия пробуждал в ней кокетство, и вдруг, посреди дня, она появлялась во всем блеске, в самом нарядном платье, словно всей силой своих чар вставая против несправедливости судьбы.

В своем новом положении Марго сохранила прежние вкусы и привычки. Покуда Гастон охотился, она нередко проводила целое утро на огороде. Она умела обращаться с садовничьим ножом, граблями и лейкой и не раз давала дельные советы самому садовнику. Огород, тянувшийся

перед домом, служил в то же время и цветником: цветы, фрукты и овощи мирно уживались там друг с другом. Марго больше всего любила большой персиковый шпалерник, покрытый чудесными плодами. Она особенно заботилась о нем и каждый день бережливой хозяйской рукой срывала несколько персиков для десерта. На одном из деревьев красовался персик, который был значительно крупнее всех остальных. Марго ни за что не могла решиться сорвать его: он был так бархатист, такого прекрасного алого цвета, что у нее не хватало духу снять его с ветки, а съесть его казалось ей чуть ли не преступлением. Она никогда не проходила мимо без того, чтобы не полюбоваться этим персиком, и, наказав садовнику следить за тем, чтобы никто не смел его трогать, пригрозила, что в противном случае рассердится и даже пожалуется крестной. Как-то вечером, перед закатом солнца, Гастон, только что вернувшийся с охоты, проходил через огород; его мучила сильная жажда. Поравнявшись с персиковыми деревьями, он протянул руку и, случайно сорвав именно тот персик, которым так восхищалась Марго, небрежно откусил от него кусочек. Марго стояла в нескольких шагах, поливая грядки салата. Она тотчас прибежала, но молодой человек уже пошел дальше, не замечая ее присутствия. Откусив от персика два или три раза, он бросил его на землю и вошел в дом. Марго сразу увидела, что ее любимый персик погиб. Быстрое движение руки Гастона, небрежность, с какою он бросил персик, произвели на девочку неожиданное и странное впечатление. Она была в отчаянье, а вместе с тем в восторге. «Гастон, очевидно, сильно мучился жаждой в эту духоту, — думала она, — и персик должен был доставить ему удовольствие». Она подняла персик, сдунула с него пыль и, оглянувшись по сторонам, не видит ли кто-нибудь, украдкой его поцеловала. Но, целуя персик, она не могла удержаться, чтобы не поцеловать его. Не знаю, что за странная мысль пришла ей при этом в голову, подумала ли Марго о персике, или, может быть, о самой себе, но только она прошептала: «Злой человек! Как же легко ты бросаешь!»

Я прошу у читателя прощения за те ребячества, о которых рассказываю, но как могу я говорить о чем-нибудь другом, если моя героиня — ребенок? Однажды госпожа Дорадур была приглашена на обед в соседнее поместье. Она взяла с собой Гастона и Марго. Они пробыли там довольно долго, и, когда поехали домой, было уже совсем темно. Марго и ее крестная занимали заднее сиденье кареты; Гастон сидел на переднем, и так как рядом с ним никого не было, то он откинулся на подушку и ехал полулежа. Светила полная луна, но в глубине кареты было темно, лишь изредка туда проникали лучи света. Постепенно разговор замер; хороший обед, легкая усталость, мрак, мягкое покачивание экипажа — все располагало наших путешественников ко сну. Первой задремала госпожа Дорадур, и, засыпая, она протянула ногу на переднюю скамейку, нимало не заботясь о том, беспокоит ли это Гастона. Было свежо; толстый плед, брошенный на колени, одновременно закрывал и крестную и крестницу. Марго, забившись в уголок, сидела не шевелясь, однако она и не думала спать. Ей страшно хотелось узнать, спит ли Гастон. Ей казалось, что раз у нее глаза открыты, значит, он тоже сидит с открытыми глазами. Она смотрела на него, не видя, и спрашивала себя, смотрит ли и он на нее. Когда бледный луч луны проникал в карету, она отваживалась тихонько кашлянуть. Молодой человек сидел неподвижно, и девочка не смела заговорить, боясь разбудить крестную.

Повернув голову, она посмотрела в окошко. Мысль о продолжительном путешествии так похожа на мысль о вечной любви, что при виде полей, освещенных луною, Марго тотчас же забыла, что едет в Онвиль. Смежив ресницы и глядя на пробежавшие мимо деревья, она вообразила, что едет с госпожой Дорадур и ее сыном в Швейцарию или в Италию. За этой мечтой, как и надо было ожидать, последовали другие — и до того сладостные, что она отдалась им всецело. Она увидела себя... не женой Гастона, нет, а его невестой, разъезжающей с ним по свету, любимой им и имеющей право его любить; а в конце путеше-

ствия сияло счастье, это чудесное слово, которое она беспрестанно повторяла про себя и которое, к счастью для нее, она представляла так смутно. Чтобы было удобнее мечтать, она совсем закрыла глаза, задремала и бессознательным движением протянула ногу на подушку переднего сиденья, как это сделала госпожа Дорадур. Случайно оказалось, что эта ножка, кстати сказать, отлично обутая и очень маленькая, попала как раз на руку Гастона. Гастон, видимо, ничего не заметил, но Марго тут же проснулась. Однако она не сразу убрала ногу, только чуть-чуть отодвинула ее в сторону. Ее мечтания так славно убаюкали ее, что даже пробуждение не вполне ее отрезвило. Разве нельзя протянуть ногу на сиденье, где спит ваш жених, если вы едете с ним в Швейцарию? Однако мало-помалу заблуждение рассеялось, и Марго начала понимать все легкомыслие своего поступка. «Заметил ли он? — спрашивала она себя. — Спит он или только делает вид, что спит? Если он заметил, то почему не убрал руку? А если спит, то как же это могло не разбудить его? Быть может, он так меня презирает, что даже не удостоил показать, что почувствовал прикосновение моей ноги... а может быть, это доставило ему удовольствие, и он только притворяется, что ничего не заметил, а сам ждет, чтобы я опять сделала то же... может быть, он думает, что и я сплю... Впрочем, это ведь не слишком приятно — чувствовать на своей руке чью-то ногу, — разве только вы любите этого человека... Мой башмак мог запачкать его перчатку, ведь мы сегодня много ходили, но, может быть, он хочет показать, что не придает значения таким пустякам. Что бы он сказал, если бы я опять сделала то же самое? Впрочем, он знает, что я никогда не посмею. А может быть, он догадался о моих колебаниях и ему нравится меня мучить?»

Размышляя таким образом, Марго тихонько, с величайшей осторожностью, убрала свою маленькую ножку, которая при этом дрожала как лист, но так как было темно, она снова задела кончики пальцев молодого человека.

Правда, это прикосновение было таким легким, что и сама Марго почти не успела его заметить, но сердце ее сильно забилося. Она сочла себя погибшей и вообразила, что совершила чудовищный проступок. «Что я наделала? — говорила она себе. — Что он подумает обо мне? Я не посмею теперь взглянуть ему в глаза. Ужасно было с моей стороны дотронуться до него уже и в первый раз, но теперь это гораздо хуже. Как смогу я доказать, что сделала это не нарочно? Молодые люди никогда ничему не верят. Он подымет меня на смех и расскажет всем, быть может, даже крестной, а крестная расскажет моему отцу, и я не смогу больше показаться в нашей деревне. Куда же я денусь? Что со мной будет? Что бы я ни говорила в свое оправдание, несомненно одно — я дважды дотронулась до него, и, уж конечно, ни одна женщина не сделала бы ничего подобного. Теперь самое меньшее, что может со мной случиться, это — что мне придется уйти из их дома». При этой мысли Марго задрожала. Она долго придумывала, как бы ей оправдаться, и наконец решила завтра же написать Гастону длинное письмо, которое она намеревалась вручить ему тайком и в котором собиралась объяснить, что она нечаянно положила свою ногу на его руку, что она просит у него прощения и умоляет забыть о ее поступке. «Но что, если он не спит, — подумала она снова, — если он подозревает о моих чувствах? Если догадался о моей любви к нему? Что, если он первый подойдет ко мне завтра и заговорит о случившемся? Если скажет, что и он тоже любит меня? Если вдруг сделает мне предложение?...» В эту минуту карета остановилась. Гастон, добросовестно проспавший всю дорогу, проснулся, потягиваясь без особых церемоний, и не сразу сообразил, где он. При этом печальном открытии мечты Марго разлетелись как дым, и, когда молодой человек, помогая ей выйти из кареты, предложил ей руку — ту самую руку, к которой прикасалась ночью ее нога, — она ясно увидела, что все это время путешествовала в одиночестве.

VI

Два неожиданных события — одно комическое, а другое серьезное — произошли почти одновременно. Однажды утром, когда Гастон на лужайке перед домом объезжал недавно купленную лошадь, к нему подошел какой-то мальчуган, едва прикрытый лохмотьями, почти голый, и с решительным видом загородил ему дорогу. Это был Пьеро, маленький пастушонок. Гастон не узнал его и, думая, что мальчик просит милостыню, бросил ему в шапку несколько су. Пьеро спрятал деньги в карман, но, вместо того чтобы уйти, побежал за всадником и через несколько шагов опять встал перед ним. Гастон крикнул ему два или три раза, чтобы он отошел в сторону, но все было напрасно — Пьеро продолжал забегать вперед и становиться на дороге.

— Что тебе от меня нужно, скверный мальчишка? — спросил молодой человек. — Ты, видно, непременно хочешь попасть под лошадь?

— Сударь, — ответил Пьеро, не двигаясь с места, — я хотел бы служить у вашей милости.

— У меня?

— Да, сударь, у вас.

— Но почему же именно у меня? Для чего тебе это понадобилось?

— Для того, чтобы служить у вас, сударь.

— Но мне вовсе не нужен слуга. Кто это послал тебя ко мне?

— Никто, сударь.

— Так зачем же ты пришел?

— Я пришел просить вас, сударь, чтобы вы взяли меня в услужение.

— Да ты что — с ума сошел? Или смеешься надо мной?

— Нет, сударь.

— На, и оставь меня в покое.

С этими словами Гастон бросил ему еще несколько медных монет, повернул лошадь и уехал. Пьеро сел на

краю дороги, и Марго, которая вышла из дому немного времени спустя, увидела его там — он заливался горячими слезами. Она сейчас же подбежала к нему.

— Что с тобой, мой бедный Пьеро? Что случилось?

Сначала Пьеро не хотел отвечать ей.

— Я хотел стать слугой у господина Гастона, — проговорил он наконец, всхлипывая, — но господин Гастон не хочет.

С большим трудом Марго удалось заставить его объяснить, в чем дело. Оказывается, с тех пор как она уехала с фермы, Пьеро сильно скучал по ней. Сконфуженный, весь в слезах, он понемногу рассказал ей о своих бедах, и, слушая его, она не могла удержаться от смеха, хотя в то же время ей было очень его жалко. Бедный мальчик, делаясь с Марго своими невзгодами, рассказал и о своей привязанности к ней, и о том, что у него совсем износились деревянные башмаки, и о том, как ему грустно одному в поле, и о том, что у него околела одна из его индюшек, — все это вперемешку, без всякой связи. Не в силах больше выносить свою тоску, он решил отправиться в Онвиль и наняться к господину Гастону — в слуги или хотя бы в конюхи. Пьеро обдумывал этот план целую неделю, но, как мы видели, он не имел большого успеха, и теперь мальчик уверял, что скорее умрет, чем вернется на ферму.

— Раз господин Гастон не хочет взять меня к себе, — сказал он в заключение своего рассказа, — и раз я не могу быть при нем, как вы при госпоже Дорадур, я уморю себя голодом.

Нечего и говорить, что эти последние слова сопровождались новым потоком слез.

Марго утешила его как могла и, взяв за руку, повела в дом. Здесь, решив, что он успеет еще умереть с голоду, она привела его в буфетную, дала ему кусок хлеба с ветчиной и несколько яблок. Лицо Пьеро было мокро от слез, но он с аппетитом съел все это, ни на секунду не отрывая глаз от Марго. Ей без особого труда удалось объяснить ему, что поступить к кому-нибудь в услужение можно толь-

ко тогда, когда имеется свободное место. Она дала слово при первой же возможности поспособствовать ему в этом деле, поблагодарила его за дружбу, уверила, что отвечает ему тем же, отерла его слезы, с материнским видом поцеловала в лоб и наконец уговорила отправиться домой. Пьеро, успокоившись, засунул в карман остатки своего завтрака; Марго дала ему также монету в сто су на покупку жилета и деревянных башмаков. Совсем утешенный, он взял руку молодой девушки и прижал ее к губам, проговорив растроганным голосом: «До свиданья, мамзель Маргарита». В то время как он медленно удалялся, Марго вдруг заметила, что маленький мальчик понемногу становится большим. Она вспомнила, что он только на год моложе ее самой, и дала себе слово при следующей встрече не целовать его столь поспешно.

На другое утро она увидела, что Гастон, вопреки обыкновению, не поехал на охоту и что туалет его был более изыскан, нежели обычно. После обеда, то есть часов около четырех, молодой человек подал руку матери, и они вместе вышли из дома. Они разговаривали тихо и, казалось, были чем-то взволнованы. Марго, оставшись одна в столовой, с тревогой смотрела в окно, как вдруг во двор въехала почтовая карета. Гастон тотчас подбежал и отворил дверцу. Из кареты вышла сначала пожилая дама, а за ней молодая барышня, лет девятнадцати, нарядно одетая и прелестная, как ангел. По приему, оказанному приезжим, Марго заключила, что они не только важные особы, но, должно быть, и родственницы крестной: им были отведены две лучшие комнаты в доме. Лишь только дамы вошли в гостиную, госпожа Дорадур позвала Марго и шепнула ей, чтобы она вышла. Марго нехотя повиновалась, чувствуя, что приезд этих двух дам не сулит ей ничего хорошего.

На следующий день она стояла в нерешительности, не зная, спускаться ли ей к завтраку, когда за ней пришла крестная и повела представить ее мадам и мадемуазель де Версель — так звали приезжих. Войдя в столовую, Марго

увидела, что на столе, на ее обычном месте рядом с местом Гастона, лежит свежая салфетка. Молча, но с грустью, она села на другое место, ибо ее собственное было занято мадемуазелью де Версель, и вскоре она заметила, что молодой человек не отрывает глаз от своей соседки. Во время завтрака Марго почти не раскрывала рта. Она только предложила Гастону какое-то блюдо, стоявшее возле нее, но, по-видимому, он даже не расслышал ее. После завтрака все общество отправилось гулять в парк. Обойдя несколько аллей, госпожа Дорадур взяла под руку пожилую даму, а Гастон тотчас же подал руку красивой барышне. Марго, оставшись одна, некоторое время шла сзади. Все забыли о ней, никто не обращался к ней ни с единым словом; она остановилась и повернула домой. За обедом госпожа Дорадур велела принести бутылку фронтиньянского муската, и так как она сохранила верность всем обычаям старины, то, прежде чем пить, подняла свой стакан, предлагая гостям чокнуться. Все последовали ее примеру, кроме Марго, не знавшей, что ей надо делать. Все же она немного приподняла свой стакан, надеясь, что кто-нибудь ее подбодрит. Но никто не ответил на ее робкое движение, и она поставила стакан, так и не отпив из него.

— Как жаль, что нас только четверо, — сказала госпожа де Версель после обеда, — мы могли бы сыграть партию в бульот (в те времена в бульот играли еще впятером).

Марго, сидевшая в уголке, не решилась сказать, что она умеет играть в эту игру, и ее крестная предложила вист. За ужином, когда подали десерт, все стали просить мадемуазель де Версель спеть что-нибудь. Барышня долго не соглашалась, но потом свежим, приятным голоском спела какую-то небольшую арию, довольно веселую. Слушая ее, Марго невольно вздохнула, вспомнив об отцовском доме, где за десертом пела она, Марго. Когда все разошлись, она обнаружила, войдя к себе, что у нее вынесли из комнаты две самые любимые ее вещи: мягкое кресло и маленький столик с инкрустациями, на который она все-

гда ставила зеркало, когда причесывалась. Дрожа, она полуоткрыла окно, чтобы бросить взгляд на свет, мерцавший обыкновенно за шторами Гастона: так она всегда прощалась с ним, ложась спать. Но в этот вечер света не было; Гастон закрыл ставни. Совсем убитая, она легла в постель и всю ночь не могла уснуть.

Зачем приехали эти две дамы и сколько времени они пробудут здесь? Этого Марго, конечно, не знала, но было очевидно, что их приезд имел какую-то связь с таинственными беседами, происходившими перед тем между госпожой Дорадур и ее сыном. Тут скрывалась тайна, которую Марго не в силах была разгадать, но она чувствовала, что этой тайне суждено было разрушить ее счастье. Сначала она думала, что эти дамы — родственницы ее крестной, но с ними обращались так дружески и вместе с тем так почтительно, что для родственников это было бы чудесно. Во время прогулки госпожа Дорадур позаботилась показать старшей даме, как далеко простирается ограда парка; она на ухо сообщила ей, что стоит ее поместье и какие доходы оно приносит. Уж не собиралась ли она продать Онвиль? А если так, что станется с семьей Марго? Оставит ли новый владелец прежних фермеров? С другой стороны, с какой стати госпоже Дорадур, такой богатой, продавать дом, в котором она родилась, который как будто так нравится ее сыну? Гости приехали из Парижа, они то и дело говорили о Париже и, кажется, были вовсе не расположены жить в деревне. За ужином госпожа де Версель вскользь упомянула о том, что она близка к императрице, часто сопровождает ее в Мальмезон и вообще пользуется ее благосклонностью. Быть может, госпожа Дорадур хотела попросить о повышении для Гастона, и тогда все это ухаживание за столь влиятельной особой становилось вполне понятным. Таковы были догадки Марго, но, несмотря на все старания, ум ее не мог удовлетвориться ими, а сердце упорно не желало остановиться на единственно вероятном предположении, которое в то же время было и единственно верным.

Утром двое слуг с большим трудом втащили в комнату мадемуазель де Версель огромный деревянный ящик. В ту минуту, когда Марго выходила из своей комнаты, до нее вдруг донеслись аккорды фортепьяно. Впервые в жизни она услышала такую музыку; до сих пор ей были знакомы лишь кадрили, которые играли в ее деревне. Полная восхищения, она остановилась. Мадемуазель де Версель играла вальс, потом запела, и Марго тихонько подошла к двери, чтобы расслышать слова. Слова были итальянские. Нежность этого незнакомого языка показалась Марго еще более удивительной, чем благозвучные аккорды инструмента. Какой же необыкновенной была она, эта красивая барышня, умевшая произносить непонятные, таинственные слова под такую чудесную музыку! Не в силах побороть любопытство, Марго нагнулась, вытерла глаза, на которых еще блистали слезы, и посмотрела в замочную скважину. Она увидела мадемуазель де Версель в пеньюаре, с обнаженными руками и распущенными волосами; губы у нее были полуоткрыты, глаза подняты к небу. Марго показалось, что перед ней ангел; никогда еще ей не приходилось видеть ничего столь прекрасного. Она медленно отошла от дверей, ослепленная и в то же время подавленная, не понимая сама, что с ней происходит. Но, спускаясь по лестнице, она несколько раз повторила взволнованным голосом: «Пресвятая дева, какая же она красавица!»

VII

Как это ни странно, но когда происходит какое-нибудь событие, люди, которых оно наиболее затрагивает, часто больше всего ошибаются на его счет. По обращению Гастона с мадемуазель де Версель самый равнодушный свидетель тотчас догадался бы, что он в нее влюблен. Марго, однако, не увидела этого, или, вернее, не хотела видеть. Несмотря на недавнюю ее грусть, какое-то непонятное чувство, которое многие сочли бы просто невероят-

ным, долго мешало ей разглядеть истину — я говорю о том восхищении, какое внушала ей мадемуазель де Версель.

Мадемуазель де Версель была высока ростом, белокура, приветлива. Она не просто нравилась, она пленяла какой-то, если можно так выразиться, целительной красотой. В самом деле, ее взгляд, ее речь дышали таким необыкновенным, таким ласковым спокойствием, что невозможно было устоять против радости, которую доставляло ее общество. Через несколько дней после приезда она начала выказывать Марго большую симпатию и даже сама сделала первые шаги к сближению. Она посвятила ее в некоторые тайны женского рукоделия, стала брать под руку на прогулках и как-то раз заставила девушку спеть, аккомпанируя ей сама на фортепьяно, песенки, которые та певала в родном селе. Марго была тем более тронута этими знаками расположения, что сердце ее разрывалось от горя. Почти трое суток она жила заброшенная, всеми забытая, и когда молодая парижанка впервые подошла к ней и заговорила, Марго затрепетала от радости, страха и удивления. Она страдала, видя, что Гастон совершенно забыл о ней, и уже подозревала причину этого забвения. В поступке соперницы была для нее какая-то необъяснимая отрада, к которой примешивалась и горечь. Прежде всего она почувствовала, что наконец-то для нее кончится одиночество, в котором она так внезапно оказалась. И, кроме того, ей польстило внимание такой прелестной особы. Эта красавица, которая, казалось бы, должна была вызвать в ней только ревность, обворожила ее после первого же обращенного к ней слова. Познакомившись ближе с мадемуазель де Версель, Марго страстно к ней привязалась. Вдоволь налюбовавшись ее лицом, она стала восторгаться ее походкой, восхитительной простотой ее обращения, посадкой головы, наконец, самой ничтожной ленточкой на ее платье. Она не могла наглядеться на нее и слушала ее с величайшим вниманием. Когда мадемуазель де Версель садилась за фортепьяно, глаза Марго сияли от счастья и как бы говорили окружающим:

«Сейчас моя милая подружка будет играть». Именно так называла она мадемуазель де Версель, немного гордясь этим в глубине души. Когда они вместе проходили по селу, крестьяне оборачивались им вслед. Мадемуазель де Версель ничего не замечала, а Марго краснела от удовольствия. Почти каждое утро, до завтрака, она навещала свою «милую подружку», помогала ей одеваться, смотрела, как та моет свои красивые белые ручки, слушала, как она поет на прекрасном итальянском языке. Потом спускалась вместе с ней в гостиную, гордясь тем, что запомнила какую-нибудь мелодию, и тихо напевая ее на лестнице. И вместе с тем ее мучила тоска, и она начинала плакать, как только оставалась одна.

У госпожи Дорадур был слишком поверхностный ум, чтобы она могла заметить перемену, происшедшую в ее крестнице. «Ты как будто немного бледна, — говорила она ей по временам. — Хорошо ли ты спала?» Затем, не ожидая ответа, переходила к другим темам. Гастон был более проникателен, и, когда он брал на себя труд подумать о Марго, для него была очевидна причина ее грусти, но он говорил себе, что, разумеется, это только детская причуда, легкая ревность, которая свойственна всем женщинам и от которой с течением времени не останется и следа. Надо сказать, что Марго всегда избегала случая оказаться с ним наедине; одна мысль об этом приводила ее в трепет. Гуляя одна по саду, она немедленно сворачивала с дороги, едва завидев издали Гастона, и благодаря этим стараниям скрыть свою любовь казалась молодому человеку какой-то дикаркой. «Странная девочка!» — часто думал он, когда она убежала, едва заметив, что он собирается подойти к ней, а иногда, желая позабавиться ее смущением, он все-таки заговаривал с ней, несмотря на ее нежелание. В таких случаях Марго опускала голову, отвечала односложно и вся съеживалась, словно мимоза.

Дни проходили крайне однообразно. Гастон больше не ездил на охоту; играли мало, гуляли редко. Время проходило в бесконечных разговорах, и госпожа Дорадур по

два-три раза в день отсылала Марго, чтобы можно было говорить свободнее. Бедная девочка только и делала, что выходила из своей комнаты и возвращалась туда. Если ей случалось войти в гостиную не совсем кстати, обе матери переглядывались, и все умолкали. После длинной конфиденциальной беседы ее снова приглашали обратно, и она садилась, ни на кого не глядя, ощущая смутную тревогу, подобную той, какую мы испытываем на море, когда небо еще ясно, но издали медленно надвигается гроза.

Как-то утром Марго проходила мимо комнаты мадемуазель де Версель, и та окликнула ее. После нескольких незначащих фраз Марго заметила на пальце своей «подружки» красивое кольцо.

— Примерь его, — сказала мадемуазель де Версель. — Посмотрим, пойдет ли оно тебе.

— О нет, мадемуазель, моя рука недостаточно хороша для таких драгоценностей.

— Полно, это колечко чудо как идет к тебе. Я подарю его тебе в день моей свадьбы.

— А разве вы выходите замуж? — спросила Марго, вся затрепетав.

— Как знать? — со смехом ответила мадемуазель де Версель. — Мы, девушки, каждый день подвергаемся подобному риску.

Можно себе представить, в какое волнение повергли Марго эти слова. Она тысячу раз повторяла их про себя днем и ночью, но повторяла почти машинально, не смея разгадать их смысл. Однако через несколько дней, когда после ужина принесли кофе и Гастон протянул ей чашку, она тихонько отстранила ее со словами: «Вы предложите мне кофе в день вашей свадьбы». Молодой человек улыбнулся с несколько удивленным видом и ничего не ответил, но госпожа Дорадур нахмурилась и довольно сердито попросила Марго не вмешиваться не в свое дело.

Марго поняла, что это правда. То, что она так жаждала узнать и чего вместе с тем так боялась, отныне показалось ей вполне доказанным. Она поскорее убежала в свою

комнату и здесь, закрыв лицо руками, горько заплакала. Немного придя в себя, она заперла дверь на задвижку, чтобы никто не стал свидетелем ее горя, и, почувствовав себя свободнее, начала понемногу разбираться в том, что происходило в ее душе.

Несмотря на крайнюю молодость и безумную любовь, переполнявшую ее сердце, в головке Марго было много здравого смысла. И прежде всего она почувствовала невозможность бороться с обстоятельствами. Она поняла, что Гастон любит мадемуазель де Версель, что оба семейства обо всем договорились и что этот брак — дело решенное. Возможно, что был уже назначен и день свадьбы. Она припомнила, что недавно видела в библиотеке человека в черном, который писал что-то на гербовой бумаге. Должно быть, это нотариус составлял брачный контракт. Мадемуазель де Версель была богата, Гастону после смерти матери тоже предстояло сделаться богатым. Все устраивалось так естественно, так справедливо — что же она, Марго, могла тут поделаться? Эта мысль совершенно завладела девушкой; чем больше она размышляла, тем непреодолимее казались ей препятствия. И раз уж она бессильна была помешать этому браку, ей оставалось одно — не присутствовать на свадьбе. Она вытащила из-под кровати свой маленький сундучок и поставила его посреди комнаты, чтобы уложить вещи: она задумала уехать к родителям. Однако решимость вдруг покинула ее, и, вместо того чтобы открыть сундучок, она села на него и снова принялась плакать. Так она сидела около часа в поистине жалком состоянии. Мысли, поразившие ее в первую минуту, теперь перепутались в ее уме; слезы, катившиеся из глаз, словно одурманивали, и она встряхивала головой, как бы желая избавиться от них. Занятая этими мучительными размышлениями и не зная, как поступить, Марго не заметила, что свеча догорает. Внезапно очутившись впотьмах, она встала и открыла дверь, чтобы попросить другую свечу, но час был поздний, и все в доме уже легли спать. Однако, не зная этого, она ощупью пошла вперед.

Увидев, что на лестнице темно и что она, так сказать, одна в доме, Марго вдруг почувствовала страх, вполне естественный в ее возрасте. Пройдя длинный коридор, который шел от ее комнаты, она остановилась, не смея повернуть обратно. Иногда бывает, что какое-нибудь обстоятельство, по видимости совсем ничтожное, меняет весь ход наших мыслей, а темнота производит такое действие скорее, нежели что-либо другое. Лестница онвильского дома, как это бывает во многих старинных зданиях, была сооружена внутри узкой башенки, которую заполняла целиком, вивясь спиралью вокруг каменной колонны. Не зная, на что решиться, Марго прислонилась к этой колонне, и от прикосновения к холодному камню, которое еще усугубило ее страх и горе, вся кровь застыла у нее в жилах. Некоторое время она не шевелилась. Одна страшная мысль явилась вдруг в ее уме: слабость, которую она ощутила, вызвала в ней представление о смерти, — и, странная вещь, эта мысль, на миг родившаяся и мгновенно исчезнувшая, возвратила ей силы. Она вернулась в свою комнату и снова заперлась там до рассвета.

Как только взошло солнце, она спустилась в парк. Осень в том году была чудесная. Листья уже пожелтели и казались золотыми. Они еще не падали с веток, и тихий теплый ветерок словно щадил деревья онвильского сада. Началось то время года, когда птицы в последний раз предаются любви. Бедная Марго не так далеко ушла в своих любовных делах, но она чувствовала, что благотворное тепло солнечных лучей понемногу смягчает ее боль. Она стала думать о своем отце, о семье, о христианском долге и вернулась к первоначальному решению — покориться судьбе и уехать. Вскоре и это показалось ей уже не столь необходимым, каким представлялось накануне. Она спросила себя, что, собственно, она сделала дурного, чтобы быть изгнанной из тех мест, где она провела самые счастливые дни своей жизни. Ей уже казалось, что она может остаться здесь, разумеется, страдая, но страдая не так сильно, как если бы ей пришлось уехать. Она углубилась в сумрачные аллеи, шагая то медленно, то очень быстро; по

временам она останавливалась и говорила: «Любовь — это не шутка. Надо иметь много мужества, чтобы любить». Слово «любить» и уверенность в том, что никто в мире не знает о ее чувстве, невольно вызвали в ней надежду. На что? Этого не знала и она сама — и именно поэтому надеялась еще сильнее. Ее заветная тайна казалась ей сокровищем, спрятанным в ее сердце. Она не могла решиться вырвать ее оттуда и давала себе клятву продолжать хранить ее там, оберегая от всех, хотя бы этой тайне пришлось остаться погребенной навеки. Мечты постепенно одерживали верх над рассудком, и так как любовь ее была детской, то после приступа детского отчаяния она и утешала себя по-детски. Она вспомнила о белокурых волосах Гастона, об окнах на улице Перш; она попыталась уверить себя, что свадьба еще не решена, что, может быть, она неправильно поняла слова крестной. Измученная волнениями, усталая, она легла под каким-то деревом и тотчас уснула.

Когда она проснулась, был уже полдень. Она осмотрелась по сторонам, почти не помня о своих огорчениях. Легкий шорох невдалеке заставил ее обернуться. Гастон и мадемуазель де Версель подходили к ней по буковой аллее. Они были одни, и Марго, скрытая густым кустарником, не могла быть замечена ими. Дойдя до середины аллеи, мадемуазель де Версель остановилась и села на скамейку. Гастон несколько минут стоял перед молодой девушкой, с нежностью глядя на нее. Потом он опустился на колени, обвил руками ее стан и поцеловал ее. Увидев это, Марго вскочила; она не помнила себя. Невыразимая боль стеснила ее сердце, и, сама не понимая, что делает, она побежала в поле.

VIII

С той поры как Пьеро потерпел неудачу в своем намерении поступить в услужение к Гастону, он со дня на день становился печальнее. Ласковые уговоры Марго на миг успокоили его, но этого спокойствия хватило ровно на

столько же времени, на сколько хватило припасов, унесенных им в карманах. Чем больше он думал о своей милой Марго, тем яснее чувствовал, что не может жить вдали от нее, и, по правде сказать, жизнь, которую он вел на ферме, была не такова, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, — так же как не могли это сделать индюшки, в чьем обществе он проводил все свое время. И вот в тот самый день, когда наша героиня предавалась такому отчаянию, Пьеро задумчиво брел по берегу реки, гоня перед собой свое стадо, как вдруг шагах в ста от себя он увидел какую-то женщину, которая бежала со всех ног и, метнувшись сначала в одну сторону, потом в другую, внезапно скрылась за ветвями ив, что росли вдоль берега. Это удивило его и встревожило. Он тоже бросился бежать, пытаясь догнать ее, но, добежав до того места, где она скрылась из виду, не нашел ее ни там, ни в окрестных полях. Ему пришло в голову, что, быть может, она зашла на мельницу, находившуюся неподалеку, но все-таки он пошел вдоль реки, охваченный каким-то зловещим предчувствием. Эра за последние дни сильно вздулась от обильных дождей, и Пьеро, у которого было тяжело на душе, ее волны показались сегодня особенно страшными. Вскоре ему почудилось, что в прибрежных тростниках движется что-то белое. Он подошел ближе, лег ничком на песок и притянул к себе труп. Это был труп Марго. Несчастливая девушка не подавала уже признаков жизни: она лежала неподвижная, холодная, как мрамор, с открытыми, остановившимися глазами.

Увидев это, Пьеро начал так кричать, что все, кто был на мельнице, сейчас же выбежали оттуда. Горе его было столь ужасно, что в первую минуту он тоже хотел броситься в воду, желая умереть подле единственного в мире существа, которое любил. Но потом он припомнил, что ему говорили, будто утопленников еще можно вернуть к жизни, если вовремя оказать им помощь. Правда, крестьяне утверждали, что Марго совсем мертва, но он не хотел этому верить и не позволил им унести девушку на мельницу. Он вскинул тело себе на плечи и, шагая так быстро, как

только мог, принес в свою лачугу. Небу было угодно, чтобы дорогой он повстречал деревенского доктора, ехавшего верхом на лошади навещать своих пациентов. Пьеро остановил его и заставил зайти в свое жилище, чтобы он осмотрел Марго и сказал, есть ли еще какая-нибудь надежда.

Врач был того же мнения, что и крестьяне. Едва взглянув на труп, он сказал:

— Она совершенно мертва, остается похоронить ее, и только. По состоянию тела видно, что она пробыла под водой больше четверти часа.

С этими словами доктор вышел из лачуги и, собираясь уже сесть на лошадь, добавил, что нужно пойти к мэру и сделать заявление, полагающееся по закону.

Помимо того, что Пьеро горячо любил Марго, он еще был страшно настойчив. Он отлично знал, что она не пробыла в реке четверти часа, потому что сам видел, как она бросилась в воду. Он выбежал вслед за доктором, именем бога умоляя его не уезжать, не уверившись вполне, что помощь действительно бесполезна.

— Да какую же помощь я ей окажу? — сердито вскричал доктор. — Ведь у меня нет с собой ни одного из необходимых инструментов.

— Я тотчас сбегая за ними, сударь, — ответил Пьеро. — Скажите мне только, что вам нужно, и ждите меня здесь, я мигом буду обратно.

Доктор, спешивший по своим делам, закусил губу, проклиная себя за то, что сделал глупость и проговорился насчет инструментов. Он, правда, был вполне уверен, что Марго умерла, но понимал, что отказаться от всякой попытки значило бы повредить своей репутации в глазах у местных жителей.

— Ну так ступай, да поживее, — сказал он Пьеро. — Ты возьмишь жестяной ящичек, который тебе даст моя экономка, и вернешься сюда. А я пока что заверну тело в одеяло и попробую его растереть. Попытайся также достать золы, надо будет нагреть ее... Впрочем, все это не помо-

жет, и я только даром потеряю время, — сказал он, пожимая плечами. И добавил, топнув ногой: — Ну! Ты слышал, что я сказал?

— Слышал, сударь, — ответил Пьеро, — а чтобы мне обернуться поскорей, я возьму, если позволите, вашу лошадь.

И, не дожидаясь позволения доктора, Пьеро вскочил на лошадь и умчался. Четверть часа спустя он прискакал галопом с двумя полными мешками золы, висевшими по обе стороны седла.

— Как видите, сударь, я не терял времени, — сказал он, показывая на взмыленную лошадь. — Ни с кем и слова не сказал. Вашей экономки не было дома, и я все устроил сам.

«Черт бы тебя побрал! — подумал доктор. — Отделать так мою лошадь! Ведь день-то еще впереди».

Что-то ворча про себя, он начал с помощью пузыря вдвухать воздух в рот бедной Марго, а Пьеро между тем растирал ей руки. Когда огонь в очаге разгорелся и зола нагрелась, они насыпали ее на кровать таким образом, что покрыли ею все тело. Затем доктор попытался влить в рот Марго несколько капель спирта, после чего покачал головой и вынул часы.

— Мне очень жаль, — сказал он решительным тоном, — но из-за мертвых не должны страдать больные. Меня ждут далеко отсюда, и я уезжаю.

— Если господин доктор останется еще на полчаса, — сказал Пьеро, — я дам ему экю.

— Нет, малыш, это невозможно, и мне не нужны твои деньги.

— Вот оно, мое экю, — сказал Пьеро, словно не слышав, и сунул монету в руку доктора.

Это было все состояние бедняги — он вынул из-под тюфяка все свои сбережения, и, разумеется, доктор взял их.

— Ну так и быть, еще полчаса, — сказал он, — но уж после этого я непременно уеду. Ты ведь и сам видишь, что все бесполезно.

Прошло полчаса. Марго, по-прежнему неподвижная, окоченевшая, не подавала ни малейших признаков жизни. Доктор пощупал у нее пульс, потом, решив положить конец, взял палку, шляпу и направился к лошади. Пьеро, не имея больше денег и видя, что просьбы не помогут, вышел вслед за доктором из своего домишки и встал перед его лошадью с тем же невозмутимым видом, какой был у него в Онвиле, когда он загородил дорогу Гастону.

— Что это значит? — спросил доктор. — Уж не хочешь ли ты заставить меня ночевать здесь?

— Никак нет, сударь, — ответил Пьеро, — но вам придется остаться еще на полчаса, а за это время ваша лошадка успеет отдохнуть.

Пьеро держал в руке жердь и смотрел на доктора таким странным взглядом, что тот в третий раз вернулся в лачугу. Но теперь он уже не стеснялся.

— Черт бы побрал этого упряма! — вскричал он. — Из-за его шести франков я потеряю целый луидор!

— Что ж делать, сударь, — возразил Пьеро, — ведь говорят, что приходят в себя и через шесть часов.

— Ничуть не бывало! Откуда ты это взял? Не хватает только, чтобы я провел в твоей конуре шесть часов!

— И вы проведете их здесь, — ответил Пьеро, — или оставите мне ваш ящик, пузырь, трубку и все прочее. Ежели вы поработаете при мне еще часа два, может быть, я, с вашего позволения, и сам научусь обращаться с ними.

Как ни выходил из себя доктор, все было напрасно — волей-неволей ему пришлось уступить и остаться еще на два часа. Лишь после этого Пьеро, который и сам начал терять надежду, отпустил своего пленника. Теперь он остался один у изголовья постели, неподвижный, убитый горем. Весь остаток дня он просидел, не шевелясь, не отрывая глаз от Марго. Когда стемнело, он встал и подумал, что, пожалуй, пора сходить к старику Пьеделе и сообщить ему о смерти его дочери. Он вышел из лачуги и стал закрывать дверь, но в это мгновение ему почудилось, что чей-то слабый голос окликнул его. Он весь задрожал и

бросился назад к постели, но Марго не шевелилась, и он решил, что ошибся. Однако этого мига надежды было довольно, чтобы не дать ему уйти. «Успею и завтра», — подумал он и опять сел у изголовья.

Внимательно вглядываясь в Марго, он вдруг как будто заметил в ее лице какую-то перемену. Когда он собирался уходить, она, помнилось ему, лежала со стиснутыми зубами, а теперь ее губы были полураскрыты. Он тотчас же вооружился инструментом лекаря и, подражая ему, стал пытаться дуть в рот Марго, но у него ничего не получилось: трубка не совсем подходила к пузырю. Пьеро дул изо всех сил, но воздух уходил в сторону. Он влил в рот больной несколько капель нашатырного спирта, но жидкость не проникла к ней в горло. Он снова прибегнул к помощи трубки — ничего не получалось.

— Что за дурацкие инструменты! — воскликнул он наконец, совсем задохнувшись. — Никуда они не годятся!

Он отбросил трубку, нагнулся над Марго, прижал свои губы к ее губам и, напрягая все силы, дыша во всю ширь своих могучих легких, добился того, что целительный воздух проник в грудь молодой девушки. В ту же секунду зола зашевелилась, две слабые руки приподнялись и упали на шею Пьеро. Марго испустила глубокий вздох и вскрикнула:

— Мне холодно, холодно!

— Нет, тебе не холодно, — ответил Пьеро. — Ты лежишь в отличной горячей золе.

— И верно. Но зачем меня положили сюда?

— А ни за чем, Марго. Чтобы тебе было хорошо. Ну, как ты себя чувствуешь сейчас?

— Неплохо. Только я очень-очень устала. Помогите мне немного привстать.

Старик Пьеделе и госпожа Дорадур, извещенные доктором, вошли в комнату в ту минуту, когда утопленница, почти совсем раздетая, пила с ложечки вишневою настойку, поддерживаемая сильными руками Пьеро.

— Что же вы мне такое наговорили?! — вскричал старик Пьеделе. — Это, знаете ли, не дело — прийти и объ-

вить людям, что их дочка умерла! Не советую повторять эту шутку, черт побери! В другой раз она не так-то легко сойдет вам с рук!

И он бросился обнимать дочь.

— Осторожнее, батюшка, — сказала Марго, улыбаясь, — не прижимайте меня так крепко — ведь я только недавно еще была мертвая.

Нет надобности описывать удивление и радость госпожи Дорадур и всех родных Марго, которые один за другим входили в хижину. Гастон и мадемуазель де Версель тоже пришли, и госпожа Дорадур, отведя в сторону старика отца, осторожно объяснила ему, что произошло. Догадки, возникшие слишком поздно, всем открыли глаза. Когда старик узнал, что причиной отчаяния его дочери была любовь и что пребывание у крестной матери едва не стоило ей жизни, он несколько минут ходил взад и вперед по комнате.

— Теперь мы квиты! — сказал он вдруг госпоже Дорадур. — Я был много вам должен, много и заплатил.

Тут он взял за руку свою дочь и увел ее в угол хижины.

— Взгляни на это, бессовестная, — сказал он, показывая ей простыню, принесенную вместо савана. — Возьми ее и, если ты хорошая дочь, побереги для меня, да смотри не вздумай топиться еще раз.

Затем, подойдя к Пьеро, он крепко хлопнул его по плечу.

— Я не знал, сударь, — сказал он, — что вы так славно умеете дуть девушкам в рот. Видно, надо отдать тебе эку, которое ты заплатил лекарю, а?

— Что ж, я не прочь получить обратно свое эку, — ответил Пьеро, — но только не вздумайте отдавать мне больше. Я вовсе не гордый — куда там! Но, видите ли, если человек беден, так это вовсе не значит, что у него...

— Ну ладно, дуралей, — перебил его старик, еще раз хлопнув его по плечу, — иди ухаживай за твоей больной. Этот малый сумел дуть ей в рот, а вот поцеловать ее, должно быть, не догадался.

IX

Прошло десять лет. В 1814 году Франция, доблестная и в своих поражениях, была наводнена солдатами. Окруженный всей Европой, император шел к концу так же, как он начинал, и на исходе своего жизненного пути вновь обрел, хотя и тщетно, бывшее вдохновение итальянских походов.

Русские дивизии, наступавшие на Париж вдоль берегов Сены, только что были разбиты в битве при Нанжи, где пало десять тысяч чужеземцев. Какой-то офицер, тяжело раненный, покинул полк, которым командовал генерал Жерар, и ехал в Босию через Этамп. Он еле держался в седле. Вечером, изнемогая от усталости, он постучался у дверей одной богатой фермы и попросил приютить его на ночь. Угостив офицера отличным ужином, фермер, человек лет двадцати пяти, подвел к нему свою жену, молодую красивую крестьянку примерно того же возраста и уже мать пятерых детей. Увидев ее, офицер не смог удержаться от возгласа изумления, а хорошенькая фермерша с улыбкой ему поклонилась.

— Если я не ошибаюсь, — сказал офицер, — вы служили компаньонкой у госпожи Дорадур. Вас ведь зовут Маргаритой, не так ли?

— К вашим услугам, сударь, — ответила фермерша. — А я, кажется, имею честь говорить с полковником Гастоном де ла Онвиль, если только память мне не изменяет? Вот Пьер Бланшар, мой муж, — ему я обязана тем, что еще живу на свете. Поделуйте моих детей, господин граф: это все, что осталось от семьи, которая долго и верно служила вашей.

— Возможно ли? — воскликнул офицер. — А ваши братья?

— Они остались на полях Шанпобера и Монмирайля, — взволнованным голосом ответила фермерша. — И наш отец уже шесть лет дождался их, лежа в могиле.

— А я лишился матери, — сказал офицер, — и одна эта смерть причинила мне не меньшее горе.

При этих словах он отер слезу.

— Вот что, Пьеро, — прибавил он весело, обращаясь к хозяину дома и протягивая ему свой стакан, — давай-ка выпьем с тобой за упокой наших умерших и за здоровье твоих детей, дружище! В жизни бывают тяжелые минуты, все дело в том, чтобы уметь справиться с ними.

На другой день, покидая ферму, офицер поблагодарил своих хозяев и, собираясь уже сесть на лошадь, не смог удержаться, чтобы не спросить фермершу:

— А ваша первая любовь, Марго? Вспоминаете вы о ней?

— Сказать по правде, господин граф, она осталась в реке, — ответила Марго.

— И с вашего позволения, сударь, — добавил Пьеро, — я больше не стану выуживать ее оттуда.

ИСТОРИЯ БЕЛОГО ДРОЗДА

I

Как почетно, но и как тяжело быть на этом свете необыкновенным дроздом! Я вовсе не сказочная птица, и господин Бюффон описал меня. Но, увы! — я крайне редок, и меня очень трудно встретить. Дай бог, чтобы это было совершенно невозможно!

Мой отец и моя мать были славной четой, уже много лет жившей в глубине старого уединенного сада, расположенного в квартале Марэ. Это была образцовая семья. Мать, сидя в густом кустарнике, ровно три раза в год клала яйца и, подремывая, высиживала их с патриархальной добросовестностью. Отец, несмотря на преклонный возраст еще очень деятельный и подвижный, весь день суетился вокруг своей жены, отыскивая корм, и приносил ей превосходных насекомых, осторожно хватая их за кончик хвоста, чтобы не вызывать в ней брезгливости, а с наступлением ночи, если погода была хорошая, он неизменно улаживал жену песней, которая увеселяла всех соседей. Ни ссора, ни малейшее облачко никогда не омрачали этот нежный союз.

Едва я появился на свет, как мой отец впервые в жизни начал обнаруживать дурное расположение духа. Хотя я был еще только сомнительного серого цвета, он не узнавал во мне ни окраски, ни телосложения своего многочисленного потомства.

— Вот противный ребенок! — говорил он иной раз, кося поглядывая на меня. — Этот сорванец, должно быть, забирается во все груды мусора и все кучи грязи, какие по-

падают ему на пути, и оттого он всегда такой безобразный и такой перепачканный.

— Полноте, друг мой, — отвечала мать, как всегда свернувшись клубочком в старой миске, которую она приспособила себе под гнездо, — разве вы не понимаете, что в его возрасте это обычная история? А сами вы в дни юности разве не были очаровательным бездельником? Дайте нашему дрозденышу подрасти, и вы увидите, какой он будет красивый; он один из лучших птенцов, каких я когда-либо вывела.

Но хотя моя мать и вступалась за меня, сама она не обманывалась. Она видела, как пробивалось мое злополучное оперение, которое казалось ей уродством, но она поступала, как все матери, которые часто привязываются к своим детям именно за то, что дети их обижены природой, точно матери сами виноваты в этом или точно они заранее отражают несправедливые удары той судьбы, которая уготована их детям.

Когда подошло время моей первой линьки, отец впал в глубокое раздумье и стал внимательно меня рассматривать. Пока у меня выпадали перья, он относился ко мне еще довольно ласково и даже кормил меня из клюва, видя, как я, почти голый, дрожу от холода в углу гнезда. Но как только мои бедные окоченевшие крылышки начали вновь покрываться пухом, каждое белое перо, которое появлялось на мне, стало приводить его в такую ярость, что я боялся, как бы он не оципал меня на весь остаток моих дней. Я не знал причины его гнева, — увы, у меня не было зеркала, — и недоумевал, почему лучший из отцов так жесток ко мне.

Однажды, когда проглянувший луч солнца и мое отставшее оперение вселили мне в сердце невольную радость, я, порхая по аллею, на свое несчастье запел. При первой же нотке отец взметнулся, как ракета.

— Что я слышу! — воскликнул он. — Разве так свистит дрозд? Разве я так свищу? Разве так надо свистать?

И, с самым грозным видом опустившись подле моей матери, сказал:

— Презренная! Кто это вылупился в твоём гнезде?

При этих словах мать в негодовании выскочила из своей миски, повредив себе при этом лапку. Она пыталась заговорить, но рыдания душили ее; обмирая, она упала на землю. Я увидел, что она готова испустить дух; объятый ужасом, дрожа от страха, я кинулся к ногам отца.

— Ах, отец мой! Если я неверно свищу и плохо одет, — сказал я ему, — пусть не будет за это наказана моя мать! Если это вина, что природа отказала мне в таком голосе, как ваш? Ее ли вина, что у меня нет вашего красивого желтого клюва и вашего красивого черного фрака французского покроя, которые придают вам вид церковного старосты, закусывающего яичницей? Если бог создал меня уродом и если кто-нибудь должен нести за это наказание, пусть по крайней мере я один буду несчастен!

— Не в этом дело, — возразил отец. — Что это за нелепая манера свистать, которую ты себе сейчас позволил? Кто научил тебя свистать так, против всех правил и обычаев?

— Увы, сударь, я свистал, как умел! — ответил я смиренно. — Свистал оттого, что стало весело, когда распогодилось, и оттого, может быть, что я съел слишком много мух.

— Так не свистят в моей семье, — продолжал вне себя отец. — Уже много веков мы свистим и свистим, и знай: когда я вечером начинаю петь здесь, то почтенный старик во втором этаже и молодая гризетка в чердачной комнате открывают свои окна, желая послушать меня. Довольно и того, что мне мозолит глаза отвратительный цвет твоих дурацких перьев, которые придают тебе вид балаганного паяца, обсыпанного мукою! Не будь я самым миролюбивым дроздом на свете, я бы уже сто раз ощипал тебя догола, как цыпленка из птичника, перед тем как его насаживают на вертел!

— Ну что ж! — воскликнул я, возмущенный несправед-

ливостью моего отца. — Если так, сударь, за этим дело не станет! Я скроюсь с ваших глаз. Я избавлю вас от зрелища этого злополучного белого хвоста, за который вы весь день меня дергаете. Я улечу, сударь, я убегу. Хватит вам других детей утешать вашу старость, ведь моя мать несется три раза в год. Я буду прятать вдали от вас мое убожество, и быть может, — прибавил я, рыдая, — быть может, я найду в огороде соседа несколько земляных червей или на крышах каких-нибудь пауков, чтобы поддержать мое жалкое существование.

— Как тебе будет угодно, — отвечал отец, ничуть не растроганный моим красноречием. — Чтобы я тебя больше не видел! Ты не мой сын, ты не дрозд.

— А кто же я, по-вашему, сударь?

— Этого я не знаю, но ты не дрозд.

Произнеся эти уничтожающие слова, отец медленно удалился. Мать грустно встала и, хромяя, пошла в свою миску, чтобы выплакаться.

А я, смятенный и безутешный, взлетел, как сумел, и уселся, как я и заявил, на водосточный желоб соседнего дома.

II

Отец был так жесток, что несколько дней оставлял меня в этом унижительном положении. Несмотря на вспыльчивый нрав, сердце у него было доброе, и по тем взглядам, которые он бросал на меня украдкой, я отлично видел, что он хотел бы простить меня и позвать обратно; а мать беспрестанно поднимала на меня глаза, полные нежности, и порой даже отваживалась звать меня тихим жалобным криком. Но мои безобразные белые перья внушали им невольное отвращение и ужас, и я понимал, что с этим ничего не поделаешь.

— Я вовсе не дрозд! — твердил я про себя. И в самом деле, прихорашиваясь по утрам и смотрясь в воду, протекавшую по желобу, я отчетливо сознавал, как мало я похож на

мою родню. «О небо! — твердил я. — Поведай мне, кто я такой!»

Однажды ночью дождь лил как из ведра. Обессилев от горя и голода, я стал уже засыпать, как вдруг подле меня села какая-то птица, донельзя мокрая, белесая и тощая. Насколько я мог судить, глядя на пришельца сквозь заливавшие нас потоки дождя, он был примерно моего цвета; тех перьев, что торчали у него на теле, едва хватило бы, чтобы покрыть воробья, а он был крупнее меня. На первый взгляд он показался мне совсем неимущим и убогим, но, невзирая на бурю, трепавшую его почти плешивую голову, он сохранял горделивую осанку и этим пленил меня. Я скромно отвесил ему глубокий поклон, а он ответил мне таким ударом клюва, что я едва не свалился с желоба. Видя, что я почесываю у себя за ухом и сокрушенно удаляюсь, не пытаясь ответить ему тем же, он спросил меня голосом столь же хриплым, сколь череп его был лыс:

— Ты кто такой?

— Увы, ваша светлость, — заговорил я, опасаясь нового неожиданного нападения, — я этого не знаю. Я считал себя дроздом, но меня убедили, что я не дрозд.

Мой странный ответ и простодушный вид возбудили в нем участие. Он пододвинулся ко мне и предложил рассказать мою историю, что я и сделал со всей грустью и приниженностью, какие приличествовали моему положению и ужасной погоде.

— Если бы ты, подобно мне, был диким голубем, — сказал он, выслушав меня, — то пустяки, о которых ты печалишься, ничуть бы тебя не тревожили. Мы путешествуем, в этом наша жизнь, и у нас есть, конечно, любовные связи, но я не знаю, кто мой отец. Рассекать воздух, преодолевать пространство, видеть под собой горы и равнины, дышать самой лазурью небес, а не испарениями земли, стрелой нестись к намеченной цели, которая никогда от нас не ускользает, — вот наша радость и наша жизнь! Я в один день покрываю такое расстояние, которое человеку не покрыть и в десять дней.

— Честное слово, сударь, вы цыганская птица, — заметил я, немного осмелев.

— Вот еще одна вещь, которая меня мало заботит, — возразил он. — У меня нет родины. Я признаю только три вещи: путешествия, мою жену и моих малышей. Мое отечество там, где моя жена.

— А что это висит у вас на шее? Что-то вроде старой, измятой папильотки.

— Это важные бумаги, — ответил он, напыжившись. — Я сейчас направляюсь в Брюссель и несу известному банкиру*** сообщение, которое вызовет падение ренты на один франк семьдесят восемь сантимов.

— Боже ты мой! — воскликнул я. — Ну и славная же у вас, сударь, жизнь! А Брюссель, я уверен, было бы прелюбопытно посмотреть. Не можете ли вы взять меня с собой? Раз я не дрозд, я, быть может, дикий голубь.

— Если б ты был диким голубем, то за удар клювом, который я тебе только что нанес, ты отплатил бы мне тем же, — возразил он.

— Ну хорошо, сударь, я вам отплачу за него, не будем ссориться из-за таких пустяков. Вот уже и утро настает, и гроза стихает. Ради бога, позвольте мне сопровождать вас! Я погиб, у меня нет ничего больше на свете. Если вы откажете в моей просьбе, мне останется только утопиться в этом желобе.

— Ну что ж! В дорогу! Следуй за мной, если можешь.

Я окинул прощальным взглядом сад, где спала моя мать, и уронил слезу. Ветер и дождь унесли ее. Я расправил крылья и пустился в путь.

III

Мои крылья, как я уже сказал, еще не вполне окрепли. Вожак мой несся, как ветер, я же едва переводил дух, стараясь не отставать от него; некоторое время я держался, но вскоре у меня отчаянно закружилась голова, и я почувствовал, что близок к обмороку.

— Долго еще нам лететь? — спросил я слабеющим голосом.

— Нет, — ответил он, — мы в Бурже. Нам осталось всего шестьдесят лье.

Не желая иметь вид мокрой курицы, я попытался воспрянуть духом и пролетел еще четверть часа, после чего сразу выбился из сил.

— Нельзя ли, сударь, на миг остановиться? — пролепетал я снова. — Меня мучит ужасная жажда, и если мы приедем на дерево...

— Убирайся к черту! Ты только дрозд! — гневно ответил дикий голубь.

Не удостоив меня взглядом, он продолжал свой бешеный полет. Я же, ничего больше не слыша и не видя, упал на хлебное поле.

Не знаю, как долго я пролежал в беспомощности. Когда я очнулся, мне сразу вспомнились последние слова дикого голубя. «Ты только дрозд», — сказал он мне.

«О милые мои родители, вы, значит, ошиблись! — подумал я. — Я возвращусь к вам, вы признаете меня вашим настоящим и законным сыном и вернете мне мое место в той славной куче листьев, на которой стоит миска моей матери».

Я сделал усилие, пытаюсь подняться, но усталость после дороги и боль от падения парализовали мои члены. Едва я стал на лапки, как силы опять изменили мне, и я повалился на бок.

Ужасная мысль о смерти уже возникала у меня в уме, как вдруг в просветы между васильками и маками я увидел, что ко мне идут на цыпочках две очаровательные особы. Одна была маленькая сорока, в прелестных крапинках и необычайно кокетливая, а другая — розовая горлица. Всем своим видом выражая стыдливость и сочувствие моей беде, горлица остановилась в нескольких шагах от меня; сорока же, наименее приятным образом припрыгивая, подошла ко мне.

— Ах, боже мой! Что вы тут делаете, бедное дитя? — спросила она меня шаловливым серебристым голоском.

— Увы, госпожа маркиза, — отвечал я (она, наверно, была по меньшей мере маркизой), — я бедняга путешественник, которого почтарь оставил в пути, и я умираю от голода.

— Пресвятая дева! Что вы говорите! — воскликнула она в ответ.

Тотчас она запорхала по окрестным кустам, засновала назад и вперед и стала приносить мне уйму ягод и плодов, складывая их в кучку передо мной и продолжая меня спрашивать:

— Да кто вы? Да откуда вы явились? Вот невероятное приключение! А куда вы летели? Как можно путешествовать одному, да еще в таком юном возрасте, ведь вы только что впервые отлिनяли! Куда смотрят ваши родители? Из каких они мест? Как они отпустили вас из дома в таком состоянии? Да у меня от этого перья на голове дыбом становятся!

Пока она трещала, я приподнялся на боку и стал есть с большим аппетитом. Горлица не двигалась с места и все так же жалостливо смотрела на меня. Однако она заметила, что я с изнывающим видом вращаю головой, и поняла, что мне хочется пить. На стебельке курослепа повисла капля дождя, что шел ночью. Горлица застенчиво вобрала в клюв эту каплю и робко принесла мне ее, еще совсем прохладную. Конечно, если бы я не был так болен, столь сдержанная особа никогда не позволила бы себе сделать подобный шаг.

Я еще не знал, что такое любовь, но сердце мое трепетно билось. Волнуемый двумя противоположными чувствами, я испытывал неизъяснимое очарование. Мой стол с яствами так радовал взор, мой виночерпий был так участлив и ласков, что я желал бы вечно так завтракать. К сожалению, всему есть предел, даже аппетиту выздоравливающего. Покончив с едой и восстановив свои силы, я удовлетворил любопытство маленькой сороки и расска-

зал ей мои несчастья столь же чистосердечно, как накануне голубю. Сорока слушала меня с большим вниманием, чем ей, казалось, могло быть свойственно, а горлица самым очаровательным образом проявляла свое глубокое сочувствие.

Но когда я коснулся главного предмета моих горестей, то есть неведения, в котором я пребывал насчет самого себя, сорока воскликнула:

— Вы шутите! Это вы-то — дрозд, вы — голубь? Фи! Вы сорока, дитя мое, сорока, уж если на то пошло. И премилая сорока, — прибавила она, слегка ударив меня крылом, точно веером.

— Но, мне кажется, госпожа маркиза, — возразил я, — что для сороки я такого цвета, не в обиду вам будь сказано...

— Русская сорока, мой милый, вы русская сорока! Вы разве не знаете, что они белые? Как вы простодушны, бедняжка!

— Но как я могу быть русской сорокой, сударыня, — продолжал я, — если я родился в самой отдаленной части Марэ, в старой ломаной миске?

— Ах вы, наивное дитя! Вы обязаны своим происхождением, — и не думайте, что вы один, — походу русских на Париж. Доверьтесь мне и не возражайте. Я хочу сейчас же увести вас с собой и показать вам все самое прекрасное на свете.

— Куда это, сударыня, скажите мне, пожалуйста?

— В мой зеленый дворец, душенька. Вы увидите, что там за жизнь! Стоит вам четверть часа побыть сорокой, как вы и слушать ни о чем другом не захотите. Нас там добрая сотня — не тех неуклюжих деревенских сорок, что собираются на больших дорогах, нет, все мы сороки благородные и хорошо воспитанные, все стройные, проворные и не больше кулака. Нет среди нас ни одной, у которой не было бы ровно семи черных пятен и пяти белых; это вещь неизменная, и мы презираем всех остальных сорок на свете. Черных пятен у вас, правда, нет, но

вашего русского происхождения достаточно, чтобы вас приняли в это общество.

Наша жизнь состоит в том, чтобы заниматься двумя делами — болтать и наряжаться. С утра до полудня мы наряжаемся, а с полудня до вечера болтаем. Каждая из нас восседает на каком-нибудь дереве, возможно более высоком и старом. Посреди леса стоит огромный дуб, увы, необитаемый! Там жил покойный сорочий король Пий Сороковой, и мы паломничаем туда, испуская горестные вздохи. Но, за исключением этой легкой печали, мы чудесно проводим время. Жены наши не жеманны, а мужья не ревнивы, но наши забавы невинны и благопристойны, ибо сердца наши так же благородны, как вольна и весела наша речь. Гордость наша беспредельна, и если к нам вотрется какая-нибудь сойка или другая мелюзга, мы ее беспощадно щиплем. Но тем не менее мы добрейшие создания, и вьюрки, щеглы и синицы, которые живут в наших кустарниках, всегда встречают в нас готовность помочь им, накормить их и защитить. Нигде так много не болтают, как у нас, но и нигде так мало не злословят. Есть у нас, правда, старые набожные сороки, которые весь день бормочут свои молитвы, но самая ветреная из наших молодых болтуний может, не опасаясь удара клювом, пройти мимо самой суровой, именитой вдовы. Одним словом, мы живем забавами, почетом, болтовней, славой и нарядами.

— Все это прекрасно, сударыня, — сказал я, — и, конечно, я был бы невежей, если бы ослушался приказаний такой особы, как вы. Но прежде чем я буду иметь честь последовать за вами, разрешите мне, пожалуйста, побеседовать с этой участливой горлицей.

— Мадемуазель, умоляю вас, — продолжал я, обращаясь к горлице, — скажите мне откровенно: как вы думаете, я действительно русская сорока?

В ответ на этот вопрос горлица опустила головку и залилась румянцем — нежно-алым, как ленты Лолотты.

— Право, сударь, — сказала она, — я не знаю, могу ли я...

— Ради бога, говорите, мадемуазель! В моем намерении нет ничего, что могло бы вас оскорбить, совсем напротив. Обе вы, по-моему, так очаровательны, что я клянусь предложить лапку и сердце той из вас, которая пожелает этого, — как только я узнаю, сорока я или что-либо иное. Ибо, глядя на вас, — прибавил я, понизив голос и обращаясь к юной особе, — я чувствую в себе что-то голубиное, и это вызывает во мне странное томление.

— И в самом деле, — заговорила горлица и еще больше покраснела, — я не знаю, быть может это отблеск солнца, падающего на вас сквозь цветы мака, но ваше оперение, мне кажется, слегка окрашено...

Она не решилась договорить до конца.

— Какая мучительная неизвестность! — воскликнул я. — Как узнать, чему мне верить? Как отдать одной из вас свое сердце, если его раздирают такие жестокие сомнения? О Сократ! Когда ты сказал: «Познай самого себя», какой ты нам дал превосходный, но трудно исполнимый совет!

С того дня, когда злополучная песенка так разгневала моего отца, я ни разу больше не пел. Теперь же мне пришлось на ум воспользоваться моим голосом для того, чтобы установить истину. «Чем черт не шутит! — подумал я. — Если после первого же куплета мой уважаемый отец прогнал меня, то второй, самое меньшее, произведет на этих дам некоторое впечатление!»

Итак, я учтиво поклонился, как бы прося снисхождения по случаю того, что попал ночью под дождь, и сначала засвистал, потом зачирикал, потом залился руладами и наконец запел во все горло, как испанский погонщик мулов, дерущий глотку на ветру.

По мере того как я пел, маленькая сорока все больше удалялась от меня с видом удивления, которое вскоре перешло в замешательство, а затем сменилось чувством ужаса, сопровождаемого величайшей досадой. Она описывала круги вокруг меня, как кошка вокруг горячего сала, о которое она только что обожглась, но которого ей все-та-

ки хотелось бы еще отведать. Видя последствия моего опыта, я решил довести его до конца, и чем больше нетерпения проявляла бедная маркиза, тем больше я надсаживался. Целых двадцать пять минут она терпела мои певческие попытки. Наконец, не в силах дольше выдержать, она шумно улетела и возвратилась в свой зеленый дворец. А что касается горлицы, то она почти в самом начале моего пения уснула крепким сном.

«Превосходное действие благозвучия! — подумал я. — О Марэ! О материнская миска! Более чем когда-либо я намерен вернуться к вам!»

В тот миг, когда я готовился улететь, горлица открыла глаза.

— Прощай, прелестный, но скучный незнакомец, — сказала она. — Меня зовут Гурули. Не забывай меня!

— Прекрасная Гурули, — отвечал я, — вы добры, милы и очаровательны. Я хотел бы жить для вас и отдать за вас жизнь. Но вы розового цвета. Такое счастье не для меня!

IV

Плачевное действие, произведенное моим пением, не переставало огорчать меня. «Увы, музыка! Увы, поэзия! — твердил я мысленно, возвращаясь в Париж, — как мало сердец вас понимают!»

Так размышляя, я ударился головой о голову какой-то птицы, летевшей в противоположном направлении. Толчок оказался таким сильным и таким неожиданным, что оба мы упали на верхушку дерева, которое, к счастью, тут оказалось. После того как мы немного отряхнулись, я взглянул на новоприбывшего, ожидая ссоры, и с изумлением увидел, что он белый. Голова у него была, правда, немного больше моей, а на лбу красовалось нечто вроде султана из перьев, придававшего ему героический и в то же время комический вид. К тому же он весьма величаво задирает хвост; впрочем, у него, казалось, не было никаких воинственных намерений. Мы весьма вежливо раскланя-

лись и извинились друг перед другом, после чего вступили в разговор. Я позволил себе спросить, как его зовут и откуда он родом.

— Я удивлен, — ответил он, — что вы меня не знаете. Разве вы не из наших?

— Право, не знаю, сударь, из каких я, — ответил я ему. — Все меня спрашивают и говорят мне одно и то же, словно они побились об заклад.

— Вы шутите, — возразил он. — Ваше оперение вам так пристало, что я узнаю в вас собрата. Вы, несомненно, принадлежите к той знаменитой и почтенной породе, которая по-латыни называется *casatua*, на ученом языке — *какатоес*, а в просторечии — *какаду*.

— Что ж, это возможно, сударь, и это было бы для меня большой честью. Но вы тем не менее поступайте так, как если бы я не принадлежал к этой породе, и благоволите сказать мне, с кем я имею счастье беседовать.

— Я великий поэт Какатоган, — ответил незнакомец. — Я совершил большие путешествия, дальние перелеты по безводным местам и тяжелые странствия. Стихи я сочиняю с давних пор, и мою музу не раз постигали несчастья. Я тихо пел при Людовике XVI, сударь, я горланил за Республику, я с достоинством воспевал Империю, я скромно восхвалял Реставрацию; я даже в последнее время сделал над собой некоторое усилие и не без труда подчинился требованиям этого века, лишённого вкуса. Я выпустил в свет колкие двустушия, возвышенные гимны, изящные дифирамбы, благочестивые элегии, косматые драмы, кудрявые романы, пудренные водевили и плешивые трагедии. Короче говоря, я могу похвалиться тем, что прибавил к храму муз несколько изысканных гирлянд, несколько мрачных зубцов и замысловатых арабесок. Ничего не поделаешь, я состарился. Но я еще бойко рифмую, сударь, и вот сейчас я обдумывал поэму в одной песне, которая займет не менее шестисот страниц, — тут-то вы и посадили мне шишку на лоб. Впрочем, если я могу быть вам чем-нибудь полезен, я весь к вашим услугам.

— И впрямь, сударь, вы это можете, — ответил я, — ибо вы застали меня в большом поэтическом затруднении. Я не осмеливаюсь утверждать, что я поэт, а тем более такой великий поэт, как вы, — прибавил я, отвесив ему поклон, — но природа одарила меня глоткой, которая так и чешется, когда я радуюсь или огорчаюсь. Сказать вам правду, я совсем не знаю правил стихосложения.

— Я их забыл, — сказал Какатоган, — не заботьтесь об этом.

— Но со мной бывает досадная вещь, — возразил я, — мой голос производит на тех, кто его слышит, примерно такое же действие, как голос некоего Жана де Нивеля на... Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Понимаю, — ответил Какатоган. — Я по своему опыту знаю это странное действие. Причина его мне неизвестна, но само действие неоспоримо.

— Так вот, сударь, вы, который являетесь, по-видимому, Нестором поэзии, не знаете ли вы, скажите мне, пожалуйста, какого-нибудь средства против этой мучительной помехи?

— Нет, — ответил Какатоган. — Что касается меня, я никогда не мог найти такого средства. В молодости я очень терзался этим, потому что меня всегда освистывали, теперь же это меня больше не трогает. По-моему, такое отвращение происходит оттого, что публика читает и других авторов, это ее отвлекает.

— Я тоже так думаю. Но согласитесь, сударь, что для того, кто питает добрые намерения, тяжело обращать других в бегство, как только у него возникает доброе побуждение. Не окажете ли вы мне услугу послушать меня и откровенно высказать ваше мнение?

— Весьма охотно, — ответил Какатоган. — Я весь обратился в слух.

Я тотчас запел, и, к моему удовлетворению, Какатоган не стал убегать и не засыпал. Он пристально смотрел на меня, время от времени как бы одобрительно кивая головой, и шептал нечто, по-видимому, лестное. Но я вскоре

убедился, что он не слушает меня и обдумывает свою поэму. Воспользовавшись тем мгновением, когда я переводил дух, он неожиданно перебил меня и, улыбаясь и встряхивая головой, воскликнул:

— А все-таки я нашел эту рифму! Шестьдесят тысяч семьсот четырнадцатая рифма, которая исходит из этой головы! А еще смеют говорить, что я старею! Я прочту это произведение добрым друзьям, прочту его, и посмотрим, что о нем скажут!

С этими словами он взлетел и понесся вдаль, уже совсем забыв, по-видимому, о нашей встрече.

V

Обманувшись в своей надежде и оставшись один, я не мог придумать ничего лучшего, как воспользоваться остатком дня и во весь дух полететь в Париж. К несчастью, я не знал дороги. Мое путешествие с голубем было настолько малоприятным, что не оставило во мне отчетливых воспоминаний, и случилось так, что, вместо того чтобы лететь прямо, я повернул в Бурже налево и, застигнутый темнотой, был вынужден искать пристанища в рощах Морфонтена.

Когда я явился туда, все располагались спать. Сороки и сойки, как известно, самые неуживчивые ночлежницы на свете, крикливо перебранивались кругом. В кустах, наступая друг на друга, пищали вьюрки. У воды, взгромоздясь на свои высокие ходули, степенно расхаживали с задумчивым видом два журавля, два местных Жоржа Дандена, и терпеливо поджидали своих жен. Огромные сонные вороны грузно усаживались на верхушки самых высоких деревьев и гнусили свои вечерние молитвы. Ниже влюбленные синицы еще гонялись друг за другом в густой поросли, а взъерошенный зеленый дятел подталкивал сзади свою половину, заставляя ее войти в дупло. Воробьиные стаи прилетали с полей, подплясывая в воздухе, как завитки дыма, кидались на какое-нибудь деревцо и облепляли

его со всех сторон. Зяблики, славки, малиновки покачивались стайками на узорчатых ветвях, словно хрустальные подвески на канделябрах. Отовсюду звучали голоса, отчетливо говорившие: «Идем, жена!.. Идем, дочурка!.. Пойдем, красавица!.. Сюда, моя любимая!.. Я здесь, милый!.. Доброй ночи, моя возлюбленная!.. Прощайте, друзья!.. Спите спокойно, детки!»

Каково положение для холостяка — ночевать в подобной гостинице! У меня явилось искушение присоединиться к каким-нибудь птицам под стать мне и попросить у них приюта. «Ночью все птицы серы, — подумал я. — А к тому же разве повредишь кому-нибудь, если вежливо поспишь подле него?»

Сначала я направился к канаве, где собирались скворцы. Они с особой тщательностью совершали свой вечерний туалет, и я заметил, что у большинства из них золоченые крылья и лакированные лапки. Это были лесные щеголи, довольно славные малые, не удостоившие меня ни малейшего внимания. Но они вели такие пустые разговоры, так рисовались, рассказывая свои любовные досады и утехи, так грубо ластились друг к другу, что я не мог этого вынести и сбежал оттуда.

Я взлетел на ветку, где усаживались в ряд с полдюжины разных птиц, и скромно занял последнее место на конце ветки в надежде, что меня там потерпят. К несчастью, моей соседкой оказалась старая голубка, высохшая, как жаржавельный флюгер. В ту минуту, когда я подсел к ней, предметом ее забот были немногие перья, покрывавшие ее кости. Она делала вид, что чистит их, но на самом деле побоялась бы нечаянно вырвать хоть одно перышко и только тщательно их осматривала, желая проверить, все ли они налицо. Едва я коснулся ее кончиком крыла, как она величественно выпрямилась.

— Что вы себе позволяете, сударь! — сказала она и с британским целомудрием поджала клюв. Наотмашь ударив локтем, она сбросила меня с такою силой, которая сделала бы честь любому носильщику.

Я свалился в вереск, где спала толстая тетерка. Даже моя мать в своей миске не имела такого блаженного вида. Тетерка была такая жирная, такая пухлая, так удобно распласталась на своем тройном брюшке, что ее можно было принять за паштет с объединенной коркой. Тихонько подкравшись, я расположился подле нее. «Она не проснется, — рассуждал я, — а если и проснется, то такая славная толстуха не может быть очень злой».

Она и в самом деле оказалась не злой. Приоткрыв глаза, она слегка вздохнула и сказала мне:

— Ты меня стесняешь, малыш, уходи отсюда.

В тот же миг я услышал, что меня зовут, — это были певчие дрозды, которые, сидя на рябине, делали мне знаки подойти к ним.

«Наконец-то нашлись добрые души», — подумал я. Покатываясь со смеху, они потеснились, и я скользнул в их пернатую стайку так же ловко, как любовная записка в муфту. Но вскоре я убедился, что эти господа съели винограду больше, чем позволяет благоразумие; они едва держались на ветвях, и их шутки дурного тона, взрывы хохота и вольные песенки вынудили меня удалиться.

Я уже начинал приходить в отчаяние и собирался заснуть где-нибудь в уединенном уголке, как вдруг запел соловей. Все тотчас умолкло. Увы, какой у него был чистый голос! Какой сладостной казалась сама его меланхолия! Звуки его пения не только не тревожили чужой сон, а напротив, словно убаюкивали. Никто не заставлял его замолчать, никто не осуждал за то, что он пел свою песню в столь поздний час; отец не бил его, друзья не обращались в бегство.

— Значит, мне одному не дано быть счастливым! — воскликнул я. — Убегу отсюда, оставлю этот жестокий свет! Лучше искать в темноте дорогу, рискуя быть проглоченным какой-нибудь совой, чем так терзаться зрелищем чужого счастья!

С этой мыслью я снова пустился в путь и долго блуждал наудачу. Чуть забрезжил свет, я увидел башни собора

Парижской Богоматери. Вмиг я достиг его, стал обводить кругом взор и вскоре разглядел наш сад. Быстрее молнии полетел я туда... Увы, он был пуст!.. Тщетно звал я моих родителей — никто не откликнулся. Дерево, где сиживал мой отец, материнский куст, нежно любимая миска — все исчезло. Топор разрушил все: от зеленой аллеи, где я родился, остались только груды хвороста.

VI

Вначале я искал моих родителей по всем окрестным садам, но это был напрасный труд: они, должно быть, приютились в каком-нибудь отдаленном квартале, и я так и не узнал никогда, что с ними случилось.

Исполненный глубочайшей скорби, я уселся на водосточный желоб, куда изгнал меня сначала гнев моего отца. Я проводил там дни и ночи, оплакивая мою печальную жизнь. Я лишился сна, я почти не ел, я чуть не умер с горя.

Однажды, сокрушаясь по обыкновению, я вслух рассуждал:

— Итак, я не дрозд, ибо отец выщипывал у меня перья; не голубь, ибо я свалился в пути, когда захотел полететь в Бельгию; не русская сорока, ибо маленькая маркиза заткнула себе уши, едва я открыл клюв; не горлица, ибо Гурули — сама добрая Гурули! — храпела, как монах, когда я пел; не попугай, ибо Какатоган не соизволил меня выслушать; и вообще никакая другая птица, ибо в Морфонтене меня оставили спать в полном одиночестве. А между тем на теле у меня растут перья, вот лапки, а вот и крылья. Я далеко не урод, доказательством чему служит Гурули, да и сама маленькая маркиза, — обе находили меня довольно привлекательным... В силу какой непостижимой тайны эти перья, эти крылья и лапки не могут составить единое целое, которому можно дать название? Или я случайно...

Мои сетования прервали голоса двух привратниц, ссорившихся на улице.

— Ей-богу, если ты когда-нибудь с этим справишься, — сказала одна из них другой, — я тебе подарю белого дрозда!

— Праведный боже! — вскричал я. — Вот кто я такой! О провидение! Я белый, и я сын дрозда, — я белый дрозд!

Это открытие, признаться, резко изменило ход моих мыслей. Я не стал продолжать моих жалоб, а напыжился и начал спесиво расхаживать по водосточному желобу, с победоносным видом глядя в пространство.

— Быть белым дроздом — это чего-нибудь да стоит, — размышлял я вслух. — Белые дрозды на улице не валяются. Глупо было огорчаться, что я не встречаю себе подобного — это участь гения, это моя участь! Я хотел оставить свет, теперь я хочу его удивить! Я та единственная в своем роде птица, существование которой отрицается чернью, и потому должен и намерен вести себя, как такая птица, — ни более, ни менее, как феникс, — и презирать всех остальных пернатых. Надо мне купить мемуары Альфьери и поэмы лорда Байрона; эта питательная пища внушит мне благородную гордость сверх той, что дана мне от бога. Да, я хочу увеличить, если это только возможно, обаяние моего благородного происхождения. Природа сделала меня редким, я же сделаюсь таинственным. Видеть меня будет милостью, будет честью. А в самом деле, — прибавил я потише, — не показываться ли мне просто-напросто за деньги?

Фи, какая недостойная мысль! Я хочу сочинить, подобно Какатогану, поэму, и не в одной песне, а, как все великие люди, в двадцати четырех... Нет, этого мало, их будет сорок восемь, да еще с примечаниями и с приложением! Надо, чтобы мир узнал о моем существовании. Я не премину оплакать в моих стихах мое одиночество, но так, что самые счастливые создания будут завидовать мне. Раз провидение отказало мне в самке, я буду отчаянно злословить о чужих самках. Я докажу, что все зелено, кроме того винограда, который я сам ем. Соловьи теперь — только держись! Я докажу как дважды два четыре, что от их унылых песен тошнит и что их товар никуда не годится. Надо

сходить к Шарпантье. Я хочу с самого начала создать себе влиятельное положение в литературе. Я намерен окружить себя целой свитой не только журналистов, но и настоящих писателей и даже писательниц. Я напишу роль для госпожи Рашель, а если она откажется ее играть, я буду всюду трубить, что по своему таланту она куда ниже любой старой провинциальной актрисы. Я отправлюсь в Венецию и сниму на берегу Большого канала, в самой середине этого сказочного города, прекрасный дворец Мочениго, который стоит в сутки четыре ливра десять су. Там я вдохновлюсь всеми воспоминаниями, которые, должно быть, оставил по себе автор «Лары». Из глубины моего одиночества я наводню мир потоком перекрестных рифм, в подражание строфе Спенсера, и изолю в них мою великую душу; я заставлю вздыхать всех синиц, заставлю ворковать всех горлиц, исходить слезами всех глупых бекасов и выть всех старых сов. Но сам я буду умолим и недоступен любви. Напрасно будут меня убеждать, будут упрашивать сжалиться над теми несчастными, которых обольстят мои возвышенные песни. На все эти уговоры я отвечу: «К черту!»

О верх славы! Мои рукописи будут продаваться на вес золота, мои книги перейдут моря, известность и богатство последуют за мной повсюду. В своем одиночестве я буду казаться равнодушным к восторженному шепоту толпы, меня окружающей. Словом, я буду совершенным белым дроздом, настоящим чудачком-писателем, всеми обласканным, осыпаемым почестями, вызывающим восхищение и зависть, но донельзя брюзгливым и несносным.

VII

Мне понадобилось не больше полутора месяцев на то, чтобы создать мое первое произведение. Это была, как я и задумал, поэма в сорока восьми песнях. В ней, правда, попадались кое-какие небрежности, вызванные изуми-

тельной быстротой, с которой я сочинил ее, но я полагал, что нынешняя публика, привыкшая к той изящной литературе, которая печатается на нижних столбцах газет, не поставит мне их в упрек.

Я имел успех, достойный меня, то есть небывалый. Темой моего произведения был не кто иной, как я сам, — в этом отношении я сообразовался с господствующей модой нашего времени. Очаровательно рисуясь, я рассказывал о моих былых страданиях и посвящал читателя во множество самых занимательных домашних подробностей. Описание миски моей матери заполняло не менее четырнадцати песен: я перечислял все ее выемки, ее дыры, выпуклости, щербинки, трещины, гвоздики, пятна, различные цвета и оттенки; я показывал ее внутренность, ее наружную сторону, края, дно, бока, ее наклонные и прямые плоскости; перейдя к ее содержимому, я исследовал те травинки, соломинки, сухие листья, щепочки, песчинки, капельки воды, останки мух и отломанные лапки майских жуков, которые в ней находились. Это было восхитительное описание. Но не думайте, что я поместил его всё подряд: есть такие дерзкие читатели, которые бы его пропустили. Искусно разделив его на части, я влил их в повествование, чтобы ничего не пропало для читателей. Таким образом, в самый интересный и самый драматический момент вдруг начинались пятнадцать страниц о миске. Вот, по-моему, один из великих секретов искусства, а так как я не скуп, то пусть им воспользуется кто пожелает.

Выход в свет моей книги привел в волнение всю Европу: она с жадностью накинулась на интимные откровения, которые я соблаговолил ей сообщить. Да иначе и быть не могло. Я не только изложил все факты, связанные с моей особой, но и нарисовал еще читающей публике полную картину всего, что взбрело мне в голову начиная с двухмесячного возраста; я даже вставил в самом прекрасном месте поэмы оду, сочиненную в мою бытность в яйце. И уж само собой разумеется, я не упустил случая затронуть мимоходом тот великий вопрос, который зани-

мает сейчас множество умов, — вопрос о будущем человечества. Эта проблема показалась мне интересной, я набросал в минуту досуга ее возможное решение, и все сочли его удовлетворительным.

Мне ежедневно присылали стихотворные приветствия, поздравительные письма и анонимные объяснения в любви. Что же касается посетителей, я строго придерживался того плана, который начертал себе, — моя дверь была заперта для всех. Однако я не мог не принять двух иностранцев, велевших доложить мне, что они мои родственники. Один был дрозд из Сенегала, другой — дрозд из Китая.

— Ах, сударь, какой вы великий дрозд! — воскликнули они и чуть не задушили меня в объятиях. — Как вы хорошо изобразили в вашей бессмертной поэме всю глубину страдания непризнанного гения! Если бы мы уже не были как нельзя более не поняты, мы бы сделали непонятыми, прочитав вашу поэму. Как мы сочувствуем вашей скорби, вашему величественному презрению к черни! Мы тоже знаем, сударь, по себе знаем тайные муки, воспетые вами! Вот два сонета, мы их сочинили общими усилиями и просим вас благосклонно принять их.

— А вот еще и музыка, которую моя супруга написала на одно место вашего предисловия, — прибавил китаец. — Эта музыка превосходно передает замысел автора.

— Насколько я могу судить, господа, — сказал я им, — природа наделила вас благородным сердцем и просвещенным умом. Простите мою нескромность, я задам вам один вопрос. Отчего вы впадаете в меланхолию?

— Ох, сударь, посмотрите, как я сложен, — ответил житель Сенегала. — Мое оперение, правда, ласкает глаз, оно того красивого зеленого цвета, каким переливают перья уток, но клюв у меня чересчур короток, а лапки чересчур велики. И взгляните только, какой у меня смешной хвост! Длина моего туловища не составляет и двух третей его. Тут есть от чего прийти в отчаяние!

— А что до меня, сударь, — сказал житель Китая, — мое

несчастье еще огорчительнее. Собрат мой подметает хвостом улицы, а на меня мальчишки пальцем показывают, потому что я совсем бесхвостый.

— От всей души жалею вас, господа, — заговорил я. — Всегда досадно иметь слишком много или слишком мало чего бы то ни было. Но разрешите мне сказать вам, что в Ботаническом саду есть несколько похожих на вас особ, которые давно уже весьма спокойно пребывают там, набитые соломой. Как женщине-писательнице недостаточно быть распутной, чтобы написать хорошую книгу, так и дрозду мало быть недовольным, чтобы стать гением. Я единственный в своем роде дрозд и скорблю об этом; быть может, я не прав, но я волен так поступать. Я белый, господа. Сделайтесь белыми, и тогда посмотрим, что вы сможете сказать.

VIII

Несмотря на принятое мною решение и мое напускное спокойствие, я не был счастлив. Мое одиночество, хотя оно и было блистательным, все же казалось мне тягостным, и я не мог без страха подумать о том, что вынужден буду холостяком прожить всю мою жизнь. Возврат весны, в частности, причинял мне отчаянное беспокойство, и я снова начинал впадать в уныние, как вдруг одно непредвиденное обстоятельство решило мою судьбу.

Мои сочинения, разумеется, стали продаваться по ту сторону Ла-Манша, и англичане брали их нарасхват. Англичане берут нарасхват все, кроме того, что они понимают. Я получил однажды из Лондона письмо, подписанное молодой дроздочкой.

«Я прочла вашу поэму, — сообщала она мне, — и испытала такой восторг, что решила изъявить готовность выйти за вас замуж. Бог создал нас друг для друга! Я подобна вам, я белая дроздочка!..»

Легко представить себе мое удивление и мою радость. «Белая дроздочка! — повторил я про себя. — Возможно ли?

Так, значит, я больше не один на свете!» Я поспешил ответить прекрасной незнакомке и сделал это в такой форме, которая ясно свидетельствовала о том, как мне приятно ее предложение. Я настоятельно просил ее прибыть в Париж или позволить мне прилететь к ней. Она ответила, что предпочитает явиться сама, так как ей наскучили ее родные, что она приводит в порядок свои дела и что я скоро ее увижу.

Спустя несколько дней она действительно явилась. О счастье! Это была самая красивая на свете дроздочка и еще более белая, чем я.

— Ах, мадемуазель, — воскликнул я, — или, вернее, госпожа моя, ибо с этой минуты я считаю вас моей законной супругой, — мне прямо не верится, что есть на свете такое очаровательное создание и молва не поведала мне о нем! Да будут благословенны все несчастья, которые я испытал, и удары клювом, которые мне наносил мой отец, раз небо готовило мне столь неожиданное утешение! До нынешнего дня я думал, что обречен на вечное одиночество, и, сказать вам откровенно, это тяжелое бремя. Но, глядя на вас, я чувствую в себе все качества отца семейства. Примите же немедленно мою руку и сердце. Поженимся на английский лад, без всякой помпы, и отправимся вместе в Швейцарию.

— Я так не желаю, — ответила мне дроздочка. — Я хочу, чтобы у нас была пышная свадьба и чтобы все, какие есть во Франции, дрозды хоть сколько-нибудь благородного происхождения торжественно собрались на нее. Таких дроздов, как мы, уже их личная репутация обязывает жениться не так, как дворовые кошки. Я захватила с собой изрядное количество банковых билетов. Разошлите приглашения, сходите к вашим поставщикам и не поскупились на закуски.

Я слепо повиновался приказаниям белой дроздочки. Наша свадьба отличалась неслыханной роскошью, на ней было съедено десять тысяч мух. Нас обвенчал преподобный отец Баклан, архиепископ *in partibus infidelium*. Ве-

ликолепный бал завершил это торжество. Словом, счастье мое было полным.

Чем больше я узнавал характер моей очаровательной жены, тем сильнее становилась моя любовь к ней. Она сочетала в своей миловидной особе все прелести души и тела. Она только была слегка жеманна, но я приписывал это влиянию английских туманов, среди которых она жила до сих пор, и не сомневался в том, что климат Франции вскоре развеет это легкое облачко.

Серьезнее беспокоило меня другое обстоятельство: какая-то таинственность, которой она необычайно упорно окружала себя иногда, — запиралась на ключ со своими горничными и проводила так целые часы; занимаясь, как она утверждала, своим туалетом. Мужья не очень любят подобные причуды в семейном быту. Много раз случалось так, что я стучался в покои моей жены и не мог добиться, чтобы мне открыли дверь. Это меня ужасно выводило из терпения. Однажды я стал настаивать так сердито, что жена была вынуждена уступить мне и, горько жалуясь на мою назойливость, несколько поспешно открыла дверь. Входя в комнату, я заметил большую бутылку, полную какого-то клея из муки и испанских белил. Я спросил жену, зачем ей понадобилось такое снадобье. Она ответила, что смазывает этим болеутоляющим средством отмороженные места.

Такое объяснение показалось мне слегка подозрительным, но разве могла мне внушать недоверие столь кроткая и благоразумная особа, которая отдалась мне так восторженно и чистосердечно?

Вначале я не знал, что моя возлюбленная — писательница. Она призналась мне в этом через некоторое время и даже показала рукопись романа, в котором подражала и Вальтеру Скотту и Скаррону зараз. Можно себе представить, какую радость доставила мне столь приятная неожиданность! Я не только обладал несравненной красавицей, но и удостоверился в том, что ум моей спутницы жизни во всем достоин моего гения. С этой минуты мы

стали работать вместе. Пока я сочинял свои поэмы, она марала целые стопы бумаги. Я читал ей вслух мои стихи, и это нисколько не мешало ей тем временем писать. Она высиживала свои романы с легкостью, почти равной моей, и всегда выбирала самые драматические сюжеты: отцеубийства, похищения, убийства и даже мошенничества, всегда стараясь мимоходом нападать на правительство и проповедовать эмансипацию дроздочек. Короче сказать, ее уму ничего не стоило сделать любое усилие, ее стыдливости — совершить любой полет воображения. Ей никогда не случалось вычеркнуть хоть одну строку или составить план, прежде чем приступить к писанию. Это был безукоризненный образец литературной дроздочки.

Однажды, когда она с необычным усердием предавалась сочинительству, я заметил, что с нее струится пот, и тут же, к моему удивлению, увидел у нее на спине большое черное пятно.

— Ах, боже мой, что же это такое? — спросил я. — Уж не больны ли вы?

Сначала она как будто слегка испугалась и даже смутилась, но вскоре ей пришла на помощь привычка жить в свете, и к ней вернулось то изумительное самообладание, которое она всегда сохраняла. Она пояснила мне, что это чернильное пятно и что такая вещь с ней часто бывает в минуты вдохновения.

«Неужели моя жена выцветает?» — подумал я. Эта мысль помешала мне заснуть. Мне пришла на память бутылка с клеем.

— О небо, какое подозрение! — воскликнул я. — Неужели это небесное создание только видимость, только клеевая краска? Не навела ли она на себя блеск, желая обмануть меня?.. Неужели, думая прижать к сердцу сестру души моей, существо, взысканное природой, для меня одного созданное, я женился только на мукé?

Это ужасное сомнение терзало меня, и я придумал, как от него избавиться. Я купил барометр и страстно ждал, когда он предскажет дождливый день. Я хотел вы-

брать пасмурное воскресенье, отправиться с женой за город и подвергнуть ее испытанию дождем. Но была середина июля, и погода стояла отчаянно хорошая.

Видимость счастья и привычка к сочинительству очень усилили мою чувствительность. Я был столь наивен, что в минуты творчества чувство иной раз брало во мне верх над мыслью, и я заливался слезами в ожидании рифмы. Моя жена очень любила эти редкие мгновения: всякое проявление мужской слабости радует гордость женщины. Однажды ночью, когда я, следуя правилу Буало, отделявал зачеркнутое место, случилось так, что я излил мою душу.

— О ты! — воскликнул я, обращаясь к моей милой дроздочке. — Ты, единственная и самая любимая! Ты, без кого моя жизнь — пустой сон! Ты, чей взгляд, чья улыбка преображают для меня весь мир, — знаешь ли ты, жизнь моего сердца, как я люблю тебя? Чтобы изложить стихами банальную мысль, уже избитую от частого употребления, я при некотором старании легко нахожу слова. Но где я возьму их, чтобы выразить тебе то, что внушает мне твоя красота? Само воспоминание о моих былых горестях подскажет ли мне хоть слово, чтобы поведать тебе, как я счастлив в настоящем? До того как ты явилась ко мне, мое одиночество было одиночеством изгнанного сироты, теперь оно — одиночество короля. Знаешь ли ты, ангел мой, понимаешь ли ты, моя красавица, что в этом слабом теле — брэнной моей оболочке, пока смерть не превратит ее в прах, — в этом жалком, лихорадочно возбужденном мозгу, где кипит бесплодная мысль, — не может быть ничего, что не принадлежало бы тебе? Выслушай, что в силах сказать тебе мой ум, и сердцем пойми, насколько больше моя любовь! О, если бы гений мой был жемчужиной, а ты — Клеопатрой!

Болтая этот вздор, я плакал над моей женой, и она явно теряла свою окраску. С каждой слезой, которая капала из моих глаз, обнаруживалось перо даже не черное, а совсем порыжелое (по-видимому, она еще раньше полиняла

где-то в другом месте). После нескольких минут умиления я оказался в обществе птицы, с которой отвалился клей и осыпалась мука, птицы, точь-в-точь похожей на самых заурядных и пошлых дроздов.

Что было делать? Что сказать? Какое принять решение? Всякие укоры были бесполезны. Правда, я мог бы подвести этот случай под юридическое понятие недействительности сделки ввиду обнаруженных изъянов и мог бы потребовать расторжения нашего брака; но как бы я отважился сам разгласить свой позор? Разве недостаточно мне было моего несчастья? Я взял себя в лапки, я решил покинуть свет, оставить литературное поприще, бежать в пустыню, если это будет возможно, избегать даже вида живого существа и, подобно Альсесту,

...искать себе на свете уголок,
Где белый дрозд свободно жить бы мог!

IX

Потом я улетел, все еще заливаясь слезами, и ветер, эта воля случая для птиц, отнес меня на одну из ветвей Морфонтена. На этот раз все уже спали.

«Какой брак! — думал я. — Какой опрометчивый поступок! Бедняжка набелилась, конечно, с добрым намерением, но от этого я не менее достоин сожаления, а она — не менее рыжая».

Соловей еще пел. Один во мраке ночи, он с восторгом расточал тот божественный дар, который ставит его несравненно выше поэтов, и свободно излагал свою мысль окружавшей его тишине. Я не мог устоять перед искушением подойти к нему и поговорить с ним.

— Какой вы счастливцев! — сказал я ему. — Мало того, что вы поете сколько вам угодно, и притом очень хорошо, и все вас слушают, — у вас еще есть жена и дети, ваше гнездо, ваши друзья, славная моховая подушка, полная луна и нет никаких газет. Рубини и Россини ничто по сравнению

с вами: вы стоите одного и предвосхищаете другого. Я тоже пел, сударь, но очень плохо. Я выстраивал слова рядами, точно прусских солдат, и сочетал между собою всякие нелепости, пока вы распевали в рощах. Можно узнать ваш секрет?

— Да, — отвечал мне соловей, — но это совсем не то, что вы думаете. Моя жена надоела мне, я не люблю ее. Я влюблен в розу — перс Саади рассказывал об этом. Всю ночь я заливаюсь для нее, а она спит и не слышит меня. Чашечка ее сейчас закрыта: она убаюкивает в ней старого жука, — а завтра утром, когда я, изнемогая от горя и усталости, вернусь на мое ложе, вот тогда роза вся раскроется, и пчела будет снестать ей сердце!

МИМИ ПЕНСОН

I

В прошлом году лекции на медицинском факультете посещал в числе других студентов молодой человек, которого звали Эжен Обер, юноша лет девятнадцати, из хорошей семьи. Родители его жили в провинции, и он получал от них скромное, но для него достаточное содержание. Он вел размеренную жизнь и слыл человеком мягкого нрава. Товарищи любили Эжена: он был неизменно добр и услужлив, рука у него была щедрая, а сердце открытое. Единственным его недостатком считалась чрезмерная склонность к задумчивости и уединению и необычайная сдержанность в самых простых словах и поступках, из-за которой он был прозван «барышней» — прозвище, одинаково потешавшее как его самого, так и его приятелей, отнюдь не имевших в виду ничего обидного, ибо всем было известно, что при случае Эжен мог быть столь же отважен, как и всякий другой. Но поведение его действительно немного оправдывало эту кличку, главным образом потому, что оно резко отличалось от обыкновений его товарищей. Когда дело шло о занятиях, Эжен трудился усерднее всех, но стоило заговорить о загородной прогулке, обеде в «Мулен де Бер» или вечеринке с танцами в «Шомьер», как «барышня», отрицательно покачав головой, отправлялся к себе в меблированную комнатушку. Вещь неслыханная среди студентов: у Эжена не только не было любовницы, — а по возрасту и наружности он вполне мог рассчитывать на успех, — но он даже никогда не держивался у прилавка полюбезничать с продавщицей,

что с незапамятных времен стало обычаем Латинского квартала. Красотки, которые живут на холме святой Женевьевы и разделяют любовные восторги студентов, внушали ему неприязнь, доходившую до отвращения. Он считал их особой породой существ, породой опасной, неблагодарной и порочной, созданной, чтобы сеять повсюду зло и несчастье, а взамен давать лишь ничтожные наслаждения. «Берегитесь этих женщин, — твердил он, — это куклы из раскаленного железа». И, к сожалению, у него не было недостатка в примерах для оправдания своей ненависти. Ссоры, беспутство, порой даже разорение, порожденные этими мимолетными связями, столь похожими издали на счастье, — все это слишком часто случалось в прошлом, случается в наши дни, как будет, вероятно, случаться и впредь.

Разумеется, друзья Эжена вечно подшучивали над его суровой нравственностью и щепетильностью.

— Чего ты хочешь? — часто спрашивал его один из товарищей, некто Марсель, любивший прикинуться прожигателем жизни. — Что доказывает один какой-то проступок или несчастье, случайно постигшее человека?

— Что следует воздерживаться, из опасения, как бы это не повторилось, — отвечал Эжен.

— Вздор! — возражал Марсель. — Твой довод шаток, как карточный домик. Что тебя тревожит? Кто-то из нас проигрался в карты: разве это причина, чтобы сделаться монахом? Один остался без гроша, другой пьет лишь воду: разве у Элизы пропадает из-за этого аппетит? Кто виноват, если сосед закладывает часы в ломбард, а потом ломает себе руку в Монморанси? Соседка-то ведь не становится безрукой! Ты дерешься из-за Розали, получаешь удар шпагой, плутовка отворачивается от тебя — это в порядке вещей; но разве от этого она становится менее стройной? Подобных неполадок в жизни немало, но их все же меньше, чем ты думаешь. Погляди-ка лучше в ясный воскресный день, сколько дружных парочек в кафе, на бульварах, в кабачках. Полюбуйся на пузатые омнибусы, набитые,

переполненные гризетками, которые едут в Ранла или Бельвиль. Попробуй сосчитать их в какой-нибудь праздник на улицах квартала Сен-Жак: батальоны модисток, армии белошвеек, тучи продавщиц табака — и все веселятся, у всех свои любовные делишки, все набрасываются на окрестности Парижа, на загородные беседки, словно стаи воробьев. А в дождливую погоду они отправляются в мелодраму есть апельсины и плакать. Ибо, что греха таить, едят они много и плачут тоже весьма охотно, а это признак доброго сердца. И что за беда, если эти бедняжки, которые всю неделю шили, приметывали, подрубали и штопали, в воскресный день на собственном примере покажут, как надо забывать горести и любить ближнего. И разве не разумнее всего порядочному человеку, который целую неделю провел за не слишком приятными анатомическими занятиями, порадовать свои глаза видом свежего личика, округлой ножки и прекрасной природы?

— Гробы позлащенные! — восклицал Эжен.

— Я говорю и настаиваю, — продолжал Марсель, — что гризеткам можно и следует воздавать должное и что умеренное общение с ними весьма полезно. Во-первых, они добродетельны, ибо день-деньской проводят за изготовлением одеяний, самых необходимых для скромности и целомудрия; во-вторых, они учтивы, ибо всякая хозяйка мастерской требует от мастерицы вежливого обращения с заказчиками; в-третьих, очень чистоплотны и аккуратны, ибо если они будут пачкать белье и ткани, с которыми все время возятся, то меньше заработают; в-четвертых, откровенны, так как употребляют крепкие напитки; в-пятых, бережливы и неприхотливы в еде, ибо с большим трудом зарабатывают свои тридцать су, а полакомиться и покутить им удастся только на чужой счет; в-шестых, очень веселы, ибо работа у них обычно смертельно скучная, и, едва закончив ее, они начинают резвиться, как рыбки в воде. Преимущество их еще в том, что они не надоедливы, потому что целыми днями прикованы к стулу, с которого не смеют подняться, а стало быть, не могут бе-

гать за своими любовниками, как женщины из общества. Кроме того, они не болтливы, так как должны считать стежки. Они не транжирят денег ни на обувь, ибо ходят немного, ни на платья, ибо им весьма редко отпускают в долг. Если они грешат непостоянством, то отнюдь не потому, что начитались дрянных романов или были испорчены от природы, а просто под их окнами проходит слишком много разных людей. С другой стороны, свою способность к истинной страсти они убедительно доказывают тем, что ежедневно во множестве бросаются с набережных или из окон или отравляются угаром в своих каморках. Правда, они неудобны тем, что из-за своего постоянного воздержания почти всегда хотят есть и пить, но зато вместо обеда они могут обойтись кружкой пива или сигарой — качество драгоценное и весьма редкое в семейной жизни. Словом, я утверждаю, что они добры, приветливы, верны, бескорыстны и их нельзя не пожалеть, когда они кончают жизнь в больнице.

Эти разговоры обычно происходили в кафе, когда Марсель уже начинал горячиться; тогда он наполнял стакан своего друга и требовал, чтобы тот выпил за здоровье мадемуазель Пенсон, белошвейки, жившей по соседству. Но Эжен хватался за шляпу и незаметно исчезал, а Марсель продолжал разглагольствовать в обществе товарищей.

II

Мадемуазель Пенсон не была хорошенькой женщиной в обычном смысле слова. Существует большая разница между хорошенькой женщиной и хорошенькой гризеткой. Правда, если женщина, прославившаяся хорошенькой и всеми в Париже признанная, вздумает нарядиться в чепчик, ситцевое платье и шелковый передничек, то она вполне сойдет за хорошенькую гризетку. Но если гризетка натянет на себя шляпу, бархатную накидку и платье от Пальмиры, это вовсе не сделает ее хорошенькой женщи-

ной; напротив того, весьма вероятно, что ее примут — и не без основания — за манекен. Очевидно, все дело в различных условиях жизни этих созданий, а главное — в куске свернутого картона, обтянутого материей и именуемого шляпой, которую женщины упрямо надвигают на глаза, словно шляпы — это шоры, а сами они — лошади. (Следует заметить, однако, что шоры препятствуют лошадям глазеть по сторонам, а кусок картона этому отнюдь не препятствует.)

Так или иначе, чепчик дает право на вздернутый носик, который, в свою очередь, требует приятно очерченного рта, а последнему нужны красивые зубы и — в качестве рамки — круглое личико. Круглому личику необходимы блестящие глаза; по возможности, цвет их должен быть черный, как и цвет бровей. Волосы могут быть *ad libitum*, поскольку черные глаза все искупают. Как видите, всему этому еще очень далеко до красоты в обычном понимании. Получается то, что принято называть смазливим личиком, — классическое личико гризетки, которое, быть может, оказалось бы уродливым под куском картона, но в чепчике кажется порою прелестным и более привлекательным, чем сама красота. Такова была мадемуазель Пенсон.

Марсель вбил себе в голову, что Эжену следует ухаживать за мадемуазель Пенсон. Почему? Понятия не имею, разве лишь потому, что сам он был обожателем мадемуазель Зели, задушевной подруги мадемуазель Пенсон. Ему казалось естественным и удобным устроить все по своему вкусу, чтобы предаваться любви в дружеском обществе. Подобные расчеты нередки и оправдываются довольно часто, ибо с сотворения мира самое сильное из искушений — это стечение обстоятельств. Кто сосчитает, сколько счастливых или несчастных происшествий, страстей, ссор, радостей и мучений порождают смежные двери, потайная лестница, коридор или разбитое окно?

Все же иные люди не желают подчиниться подобной игре случайностей. Они хотят завоевывать свои радости,

а не выигрывать их в лотерею, и не чувствуют себя расположенными влюбиться в хорошенькую женщину только потому, что оказались рядом с ней в дилижансе. Таков был Эжен, и Марсель это знал: вот почему он давно уже разработал несложный, но превосходный, по его мнению, план, который, несомненно, должен был сломить сопротивление Эжена.

Марсель решил устроить ужин, выбрав в качестве предлога свои именины. Он заказал две дюжины пива, большой кусок холодной телятины с салатом, огромный, тяжелый, как камень, пирог и бутылку шампанского. Пригласив сперва двоих приятелей-студентов, он дал потом знать мадемуазель Зели, что вечером у него состоится торжество, на которое ей надлежит привести мадемуазель Пенсон. Не прийти было невозможно: Марсель слыл — и по праву — представителем золотой молодежи Латинского квартала, одним из тех, кому не отказывают. Едва часы пробили семь, как обе гризетки постучались к нему в дверь: мадемуазель Зели — в коротеньком платье, серых башмачках и чепчике с цветами, мадемуазель Пенсон, одетая более скромно, — в бессменном черном платье, которое, по общему мнению, придавало ей какое-то сходство с испанкой, чем она весьма гордилась. О тайных замыслах хозяина дома обе они, разумеется, не имели никакого понятия.

Марсель был слишком умен, чтобы пригласить Эжена заранее; ясно было, что тот откажется. Лишь когда девушки уселись за стол и выпили по кружке пива, он попросил позволения отлучиться на минуту, чтобы привести еще одного гостя, и пошел к дому, где жил Эжен. Тот, по обыкновению, занимался один, окружив себя книгами. После двух-трех незначительных замечаний Марсель, как всегда, начал мягко упрекать своего друга за то, что тот слишком утомляется и совершенно напрасно отказывает себе в развлечениях, а затем предложил прогуляться. Эжен, и в самом деле уставший после целого дня занятий, согласился; они вместе вышли, и после небольшой прогулки по

Люксембургскому саду Марселю было нетрудно уговорить Эжена подняться к нему.

Оставшись одни и, видимо, соскучившись в ожидании, обе гризетки в конце концов расположились как дома: они сбросили шали и чепчики и принялись танцевать, напевая контрданс и время от времени в виде опыта прикладываясь к угощениям. Веселые и запыхавшиеся, с блестящими глазами и разгоревшимися щеками, они остановились только тогда, когда им поклонился удивленный, растерянный Эжен. Он жил таким отшельником, что девушки почти не знали его; поэтому они тотчас с ног до головы оглядели его с дерзким любопытством, которое составляет привилегию этого рода созданий, и снова принялись как ни в чем не бывало петь и плясать. Гость, слегка сбитый с толку, попятился было назад, подумывая, по-видимому, о бегстве, но Марсель, дважды повернув в дверях ключ, швырнул его на стол.

— Все еще нет никого! — закричал он. — Куда девались наши друзья? Ну, бог с ними, зато дикарь в наших руках. Сударыни, позвольте представить вам красу Франции и Наварры, образец добродетели, который с давних пор жаждет этой чести и, в частности, является горячим поклонником мадемуазель Пенсон.

Танцы снова прекратились, и мадемуазель Пенсон, слегка присев, надела чепчик.

— Эжен! — воскликнул Марсель. — Сегодня мои именины! Эти дамы соблаговолили отпраздновать их вместе с нами. Правда, я затащил тебя почти насильно, но я надеюсь, что, снизойдя к нашей общей просьбе, ты останешься добровольно. Сейчас около восьми часов, и можно покурить, пока мы еще не проголодались.

При этих словах он кинул многозначительный взгляд на мадемуазель Пенсон, которая тотчас же поняла его и, вторично присев, с улыбкой сказала Эжену нежным голосом:

— Да, сударь, мы тоже просим вас.

Тут в дверь постучали два студента, приглашенные Марселем. Эжен понял, что не сможет уйти, не совершив неучтивости, и, покорившись своей участи, вместе со всеми уселся за стол.

III

Ужинали долго и шумно. Мужчины сперва наполнили комнату табачным дымом, а потом принялись усердно пить, чтобы освежиться. Дамы, взявшие на себя труд поддерживать разговор, увеселяли общество более или менее колкими замечаниями насчет друзей и знакомых и более или менее вероятными историями, почерпнутыми в недрах мастерских. Если этим историям не хватало правдоподобия, то они, во всяком случае, не были скучны. По этим рассказам выходило, например, что двое клерков, заработав игрою на бирже двадцать тысяч франков, промотали их в полтора месяца с двумя продавщицами перчаток. Сын одного из богатейших парижских банкиров предложил знаменитой белошвейке ложу в Опере и загородный дом, от которых она отказалась, предпочитая ухаживать за родителями и блюсти верность приказчику из «Двух обезьян». Некто, не названный по имени и принужденный из-за своего высокого положения окружать себя величайшей тайной, посещал вышивальщицу с проезда Нового моста, которую потом внезапно похитили по распоряжению свыше, усадили ночью в почтовую карету, сунули ей бумажник, набитый банковыми билетами, и отправили в Соединенные Штаты, и т. д.

— Довольно, — сказал Марсель. — Все это нам известно. Зели сочиняет, а мадемуазель Мими (так звали мадемуазель Пенсон в дружеском кругу) просто недостаточно осведомлена. Ваши клерки, прыгая через лужи, заработали только ревматизм; ваш банкир преподнес всего-навсего лишь апельсины, а ваша вышивальщица так далека от Соединенных Штатов, что ее можно навещать ежеднев-

но от двенадцати до четырех в Доме призрения, куда она переселилась из-за отсутствия съестных припасов.

Эжен сидел возле мадемуазель Пенсон. Ему показалось, что при этих словах, сказанных с полным равнодушием, она побледнела. Но почти сразу же поднялась, закурила папироску и непринужденно заявила:

— А теперь помолчите! Прошу слова я. Раз сеньор Марсель не верит сказкам, я расскажу быль, *et quogum pars magna fui*.

— Вы говорите по-латыни? — удивился Эжен.

— Как видите, — ответила мадемуазель Пенсон. — Это изречение перешло ко мне от дядюшки, который служил в армии великого Наполеона и всякий раз, когда собирался рассказать о каком-нибудь сражении, не забывал произнести эти слова. Если вы не понимаете, что они означают, могу бесплатно просветить вас. Они означают: «Даю вам честное слово». Итак, да будет вам известно, что на прошлой неделе мы с подружками Бланшет и Ружет отправились в «Одеон».

— Подождите, пока я разрежу пирог, — прервал ее Марсель.

— Режьте, но слушайте, — возразила она. — Итак, мы с Бланшет и Ружет пошли в «Одеон» смотреть трагедию. Вы знаете, что Ружет совсем недавно похоронила бабушку и получила в наследство четыреста франков. Мы взяли ложу бенуара. В партере сидели трое студентов; они оглядели нас и под предлогом, что мы одни, пригласили ужинать.

— Так, с места в карьер? — спросил Марсель. — Нечего сказать, учтиво. Надеюсь, вы отказались?

— Нет, сударь, мы согласились и в антракте, не дожидаясь конца пьесы, отправились к Вьо.

— С кавалерами?

— С кавалерами. Гарсон, конечно, прежде всего объявил, что у него уже ничего нет, но нас таким приемом не испугать. Мы велели закупить в городе все, чего не оказалось у Вьо. Ружет взяла перо и заказала настоящий свадеб-

ный ужин: креветки, сладкий омлет, пирожки, ракушки, меренги — все, что только можно было придумать съедобного. Надо сказать, что наши юные незнакомцы при этом слегка поморщились...

— Тут поморщишься! — вставил Марсель.

— Но мы не обратили внимания. Когда начали подавать, мы принялись разыгрывать избалованных дам. Ничего-то нам не нравилось, все было невкусно. Стоило принести какое-нибудь блюдо, как мы отправляли его назад и требовали другое. «Гарсон, уберите, это же несъедобно, откуда вы взяли такую гадость?» Наши незнакомцы с удовольствием поели бы, но им это так и не удалось. Словом, мы поужинали так, как обедал Санчо, а гнев наш дошел до того, что мы даже побили немного посуды.

— Миленькое поведение! А как расплачиваться?

— Именно этот вопрос и задали себе незнакомцы. Из их перешептывания выяснилось, что у одного было шесть франков, у другого — несравненно меньше, а у третьего оставались лишь часы, которые он великодушно тут же извлек из кармана. Засим несчастная тройца отправилась к хозяину, чтобы добиться какой-нибудь отсрочки. И как вы думаете, что им ответили?

— Я полагаю, — подхватил Марсель, — что вас оставили в качестве залога, а их отправили в кутузку.

— Ничуть не бывало, — ответила мадемуазель Пенсон. — Прежде чем пройти в кабинет, Ружет все рассчитала и заранее за все заплатила. Представляете их изумление, когда Вьо ответил: «Господа, за все заплачено!» Наши незнакомцы вытаращили на нас глаза, словно три дворняжки на трех епископов, с жалостным изумлением и чистой нежностью. Мы же, притворившись, что ничего не замечаем, вышли и наняли фиакр. «Дорогая маркиза, — обратилась ко мне Ружет, — надо отвезти этих господ домой». А я ей в ответ: «С удовольствием, дорогая графиня». Наши несчастные обожатели уже не знали, что и говорить. Ну и дурацкий у них был вид! Они отказывались от нашего любезного предложения, не желали, чтобы их

отвезли, пытались скрыть свой адрес... Еще бы! Они были твердо уверены, что имеют дело со светскими дамами, а сами жили они на улице Кота-рыболова!

Студенты, приятели Марсея, которые до сего времени лишь молча курили и пили, казалось, были не в восторге от этой истории. Лица их омрачились; возможно, они могли порассказать о злополучном ужине не меньше, чем мадемуазель Пенсон, ибо они тревожно взглянули на нее, когда Марсель, смеясь, сказал:

— Маски долой, мадемуазель Мими! Дело это прошлое, так что вреда вы никому не причините.

— Ни за что, господа! — возразила гризетка. — Можно подурочить человека, но испортить ему репутацию — ни за что!

— Вы правы, — поддержал ее Эжен, — и поступаете разумнее, чем, может быть, сами сознаете. Почти у всех этих молодых людей, наполняющих учебные заведения, есть в прошлом какой-нибудь проступок, какое-нибудь безрассудство, а ведь именно из их числа Франция ежедневно черпает своих лучших, самых достойных людей — врачей, государственных деятелей...

— О, конечно, — подхватил Марсель. — Истинная правда! Среди них есть даже будущие пары Франции в зародыше, которые столуются у Фликото и не всегда могут заплатить за обед. Но, — добавил он, подмигнув, — вы больше не видели своих незнакомцев?

— За кого вы нас принимаете? — со строгим, почти оскорбленным видом спросила Мими Пенсон. — Вы же знаете Бланшет и Ружет! Надеюсь, вы не думаете, что я сама...

— Ну, ну, не сердитесь, — прервал ее Марсель. — Но, в общем, что за безрассудная затея! Три сумасбродки, которым завтра, быть может, не на что будет пообедать, бросают деньги на ветер только для того, чтобы подурочить трех bestолковых юнцов.

— А зачем они приглашают нас ужинать? — возразила Мими.

IV

Вместе с пирогом явилась во всем своем блеске единственная бутылка шампанского, которая должна была послужить десертом. С вином пришли и песни.

— Я вижу, — заявил Марсель, — я вижу, как сказал Сервантес, что Зели кашляет. Это признак того, что ей хочется петь. Но так как сегодня чествуют меня, то, с дозволения почтенного общества, я попрошу мадемуазель Мими, если она не охрипла от своего рассказа, удостоить нас песней. Эжен, — продолжал он, — ну, будь хоть немного учтивее, чокнись со своей соседкой и попроси ее спеть для меня какие-нибудь куплеты.

Эжен покраснел и повинувался. И как раньше Мими Пенсон почтила его приглашением остаться, так теперь и он, поклонившись, робко попросил: «Да, сударыня, мы все вас просим» — и тотчас коснулся своим бокалом бокала гризетки. От легкого прикосновения стекло издало ясный, серебристый звук. Подхватив этот звук на лету чистым и свежим голосом, Мими Пенсон залилась длинной трелью.

— Ну, что ж, — сказала она, — я согласна, раз мой бокал подсказывает мне «ля». Но что вам спеть? Предупреждаю, что я хоть и не святоша, но казарменных куплетов не знаю. Моя память — не мусорный ящик!

— Ясно, ясно, — отмахнулся Марсель, — вы сама добродетель. Пойте, что хотите, у нас свобода мнений.

— Хорошо. Я спою наудачу куплеты, сочиненные про меня.

— Внимание! А кто автор?

— Мои товарки по работе. Это поэзия иглы, так что прошу о снисхождении.

— Припев в вашей песенке есть?

— Что за вопрос! Разумеется!

— В таком случае, — воскликнул Марсель, — возьмем ножи и будем стучать во время припева, но постараемся попадать в такт. Зели, если желает, может воздержаться.

— Это еще почему, бессовестный? — сердито спросила Зели.

— Потому! — ответил Марсель. — А если вы не желаете отставать от других, то вот вам пробка, стучите ею — нужно пощадить и наши уши и ваши нежные ручки.

Сдвинув тарелки и кружки, Марсель уселся посреди стола с ножом в руке. Студенты — герои ужина Ружет — немного осмелев, развинтили трубки и собрались стучать деревянными мундштуками; Эжен о чем-то размышлял, Зели дулась. Мими Пенсон, взяв тарелку, жестом показала, что хочет разбить ее, а когда Марсель в знак согласия кивнул головой, певица соорудила из черепков кастаньеты и, заранее попросив прощения за все, что было слишком лестного для нее в этой песне, запела сочиненные ее подругами куплеты:

Мими Пенсон могу узнать я,
Могу узнать я без труда:
Все тот же чепчик, то же платье —
Тирлим-пом-пом! —
На ней всегда!

Нелегкий ей удел достался,
Но был у бога свой резон:
Он добивался,
Чтобы в закладе не валялся
Простой наряд Мими Пенсон.

К ее груди цветок приколот
В часы тревог, в часы забав;
И, как цветок, чудесно молод
Моей Мими
Беспечный нрав.

Она умеет из бутылок
Извлечь веселый перезвон;
Под стуки вилок
Порой сползает на затылок
Простой чепец Мими Пенсон.

Так быстроглаза, так проворна,
 Что у прилавка день-деньской
 Студенты ждут, склоняясь покорно, —
 Тирлим-пом-пом! —
 Пред ней с тоской!

Но пусть манят Мими проказы —
 В ней скрыта мудрость всех Сорбонн,
 На страже разум:
 Никто не мог измять ни разу
 Простой наряд Мими Пенсон.

А коль останется в девицах —
 Не велика беда, ей-ей!
 Тогда век не разлучится
 Моя Мими
 С иглой своей.

Не страшен ей повеса ловкий,
 Ее прельстить не сможет он.
 К чему уловки?
 Скрывает умную головку
 Простой чепец Мими Пенсон.

Зато когда Амур предложит
 В законный брак Мими вступить,
 Она счастливица чем-то сможет —
 Тирлим-пом-пом! —
 Вознаградить!

Ее наряд — не плащ бесценный,
 И мехом он не окаймлен:
 Обыкновенный —
 Приют жемчужины смиренный —
 Простой наряд Мими Пенсон.

Любя республику без шуток,
 Душой свободе предана,
 На баррикадах трое суток
 Моя Мими
 Не знала сна,

Врагов колола беззаветно...
 Тот в жизни щедро награжден,
 Чей бант трехцветный
 Украсит скромный, неприметный,
 Простой чепец Мими Пенсон.

Ножи и трубки, а заодно с ними и стулья отстукивали, как полагается, конец каждого куплета. На столе плясали кружки, а полупустые бутылки, весело покачиваясь, подталкивали друг друга.

— И эту песенку сочинили ваши подружки? — спросил Марсель. — Ну, без маляра не обошлось, слишком много краски. Знаем мы эти хвалебные стишки!

И он громовым голосом затянул:

Пятнадцать лет исполнилось Нанет...

— Хватит, хватит, — взмолилась Мими, — лучше потанцуем, давайте вальс! Кто здесь умеет играть?

— У меня есть то, что требуется вам, то есть гитара, — ответил Марсель. — Но у нее, — продолжал он, снимая инструмент со стены, — нет того, что требуется ей: она облысела на три струны.

— Но ведь вот фортепиано! — заявила Зели. — Марсель будет играть, а мы потанцуем.

Марсель бросил на свою возлюбленную столь яростный взгляд, словно она обвинила его в преступлении. Правда, его умения брэнчать на фортепиано хватило бы для контрданса, но он, как и многие другие, считал такое занятие истинной пыткой, и подвергаться ей ему совсем не хотелось. Предательство Зели было мезью за выходку с пробкой.

— С ума вы сошли! — закричал он. — Вы отлично знаете, что фортепиано здесь только для украшения, и, бог свидетель, вы одна и терзаете его. Кто вам сказал, что я умею играть танцы? Я знаю одну только «Марсельезу», да и ту отстукиваю одним пальцем. Вот если бы вы обратились к Эжену, дело другое. Он на это мастер. Но я не желаю ему докучать, боже упаси! Только у вас хватает нескромности ни с того ни с сего приставать с такими просьбами.

Эжен покраснел в третий раз и тотчас исполнил то, о чем его так иносказательно и хитро просили. Он уселся за фортепиано, и кадрили началась.

Танцевали почти так же долго, как ужинали. Контрданс сменился вальсом, вальс — галопом, ибо в Латинском квартале до сих пор танцуют галоп. Особенно неумоимы были дамы, которые прыгали и хохотали так, что, наверно, перебудили всех соседей. Вскоре Эжен, вдвойне утомленный шумом и поздним бдением, машинально продолжая играть, впал в какую-то дремоту, словно те фореитеры, которые засыпают верхом на лошади. Танцующие появлялись перед ним и вновь уплывали, как сонные видения. И так как более всего склонен к грусти человек, который смотрит, как веселятся другие, то печаль, постоянная спутница Эжена, не замедлила овладеть им. «Невеселая радость! — думал он. — Убогие развлечения! Попытки урвать у судьбы несколько мгновений. И прав Марсель: кто знает, уверены ли эти пятеро, так беззаботно прыгающие передо мной, что завтра у них будет чем пообедать?»

В ту минуту, когда он думал об этом, мимо него пронеслась мадемуазель Пенсон; ему почудилось, что, продолжая плясать, она украдкой схватила оставшийся на столе кусок пирога и незаметно сунула его в карман.

V

Уже начинало светать, когда все разошлись по домам. Эжен, прежде чем вернуться домой, решил пройтись и подышать свежим утренним воздухом. Все еще погруженный в грустное раздумье, он, незаметно для себя, напевал песенку гризетки:

Все тот же чепчик, то же платье
На ней всегда!

«Мыслимо ли это? — думал он. — Может ли нищета дойти до такого предела и так откровенно, так насмешливо выставлять себя напоказ? Можно ли смеяться над тем, что не имеешь хлеба?»

Спрятанный кусок пирога сам за себя говорил. Вспомнив об этом, Эжен невольно улыбнулся, но тотчас же его кольнула жалость.

«Однако, — продолжал он размышлять, — она взяла не хлеб, а пирог. Быть может, она просто лакомка? А может быть, она хотела побаловать ребенка соседки или задобрить болтливую привратницу, цербера, готового повсюду разнести, что жилица не ночевала дома».

Эжен шел наобум и случайно забрел в лабиринт улочек, начинающийся за перекрестком Бюси, где с трудом может проехать карета. Он уже собирался повернуть назад, когда из какого-то ветхого дома вышла бледная, расстроенная женщина в рваном капоте, простоволосая и растрепанная. Казалось, она была так слаба, что с трудом двигалась. Колени у нее подгибались. Она держалась за стены и, судя по всему, хотела добраться до почтового ящика на соседней двери, чтобы бросить в него письмо, которое сжимала в руке. Испуганный и удивленный Эжен, подойдя к ней, спросил, куда она идет, чего ищет и не может ли он ей помочь. Тут же ему пришлось протянуть ей руку, чтобы поддержать ее, так как она чуть не упала на уличную тумбу. Но женщина, не ответив ни слова, испуганно и вместе с тем гордо отшатнулась. Положив письмо на тумбу, собрав все свои силы, она указала на ящик и произнесла одно только слово: «Туда», потом, продолжая держаться за стены, побрела к своему дому. Напрасно Эжен предлагал ей опереться на его руку, напрасно пытался ее расспрашивать. Она медленно исчезла в темных и узких сенях, из которых перед тем появилась.

Эжен поднял письмо. Сперва он шагнул было к почтовому ящику, но тотчас же остановился. Эта странная встреча так взволновала его, он был так потрясен ужасом, смешанным с пронзительной жалостью, что, не размышляя, почти непроизвольно сорвал с конверта печать. Ему показалось отвратительным, немислимым пройти мимо этой тайны, не попытавшись любым путем проникнуть в

нее. Женщина несомненно была на краю смерти. От голода или от болезни? Во всяком случае — от нищеты. Распечатав письмо, Эжен посмотрел на конверт; там стояло: «Господину барону ***». Вот что было написано:

«Прочтите это письмо, сударь, и умоляю Вас, не откажите мне. Лишь Вы, Вы один можете меня спасти. Отнеситесь с доверием к моим словам, спасите меня, и Вам воздастся, это Вам принесет счастье. Я была тяжело больна и лишилась остатка сил и мужества. В августе я снова начну работать в магазине. Мне пришлось оставить свои вещи в прежней комнате, а на этой неделе я, наверно, останусь совсем без крова. Я так боюсь умереть с голоду, что сегодня утром решила утопиться, — ведь я почти сутки ничего не ела. Но, вспомнив о Вас, я вновь начала надеяться. Не правда ли, я не ошиблась? Сударь, на коленях молю Вас, как ни мала будет Ваша помощь, она даст мне возможность просуществовать еще несколько дней. А я боюсь смерти, и мне всего двадцать три года. Если меня немного поддержат, я, быть может, смогу дотянуть до первого числа. Если бы я знала слова, которые могут вызвать в Вас жалость, — я бы их сказала, но мне ничего не приходит на ум. Мне остается только плакать от сознания своего бессилия и от страха, что Вы обойдетесь с письмом так, как обходятся с подобными письмами все, кто слишком часто их получает: Вы разорвете его, не думая о бедной женщине, которая считает часы и минуты в надежде, что Вам покажется непомерной жестокостью оставить ее в неведении. Я уверена, что боязнь расстаться с луидором, который так мало для Вас значит, не может Вас остановить; что стоит Вам, право, завернуть вашу милостыню в бумагу и написать на конверте: «Мадемуазель Бертен, улица Эперон». Я переменяла фамилию — фамилию, которую носила моя мать, — с тех пор как начала работать в магазине. Когда будете выходить из дому, отправьте письмо с рассыльным. Я подожду среды или четверга и буду горячо молиться, чтобы бог сделал Вас милосердным.

Мне пришло в голову, что Вы можете не поверить в такую нищету; но если бы Вы меня увидели, то убедились бы.

Ружет».

Если Эжен был тронут уже началом письма, то можно представить себе его удивление, когда он увидел подпись. Значит, ту самую девушку, которая так безрассудно промотала свои деньги и придумала нелепый ужин, известный ему по рассказу мадемуазель Пенсон, несчастные обстоятельства довели теперь до подобных мучений, до подобных просьб! Такое неблагоприятие, такое сумасбродство представлялось Эжену каким-то невероятным сном. Но сомнений быть не могло, подпись говорила сама за себя. И мадемуазель Пенсон на вечеринке упоминала о том, что ее подруга Ружет приняла теперь псевдоним мадемуазель Бертен. Как могло случиться, что она оказалась вдруг покинутой, без помощи, без хлеба, почти без пристанища? Где были ее вчерашние подруги в те минуты, когда она, быть может, погибала на чердаке этого дома? И что это за дом, где можно так умереть?

Но на догадки не было времени; чтобы помочь, надо было прежде всего спасти ее от голода.

Эжен первым делом вошел в только что открывшийся ресторан и купил там что мог. Покончив с этим, он вместе с рассыльным пошел к дому Ружет. Но ему показалось неудобным явиться к ней так внезапно. Облик бедной девушки хранил отпечаток такой гордости, что Эжен опасался если не отказа, то, во всяком случае, вспышки уязвленного самолюбия. Как признаться, что он прочел ее письмо?

Подойдя к двери, он спросил рассыльного:

— Знаете ли вы в этом доме девушку, которую зовут мадемуазель Бертен?

— Еще бы, сударь! — ответил рассыльный. — Она у нас обычно берет обеды. Но если вы идете к ней, то это напрасный труд. Она сейчас в деревне.

— Кто это вам сказал? — спросил Эжен.

— Господи, сударь, да, конечно, привратница. Мадемуазель Ружет любит хорошо поесть, но не слишком любит платить. Она готова заказывать одних жареных цыплят и омаров, но пока получишь за них деньги, все пороги у нее обобьешь. Так уж нам ли не знать, дома она или нет!..

— Она вернулась, — перебил его Эжен. — Поднимитесь к ней и передайте ей все это, а если она вам что-нибудь должна, — не просите у нее сегодня ничего. Это мое дело, я к вам еще вернусь. Если же она спросит, кто прислал, скажите, что барон де ***.

С этими словами Эжен ушел. По дороге он кое-как запечатал вновь конверт и опустил его в ящик. «Ну, что же, — думал он, — Ружет не откажется, а если она найдет, что ответ на письмо пришел слишком быстро, то пусть объясняется со своим бароном».

VI

У студентов, как и у гризеток, деньги бывают отнюдь не ежедневно. Эжен отлично понимал, что к посылке следовало бы прибавить луидор, просимый Ружет, и только тогда басня рассыльного могла бы показаться правдоподобной; но в этом-то и заключалась трудность. Луидоры не в ходу на улице Сен-Жак. Кроме того, Эжен только что пообещал уплатить хозяину ресторана, а, к несчастью, в ящике у него было так же пусто, как в карманах. Поэтому он без отлагательств пошел по направлению к площади Пантеона.

В те времена на этой площади еще проживал знаменитый цирюльник, который впоследствии обанкротился; разоряя других, он кончил тем, что разорился сам. Туда, в заднюю комнатку, где тайно давались в рост деньги, большие и малые, ежедневно приходили бедные беззаботные, быть может, влюбленные студенты, чтобы за чудовищные проценты получить несколько монет, весело растратить их вечером и дорого заплатить за них завтра.

Туда, опустив голову и потупив глаза, смущенно пробирались гризетки и брали напрокат для какой-нибудь загородной прогулки потрепанную шляпку, перекрашенную шаль, сорочку, купленную в ломбарде. Туда обращались сынки состоятельных родителей и ради двадцати пяти луидоров подписывали векселя на две-три тысячи франков. Несовершеннолетние наследники проедали наследство на корню, вертопрахи губили свои семьи, а зачастую и собственное будущее. Начиная с титулованной куртизанки, которая сходит с ума по новому браслету, и кончая бедным книжным червем, мечтающим о редкой книге или чечевичной похлебке, — все шло туда, словно к Пактольскому источнику, а цирюльник-ростовщик, безмерно гордый своей клиентурой и своими подвигами, поставлял жильцов в Клишийскую тюрьму — до той поры, пока сам туда не попал.

Таково было печальное средство, к которому не без отвращения решил прибегнуть Эжен, чтобы помочь Ружет — или, по крайней мере, иметь эту возможность; ибо он далеко не был уверен, что просьба, обращенная к барону, окажет нужное действие. Откровенно говоря, закабалить себя таким образом ради незнакомки было со стороны студента большой жертвой. Но Эжен верил в бога: добрые дела он считал обязанностью.

Первым, кого он увидел у цирюльника, был не кто иной, как его друг Марсель. Он сидел у зеркала, повязанный салфеткой, с видом человека, которому делают прическу. Бедняга, вероятно, надеялся раздобыть денег, чтобы уплатить за вчерашний ужин. Он недовольно хмурил брови и озабоченно слушал парикмахера, который, со своей стороны, делая вид, будто завивает Марселя (хотя щипцы были совершенно холодные), что-то вполголоса говорил ему с сильным гасконским акцентом.

Перед другим зеркалом, за перегородкой, сидел и беспокойно оглядывался какой-то незнакомец, тоже украшенный салфеткой, а сквозь приоткрытую дверь задней комнаты можно было увидеть в старом трюмо фигуру до-

вольно тощей девицы, занятой вместе с женой парикмахера примеркой платья из клетчатой шотландки.

— Как ты сюда попал в такой час? — удивился Марсель, и лицо его при виде друга приняло обычное веселое выражение.

Усевшись подле зеркала, Эжен коротко рассказал о своей недавней встрече и намерении, которое привело его сюда.

— Ты, право, наивен, — сказал Марсель. — Зачем тебе вмешиваться в это дело, раз есть барон? Ты увидел привлекательную и, несомненно, голодную девушку; ты ей купил холодного цыпленка — это в твоём духе, ничего не скажешь. Ты не требуешь благодарности, тебя прельщает инкогнито: это благородно. Но идти еще дальше — это уже донкихотство. Поступиться часами или подписью ради белошвейки, которой покровительствует некий барон, и не иметь чести даже встречаться с ней — такое от сотворения мира случалось только в романах Голубой библиотеки.

— Смейся, если хочешь, — возразил Эжен. — На свете столько обездоленных, что всем помочь я, разумеется, не в состоянии. Тех, кого не знаю, я просто жалею, но не могу не протянуть руку помощи несчастному, когда сталкиваюсь с ним. Как бы там ни было, но остаться равнодушным к страданию для меня невозможно. Я недостаточно богат, чтобы разыскивать бедняков — так далеко моя благотворительность не заходит, — но встретившись с ними, я подаю милостыню.

— Стало быть, хлопот у тебя немало, — заметил Марсель, — бедняков у нас хватает.

— Ну и что ж! — воскликнул Эжен, все еще взволнованный сценой, свидетелем которой он был. — Разве лучше идти своей дорогой и дать человеку умереть голодной смертью? Эта несчастная безрассудна, она сумасбродна — все, что хочешь; она, быть может, не стоит ничьей жалости; но мне ее все-таки жаль. Разве милые подруги Ружет, которые сегодня и не вспоминают о ней, будто ее уже нет

на свете, а еще вчера помогали ей швырять деньги на ветер, — разве они поступают лучше? Кого просить ей о помощи? Чужого человека, который зажжет ее письмом сигару, или, быть может, мадемуазель Пенсон, которая отправляется в гости и танцует до упаду, в то время как ее товарка умирает с голоду? Признаюсь, дорогой Марсель, что все это прямо внушает мне ужас... Мне отвратительна эта вчерашняя вертушка с ее куплетами и шуточками, которая могла смеяться и болтать в ту минуту, когда героиня ее рассказа погибала у себя на чердаке. Днями и неделями не разлучаться с подругой, почти сестрой, бегать с ней по театрам, балам, кофейням, а потом даже не знать, жива ли она, — нет, это хуже, чем равнодушие эгоиста, это бесчувственность животного. Твоя мадемуазель Пенсон — чудовище, твои хваленые гризетки, не знающие стыда, не понимающие дружбы, — самые презренные существа на свете!

Когда Эжен замолк, цирюльник, который, слушая эту тираду, продолжал водить холодными щипцами по голове Марселя, слегка улыбнулся. То болтливый, как сорока, или, вернее, как парикмахер (каковым он и был в действительности), когда можно было посплетничать, то молчаливый и лаконичный, как спартанец, когда вопрос касался дел, — он усвоил благое правило не вмешиваться самому в разговор, пока не выскажется клиент. Однако возмущение, столь резко высказанное Эженом, заставило его заговорить.

— Вы, сударь, беспощадны, — сказал он, смеясь и выговаривая слова на гасконский лад. — Я имею честь причислять мадемуазель Мими, и, на мой взгляд, она превосходная особа.

— О да! — подхватил Эжен. — Она превосходно справляется с выпивкой и курением.

— Справедливо, я не отрицаю. Девушки не прочь пошутить, поплясать, покурить; но не все они бессердечны.

— Куда вы клоните, папаша Кадедис? Оставьте дипломатию и выкладывайте все начистоту.

— Я клоню к тому, — ответил цирюльник, кивая на заднюю комнату, — что там на гвозде висит черное шелковое платье, конечно, знакомое вам, если вы знакомы с его владелицей и ее несложным гардеробом. Это платье прислала мне на рассвете мадемуазель Мими; думаю, что раз она не пришла на помощь малютке Ружет, значит, и сама в золоте не купается.

— Занятно, — сказал Марсель и с этими словами встал и прошел в заднюю комнату, не обращая внимания на бедняжку в клетчатой шотландке. — Если Мими заложила платье, значит, песенка ее солгала. Но в чем же, черт возьми, она теперь будет делать визиты? Быть может, она нынче не выезжает в свет?

Эжен последовал за своим приятелем.

Цирюльник их не обманул. В пыльном углу, среди всякого тряпья, печально и смиренно висело единственное платье мадемуазель Пенсон.

— Так и есть, — сказал Марсель. — Свидетельствую, что полтора года назад этот наряд был новешенек. Перед вами домашнее платье, амазонка и парадный мундир мадемуазель Мими. На левом рукаве вы найдете пятнышко величиной с монету, оставленное шампанским. И сколько же вы под это дали, папаша Кадедис? Ибо я полагаю, что платье не продано, а находится в этом будуаре как залог.

— Я дал четыре франка, — ответил цирюльник, — и, уверяю вас, из чистой благотворительности. Другая не получила бы от меня и сорока су, потому что эта штука в чертовски преклонном возрасте, она светится насквозь — не платье, а волшебный фонарь. Но я знаю, что мадемуазель Мими заплатит: кто-кто, а она четырех франков стоит!

— Бедняжка Мими! — заметил Марсель. — Готов прокладывать мой берет, если она не взяла эти гроши для своей подруги.

— Или для уплаты неотложного долга, — заметил Эжен.

— Ну нет, я знаю Мими, — сказал Марсель, — она не способна снять с себя платье ради какого-то долга.

— Тоже справедливо, — отозвался цирюльник. — Я знавал мадемуазель Мими, когда ей жилось получше, чем теперь. Долгов у нее тогда была тьма. К ней ежедневно приходили описывать имущество и в конце концов отобрали всю мебель, кроме, конечно, кровати, ибо всем известно, что кровать у должников отбирать не полагается. Однако в те времена у мадемуазель Мими было четыре вполне приличных платья. Она надевала их одно на другое и спала в них, чтобы не отняли. Поэтому я был бы удивлен, узнав, что она заложила свое единственное платье ради уплаты долга.

— Бедняжка Мими! — повторил Марсель. — Но как же она все-таки устраивается? Неужели она обманула своих друзей, и у нее есть в запасе еще какой-то неизвестный нам наряд? Быть может, она объелась пирога, а если она больна, то ей и вправду ни к чему одеваться. Все равно, папаша Кадедис, мне больно смотреть на это платье с обвисшими рукавами, которые словно молят о пощаде. Давайте вычтем четыре франка из двадцати пяти ливров, которые вы мне ссудили; заверните платье в салфетку, я отнесу его малютке. Ну, как, Эжен, что ты с твоим христианским милосердием скажешь на это?

— Скажу, — отвечал Эжен, — что ты рассуждаешь и действуешь правильно, но что, возможно, и я не ошибаюсь. Если хочешь, побьемся об заклад.

— Идет, на сигару, как члены жокей-клуба. Ну, а здесь тебе больше делать нечего. У меня тридцать один франк, значит, мы богаты. Отправимся теперь к мадемуазель Пенсон. Мне интересно ее повидать.

Он сунул платье под мышку и вместе с Эженом вышел из парикмахерской.

VII

— Барышня пошла к обедне, — сообщила привратница, когда они пришли к мадемуазель Пенсон.

— К обедне! — удивился Эжен.

— К обедне! — повторил Марсель. — Не может быть, она дома. Впустите нас, мы ее старые друзья.

— Уверяю вас, сударь, она уже с час как ушла, — продолжала настаивать привратница.

— А в какую церковь она пошла?

— К святому Сульпицию, как обычно. Она не пропускает ни одного дня.

— Да, да, знаю, она богомольна, но то, что она сегодня вообще вышла из дому, кажется мне очень странным.

— Да вот и она сама, сударь. Поглядите, вот она огибает угол.

Действительно, мадемуазель Пенсон возвращалась домой из церкви. Завидев ее, Марсель тотчас бросился к ней, до того ему не терпелось посмотреть, как она одета. Вместо платья на ней была нижняя юбка из темного ситца, полуприкрытая зеленой саржевой занавеской, которую Мими с грехом пополам превратила в шаль. Из этого странного наряда, который, однако, благодаря своему темному цвету не привлекал внимания, выглядывала очаровательная головка в белом чепчике и маленькие ножки в высоких башмачках. Мими Пенсон так ловко и непринужденно завернулась в свою занавеску, что та действительно стала похожа на старую шаль, и бахрома почти не была видна. Словом, Мими нашла способ казаться привлекательной даже в этом тряпье и лишний раз доказала, что хорошенькая женщина всегда хороша.

— Как вы меня находите? — спросила она у молодых людей, слегка раздвигая занавеску и приоткрывая тонкую фигурку, стянутую корсетом. — Этот пеньюар я получила сегодня утром от Пальмиры.

— Вы прелестны, — сказал Марсель. — Честное слово,

никогда бы не поверил, что оконная шаль может быть так к лицу.

— Правда? — спросила Мими. — Но я, кажется, похожа на сверток.

— На сверток из роз. Я даже жалею, что принес вам ваше платье.

— Мое платье? Откуда вы его взяли?

— Оттуда, где оно было, надо полагать.

— И вы его освободили из рабства?

— Бог мой, конечно, я заплатил за него выкуп. Вы не рассердитесь на мою дерзость?

— Ничуть. И в долгу я не останусь. Я совсем не прочь повидаться с моим платьем. Сказать по правде, мы уже давно живем вместе, и я незаметно к нему привязалась.

Продолжая болтать, Мими Пенсон легко взбежала на пятый этаж, и они все вместе вошли в ее каморку.

— Но я отдам вам платье только при одном условии, — сказал Марсель.

— Вот еще новости! Наверно, какая-нибудь глупость. Знать не знаю никаких условий.

— Но я побился об заклад! — настаивал Марсель. — Вы должны честно сказать, почему вы заложили платье.

— Сперва я его надену, — ответила гризетка, — а затем вы получите мое «потому». Но если вы не желаете дожидаться в шкафу или на крыше, пока я оденусь, то придется вам, как Агамемнону, закрыть лицо.

— За этим дело не станет, — сказал Марсель. — Мы порядочнее, чем вы думаете. Я и одним глазком не взгляну.

— Погодите, — сказала мадемуазель Пенсон. — Я вам, разумеется, вполне доверяю, но народная мудрость гласит, что береженого бог бережет.

С этими словами она сбросила с себя занавеску и осторожно прикрыла ею обоих друзей, так что они очутились в полной темноте.

— Не шевелитесь, — приказала она им. — Через минуту я буду готова.

— Берегитесь! Если в занавеске есть хоть одна дырочка-

ка, я ни за что не отвечаю. Вы не пожелали поверить нам на слово, значит, мы свободны.

— Мое платье, к счастью, тоже. И моя персона — тоже, — добавила она, смеясь и сбрасывая занавеску на пол. — Бедное мое платьице! Оно мне кажется совсем новым. И до чего же приятно снова в него влезть.

— А ваша тайна? Вы нам откроете ее сейчас? Скажите же правду, мы не проболтаемся. Почему и зачем такая благонаправная, степенная, добродетельная и скромная особа, как вы, в один прием распрощалась со всем своим гардеробом?

— Почему, почему?.. — заколебалась Мими Пенсон, потом подхватила студентов под руки и, толкнув к двери, сказала: — Пойдемте, я вам покажу.

Как и предполагал Марсель, она повела их на улицу Эперон.

VIII

Марсель выиграл пари. И четыре франка, и кусок пирога вместе с остатками цыпленка лежали на столе у Ружет.

Большая чувствовала себя лучше, но все еще лежала в постели, и как ни велика была ее признательность неизвестному благодетелю, она, однако, попросила подругу передать студентам, что просит прощения, но принять их не может.

— Узнаю Ружет, — сказал Марсель. — Даже умирая на соломе в своей мансарде, она все-таки будет разыгрывать герцогиню перед собственным кувшином с водой.

Посмеиваясь над гордостью и скрытностью, которые столь удивительным образом свили себе гнездо под самой крышей, друзья нехотя побрели домой, так и не повидав Ружет.

По окончании лекций на медицинском факультете они вместе пообедали и пошли погулять на Итальянский бульвар.

— В конце концов, — рассуждал Марсель, покуривая сигару, выигранную утром, — тебе придется согласиться со мной в том, что эти бедные создания заслуживают любви и даже уважения. Посмотрим на вещи здраво, с философской точки зрения. Когда малютка Мими, которую ты так осуждал, отдала свое платье, разве она не совершила поступка более достойного, более похвального, более, осмелюсь сказать, христианского, чем добрый король Роберт, который позволил бедняку срезать бахрому со своего плаща? Во-первых, у доброго короля Роберта было, по-видимому, множество плащей, а во-вторых, история повествует, что он сидел за столом, когда нищий подполз к нему на четвереньках и срезал ножницами золотую бахрому с королевского одеяния. Королева была разгневана, а достойный монарх действительно простил похитителя; но, быть может, он просто сытно пообедал? Подумай, как далеко ему до Мими. Мими, конечно, сама сидела голодная, когда узнала о злоключениях Ружет. Будь уверен, что кусок пирога, припрятанный с вечера, должен был пойти ей на завтрак. Но как она поступает? Вместо того чтобы позавтракать, она идет к обедне и в этом опять, по меньшей мере, уподобляется королю Роберту, который был весьма благочестив и тратил время на церковное пение вместо того, чтобы мешать норманнам бесчинствовать. Король Роберт жертвует бахромой, но плащ остается у него. А Мими вовсе отдает папаше Кадедису свое платье — поступок неоценимый, потому что Мими — женщина молодая, хорошенькая, кокетливая и бедная. И заметь, это платье ей необходимо, чтобы пойти в мастерскую и заработать себе на хлеб насущный. Таким образом, она не только отказывается от пирога, который уже собиралась съесть, но и добровольно лишает себя обеда. Припомним также, что папаша Кадедис отнюдь не нищий и не ползает на четвереньках под столом. Невелика жертва короля Роберта, отказавшегося от бахромы, которая все равно была отрезана и, быть может, так криво, что ее нельзя было

уже пришить. А бедняжка Мими, не ожидая, пока у нее уйдут платье, сама стаскивает с собственной персоны этот наряд, более драгоценный, более полезный, чем мишура всех парижских позументщиков. Она выходит на улицу, прикрывшись занавеской, но будь уверен, что, кроме церкви, она в таком виде никуда бы не пошла. Лучше она согласится отрезать себе руку, чем пройдет таким пугалом по Люксембургскому саду или Тюильри. Она осмеливается показаться только богу, потому что привыкла ежедневно в этот час молиться ему. Поверь мне, Эжен, когда Мими, завернувшись в занавеску, идет по площади Сен-Мишель, по улицам Турнон и Пти-Лион, где ее знает каждый, — в этом больше мужества, смирения и истинной веры, чем в гимнах доброго короля Роберта, которого превозносят все, начиная с великого Боссюэ и кончая пошлым Анкетилем, тогда как Мими умрет в неизвестности у себя на пятом этаже между цветочным горшком и рабочей корзиной.

— Тем лучше для нее, — сказал Эжен.

— Если продолжать сравнения, то я мог бы провести параллель между Муцием Сцеволой и Ружет. Ты ведь не думаешь, что римлянину времен Тарквиния труднее было пять минут подержать руку над раскаленной жаровней, чем современной гризетке сутки поститься? Ни тот, ни другая не кричали, но разбери, по каким причинам. Муций — в военном стане, пред лицом этрусского короля, на жизнь которого он покушался; он позорно промахнулся, его окружает стража. Что же он придумывает? Красивый жест. Чтобы им сперва восхитились, а потом уж повесили, он решает подпалить себе кулак над головешкой (ибо нет никаких оснований предполагать, что угли были раскаленные или что кулак сгорел дотла). Тут благородный Порсенна, потрясенный таким бахвальством, прощает его и отпускает домой. Можно побиться об заклад, что у вышеназванного Порсенны, способного на подобное великодушие, доброта была написана на лице и что Сцевола

жертвовал рукой не без расчета спасти голову. Ружет, напротив, терпеливо выносит самую страшную и самую медленную пытку, пытку голодом; при этом на нее никто не смотрит. Она одна на своем чердаке, ею не восхищаются ни Порсенна, то есть барон, ни римляне, то есть соседи, ни этруски, то есть заимодавцы, ни даже жаровня, потому что печка ее погасла. Что же заставляет ее страдать в молчании? Во-первых, несомненно, тщеславие, но это, впрочем, свойственно также Муцию; во-вторых, душевное величие, которое и составляет ее заслугу: ведь она именно для того и сидит за запертой дверью, чтобы люди не узнали о ее мучениях, не прониклись сочувствием к ее мужеству, чтобы ее подруге Пенсон, в доброте и преданности которой она уверена, не пришлось, как это в конце концов и случилось, пожертвовать для нее своим платьем и своим пирогом. Муций на месте Ружет тоже сделал бы вид, что безмолвно умирает, но выбрал бы для этого перекресток или подъезд кухмистерской. Его молчаливая и великолепная гордость была бы просто деликатным способом выпросить у окружающих стакан вина и корку хлеба. Правда, Ружет попросила луидор у барона, которого я по-прежнему сравниваю с Порсенной. Но не кажется ли тебе, что у барона в отношении Ружет есть какие-то особые обязательства? Это увидел бы самый непроницательный человек. Впрочем, как ты разумно заметил, барон мог оказаться в деревне, и тогда Ружет погибла бы. Не вздумай отделаться от меня пустым возражением, которым всегда пытаются умалить женский героизм, — что женщина не сознает опасности и ходит над пропастью, как кошка по карнизу. Ружет знает, что такое смерть: она встретила с нею однажды лицом к лицу на Иенском мосту, когда пыталась утопиться. На мой вопрос, очень ли она мучилась, она ответила, что нет, она ничего не чувствовала, пока ее не начали вытаскивать; но потом лодочники, тянувшие ее за ноги, ободрали ей, как она выразилась, всю голову о борт лодки.

IX

— Будет тебе! — сказал Эжен. — Избавь меня от твоих ужасных шуток. Отвечай серьезно: веришь ли ты, что столь страшные испытания, вечно повторяющиеся, вечно грозящие, могут, наконец, принести какие-то плоды? Хватит ли у этих несчастных девушек, предоставленных самим себе, лишенных помощи и опоры, хватит ли у них здравого смысла, чтобы чему-нибудь научиться? Навсегда ли овладел ими демон, обрекающий их на несчастья и безумства, или они смогут побороть свои сумасбродства и вернуться к добру? Вот одна из них, которая, как ты говоришь, молится богу, ходит в церковь, исполняет свой долг, честно живет своим трудом. Подруги как будто уважают ее... и даже вы, вы, беспутники, обходитесь с нею без обычной нескромности. А вот другая то и дело переходит от беспечной жизни к страданиям, от мотовства к ужасам голода. Она должна была бы надолго запомнить жестокие уроки. Веришь ли ты, что добрые советы, примерное поведение, небольшая помощь — что все это способно сделать из таких женщин разумные существа? Если да, то скажи мне, и воспользуемся удобным случаем. Пойдем тотчас же к бедной Ружет. Она, конечно, еще очень слаба, и подруга бодрствует у ее изголовья. Не разочарывай меня, дай мне действовать по-своему. Я хочу попытаться наставить их на путь истинный, сказать им искренние слова. Я не стану ни проповедовать, ни обличать. Я подойду к кровати, возьму их за руки и скажу им...

В эту минуту друзья как раз проходили мимо кафе Тортони. В окне, на фоне освещенного люстрами зала, рисовались силуэты двух молодых женщин, которые ели мороженое. Одна из них помахала им платком, другая расхохоталась.

— Черт побери! — воскликнул Марсель. — Если ты хочешь с ними побеседовать, то незачем далеко ходить, потому что они тут как тут. Узнаю Мими по платью, а Ружет — по белым перьям на шляпке. И, боже милостивый, они уже лакомятся, как всегда! Похоже, что барон отлично все уладил.

— И тебя не приводит в ужас подобное безумие? — спросил Эжен.

— Приводит, — согласился Марсель. — А все же, когда будешь поносить гризеток, будь добр, сделай исключение для маленькой Пенсон. Она рассказала нам за ужином историю, она заложила платье ради четырех франков, она сделала шаль из занавески. А с того, кто поведает все, что знает, и отдаст все, что имеет, и сделает все, что может, — с того больше и не спросится.

МУШКА

I

В 1756 году, когда Людовик XV, устав от ссор между магистратурой и государственным советом из-за налога в два су¹, решил объявить свою волю на чрезвычайном заседании парламента, члены его отказались от исполнения своих обязанностей. Шестнадцать из этих отставок были приняты, после чего последовало столько же приказов об изгнании. «Но разве могли бы вы, — говорила госпожа де Помпадур одному из президентов, — разве могли бы вы хладнокровно смотреть, как горсть людей противится власти короля Франции? Разве не сложилось бы у вас дурного мнения о них? Сбросьте на минуту вашу судейскую мантию, господин президент, и вы посмотрите на это моими глазами».

За упорство были наказаны не только сами изгнанники, поплатились также их родные и друзья. Король забавлялся чтением чужой корреспонденции. Чтобы разогнать скуку, которую на него наводили его развлечения, он заставлял свою фаворитку читать вслух все любопытное, что попадалось на почте. Конечно, под предлогом личного исполнения роли агента тайной полиции он развлекался тысячей интриг, которые проходили таким образом перед его глазами; однако же всякий, кто оказывался близко или отдаленно связанным с главарями оппозиции, почти всегда мог считаться погибшим. Известно,

¹ Два су на каждый ливр десятой части дохода. (Прим автора.)

что Людовик XV при всех своих слабостях обладал одной силой — он был неумолим.

Однажды вечером, когда он сидел у огня, положив ноги на облицовку камина, как обычно — в меланхолическом расположении духа, маркиза, которая просматривала пачку писем, засмеялась, пожимая плечами. Король спросил о причине ее смеха.

— Да вот мне попало, — ответила она, — одно письмо; в нем, правда, нет здравого смысла, но оно трогательно и вызывает жалость.

— Какая там подпись? — спросил король.

— Фамилии нет: это любовное письмо.

— А кому оно адресовано?

— Это-то и забавно. Оно адресовано девице д'Аннебо, племяннице моей приятельницы госпожи д'Эстрад. Повидимому, письмо для того и подсунили в эти бумаги, чтобы оно попало мне на глаза.

— Ну, и что же в этом письме? — опять спросил король.

— Да я же говорю вам — оно любовное. Упоминаются также Вовер и Нофлет. Разве есть дворяне в этих местах? Известны они вашему величеству?

Король любил прихвастнуть тем, что наизусть знает Францию, то есть ее дворянство. Даже тщательно изученный им придворный этикет он знал не лучше, чем гербы своего королевства, — образованность не очень широкая, ибо на этом и ограничивались его познания, но он гордился ими, и иерархия представлялась его глазам в виде мраморной лестницы его дворца; он хотел шествовать по ней как властелин. После минутного раздумья он нахмурил брови, как будто вспомнил что-то неприятное; затем, сделав маркизе знак читать, откинулся в своем глубоком кресле и сказал с улыбкой:

— Все-таки прочитай, это ведь хорошенькая девушка.

Госпожа де Помпадур начала тогда тоном самой нежной иронии читать длинное письмо, все наполненное любовными излияниями.

«Посмотрите, — писал автор, — как преследует меня

судьба! Все, казалось, благоприятствовало исполнению моих желаний, и вы сами, мой нежный друг, разве вы не вселили в меня надежду на счастье? Однако я принужден от него отказаться, и отказаться из-за ошибки, которой я не совершал. Разве это не предел жестокости — посулить мне небесное блаженство только затем, чтобы сбросить меня в бездну? Если несчастный приговорен к смерти, то зачем же с варварской жестокостью оставлять перед его глазами все, что внушает ему любовь к жизни и сожаления о ней? Однако такова моя участь; у меня нет иного убежища, иной надежды, кроме могилы, потому что с той минуты, как на меня обрушились невзгоды, я не могу больше мечтать о вашей руке. Когда счастье улыбалось мне, вся моя надежда была только в том, что вы станете моей, теперь я бедняк, и я внушал бы ужас самому себе, если бы осмеливался еще мечтать об этом, и с того мгновения, как я потерял возможность сделать вас счастливой, сам умирая от любви, я запрещаю вам любить меня...»

При последних словах маркиза улыбнулась.

— Сударыня, — сказал король, — вот это порядочный человек. Но что же ему мешает жениться на своей возлюбленной?

— Если позволите, ваше величество, я буду продолжать: «Меня удивляет, что лучший из королей мог обойтись со мной так несправедливо. Вы знаете, что отец мой просил о зачислении меня корнетом или поручиком в гвардию, и это решило бы мою судьбу, потому что дало бы мне право просить вашей руки. Герцог Бирон представил меня в гвардию, но король отказал мне столь резким образом, что воспоминание об этом для меня горестно, ибо если у моего отца есть известные убеждения (пусть ошибочные), — разве я должен нести за них наказание? Моя преданность королю так же несомненна, так же искренна, как и моя любовь к вам. Я бы доказал это всем, если бы мне позволено было обнажить шпагу. Отказ короля приводит меня в отчаяние; но эта немилость, не имеющая никакой

основательной причины, противоречит хорошо известной доброте его величества...»

— Однако, — сказал король, — это становится занимательным.

— «Если бы вы знали, как мы печальны! Ах, друг мой, это поместье Нюфлет, этот павильон в Вовере, эти рощи! Я целыми днями брожу здесь один. Я запретил расчищать дорожки, — негодный садовник пришел вчера со своими железными граблями. Он хотел прикоснуться к песку... А между тем следы ваших шагов, легких, как дуновение ветерка, еще не были стерты. Кончики ваших маленьких ножек и ваши высокие белые каблуки отпечатались на дорожке: казалось, они двигались передо мной, пока я следовал за вашим прекрасным образом, и прелестное видение оживлялось на миг, как будто спускаясь на эти исчезающие следы. Здесь, беседуя с вами во время прогулки вдоль цветника, я имел счастье узнать и оценить вас. Восхитительное воспитание при ангельском уме, благородство королевы и прелесть нимфы, мысли, достойные Лейбница, и такой простой язык, пчела Платона на устах Дианы, — все это окутывало меня покровом обожания. А между тем вокруг нас распускались наши любимые цветы. Я вдыхал их благоухание, слушая ваши речи: в их аромате таится воспоминание о вас. Теперь их головки поникли, они говорят мне о смерти...»

— Словно скверный отрывок из Жан-Жака, — сказал король. — Зачем вы мне читаете этот вздор?

— Ведь ваше величество приказали мне читать ради прекрасных глаз девицы д'Анебо.

— Это правда, глаза у нее прекрасные.

— «И когда я возвращаюсь с этих прогулок к отцу, он сидит один, облокотившись у стола, в мерцании свечи, в нашей большой гостиной, среди потускневшей позолоты, покрывающей источенные червями резные украшения. Он встречает меня с грустью... моя печаль растревляет его горе... Аテナис! В глубине этой гостиной, у окна, стоит клавесин, по нему порхали ваши прелестные паль-

чки, к которым лишь однажды я прикоснулся губами, в то время как ваши уста нежно раскрывались под аккорды самой сладостной музыки... и ваши песни были как улыбка. Какие они счастливы, этот Рамо, этот Люлли, этот Дюни и кто там еще? — многие другие! Да, да, вы любите их, вы храните их в памяти, дуновение их гения коснулось ваших уст. Я тоже сажусь к клавишину, пытаюсь сыграть одну из тех арий, которые вам нравятся; какими они мне кажутся холодными, монотонными! Я оставляю это занятие и слушаю, как замирают аккорды и как эхо замолкает под мрачными сводами. Отец мой оборачивается и видит, как я печален, но что он может для меня сделать? Сплетня, переданная в спальне, в передней, заключила нас в ограде нашего поместья. Он видит, что я молод, пылок, полон жизни, только и мечтаю о том, чтобы вырваться в свет; он мой отец и ничем не в силах мне помочь!»

— Можно подумать, — сказал король, — что этот юноша собрался на охоту и что у него убили сокола на рукавице. В чем же, собственно, дело?

— «Правда, — продолжала маркиза, немного понизив голос, — правда, мы близкие соседи и дальние родственники аббата Шовлена...»

— Ах, вот в чем дело, — сказал, зевая, Людовик XV. — Наверное, опять какой-нибудь племянник этих судейских крыс. Мой парламент злоупотребляет моей добротой; у них слишком много развелось родни.

— Но если это дальний родственник?

— Все равно, все они ничего не стоят. Этот аббат Шовлен янсенист; он, правда, неплохой старик, но он из тех, что подали в отставку. Бросьте это письмо в огонь, и чтобы я больше о нем не слышал!

II

Последние слова, произнесенные королем, не означали, правда, смертного приговора, но были почти равносильны запрещению жить. Что оставалось делать в

1756 году молодому человеку без состояния, если король не хотел и слышать о нем? Пойти в приказчики или стать философом, может быть — поэтом, но без придворной должности, а при таком условии это ремесло никуда не годилось.

Совсем не в том состояло призвание шевалье де Вове-ра, который только что со слезами написал письмо, ставшее предметом насмешек короля. В то время как маркиза читала его послание, шевалье, оставшись наедине с отцом, в глубине старого замка Нофлет, печальный и рассерженный, ходил по комнате.

— Я хочу поехать в Версаль, — сказал он.

— А что вы там будете делать?

— Не знаю, но разве здесь я что-нибудь делаю?

— Вы разделяете мое одиночество; конечно, вам это не очень весело, и я вас совсем не хочу задерживать. Но разве вы забыли, что ваша мать умерла?

— Нет, сударь, и я ей обещал посвятить вам жизнь, которую я вам обязан. Я вернусь, но теперь я хочу уехать; я не могу больше оставаться здесь.

— По какой же причине?

— По причине безмерной любви. Я безумно люблю девицу д'Аннебо.

— Вы знаете, что эта любовь ни к чему не поведет. Браки без приданого совершаются только у Мольера. Вы, верно, забыли, что я в немилости?

— Ах, сударь, будет ли мне позволено, сохраняя самое глубокое уважение к вам, спросить, что послужило ее причиной? Мы не входим в парламент. Мы платим налоги, а не налагаем их. Если парламент урезывает личные средства короля, это его дело, а совсем не наше. Почему немилость, постигшая господина аббата Шовлена, влечет за собой и наше разорение?

— Господин аббат Шовлен поступает, как подобает благородному человеку. Он отказывается поддерживать новый налог, потому что он возмущен расточительностью двора. Ничего подобного не могло бы быть во вре-

мена госпожи де Шатору. Та, по крайней мере, была красива и ничего не стоила государству, даже того, что она так щедро раздавала. Она была любовницей и повелительницей, однако же говорила, что будет довольна, если король не отправит ее гнить в темницу, когда она лишится его благосклонности. Но эта Этиоль, эта Ле Норман, эта ненасытная Пуассон!

— Да разве это нас касается?

— Вы спрашиваете, касается ли это нас? Больше, чем вы думаете. Знаете ли вы, по крайней мере, что уже сейчас, в то время как король обирает нас, богатство его гризетки неисчислимо? Сначала она выпросила себе сто семьдесят тысяч ливров годового дохода, но это была еще безделица, теперь это даже не идет в счет; трудно представить себе, какие небывалые суммы бросает ей король; не проходит и трех месяцев в году, чтобы она не поймала на лету, как бы невзначай, пять или шесть сотен тысяч ливров; вчера она заработала на соли, сегодня — на увеличении средств для содержания конюшен; имея квартиры во всех королевских дворцах, она покупает Ла Селль, Кресси, Онэй, Бремборион, Мариньи, Сен-Реми, Бельвю и сколько еще других поместий, особняки в Париже, в Фонтенбло, в Версале, в Компьене, не говоря уже о тайных капиталах, помещенных по всем странам, во всех европейских банках, вероятно, на случай немилости или смерти монарха. А кто оплачивает все это, скажите пожалуйста?

— Не знаю, сударь, во всяком случае не я.

— Вы так же, как и все, как вся Франция, весь народ, который обливается кровавым потом и кричит на улицах, осыпая ругательствами статую Пигаля. И парламент не хочет больше терпеть это, он не хочет больше новых налогов. Когда дело шло о военных расходах, мы готовы были отдать последнее эку, никто и не думал торговаться. Победоносный король мог ясно видеть, как его любили во всем королевстве; еще яснее он увидел это, когда был при смерти. Тогда прекратились все разногласия, умолкла оппозиция, стихло недовольство — вся Франция опус-

тилась на колени перед постелью короля и молилась за него. Но если мы, не считая, оплачивали его солдат и его врачей, то мы вовсе не желаем оплачивать его любовниц, и у нас есть другие дела, кроме забот о содержании госпожи де Помпадур.

— Я не защищаю ее, сударь. Я не могу ни осуждать, ни оправдывать ее; я ее никогда не видел.

— Конечно, и вы не прочь бы увидеть ее, не правда ли, чтобы составить о ней свое мнение? Ведь в вашем возрасте судят только по наружности. Что ж, попробуйте, если хотите, но в этом удовольствии вам будет отказано.

— Почему же, сударь?

— Потому что это безрассудство, потому что эта маркиза так же невидима в своих маленьких будуарах в Бремборионе, как турецкий султан в своем серале, потому что все двери закроются у вас перед носом. Что вы хотите делать? Добиваться невозможного? Гоняться за счастьем, как авантюрист?

— Нет, как влюбленный. Я не собираюсь ни о чем просить, сударь, а только протестовать против несправедливости. У меня были вполне обоснованные надежды, почти что обещание господина Бирона, я был накануне обладания предметом моей любви, и эта любовь не безрассудна; вы сами не порицали меня за нее. Позвольте же мне попытаться постоять за себя. Буду ли я иметь дело с королем или с госпожой де Помпадур? Не знаю, но я хочу ехать.

— Вы понятия не имеете о том, что такое двор, и хотите туда явиться?

— А может быть, мне легче будет туда попасть именно потому, что меня там никто не знает.

— Вас не знают, шевалье? Подумайте, что вы говорите? С таким именем, как ваше!.. Мы принадлежим к старому дворянству, сударь, и вас не могут не знать.

— Ну, тем лучше! Король выслушает меня.

— Он не захочет даже говорить с вами. Вы бредите Версалем и думаете, что достигнете цели, когда ваша поч-

товая карета там остановится... Предположим даже, что вы проникнете в переднюю, в галерею, в приемную с овальным окном, — вы будете отделены от его величества только одной дверью, но между вами будет пропасть. Вы оглянетесь по сторонам, будете искать связей, покровительства и ничего не найдете. Мы родственники господину де Шовлена, а вы знаете, в чем заключается месть короля? Дамьену он мстит пытками; парламенту — ссылками; нашему брату — одним словом или, что еще хуже, молчанием. Знаете ли вы, что такое молчание короля, когда, вместо того чтобы отвечать вам, он, проходя мимо, окидывает вас своим безмолвным уничтожающим взглядом? Это особый вид казни, так же, как на Гревской площади или в Бастилии; хоть она и кажется менее жестокой, но клеймит не хуже руки палача. Осужденный, правда, останется на свободе, но он не должен больше и помышлять о том, чтобы приблизиться к женщине или к придворному или войти в какой-нибудь салон, в аббатство или в казарму. Все двери закрываются перед ним, все от него отворачиваются, и он бродит взад и вперед, как будто в невидимой тюрьме.

— Я буду так долго искать выхода, что в конце концов найду его.

— Для вас это будет так же невозможно, как и для других. Сын господина де Меньера был виноват не более вас. У него, как и у вас, были обещания, самые законные надежды. Его отец, один из преданнейших подданных его величества, благороднейший человек в королевстве, был отвергнут королем; уже убеленный сединами, он пошел к этой потаскушке не с тем, чтобы просить ее, а чтобы попытаться ее убедить. Знаете ли, что она ему ответила? Вот ее собственные слова, которые господин де Меньер сообщил мне в письме: «Король поступает так, как ему угодно; он не считает нужным лично выразить вам свое неудовольствие; он ограничивается тем, что заставляет вас его почувствовать, отказав вашему сыну в звании. Наказать вас иначе — значило бы начать дело, а он этого не хочет.

Нужно уважать его волю. Но мне вас жаль, я сочувствую вашему горю, я сама была матерью, я знаю, как для вас должно быть тяжело видеть карьеру вашего сына испорченной». Вот каким слогом выражается эта тварь, а вы еще хотите броситься к ее ногам!

— Говорят, они прелестны, сударь.

— Черт возьми! Должно быть, так. Она не красива, и король не любит ее, это всем известно. Но он уступает, он покоряется этой женщине. Если она удерживает эту странную власть, значит, конечно, в ней что-то есть, и голова у нее не дубовая...

— Говорят, она так остроумна.

— Но зато бессердечна. Хороши достоинства!

— Бессердечна! Ведь она так превосходно читает стихи Вольтера, поет под музыку Руссо, играет Альзиру и Колетту! Это невозможно, я никогда этому не поверю.

— Так поезжайте и посмотрите сами, раз уж вы так хотите. Я советую вам, а не приказываю, но вы только напрасно потратитесь на дорогу. Значит, вы очень любите эту девицу д'Аннебо?

— Больше жизни.

— Поезжайте, сударь.

III

Говорят, что путешествия вредят любви, так как дают возможность рассеяться; говорят также, что они укрепляют любовь, потому что в дороге есть время мечтать. Шевалье был слишком молод для того, чтобы делать такие тонкие наблюдения. Устав от езды в почтовой карете, он на полпути нанял верховую лошадуку и около пяти часов прибыл в гостиницу Солнца — старомодное название времён Людовика XIV.

В Версале жил один старый священник, который был когда-то кюре около Нофлета, шевалье знал и любил его. У этого кюре, человека простого и бедного, был племянник, имевший доходные должности, придворный аббат,

чье покровительство могло быть полезно. Вот почему шевалье и отправился к этому племяннику, который оказался важной персоной; лицо его утопало в пышных брыжах; он очень хорошо принял вновь прибывшего и снисходительно выслушал его рассказ.

— Черт возьми! — сказал он. — Вы приехали как раз кстати. Сегодня вечером при дворе опера, какое-то празднество, право, не знаю. Я не пойду туда, потому что я делаю вид, что дююсь на маркизу, мне надо от нее кое-чего добиться; но вот как раз записка от господина герцога д'Омона, которую я просил у него для кого-то, теперь уж не помню для кого. Пойдите туда. Вы еще, правда, не представлены, но для спектакля это не обязательно. Попытайтесь попасться на глаза королю, когда он будет проходить через малое фойе. Один его взгляд — и ваша судьба решена.

Шевалье поблагодарил аббата, и, утомленный бессонной ночью и целым днем, проведенным в седле, он совершил перед зеркалом в гостинице один из тех небрежных туалетов, которые так идут влюбленным. Не искушенная опытом служанка помогла ему, как сумела, и обсыпала пудрой его шитый золотом камзол. И так он отправился искать счастья. Ведь ему было только двадцать лет!

Смеркалось, когда он подходил к дворцу. Он робко приблизился к ограде и спросил дорогу у часового. Ему указали большую лестницу. Там он узнал от швейцара, что опера только что началась и что король, то есть весь двор, находится в зале¹.

— Если господину маркизу будет угодно пересечь

¹ Речь идет не о том зале, который сохранился до настоящего времени и был построен Людовиком XV или, вернее, госпожой де Помпадур, но закончен только в 1769 году и торжественно открыт в 1770 году по случаю бракосочетания герцога Беррийского (Людовика XVI) с Марией-Антуанеттой. Здесь речь идет о передвижном театре, который устраивали то в одной из галерей, то в другом каком-либо помещении — так, как это было принято и при Людовике XIV. (Прим. автора.)

двор, — прибавил швейцар (на всякий случай он величал шевалье маркизом), — то он тотчас же будет в театре. Если же он предпочитает пройти через апартаменты...

Шевалье никогда не был во дворце. Движимый любопытством, он тут же ответил, что пройдет через апартаменты; когда же лакей собрался пойти с ним, чтобы показать дорогу, он из тщеславия добавил, что не нуждается в провожатом. И он пошел один, не без некоторого волнения.

Версаль весь горел огнями. От нижнего этажа до самой крыши сверкали люстры, жирандоли, золоченая мебель, мрамор. Кроме покоев королевы, двери везде были растворены настежь. По мере того как шевалье шел вперед, его охватывали трудно передаваемые удивление и восхищение — открывшееся его глазам зрелище было чудесно не только по красоте и блеску всего окружающего, но и благодаря полному одиночеству, в котором он находился среди этого очарованного безлюдья.

И в самом деле, есть что-то странное и, так сказать, таинственное в той обстановке, которая окружает нас, когда мы остаемся одни в большом зале, в храме, монастыре или замке. Величественное здание как будто тяготеет над человеком, стены смотрят на него, эхо его подслушивает; звук его шагов нарушает такое глубокое молчание, что он чувствует невольный страх и ступает робко и осторожно.

Так было сначала и с шевалье, но вскоре любопытство одержало в нем верх и повлекло его вперед. Стены зеркальной галереи многократно отражали огни канделябров. Известно, какое бесчисленное множество амуров, сколько нимф и пастушек резвились над окнами, порхали по плафонам и как будто обвивали весь дворец бесконечной гирляндой. Здесь — обширные залы с бархатными расшитыми золотом балдахинами, парадные кресла, еще сохранившие торжественную неподвижность времен великого короля; там — смятые диваны, складные табуреты в беспорядке вокруг карточного стола; бесконечная анфилада всегда пустых гостиных, где великоление тем бо-

лее бросалось в глаза, чем бесполезнее оно казалось; время от времени потайные двери, выходящие в нескончаемые коридоры; тысяча лестниц, тысяча переходов, скрепляющихся, как в лабиринте; колонны, эстрады, словно бы сделанные для гигантов; будуары, запутанные, как будто для игры в прятки; огромное полотно Ванлоо у порфиروهого камина; коробочка с мушками, забытая возле китайского болванчика; то подавляющее величие, то утонченное изящество, и повсюду, среди роскоши, расточительности и неги, тысячи опьяняющих благоуханий, странных и разнообразных, смешанный аромат цветов и женщин, возбуждающая теплота, воздух, напоенный сладострастием.

Очутиться в таком месте, посреди этих чудес, в двадцать лет и совершенно одному — здесь было от чего потерять голову. Шевалье шел наудачу, как во сне.

— Настоящий волшебный дворец! — шептал он, и в самом деле ему казалось, что для него осуществилась одна из тех сказок, где заблудившиеся принцы открывают заколдованные замки.

Неужели в этом несравненном чертоге и вправду живут смертные существа? Неужели в эти кресла и впрямь только что сажались настоящие женщины, изящные очертания которых оставили на этих подушках свой легкий след, еще исполненный неги? Кто знает? Вдруг за этими плотными занавесами, в глубине какой-нибудь бесконечной и блестящей галереи сейчас появится принцесса, уснувшая сто лет тому назад, фея в платье с фижмами, Армида, вся в блестках, или какая-нибудь придворная нимфа выйдет из мраморной колонны или из-за золоченой панели!

Увлеченный, сам того не замечая, всеми этими грезами и видениями, шевалье, чтобы удобнее было мечтать, бросился на диван и, может быть, забылся бы там надолго, если бы не вспомнил о том, что он влюблен. Что делает в это время девица д'Аннебо, его возлюбленная, та, что осталась в старом замке?

— Атенаис! — вскричал он вдруг. — Как смею я терять здесь время? Не помутился ли мой разум? Где же я, великий боже, и что со мной происходит?

Он встал и пустился дальше по этой неведомой стране, и, конечно, он в ней заблудился. Два или три лакея, тихо разговаривая, показались в глубине галереи. Он направился к ним и спросил, как пройти на спектакль.

— Если господину маркизу, — ответили ему (его все так же величали этим титулом), — будет угодно спуститься по этой лестнице и пройти по галерее направо, в конце ее он увидит три ступени, по которым нужно подняться; тогда он повернет налево и после того, как пересечет залы Дианы, Аполлона, Муз и Весны, он спустится еще на шесть ступеней, затем, оставив по правую руку зал, где стоит караул, выйдет к лестнице министров и наверняка встретит там других служителей, которые покажут ему дорогу.

— Премного обязан, — сказал шевалье, — и если я не найду дороги после таких точных разъяснений, так это уж будет моя вина.

Он опять бодро пустился в путь, все время невольно останавливаясь, чтобы посмотреть по сторонам, затем, снова вспоминая о своей любви, шел дальше и наконец, через добрых четверть часа, как ему и говорили, набрел на других лакеев.

— Господин маркиз ошибся, — сказали ему они, — нужно было идти через другое крыло дворца; но нет ничего легче, как туда вернуться. Господину нужно только спуститься по этой лестнице, затем пройти залы Нимф, Лета, зал...

— Благодарю вас, — сказал шевалье.

«И я очень глупо делаю, — подумал он, — что расспрашиваю людей, как уличный зевака. От этого только напрасно страдает моя честь, и если они и не смеют смеяться надо мной, то зачем мне нужен их перечень пышных названий этих зал, из которых я не знаю ни одного?»

Он решил идти прямо, пока это будет возможно. «Ведь, в конце концов, хоть этот дворец очень красив и

очень велик, но он не безграничен, и даже если он втрое длиннее нашего охотничьего заповедника, когда-нибудь я должен дойти до конца».

Но в Версале нелегко долго идти в одном направлении, и это сельское сравнение королевского жилища с охотничьим заповедником, должно быть, не понравилось обитающим здесь нимфам, потому что они снова принялись запутывать бедного влюбленного и, конечно, решив наказать его, для забавы открывали ему все новые переходы из мрамора и золота и заставляли его ходить по замкнутому кругу, беспрестанно выводя на прежнее место, совсем как деревенского жителя, заблудившегося в зеленых лабиринтах парка.

В «Римских древностях» Пиранези есть серия гравюр, которые художник называет своими снами и которые представляют собой воспоминания о его собственных видениях в лихорадочном бреду. На этих гравюрах изображены обширные готические залы; на каменном полу — различные механизмы и машины, колеса, канаты, блоки, рычаги, катапульты и т. д., выражение колоссальной силы, приведенной в действие, и чудовищного сопротивления. Вдоль стены вы замечаете лестницу, и по этой лестнице с трудом поднимается сам Пиранези. Проследите за ступенями повыше, вы увидите, что они обрываются над пропастью. Что бы ни случилось с бедным Пиранези, вы, во всяком случае, думаете, что он закончил свое восхождение, ибо если он сделает еще хоть один шаг — он упадет; но поднимите глаза — и вы увидите еще одну лестницу, которая устремляется ввысь, и на этой лестнице снова Пиранези на краю другой пропасти. Посмотрите еще выше — и перед вами поднимается новая лестница, еще более воздушная, и снова бедный Пиранези продолжает свое восхождение, и так далее до тех пор, пока вечная лестница вместе с Пиранези не исчезнет в облаках, то есть в обрамлении гравюры. Эта бредовая аллегория довольно точно воспроизводит муки бесполезных

усилий и тот род головокружения, который порождается нетерпением.

Шевалье все продолжал странствовать из зала в зал и из галереи в галерею, и в конце концов им овладело нечто вроде бешенства.

— Черт возьми! — сказал он. — Это, наконец, жестоко. После того как я был так очарован, так восхищен, преисполнен такого восторга, оставшись один в этом проклятом дворце (дворец уже не казался ему больше волшебным замком), я, значит, теперь не смогу отсюда выйти! Будь проклято мое фатовство, внушившее мне мысль войти сюда, как вошел бы принц Фанфарине в своих сапогах из чистого золота, вместо того чтобы просто-напросто велеть первому из подошедших лакеев провести меня в зал, где идет представление!

Этим запоздалым сожалениям шевалье предавался как раз тогда, когда он, подобно Пиранези, находился на середине лестницы, на площадке между тремя дверьми. За средней из них ему послышался шепот, такой нежный, такой легкий и как бы сладострастный, что он не мог удержаться, чтобы не прислушаться. И как раз когда он подходил к этой двери, дрожа от того, что совершает нескромный поступок, обе ее створки широко раскрылись. Волна воздуха, напоенного тысячей ароматов, поток света, который заставил бы потускнеть блеск зеркальной галереи, охватили его так неожиданно, что он отступил на несколько шагов.

— Господину маркизу угодно войти? — спросил служитель, отворивший дверь.

— Я хотел бы пойти на представление, — ответил шевалье.

— Оно сию минуту кончилось.

В это время из зала, где происходил спектакль, стали выходить очень красивые дамы, у которых лица были тонко подкрашены белилами и румянами; старым и молодым придворным они подавали не руку и даже не кисть руки, а только кончики пальцев и старались продвигаться

боком, чтобы не смять свои фижмы. Все это блестящее общество говорило вполголоса с веселостью, умеряемой робостью и уважением.

— Что же это такое? — спросил шевалье, не догадываясь, что случай привел его прямо в малое фойе.

— Король сейчас изволит пройти, — ответил служитель.

Существует род бесстрашия, которое ни в чем не сомневается, и оно не трудно дается; это храбрость плохо воспитанных людей. Наш молодой провинциал, хотя и был смел в пределах благоразумия, не обладал этим свойством. Едва услыша слова: «Сейчас пройдет король», он остановился, неподвижный и почти испуганный.

Король Людовик XV, который на охоте мог без труда проехать верхом дюжину лье, был, как известно, по-королевски небрежен. Он считал себя, не без основания, первым дворянином Франции, и его любовницы говорили ему, не без причины, что из всех дворян он красивее всех и лучше всех сложен. Не часто случалось видеть, как он встает с кресла и передвигается собственной персоной. Когда он проходил по фойе, положив или, вернее, небрежно бросив руку на плечо господина д'Аржансона, шаркая своими красными каблуками по паркету (он ввел в моду эту ленивую походку), всякое перешептывание прекратилось; придворные наклонили головы, не смея ответить настоящего поклона, а прекрасные дамы, слегка присев над своими огненного цвета подвязками, спрятанными среди пышнейших оборок, отважились на то кокетливое приветствие, которое наши бабушки называли реверансом и которое в наш век заменено грубым рукопожатием на английский манер.

Но король ни на кого не обращал внимания и видел только то, что ему нравилось. Может быть, здесь присутствовал Альфьери, который в своих мемуарах следующим образом описывает, как он был представлен в Версальском дворце:

«Я знал, что король никогда не разговаривает с ино-

странцами, если только это не особо выдающиеся люди; и все же я никак не мог привыкнуть к бесстрастному и нахмуренному виду Людовика XV. Человека, которого ему представляли, он окидывал взглядом с ног до головы, и казалось, что этот человек не производит на него никакого впечатления. Мне думается, однако, что если бы даже к какому-нибудь великану обратились со словами: «Позвольте представить вам муравья», то и тот, вероятно, посмотрев, улыбнулся бы или сказал: «Ах вот оно, это маленькое животное!»

Итак, молчаливый монарх прошел через этот цветник из прекрасных дам и сквозь весь этот двор, оставаясь в одиночестве посреди толпы. Шевалье не нужно было долгих размышлений, он сразу понял, что ничего не может ждать от короля и что рассказ о его любви не будет здесь иметь никакого успеха.

«Какой я несчастный! — подумал он. — Как прав был мой отец, когда говорил, что, находясь в двух шагах от короля, я увижу пропасть между собой и им. Если бы даже я и осмелился попросить аудиенции, кто возьмет меня под свое покровительство? Кто представит меня? Вот он, этот самодержавный владыка, который может одним словом изменить мою судьбу, обеспечить мое счастье, осуществить все мои желания. Вот он здесь, передо мной; протянув руку, я бы мог дотронуться до его платья... и я чувствую, что нахожусь от него дальше, чем если бы я все еще оставался в глуши моей провинции. Как заговорить с ним? Как обратиться к нему? Кто же придет ко мне на помощь?»

Пока шевалье таким образом предавался отчаянию, вошла молодая дама, довольно красивая, вида изящного и утонченного; она была одета очень просто — в белое платье, без бриллиантов и шитья, с одной только розой в волосах. Она опиралась на руку господина, который, по выражению Вольтера, «весь благоухал амброй», и тихо разговаривала с ним, закрываясь веером. Случилось так, что, болтая, смеясь и жестикулируя, она уронила этот веер, ко-

торый упал под кресло, как раз около шевалье. Он тотчас же бросился поднимать его и при этом опустился на одно колено; молодая дама показалась ему такой очаровательной, что он подал ей веер, оставаясь в той же позе. Она остановилась, улыбнулась и прошла, поблагодарив легким кивком головы, но при взгляде, который она бросила на шевалье, он почувствовал, что сердце его забилось — неизвестно почему. Он не ошибся. Эта молодая дама была «маленькая Этиоль», как ее еще называли недовольные, другие же, упоминая о ней, говорили просто «маркиза», как говорят «королева».

IV

«Вот кто будет моей покровительницей, вот кто придет ко мне на помощь! Ах! Как прав был аббат, когда говорил, что один взгляд решит мою судьбу! Да, эти глаза, такие умные и такие нежные, этот маленький рот, насмешливый и прелестный, эта ножка, утонувшая в помпоне башмачка... Вот она, моя добрая волшебница!..»

Так думал шевалье почти вслух, возвращаясь в свою гостиницу. Откуда явилась к нему эта внезапная надежда? Одна ли его юность говорила в нем или ему сказали что-то глаза маркизы?

Но трудности оставались прежними. Он теперь уже не думал о том, как представиться королю, но кто же представит его маркизе?

Он провел большую часть ночи за письмом к девице д'Аннебо, очень похожим на то, которое читала госпожа де Помпадур.

Приводить его здесь было бы бесполезно. Кроме глупцов, только одни влюбленные воображают, что говорят новое, вечно повторяя одно и то же.

С самого утра шевалье вышел из дома и принялся, мечтая, бродить по улицам. Ему и в голову не приходило снова обратиться к своему покровителю аббату, и он сам затруднился бы объяснить причину, мешавшую ему сделать

это. Он испытывал сложное чувство, состоящее из страха и дерзости, ложного стыда и жажды чего-то романического. И в самом деле, что ответил бы аббат, если бы он рассказал ему свои вчерашние похождения? «Вам представился случай поднять веер, сумели ли вы этим воспользоваться? Что вы сказали маркизе? — Ничего. — Вы должны были бы поговорить с ней. — Я смутился, я растерялся. — Это нехорошо; нужно уметь пользоваться случаем, но беде еще можно помочь. Хотите, я вас представлю господину такому-то? Я с ним хорошо знаком. Или госпоже такой-то? С ней я знаком еще лучше. Мы постараемся, чтобы вы попали к этой маркизе, которой вы так испугались, и уж на этот раз... и т. д.»

Но шевалье и думать не хотел ни о чем подобном. Ему казалось, что он испортит, так сказать, опошлит свое приключение, если станет о нем рассказывать. Он говорил себе, что ему повезло неслыханно, невероятно и что это должно быть тайной между ним и его судьбой; поверить эту тайну первому встречному значило, по его мнению, лишить ее всякой ценности и самому стать недостойным ее. «Я пошел вчера один в Версальский дворец, почему бы мне не пойти одному и в Трианон?» (Там в это время была резиденция фаворитки.)

Такое рассуждение может и даже должно показаться сумасбродством расчетливым умам, которые ничем не пренебрегают и очень мало надеются на случай; но даже самые хладнокровные люди, если они когда-нибудь были молоды (иные даже в годы юности не бывают молодыми), могли изведать это странное чувство, сознание слабости и вместе с тем отваги и притягивающей опасности, которое влечет нас испытать судьбу: чувствуешь себя слепым и не хочешь прозреть, не знаешь, куда идешь, и все-таки идешь. Вся прелесть здесь в беззаботности и в самом неведении, это наслаждение художника, предающегося грезам, влюбленного, который проводит ночь под окнами своей любимой, это также инстинкт солдата и в особенности игрока.

Шевалье, сам почти того не замечая, направился в Трианон. Не будучи одет особенно парадно, как говорилось в то время, он был не лишен изящества и той особой манеры держаться, благодаря которой лакеи, встречающие вас по дороге, не спрашивают, куда вы идете. Поэтому ему было нетрудно, благодаря некоторым указаниям, полученным еще в гостинице, добраться до ограды дворца, если можно так назвать эту бонбоньерку из мрамора, выдавшую в былые времена столько радостей и горя. К несчастью, ворота были закрыты, и толстый швейцар в простом широком плаще гулял, заложив руки за спину, по внутренней аллее, с видом человека, который никого не ждет.

«Король здесь, — подумал шевалье, — или маркизы нет во дворце. Очевидно, когда ворота заперты, а слуги прогуливаются, хозяева или не принимают, или отсутствуют».

Что делать? Если за минуту перед тем он чувствовал себя таким уверенным и смелым, то теперь вдруг ощутил смятение и разочарование. Одна эта мысль: «Король здесь!» пугала его больше, чем накануне три слова: «Король сейчас пройдет!» — тогда это была только неожиданность, а теперь он уже знал этот холодный взгляд, это бесстрастное величие.

«Ах; боже мой! Хорош бы я был, если бы попробовал, как какой-нибудь повеса, проникнуть в этот сад и вдруг встретился бы лицом к лицу с этим гордым монархом, распивающим кофе на берегу ручейка?»

И сразу же бедному влюбленному представился непривлекательный силуэт Бастилии; вместо прелестного образа проходящей с улыбкой маркизы он увидел башни, темницы, черный хлеб, воду, которую применяют при пытках, — история, случившаяся с Латюдом, была ему известна. Мало-помалу он начинал размышлять, и понемногу его надежды улетали.

«Однако, — подумал он снова, — я не делаю ничего дурного, и король тоже не причиняет мне зла. Я протестую

против несправедливости; я никогда не сочинял ни на кого куплетов. Меня так хорошо приняли вчера в Версале, и лакеи были так учтивы! Чего мне бояться? Того, что я сделаю глупость? Ну что ж, тогда придется надеться на других, чтобы исправить первую».

Он подошел к калитке и дотронулся до нее; она была только притворена. Он толкнул ее и решительно вошел. Швейцар обернулся с недовольным видом.

— Что вам нужно? Куда вы идете?

— Я иду к госпоже де Помпадур.

— Вам назначена аудиенция?

— Да.

— А где же ваше письмо?

Его уже больше не называли маркизом, и на этот раз у него не было записки от герцога д'Омона. Шевалье грустно опустил глаза и заметил, что его белые чулки и пряжки из рейнских самоцветов покрыты пылью. Он сделал ошибку, придя пешком в такое место, где ходить было не принято. Швейцар тоже опустил глаза и окинул его взглядом не с головы до ног, а с ног до головы. Камзол показался ему приличным, но шляпа была надета слегка набекрень, и с волос облетела пудра.

— У вас нет письма. Так что вам нужно?

— Я хотел бы поговорить с госпожой де Помпадур.

— В самом деле! И вы думаете, что это так просто?

— Почему я знаю. Король здесь?

— Возможно. Выйдите отсюда и оставьте меня в покое.

Шевалье не хотел сердиться, но эта дерзость заставила его побледнеть.

— Мне случалось иногда приказывать лакею выйти, но никогда я еще не слышал такого приказа от лакея.

— Лакей! Я лакей?! — гневно вскричал швейцар.

— Лакей ли, привратник ли, слуга или вся челядь, до всех вас мне нет никакого дела, и мне все равно, кем бы вы там ни были.

Швейцар весь вспыхнул и шагнул к шевалье со сжаты-

ми кулаками. Шевалье, придя в себя при появлении угрозы, слегка приподнял эфес своей шпаги.

— Берегитесь, — сказал он, — я дворянин, и если я отправлю к праотцам такого грубияна, как вы, мне это обойдется только в тридцать шесть ливров.

— Если вы дворянин, сударь, то я состою на службе у короля, я исполняю свои обязанности, и не думайте...

В это время вдали послышались звуки охотничьего рога; они, казалось, доносились из Саторийского леса; эхо повторило их и замерло. Шевалье опустил шпагу в ножны и, забыв о начавшейся ссоре, воскликнул:

— Эх, черт возьми! Это король отправляется на охоту. Почему вы мне сразу не сказали?

— Это меня не касается и вас также.

— Послушайте, любезный! Короля здесь нет, у меня нет никакого письма, мне не назначена аудиенция. Вот вам на выпивку, впустите меня.

Он вытащил из кармана несколько золотых монет. Швейцар снова окинул его взглядом, полным величайшего презрения.

— Что это такое? — сказал он пренебрежительно. — Разве так пытаются проникнуть в королевский дворец? Берегитесь, как бы я не запер вас здесь вместо того, чтобы вышпроводить отсюда.

— Ты, двойной негодяй?! — воскликнул шевалье, снова рассердившись и хватаясь за шпагу.

— Да, я, — повторил толстяк.

Но во время этого разговора, в который, к сожалению автора, ему пришлось вовлечь своего героя, небо заволочилось тяжелыми тучами — это надвигалась гроза. Сверкнула молния, за ней раздался мощный удар грома, тяжелые капли дождя начали падать на землю. Шевалье, который все еще держал в руках золотые монеты, заметил на своем пыльном башмаке большую каплю дождя величиной с экю.

— Проклятие! Надо укрыться от дождя. Вот будет история, если я весь вымокну.

И он быстро направился к пещере Цербера или, если хотите, к домику привратника, и здесь, бросившись без стеснения в большое кресло самого швейцара, воскликнул:

— Боже, как вы мне надоели! И как я несчастен! Вы принимаете меня за заговорщика и не хотите понять, что у меня в кармане прошение на имя его величества. Пусть я провинциал, но вы зато просто дурак.

Вместо ответа швейцар взял в углу свою алебарду и встал перед шевалье с этим оружием в руках.

— Когда вы, наконец, уберетесь? — закричал он голосом Стентора.

Ссора, которая то затихала, то снова разгоралась, на этот раз готова была как будто разразиться не на шутку, и алебарда уже как-то особенно задрожала в толстых руках швейцара. Какой оборот приняло бы дело? Не знаю, но шевалье, вдруг повернув голову, воскликнул:

— Ах, кто это едет сюда?

Молодой паж верхом на прекрасной лошади (не английской, так как в то время худые ноги не были в моде) прискакал во весь опор со спущенными удилами. Дорога была размыта дождем, ворота были лишь слегка приотворены. Произошла задержка; швейцар подошел и отворил их. Паж прищпорил лошадь, которая после мгновенной остановки снова пустилась в галоп, оступилась, поскользнулась на сырой земле и упала.

Очень трудно, даже опасно поднимать на ноги упавшую лошадь. Здесь не поможет никакой хлыст. Беспорядочные движения ног животного, которое старается подняться своими силами, могут повести к большим неприятностям, в особенности когда у самого всадника нога застряла под седлом.

Шевалье, однако, не раздумывая об этих неудобствах, бросился на помощь и взялся за дело так ловко, что вскоре поднял на ноги лошадь и высвободил всадника. Но последний был весь в грязи и хромал, едва мог переступить. Когда его кое-как провели в домик швейцара и посадили в

то же самое большое кресло, он сказал, обращаясь к шевалье:

— Сударь, вы дворянин, в этом нет никакого сомнения. Вы оказали мне большую услугу, но вы можете оказать мне еще большую. Вот письмо короля к маркизе, а письмо это, как вы видите, очень спешное; недаром моя лошадь и я чуть не сломали себе шею, лишь бы скорее прискакать. Вы понимаете, что в таком виде, да еще с расшибленной ногой, я не могу вручить его маркизе. А то пришлось бы нести меня самого. Не смогли бы вы пойти вместо меня?

С этими словами он извлек из кармана большой конверт, покрытый золотыми арабесками и запечатанный королевской печатью.

— С большою охотой, сударь, — ответил шевалье, принимая конверт. И, словно перышко, легкий и проворный, он побежал, едва касаясь земли носками башмаков.

V

Когда шевалье приблизился к дворцу, перед подъездом его встретил еще один швейцар.

— По приказу короля, — сказал молодой человек, который на этот раз уже не боялся алебард, и, показав свое письмо, весело прошел через строй полдюжины лакеев.

Высоченный служитель, неподвижно стоявший посреди вестибюля, при виде приказа и печати короля поклонился с важностью, словно тополь, согнутый ветром, затем одним из своих костлявых пальцев он дотронулся, улыбаясь, до угла панели из резного дерева.

Маленькая дверь, скрытая портьерой, тотчас бесшумно отворилась, словно сама собой. Костлявый человек сделал любезный жест, шевалье вошел, и приоткрывшаяся портьера снова мягко упала за ним.

Безмолвный лакей ввел его тогда в гостиную, затем в коридор, куда выходили двери двух или трех небольших

покоев, затем в другую гостиную и попросил его минуту подождать.

«Неужели и здесь будет то же, что в Версальском дворце? — подумал шевалье. — Неужели опять начнется игра в прятки?»

В ту пору Трианон не был ни тем, чем он стал теперь, ни тем, чем он был прежде. Говорят, что госпожа де Ментенон превратила Версаль в молельню, а госпожа де Помпадур сделала из него будуар. О Трианоне говорят также, что этот «маленький фарфоровый дворец» был будуаром госпожи де Монтеспан. Каково бы ни было назначение всех этих будуаров, но Людовик XV устраивал их повсюду. Какая-нибудь галерея, где величественно прогуливался его дед, при нем была причудливым образом перегорожена на бесчисленное множество маленьких комнат. Они были всевозможных цветов, и король, словно мотылек, порхал по этим шелковым и бархатным беседкам. «Как вы находите мои интимные апартаменты? Со вкусом ли они отделаны?» — спросил он однажды у красавицы графини де Серан. «Нет, — ответила она, — я хотела бы, чтобы обивка была голубая». Так как голубой цвет был цветом короля, этот ответ польстил ему. Во время следующего свидания госпожа де Серан увидела, что обивка гостиной, в согласии с ее вкусом, была заменена голубой.

Гостиная, в которой шевалье оставили сейчас одного, не была ни голубой, ни белой, ни розовой, она вся была отделана зеркалами. Известно, как выигрывает хорошенькая стройная женщина, если ее отражение тысячу раз повторяется в зеркалах. Она ослепляет, она, так сказать, окружает того, кому она хочет нравиться. В какую бы сторону он ни посмотрел, он видит ее. Как тут спастись? Ему остается только бежать или признать себя покоренным.

Шевалье посмотрел также в сад. Там из-за подстриженных кустов и лабиринтов, из-за статуй и мраморных ваз уже проглядывал тот пастушеский вкус, который маркиза стала вводить в моду и который позже госпожа Дю-

барри и королева Мария-Антуанетта развили до такой степени изоэдренности. Уже начинались затеи в сельском роде, в которых упражнялась теперь пресыщенная прихоть. Уже надутые тритоны, строгие богини и нимфы с учеными именами, мраморные бюсты в больших париках, леденя от ужаса в своих нишах из зелени, смотрели, как посреди изумленного тиса поднимается из земли английский сад. Маленькие лужайки, ручейки, мостики скоро должны были свергнуть с престола Олимп, и вместо него появилась молочная ферма, странная пародия природы, которую англичане пытаются копировать, не понимая ее; настоящая детская игра, ставшая в те годы времяпрепровождением изнеженного властелина, в самом Версале не знавшего, как спастись от версальской скуки.

Но шевалье был слишком очарован, слишком восхищен тем, что находится здесь, и на ум ему не могло прийти какое-нибудь критическое замечание. Напротив, он готов был всем восторгаться, и в самом деле восторгался, вертя в руках письмо, как провинциал вертит в руках шляпу, когда хорошенькая камеристка открыла дверь и сказала вполголоса:

— Пройдите, сударь.

Он последовал за ней и, снова пройдя несколько более или менее таинственных коридоров, вошел в большую комнату с наполовину закрытыми ставнями. Здесь камеристка остановилась и, казалось, стала к чему-то прислушиваться.

«Опять игра в прятки», — подумал шевалье.

Однако через несколько секунд отворилась еще одна дверь, и другая камеристка, такая же хорошенькая, как первая, повторила тем же тоном те же самые слова:

— Пройдите, сударь.

Если шевалье был взволнован в Версале, то здесь он был взволнован еще больше, так как понимал, что находится у порога храма, где обитает божество. Он вошел с бьющимся сердцем; мягкий свет, чуть затемненный лег-

кими газовыми шторами, сменил полумрак; восхитительный, едва уловимый аромат разлился вокруг него; горничная робко откинула край шелковой портьеры, и в глубине большой комнаты, убранной с самой изящной простотой, он увидел даму, чей всер он поднял, он увидел всемогущую маркизу.

Она была одна и сидела за столом, завернувшись в широкий пеньюар, склонив голову на руку, и казалась очень озабоченной. При виде вошедшего шевалье она поднялась неожиданным и как бы невольным движением.

— Вы от короля?

Шевалье мог бы ответить, но не нашел ничего лучшего, как почтительно поклониться, подавая маркизе принесенное им письмо. Она взяла или, вернее, схватила его с крайней живостью. Когда она распечатывала конверт, руки ее дрожали.

Это письмо, написанное самим королем, было довольно длинно. Сначала она как бы проглотила его одним взглядом, потом стала жадно, с глубоким вниманием читать, сжав губы и нахмутив брови. В ту минуту она не была красивой и не походила больше на волшебное видение малого фойе. Дочитав письмо, она, казалось, задумалась. Понемногу ее побледневшее лицо снова слегка порозовело (в такой ранний час она не была нарумянена); к ней не только вернулось ее очарование, но отблеск подлинной красоты мелькнул на ее нежных чертах; ее щеки стали похожи на два лепестка розы. Она чуть слышно вздохнула, уронила письмо на стол и, повернувшись к шевалье, сказала с самой прелестной улыбкой:

— Я заставила вас ждать, сударь, но дело в том, что я была еще в постели, я и сейчас еще не совсем встала. Вот почему мне пришлось приказать провести вас сюда тайными переходами; ведь здесь меня осаждают почти так же, как если бы я была у себя дома. Я хотела бы ответить королю. Вас не затруднит исполнить мое поручение?

На этот раз нужно было говорить; шевалье имел достаточно времени, чтобы немного собраться с духом.

— Увы, сударыня, — ответил он грустно, — вы мне оказываете большую милость, но, к несчастью, я не могу ею воспользоваться.

— Почему же?

— Я не имею чести служить при его величестве.

— Как же вы тогда попали сюда?

— Благодаря случаю. Я встретил по дороге пажа, который упал на землю и который просил меня...

— Как это упал на землю! — повторила маркиза, весело засмеявшись. (Она, казалось, была так счастлива в эту минуту, что ее нетрудно было рассмешить.)

— Да, сударыня, он упал с лошади у ворот парка. К счастью, я оказался там и помог ему подняться, но так как его камзол был сильно испорчен, он просил меня исполнить возложенное на него поручение.

— По какому же случаю оказались вы там?

— Сударыня, дело в том, что я хотел бы подать прошение его величеству.

— Его величество живет в Версале.

— Да, но вы живете здесь.

— Вот оно что! Так, значит, это вы хотели дать мне поручение?

— Сударыня, умоляю вас, поверьте...

— Чего вы испугались, ведь вы не первый. Но почему вы обращаетесь ко мне? Я же только женщина... как и всякая другая.

При этих словах, сказанных насмешливо, маркиза бросила торжествующий взгляд на письмо, которое она только что прочла.

— Сударыня, — ответил шевалье, — я всегда слышал, что мужчины применяют власть, а женщины...

— Располагают ею, не так ли? Ну так что же, сударь, во Франции есть королева.

— Я знаю это, сударыня, вот почему я и оказался здесь сегодня утром.

Маркиза слишком привыкла к подобным комплиментам, хотя обычно ей говорили их вполголоса, но при существующих обстоятельствах последние слова шевалье ей как будто особенно понравились.

— Но на что же вы надеялись, где черпали уверенность в том, что вам удастся проникнуть сюда? Ведь, я полагаю, вы не могли рассчитывать на лошадь, которая упадет по дороге!

— Сударыня, я думал... я надеялся...

— На что же вы надеялись?

— Я надеялся, что, может быть... случай...

— Все этот случай! Он, кажется, благосклонен к вам; но предупреждаю вас, что если у вас нет других покровителей, это довольно печальная рекомендация.

Быть может, оскорбленная удача захотела отомстить за такую непочтительность, но шевалье, которого последние вопросы маркизы смущали все больше и больше, вдруг заметил на краю стола тот самый веер, который он поднял накануне. Он взял его и, как накануне, подал его маркизе, склонив перед ней колено.

— Вот, сударыня, — сказал он, — единственный друг, который у меня здесь есть.

Маркиза сначала как будто удивилась, подумала мгновение, взглядывая то на веер, то на шевалье.

— А! Вы правы, — сказала она наконец, — это вы, сударь, я узнала вас. Это вас я видела вчера после спектакля, когда шла с господином де Ришелье. Я уронила этот веер, и вы оказались там, как вы говорите.

— Да, сударыня.

— И вы мне его подали очень любезно, как настоящий рыцарь; я вас не поблагодарила, но я всегда была уверена, что тот, кто с такой готовностью поднял веер, умеет также, в случае надобности, поднять и перчатку, а нам, женщинам, это нравится.

— И это совершенно справедливо, сударыня, ведь сейчас, когда я пришел сюда, я чуть было не подрался на дуэли со швейцаром.

— Боже милостивый! — воскликнула маркиза, снова заливаясь смехом. — Со швейцаром! И по какому же поводу?

— Он не хотел впустить меня.

— Это было бы жаль. Но, сударь, кто вы? Чего вы просите?

— Сударыня, меня зовут шевалье де Вовер; господин Бирон просил о зачислении меня корнетом в гвардию.

— Ах, в самом деле! Опять припоминаю. Вы приехали из Нюфлета; вы влюблены в девицу д'Аннебо...

— Сударыня, кто мог сказать вам?..

— О, предупреждаю вас, я опасная женщина. Когда память изменяет мне, я угадываю. Вы родственник аббата Шовлена и потому получили отказ, не так ли? Где ваше прошение?

— Вот оно, сударыня; но, право, я не могу понять...

— А зачем вам понимать? Встаньте и положите ваше прошение на стол. Я сейчас отвечу королю; вы отнесете ему и свое прошение и мое письмо.

— Но, сударыня, я, кажется, уже сказал вам, что...

— Вы пойдете. Вы прошли сюда от имени короля, не так ли? Ну, так что же! Вы пройдете туда от имени госпожи де Помпадур, придворной дамы королевы.

Шевалье поклонился, не говоря ни слова, пораженный изумлением. Всем давно было известно, сколько переговоров, хитростей и интриг понадобилось фаворитке и какую настойчивость она проявила, чтобы получить это звание, которое, в сущности, не принесло ей ничего, кроме жестокого оскорбления со стороны дофина. Но вот уже десять лет, как она об этом мечтала, она этого хотела, она добилась своего. Господин де Вовер, которого она не знала, хотя ей была известна его любовь, нравился ей, как приятное известие.

Неподвижно стоя за креслом маркизы, шевалье наблюдал за ней, пока она писала, сначала от всего сердца, с

увлечением, потом, раздумывая, остановилась, провела рукой по своему маленькому носику, словно выточенному из амбры. Она нервничала, свидетель стеснял ее. Наконец она решилась и сделала пометку; приходилось признаться, что теперь это был только черновик.

Напротив шевалье, по другую сторону стола, блестящее богатое венецианское зеркало. Скромный посланец едва осмеливался поднять глаза. Однако ему было бы очень трудно не видеть в этом зеркале, через голову маркизы, встревоженное и прелестное лицо новой придворной дамы.

«Как она хороша, — думал он. — Жаль, что я влюблен в другую; но Атенаис еще красивее, и кроме того, с моей стороны это было бы отвратительной изменой!..»

— О чем вы говорите? — спросила маркиза. (Шевалье, по своей привычке, сам того не замечая, начал думать вслух.) — Что вы сказали?

— Я, сударыня? Я жду.

— Вот и готово, — ответила маркиза и взяла другой лист бумаги; но при легком движении, которое она сделала, оборачиваясь, пенюар соскользнул с ее плеча.

Странная вещь мода! Наши бабушки не находили ничего особенного в том, чтобы ехать ко двору в пышных платьях, оставляющих грудь почти открытой, и в этом не видели ничего непристойного; но они старательно закрывали спину, которую прекрасные дамы наших дней показывают на балах и в опере. Это красота нового изобретения.

На хрупком белом и изящном плече госпожи де Помпадур была маленькая черная родинка, похожая на мушку, упавшую в молоко. Шевалье, с видом серьезным, как у ветреника, который хочет держать себя пристойно, смотрел на эту родинку, а маркиза, держа в руке перо, смотрела на шевалье в зеркало.

В этом зеркале они обменялись быстрым взглядом, взглядом, в котором не обманывается ни одна женщина,

который говорит с одной стороны: «Вы очаровательны», и с другой: «Я против этого не возражаю».

Однако маркиза поправила пеньюар.

— Вы смотрите на мою родинку, сударь?

— Я не смотрю, сударыня; но я вижу и восхищаюсь.

— Возьмите, вот мое письмо; снесите его королю вместе с вашим прошением.

— Но, сударыня...

— Что такое?

— Его величество на охоте; я только что слышал, как трубили рога в Саторийском лесу.

— Это правда, я забыла! Ну так завтра, послезавтра, не все ли равно? Нет, сейчас. Ступайте, вы передадите это Лебелю. Прощайте, сударь. Советую вам запомнить, что эту родинку, на которую вы только что смотрели, во всем королевстве видел только один король; а что касается вашего приятеля-случая, скажите ему, пожалуйста, чтобы он не приучался болтать один так громко, как это было только что. Прощайте, шевалье.

Она притронулась к маленькому звоночку, затем, приподняв волну пышных кружев на своем рукаве, протянула молодому человеку обнаженную руку.

Он снова поклонился и краем губ едва прикоснулся к розовым ногтям маркизы. Она не сочла это за неучтивость, наоборот, ей показалось, что он был слишком уж скромнен.

Тотчас же появились маленькие камеристки (старшие еще не встали), а за ними, возвышаясь, как колокольня посреди стада барашков, костлявый дворецкий шел все с тою же улыбкой и указывал дорогу.

VI

Один в своей маленькой комнатке в гостинице Солнца, погрузившись в старое кресло, шевалье прождал весь следующий день и еще один день — никаких новостей.

«Странная женщина! Нежная и властная, добрая и

злая, самая легкомысленная и самая упрямая! Она забыла меня. О, горе мне! Она права, она всемогуща, а я ничего не значу».

Он встал и начал ходить по комнате.

«Ничего не вышло, нет, я просто жалкий бедняк. Как мой отец был прав! Маркиза посмеялась надо мной. Очень просто: пока я смотрел на нее, ей понравилась ее собственная красота. Ей приятно было видеть в этом зеркале и в моих глазах отражение своих прелестей, которые, честное слово, и в самом деле несравненны. Да, у нее небольшие глаза, но какое очарование! И Латур, еще прежде Дидро, чтобы написать ее портрет, взял вместо красок пыльцу с крыльев бабочек. Она невысокого роста, но как стройна! — Ах, Атенаис д'Аннебо! Ах, моя милая! Неужели и я мог бы забыть ее?»

Кто-то два или три раза постучал в дверь, и это отвлекло шевалье от его грустных мечтаний.

— Кто там?

Тот самый костлявый дворецкий, которого он видел в Трианоне, весь одетый в черное, в красивых шелковых чулках с накладкой, изображавшей отсутствующие икры, вошел и торжественно поклонился:

— Сегодня вечером, господин шевалье, при дворе маскарад, и госпожа маркиза послала меня сказать вам, что вы приглашены.

— Очень хорошо, сударь, премного благодарен!

Как только костлявый человек ушел, шевалье бросился к звонку: та же служанка, которая три дня назад применила все свое искусство, чтобы нарядить его, помогла ему надеть все тот же расшитый золотом камзол, стараясь нарядить его еще лучше.

После этого молодой человек направился во дворец, на этот раз приглашенный и по внешнему виду более спокойный, но в душе встревоженный и еще более робкий, чем когда он совершил первые шаги в этом мире, тогда еще ему незнакомом.

Ошеломленный почти так же, как в первый раз, великолепием Версальского дворца, который в этот вечер не был безлюден, шевалье ходил по большой галерее, смотря по сторонам и стараясь угадать, почему его сюда пригласили; но никто, казалось, и не думал подойти к нему. Прошел час, он соскучился и хотел уже уходить, как вдруг две маски, одетые совершенно одинаково, остановили его, когда он проходил мимо низенького дивана, на котором они сидели. Одна из них нацелила на него палец, как будто хотела выстрелить из пистолета, другая встала и подошла к нему.

— Кажется, сударь, — сказала ему маска, небрежно взяв его под руку, — вы на довольно короткой ноге с нашей маркизой.

— Прошу прощения, сударыня, но о ком вы говорите?

— Вы это прекрасно знаете.

— Не имею ни малейшего понятия.

— Ну, положим!

— Нисколько.

— Об этом знает весь двор.

— Я не принадлежу ко двору.

— Не прикидывайтесь младенцем. Говорят вам, все это знают.

— Возможно, сударыня, но я-то ничего не знаю.

— Однако же вы знаете, что третьего дня один паж упал с лошади у ворот Трианона. Разве вы не были случайно там?

— Да, сударыня.

— И помогли ему встать?

— Да, сударыня.

— И вошли в замок?

— Совершенно верно.

— И там вам вручили письмо?

— Да, сударыня.

— И вы снесли его королю?

— Конечно.

— Короля не было в Трианоне, он был на охоте, маркиза была одна... не так ли?

— Да, сударыня.

— Она только что проснулась; она была почти не одета, говорят, на ней был только пеньюар.

— Люди, которым нельзя запретить молчать, говорят все, что им вздумается.

— Прекрасно, но, кажется, вам и маркизе вздумалось обменяться взглядом, который не очень ее рассердил.

— На что вы намекаете, сударыня?

— На то, что вы понравились ей.

— Я ничего об этом не знаю, и я был бы в отчаянии, если бы такая редкая и отрадная для меня благосклонность, которой я не ожидал, которая тронула меня до глубины сердца, могла подать повод к злословию.

— Вы очень вспыльчивы, шевалье; можно подумать, что вы хотите вызвать на дуэль весь двор, но ведь вам никогда не убить столько народа.

— Но, сударыня, если этот паж упал и я отнес за него письмо... Позвольте спросить, почему вы меня расспрашиваете?

Маска сжала ему руку и сказала:

— Вот что мы замыслием. Король разлюбил маркизу, и никто не верит, что он когда-нибудь любил ее. Она только что допустила неосторожность; она восстановила против себя весь парламент из-за этого налога в два су, а сейчас она осмеливается затрагивать еще гораздо более сильного противника, орден иезуитов. Она потерпит поражение, но у нее есть оружие, и, раньше чем погибнуть, она будет защищаться.

— Так что же, сударыня? Что я могу тут сделать?

— Сейчас я скажу вам. Господин де Шуазель почти что в ссоре с господином де Берни; ни один из них не уверен в том, что предпримет другой; Берни подает в отставку, Шуазель займет его место: одно ваше слово, и это решено.

— Помилуйте, сударыня, каким же это образом?

— Если вы позволите рассказывать о вашем посещении Трианона.

— Что общего между этим моим посещением, иезуитами и парламентом?

— Напишите мне одно слово, и маркиза погибла. И не сомневайтесь, что самое живое участие, самая беспредельная благодарность...

— Я еще раз прошу извинения, сударыня, но то, что вы от меня требуете, — подлость.

— Разве существует благородство в политике?

— Я ничего не понимаю во всем этом. Госпожа де Помпадур уронила при мне свой веер; я поднял его, я вернул его ей; она меня поблагодарила, она позволила мне, со свойственной ей любезностью, поблагодарить ее в свою очередь.

— Довольно притворства! Время идет; меня зовут графиня д'Эстрад. Вы любите девицу д'Аннебо, мою племянницу... Не отрицайте, это бесполезно; вы просите чина корнета... вы его получите завтра, и, если Атенаис вам нравится, вы скоро будете моим племянником.

— О сударыня, есть ли предел вашей доброте!

— Но вы должны говорить.

— Нет, сударыня.

— Мне сказали, что вы любите эту девочку.

— Так, как только возможно любить; но если когда-нибудь я смогу открыто признаться ей в любви, нужно, чтобы и честь моя оставалась безупречной.

— Вы очень упрямы, шевалье! Это ваше последнее слово?

— Первое и последнее.

— Вы отказываетесь поступить в гвардию? Вы отказываетесь от руки моей племянницы?

— Да, сударыня, если я могу получить ее только такой ценой.

Госпожа д'Эстрад окинула шевалье проницательным взглядом, полным любопытства; затем, не замечая на его

лице и тени колебания, она медленно удалилась и затерялась в толпе.

Шевалье, который ничего не мог понять в этом странном приключении, сел в углу галереи.

«Что замышляет эта женщина? — думал он. — Она, наверное, не совсем в своем уме. Она хочет совершить государственный переворот путем глупой клеветы и предлагает мне обесчестить себя, чтобы заслужить руку ее племянницы. Но Атенаис тогда отвергла бы меня, или, если бы она вмешалась в подобную интригу, я сам отказался бы от нее! Как! Пытаться вредить этой доброй маркизе, оклеветать ее, очернить... никогда! Нет, никогда!»

Верный своей рассеянности, шевалье, вероятно, скоро встал бы и заговорил бы вслух, как вдруг чей-то розовый пальчик слегка дотронулся до его плеча. Он поднял глаза и увидел перед собой две одинаковые маски, которые уже останавливали его.

— Так, значит, вы не хотите помочь нам? — спросила одна из масок, стараясь изменить голос. Но хотя оба костюма были совершенно одинаковы и хотя все, по-видимому, было рассчитано на то, чтобы сбить его с толку, шевалье не обманулся. И взгляд и звук голоса были другие.

— Вы будете отвечать, сударь?

— Нет, сударыня.

— И не напишете?

— Тоже нет.

— Вы и в самом деле упрямы. Прощайте, поручик!

— Что вы сказали, сударыня?

— Вот ваше свидетельство и ваш брачный контракт.

И она бросила ему свой веер.

Это был тот самый веер, который шевалье поднимал уже дважды. Маленькие амуры Буше резвились на пергаменте среди позолоченного перламутра. Сомнения не оставалось, это был веер госпожи де Помпадур.

— О небо! Маркиза, возможно ли?

— Очень возможно, — сказала она, приподняв на подбородке черное кружево маски.

— Я не знаю, сударыня, что ответить...

— И не нужно отвечать. Вы благородный человек, и мы еще увидимся, потому что вы будете служить у нас. Король назначил вас в конную гвардию. Помните, что для просителя нет лучшего красноречия, как уметь молчать, когда это нужно.

И простите нас, — прибавила она, смеясь и убегая, — что, прежде чем отдать за вас нашу племянницу, мы хотели получить о вас кое-какие сведения¹.

Пьесы

¹ Госпожа д'Эстрад вскоре после описанных событий впала в немилость вместе с господином д'Аржансоном за то, что интриговала, на этот раз всерьез, против госпожи де Помпадур. (Прим. автора.)

ПРИХОТИ МАРИАННЫ

Комедия в двух действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Клаудио, судья.

Челио.

Оттавио.

Тибиа, слуга Клаудио.

Пиппо, слуга Челио.

Мальволио, мажордом Гермии.

Слуга в трактире.

Марианна, жена Клаудио.

Гермия, мать Челио.

Чиута, старуха.

Слуги.

Действие происходит в Неаполе.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ КЛАУДИО

Марианна выходит из своего дома с молитвенником в руке.
Чиута подходит к ней.

Чиута. Красавица, можно ли сказать вам словечко?

Марианна. Что вам надо от меня?

Чиута. Юноша, живущий в этом городе, безумно влюблен в вас. Уже целый месяц он тщетно ищет случая сказать вам это. Имя его Челио; он знатного рода и хорош собою.

Марианна. Довольно. Скажите тому, кто послал вас, что он попусту старается и только теряет время и что, если от его имени ко мне еще раз посмеют обратиться с такими речами, я сообщу об этом моему мужу. (*Уходит.*)

Челио (*входит*). Ну что, Чиута, что она тебе сказала?

Чиута. Набожна и надменна, как никогда. Говорит, что скажет мужу, если ее не оставят в покое.

Челио. О я несчастный! Мне остается умереть. О самая жестокая из всех женщин! А ты что посоветуешь мне, Чиута? К какому средству мне прибегнуть?

Чиута. Прежде всего советую вам уйти отсюда; следом за ней идет ее муж.

Уходят. Входят Клаудио и Тибиа.

Клаудио. Ведь ты — преданный мне слуга, верный мой лакей? Знай, что я должен мстить за оскорбление.

Тибиа. Вы, синьор?

Клаудио. Да, я; ведь эти наглые гитары не переставая рокочут под окнами моей жены. Но терпение! Дело еще не кончено. Слушай-ка, поди сюда; там — люди: они могут нас услышать. Сегодня вечером ты приведишь того браво, о котором я говорил с тобой.

Тибиа. Зачем?

Клаудио. Я думаю, что у Марианны есть любовники.

Тибиа. Вы так думаете, синьор?

Клаудио. Да, вокруг моего дома пахнет любовью; ведь так, попросту, никто не станет здесь ходить, здесь все кишит гитарами и своднями.

Тибиа. Но разве вы можете запретить, чтобы в честь вашей жены пели серенады?

Клаудио. Нет, но я могу поставить человека у потайного входа, и он избавит меня от всякого, кто посмеет войти.

Тибиа. О, у вашей жены нет любовников, ведь это то же, как если бы вы сказали, что у меня есть любовницы.

Клаудио. А почему бы им не быть? Ты весьма уродлив, но очень умен.

Тибиа. Не спорю, не спорю.

Клаудио. Вот видишь, Тибиа, ты и сам не споришь; сомнениям больше нет места, и я опозорен в глазах всего света.

Тибиа. Почему же в глазах всего света?

Клаудио. Говорю тебе, что в глазах всего света.

Тибиа. Но, синьор, жена ваша по всему городу слывет твердыней добродетели; она не видится ни с кем; из дома она выходит только к обедне.

Клаудио. Не мешай мне. Я вне себя от гнева; и это — после всех подарков, которые она получила от меня. Да, Тибиа, от отчаянья я сейчас замышляю страшное дело, и сам готов умереть с горя.

Тибиа. Да нет, ну что вы!

Клаудио. Когда я что-нибудь говорю тебе, изволь верить.

Уходят.

Челио (*возвращается*). Горе тому, кто во цвете юности отдается во власть безнадежной любви! Горе тому, кто предается сладостным мечтаниям, не зная, куда влечет его химера и будет ли он вознагражден взаимностью! Убаюканный, нежась в челне, он понемногу удаляется от берега; он видит вдали зачарованные равнины, зеленые луга и легчайший мираж своего Эльдорадо. Ветры безмолвно увлекают его, а когда действительность его пробуждает, он так же далек от цели, к которой стремится, как от берега, который он покинул; он не может ни продолжать свой путь, ни вернуться назад.

Слышится музыка.

Что за маскарад? Не Оттавио ли это?

Входит Оттавио.

Оттавио. Как чувствует себя, мой дорогой синьор, ваша сладостная меланхолия?

Челио. Оттавио, не безумец ли ты, твои щеки покрыты слоем румян! Где ты взял этот наряд? Не стыдно ли тебе — среди белого дня?

Оттавио. О Челио, не безумец ли ты! Твои щеки покрыты слоем белил! Где ты взял этот широкий черный плащ? Не стыдно ли тебе — в самый разгар карнавала?

Челио. Что за жизнь ты ведешь! Ты пьян — или я сам пьян.

Оттавио. Ты без ума, или я сам без ума.

Челио. Более чем когда бы то ни было от прекрасной Марианны.

Оттавио. Более чем когда бы то ни было — от кипрского вина.

Челио. Я шел к тебе и тебя же встречаю.

Оттавио. И я также шел к себе. Как поживает мой дом? Я уже неделю не видался с ним.

Челио. Я буду просить тебя об услуге.

Оттавио. Говори, Челио, дорогое дитя мое. Тебе надо денег? — У меня их больше нет. Тебе нужны советы? — Я пьян. Нужна тебе моя шпага? — Вот сабля арлекина. Говори же, говори, располагай мною.

Челио. Сколько же это будет продолжаться? Целую неделю не возвращаться домой! Ты же убьешь себя, Оттавио.

Оттавио. Друг мой, я никогда не убью себя собственной рукой, никогда; я скорее готов умереть, чем покуситься на жизнь свою.

Челио. А разве жизнь, которую ты ведешь, — не самоубийство?

Оттавио. Представь себе канатоходца в башмаках, расшитых серебром, с шестом в руке, висящего между небом и землей; со всех сторон — старые сморщенные рожи, тощие и бледные призраки, ловкие кредиторы, родственники и куртизанки, целая толпа чудовищ цепляется за его плащ, чтобы заставить его потерять равновесие; напыщенные фразы, громкие слова в роскошной оправе так и скачут вокруг него; рой зловещих предсказаний своими черными крыльями застилает свет в его глазах. Он легкой поступью продолжает свой путь с востока на запад. Если он посмотрит вниз — закружится голова, посмотрит вверх — оступится. Он движется быстрее ветра, и руки, тянущиеся к нему со всех сторон, не заставят его пролить ни одной капли из чаши, которую он несет в руке. Вот моя жизнь, дорогой друг; пред тобой — мой верный портрет.

Челио. Какое счастье — быть безумцем!

Оттавио. Какое безумие — быть несчастным! Скажи-ка, чего тебе недостает?

Челио. Мне недостает покоя, той сладостной беспечности, которая превращает жизнь в зеркало, где все от-

ражается, не оставляя следа. Деньги, взятые взаймы, уже терзают мою совесть. Любовь, которая вам служит времяпрепровождением, тревожит всю мою жизнь. О друг мой, ты никогда не будешь знать, что значит любить так, как люблю я! Мой рабочий кабинет заброшен; целый месяц, день и ночь, я блуждаю вокруг этого дома. Какое блаженство я испытываю, когда встает луна, а я привожу под сень этих низеньких деревьев, туда, в конец площади, скромный хор моих музыкантов, сам управляю им и слушаю, как они воспевают красоту Марианны! Ни разу не появлялась она у окна; ни разу не коснулось решетки окна ее прелестное чело.

Оттавио. Кто такая эта Марианна? Уж не моя ли это кузина?

Челио. Да, она, жена старого Клаудио.

Оттавио. Я никогда ее не видел, наверняка она моя кузина. И Клаудио недаром ее муж. Доверься мне, Челио.

Челио. Все средства, к которым я пытался прибегнуть, чтобы высказать ей мою любовь, были бесплодны. Она воспитана в монастыре; она любит своего мужа и чтит свой долг. Дверь ее закрыта для всех молодых людей нашего города, и никто не может приблизиться к Марианне.

Оттавио. Ба! А хороша она? Но я же и дурак: если ты ее любишь, не все ли равно? Что бы нам придумать?

Челио. Могу ли я говорить с тобой откровенно? Ты не будешь надо мной смеяться?

Оттавио. Не мешай мне смеяться над тобой и говори откровенно.

Челио. Тебя, как родственника, должны принимать в этом доме.

Оттавио. Должны принимать? Ничего не знаю на этот счет. Ну, предположим, что меня принимают. Сказать тебе по правде, существует большая разница между пучком спаржи и моей августейшей семьей. Мы не

слишком-то тесно связаны друг с другом и поддерживаем отношения только путем писем. Все же Марианна знает мое имя. Надо ли мне замолвить за тебя слово?

Челио. Сколько раз я пытался заговорить с ней; сколько раз я чувствовал, приблизившись к ней, как подгибаются мои колени. Мне пришлось подослать к ней старуху Чиуту. Когда я вижу ее, у меня сжимается горло и я задыхаюсь, как будто сердце мое рвется из груди.

Оттавио. Я испытывал это. Когда лань приближается мелкими шажками, ступая по сухим листьям, и охотник слышит шорох кустов, которые она раздвигает своей трепетной грудью — точно легкий шелест платья, — сердце его невольно замирает; он безмолвно поднимает оружие, не двигаясь с места, не смея вздохнуть.

Челио. О, зачем я таков? Ведь издавна распутники утверждают, что все женщины похожи друг на друга? Почему же так редко одна любовь бывает похожа на другую? Право, я не мог бы любить эту женщину так, как любил бы ее ты, Оттавио, или как я любил бы другую. А что мы видим? Два синих глаза, алые губы, белое платье, белые ручки. Почему же то, что заставило бы тебя весело суетиться, то, что притягивало бы тебя, как магнит притягивает железо, оставляет меня печальным и равнодушным? Кто мог бы сказать: вот это весело, а то печально? Действительность — только призрак. Назови фантазией или безумием то, что ее одухотворяет. Но ведь тогда и сама красота — безумие! Каждый человек окутан прозрачной тканью, покрывающей его с головы до ног: ему кажется, что он видит леса и реки, божественно прекрасные лица, и вся природа расцветивается в его глазах бесконечными оттенками волшебного покрова. Помогите, помогите мне, Оттавио!

Оттавио. Мне нравится твоя любовь, Челио! Она проказничает у тебя в мозгу, как бутылка сиракузского.

Дай руку, я тебе помогу. Погоди лишь минуту, ветер повеял мне в лицо, и я собираюсь с мыслями. Я знаю эту Марианну; она терпеть меня не может, хотя не видела никогда. Она — тощая куколка и без конца бормочет свои Ave.

Челио. Делай что хочешь, но не обмани меня, заклинаю! Меня легко обмануть; я не могу заподозрить другого в таком поступке, которого сам не мог бы совершить.

Оттавио. А если бы ты перебрался через стену сада?

Челио. Между ею и мною — невидимая стена, через которую я не могу перебраться.

Оттавио. А если бы ты написал ей?

Челио. Она рвет мои письма или отсылает мне их обратно.

Оттавио. А если бы ты полюбил другую? Пойдем к Розалинде.

Челио. Жизнь моя принадлежит Марианне; одно лишь слово, слетевшее с ее уст, может разбить или воскресить мое сердце. Жить ради другой для меня горше, чем умереть за нее; я добьюсь цели или умру. Тише! Вот она идет.

Оттавио. Уйди, я заговорю с ней.

Челио. Что ты? В таком виде? Вытри лицо; ты же похож на сумасшедшего.

Оттавио. Ну, вот и готово. Пьянство и я, дорогой мой Челио, мы слишком дороги друг другу, чтобы ссориться; оно исполняет мои желания, как я исполняю его волю. Не беспокойся; только школьник, попавший в дни каникул на торжественный обед и напившийся там, может терять голову и бороться с вином: пьянство у меня в природе; свобода — вот мой образ мыслей, в эту минуту я и с королем заговорил бы так же, как заговорю с твоей красавицей.

Челио. Я не знаю, что со мной. Нет, не говори с ней!

Оттавио. Почему же?

Челио. Не знаю почему; мне кажется, ты обманешь меня.

Оттавио. Вот тебе моя рука. Клянусь тебе моей честью, что Марианна будет твоей или ничьей, если я в силах что-нибудь сделать.

Челио уходит. Входит Марианна. Оттавио подходит к ней.

Не отворачивайтесь, о богиня красоты; коснитесь взглядом недостойнейшего среди ваших слуг.

Марианна. Кто вы?

Оттавио. Меня зовут Оттавио; я двоюродный брат вашего мужа.

Марианна. Вы пришли к нему? Войдите в дом, он сейчас придет.

Оттавио. Я пришел не к нему и не войду в дом из страха, что вы меня прогоните, как только я скажу вам, что привело меня сюда.

Марианна. Так вы можете этого не говорить и не задерживать меня дольше.

Оттавио. Не могу не сказать и умоляю вас остановиться и выслушать меня. Жестокая Марианна! Глаза ваши — причина злого недуга, и не ваши слова исцелят его. Что сделал вам Челио?

Марианна. О ком вы говорите? Какой недуг?

Оттавио. Недуг самый жестокий, ибо нет надежды исцелить его; недуг самый страшный, ибо он сам себя лечит и отталкивает руку дружбы, подносящую ему целительную чашу; недуг, от которого бледнеют уста, когда их коснется яд, более сладостный, чем амврозия, и от которого потоком слез исходит сердце самое черствое, тая, точно жемчужина Клеопатры; недуг, который не могут облегчить все волшебные благовония, вся человеческая мудрость; недуг, чья пища — дуновение ветра, аромат увядающей розы, припев какой-нибудь песни; недуг, который свои страдания черпает во всем, что окружает его, как пчела собирает мед со всех цветов сада.

Марианна. Не скажете ль вы мне, как называется этот недуг?

Оттавио. Пусть тот, кто достоин произнести это имя, назовет его; пусть скажут его вам грезы ваших ночей, эти цветы померанца, прохлада этих струй; если как-нибудь вечером вам захочется отгадать его, ваши уста его отыщут; не изведав его, нельзя знать его имени.

Марианна. Неужели ж так опасно называть его, так страшно заразиться им, что даже уста его защитника скованы боязнью?

Оттавио. Неужели, сестра, оно так сладостно для слуха, что вы спрашиваете это имя? Вы научили ему Челио.

Марианна. Это случилось помимо моей воли; я не знаю ни Челио, ни имени недуга.

Оттавио. О, если б вы узнали и Челио и это имя — вот чего я желаю от всей души!

Марианна. Право?

Оттавио. Челио — мой лучший друг; если бы я хотел возбудить в вас желание, я сказал бы, что он прекрасен, как день, молод, знатен, и я не солгал бы; но я только хочу возбудить в вас жалость и скажу вам, что с того дня, как он увидел вас, он печален, как смерть.

Марианна. Моя ли вина, что он печален?

Оттавио. Его ли вина, что вы прекрасны? Он думает только о вас; он бродит все время вокруг этого дома. Разве вы ни разу не слышали пения под вашими окнами? Разве вы ни разу не приоткрывали в полночь эти ставни и не приподнимали эту занавеску?

Марианна. Никому не возбраняется петь здесь вечером, и эта площадь принадлежит всем.

Оттавио. И всем позволено любить вас, но никто не смеет вам это сказать. Сколько лет вам, Марианна?

Марианна. Хорош вопрос! А хотя бы мне было всего лишь девятнадцать лет, что же из этого, по-вашему?

Оттавио. Значит, лет пять или шесть вы еще можете

быть любимы, лет восемь или десять сможете любить сами, а потом можете молиться богу.

Марианна. Вот как? Ну что ж! Чтобы не терять времени попусту, я люблю Клаудио, вашего двоюродного брата и моего мужа.

Оттавио. Мой двоюродный брат и ваш муж, вместе взятые, всегда будут только смешным педантом; вы не любите Клаудио.

Марианна. И Челио также; вы можете это ему передать.

Оттавио. Но почему?

Марианна. Почему бы не любить мне Клаудио? Это мой муж.

Оттавио. Почему бы не любить вам Челио? Это ваш поклонник.

Марианна. Не скажете ль вы мне, почему я вас слушаю? Прощайте, синьор Оттавио; эта шутка слишком затянулась. *(Уходит.)*

Оттавио. Клянусь, у нее прекрасные глаза! *(Уходит.)*

СЦЕНА ВТОРАЯ

В ДОМЕ ЧЕЛИО

Гермия, несколько слуг, Мальволио.

Гермия. Расставьте эти цветы, как я приказала. Музыкантов позвали?

Слуга. Да, синьора; они будут к ужину.

Гермия. Когда ставни закрыты, здесь слишком мрачно; пусть врывается свет, не пускайте лишь солнца! Больше цветов вокруг этого ложа! Хорош ли ужин? Придет ли наша прекрасная соседка графиня Перголи? В каком часу ушел мой сын?

Мальволио. Чтобы уйти, надо сперва вернуться. Он на ночь не возвращался домой.

Гермия. Вы сами не знаете, что говорите. Он ужинал вчера вместе со мной и вместе со мной вернулся.

Снесли ли в его рабочий кабинет картину, которую я купила нынче утром?

М а л ь в о л и о. Если б жив был его отец, было бы не то.

Подумать можно, что нашей госпоже восемнадцать лет и что она ждет своего чичисбея!

Г е р м и я. Но пока жива его мать, так будет, Мальволио. Кто велел вам следить за его поведением? Знайте; Челио на своем пути не должен видеть ни одного лица, которое могло бы показаться ему дурным предзнаменованием; он не должен слышать, как вы ворчите сквозь зубы, словно дворовый пес, грызущий кость, которую у него отнимают! Или — клянусь небом! — ни один из вас и ночи не проведет под этим кровом.

М а л ь в о л и о. Я вовсе не ворчу; мое лицо — не злое предзнаменование; вы спрашиваете меня, в котором часу ушел мой господин, и я отвечаю вам, что он не возвращался. С тех пор как у него любовь на уме, его не увидишь и четырех раз в неделю.

Г е р м и я. Почему на этих книгах пыль? Почему в его комнате мебель в беспорядке? Почему я сама должна вмешиваться во все, если чего-нибудь хочу добиться? Вы умеете рассуждать о том, что вас не касается, а свое дело делаете кое-как, и заботы, которые поручаются вам, падают на других! Ступайте и поменьше разговаривайте!

Входит Челио.

Ну что, дорогое мое дитя, какие утехи ожидают вас сегодня?

Слуги удаляются.

Ч е л и о. Те же, что и вас, матушка. *(Садится.)*

Г е р м и я. Как, мы будем делить утехи, но не печали? Это несправедливо, Челио. Пусть у вас будут тайны, дитя

мое, но не такие тайны, которые терзают вам сердце и делают вас безучастным ко всему окружающему.

Ч е л и о. У меня нет тайн, а если б они и были, я хотел бы, чтобы они могли превратить меня в статую.

Г е р м и я. Когда вам было десять-двенадцать лет, все ваши огорчения, все ваши маленькие горести были связаны со мной; от сурового или ласкового взгляда вот этих глаз зависела грусть и веселость ваших глаз, и тонкая нить связывала с сердцем вашей матери белокурую вашу головку. Теперь, дитя мое, я — только старая сестра и не в силах, быть может, облегчить ваши печали, но в силах разделить их.

Ч е л и о. Ведь и вы были прекрасны! Под серебряными волосами, окаймляющими это благородное чело, под этой длинной мантильей, скрывающей ваш стан, взгляд узнаёт еще величественную осанку королевы и грацию охотницы-Дианы. О мать моя, вы также внушали любовь! Под вашими полузатворенными окнами звучал рокот гитар; среди этих шумных площадей, в водовороте этих празднеств протекала ваша беспечная гордая юность; сами вы не любили. Один из родственников моего отца погиб от любви к вам.

Г е р м и я. Какое воспоминание ты будишь во мне!

Ч е л и о. О, если ваше сердце в силах перенести печаль, если это не исторгнет у вас слез, расскажите мне, матушка, расскажите все.

Г е р м и я. В то время ваш отец еще ни разу не видел меня. Связанный родством с нашей семьей, он взялся просить за молодого Орсини, который хотел на мне жениться. Ваш дед принял его, как заслуживало того его достоинство, и сблизился с ним. Орсини был прекрасный жених, и все же я отказала ему. Отец ваш, прося за него, убил во мне и ту капельку любви, которую мне сумел внушить Орсини, два месяца неотступно ухаживая за мной. Я не подозревала, как страстно он любит меня. Когда ему передали мой ответ, он без чувств упал на руки вашего отца. Однако долгая разлука, пу-

тешестве, которое он затем предпринял и которое принесло ему значительные выгоды, все это должно было рассеять его тоску. Ваш отец поменялся с ним ролью и стал просить о том, чего не смог добиться для Орсини. Я полюбила его искренней любовью, а уважение, которое он внушал моим родителям, не позволило мне колебаться. Решение о браке приняли сразу же, а несколько недель спустя для нас открылись двери храма. В это время вернулся Орсини. Он пришел к вашему отцу, осыпал его упреками, обвинил его в том, что он обманул его доверие и стал причиной отказа, который ему пришлось перенести. «Впрочем, — прибавил он, — если вы желали моей гибели, вы будете удовлетворены». Испуганный этими словами, отец ваш пошел к моему отцу, прося его засвидетельствовать истину и вывести Орсини из заблуждения. Увы! Было уже поздно; несчастный юноша был найден в своей комнате, насквозь пронзенный острием шпаги.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

САД КЛАУДИО

Входят Клаудио и Тибиа.

Клаудио. Ты прав, моя жена — сокровище целомудрия.

Что еще я могу сказать тебе? Это — несокрушимая добродетель.

Тибиа. Вы думаете, синьор?

Клаудио. Разве она может запретить петь под своими окнами? Вспышки нетерпения, которые она позволяет себе дома, — следствие ее характера. Ты обратил внимание, что ее мать, как только я коснулся этого вопроса, сразу же разделила мое мнение?

Тибиа. Насчет чего?

Клаудио. Насчет того, что поют под ее окнами.

Тибиа. В песне нет беды, я сам всегда что-нибудь напеваю.

Клаудио. Но хорошо петь — это трудно.

Тибиа. Трудно для вас и для меня, потому что природа не дала нам голоса и мы никогда не развивали его; но посмотрите, как ловко справляются с этим актеры в театрах.

Клаудио. Эти люди всю жизнь проводят на подмостках.

Тибиа. Как вы думаете, сколько платят в год?

Клаудио. Кому? Мировому судье?

Тибиа. Нет, певцу.

Клаудио. Не знаю. Мировому судье платят треть того, что получаю я; советники юстиции получают половину.

Тибиа. Если б я был королевским судьей, а у моей жены были любовники, я бы сам выносил им приговоры.

Клаудио. К скольким годам каторги ты бы их приговорил?

Тибиа. К смертной казни. Смертный приговор — чудесная вещь, если читать его вслух.

Клаудио. Его читает не судья, а секретарь.

Тибиа. У секретаря вашего суда хорошенькая жена.

Клаудио. Нет, это у председателя хорошенькая жена; я вчера у них обедал.

Тибиа. У секретаря тоже; bravo, который придет сегодня вечером, — любовник жены секретаря.

Клаудио. Какой bravo?

Тибиа. Которого вы велели позвать.

Клаудио. Ему незачем приходиться после того, что я сейчас сказал.

Тибиа. Насчет чего?

Клаудио. Насчет моей жены.

Тибиа. Вот она сама.

Входит Марианна.

Марианна. Знаете, что было со мной, пока вы бродили неизвестно где? Меня посетил ваш двоюродный брат.

К л а у д и о. Кто бы это мог быть? Назовите его имя.

М а р и а н н а. Оттавио. Он объяснился мне в любви от лица своего друга Челио. Кто такой этот Челио? Знаете ли вы его? Будьте добры, не позволяйте переступить порог этого дома ни ему, ни Оттавио.

К л а у д и о. Я знаю его: это сын Гермии, нашей соседки. Что вы на это ответили?

М а р и а н н а. Неважно, что я ответила. Вы поняли, что я сказала? Прикажите вашим слугам, чтоб они не впустили ни этого человека, ни его друга. Я жду от них какой-нибудь досадной дерзости и была бы рада ее избежать. *(Уходит.)*

К л а у д и о. Что ты скажешь на это, Тибиа? Тут кроется какая-то хитрость.

Т и б и а. Вы думаете, синьор?

К л а у д и о. Почему она не захотела сказать, что она ответила? Признание в любви — дерзость, это так; но ответ заслуживает того, чтобы его знать. Подозреваю, что всеми этими гитарами распоряжается Челио.

Т и б и а. Запретить обоим этим людям входить в ваш дом — вот прекрасный способ их удалить.

К л а у д и о. Уж ты положишься на меня. Об этом открытии я должен сообщить моей теще. Полагаю, что моя жена меня надувает и что вся эта история просто-напросто выдумана, чтобы ввести меня в обман и внести полное расстройство в мои мысли.

Уходят.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

УЛИЦА

Входят Оттавио и Чиута.

О т т а в и о. Вы говорите, он отказывается от своего решения?

Ч и у т а. Ах, этот бедный юноша! Любовь его беспредельна, и тоска его сама не знает, какие желания рождают ее. Я готова думать, что он сомневается в вас, во мне, во всем, что его окружает.

О т т а в и о. Нет, клянусь небом, я не отступлю; теперь я и сам — как Марианна, а в упрямстве есть наслаждение. Или Челио добьется удачи, или мое красноречие истощилось.

Ч и у т а. Вы поступите против его воли?

О т т а в и о. Да, чтобы поступить, как того требует моя воля, эта старшая сестра, и чтобы послать к чертям синьора Клаудио, судью, который мне внушает отвращение и которого я с головы до ног ненавижу и презираю!

Ч и у т а. Так я передам ему ваш ответ, а сама уж не буду мешаться в это дело.

О т т а в и о. Я похож на игрока, который мечет банк за другого и которому не везет; он скорее готов погубить своего лучшего друга, чем уступить, и досада от потери чужих денег воспаляет его во сто раз сильнее, чем могла бы воспламенить его собственная неудача.

Входит Челио.

Как, Челио, ты отказываешься от своего намерения?

Челио. Да что же мне делать?

Оттавио. Ты не доверяешь мне? Что с тобой? Лицо твое бледнее снега. Что с тобой творится?

Челио. Прости меня, прости! Делай что хочешь, иди к Марианне. Скажи ей, что обман может меня убить и что моя жизнь — в ее очах. *(Уходит.)*

Оттавио. Это странно, клянусь небом!

Чиута. Тише! Звонят к вечерне; открылась калитка сада; вышла Марианна. Вот она медленно идет сюда.

Чиута удаляется, входит Марианна.

Оттавио. Прекрасная Марианна, вы будете спать спокойно. Сердце Челио принадлежит другой, и уже не под вашими окнами будет он петь свои серенады.

Марианна. Какое несчастье, какая жалость, что я не ответила взаимностью на такую любовь! Вот как немилостива ко мне судьба. Я только что собиралась полюбить его.

Оттавио. Право?

Марианна. Да, клянусь, сегодня вечером или завтра утром, самое позднее — в воскресенье, он бы назвал меня своей. Да и кто бы не достиг успеха с таким посредником, как вы? Надо полагать, страсть его была чем-то вроде китайского или арабского языка, если ему нужен был толмач и если сама она не умела высказаться.

Оттавио. Смейтесь, смейтесь, мы вас больше не боимся.

Марианна. Или, может быть, любовь эта была бедным грудным младенцем, а вы, в роли разумной кормилицы, не дали ей упасть на землю, вода ее на помочах по всему городу.

Оттавио. Разумная кормилица удовольствовалась тем, что дала ему напиток молока, которым ваша кормилица поила вас, наверно, вволю; оно еще не высохло

на ваших губах и примешивается ко всем вашим словам.

Марианна. Как называется это чудесное молоко?

Оттавио. Равнодушие. Вы не можете ни любить, ни ненавидеть и подобны бенгальской розе без аромата и без шипов.

Марианна. Красиво сказано. Вы заранее приготовили это сравнение? Если вы не сжигаете черновики ваших речей, дайте их мне, я научу этим речам моего попу-
гая.

Оттавио. Что в моих словах могло вас оскорбить? Цветок, лишенный аромата, от этого не менее прекрасен; напротив, такими создал бог самые прекрасные из них; и в день, когда, подобно новой Галатее, вы превратитесь в мрамор в глубине храма, вы явитесь прелестной статуей, и эта статуя найдет себе достойный приют в нише какой-нибудь исповедальни.

Марианна. Дорогой мой кузен, неужели же участь женщины не внушает вам жалости? Смотрите — что мне выпало на долю: судьбе угодно было, чтобы Челио любил меня или решил, что он меня любит; Челио рассказывает об этом своим друзьям, а друзьям тоже угодно утверждать, что я, под страхом смертной казни, должна стать его любовницей. Неаполитанская молодежь соблаговолила прислать мне, в вашем лице, своего достойного представителя, которому поручено сообщить мне, что я должна влюбиться в названного синьора Челио и что мне дана неделя сроку. Взвесьте все это, прошу вас. Если я отдамся, что скажут обо мне? Не презренье ль заслуживает женщина, которая сразу же соглашается на подобное предложение и приходит в назначенный час? Разве о ней не будут всячески злословить, указывать на нее пальцами и не станет ли ее имя припевом застольной песни? Если же, напротив, она откажется, то какому чудовищу уподобят ее? Найдется ли статуя, более холодная? И человек, который заговорит с ней, остановит ее среди пло-

шади, когда она идет с молитвенником в руке, не будет ли он иметь право сказать: вы — бенгальская роза без шипов и без аромата?

Оттавио. Сестра, сестра, не гневайтесь!

Марьяна. Не смешно ли говорить о честности и супружеской верности, о воспитании, которое получила девушка, о гордом сердце, которому казалось, будто оно чего-нибудь стоит, и не смешно ли говорить, что, прежде чем развеется по ветру пыль любимого цветка, чашечку его должны омыть слезы, должен согреть солнечный луч и она должна раскрыться от прикосновения нежной руки? Разве все это — не сон, не мыльный пузырь, который от первого вздоха какого-нибудь щеголя должен расплыться в воздухе?

Оттавио. Вы несправедливо судите обо мне и о Челио.

Марьяна. Да и что такое женщина? Минутная забава, хрупкая чаша, хранящая каплю росы, чаша, которую подносят к устам и бросают через плечо. Женщина — это увеселительная поездка! Не скажут ли, повстречав женщину: «Вот идет прелестная ночь!» И не глупец ли тот, кто, увидев женщину, опустит глаза, кто шепотом скажет себе: «Вот, быть может, счастье целой жизни», и не остановит ее? *(Уходит.)*

Оттавио *(один)*. Тра-ра, бум-бум! Тра-ри-ла-ла! Забавная бабенка! Эй! Кто там есть! *(Стучится в трактир.)* Принести мне сюда, в эту беседку, бутылку чего-нибудь.

Слуга. Что вам будет угодно, сиятельный синьор? Хотите Лакрима Кристи?

Оттавио. Хорошо, хорошо. Подите-ка поищите в соседних улицах синьора Челио. Он в черном плаще и в штанах еще более черных. Вы ему скажете, что один из его друзей пьет Лакрима Кристи в полном одиночестве. А затем вы пойдете на Большую площадь и доставите сюда некую Розалинду — у нее рыжие волосы, и она вечно сидит у окна.

Слуга уходит.

Не знаю, отчего так сжимается горло; я печален, как погребальное шествие. *(Пьет.)* Я мог бы и пообедать здесь; вот уже смеркается. Динь-динь! Что за тоска — эта вечерня! Уж не хочется ли мне спать? Я цепенею.

Входят Клаудио и Тибиа.

Кузен Клаудио, вы — изящнейший судья; куда спешите вы столь резвым шагом?

Клаудио. Что хотите вы сказать, синьор Оттавио?

Оттавио. Хочу сказать, что вы судья, блещущий прекрасными формами.

Клаудио. Формами языка или формами тела?

Оттавио. Формами языка, языка. Ваш парик исполнен красноречия, и ноги ваши — две очаровательные скобки.

Клаудио. Замечу вскользь, синьор Оттавио, что молоток у моей двери как будто бы обжег вам пальцы.

Оттавио. Каким образом, судья, преисполненный познаний?

Клаудио. Когда вы собирались дотронуться до него, кузен, преисполненный хитрости.

Оттавио. Не бойся же прибавить: преисполненный уважения, судья, к молотку у твоих дверей; но ты можешь выкрасить его, мне же нечего бояться, что я запачкаю пальцы.

Клаудио. Каким образом, кузен, преисполненный шутливости?

Оттавио. Я никогда и не дотронусь до него, судья, преисполненный колкости.

Клаудио. Однако вам пришлось дотронуться до него, ведь моя жена наказала своим слугам при первом же случае захлопнуть дверь перед вашим носом.

Оттавио. У тебя близорукие очки, судья, преисполненный любезности; приветствие сказано не по адресу.

Клаудио. У меня превосходные очки, кузен, быстрый на ответы; разве ты не объяснялся в любви моей жене?

Оттавио. От чьего имени, пронизательный жрец правосудия?

Клаудио. От имени твоего друга Челио, кузен; к несчастью, я все слышал.

Оттавио. Чьими ушами, неподкупный сановник?

Клаудио. Ушами моей жены, которая все рассказала мне, милейший волокита.

Оттавио. Так-таки все, обожаемый супруг? Ничего не застряло в этом прекрасном ушке?

Клаудио. Застрял ее ответ, о прелестный завсегдаитя трактиров, ответ, который я обязан вам передать.

Оттавио. Я не обязан выслушивать его, о дражайший протокол.

Клаудио. Значит, моя дверь собственной особой передаст его тебе, любезный любитель рулетки, если ты вздумаешь обратиться к ней за советом.

Оттавио. И не подумаю, о дражайший смертный приговор; для моего счастья это не требуется.

Клаудио. Да не омрачат его заботы, о дражайшая игральная кость! Желаю тебе всяческого благополучия.

Оттавио. На этот счет будь спокоен, о дражайший тюремный засов! Сон мой безмятежен, как судебное присутствие.

Клаудио и Тибиа уходят.

(Один.) Как будто я вижу там Челио. Челио! Челио! Черт возьми, на кого он сердится?

Входит Челио.

Ты знаешь, дорогой друг, какую шутку сыграла с нами твоя принцесса? Она все рассказала мужу.

Челио. Откуда ты знаешь?

Оттавио. Из самого надежного источника, какой только возможен. Я только что расстался с Клаудио. Марианна велит закрыть дверь перед нашим носом, если мы еще вздумаем докучать ей.

Челио. Ты только что видел ее; что она тебе сказала?

Оттавио. Ничего такого, что предвещало бы эту милую новость; но также ничего отрадного. Знаешь, Челио, брось ты эту женщину. Эй, второй стакан!

Челио. Для кого?

Оттавио. Для тебя! Марианна — недотрога; не помню толком, что она мне говорила утром; я стоял перед ней как дурак и не знал, что ответить. Полно же, ты больше и не думай об этом — решено? Небо да накажет меня, если я когда-нибудь заговорю с ней. Мужайся, Челио, больше не думай об этом.

Челио. Прощай, дорогой друг.

Оттавио. Куда ты?

Челио. У меня дела в городе.

Оттавио. У тебя такой вид, словно ты идешь топиться. Полно, Челио, о чем ты думаешь? На свете есть другие Марианны. Поужинаем вместе, и наплевать на эту Марианну.

Челио. Прощай, прощай, я не могу остаться дольше. Мы увидимся завтра, друг мой. (Уходит.)

Оттавио. Челио, да послушай же! Мы найдем тебе другую Марианну, милую, кроткую как ягненок, и, главное, она не будет ходить к вечерне. Ах, проклятые колокола! Когда они перестанут хоронить меня?

Слуга (входит). Синьор, рыжеволосой девицы не было у окна; она не может прийти на ваше приглашение.

Оттавио. Черт бы побрал весь мир! Неужели же мне сегодня суждено ужинать в одиночестве? Ночь примчалась на почтовых; черт возьми, как же мне быть? Хорошо же! Вот это — по мне. (Пьет.) Я могу утопить мою печаль в этом вине или хотя бы это вино — в моей печали. А, вечерня кончилась! Вот возвращается Марианна.

Входит Марианна.

Марианна. Все еще здесь, синьор Оттавио, и уже за ужином? Это, пожалуй, грустно — пить в полном одиночестве?

Оттавио. Весь свет меня покинул; хочу достичь того, чтобы у меня двоилось в глазах, хочу сам быть своим собутыльником.

Марианна. Как! Ни друга, ни любовницы, которая облегчила бы вам страшную тяжесть этого бремени — одиночества?

Оттавио. Сказать ли вам правду? Я послал за некой Розалиндой, моей любовницей, а она обедает в гостях, как порядочная женщина.

Марианна. Разумеется, это досадно, и в вашем сердце, верно, — страшная пустота.

Оттавио. Пустота, которую я не сумел бы описать и которой я напрасно пытаюсь поделиться с этой широкой чашей. Вечерний звон оглушил меня на долгие часы.

Марианна. Скажите, кузен, вы пьете вино по пятнадцати сольдо бутылка?

Оттавио. Да вы смеетесь; я пью Лакрима Кристи; это же — слезы самого Христа.

Марианна. Меня удивляет, что вы не пьете вино по пятнадцати сольдо, — умоляю вас, выпейте.

Оттавио. Простите, а зачем мне пить его?

Марианна. Попробуйте; я уверена, что нет никакой разницы.

Оттавио. Разница такая же, как между солнцем и фонарем.

Марианна. Нет, уверяю вас, это одно и то же.

Оттавио. Боже избави! Или вы шутите надо мной?

Марианна. Вы находите, что разница велика?

Оттавио. Разумеется.

Марианна. Я думала, вино — то же, что и женщина. Разве женщина не драгоценный сосуд, запечатанный так же, как это граненое стекло? И разве не заключено в ней упоение, божественное или низкое, смотря по его

силе и его достоинствам? И разве нет среди женщин дешевых вин и слез Христовых? Чего же стоит ваше сердце, если ваши уста берутся поучать его? Вы не станете пить вина, которое пьет народ, но вы любите женщин, которых он любит. Благородная, чудная влага этой бутылки, искрящейся золотом, эти волшебные соки, рожденные солнечным зноем и лавой Везувия, бросят вас, бессильного, шатающегося, в объятия куртизанки, а простое вино вам стыдно пить, вас от него тошнит. Ах! Ваши губы изнежены, но то, что пьянит ваше сердце, дешево стоит. Прощайте, кузен; желаю вам, чтобы Розалинда вернулась домой!

Оттавио. Умоляю — два слова, прекрасная Марианна, ответ мой будет краток. Как вы думаете, сколько времени надо ухаживать за этой бутылкой, чтобы добиться ее благосклонности? Она, как вы сказали, полна божественной влаги, и вино, которое пьет народ, так же похоже на нее, как крестьянин на своего господина. Однако смотрите, как она безропотна! Полагаю, она не получила никакого воспитания, у нее нет никаких взглядов; смотрите, как она покладиста! Одного слова было достаточно, чтобы вызвать ее из заточения; даже не стряхнув с себя пыли, она вырвалась, чтобы подарить мне несколько минут забвения и умереть. Ее девственный венец, обгаренный душистым воском, распался в один миг, и, не скрою от вас, я чуть было не осушил ее до дна, прильнув к ней первым жгучим поцелуем.

Марианна. Уверены ли вы, что она стоит большего? Если бы вы были одним из ее истинных любовников и если бы тайна этой влаги была потеряна, спустились бы вы в пасть вулкана, чтобы спасти последнюю ее каплю?

Оттавио. Она стоит того, чего стоит, — не больше и не меньше. Она знает, что ее можно пить и что она создана для этого. Бог не скрыл источника ее на вершине неприступной скалы или на дне глубокой пещеры; он

золотыми гроздьями развесил ее по краям наших до-
рог; и она делает то же, что делают куртизанки, — ло-
вит руку прохожего; она в лучах солнца выставляет на-
показ свои полные груди, и целые стаи пчел и шмелей
с утра до вечера жужжат вокруг нее. Путник, мучимый
жаждой, может прилечь под сенью ее зеленых ветвей;
она никогда не оставалась безучастной, никогда не от-
казывала ему в сладостных слезах, которыми полно ее
сердце. Ах, Марианна! Красота — роковой дар. Добро-
детель, которой она гордится, — сестра скупости, и не-
бо скорее простит ее слабость, чем ее жестокость.
Прощайте, кухня; желаю, чтобы Челио забыл вас!

Уходит в трактир, Марианна — в свой дом.

СЦЕНА ВТОРАЯ

ДРУГАЯ УЛИЦА

Челио, Чиута.

Чиута. Синьор Челио, не доверяйте Оттавио. Не гово-
рил ли он вам, что прекрасная Марианна закрыла для
него дверь своего дома?

Челио. Ну да. Отчего же мне не доверять ему?

Чиута. Я только что, проходя сюда, видела его: он разго-
варивал с ней в беседке.

Челио. Что же в этом удивительного? Он, верно, подсте-
рег ее и воспользовался случаем, чтобы поговорить
обо мне.

Чиута. Я хочу сказать, что они разговаривали друже-
любно, как люди, во всем согласные друг с другом.

Челио. Ты уверена в этом, Чиута? Тогда — я счастливей-
ший из смертных; значит, он со всей горячностью
взялся за мое дело.

Чиута. Судьба да будет милостива к вам. (*Уходит.*)

Челио. Зачем не родился я во времена турниров и сра-
жений? Если бы я мог носить цвета Марианны и обог-

рить их своей кровью! Если бы я должен был бороться
с соперником или сражаться с целой армией! Если бы,
жертвуя моей жизнью, я мог принести ей какую-ни-
будь пользу! Но я умею только действовать — и не могу
говорить. Язык не слушается моего сердца, и я мог бы
умереть, как немой в заточении, не понятый никем.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

У КЛАУДИО

Клаудио, Марианна.

Клаудио. Вы, кажется, принимаете меня за чучело и по-
лагаете, что я существую на свете только для того, что-
бы служить пугалом для птиц.

Марианна. Откуда взялась у вас эта изящная мысль?

Клаудио. Неужели вы думаете, что уголовный судья не
знает цену словам и что, рассчитывая на его доверчи-
вость, его можно дурачить, как какого-нибудь бродя-
чего плясуна?

Марианна. На кого вы злитесь?

Клаудио. Вы думаете, я не слышал ваших собственных
слов: если этот человек или его друг придет к моему
дому, дверь будет закрыта для него? И вы, не стесня-
ясь, разговариваете с ним в беседке возле трактира,
вечером, и думаете, что я не увижу в этом ничего не-
приличного!

Марианна. Вы видели меня в беседке?

Клаудио. Да, да, видел, вот этими самыми глазами, в бе-
седке возле трактира: беседка возле трактира — вовсе
не место для разговоров с женой должностного лица,
и не к чему запираť двери своего дома, если не сты-
дишься сама выбегать на улицу.

Марианна. С каких это пор я не смею разговаривать с
вашим родственником?

Клаудио. Если этот родственник — один из ваших лю-
бовников, не мешает воздержаться от этого.

М а р и а н н а. Оттавио! Один из моих любовников? Вы лишились рассудка? Он в жизни ни за кем не ухаживал.

К л а у д и о. Он человек порочный. Он пьяница и гуляка.

М а р и а н н а. Тем меньше оснований считать его «одним из моих любовников», как вы весьма изящно выразились. Просто мне угодно было поговорить с Оттавио в беседке у трактира.

К л а у д и о. Постарайтесь не доводить меня до какой-нибудь крайности, досадной для вас, и подумайте о том, что делаете.

М а р и а н н а. До какой же крайности могу я вас довести? Хотелось бы мне знать, на что вы решитесь.

К л а у д и о. Я запретил бы вам видеться и разговаривать с ним, будь то у меня в доме, будь то в доме какой-нибудь другой особы или на улице.

М а р и а н н а. Ну, ну, скажите, какие новости! Оттавио — мой родственник в такой же мере, как и ваш; я буду разговаривать с ним, когда мне угодно, на улице или в каком-нибудь другом месте, и даже в этом доме, если он пожелает сюда прийти!

К л а у д и о. Не забывайте, что вы сейчас сказали. У меня для вас найдется примерное наказание, если вы поступите против моей воли.

М а р и а н н а. Примиритесь с тем, что я буду поступать по своей воле. Очень меня это пугает!

К л а у д и о. Марианна, прервем этот разговор. Или вы должны будете понять, как неприлично разговаривать в беседке, или заставите меня совершить насилие, несовместимое с моим званием. *(Уходит.)*

М а р и а н н а *(одна)*. Эй, есть тут кто-нибудь!

Входит слуга.

Вот видите, на той улице, в беседке за столом сидит молодой человек? Пойдите, скажите ему, что мне надо с ним поговорить и что я прошу его зайти ко мне в сад.

Слуга уходит.

Вот мило! За кого меня принимают? Что тут дурного? Но в каком я виде! На мне ужасное платье! Что все это значит? Вы заставите меня совершить насилие! Какое насилие? Я хотела бы, чтобы моя мать была здесь! Да нет! Она с первого же слова соглашается с ним. Я рада была бы побить кого-нибудь. *(Отрокидывает стулья.)* Ах, право, я ведь глупая! Вот идет Оттавио. Хотелось бы мне, чтобы они встретились. Ах, так, значит, это и есть начало! Мне это предсказывали. Я так и знала. Я этого ожидала! Терпение! Терпение! Он мне готовит кару, и какую, а? Очень хотелось бы мне знать, что он имеет в виду!

Входит Оттавио.

Садитесь, Оттавио, мне надо с вами поговорить.

О т т а в и о. Куда же прикажете мне сесть? Все стулья — вверх ногами. Что тут случилось?

М а р и а н н а. Ничего.

О т т а в и о. Право же, кухня, ваши глаза говорят совсем противоположное.

М а р и а н н а. Я подумала о том, что вы мне говорили о вашем друге Челио. Скажите, отчего он не объяснится со мною сам?

О т т а в и о. По очень простой причине: он вам писал, а вы рвали его письма; он к вам послал кого-то, и вы запретили посланному говорить; он цел вам серенады, вы оставляли его стоять на улице. Ну вот, он отчаялся, махнул на все рукой, да и могло ли быть иначе?

М а р и а н н а. Это значит — он решил обратиться к вам?

О т т а в и о. Да.

М а р и а н н а. Ну, так говорите мне о нем.

О т т а в и о. Это вы серьезно?

М а р и а н н а. Да, да, вполне серьезно. Пожалуйста, я слушаю.

О т т а в и о. Вы смеетесь?

М а р и а н н а. Плохо же вы защищаете интересы вашего друга. Ну, говорите же: не все ль равно, смеюсь я или не смеюсь.

Оттавио. Что вы оглядываетесь по сторонам? Право же, вы сердитесь.

Марианна. Я хочу взять себе любовника, Оттавио... если не любовника, то, по крайней мере, кавалера. Что вы мне посоветуете? Я полагаюсь на ваш выбор: Челио или кто другой — мне безразлично; завтра же, нет, сегодня, первый, кому вздумается петь под моими окнами, найдет мою дверь приотворенной. Ну что же! Вы молчите? Говорю вам, я хочу взять себе любовника. Вот мой шарф, возьмите его в залог: тот, кому вы его отдадите, пусть его и принесет.

Оттавио. Марианна, что бы ни было причиной этой благосклонности, раз вы меня позвали и согласны выслушать, заклинаю вас небом, останьтесь такою на один еще миг; позвольте мне сказать вам все. *(Бросается на колени.)*

Марианна. Что вы хотите мне сказать?

Оттавио. Если есть на свете человек, достойный узнать вас, достойный жить и умереть для вас, то человек этот — Челио. Я не много стою и знаю себе цену, знаю, что страсть, о которой я говорю, находит в моем лице жалкого посредника. Ах! Если бы вам был ведом тот священный алтарь, который он воздвиг, поклоняясь вам, как божеству. Вы, такая прекрасная, такая юная, еще такая невинная, вы отданы старику, выжившему из ума и никогда не знавшему, что такое сердце! Если бы вы знали, какое сокровище счастья, какой источник блаженства таится в вас, таится в нем, в этой ясной, юной заре, в этой божественной росе жизни, в этом первом созвучии родственных душ! Я не говорю вам о его страдании, об этой нежной и тихой печали, которую не смогла отпугнуть вся ваша строгость и от которой он умирает без слова жалобы. Да, Марианна, он от нее умрет. Что я могу сказать вам? Что я могу изобрести, чтобы придать моим словам ту силу, которой им недостает? Мне незнаком язык любви. Загляните в вашу душу; в ней вы увидите отблеск его души. Есть ли возможность тронуть вас? Вы умеете молиться богу, скажите же, есть ли молит-

ва, которая может выразить все то, чем полно мое сердце?

Марианна. Встаньте, Оттавио! Право, если бы кто-нибудь вошел сюда и услышал вас, он мог бы подумать, что вы молитесь о себе!

Оттавио. Марианна, Марианна! Заклинаю вас, не смейтесь! Не гасите в вашем сердце молнии, быть может, впервые вспыхнувшей в нем. Этот проблеск доброты, этот драгоценный миг сейчас умчится. Вы произнесли имя Челио, вы подумали о нем, не так ли? Ах! Пусть это всего лишь прихоть, не портите ее. От нее зависит счастье человека.

Марианна. Уверены ли вы, что я не должна улыбаться?

Оттавио. Да, вы правы, я понимаю, какой вред может принести моя дружба. Я знаю, кто я, я это чувствую; такие речи в моих устах кажутся насмешкой. Вы сомневаетесь в искренности моих слов: быть может, никогда еще мне не было так горько сознавать, как мало я внушаю доверия.

Марианна. Почему же? Вы видите, я слушаю. Но Челио мне не нравится, его я не хочу. Говорите мне о ком-нибудь другом, о ком хотите. Выберите из ваших друзей кавалера, достойного меня; шлите его ко мне, Оттавио. Вы видите, я на вас полагаюсь.

Оттавио. О женщина! Трижды женщина! Челио вам не нравится, но первый встречный вам понравится. Человек, который любит вас целый месяц, следует за вами по пятам и за одно ваше слово был бы рад умереть, он вам не нравится! Он молод, красив, богат и вполне достоин вас; но он вам не нравится, а первый встречный — понравится!

Марианна. Делайте, что я сказала, или не приходите больше. *(Уходит.)*

Оттавио. Прелестен твой шарф, Марианна, и эта маленькая вспышка гнева — очаровательный залог мира. Не много нужно гордости, чтобы понять тебя; достаточно и капли коварства. Но все-таки пусть это пойдет на пользу Челио. *(Уходит.)*

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

У ЧЕЛИО

Челио, слуга.

Челио. Вы говорите, он внизу? Пусть идет сюда. Отчего вы не сразу привели его?

Входит Оттавио.

Ну, что, мой друг, какие новости?

Оттавио. Навяжи себе этот лоскут на правую руку, Челио, бери гитару и шпагу. Ты — любовник Марианны.

Челио. Заклинаю тебя, не смеяйся надо мною!

Оттавио. Ночь прекрасна; луна появится сейчас на горизонте, Марианна одна, и дверь ее полуоткрыта! Ты счастливеец, Челио!

Челио. Это правда? Правда? Или ты даришь мне жизнь, Оттавио, или в тебе нет жалости!

Оттавио. Ты еще не ушел? Говорю тебе, все условлено. Спой песню под ее окнами; прикройся плащом, чтобы соглядатаи ее мужа тебя не узнали. Будь бесстрашен, чтобы другим внушать страх, а если она будет сопротивляться, докажи, что поздновато думать об этом.

Челио. О боже! Силы покидают меня.

Оттавио. И меня тоже; я как следует не пообедал. В награду за мои труды вели перед уходом, чтобы мне дали поужинать. *(Садится.)* Есть у тебя турецкий табак? Ты, вероятно, застанешь меня здесь и завтра поутру. Ну, друг мой, в путь. Меня ты обнимешь, когда вернешься. В путь! В путь! Близится ночь.

Челио уходит.

Пусть эта ночь, праведный боже, зачтется мне в твоём раю. А правда ли, что у тебя есть рай? Клянусь, эта женщина была прекрасна, и этот гнев был ей к лицу. Что возбудило его? Не знаю. Не все ли равно, каким

образом падает костяной шарик рулетки на номер, который мы назначили? Отбить любовницу у приятеля — для меня это слишком пошлая проделка! Марианна ли, другая ль женщина — не все ли мне равно? Все дело в том, чтобы поужинать, а Челио ушел натошак, это ясно. Как бы ты меня возненавидела, Марианна, если бы я полюбил тебя! Как бы ты захлопнула свою дверь! Каким Адонисом, каким Сильваном показался бы тебе, в сравнении со мной, твой мерзкий муж! И отчего все это так? По какой причине дым от этой трубки тянется направо, а не налево? Не те же ли причины и тут? Безумец, трижды безумец тот, кто рассчитывает свои поступки, кто следует советам разума! Божественное правосудие держит в руках весы. Весы — безупречно точные, но гири пустые внутри! В одной из них — монета, в другой — влюбленный вздох, в третьей — мигрень, в четвертой — ведро иль ненастье, и все человеческие деяния поднимаются и опускаются по прихоти этих гирь.

Слуга *(входит)*. Синьор, вам письмо; оно такое спешное, что ваши слуги принесли его сюда; велено отдать его вам в руки, где бы вы ни находились.

Оттавио. Посмотрим-ка. *(Читает.)* «Не приходите сегодня, муж окружил наш дом убийцами, и вы погибли, если они вас увидят. *Марианна*». О я, несчастный, что я наделал? Где мой плащ? Где шляпа? Дай бог, чтобы я поспел вовремя! Следуйте за мной, вы и все, кто тут есть. Дело идет о жизни вашего господина. *(Убегает.)*

СЦЕНА ПЯТАЯ

САД КЛАУДИО. НОЧЬ

Клаудио, двое браво, Тибиа.

Клаудио. Впустите его и бросайтесь, как только он дойдет до этих деревьев.

Тибиа. А если он войдет с той стороны?

К л а у д и о. Тогда ждите его у стены, за углом.
 О д и н и з б р а в о. Слушаюсь, синьор.
 Т и б и а. Вот он идет. Смотрите, синьор, какая огромная
 тень! Это человек большого роста.
 К л а у д и о. Отойдем в сторону, а когда будет пора, наки-
 немся на него.

Входит Челио.

Ч е л и о (*стучит в окно*). Марианна! Марианна! Вы здесь?
 М а р и а н н а (*появляясь в окне*). Бегите, Оттавио! Разве вы
 не получили моего письма?
 Ч е л и о. Боже мой, чье имя я слышу!
 М а р и а н н а. Дом окружен убийцами; муж видел, как вы
 входили ко мне; он слышал наш разговор; если вы ос-
 танетесь здесь хоть минуту, смерть ваша неминуема.
 Ч е л и о. Не сон ли это все? И разве я — не Челио?
 М а р и а н н а. Оттавио, Оттавио! Заклинаю небом, не
 медлите! Может быть, вам еще удастся спастись! Зав-
 тра в полдень приходите в церковь, к исповедальне, я
 буду там.

Окно закрывается.

Ч е л и о. О смерть! Ты здесь, спаси же меня. Оттавио, из-
 менник Оттавио! Кровь моя да падет на твою голову!
 Ты знал, какая участь ждет меня здесь, и ты послал ме-
 ня вместо себя — так пусть исполнится твое желание.
 О смерть, открываю тебе мои объятия! Конец моим
 мучениям. (*Уходит.*)

Слышны заглушенные крики и отдаленный шум.

О т т а в и о (*с улицы*). Отворите, или я выломаю двери!
 К л а у д и о (*отворяет, держа в руке шпагу*). Что вам надо?
 О т т а в и о. Где Челио?
 К л а у д и о. Не думаю, чтобы в его привычках было про-
 водить ночь в этом доме.

О т т а в и о. Если ты убил его, Клаудио, берегись; я сверну
 тебе шею вот этими руками.
 К л а у д и о. Вы — сумасшедший или лунатик?
 О т т а в и о. Не сам ли ты таков, если расхаживаешь но-
 чью со шпагой в руке?
 К л а у д и о. Если вам угодно, поищите в саду, я никого не
 видал; а если бы кто и захотел войти, я, кажется, впра-
 ве не отворять ему.
 О т т а в и о (*своим слугам*). Сюда, общите весь сад!
 К л а у д и о (*тихо к Тибиа*). Все ли сделано так, как я прика-
 зал?
 Т и б и а. Да, синьор, будьте спокойны; они могут искать
 сколько им угодно.

Все уходят.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

КЛАДБИЩЕ

Оттавио и Марианна у могилы.

О т т а в и о. Я один знал его. Эта белая урна под траурной
 дымкой своего покрова являет нам верный его образ.
 Тихая грусть точно так же скрывала совершенство
 этой нежной и кроткой души. И только для меня эта
 молчаливая жизнь не была загадкой. Наши долгие бе-
 седы по вечерам — словно прохладный оазис в зной-
 ной пустыне; они одни освежали росой мое сердце.
 Челио был лучшей частью моей души, вместе с ним
 она улетела на небеса. Это был человек из иного мира;
 он знал наслаждения и предпочитал им одиночество;
 он знал, как обманчивы мечты, но мечты свои предпо-
 читал действительности. Как счастлива была бы жен-
 щина, полюбившая его!
 М а р и а н н а. А не была бы счастлива женщина, полюбив-
 шая вас, Оттавио?
 О т т а в и о. Любить я не умею; один Челио умел любить.

Прах, покоящийся в этом гробу, это все, что я любил на земле, все, что я буду любить. Он один умел вливать в душу другого те дары счастья, которые таились в его душе. Он один был способен на безграничную преданность; он один посвятил бы любимой женщине всю свою жизнь и так же легко отдал бы жизнь ради этой женщины. Я всего лишь бездушный развратник, я не уважаю женщин; любовь, которую я внушаю им, похожа на ту, которую я чувствую сам, — опьянение мимолетной грезой. Мне неведомы тайны, которые он знал. Моя веселость — словно личина фигляра, но и она не так истаскана, как мое сердце; мои притупленные чувства хотят сбросить ее. Я всего только трус; смерть его не отмщена.

Марианна. Но это было бы возможно лишь ценою вашей жизни! Клаудио слишком стар, чтобы принять вызов, и слишком могуществен в этом городе, чтобы сколько-нибудь бояться вас.

Оттавио. Челио отомстил бы мою смерть, если бы я умер за него, как он умер за меня. Эта могила — моя; это я лежу под этим холодным камнем; шпаги они точили, чтобы убить меня, и они убили меня. Прости же, веселье моей юности, безумная беспечность, свободная и радостная жизнь у подножия Везувия! Простите, шумные пиры, вечерние беседы, серенады под золочеными балконами! Прости, Неаполь, простите, неаполитанские женщины, маскарады при свете факелов, долгие ужины в тени лесов и дружба! Нет мне места на земле.

Марианна. Но есть в моем сердце, Оттавио. Зачем ты говорил: прости, любовь!

Оттавио. Я вас, Марианна, не люблю; вас любил Челио!

ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ

Комедия в трех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Барон.

Пердикан, его сын.

Мэтр Блазиус, наставник Пердикана.

Мэтр Бридэн, священник.

Камилла, племянница барона.

Дама Плюш, ее наставница.

Розетта, молочная сестра Камиллы.

Крестьяне, слуги.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

ПЕРЕД ЗАМКОМ

Хор. Плавнo покачиваясь на резвом своем муле, мэтр Блазиус едет среди цветущих васильков, одетый в новое, с чернильницей на боку. Голова его, как младенец на подушке, качается над круглым брюшком, и он, полuzакрыв глаза, бормочет «Отче наш» в свой тройной подбородок. Привет, мэтр Блазиус, вы прибыли к уборке винограда, совсем как древняя амфора.

Мэтр Блазиус. Пусть те, кто желает узнать важную новость, принесут мне сперва стакан молодого вина.

Хор. Вот наш самый большой ковш — пейте, мэтр Блазиус. Это доброе вино. Расскажите потом.

Мэтр Блазиус. Да будет вам известно, дети мои, что молодой Пердикан, сын нашего господина, только что достиг совершеннолетия и получил в Париже степень доктора. Сегодня он возвращается в замок, и уста его полны таких прекрасных и цветистых фраз, что большей частью не знаешь, как ему и ответить. Все его прелестное существо — точно золотая книга; случится ли ему увидеть травку на земле, он скажет вам ее название по-латыни; а если дует ветер или идет дождь, он объяснит отчего. От удивления глаза у вас станут широкие — вот как эта распахнутая дверь, когда он развернет один из пергаментов, которые собственноручно раскрасил чернилами разных цветов, никому ничего не сказав об этом. Словом — он с головы до ног истинный бриллиант, и вот это-то я и приехал возвес-

тить господину барону. Вы понимаете, что это делает некоторую честь мне, его наставнику с четырехлетнего возраста. Итак, добрые мои друзья, принесите стул, чтобы я мог сойти с этого мула и не сломать себе при этом шею; животное несколько упрямо, а я не прочь бы выпить еще глоточек перед тем, как войти в замок.

Хор. Выпейте, мэтр Блазиус, и соберитесь с силами. Маленький Пердикан родился на наших глазах, и раз он приезжает сам, не стоило так много рассказывать о нем. Только бы в сердце мужчины найти нам прежнего ребенка.

Мэтр Блазиус. Скажите на милость, ковш — пуст; я и не думал, что выпил все. Прощайте; по дороге, пока я трусил рысцой, я приготовил две-три бесхитростные фразы, которые понравятся барону; ну-ка, дерну колокольчик! *(Уходит.)*

Хор. На взмыленном своем осле, жестоко трясясь, взбирается на холм дама Плюш; ее конюх, выбившийся из сил, колотит что есть мочи бедного зверя, а он потряхивает головой и держит в зубах репейник. Ее длинные тощие ноги вздрагивают от злости, а костлявыми пальцами она царапает четки. Привет вам, дама Плюш; вы являетесь, как лихорадка, вместе с ветром, от которого желтеет листва.

Дама Плюш. Стакан воды, эй вы, каналы! Стакан воды и немножко уксусу!

Хор. Откуда вы, добрая Плюш? Ваша накладка вся в пыли, ваша челка никуда не годится, а добродетельное платье приподнято до ваших высокочтимых колен.

Дама Плюш. Знайте, деревенщина, что прекрасная Камилла, племянница вашего господина, приезжает сегодня в замок. Она оставила монастырь по особому приказанию барона, чтобы своевременно, как подобает, вступить во владение добром, завещанным ей матерью. Ее образование, благодарение богу, окончено, и тем, кто увидит ее, дана будет радость вдыхать

блаженный аромат мудрости и благочестия. Никогда не бывало еще ничего столь целомудренного, не бывало такого ангела, такого агнца, такой голубки, как эта милая монашенка; да благословит ее отец небесный! Аминь! Посторонитесь, каналы, кажется, ноги у меня распухли.

Хор. Разминайтесь, почтенная Плюш, а когда будете молиться богу, попросите дождя: наши хлеба высохли, как ваши колени.

Дама Плюш. Вы принесли мне воды в ковше, от которого пахнет кухней. Подайте мне руку — помогите сойти. Вы болваны и невежи. (*Уходит.*)

Хор. Наденем воскресные платья и будем ждать, когда нас позовет барон. Если мы не обманываемся, в воздухе сегодня — запах веселья.

Хор уходит.

СЦЕНА ВТОРАЯ
ГОСТИНАЯ БАРОНА

Входят Барон, мэтр Бридэн и мэтр Блазиус.

Барон. Мэтр Бридэн, вы мне друг; представляю: мэтр Блазиус, наставник моего сына. Вчера утром в двенадцать часов и восемь минут моему сыну исполнился ровно двадцать один год; он доктор с четырьмя белыми шарами. Мэтр Блазиус, представляю: мэтр Бридэн, священник нашего прихода; он мне друг.

Мэтр Блазиус (*кланяясь*). С четырьмя белыми шарами, сударь; словесность, философия, право римское, право церковное.

Барон. Идите к себе в комнату, дорогой Блазиус; мой сын не замедлит явиться; займитесь вашим туалетом и возвращайтесь, когда позвонят к обеду.

Мэтр Блазиус уходит.

Мэтр Бридэн. Сказать ли вам, что я думаю, господин барон? От наставника вашего сына так и разит вином.

Барон. Этого не может быть.

Мэтр Бридэн. Я уверен в этом, как в своем существовании, мы разговаривали с ним сейчас и стояли рядом; от него так несет вином, что прямо страшно.

Барон. Довольно; повторяю, что этого не может быть!

Входит дама Плюш.

Вот и вы, добрейшая дама Плюш! Племянница моя, наверно, вместе с вами?

Дама Плюш. Она идет за мной, господин барон; я опередила ее на несколько шагов.

Барон. Мэтр Бридэн, вы мне друг. Представляю: дама Плюш, наставница моей племянницы. Вчера в семь часов вечера моей племяннице минуло восемнадцать лет; она воспитана в лучшем монастыре Франции. Дама Плюш, представляю: мэтр Бридэн, священник нашего прихода; он мне друг.

Дама Плюш (*кланяясь*). В лучшем монастыре Франции, сударь, и могу прибавить: лучшая христианка в монастыре.

Барон. Идите, дама Плюш, исправьте беспорядок, в котором находится ваш туалет; надеюсь, моя племянница скоро явится сюда; будьте готовы к часу обеда.

Дама Плюш уходит.

Мэтр Бридэн. Эта престарелая девица, кажется, исполнена благочестия.

Барон. Благочестия и сердечного умиления, мэтр Бридэн; добродетель ее неязвима.

Мэтр Бридэн. Но от наставника разит вином, уверяю вас.

Барон. Мэтр Бридэн, бывают минуты, когда я сомневаюсь в вашей дружбе. Вы словно поставили себе целью

противоречить мне! Ни слова более об этом. Я намерен женить моего сына на моей племяннице; они — прекрасная пара. Их воспитание стоило мне шесть тысяч экю.

Мэтр Бридэн. Нужно будет получить разрешение.

Барон. Оно у меня есть, Бридэн, оно у меня на столе в кабинете. О друг мой! Узнайте же, что я преисполнен радости. Вам ведомо, что одиночество всегда внушало мне глубокое отвращение. Однако место, которое я занимаю, и важность моего сана заставляют меня проводить в этом замке три месяца зимой и три месяца летом. Невозможно дать счастье людям вообще и в частности своим вассалам, если порой строжайшим образом не наказывать лакею, чтоб он никого не смел впускать. Как тяжка и сурова для государственного мужа необходимость уединения! И какая радость для меня, что присутствие моих детей, соединенных браком, смягчит мрачную тоску, во власти которой я должен находиться с тех пор, как король назначил меня сборщиком податей!

Мэтр Бридэн. Здесь или в Париже совершится этот брак?

Барон. Я этого вопроса и ждал от вас, Бридэн, я был уверен, что вы спросите об этом. Ну, друг мой, что бы вы сказали, если бы вот эти руки, да, Бридэн, ваши собственные руки — не смотрите на них так тоскливо — были предназначены торжественно благословить счастливое осуществление моих самых заветных мечтаний? А?

Мэтр Бридэн. Я умолкаю; признательность велит мне сомкнуть уста.

Барон. Взгляните в это окно; видите, как мои люди толпою несутся к ограде? Мои дети придут в одно и то же время; вот счастливейшее совпадение! Я так устроил, что заранее можно было все предусмотреть. Моя племянница войдет слева, через эту дверь, а мой сын — справа, через ту дверь. Что вы на это скажете?

Я уже радуюсь при мысли о том, как они встретятся, что скажут друг другу; шесть тысяч экю — не безделица; тут только бы не обмануться. Впрочем, дети очень нежно любили друг друга с самой колыбели. Бридэн, у меня явилась мысль.

Мэтр Бридэн. Какая?

Барон. Во время обеда, как бы невзначай, — понимаете, друг мой, — за стаканом доброго вина, — вы ведь знаете по-латыни, Бридэн?

Мэтр Бридэн. Ita aedépol, боже мой, мне ли не знать!

Барон. Я бы очень был доволен, если б вы приняли за моего сынка, — разумеется, не слишком, — в присутствии его кузины; заставьте его поговорить по-латыни, собственно даже не за обедом, это было бы скучно, — и что касается меня, я тут ничего не пойму, — но за десертом, а?

Мэтр Бридэн. Если вы ничего не поймете, господин барон, то, вероятно, и ваша племянница будет в таком же положении.

Барон. Тем более. А женщина, по-вашему, станет восхищаться тем, что она понимает? Откуда вы, Бридэн? Такое рассуждение достойно жалости.

Мэтр Бридэн. Я мало знаю женщин; но мне кажется, трудно восхищаться тем, чего не понимаешь.

Барон. Я их знаю, Бридэн, я знаю эти прелестные и непостижимые существа. Будьте уверены, они любят, чтобы им пускали пыль в глаза, и чем больше пускают пыли, тем шире они раскрывают глаза, чтобы еще хвататься ее.

Пердикан входит с одной стороны, Камилла с другой.

Здравствуйте, дети мои; здравствуй, моя дорогая Камилла, мой дорогой Пердикан; поцелуйте меня и сами поцелуйтесь.

Пердикан. Здравствуй, отец, моя милая сестра! Какое счастье! Как я рад!

К а м и л л а. Отец мой и кузен, привет вам.
 П е р д и к а н. Какая ты большая, Камилла, ты прекрасна, как день!
 Б а р о н. Когда ты выехал из Парижа, Пердикан?
 П е р д и к а н. Кажется, в среду или во вторник. Ты совсем стала женщиной! Так, значит, и я мужчина? Мне кажется, что вчера еще я видел тебя вот такой маленькой.
 Б а р о н. Вы, должно быть, устали; путь долгий, и погода жаркая.
 П е р д и к а н. О боже мой, нет! Но поглядите же, отец, как хороша Камилла!
 Б а р о н. Ну, Камилла, поцелуй твоего кузена.
 К а м и л л а. Прошу извинить меня.
 Б а р о н. Похвала стоит поцелуя — поцелуй ее, Пердикан.
 П е р д и к а н. Если кузина отступает, когда я протягиваю ей руку, я тоже в свою очередь скажу: прошу меня извинить. Любовь может похитить поцелуй, но не дружба.
 К а м и л л а. И любовь и дружба должны брать только то, что могут сами вернуть.
 Б а р о н (*мэтру Бридэну*). Начало не предвещает ничего доброго, а?
 М э т р Б р и д э н (*барону*). Излишняя стыдливость, конечно, недостаток, но брак уничтожает многие сомнения.
 Б а р о н (*мэтру Бридэну*). Я поражен, я уязвлен. Мне не понравился этот ответ: «Прошу извинить меня». Вы заметили, она как будто хотела перекреститься? Подите сюда, мне вам надо кое-что сказать. Мне это тягостно в высшей степени. Эта минута, обещавшая быть столь сладостной для меня, совершенно испорчена. Я возмущен, оскорблен. Черт возьми, это же очень скверно!
 М э т р Б р и д э н. Скажите им что-нибудь: вот они стали друг к другу спиной.
 Б а р о н. Ну что же, мои дети, о чем вы думаете? Что ты тут делаешь, Камилла, перед этим гобеленом?

К а м и л л а (*глядя на картину*). Прекрасный портрет, дядя! Не правда ли, ведь это моя бабушка?
 Б а р о н. Да, дитя мое, это твоя прабабушка или, по крайней мере, сестра твоей прабабушки, — ибо эта почтенная дама никогда не способствовала приумножению рода иначе, как молитвами, так я полагаю. Она была поистине святая женщина.
 К а м и л л а. О да, святая! Это бабушка Изабелла. Как ей идет одеяние монахини!
 Б а р о н. А ты, Пердикан, что ты делаешь перед этим цветком?
 П е р д и к а н. Прелестный цветок, отец. Это гелиотроп.
 Б а р о н. Ты шутишь? Он не больше мухи.
 П е р д и к а н. Этот маленький цветок, не больше мухи, имеет свою цену.
 М э т р Б р и д э н. Конечно, доктор вполне прав! Спросите его, к какому полу, к какому классу принадлежит этот цветок, из каких частей он состоит, откуда взялись его соки и его окраска; он повергнет вас в изумление, описывая свойства этой былинки — от корня и до цветка.
 П е р д и к а н. Я всего этого и не знаю, ваше преподобие. Я нахожу, что он хорошо пахнет, вот и все.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

ПЕРЕД ЗАМКОМ

Входит Х о р.

Х о р. Многое меня забавляет и возбуждает мое любопытство. Идемте, друзья мои, сядем под этим ореховым деревом. Два ужаснейших обжоры находятся в замке в эту минуту: мэтр Бридэн и мэтр Блазиус. Не приходилось ли вам делать такое наблюдение: когда случайно встретятся два человека, более или менее похожих, одинаково толстых, одинаково глупых, с теми же пороками и теми же страстями, они неизбежно должны

или полюбить, или возненавидеть друг друга. Зная, что сходятся крайности, что человек высокий и сухопарый должен полюбить человека маленького и толстого, что белокурые стремятся к черноволосым, и наоборот, я предвижу глухую борьбу между наставником и священником. Оба они вооружены равным бесстыдством; у обоих вместо брюха — бочка; они не только объедалы, но и лакмшки; за обедом они станут ссориться не только из-за количества, но и из-за качества. Если рыба мала, как поступить? Ведь как бы то ни было, нельзя поделить язык карпа, а у карпа не бывает двух языков. Item¹, оба они болтливы; но в крайнем случае могут говорить зараз, не слушая друг друга. Мэтр Бридэн уже пожелал задать юному Пердикану несколько педантических вопросов, и наставник нахмурил брови. Ему неприятно, что не он, а другой словно подвергает испытанию его ученика. Нет, оба они одинаково невежественны. Нет, оба они священники: один будет хвастаться своим приходом, другой — кичиться своим званием наставника. Мэтр Блазиус исповедует сына, а мэтр Бридэн — отца. Я уже вижу, как они уперлись в стол локтями, щеки разгорелись, глаза лезут на лоб, тройные подбородки трясутся от злости. Они осматривают друг друга с ног до головы, сперва идут легкие стычки; вскоре начинается война; глупости всякого рода перекрещиваются и сменяются одна другой, и в довершение беды меж обоими пьяницами суетится дама Плюш и толкает того и другого своими острыми локтями.

Кончили обедать, и вот отворяется решетка замка. Общество выходит; отойдем в сторону.

Хор уходит. Входят Барон и дама Плюш.

Барон. Почтенная Плюш, я в огорчении.

Дама Плюш. Возможно ли, господин барон?

¹ Итак (лат.).

Барон. Да, Плюш, возможно. Я давно уже рассчитывал, я даже отметил в своей записной книжке, что день этот будет самым приятным днем моей жизни, да, милостивая государыня, самым приятным. Вам неизвестно, что моим намерением было женить сына моего на моей племяннице; это было решено, условлено — я уже сказал об этом Бридэну, — и вот я вижу — мне кажется, я вижу, — что дети холодны друг к другу; они друг другу ни слова не сказали.

Дама Плюш. Вот они идут, господин барон. Известен ли им ваш план?

Барон. Я им намекнул, каждому в отдельности. Думаю, раз они встретились, нам хорошо бы усесться под этой благосклонной сенью и на минуту оставить их наедине. *(Удаляется с дамой Плюш.)*

Входят Камилла и Пердикан.

Пердикан. Знаешь, Камилла, ничего нет хорошего в том, что ты отказала мне в поцелуе!

Камилла. Я — такая; таков уж мой обычай.

Пердикан. Хочешь взять меня под руку и пройти по деревне?

Камилла. Нет, я устала.

Пердикан. Тебе не доставит удовольствия вновь увидеть лужайку? Помнишь наши прогулки в лодке? Идем, мы спустимся к мельницам; я буду грести, а ты сядешь за руль.

Камилла. Совсем не хочется.

Пердикан. Ты разбилаешь мне сердце. Как! Ни одного воспоминания, Камилла! Ни разу не забилось сердце в память о нашем детстве, обо всех этих бедных промчавшихся годах, таких милых, таких сладких, полных такого прелестного ребячества? Тебе не хочется пойти взглянуть на тропинку, по которой мы ходили на ферму?

Камилла. Нет, не сегодня.

Пердикан. Не сегодня, а когда же? Вся наша жизнь — тут.

Камилла. Я не так молода, чтобы играть в куклы, и не так стара, чтобы любить прошлое.

Пердикан. Как ты сказала?

Камилла. Я сказала, что воспоминания детства — не в моем вкусе.

Пердикан. Они тебе неприятны?

Камилла. Да, они мне неприятны.

Пердикан. Бедное дитя! Мне тебя искренне жаль.

Уходят в разные стороны.

Барон (*возвращаясь с дамой Плюш*). Вы видите, и вы слышите, почтеннейшая Плюш; я ожидал самой сладостной гармонии, а мне кажется, что я слушаю концерт, где скрипка играет: «Стонет сердце», а флейта: «Да здравствует Генрих IV». Подумайте об ужасной разногласии, которую должен создать такой дуэт. А между тем это и происходит в моем сердце.

Дама Плюш. Признаюсь, я не могу порицать Камиллу, и, по-моему, ничего нет неприличнее прогулок в лодке.

Барон. Вы серьезно говорите?

Дама Плюш. Господин барон, молодая девица, уважающая себя, не должна доверяться прихоти волн.

Барон. Но не забудьте, дама Плюш, что кузен должен жениться на ней, и таким образом...

Дама Плюш. Приличия запрещают братья за руль, и не подобает покидать твердую почву наедине с молодым человеком.

Барон. Но повторяю... говорю вам...

Дама Плюш. Таково мое мнение.

Барон. С ума вы сошли? Право же, вы меня заставите сказать... Есть такие выражения, которых я не хочу... которые мне претят... Вы меня вынуждаете... Право же, если бы я не сдерживался... Вы дура, Плюш, не знаю, что и думать о вас. (*Уходит.*)

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

ПЛОЩАДЬ

Хор, Пердикан.

Пердикан. Здравствуйтесь, друзья мои! Узнаете ли вы меня?

Хор. Сударь, вы похожи на одного ребенка, которого мы очень любили.

Пердикан. Ведь это вы переносили меня на спине через ручейки на ваших лугах, ведь это вы качали меня на коленях, сажали позади себя на ваших крепких лошадях, старались потесниться вокруг стола, чтобы и мне дать место за ужином на ферме.

Хор. Мы помним, сударь. Вы были самый отчаянный шалун и самый добрый мальчик на свете.

Пердикан. Так почему ж вы не обнимете меня, вместо того чтобы кланяться, как чужому!

Хор. Да благословит тебя бог, родное наше дитя! Всякий из нас хотел бы взять тебя на руки, но мы стары, а вы теперь взрослый.

Пердикан. Да, десять лет я не видел вас, и наступает день, когда все меняется на земле. Я на несколько футов поднялся к небу; вы на несколько дюймов опустились к могиле. Ваши головы поседели, шаги ваши стали медленнее, вы больше не можете поднять на руки ваше выросшее дитя. Так, значит, мне — быть вам отцом, а ведь когда-то вы были мне отцами.

Хор. Ваш приезд — день еще более радостный, чем день вашего рождения. Встретиться с тем, кого любишь, отраднее, чем обнять новорожденного.

Пердикан. Так вот она, моя милая долина, мои орешники, зеленые дорожки, мой маленький родник! Вот мои бывшие дни, еще полные жизни, таинственный мир моих детских грез! О родина, родина, непостижимое слово! Неужели человек родится для одного

СЦЕНА ПЯТАЯ

ЗАЛА

Входят Барон и мэтр Блазиус.

уголка на земле, чтобы построить на нем себе гнездо и прожить один день?

Хор. Нам говорили, господин, что вы — ученый.

Пердикан. Да, мне то же говорили. Науки — прекрасная вещь, дети мои, но эти деревья и эти луга поучают во всеуслышание прекраснейшей из наук — забвению того, что знаешь.

Хор. Пока вас не было, многое изменилось; девушки выходили замуж, а парней позабирали в солдаты.

Пердикан. Вы мне все это расскажете. Я жду новостей; но, по правде говоря, мне их еще не хочется. Какой маленький этот пруд! А когда-то он мне казался огромным; память сохранила мне океан и леса, а я вижу капельку воды и травинки. Что это за девушка поет там, у окна, вон за теми деревьями?

Хор. Это Розетта, молочная сестра вашей кузины Камиллы.

Пердикан (*подходя*). Спустись, Розетта, иди сюда.

Розетта (*входит*). Слушаюсь, сударь.

Пердикан. Ты видела меня из окна и не вышла, злая ты девочка! Дай мне скорее свою руку; дай расцеловать тебя в щеки.

Розетта. Слушаюсь, сударь.

Пердикан. Ты замужем, детка? Мне говорили, ты вышла замуж.

Розетта. Ах, нет, нет, сударь.

Пердикан. Почему? Во всей деревне нет девушки красивее тебя. Мы выдадим тебя замуж, дитя.

Хор. Господин, она хочет умереть в девушках.

Пердикан. Правда, Розетта?

Розетта. Ах, нет.

Пердикан. Приехала твоя сестра Камилла. Ты видела ее?

Розетта. Она еще не была здесь.

Пердикан. Поди скорей, надень новое платье и приходи ужинать в замок.

Мэтр Блазиус. Господин барон, мне надо кое-что сказать вам; священник вашего прихода — пьяница.

Барон. Фи! Этого быть не может.

Мэтр Блазиус. Я в этом уверен; он выпил за обедом три бутылки вина.

Барон. Это невероятно.

Мэтр Блазиус. И, выйдя из-за стола, пошел по клумбам.

Барон. По клумбам? Я поражен. Вот странно! Выпить за обедом три бутылки вина! Ходить по клумбам! Это непостижимо. А почему же он шел не по аллее?

Мэтр Блазиус. Потому что он шатался.

Барон (*в сторону*). Я начинаю думать, что Бридэн сегодня утром был прав. От этого Блазиуса ужасно пахнет вином.

Мэтр Блазиус. К тому же он очень много ел; ему трудно было говорить.

Барон. Правда, и я заметил то же.

Мэтр Блазиус. Он сказал несколько латинских слов, и во всех были ошибки. Господин барон, это человек развращенный.

Барон. Фу! От этого Блазиуса невыносимый запах. Знайте, сударь наставник, что я занят совсем другими вещами, и меня никогда не заботят мысли о том, что пьют и что едят. Я не дворецкий.

Мэтр Блазиус. Да не будет угодно небесам, чтобы я вам не угодил, господин барон. Ваше вино превосходно.

Барон. Да, в моих погребах есть хорошие вина.

Мэтр Бридэн (*входит*). Господин барон, ваш сын стоит на площади, и его окружили шалуны со всей деревни.

Барон. Это невозможно.

Мэтр Бридэн. Я видел собственными глазами. Он подбирал камешки и швырялся ими.

Барон. Швырялся ими? Мой ум мутится; все мысли перепутались. Вы говорите вздор, Бридэн. Неслыханно, чтобы доктор наук швырялся камешками.

Мэтр Бридэн. Подойдите к окну, господин барон, вы сами увидите.

Барон (*в сторону*). О небо! Блазиус прав — Бридэн шатается.

Мэтр Бридэн. Смотрите, господин барон, вот он на краю пруда. Он держит под руку молодую крестьянку.

Барон. Молодую крестьянку? Неужели мой сын приехал сюда развращать моих подданных? Крестьянку — под руку, и все деревенские мальчишки вокруг него! Я вне себя.

Мэтр Бридэн. Это вопиет о мщении.

Барон. Все погибло! Безвозвратно погибло. Я погиб; Бридэн шатается, от Блазиуса так несет вином, что страшно становится, а мой сын соблазняет деревенских девушек и швыряется камнями. (*Уходит.*)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

САД

Входят мэтр Блазиус и Пердикан.

Мэтр Блазиус. Сударь, ваш отец в отчаянии.

Пердикан. Почему это?

Мэтр Блазиус. Небезызвестно ль вам, что он намеревался сочетать вас браком с вашей кузиной Камиллой?

Пердикан. Ну что же? Я ничего лучшего и не желаю.

Мэтр Блазиус. Однако барону кажется, что вы не сходитесь характерами.

Пердикан. Это грустно; мой характер я не могу изменить.

Мэтр Блазиус. Так вы тем самым делаете этот брак невозможным?

Пердикан. Повторяю вам, что ничего лучшего я не желаю, как жениться на Камилле.

Мэтр Блазиус. Сударь, я удаляюсь, там идет ваша кузина. (*Уходит.*)

Входит Камилла.

Пердикан. Уже встала, кузина? Я по-прежнему не отказываюсь от того, что сказал тебе вчера: ты хороша, как ангел.

Камилла. Поговорим серьезно, Пердикан; ваш отец хочет женить нас. Не знаю, что вы думаете на этот счет, но считаю своим долгом предупредить: мое решение принято.

Пердикан. Тем хуже для меня, если я вам не нравлюсь.

К а м и л л а. Не меньше всякого другого; я не хочу выходить замуж, и здесь нет ничего такого, что могло бы оскорбить вашу гордость.

П е р д и к а н. Гордостью я не страдаю; мне не знакомы ни радости ее, ни горести.

К а м и л л а. Я приехала сюда, чтобы получить наследство матери; завтра я возвращаюсь в монастырь.

П е р д и к а н. В твоих словах есть прямота, дай руку, и будем друзьями.

К а м и л л а. Я не люблю прикосновений.

П е р д и к а н *(беря ее за руку)*. Дай мне руку, Камилла, прошу тебя. Чего ты боишься? Ты не хочешь, чтобы нас женили? Ну так что же! Мы и не поженемся; разве это причина для ненависти? Разве мы не брат и сестра? Когда твоя мать завещала поженить нас, она хотела, чтобы дружба наша была вечной, — вот все, чего она желала. Зачем нам жениться? Вот твоя рука, и вот моя; и чтобы они остались соединенными, вот так, до последнего вздоха, разве для этого нам нужен священник — как ты думаешь? Нам достаточно бога.

К а м и л л а. Я очень рада, что мой отказ вам безразличен.

П е р д и к а н. Он мне вовсе не безразличен, Камилла. Твоя любовь дала бы мне счастье, но твоя дружба мне будет утешением. Не уезжай завтра из замка; вчера ты отказалась пройтись со мной по саду, потому что ты видела во мне жениха, который был тебе не по сердцу. Останься на несколько дней, позволь мне надеяться, что наша былая жизнь не навеки умерла в твоем сердце.

К а м и л л а. Я должна уехать.

П е р д и к а н. Почему?

К а м и л л а. Это моя тайна.

П е р д и к а н. Ты любишь другого?

К а м и л л а. Нет, но я хочу уехать.

П е р д и к а н. Непременно?

К а м и л л а. Да, непременно.

П е р д и к а н. Ну что ж, прощай. Я хотел бы посидеть с тобой под каштанами в рощице и часок-другой дружески

побеседовать. Но если тебе не нравится, не будем говорить об этом. Прощай, дитя мое. *(Уходит.)*

К а м и л л а *(даме Плюш, которая входит)*. Дама Плюш, все ли готово? Уедем ли мы завтра? Покончил ли опекун со счетами?

Д а м а П л ю ш. Да, чистая моя голубка. Барон вчера вечером назвал меня душой, и я очень рада уехать.

К а м и л л а. Вот возьмите, это — записка, которую вы перед обедом снесете от моего имени кузену Пердикану.

Д а м а П л ю ш. Господи боже мой! Возможно ль? Вы пишете мужчине?

К а м и л л а. Не должна ли я стать его женой? Ведь могу я писать моему жениху?

Д а м а П л ю ш. Господин Пердикан только что ушел отсюда. Что вы можете ему писать? Ваш жених! Помилуйте! Неужели вы изменяете Иисусу?

К а м и л л а. Делайте то, что я вам говорю, и все пригостите к нашему отъезду. *(Уходит.)*

СЦЕНА ВТОРАЯ

СТОЛОВАЯ. НАКРЫВАЮТ НА СТОЛ

М э т р Б р и д э н *(входит)*. Сомнений быть не может; его и сегодня усадят на почетное место! Это кресло, на котором я так давно сижу справа от барона, достанется наставнику. О, я несчастный! Набитый дурак, бессовестный пьяница оттесняет меня на нижний конец! Дворецкий ему первому будет наливать малагу, а когда блюдо дойдет до меня, оно уже наполовину простынет и лучшие куски уже будут проглочены; вокруг куропатки не останется ни капусты, ни морковки. О, святая католическая церковь! Если вчера ему отдали это место, это было понятно: вчера первый раз после стольких лет он снова садился за этот стол. Боже, как он жрал! Нет, мне ничего не останется, кроме костей да куриных лапок. Я не потерплю такого оскорбле-

ния. Прощай, почтенное кресло, на спинку которого я откидывался столько раз, насытившись роскошными яствами. Прощайте, запечатанные бутылки, бесподобный аромат превосходно зажаренной дичи. Прощай, великолепный стол, благородная столовая, я больше не буду читать молитву перед обедом! Я возвращаюсь в свой приход; меня не увидят затерянным в толпе гостей, и я, подобно Цезарю, предпочту быть первым в деревне, чем вторым в Риме. *(Уходит.)*

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

ПОЛЕ ПЕРЕД МАЛЕНЬКИМ ДОМИКОМ

Входят Розетта и Пердикан.

Пердикан. Раз твоей матери нет — давай пройдемся.
 Розетта. Вы думаете, что мне будут на пользу все эти поцелуи, которыми вы дарите меня?
 Пердикан. Что же тут дурного! Я поцеловал бы тебя в присутствии твоей матери. Разве ты не молочная сестра Камиллы? Разве я не брат тебе, так же как и ей?
 Розетта. Слова — словами, а поцелуи — поцелуями. Я совсем не умная, и я сразу же это замечаю, как только захочу что-нибудь сказать. Знатные дамы знают, как им быть, смотря по тому, какую руку им поцелуют — левую или правую; отцы их целуют в лоб, братья — в щеку, любовники — в губы; а меня, меня все целуют в обе щеки, и мне это обидно.
 Пердикан. Как ты хороша, дитя мое!
 Розетта. Но не стоит вам из-за этого печалиться. Какой вы грустный сегодня! Так ваша свадьба расстроилась?
 Пердикан. Крестьяне из твоей деревни помнят, как они любили меня; дворовые псы и деревья в лесу тоже помнят; но Камилла не помнит. Ну, Розетта, а твоя свадьба когда?
 Розетта. Давайте не будем говорить об этом! Будем го-

ворить о погоде, вот об этих цветах, о ваших лошадях и моих чепчиках.

Пердикан. О чем тебе угодно, обо всем, что может коснуться твоих губ, но не лишит их этой улыбки, которую я чту больше, чем мою жизнь. *(Целует ее.)*
 Розетта. Вы читаете мою улыбку, но вы совсем как будто не читаете моих губ. Смотрите-ка, вот капля дождя упала мне на руку, а ведь небо — ясное.
 Пердикан. Прости меня.
 Розетта. Чем я обидела вас, что вы плачете?

Уходят.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

В ЗАМКЕ

Входят мэтр Блазиус и Барон.

Мэтр Блазиус. Господин барон, странную вещь должен я вам сказать. Я только что нечаянно зашел в буфетную... я хочу сказать — в галерею; что мне делать в буфетной? Итак, я был в галерее. Я случайно нашел бутылку... я хочу сказать — графин с водой, — как мог бы я найти бутылку в галерее? Итак, я собирался выпить глоток вина... я хочу сказать — стакан воды, — так, для времяпрепровождения, и глядел в окно, стоя меж двух ваз с цветами — они современной работы, как мне показалось, хотя и сделаны в подражание этрусскому.
 Барон. Какая у вас невыносимая манера разговаривать, Блазиус! Ваши речи невозможно понять.
 Мэтр Блазиус. Выслушайте меня, господин барон, уделите мне минуту внимания. Итак, я смотрел в окно. Не будьте нетерпеливы, во имя неба! Тут дело идет о чести рода.
 Барон. О чести рода? Вот это — непостижимо! О чести рода, Блазиус? Знаете ль вы, что нас тридцать семь

мужчин и столько же почти женщин — как в Париже, так и в провинции?

Мэтр Блазиус. Позвольте мне продолжать. Пока я пил вино... я хочу сказать — пил воду, дабы ускорить пищеварение, вообразите себе, я увидел даму Плюш, совсем запыхавшуюся.

Барон. Почему же запыхавшуюся, Блазиус? Это необыкновенно!

Мэтр Блазиус. И я видел рядом с ней вашу племянницу Камиллу. Она была красная от гнева.

Барон. Кто был красен от гнева, моя племянница или дама Плюш?

Мэтр Блазиус. Ваша племянница, господин барон.

Барон. Моя племянница — красная от гнева! Это неслыханно! А почему вы знаете, что от гнева? Она могла раскраснеться от множества причин; она, верно, бегала за бабочками в моем цветнике.

Мэтр Блазиус. Ничего не могу утверждать на этот счет — возможно; но она громко закричала: «Пойдите найдите его! Делайте то, что вам говорят! Вы глупы! Я так хочу!» И она ударила веером по локтю дамы Плюш, которая при каждом ее восклицании подскакивала среди мышиного горошка.

Барон. Среди мышиного горошка?.. А что отвечала наставница на сумасбродство моей племянницы? Ибо ее поведение заслуживает такого названия.

Мэтр Блазиус. Наставница отвечала: «Я не хочу туда идти. Я не нашла его! Он ухаживает за деревенскими девочками, которые пасут индюков. Я слишком стара, чтобы разносить любовные послания; слава богу, я прожила до сих пор с чистыми руками», — и, говоря таким вот образом, она комкала в руках листок бумаги, сложенный вчетверо.

Барон. Ничего не понимаю; мои мысли совершенно спутались. Какое основание было у дамы Плюш комкать листок бумаги, сложенный вчетверо, подпрыгивая

при этом среди мышиного горошка? Не могу поверить в нечто столь чудовищное.

Мэтр Блазиус. Разве вам не ясно, господин барон, что это значит?

Барон. Нет! Поистине нет, друг мой, — я совершенно ничего не понимаю. Такое поведение кажется мне, правда, бесчинным, но лишенным повода, равно как и оправдания.

Мэтр Блазиус. Это значит, что у вашей племянницы — тайная переписка.

Барон. Что вы говорите? Подумали ли вы, о ком идет речь? Взвешивайте ваши слова, господин аббат.

Мэтр Блазиус. Если даже я буду взвешивать их на весах небесных, которые взвесят и душу мою в день страшного суда, то и тогда я не найду ни одного слова, которое смахивало бы на фальшивую монету. У вашей племянницы — тайная переписка.

Барон. Но подумайте, друг мой, — это же невозможно!

Мэтр Блазиус. Почему бы она поручила своей наставнице передать письмо? Почему бы она стала восклицать: «Найдите его!» — а та стала бы ворчать и хмуриться!

Барон. А кому было предназначено это письмо?

Мэтр Блазиус. Вот в этом-то как раз и заключается суть, господин барон, *hic jacet lepus*¹. Кому было предназначено это письмо? Мужчине, который ухаживает за девушкой, пасущей индюков. А мужчина, который открыто водится с девушкой, пасущей индюков, может быть заподозрен в том, что он и сам рожден для этого занятия. Однако невозможно, чтобы ваша племянница, с ее воспитанием, была влюблена в такого человека; это я и говорю, и отсюда явствует, что я и сам тут ничего не понимаю, так же как и вы, с позволения сказать.

Барон. О небо! Моя племянница еще сегодня утром объ-

¹ Здесь покоится заяц (лат.).

явила мне, что отказывает своему кузену Пердикану. Неужели она полюбила человека, пасущего индюков? Пройдем в мой кабинет; со вчерашнего дня я перенес так много сильных потрясений, что не могу собраться с мыслями.

Уходят.

СЦЕНА ПЯТАЯ
У РОДНИКА В ЛЕСУ

Пердикан (*входит, читая записку*). «Приходите в полдень к маленькому роднику». Что это значит? Такая холодность, такая решительность, такой суровый отказ, такая безучастная гордость и, вдобавок ко всему, — свидание? Если это для разговора о делах, то к чему такое место? Или это кокетство? Нынче утром, когда я гулял с Розеттой, мне послышался шорох в кустах и показалось, что это лань. Уж не интрига ли?

Входит Камилла.

Камилла. Здравствуйте, кузен. Мне показалось — не знаю, я, может быть, ошибаюсь, — что вам нынче утром было грустно расстаться со мной. Вы против моей воли взяли мою руку, а я пришла просить вас протянуть мне вашу. Я отказала вам в поцелуе, вот он. (*Целует его.*) Вы еще сказали, что были бы рады по-дружески поговорить со мной. Садитесь — и поговорим.

Садятся.

Пердикан. Не снилось ли мне прежде? И не снова ли снится мне сон?

Камилла. Вам странно было получить от меня записку, не правда ли? У меня изменчивый нрав; но вы сегодня утром сказали очень верно: «Если нам надо расстаться, расстанемся друзьями». Вы не знаете причины

моего отъезда, и я вам пришла сказать ее: я постригаюсь в монахини.

Пердикан. Возможно ли? Ты ли это, Камилла, чье отражение я вижу в воде, — ты, что сидишь сейчас среди маргариток, как в былые дни?

Камилла. Да, это я. Я пришла, чтобы на четверть часа вернуться к былой жизни. Я показалась вам резкой и надменной, а дело очень просто — я отреклась от мира. Но, прежде чем его покинуть, мне очень хотелось бы узнать ваше мнение. Правда ли я, по-вашему, что иду в монахини?

Пердикан. Не спрашивайте меня об этом, потому что сам я никогда не сделаюсь монахом.

Камилла. За те десять лет, которые мы провели вдали друг от друга, вы стали познавать жизнь. Я знаю, какой вы человек, а вы, с вашим сердцем и умом, должны были, верно, многому научиться в короткий срок. Скажите мне, были у вас любовницы?

Пердикан. Зачем это вам?

Камилла. Ответьте мне, прошу вас, без скромности и без хвастовства.

Пердикан. Были.

Камилла. Вы любили их?

Пердикан. Всем сердцем.

Камилла. Где они теперь? Вы это знаете?

Пердикан. Вот, право, странные вопросы. Что мне ответить вам? Я не муж им и не брат; они ушли, куда им вздумалось.

Камилла. Наверно, была среди них одна, которую вы предпочитали остальным. Как долго любили вы ту, которую любили больше всех?

Пердикан. Странная ты девушка! Хочешь исповедовать меня?

Камилла. Я, как милости, прошу вас дать мне искренний ответ. Вы не развратник, и, мне кажется, в вашем сердце есть честность. Вы должны были внушать лю-

бовь, потому что вы заслуживаете ее, и вы не отдались бы прихоти. Ответьте, прошу вас.

Пердикан. Право, не помню.

Камилла. Знаете ли вы человека, который любил бы только одну женщину?

Пердикан. Конечно, такие есть.

Камилла. И среди ваших друзей? Назовите мне его имя.

Пердикан. Я не могу назвать вам имя, но я думаю, есть люди, способные любить только раз.

Камилла. Сколько раз может любить честный человек?

Пердикан. Ты хочешь, чтобы я читал литанию, или сама читаешь катехизис?

Камилла. Я хочу пополнить мои сведения и узнать, права я или не права, что иду в монахини. Если бы я вышла замуж за вас, разве не пришлось бы вам искренно отвечать на все мои вопросы и обнажать предо мною ваше сердце? Я очень уважаю вас и считаю, что вы и по воспитанию и по характеру выше многих других. Мне досадно, что вы уже не помните, о чем я вас спрашивала; может быть, узнав вас ближе, я бы стала смеяться.

Пердикан. К чему ты ведешь разговор? Говори; я отвечу.

Камилла. Отвечайте же на мой первый вопрос. Правильно ли я поступаю, что остаюсь в монастыре?

Пердикан. Нет.

Камилла. Так я лучше бы сделала, если бы вышла за вас замуж?

Пердикан. Да.

Камилла. Если бы священник вашего прихода дунул на стакан с водой и сказал вам, что это стакан вина, стали бы вы его пить вместо вина?

Пердикан. Нет.

Камилла. Если бы священник вашего прихода дунул на вас и сказал мне, что вы будете любить меня всю жизнь, надо ль мне было бы верить ему?

Пердикан. И да и нет.

Камилла. Что бы вы мне посоветовали в тот день, когда бы я увидела, что вы меня больше не любите?

Пердикан. Взять любовника.

Камилла. Что делать мне потом, в тот день, когда любовник разлюбит меня?

Пердикан. Взять другого.

Камилла. До каких пор это будет длиться?

Пердикан. До тех пор, пока твои волосы не поседеют, а мои не станут белыми.

Камилла. Знаете ли вы, что такое монастырь, Пердикан? Приходилось ли вам когда-нибудь целый день просидеть на скамье в женском монастыре?

Пердикан. Да, приходилось.

Камилла. У меня есть подруга, монахиня, которой только тридцать лет, а уже в пятнадцать лет она получила пятьсот тысяч ливров дохода. Никогда существо более прекрасное и более благородное не ступало по земле. Она была женою пэра, и муж ее был один из самых знатных людей Франции. Все благородные человеческие способности получили у этого человека полное развитие, подобно тому как каждый из побегов дерева, полного соков, превращается в ветвь. Никогда любовь и счастье не возлагали цветущего венка на чело более прекрасное. Муж изменил ей; она полюбила другого, и отчаяние убивает ее.

Пердикан. Возможно.

Камилла. Мы живем в одной келье и целыми ночами беседуем о ее горе. Оно почти что стало моим. Не правда ли, странно? Не знаю, как это случилось. Когда она мне рассказывала о своем замужестве, когда она описывала мне сперва упоение первых дней, затем — спокойствие, сменившее их, и, наконец, как все исчезло, как потом она сидела вечером у камина, а он — у окна и они не говорили друг другу ни слова; как их любовь увяла и как все попытки сближения приводили только к ссорам; как чужой образ мало-помалу занял место между ними и проскользнул в их страдания, — я во время

ее рассказов видела себя на ее месте. Когда она говорила: «Я была счастлива», мое сердце радостно билось, а когда она прибавляла: «Я плакала», слезы мои текли. Но вообразите себе нечто еще более странное. Под конец я создала себе призрачную жизнь. Это длилось четыре года. Бесполезно говорить вам, путем каких размышлений, каких раздумий о своей судьбе я к этому пришла. Я лишь хотела рассказать вам как странность, что все рассказы Луизы, все создания моих грез напоминали мне вас.

Пердикан. Напоминали меня?

Камилла. Да, и это естественно: вы были единственный мужчина, которого я знала. Право же, я любила вас, Пердикан.

Пердикан. Сколько тебе лет, Камилла?

Камилла. Восемнадцать.

Пердикан. Продолжай, продолжай, я слушаю.

Камилла. В нашем монастыре двести женщин; лишь немногие из них совсем не знают жизни, а все остальные ждут уже смерти. Многие покидали монастырь, как я теперь покинула его, девственные, полные надежд. Они скоро возвращались, постаревшие, полные отчаяния. Каждый день кто-нибудь из них умирает в наших спальнях, и каждый день приходят новые — занять их место на волосяном матраце. Посетители дивятся спокойствию и порядку в обители; они внимательно вглядываются в белизну наших покрывал, но недоумевают, почему мы опускаем их на глаза. Что вы думаете об этих женщинах, Пердикан? Правы они или не правы?

Пердикан. Не знаю.

Камилла. Некоторые из них советуют мне остаться девушкой. Мне очень хочется знать ваше мнение. Считаете ли вы, что эти женщины поступили бы лучше, если бы взяли себе любовников, и то же посоветовали бы мне?

Пердикан. Не знаю.

Камилла. Вы обещали мне ответить.

Пердикан. Я избавлен от этой необходимости по вполне простой причине: я думаю, что это говоришь не ты.

Камилла. Возможно; во всех моих мыслях, должно быть, много смешного. Вполне возможно, что мне вдолбили урок и что я — лишь невежественный попугай. В галерее есть маленькая картина, на ней изображен монах, склонившийся над молитвенником; сквозь мрачную решетку в окне его кельи скользит слабый луч солнца и видна итальянская locanda¹, перед которой пляшет пастух. Кто из них внушает вам большее уважение?

Пердикан. Ни тот, ни другой, и оба вместе. Оба они — люди, плоть от плоти и кость от кости человека; один читает, а другой пляшет; ничего иного я тут и не вижу. Ты права, что идешь в монахини.

Камилла. Вы только что говорили мне другое.

Пердикан. Я говорил другое? Возможно.

Камилла. Итак, вы мне советуете?

Пердикан. Итак, ты ни во что не веришь?

Камилла. Подними голову, Пердикан! Есть ли человек, который ни во что не верит?

Пердикан (*вставая*). Вот он: я не верю в бессмертие. Милая моя сестра, монахини поделились с тобой своим опытом, но, поверь мне, это не твой опыт; ты не умрешь, не узнав любви.

Камилла. Я хочу любить, но не хочу страдать; я хочу любить любовью вечной и приносить обеты, которые нельзя нарушить. Вот мой возлюбленный. (*Показывает распятие.*)

Пердикан. Этот возлюбленный не исключает других.

Камилла. Для меня, по крайней мере, исключает. Не улыбайтесь, Пердикан! Десять лет я не видела вас и завтра уезжаю. Через десять лет, если мы снова свидимся, мы еще поговорим об этом. Я не хотела остаться

¹ Гостиница (*ит.*).

ся в вашей памяти холодной статуей, потому что к тому состоянию, в котором я нахожусь, приводит бесчувственность. Послушайте меня: возвращайтесь к жизни, и пока вы будете счастливы, пока вы будете любить, как можно любить на земле, не вспоминайте о вашей сестре Камилле; но если случится, что вас покинут или сами вы покинете, если ангел надежды оставит вас, если пустота воцарится в вашем сердце, — вспомните обо мне, которая молится за вас.

Пердикан. Ты горячка, берегись.

Камилла. Почему?

Пердикан. Тебе восемнадцать лет, и ты не веришь в любовь!

Камилла. А вы, говорящий о ней, вы верите? Вот вы склонились предо мной, а колени у вас поистерлись о ковры ваших любовниц, и вы уже забыли их имена. Вы плакали слезами радости и слезами отчаяния, но вы знали, что воде родника можно больше доверять, чем вашим слезам, и что ею всегда можно будет омыть ваши опухшие веки. Вы делаете свое дело, как подобает молодому человеку, и смеетесь, когда вам говорят о женщинах, убитых скорбью; вы не верите, что можно умереть от любви, вы, который жили и знали любовь. Так что же есть мир? Мне кажется, вы должны искренне презирать женщин, которые принимают вас таким, какой вы есть, и прогоняют своего последнего любовника, чтобы заключить вас в свои объятия, а уста их еще хранят в это время поцелуи другого. Я только что спросила вас, любили ль вы; вы мне ответили, точно путешественник, которого спрашивают, был ли он в Италии или Германии, а он отвечает: «Да, был», и тут же решает уехать в Швейцарию или в любую другую страну. Значит, ваша любовь — разменная монета, если она может так переходить из рук в руки до самой смерти? Нет, это даже не монета, ведь самый маленький золотой стоит больше: через какие бы руки он ни проходил, он сохраняет свою чеканку.

Пердикан. Как ты хороша, Камилла, когда у тебя загораются глаза!

Камилла. Да, я хороша, я это знаю. Любезности не научат меня ничему новому; бесстрастная монахиня, которая срежет мои волосы, быть может, побледнеет, совершая такую казнь; но они не превратятся в кольца и цепочки, и их никто не станет таскать по будуарам; все они будут целы, когда железо коснется моей головы; я жду лишь взмаха ножниц, и когда священник, благословляя меня, наденет мне на палец золотое кольцо моего небесного жениха, — прядь волос, которую я принесу в дар, сможет послужить ему облачением.

Пердикан. Ты, право, рассердилась.

Камилла. Я напрасно заговорила: вся моя жизнь у меня на устах. О Пердикан! Не смейтесь, все это смертельно грустно.

Пердикан. Бедное дитя, я не прерываю тебя, а мне ведь хочется вставить слово. Ты рассказываешь мне о монахине, которая, видимо, имела на тебя пагубное влияние; ты говоришь, что ей изменили, что она изменила сама и дошла до отчаяния. Уверена ли ты, что, если бы муж ее или ее любовник пришел протянуть ей руку сквозь решетку приемной, она не протянула бы своей руки?

Камилла. Что вы говорите? Я не расслышала.

Пердикан. Уверена ли ты, что, если бы ее муж или ее любовник позвал ее к новым страданиям, она ответила бы: нет?

Камилла. Полагаю, что так.

Пердикан. В твоём монастыре двести женщин, и у большинства из них в сердце глубокие раны; они дали тебе притронуться к ним, и твои девственные мысли они окрасили каплями своей крови. Они жили, не так ли? И с ужасом показали тебе на свой жизненный путь; ты перекрестилась, глядя на их раны, как если бы это были раны Христа; они дали тебе место в своем мрачном шествии, а ты в священном трепете прижи-

маешься к этим высохшим телам, когда мимо проходит мужчина. Уверена ли ты, что если бы мужчина, идущий мимо, был тот, кто изменил, тот, из-за которого они плачут и страдают, тот, кого они проклинают в своих молитвах, — уверена ли ты, что, увидев его, они не порвали бы своих цепей, не бросились бы к своим былым несчастьям и не прижались окровавленной грудью к кинжалу, который их ранил? О дитя мое! Знаешь ли ты грезы этих женщин, которые тебе советуют не грезить? Знаешь ли ты, чье имя шепчут они, когда от их рыданий дрожит чаша со святыми дарами, которую им подносят? Эти женщины, которые подсаживались к тебе, трясли головой и отравляли твой слух своей старческой немощью, — они, оглашающие закат твоей юности набатным звоном своего отчаяния и леденящие твою алую кровь холодом своих могил, — знаешь ли ты, кто они?

К а м и л л а. Вы пугаете меня; вы тоже рассердились.

П е р д и к а н. Знаешь ли ты, несчастная девочка, что такое монахини? Они, которые говорят тебе, что человеческая любовь — обман, знают ли они, что есть еще нечто худшее — обман любви небесной? Знают ли они, что совершают преступление, когда нашептывают девушке слова женщины? Ах, чему они научили тебя! Как я все это угадал, когда ты остановилась перед портретом нашей старой тетки! Ты хотела уехать, не подав мне руки; ты не хотела увидеть вновь этот лесок, этот бедный маленький родник, который глядит на нас весь в слезах; ты отреклась от дней своего детства, и та гипсовая маска, которой монахини закрыли твои щеки, отказывала мне в поцелуе; но сердце твое забилося; оно забыло свой урок — ведь оно не знает грамоты, — и ты вернулась и села на траву — вот, где мы сейчас. Ну что ж, Камилла, эти женщины правильно рассудили! Они наставили тебя на путь истинный; я могу поплатиться счастьем моей жизни; но скажи им от моего имени: небо — не для них.

К а м и л л а. И не для меня, не правда ли?

П е р д и к а н. Прощай, Камилла, возвращайся в свой монастырь и, когда будешь слушать эти отвратительные рассказы, которые отравили тебя, отвечай то, что я тебе скажу: все мужчины — обманщики, непостоянны, лживы, болтливы, лицемерны, надменны или трусливы, чувственны и достойны презрения; все женщины — коварны, лукавы, тщеславны, любопытны и развратны; мир — бездонная клоака, где безобразнейшие гады ползают и корчатся на горах грязи; но в мире есть нечто священное и высокое, это — союз двух таких существ, столь несовершенных и ужасных! В любви часто бываешь обманут, часто бываешь несчастным; но ты любишь, и, стоя на краю могилы, ты сможешь обернуться, чтобы взглянуть назад и сказать: я часто страдал и не раз был обманут, но я любил. И жил я, я, а не искусственное существо, созданное моим воображением и моею скукой. (*Уходит.*)

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

ПЕРЕД ЗАМКОМ

Входят Барон и мэтр Блазиус.

Барон. Не говоря о вашем пьянстве, вы негодяй, мэтр Блазиус. Мои слуги видят, как вы прокрадываетесь в буфетную, а когда вас самым позорным образом уличают в краже моих бутылок, вы пытаетесь оправдаться и обвиняете мою племянницу в тайной переписке.

Мэтр Блазиус. Но, господин барон, соблаговолите вспомнить...

Барон. Уходите, господин аббат, и никогда не появляйтесь мне на глаза; неразумно так поступать, и мой сан никогда не позволит мне простить вас. *(Уходит.)*

Мэтр Блазиус идет за ним. Входит Пердикан.

Пердикан. Хотелось бы мне знать: влюблен ли я? С одной стороны, эти расспросы, немножко развязные для восемнадцатилетней девушки... С другой — мысли, которыми наполнили ей голову эти монахини, трудно будет искоренить. К тому же она сегодня должна уехать. Черт возьми! Я люблю ее, это так! Кто знает, она, в конце концов, быть может, повторяла урок, и ведь ясно, что до меня ей нет дела. Впрочем, как бы она ни была хороша, это не мешает тому, что манеры ее слишком резки и тон слишком решителен. Мне больше не надо думать о ней, ясно, что я ее не люблю. Бесспорно, она хороша; но почему этот вчерашний

разговор не выходит у меня из головы? Право, я бредил всю ночь. Да куда же я иду? Ах да — в деревню. *(Уходит.)*

СЦЕНА ВТОРАЯ

ДОРОГА

Мэтр Бридэн *(входит)*. Что они делают теперь? Увы! Уже полдень. Они за столом. Что они едят? Чего они не едят? Я видел, как кухарка проходила по деревне с огромным индюком. Поваренок нес трюфели в корзине для винограда.

Входит мэтр Блазиус.

Мэтр Блазиус. О, неожиданная немилость! Вот я прогнан из замка, а следовательно — и из столовой. Я больше не буду пить вино в буфетной.

Мэтр Бридэн. Я больше не увижу, как дымится блюда; у огня благородного камина я больше не буду греть мой сытый живот.

Мэтр Блазиус. Зачем роковое любопытство толкнуло меня подслушать разговор племянницы с дамой Плюш? Зачем я доложил барону обо всем, что видел?

Мэтр Бридэн. Зачем суетная гордость удалила меня от этого почтенного стола, где я был так хорошо принят? Не все ли мне равно — сидеть справа или слева?

Мэтр Блазиус. Увы! Я был пьян — надо в том сознаться, — когда решился на это безумие.

Мэтр Бридэн. Увы! Вино ударило мне в голову, когда я совершил этот опрометчивый поступок.

Мэтр Блазиус. Кажется, это священник.

Мэтр Бридэн. Это наставник, собственной персоной.

Мэтр Блазиус. О! О! Господин кюре, что вы тут делаете?

Мэтр Бридэн. Я? Я иду обедать. А вы не идете?

Мэтр Блазиус. Сегодня — нет. Увы! Мэтр Бридэн, заступитесь за меня; барон меня прогнал. Я ложно обви-

нил девицу Камиллу в том, что у нее тайная переписка, а все же, — бог свидетель мне, — я видел, или мне казалось, что я видел, даму Плюш среди мышиного горошка. Я погиб, господин кюре.

Мэтр Бридэн. Что такое вы мне рассказываете?

Мэтр Блазиус. Увы! Увы! Говорю правду. Я в полной немилости за то, что украл бутылку.

Мэтр Бридэн. Что вы говорите, сударь, об украденных бутылках, когда речь идет о мышином горошке и какой-то переписке?

Мэтр Блазиус. Умоляю вас защитить меня. Я честен, господин Бридэн. О достойный господин Бридэн, я — ваш покорный слуга.

Мэтр Бридэн. О, счастье! Не сон ли это? Так я сяду на тебя, о блаженный стул!..

Мэтр Блазиус. Я буду вам признателен, если вы, добрый, дорогой господин кюре, выслушаете мою историю и согласитесь оправдать меня.

Мэтр Бридэн. Я не в состоянии, сударь; пробило двенадцать, и я иду обедать. Если барон недоволен вами, это ваше дело. Я не буду просить за пьяницу. *(В сторону.)* Живо, несемся к воротам, а ты, живот мой, округлись! *(Убегает.)*

Мэтр Блазиус. Презренная Плюш, ты заплатишь за все; да, это ты причина моего падения; женщина, лишенная стыда, подлая сводня, тебе я обязан этой немилостью. О священный Парижский университет! Меня называют пьяницей! Я погиб, если не перехвачу письма и не докажу барону, что у его племянницы — переписка. Сегодня утром я видел, как она писала за своим столом. Терпение! Вот что-то новенькое.

Проходит дама Плюш, неся письмо.

Плюш, дайте мне это письмо.

Дама Плюш. Что это значит? Это письмо моей госпожи, я несу его в деревню на почту.

Мэтр Блазиус. Дайте мне его, или вы погибли.

Дама Плюш. Я! Я! Погибла! Иисус, Мария, мученица-дева!

Мэтр Блазиус. Да, погибли, Плюш; дайте мне этот листок.

Дерутся. Входит Пердикан.

Пердикан. Что тут такое? Что вы делаете, Блазиус? Зачем вы обижаете эту женщину?

Дама Плюш. Отдайте мне письмо. Он отнял его у меня, сударь. Защитите!

Мэтр Блазиус. Она сводня, сударь. Это любовное письмо.

Дама Плюш. Это письмо Камиллы, сударь, вашей невесты.

Мэтр Блазиус. Это любовное послание к парню, пасущему индюков.

Дама Плюш. Ты лжешь, аббат, вот все, что я могу тебе сказать!

Пердикан. Дайте мне это письмо; я в вашей ссоре ничего не понимаю; но, как жених Камиллы, я считаю себя вправе прочесть его. *(Читает.)* «Сестре Луизе, в монастырь». *(В сторону.)* Какому проклятому любопытству я невольно поддаюсь! Мое сердце так сильно бьется, и я не знаю, что со мной. Уважаемая дама Плюш, вы — достойная женщина, а мэтр Блазиус — дурак. Идите обедать; я берусь доставить это письмо на почту.

Мэтр Блазиус и дама Плюш уходят.

Преступно вскрывать письма, и я слишком хорошо это знаю, чтобы так поступить. Что может писать Камилла монахине? Какой власти надо мной добилась эта странная девушка, если три слова, написанные на конверте, вызывают в моей руке дрожь? Это странно. Блазиус, сражаясь с дамой Плюш, сломал печать. Разве преступление — вскрыть конверт? Ну, да ведь ничего не изменится! *(Открывает письмо и читает.)*

«Я уезжаю сегодня, моя дорогая, и все произошло так, как я предвидела. Это так ужасно, но у бедного юноши —

кинжал в сердце; он не утешится, утратив меня. Однако я сделала все возможное, чтобы внушить ему отвращение к себе. Бог да простит мне, что моим отказом я ввергла его в отчаяние. Увы, дорогая моя, что могла я сделать? Молитесь за меня; мы увидимся завтра, чтобы навек не разлучаться. Ваша всей душой!

Камилла».

Возможно ли? Это пишет Камилла? Она так говорит обо мне! Я в отчаянии от ее отказа! О боже мой! Если б это была правда, то оно было бы заметно. И что может быть постыдного в любви? Она сделала все возможное, чтобы внушить мне отвращение, — так она говорит, — и в сердце у меня кинжал? Какой ей смысл выдумывать подобный роман? Неужели мысль, пришедшая мне этой ночью, правда? О женщина! Эта бедная Камилла, быть может, очень набожна! Она от всего сердца приносит себя в дар богу, но она твердо решила, что доведет меня до отчаяния. Так условились милые подруги, прежде чем она уехала из монастыря. Было решено, что Камилла увидит своего кузена, что их захотят поженить, что она откажет и что кузен будет безутешен. Как это трогательно — девушка, принозящая в жертву богу счастье своего кузена! Нет, нет, Камилла, я не люблю тебя, я не в отчаянии, сердце мое не пронзено кинжалом, и я это тебе докажу. Да, прежде чем ты уедешь отсюда, ты будешь знать, что я люблю другую.

Входит крестьянин.

Подите в замок, скажите на кухне, чтобы послали лакея к барышне Камилле снести эту записку. *(Пишет.)*

Крестьянин. Слушаю, сударь. *(Уходит.)*

Пердикан. Теперь — к другой. О! Я в отчаянии! Эй! Розетта! Розетта! *(Стучится в дверь.)*

Розетта (отворяя). Вы, сударь? Войдите, моя мать дома.

Пердикан. Надевай, Розетта, твой самый нарядный чепчик и идем со мной.

Розетта. Куда же?

Пердикан. Я тебе скажу; спроси позволения у матери, но торопись.

Розетта. Слушаюсь, сударь. *(Уходит в дом.)*

Пердикан. Я попросил Камиллу о новом свидании, и я уверен, что она придет, но, клянусь небом, она не найдет того, что думает найти. Я буду ухаживать за Розеттой на глазах у Камиллы.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

РОЩА

Входят Камилла и крестьянин.

Крестьянин. Сударыня, я несу в замок письмо для вас; должен ли я отдать его вам или снести на кухню, как велел мне господин Пердикан?

Камилла. Дай мне.

Крестьянин. А если вы хотите, чтоб я снес его в замок, мне, может, лучше не задерживаться?

Камилла. Говорю тебе, дай.

Крестьянин. Как вам угодно. *(Отдает письмо.)*

Камилла. Вот тебе за труды.

Крестьянин. Покорно благодарю; так мне можно уйти?

Камилла. Как хочешь.

Крестьянин. Так я пойду, так я пойду. *(Уходит.)*

Камилла (читая). Пердикан просит меня прийти проститься с ним перед отъездом у маленького родника, куда я вчера позвала его. Что он может мне сказать? Вот и родник, и я уже тут. Должна ли я согласиться на это новое свидание? Ах! *(Прячется за дерево.)* Вот идет Пердикан с Розеттой, моей молочной сестрой. Полагаю, он сейчас расстанется с ней; я очень довольна, что нельзя подумать, будто я первая пришла на свидание.

Пердикан и Розетта входят и садятся.

(*Спрятавшись, в сторону.*) Что это значит? Он сажает ее рядом? Неужели он просил меня о свидании, чтобы болтать с другой? Мне любопытно, что он ей скажет.

Пердикан (*громко — так, чтобы Камилла могла слышать*). Я люблю тебя, Розетта! Ты одна во всем мире не забыла наших чудных былых дней; ты одна помнишь ту жизнь, которой уж больше нет; раздели же со мной новую жизнь; подари мне твое сердце, милое дитя; вот залог нашей любви. (*Надевает ей на шею свою цепь.*)

Розетта. Вы мне дарите вашу золотую цепь?

Пердикан. Теперь посмотри на это кольцо. Встань, подойди к этому роднику. Видишь ли ты в воде нас обоих, как мы прижимаемся друг к другу? Видишь: твои прелестные глаза рядом с моими, твоя рука — в моей? Смотри, сейчас это все пропадет. (*Бросает в воду кольцо.*) Погляди, наше отражение исчезло; вот оно постепенно появляется вновь; помутившаяся вода опять спокойна; она еще зыблется; широкие черные круги пробегают по ней; терпение, мы возникаем вновь; вот я снова вижу, как ты обняла меня; еще минута, и ни одной морщины не останется на твоём милом лице. Смотри! Это кольцо мне подарила Камилла.

Камилла (*в сторону*). Он бросил в воду мое кольцо.

Пердикан. Знаешь ли ты, Розетта, что такое любовь? Послушай. Ветер стих; утренний дождь жемчужинами переливается на засохших листьях, которые оживило солнце. Клянусь блеском неба, клянусь вот этим солнцем, я люблю тебя! Ты ведь хочешь быть моей, правда? Твою молодость не искушал никто, в твою алую кровь не вливали остатков испорченной крови? Ты не хочешь идти в монахини; ты, молодая и прекрасная, лежишь в объятиях юноши. О Розетта, Розетта, знаешь ли ты, что такое любовь?

Розетта. Ах, господин доктор, я буду любить вас, как умею.

Пердикан. Да, как умеешь; и пусть я доктор, а ты — крестьянка, ты будешь любить меня больше, чем эти бледные статуи, изделия монахинь, у которых голова вместо сердца и которые выходят из монастырей, от-

равляя жизнь затхлым воздухом своих келий; ты ничего не знаешь; ты не по книге читаешь молитву, которой научила тебя мать, сама научившаяся ей от своей матери; тебе даже непонятен смысл слов, которые ты повторяешь, когда стоишь на коленях у своей постели; но ведь ты понимаешь, что молишься, и это все, что нужно богу.

Розетта. Какие слова вы говорите, сударь!

Пердикан. Ты не умеешь читать; но ты понимаешь, что говорят эти леса и эти луга, эти прохладные реки, эти прекрасные поля, несущие жатву, вся эта природа, сверкающая юностью. Ты любишь этих бесчисленных братьев и считаешь меня одним из них; встань, ты будешь моей женой, и мы вместе пустим корни в самые недра всемогущей природы. (*Уходит с Розеттой.*)

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Входит Хор.

Хор. В замке, очевидно, происходит нечто странное. Камилла отказалась выйти замуж за Пердикана; она сегодня же должна уехать в монастырь, где была воспитана. Но, кажется, господин кузен утешился с Розеттой. Увы! Бедняжка не знает, какая опасность таится для нее во всех этих речах молодого любезного дворянина.

Дама Плюш (*входит*). Живо, живо седлайте моего осла!

Хор. Неужели вы умчитесь, как летний сон, почтенная дама! Неужели вы сейчас же хотите воссесть на это бедное животное, которому так грустно носить вас на своей спине?

Дама Плюш. Хвала богу, любезные каналы, я умру не здесь.

Хор. Умирайте вдаль, милая Плюш, умирайте в неизвестности, в смрадном подвале. Мы будем молиться, чтобы вы самым достойным образом воскресли из мертвых.

Дама Плюш. Вот идет моя госпожа. (*Камилле, которая входит.*) Дорогая Камилла, все готово к отъезду, барон покончил счета, и мой осел оседлан.

К а м и л л а. Подите вы к черту — и вы и ваш осел! Я сегодня не поеду. *(Уходит.)*

Х о р. Что это значит? Дама Плюш побледнела от испуга; ее фальшивые волосы пытаются встать дыбом, грудь ее издает пронзительный свист, и пальцы судорожно вытягиваются.

Д а м а П л ю ш. Господи Иисусе! Камилла выругалась! *(Уходит.)*

СЦЕНА ПЯТАЯ

Входят Барон и мэтр Бридэн.

М э т р Б р и д э н. Господин барон, мне надо поговорить с вами наедине. Ваш сын ухаживает за деревенской девушкой.

Б а р о н. Это нелепость, друг мой.

М э т р Б р и д э н. Я видел ясно, как он шел с ней по вереску и держал ее под руку; он наклонился к ее уху и обещал ей жениться.

Б а р о н. Это чудовищно.

М э т р Б р и д э н. Будьте в том уверены. Он ей сделал ценный подарок, который девочка показала матери.

Б а р о н. О небо! Ценный подарок, Бридэн? В каком смысле ценный?

М э т р Б р и д э н. В смысле веса и в смысле последствий. Это золотая цепь, которую он носил на шее.

Б а р о н. Пройдем в мой кабинет. Не знаю, что и думать.

Уходят.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

КОМНАТА КАМИЛЛЫ

Входят Камилла и дама Плюш.

К а м и л л а. Вы говорите, он взял мое письмо?

Д а м а П л ю ш. Да, дитя мое; он взялся снести его на почту.

К а м и л л а. Идите в гостиную, дама Плюш, и будьте любезны сказать Пердикану, что я жду его здесь.

Дама Плюш уходит.

Он читал мое письмо, в этом не может быть сомнения; сцена в роше — это месть, так же как и его любовь к Розетте. Он захотел доказать мне, что любит другую, и представиться равнодушным, несмотря на свою досаду. Так он, чего доброго, любит меня? *(Приподнимает портьеру.)* Ты здесь, Розетта?

Р о з е т т а *(входит)*. Да. Можно войти?

К а м и л л а. Слушай, дитя мое; ведь господин Пердикан ухаживает за тобою?

Р о з е т т а. Увы! Да.

К а м и л л а. Как ты смотришь на то, что он говорил тебе нынче утром?

Р о з е т т а. Нынче утром? Где?

К а м и л л а. Не притворяйся. Нынче утром у родника в роше.

Р о з е т т а. Так вы меня видели?

К а м и л л а. Глупенькая! Нет, я тебя не видела. Он хороших вещей наговорил тебе, правда? Готова ручаться, что он обещал на тебе жениться?

Р о з е т т а. Как вы узнали?

К а м и л л а. Не все ли равно, как узнала? Ты веришь его обещаниям, Розетта?

Р о з е т т а. Как же мне не верить? Или он обманывает меня? Зачем же?

К а м и л л а. Пердикан на тебе не женится, дитя мое.

Р о з е т т а. Ах! Я ничего не знаю.

К а м и л л а. Ты любишь его, бедняжка. Он не женится на тебе, а доказательство я тебе дам; спрячься за этой занавеской и выходи, когда я позову.

Розетта уходит.

Я думала мстить, неужели же я сделаю доброе дело? Сердце бедняжки попало в сети.

Входит Пердикан.

Здравствуйте, кузен, садитесь.

П е р д и к а н. Что за платье, Камилла! Для кого это?

К а м и л л а. Может быть, для вас; мне досадно, что я не могла прийти на свидание, о котором вы меня просили; вы что-нибудь хотели мне сказать?

П е р д и к а н (в сторону). Вот, клянусь честью, ложь, довольно-таки увесистая для непорочного ангела; я видел, она подслушивала из-за дерева. (Вслух.) Мне, Камилла, остается лишь сказать вам «прости»; я думал, вы уезжаете; но ваша лошадь — в конюшне, и вы как будто одеты не для дороги.

К а м и л л а. Я люблю споры; я не вполне уверена, что мне не захочется еще раз поспорить с вами.

П е р д и к а н. К чему споры, когда примирение невозможно? Самое сладостное в споре — это мир, который заключают потом.

К а м и л л а. Вы уверены, что я не захочу заключить его?

П е р д и к а н. Не шутите, я не в силах ответить вам.

К а м и л л а. Мне хотелось бы, чтобы за мной поухаживали; не знаю, может быть, это оттого, что на мне новое платье, но мне охота повеселиться. Вы предлагали мне пойти в деревню — пойдете, я согласна; покатаемся на лодке; мне хочется пообедать на траве или сделать прогулку в лес. Будет сегодня вечером луна? Странно: у вас на руке нет кольца, которое я вам подарила.

П е р д и к а н. Я потерял его.

К а м и л л а. Так вот почему я его нашла; возьмите, Пердикан, вот оно.

П е р д и к а н. Возможно ли? Где вы его нашли?

К а м и л л а. Вы смотрите, не мокрые ли у меня руки, правда? Действительно, чтобы вытащить из воды эту детскую безделушку, я испортила свое монастырское платье. Поэтому-то я и надела другое, и, признаюсь вам, оно вызвало во мне перемену.

П е р д и к а н. Ты вытащила это кольцо из воды, Камилла, и не побоялась утонуть? Не сон ли это? Вот оно; ты надеваешь мне его на палец! Ах, Камилла, зачем ты мне возвращаешь его, этот грустный залог счастья, которого уже нет? Говори, кокетливая, безрассудная девушка, почему ты уезжаешь? Почему ты остаешься?

Почему с часу на час меняется твой облик, как меняется цвет этого камня при каждом солнечном луче?

К а м и л л а. Знаете ли вы сердце женщины, Пердикан? Уверены ли вы в ее непостоянстве и знаете ли вы, в самом ли деле меняются ее мысли, когда меняются речи? Иные говорят, что не меняются. Конечно, нам часто приходится играть роль, часто приходится лгать. Вы видите, я откровенна. Но уверены ли вы, что все в женщине — лживо, если лжив ее язык? Подумали ли вы о природе этого слабого и сильного существа, о строгости, с которой его судят, о правилах, которыми велят следовать? И, как знать, быть может, вынужденная людьми к обману, безмозглая головка этого маленького существа находит даже удовольствие и лжет порой от скуки, из сумасбродства, как иногда лжет по необходимости!

П е р д и к а н. Я ничего не понимаю во всем этом и никогда не лгу. Я люблю тебя, Камилла, вот все, что я знаю.

К а м и л л а. Вы говорите, что любите меня и что никогда не лжете?

П е р д и к а н. Никогда.

К а м и л л а. А вот она говорит, что иногда это с вами случается. (Приподнимает портьеру, в глубине видна Розетта в обмороке на стуле.) Что вы ответите этому ребенку, Пердикан, когда она потребует отчета в ваших словах? Если вы никогда не лжете, то почему же она упала в обморок, когда услышала, что вы любите меня? Я ставлю вас с ней, постарайтесь привести ее в себя. (Хочет уйти.)

П е р д и к а н. Минуту, Камилла, выслушайте меня!

К а м и л л а. Что вы хотите мне сказать? Вы должны говорить с Розеттой. Я — я не люблю вас; я не отыскивала с досады этого несчастного ребенка в глубине ее хижин, чтобы сделать из нее приманку, игрушку; я необдуманно не повторяла ей страстных слов, обращенных к другой; я не притворялась, что ради нее бросаю в воду воспоминание нежной дружбы; я не надевала ей на шею свою цепь; я ей не говорила, что женюсь на ней.

П е р д и к а н. Выслушайте меня, выслушайте!

К а м и л л а. Не улыбнулся ли ты сейчас, когда я тебе сказала, что не могла прийти к роднику? Ну, да! Я была там и слышала все; но, бог мне свидетель, я не хотела бы говорить так, как говорил ты. Что ты будешь делать с этой девушкой теперь, когда она придет с устами, пылающими от твоих поцелуев, и плача покажет тебе рану, которую ты ей нанес? Ты хотел отомстить мне, не правда ли? И проучить меня за письмо, которое я написала в монастырь! Ты захотел во что бы то ни стало пустить в меня стрелу, которая попала бы в цель, и тебе было безразлично, что твоя отравленная стрела пронзит этого ребенка, только бы она настигла меня. Я похвасталась, что возбудила в тебе какую-то любовь, что оставляю тебя в некотором огорчении. Это оскорбило твою благородную гордость! Ну, так вот! Узнай же от меня; ты меня любишь, слышишь? Но ты женишься на этой девушке, или ты — подлец!

П е р д и к а н. Да, я женюсь на ней.

К а м и л л а. И хорошо сделаешь.

П е р д и к а н. Очень хорошо, и гораздо лучше, чем если бы женился на тебе. Но что же, Камилла, так тебя волнует? Девочка — в обмороке; мы приведем ее в чувство, для этого нужна бутылка с уксусом; ты захотела доказать мне, что я раз в жизни солгал; это возможно, но я считаю, что ты слишком смело судишь о том, в какую минуту я солгал. Иди сюда, надо помочь Розетте.

Уходят.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Барон и Камилла.

Б а р о н. Если это совершится, я с ума сойду.

К а м и л л а. Употребите вашу власть.

Б а р о н. Я с ума сойду и не дам согласия, в этом нет сомнения.

К а м и л л а. Вы должны были бы поговорить с ним и образумить его.

Б а р о н. Это повергнет меня в отчаяние на все время карнавала, и я ни разу не появлюсь при дворе. Это брак совершенно неравный. Неслыханно — жениться на молочной сестре своей кузины; это переходит все границы.

К а м и л л а. Позовите его и прямо скажите, что вы недовольны этим браком. Поверьте мне, это безумие, и он не будет упорствовать.

Б а р о н. Я буду всю зиму носить траур, можете быть уверены.

К а м и л л а. Но — во имя неба! — поговорите с ним. Он совершает безумство. Быть может, уже поздно. Раз он сказал, то сделает.

Б а р о н. Я сейчас запрусь, чтобы предаться моей скорби. Скажите ему, если он спросит меня, что я заперся и предался скорби, видя, что он женится на девушке без имени. *(Уходит.)*

К а м и л л а. Неужели не найдется никого, в чьем сердце есть благородство? Право, когда ищешь такого человека, пугаешься своего одиночества.

Входит Пердикан.

Ну что же, кузен, когда свадьба?

П е р д и к а н. Как можно скорее; я говорил уже с нотариусом, со священником, со всеми крестьянами.

К а м и л л а. Так вы действительно думаете жениться на Розетте?

П е р д и к а н. Конечно.

К а м и л л а. Что скажет ваш отец?

П е р д и к а н. Все, что ему угодно; я хочу жениться на этой девушке; этой мыслью я обязан вам и не откажусь от нее. Стоит ли повторять самые избитые общие места о ее и моем происхождении? Она — молодая и красивая и любит меня; это больше, чем нужно, чтобы быть трижды счастливым. Умная она или неумная? Но ведь я мог бы выбрать и хуже. Будут кричать, будут смеяться; я умываю руки.

К а м и л л а. Тут нет ничего смешного — вы прекрасно делаете, что женитесь на ней. Но мне за вас обидно вот почему: скажут, что вы сделали это с досады.

П е р д и к а н. Вам это обидно? Ну, нет.

К а м и л л а. Право же, мне в самом деле обидно за вас. Не хорошо, когда юноша не может справиться с минутной досадой.

П е р д и к а н. Пускай вам будет обидно; что до меня, это мне совершенно безразлично.

К а м и л л а. Но ведь вы и не подумали: эта девушка — ничто.

П е р д и к а н. Так она будет кое-чем, когда станет моей женой.

К а м и л л а. Она вам наскучит, прежде чем нотариус надеет новое платье и башмаки, чтобы идти сюда; вас станут тошнить на свадебном пиршестве, а к вечеру вы велите отрубить ей руки и ноги, как в арабских сказках, потому что от нее будет пахнуть жарким.

П е р д и к а н. Увидите, что нет. Вы меня не знаете: когда женщина кротка, ласкова, свежа, добра и красива, я могу удовольствоваться этим, — да, право же, — настолько, что и не побеспокоюсь узнать, говорит ли она по-латыни.

К а м и л л а. Жаль, что потратили столько денег, чтобы научить вас этому; пропали три тысячи эку.

П е р д и к а н. Да, лучше бы было раздать их нищим.

К а м и л л а. Придется уж вам позаботиться о них — по крайней мере, о нищих духом.

П е р д и к а н. А взамен они мне дадут царствие небесное, ибо оно принадлежит им.

К а м и л л а. Сколько времени продлится эта шутка?

П е р д и к а н. Какая шутка?

К а м и л л а. Ваш брак с Розеттой?

П е р д и к а н. Очень недолго; бог создал человека существом недолговечным: лет тридцать или сорок, самое большее.

К а м и л л а. Хотелось бы мне потанцевать на вашей свадьбе!

П е р д и к а н. Послушайте, Камилла, этот насмешливый тон неуместен.

К а м и л л а. Он мне слишком нравится, чтобы я его оставила.

П е р д и к а н. В таком случае я оставляю вас — с меня довольно.

К а м и л л а. Вы идете к вашей невесте?

П е р д и к а н. Да, прямо к ней.

К а м и л л а. Дайте же мне руку; я тоже иду к ней.

Входит Розетта.

П е р д и к а н. Вот и ты, мое дитя! Идем, я представляю тебя моему отцу.

Р о з е т т а (*становясь на колени*). Господин, я пришла просить у вас милости. Все деревенские, с кем я ни говорила сегодня утром, сказали мне, что вы любите вашу кузину и что за мной вы поухаживали только для того, чтобы позабавиться вместе с ней; когда я прохожу, надо мной смеются, и мне уж не найти жениха на нашей стороне, если все меня высмеют. Позвольте мне отдать вам цепь, которую вы мне подарили, и с миром вернуться к моей матери.

К а м и л л а. Ты хорошая девушка, Розетта; оставь себе эту цепь, я дарю ее тебе, а мой кузен возьмет взамен мою. Что же касается мужа, не беспокойся, я берусь тебе его найти.

П е р д и к а н. Действительно, это не трудно. Ну, Розетта, идем, я поведу тебя к моему отцу.

К а м и л л а. Зачем? Это ни к чему.

П е р д и к а н. Да, вы правы, мой отец плохо принял бы нас; пусть он опомнится от изумления, испытанного в первый миг. Пойдем со мной, мы вернемся на площадь. Забавно слышать, что я не люблю тебя, когда я на тебе женюсь. Черт побери! Мы заставим их замолчать. (*Уходит с Розеттой.*)

К а м и л л а. Что же это со мною? Он уводит ее и так спокоен. Странно — у меня как будто кружится голова. Или

он в самом деле женится на ней? Эй! Дама Плюш, дама Плюш! Никого здесь нет, что ли?

Входит слуга.

Догоните господина Пердикана; скажите ему сейчас же, чтобы он вернулся сюда, мне надо с ним поговорить.

Слуга уходит.

Но что же это такое? Я больше не в силах, подкашиваются ноги.

Входит Пердикан.

Пердикан. Вы звали меня, Камилла?

Камилла. Нет... нет.

Пердикан. Право, вы так бледны. Что вы хотите мне сказать? Вы вернули меня, чтобы поговорить со мною?

Камилла. Нет, нет! О боже! *(Уходит.)*

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

МОЛЕЛЬНЯ

Камилла *(входит и бросается к подножию алтаря)*. Ты покинул меня, о боже! Ты ведь знаешь, когда я приехала сюда, я поклялась, что останусь верна тебе; когда я отказалась быть супругой другого, я думала, что искренне отрекаюсь перед тобою и перед моей совестью; ты это знаешь, отче; или ты отвергаешь меня? О! Зачем заставляешь ты лгать самую истину? Почему я так слаба? О несчастная, я больше не в силах молиться!

Входит Пердикан.

Пердикан. Гордость, самый роковой советник человека! Зачем ты встала между этой девушкой и мною? Вот она — бледная и испуганная — прижимает к бесчув-

ственным плитам свое сердце и свое лицо. Она могла бы любить меня, и мы были рождены один для другого. Гордость, что ты сделала с нашими устами, когда наши руки готовы были соединиться?

Камилла. Кто вошел сюда за мною? Кто говорит под этим сводом? Это ты, Пердикан?

Пердикан. Безумцы мы! Мы любим друг друга. Что пригрезилось нам, Камилла! Какие пустые слова, какие жалкие бредни пронеслись между нами, словно злой вихрь! Кто из нас хотел обмануть другого? Увы! Сама эта жизнь — такой мучительный сон. Зачем пришеивать к ней и наши сны? О боже! В этом житейском океане счастье — такая редкая жемчужина! Ты дал нам ее, небесный рыбарь, из бездонной пучины извлек ты для нас это бесценное сокровище, а мы, избалованные дети, мы сделали из него игрушку. Зеленая тропинка, по которой мы шли друг к другу, тянулась по такому пологому скату, ее окружали такие цветущие кусты, она уходила в такую безмятежную даль! И вот надо было, чтобы тщеславие, болтовня и злоба загромождали безобразными глыбами этот божественный путь, который привел бы нас к тебе, слитых в едином поцелуе! Надо было ранить друг друга, потому что мы люди! О, безумные, мы любим друг друга! *(Обнимает ее.)*

Камилла. Да, мы любим друг друга, Пердикан; дай мне это почувствовать, прижми меня к сердцу. Бог, который видит нас, не рассердится; он не запрещает мне любить тебя; уже пятнадцать лет, как он это знает.

Пердикан. О милая, ты теперь моя!

Целует ее; из-за алтаря слышен громкий крик.

Камилла. Это голос моей молочной сестры.

Пердикан. Как она здесь очутилась? Я оставил ее на лестнице, когда ты попросила меня вернуться. Значит, она пошла за мною, но я этого не заметил.

Камилла. Пойдем в эту галерею. Крик донесся оттуда. Пердикан. Не знаю, что со мною; мне кажется, что руки у меня в крови.

Камилла. Бедная девочка, должно быть, следила за нами. Она опять в обмороке. Идем, поможем ей! Увы! Все это тяжело.

Пердикан. Нет, право, я не пойду; смертельный холод сковывает меня. Пойди, Камилла, постарайся привести ее в чувство.

Камилла уходит.

Молю тебя, боже, не делай из меня убийцы! Ты видишь, что случилось: мы два безрассудных младенца, и мы играли жизнью и смертью; но сердце наше чисто; не убивай Розетту, боже правый. Я найду ей мужа, я исправлю мою ошибку; она молода, она будет счастлива; не делай этого, о господи! Ты можешь еще благословить четырех детей твоих. Ну что, Камилла, что там?

Камилла входит.

Камилла. Она умерла. Прощай, Пердикан!

НУЖНО, ЧТОБЫ ДВЕРЬ
БЫЛА ЛИБО ОТКРЫТА,
ЛИБО ЗАКРЫТА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Граф.
Маркиза.

*Действие происходит в Париже
Маленькая гостиная*

Граф и Маркиза. *Маркиза с шитьем в руках сидит на диване
возле камина. Входит Граф.*

Граф. Не знаю, право, когда я наконец возьмусь за ум. Я страшно легкомыслен: никак не могу запомнить, по каким дням вы принимаете. В результате всякий раз, как у меня возникает желание вас увидеть, оказывается, что на календаре вторник.

Маркиза. Вы что-то хотите мне сказать?

Граф. Нет, а если бы и хотел, то не смог бы: ведь это чистая случайность, что вы теперь одна; вот увидите, не пройдет и четверти часа, как сюда заявится куча ваших закадычных друзей, а этого, предупреждаю вас заранее, мне не вынести; я немедленно откланяюсь.

Маркиза. Сегодня в самом деле мой день, хотя зачем он мне, я толком не знаю. Впрочем, в этой моде есть смысл. Матери наши оставляли двери своих гостиных открытыми всю неделю, в ту пору хорошее общество было немногочисленно, и у каждой из дам собирался узкий круг завсегдаев, среди которых было полно

людей невыносимо скучных. Теперь же, когда дама принимает, к ней является весь Париж, а по нашим временам весь Париж — это действительно весь город, от центра до окраин. У себя дома чувствуешь себя точь-в-точь как на площади. Вот и пришлось каждой даме завести свой день для приемов. Это единственный способ видаться друг с другом как можно реже, так что когда хозяйка дома говорит: я принимаю по вторникам, всем ясно, что на самом деле это значит: а в остальные дни недели оставьте меня в покое.

Граф. Тем хуже, что я пришел сегодня: ведь вы позволяете мне бывать у вас и в другие дни.

Маркиза. Делать нечего: раз уж пришли, садитесь. Если вы в хорошем настроении, что-нибудь мне расскажете, если нет — согреетесь. А потом посмотрите картинку моего волшебного фонаря; впрочем, я сегодня почти никого не жду. Да что с вами такое? Мне кажется, что...

Граф. Что?

Маркиза. Не скажу.

Граф. А я скажу: да, перед тем как войти к вам, мне это тоже казалось.

Маркиза. Теперь я спрошу: что?

Граф. А если я скажу, вы не рассердитесь?

Маркиза. Я вечером еду на бал и хочу хорошо выглядеть; с какой же стати я теперь буду сердиться?

Граф. Ну ладно: меня одолела скука. Не знаю, что со мной; впрочем, скука нынче в моде, точь-в-точь как ваши приемы. Я с полудня сам не свой; побывал в четырех домах и нигде никого не застал. В пятый дом был приглашен к обеду — и не поехал, отказался без всякой причины. В театре сегодня выходной. Погода отвратительная: у всех кругом красные носы и фиолетовые щеки. Я решительно не знаю, чем себя занять, — видели вы когда-нибудь подобного глупца?

Маркиза. Я ничуть не лучше вас. Мне так скучно — хоть плачь. Я думаю, тут все дело в погоде.

Граф. Точно, холод зверский. Вообще зима — это что-то вроде болезни. Любители прогулок толкуют нам о чистой мостовой и ясном небе, а когда ледяной ветер пронизывает их до мозга костей, они это называют «славный морозец». С таким же успехом можно было бы рассуждать о славном воспалении легких. Благодаря покорно.

Маркиза. Я с вами более чем согласна. Впрочем, мне кажется, тут дело даже не в холоде, а в тех людях, которые дышат этим воздухом вместе с нами. А может, мы просто стареем? Мне скоро тридцать, я теряю умение жить.

Граф. А я этим умением никогда не обладал, но, к моему ужасу, начал его приобретать. Другие люди с годами становятся или пошляками, или безумцами, я же больше всего на свете боюсь прослыть перед смертью образцом благонравия.

Маркиза. Велите слуге подбросить дров в камин; от ваших слов меня бросает в дрожь.

Слышен звонок у входной двери.

Граф. Не стоит; в дверь звонят, скоро сюда прибудет целая процессия.

Маркиза. Посмотрим, под каким флагом; главное, не уходите.

Граф. Нет, решено: я уйду.

Маркиза. Куда?

Граф. Понятия не имею. (*Встает, откланивается и открывает дверь.*) Прощайте, сударыня, до четверга.

Маркиза. Почему до четверга?

Граф (*стоя, держась за ручку двери*). Вы ведь по четвергам ездите в Итальянскую оперу? Вот я и навещу вас ненадолго.

Маркиза. В четверг вы мне вовсе не нужны, вы слишком угрюмы. К тому же я везу в Оперу господина Камю.

Граф. Господина Камю, вашего деревенского соседа?

Маркиза. Да, он весьма любезно продал мне картошку и сено, и я хочу его отблагодарить.

Граф. На такое способны только вы. Этого господина следовало бы накормить его же товаром — я в жизни не встречал никого скучнее! Кстати, знаете, что о нем говорят?

Маркиза. Нет. Как странно: никого нет. Кто же звонил?

Граф (*выглядывает в окно*). Да никто: молодая особа с какой-то ерундой в картонке, прачка должно быть. Вон она в глубине двора, говорит с вашими слугами.

Маркиза. По-вашему, это ерунда? Вы очень любезны: между прочим, это мой чепчик. Так что там говорят про меня и господина Камю? Да закройте вы дверь... Оттуда страшно дует.

Граф (*закрывая дверь*). Говорят, что вы собираетесь снова выйти замуж, что господин Камю миллионер и что он бывает у вас очень часто.

Маркиза. Неужели? Всего-навсего? И вы вот так запросто сообщаете мне все это?

Граф. Я вам сообщаю только то, что говорят люди.

Маркиза. Вот так причина. Разве я повторяю вам все, что эти же самые люди говорят о вас?

Граф. Обо мне, сударыня? Что же такое обо мне говорят, скажите на милость, чего вы не можете повторить?

Маркиза. Да уж если вы сообщаете мне, что я вот-вот сделаюсь госпожой Камю, значит, повторить можно все, что угодно. То, что говорят о вас, так же серьезно, и, кажется, к несчастью, это чистая правда.

Граф. Что вы имеете в виду? Вы меня пугаете.

Маркиза. Это лишний раз доказывает, что люди не ошибаются.

Граф. Объяснитесь, прошу вас.

Маркиза. И не подумаю; это ваши дела.

Граф (*вновь усаживается*). Умоляю вас, маркиза, пощадите. Вы единственная из моих знакомых, чье мнение для меня дороже всего на свете.

Маркиза. Вы хотели сказать: одна из знакомых.

Граф. Нет, сударыня, нет, я хотел сказать то, что сказал: единственная, чье уважение, расположение и...

Маркиза. О боже! сколько красноречия! Это все пустые слова.

Граф. Вовсе нет. Вы ничего не замечаете просто потому, что не хотите замечать.

Маркиза. Замечать что?

Граф. Вообще-то понять это нетрудно.

Маркиза. Я понимаю только то, что мне говорят без околичностей, а загадки разгадывать не умею.

Граф. Вы всё смеетесь; но скажите честно, возможно ли уже целый год видеть вас почти каждый день, видеть ваш ум, ваше изящество, вашу красоту...

Маркиза. Ах ты господи, да это уж даже не красноречие, это форменное признание в любви. Успокойте меня, по крайней мере: это признание или дежурный комплимент?

Граф. Предположим, что это признание. Что бы вы на это сказали?

Маркиза. Сказала бы, что нынче мне не до признаний. Я наверняка услышу их на балу — вы ведь знаете, вечером я еду на бал, — а выслушивать признания в любви два раза в день здоровье не позволяет.

Граф. Право, вы безжалостны. Я от души порадуюсь, когда кто-нибудь обойдется так же с вами.

Маркиза. Я тоже. Клянусь вам, бывают минуты, когда я бы дорого заплатила за то, чтобы нажить хоть какую-нибудь неприятность. Впрочем, я тоже умею страдать. Посмотрели бы вы на меня час назад, когда меня причесывали. Я выпускала такие горестные вздохи: я горевала оттого, что не думаю решительно ни о чем.

Граф. Смейтесь-смейтесь! Найдется и на вас управа.

Маркиза. Весьма возможно; все мы смертны. Между прочим, моя ли вина в том, что я так рассудительна? Уверяю вас, я бы с радостью вела себя по-другому.

Граф. Но вы ведь не хотите, чтобы за вами ухаживали?

Маркиза. Нет, не хочу. У меня доброе сердце, но это уж чересчур глупо. Кстати, вы ведь человек здравомыслящий, вот и объясните-ка мне, что это, собственно, значит: ухаживать за женщиной?

Граф. Это значит, что женщина вам нравится и вам приятно ей об этом говорить.

Маркиза. В добрый час; но нравится ли этой женщине нравится вам? Допустим, вы находите меня хорошенькой, и вам доставляет удовольствие мне об этом сообщать. А зачем? И что это доказывает? Следует ли из этого, что я обязана вас полюбить? Я полагаю, что если кто-то нравится мне, то вовсе не потому, что я хороша собой. Далеко ли уедет этот кто-то со своими комплиментами? Превосходный способ вызвать к себе любовь: уставить на женщину, оглядеть ее в лорнет с ног до головы, как куклу в витрине магазина, и с самым любезным видом оповестить ее: «Сударыня, я нахожу вас очаровательной!» Прибавьте к этому несколько чрезвычайно пошлых фраз, тур вальса и букет цветов — и вот вам то, что называется ухаживанием за женщиной. Фу! Как может умный человек помышлять о такой чепухе? При одной мысли об этом я прихожу в бешенство.

Граф. Не стоит так гневаться.

Маркиза. Нет, стоит. Тот, кто думает пленить женщину подобным способом, полагает, должно быть, что голова у нее совсем пустая и очень глупая. Неужели вам кажется, что нам приятно постоянно утопать в потоке пошлостей и с утра до вечера выслушивать всякий вздор? По правде говоря, будь я мужчиной и попадись мне хорошенькая женщина, я бы наверняка сказала себе: «Вот несчастное создание, вконец замученное комплиментами». Я бы пожалела красавицу и, чтобы понравиться ей, избавила бы бедняжку от разговоров о ее злосчастном лице и отыскивала другие темы для беседы. Но не тут-то было; мы только и слышим: «Как вы хороши собой!» и снова: «Как вы хороши!» и так без

конца. Ах, господи, да я и сама знаю, что хороша. Хотите честно? По мне, все вы, светские кавалеры, просто-напросто переодетые кондитеры.

Граф. И все-таки, сударыня, нравится вам это или нет, вы очаровательны. *(Раздается звонок.)* Ну вот, к вам пришли, я откланиваюсь, прощайте. *(Поднимается и открывает дверь.)*

Маркиза. Нет, погодите, я хотела вам сказать, что... совсем вылетело из головы... Ах, вот что! Вы случайно не будете на днях проезжать мимо лавки Фоссена?

Граф. Если я могу быть вам полезен, сударыня, я отправлюсь туда не случайно.

Маркиза. Опять комплимент! Ах, господи, как это скучно! Просто-напросто у меня сломалось кольцо; я могла бы, конечно, просто послать к Фоссену слугу, но тут есть одна тонкость... Взгляните *(снимает кольцо с пальца)*. Вот видите, тут такая штучка, а там внутри пружинка. Раньше оно открывалось, а утром я обо что-то задела рукой, сама не знаю за что, и теперь оно не открывается.

Граф. Не считите за нескромность, маркиза, но скажите: там внутри прядь волос?

Маркиза. Возможно. Но вы смеетесь?

Граф. Ни в коем случае.

Маркиза. Вы наглец; это волосы моего покойного мужа. Но к нам опять никто не идет. Кто же звонил на этот раз?

Граф *(глядя в окно)*. Очередная юная особа с картонкой. И, по-видимому, с очередным чепчиком. Кстати говоря, за вами должок.

Маркиза. Да закройте вы эту дверь, вы меня совсем заморозите.

Граф. Я ухажу. Но вы обещаете мне пересказать то, что говорят обо мне в свете?

Маркиза. Приезжайте вечером на бал, там и поболтаем.

Граф. Нечего сказать, превосходная мысль — болтать на балу! Очаровательное место для беседы под аккомпа-

немент трюмонов и звяканье стаканов с сахарной водой! Сосед слева наступает вам на ногу, сосед справа толкает локтем, перепачканный лакей накладывает мороженое вам в карман. И вот в такой-то обстановке вы...

Маркиза. Вы уходите или остаетесь? Повторяю, из-за вас я наверняка простужусь. Гости не пришли, вас никто не гонит.

Граф (*закрывает дверь и усаживается*). Ничего не могу с собой поделывать, но у меня такое скверное настроение, что я всерьез боюсь вывести вас из терпения. Право, мне следовало бы перестать ездить к вам.

Маркиза. Отлично сказано; а с чего бы это?

Граф. Не знаю, но я вам докучаю, вы только что в этом признались, да я и сам чувствую, что надоел вам. Ничего удивительного. Все дело в том, что я имею несчастье жить напротив вас; выходя из дома, я упираюсь взглядом в ваши окна и машинально вхожу, сам не зная зачем.

Маркиза. Я сказала вам сегодня, что вы мне докучаете только потому, что обычно этого не происходит. Право, если вы перестанете ездить ко мне, меня это очень огорчит; мне приятно вас видеть.

Граф. Вам? Ни в малейшей степени. Знаете, что я сделаю? Вернусь в Италию.

Маркиза. Да? А что скажет по этому поводу мадемуазель?..

Граф. Какая такая мадемуазель?

Маркиза. Та, которой вы покровительствуете. Не знаю, как ее зовут. Я не обязана знать имена всех ваших танцовщиц.

Граф. А, так вот то правдивое известие обо мне, какое вам сообщили.

Маркиза. Совершенно верно. А по-вашему, это неправда?

Граф. Сущий вздор.

Маркиза. К несчастью, вас видели в театре с некоей

особой в розовой шляпке с цветами, какие произрастают только в Опере. Вы свой человек за кулисами, любезный сосед, об этом знают все.

Граф. Как и о вашей свадьбе с господином Камю.

Маркиза. Вы опять за свое. А впрочем, почему бы и нет? Господин Камю — человек в высшей степени порядочный; состояния у него несколько миллионов; он, конечно, не молод, но именно в том возрасте, в каком и подобает быть законному супругу. Я вдова, он холост, выглядит он весьма пристойно, особенно когда надевает перчатки.

Граф. И ночной колпак. В нем он, должно быть, неотразим.

Маркиза. Замолчите немедленно! Разве о таких вещах говорят вслух?

Граф. Еще бы! Вы ведь собираетесь эти вещи увидеть!

Маркиза. Вы, вероятно, научились столь любезному обхождению от ваших оперных див.

Граф (*встает и берет за шляпу*). Послушайте, маркиза, я лучше пойду. Иначе у меня может вырваться какая-нибудь глупость.

Маркиза. Как предусмотрительно с вашей стороны!

Граф. Нет, право, вы слишком жестоки. Мало того, что вы не позволяете любить себя, так вы еще обвиняете меня в любви к кому-то другому.

Маркиза. Час от часу не легче. Сколько страсти! Когда это я запрещала вам меня любить?

Граф. Всегда. Во всяком случае, говорить об этом вы мне запрещаете.

Маркиза. Что ж, я передумала. Разрешаю вам говорить о вашей любви — посмотрим, чего стоит ваше красноречие.

Граф. Если бы это было серьезно...

Маркиза. Не все ли вам равно? Говорите — мне этого хочется.

Граф. Вам бы только смеяться, вам все игрушки, а другим — слезы.

Маркиза. Неужели, сударь? И горьки ли будут эти слезы?
Граф. Быть может, сударыня; к несчастью, опасность эта грозит мне одному.

Маркиза. Волков бояться — в лес не ходить. Так я вас слушаю. И что же? Ничего. Вы мне угрожаете, я иду вам навстречу, а вы и ухом не ведете? Я-то думала, что вы броситесь к моим ногам, как Родриго или, по крайней мере, как господин Камю.

Граф. Вам доставляет такое удовольствие издеваться над вашими бедными обожателями?

Маркиза. А вас так сильно удивляет, что кто-то осмеливается бросить вам вызов?

Граф. Берегитесь! Прежде чем бросать мне вызов, вспомните, сударыня, что я еще совсем недавно был гусаром.

Маркиза. Неужели! Ну что же, в добрый час. Никогда не слыхала, как объясняются в любви гусары; должно быть, это очень любопытно. Хотите, я позову горничную? Надеюсь, она сможет вам ответить. Выйдет настоящее представление, а я полюбуюсь. *(Раздается звонок.)*

Граф. Опять звонят! Прощайте же, маркиза. Но мы еще вернемся к этому разговору. *(Открывает дверь.)*

Маркиза. Так до вечера? А что там за шум?

Граф *(выглядывает в окно)*. Погода переменилась. Начался дождь с градом. Вам принесли третий чепчик — боюсь, вместе с насморком.

Маркиза. Неужели это гром? В середине января? Назло календарю?

Граф. Нет, это просто ураган. Или смерч — как вам угодно.

Маркиза. Какой ужас! Да закройте, наконец, дверь, не можете же вы уйти в такую погоду. Интересно, отчего случается такое безобразие?

Граф *(закрывает дверь)*. Сударыня, это небеса разгневались и решили покарать оконные стекла, зонтики, дамские ножки и печные трубы.

Маркиза. А мой экипаж? Я его как раз отослала.

Граф. Сударыня, вашему экипажу ничего не грозит, если, конечно, лошадям не упадет на голову кирпич.

Маркиза. Теперь вы взялись шутить! Я, сударь, люблю чистоту и не хочу, чтобы мои лошади ходили по колесу в грязи. Непостижимо! Ведь еще полчаса назад светило солнце.

Граф. Кстати, в такую погоду к вам наверняка никто не придет. День пропал.

Маркиза. Вовсе нет. Вы ведь пришли. Положите немедленно на место вашу шляпу, видеть ее не могу.

Граф. Сударыня, вы мне делаете комплимент? Осторожно! Вы так любите рассказывать о своей ненависти к комплиентам, что ваши комплименты можно принять за чистую правду!

Маркиза. Я ведь вам уже говорила, что это чистая правда. Мне очень приятно видеть вас у себя.

Граф *(снова садится подле Маркизы)*. Тогда позвольте мне вас любить.

Маркиза. И об этом я вам уже говорила, любите на здоровье: я вовсе не сержусь.

Граф. Тогда позвольте мне вам об этом рассказать.

Маркиза. По-гусарски?

Граф. Нет, сударыня, будьте уверены, что, если даже мне недостает чувствительности, у меня достаточно здравого смысла, чтобы соблюсти приличия. Но мне кажется, что позволительно, не оскорбляя особу, которую считаешь...

Маркиза. Переждать у нее дождь? Вы зашли сюда машинально, неведомо зачем — вы мне сами только что об этом сказали; вам было скучно, вы не знали, чем заняться, вы даже могли показаться брюзгой. Застань вы здесь хотя бы трех гостей, вы бы устроились вместе с ними у камина и завели бы разговор о литературе или о железных дорогах, а потом отправились обедать. Но на беду оказалось, что я здесь одна, и вот, чтобы не уронить свою честь, вы чувствуете себя обязанным — да, обязанным — приняться за это вечное не-

сносное ухаживание — бессмысленное, смешное, надоевшее. Чем же я вам не угодила? Если бы здесь были посторонние, вы, пожалуй, выказали бы много ума и остроумия; но я одна, и вы разыгрываете передо мной банальнейший из водевилей; недолго думая, вы садитесь на любимого конька, и, дай я вам волю, вы бы объяснились мне в любви, стали бы толковать о своей страсти. Знаете, на кого в таких случаях бывают похожи мужчины? На бедных непризнанных авторов, которые всегда имеют при себе какую-нибудь неизданную и ни на что не годную трагедию и, стоит вам остаться с ними один на один, тотчас вытаскивают ее из кармана — тут-то вам и приходит конец.

Граф. Итак, вы мне говорите, что я не вызываю у вас отращения, я отвечаю вам, что люблю вас, и на этом, по-вашему, можно поставить точку?

Маркиза. Вы любите меня не больше, чем турецкого султана.

Граф. Нет, это уж слишком. Да послушайте меня хоть одну минуту, и если вы не поверите в мою искренность...

Маркиза. Нет, нет и еще раз нет! Боже мой, неужели вы полагаете, что я не знаю наизусть все, что вы можете мне сказать? Я уверена, что вы получили прекрасное образование, но разве из того, что вы человек образованный, следует, что я в своей жизни не прочла ни одной книги? Кстати, я знавала одного неглупого человека, который купил где-то собрание из пятидесяти писем — любовных, разумеется, — прекрасно задуманных, прекрасно переписанных. Вместе они составляли небольшой роман, в котором были предусмотрены все возможные ситуации. Там были и объяснения в любви, и обиды, и пробуждения надежды, и лицемерные заверения в одной только дружбе, и ссоры, и приступы отчаяния, и сцены ревности, и даже дурное настроение в дождливый день вроде сегодняшнего. Я прочла эти письма. Автор в своего рода предисловии утверждал, что сам не раз прибежал к ним и не

встречал женщины, которая выдержала бы больше тридцати трех штук¹. Я же устояла против всех пятидесяти. Так вот, я спрашиваю вас, могу ли я после этого считаться женщиной начитанной и можете ли вы льстить себя надеждой открыть мне что-нибудь новое?

Граф. Вы очень пресыщены, маркиза.

Маркиза. Теперь пошли в ход оскорбления? Я не против; все лучше, чем ваши слащавые пошлости.

Граф. Да, безусловно, вы очень пресыщены.

Маркиза. Разве? Вовсе нет.

Граф. Пресыщены, как старая англичанка, мать четырнадцати детей.

Маркиза. И как перо на моей шляпе. Так вы полагаете, что знать наизусть все, что вы, мужчины, можете сказать, — дело очень сложное? Тут и стараться не надо, довольно только дать вам волю. Подумайте сами, расчет у меня совсем простой. Мужчин, у которых хватает ума пощадить наши бедные уши и не пичкать нас слащавым вздором, можно перечесть по пальцам. С другой стороны, совершенно очевидно, что в те тягостные мгновения, когда вы, ради того чтобы понравиться нам, принимаетесь лгать, все вы делаетесь похожи один на другого, как карты в карточном домике. К счастью для нас, милосердные небеса не предоставили в ваше распоряжение особенно большого выбора слов и фраз. У всех у вас, как говорится, одна песня: одни и те же фразы и одни и те же слова, одни и те же манерные жесты и нежные взгляды; поодиночке вы, возможно, чего-нибудь да стоите, но в роковую минуту объяснения в любви принимаете все без исключения один и тот же смиренно-победительный вид, так что стоит женщине увидеть это зрелище, как ее охватывает либо неудержимый хохот, либо просто ску-

¹ Реминисценция из романа Стендаля «Красное и черное». Часть 2, глава 24.

ка, — это ее и спасает. Будь у меня дочь и пожелай я предохранить ее от тех знакомств, которые именуют опасными, я и не подумала бы запрещать ей слушать сладкие речи кавалеров. Я бы просто сказала ей: «Не слушай ни одного из них по отдельности, слушай их всех вместе; не закрывай книгу и не вкладывай в нее закладку, оставь ее открытой: пускай эти господа поведают тебе все свои смешные бредни. Если, на беду, один из них тебе приглянется, не страшно — подожди: следом за этим тотчас явится другой, точно такой же, и тебе сразу опротивят оба. Сейчас тебе пятнадцать, так вот, дитя мое, ты обречена слушать это пустословие до тридцати». Вот и вся моя наука, и это вы называете быть пресыщенной?

Граф. Безумно пресыщенной, если все, что вы говорите, — правда; но все это так неправдоподобно, что я позволю себе усомниться в искренности ваших слов.

Маркиза. А мне-то что за дело? Хотите верить, хотите нет.

Граф. Час от часу не легче. Что я слышу? Вы, в вашем возрасте, презираете любовь? Речи человека, который вас любит, трогают вас ничуть не больше, чем дурной роман? Его взгляды, жесты, чувства кажутся вам взятыми напрокат у комедиантов? По-вашему, правду говорите вы одна, а все другие лгут? Да кто внушил вам эти мысли, маркиза? С каких пор вы вообразили себя непогрешимой?

Маркиза. С давних пор, любезный сосед.

Граф. Ну, разумеется, еще с пеленок. Женщины уверены, что они знают все на свете; на самом деле они не знают ровно ничего. Подумайте сами: какой у вас жизненный опыт? Ровно такой же, как у того путешественника, который увидел в трактире рыжую женщину и записал в журнале: «В здешних краях все женщины рыжи».

Маркиза. Я просила вас подкинуть в камин дров.

Граф (*исполняя приказание*). Можно быть недотрогой,

можно отказывать поклоннику, затыкать уши, презирать любовь; но отрицать ее — это просто смешно! Вы лишаете надежд бедного влюбленного, объявляя ему: «Я знаю, что вы мне сейчас скажете». Но разве не имеет он права ответить вам: «Да, сударыня, быть может, вы это знаете, но ведь и я тоже знаю все, что говорят те, кто любит, но, обращаясь к вам, я об этом забываю!» Под солнцем нет решительно ничего нового, но и я, в свой черед, могу сказать: «Что это доказывает?»

Маркиза. В добрый час! По крайней мере, говорите вы нынче очень хорошо — прямо как по писаному.

Граф. Да, говорю, и уверяю вас, что если вы в самом деле такая, какой вам вздумалось себя изображать, то мне вас искренне жаль.

Маркиза. Как вам будет угодно; прошу вас, ни в чем себе не отказывайте.

Граф. В этом нет для вас ровным счетом ничего обидного. Раз вы вправе на нас нападать, должны же мы иметь право защищаться? В чем, собственно, вы нас упрекаете, когда сравниваете с освистанными авторами? Ах, боже мой, если любовь — комедия...

Маркиза. Огонь не разгорается, поправьте полено.

Граф (*исполняя приказание*). Пускай даже любовь — комедия, старая как мир, не раз освистанная, все равно в жизни нет ничего более приятного. Роли избитые, не спорю, но если бы пьеса была совсем скверной, весь мир не знал бы ее наизусть; кстати, я, пожалуй, напрасно назвал ее старой. Разве быть бессмертным и быть старым — одно и то же?

Маркиза. Да вы, сударь, поэт.

Граф. Нет, сударыня, все дело в том, что этот пошлый вздор, который вам докучает, эти надоевшие вам комплименты и признания, все эти добрые старые глупости — вещи, конечно, условленные, утомительные, порой смешные, но есть другая вещь, по отношению к которой все это — лишь сопровождение, и уж она-то всегда молода.

Маркиза. Вы меня совсем запутали; какая вещь всегда стара, а какая всегда молода?

Граф. Любовь.

Маркиза. Да вы, сударь, оратор.

Граф. Нет, сударыня; я хочу сказать вот что: любовь бес- смертна и молода, а способы выразить ее бесконечно стары и останутся таковыми всегда. Пышная оправа — обветшавшие формы, избитые слова, фразы из романов, которые внезапно слетают с наших уст, — все равно что старые камергеры, старые дипломаты и старые министры, толпящиеся в прихожей короля; они смертны, но король этот будет жить вечно. Любовь умерла, да здравствует Любовь!

Маркиза. Любовь?

Граф. Любовь. И пусть даже нам только кажется, что...

Маркиза. Подайте мне экран.

Граф. Вот этот?

Маркиза. Нет, вон тот, из тафты; вы разожгли такой огонь, что я того и гляди ослепну.

Граф (*подавая Маркизе экран*). И пусть даже нам только кажется, что мы любим, все равно любовь — упоительнейшая вещь в мире. Разве я не прав?

Маркиза. Да я ведь вам сказала: вещь всегда одна и та же, ничего нового.

Граф. Всегда та же и всегда другая. А чего, собственно, вы хотите? Чтобы вам объяснились в любви на древнееврейском? Венера на ваших каминных часах тоже всегда одна и та же, и что, скажите на милость, разве от этого она менее красива? Если вы похожи на вашу бабушку, это вовсе не означает, что вы не хороши собой!

Маркиза. Ну вот, вы опять за свое: хороша собой. Подайте мне вон ту подушку.

Граф (*берет подушку и держит ее в руках*). Эта Венера создана для того, чтобы быть красивой, чтобы ее любили и ею восхищались, и ее это несколько не смущает. Не сомневаюсь, что у той красотки, с которой древний

скульптор лепил прекрасную статую, найденную на острове Мелос, поклонники не переводились и она не противилась их любви, точно так же как не противилась любви ее кузина Астарта, Аспазия и Манон Леско.

Маркиза. Да вы, сударь, мифолог.

Граф (*по-прежнему держа в руках подушку*). Нет, сударыня, но не могу передать вам, как больно мне видеть в молодой женщине эту модную бездушность, эту холодную и презрительную насмешливость, эту показную опытность, которая заставляет считать все кругом вздором. Вы не первая, в ком я замечаю эти черты; эта болезнь гуляет нынче по светским гостиным. Дамы отворачиваются, зевают, как вы сейчас, говорят, что не желают слышать признаний в любви. Зачем же в таком случае вы носите кружева? К чему этот помпон у вас на голове?

Маркиза. А к чему эта подушка у вас в руках? Я-то ведь собиралась подложить ее себе под ноги.

Граф. Подушка уже у ваших ног и я вместе с нею; хотите вы того или нет, а я признаюсь вам в любви, и признание это будет старо, как мир, и глупо, как пробка, потому что я безмерно зол на вас. (*Опускается на колени перед Маркизой, предварительно подложив подушку.*)

Маркиза. Сделайте милость, встаньте поскорее.

Граф. Нет, сначала выслушайте меня.

Маркиза. Вы отказываетесь встать?

Граф. Нет, нет и нет! — как сказали давеча вы сами. Прежде вы должны меня выслушать.

Маркиза. Что ж, в таком случае честь имею кланяться. (*Поднимается.*)

Граф (*по-прежнему на коленях*). Маркиза, умоляю! Это слишком жестоко. Я в отчаянии, вы сводите меня с ума.

Маркиза. Ступайте в «Кафе де Пари», и все пройдет.

Граф (*на коленях*). Нет, клянусь честью, я не кривлю душой. Не стану спорить, поначалу я не думал признаваться вам в любви: я зашел на минутку — недаром я

три раза отворял эту дверь и собирался уйти. Разговор, который у нас завязался, ваши насмешки, ваша холодность — все это завело меня далеко, быть может, даже слишком далеко; но ведь началось все это не сегодня: я люблю, обожаю вас с того самого дня, когда увидел вас впервые... Я не преувеличиваю, нет... я обожаю вас уже больше года, я думаю только...

Маркиза. Прощайте. *(Выходит и оставляет дверь открытой.)*

Граф *(оставшись один, мгновение стоит на коленях, потом поднимается и говорит сам себе)*. Поистине от этой двери веет холодом. *(Идет к выходу и видит Маркизу)*.

Граф. Ах, маркиза, вы смеетесь надо мной.

Маркиза *(стоит в дверях)*. Вы встали?

Граф. Да, и ухожу навсегда.

Маркиза. Приезжайте вечером на бал, я оставлю за вами вальс.

Граф. Нет, ни за что. Я никогда больше вас не увижу! Я в отчаянии, я погиб.

Маркиза. А что случилось?

Граф. Я погиб, я влюблен в вас как дурак. Клянусь всем святым, что только есть на свете...

Маркиза. Прощайте. *(Собирается уйти.)*

Граф. Останьтесь, умоляю. Уйду я. О, какая боль!

Маркиза *(серьезно)*. Быть может, сударь, вы все-таки скажете, чего вы хотите от меня?

Граф. Но, сударыня, я хочу... я хотел бы...

Маркиза. Чего?! Скажите, иначе я окончательно потеряю терпение. Если вы полагаете, что я соглашусь стать вашей любовницей, что меня пленяют лавры ваших красоток в розовых шляпах, то предупреждаю: такой исход дела мне не просто неприятен, он мне отвратителен.

Граф. Что вы говорите, маркиза! Великий боже! Будь это возможно, я отдал бы вам всего себя, вверил бы вам свое имя, свое состояние, даже свою честь. Я став-

лю вас неизмеримо выше не только тех созданий, о которых вы мне толкуете исключительно ради того, чтобы мне досадить, но и любой женщины в мире! Можете ли вы думать иначе? Неужели я, по-вашему, настолько глуп? Неужели мое легкомыслие, мое сумасбродство были так велики, что заставили вас усомниться в моем почтении? Вы мне говорили давеча, что вам бывает приятно меня видеть, что вы питаете ко мне дружеское расположение (ведь вы это говорили, маркиза?); неужели вы допускаете, что человек, которого вы отличаете таким образом, человек, которого вы удостоили столь драгоценной, столь снисходительной приязни, не сумеет оценить вас по достоинству? Ведь я не слепец и не безумец! Сделать вас моей любовницей! Нет, только женой!

Маркиза. Слава богу!.. Если бы вы с этого начали, нам не о чем было бы спорить. Итак, вы хотите на мне жениться?

Граф. Ну, разумеется, я умираю от желания жениться на вас, я не осмеливался вам это сказать, но я уже год только об этом и думаю; я отдал бы по капле всю мою кровь, если бы мне позволено было питать хоть какую-то надежду...

Маркиза. Пойдите, но вы ведь богаче меня.

Граф. Не думаю. Да и вообще, при чем тут это? Умоляю вас, не будем говорить ни о чем подобном! Ваша улыбка приводит меня в трепет — я разрываюсь между страхом и надеждой. Сжальтесь, скажите: да или нет? Жизнь моя в ваших руках.

Маркиза. Я вам отвечу двумя пословицами. Первая такая: сумным человеком и поговорить приятно. Следовательно, мы это обсудим.

Граф. Значит, вы не гневаетесь на меня за то, что я сказал?

Маркиза. Конечно, нет. А вторая моя пословица такая: нужно, чтобы дверь была либо открыта, либо закрыта. А моя дверь по вашей милости уже почти целый

час и не открыта, и не закрыта, так что гостиную вы мне выстудили окончательно. Посему объявляю вам, что сейчас мы с вами отправимся обедать к моей матушке. А потом вы съездите к Фоссену.

Граф. К Фоссену, сударыня? А зачем?

Маркиза. Затем, что я дала вам свое кольцо.

Граф. Ах, правда, я совсем забыл. И что же с этим кольцом, маркиза?

Маркиза. Вы говорите «маркиза»? На моем кольце в самом деле выгравирована корона маркизы, но поскольку мне придется запечатывать им письма... Как, по-вашему, граф, не стоит ли убрать эту корону? Ну ладно, я иду за шляпкой.

Граф. Какое счастье!.. У меня нет слов...

Маркиза. Вы когда-нибудь закроете эту злосчастную дверь? По вашей милости ко мне в гостиную невозможно войти.

Поэзия

ПОРЦИЯ

I

Восток уже зардел и брезжил свет дневной,
Когда вернулся граф Онорио домой,
Оставив маскарад. Лениво иль устало
Графиня на руку супруга опирала
В безмолвии свою, небрежно от очей
Откидывая прядь развившихся кудрей.
Войдя к себе, она легла на край постели.
То было в декабре, и ветры уж свистели
Предвестьем длительных январских вечеров,
Вдруг пепел в камельке взметая из-под дров.
Не подходя к огню, пылавшему в камине,
Следил Онорио Луиджи за графиней;
Казалось, будто мысль ужасная одна
В его уме со сном боролась, но смутна.
Граф начинал стареть. Не так, однако, было
Годами тронута лицо его, как силой
Отмечено былых несдержанных страстей.
Он флорентинец был; и в юности своей,
Что называется, гулякой был, кутилой,
Но то от скуки лишь, а нрав имел унылый.
Но время подошло — утих, женился граф;
Изведав все, ничто забвенью не предав,
Он ревновал — к чему скрывать? Кто не способен
В сем мире к ревности, тот спящему подобен
Во тьме без ночника: он чувствует, над ним
Рука занесена, но кто занес — незрим.

Не вступит во дворец Луиджи гость непрошен.
 Изрублен, графом в Тибр немедля будет брошен
 Тот, кто коснуться раз дерзнет его жены;
 Ничто, когда слова молитвы прочтены,
 Не вынудит его на миг отсрочить мщенье.
 У неба всех грехов купил он отпущенье —
 Такая шла молва. Кто в Риме полагал,
 Чтоб оскорбителя он, граф, не покарал?
 В пятнадцать лет ему супругой став, любима,
 Богата и знатна, с младенчества хранима
 И всеми благами земли окружена,
 Благодарить его не думала жена.
 Но в чем подозревать ее? И не была ли
 Она честнейшею, вернейшей, как все знали,
 Из всех супругов?

Тут граф поднялся. Долго он
 По комнате ходил, в раздумье погружен.
 Остановившись вдруг, промолвил он: «Вы спите,
 Вы, видно, Порция, устали». — «Я? Простите, —
 Та, покраснев, в ответ. — Да, был превесел бал,
 И я совсем без сил». — «Не знаю, — граф сказал, —
 Кто этот юноша с манерами живыми,
 Что в черном был плаще; два дня, как здесь он,
в Риме.

Не обращался он с речами к вам?» — «О ком
 Вы говорите мне, мой друг?» Ей граф: «О том,
 Кто, помнится, стоял в час ужина за вами;
 С ним обменялись вы, казалось мне, словами.
 Вы имя знаете его?» — «Я знаю то ж
 О нем, что сами вы, не больше». — «Он хорош,
 Не правда ль? — молвил граф. — И я не сомневаюсь,
 Не обессилен он сейчас, как вы, — ручаюсь!
 Скорее весел, бодр». — «Пусть так, но отчего
 Охота толковать пришла вам про него?»
 Онорио в ответ: «А отчего, скажите,
 Вы толковать о нем, напротив, не хотите?»

Дивиться нечему: бесспорно, в этот миг
 О нем здесь не один судачит злой язык.
 Клянусь, нет ничего забавней, как средь бала
 Увидеть черный плащ». — «Мой друг, светать уж
стало, —

Графиня молвила. — Зачем вы в стороне
 Там мешкаете так? Идите же ко мне». —
 «Иду; и самое сейчас, бог видит, время,
 Когда занялся день, одежды сбросить бремя!
 Хотите — спите, но могу заверить вас,
 Что я не в силах спать в столь неурочный час». —
 «Я остаюсь одна? Надеяться я смею,
 Что нет, — ведь я вины пред вами не имею». —
 «Ах, Порция», — сказал, к ней приближаясь, граф
 И, к свесившейся вниз руке ее припав,
 Как к чаше жаждущий — могли вы видеть сами —
 Торопится припасть иссохшими устами,
 Горячий поцелуй запечатлел на ней;
 Затем он продолжал, волнуясь все сильнее:
 «Ты, дочь Венеции, не знаешь, молодая,
 Тот флорентийский яд, что, вены нам снедая,
 Ждет слова одного, чтоб разом вырвать свет
 Из сердца смертного и радость многих лет,
 В душе иссохшей грязь оставив и с тем вместе
 Губя залог любви мужской и женской чести!
 Из груди матери недуг всосал я тот;
 Неизлечимый, он к безумию ведет». —

«Что за недуг?» —

«Когда о ком-нибудь толкуют,
 Что он ревнивец... Так тех смертных именуют». —
 «О боже! — Порция вскричала. — Не меня ль
ревнуете вы?» —

«Я? Ревную вас? Едва ль
 Я это вам сказал. Клянусь душою вечной —
 Ничуть! Ревную я? С чего бы? Нет, конечно, —
 Я не ревную вас; спокойным спите сном».

И с этим от нее он отошел; потом,
 На выступ опершись оконницы, он мрачно
 (А месяц побледнел, и стала тьма прозрачной)
 Смотрел на Порцию: вот руки та, бледна,
 Сложила на груди, и вот уж спит она.

Кому не ведомо, что волшебство ночное
 И женщин, как цветы, являет краше вдвое?
 Вечерний ветерок, касающийся их,
 Уносит аромат, что слаще всех дневных.
 Вот почему и граф, в тиши ненарушимой
 Любуясь Порцией, цветущей, несмутимой,
 С челом опущенным, с истомою в глазах, —
 Так молодой олень в высоких спит хлебах, —
 Признал, что нет души столь твердой,
 непреклонной,

В которой пред иной красавицею сонной
 Скорбь жесточайшая, как будто медь в огне,
 Тотчас бы не могла расплавиться вполне.
 Кому ж довериться, когда природы лики
 Являют нам обман — о боже! — столь великий,
 Что должно б надвое творенье разделить
 И сердце от любви своих же глаз хранить!

Меж тем как, бледное чело склонив устало,
 Среди старинного стоял тосканец зала,
 Ему почудилось, что голос слышит он
 Снаружи, под стеной, и струн невнятный звон.
 Тихонько выглянув, он из-за рамы старой
 Увидел двух чужих, и каждый был с гитарой;
 Он одного не знал; другого ж — это был
 Тот самый черный плащ — он выследить решил.
 Ничем не выдал он, что сердце испытало,
 Лишь взялся медленно за рукоять кинжала:
 Как бы увериться, держа его, хотел,
 Что, кроме двух врагов, и друга он имел.

Безмолвствовало все. Он рассмотрел угрюмо
 Черты соперника; закрыв окно без шума
 (Не дрогнула черта у графа ни одна),
 Он поспешил взглянуть, спокойно ль спит жена.
 Она не двинулась; и, становясь бледнее,
 Являла ночь ее прекрасней и светлее.
 Тут флорентинец наш, молитвы сотворив,
 В постель улегся сам. — Брат, если, побродив
 По свету, где-нибудь ты флорентинца встретил
 И свойства крови той, что в нем течет, заметил,
 Ты знаешь: ненависть в стране его родной —
 Не гордый исполин с подъятою рукой, —
 Калека там она, таящая отраву,
 Что за тобой следит, спрятавшись в канаву;
 Молчит, дыханием себя не выдает,
 Чтоб промаха не дать, обдумав все вперед.

II

Печальных светочей огни в пустынном храме,
 Колебясь в сумраке, скрещались лучами,
 Когда наш юноша порог переступил.
 Он траурный свой плащ рукой не отстранил,
 Чтоб пальцы омочить в святой воде смиренно.
 Без страха он предстал в обители священной,
 Но и презренья чужд. Беззвучно в тьме ночной
 Молилось несколько монахов — хор немой.
 Орган безмолвствовал; под сводами таимы,
 Светильники как бы дремали, недвижимы;
 И отзвук длительный шаги сопровождал.
 Жилища божии, кто вас не посещал?
 Таинственная сень, торжественность святая,
 Кто не испытывал, вас молча созерцая,
 Тоски иль ужаса? Но незнакомец наш
 Не преклонил колен, в придел вступая ваш.
 Он оставался нем и как бы в ожиданье.
 Час пробил. Женщина приблизилась в молчанье,

Дрожа от дряхлости — от холода, верней.
 (Холодной ночью была.) «Часы бегут, — так ей
 Он молвил. — Слышишь ли, петух поет? Ночная
 Пустынная улица, но тьма редеет, тая.
 Веди меня». В ответ старуха: «Ключ вам шлют;
 Спешите к той стене; скорее, там вас ждут;
 Старайтесь сделать так, чтоб вас могли заметить». —
 «Спасибо», — юноша ей поспешил ответить.
 За ним закрылась дверь. «Храни их бог от зла!», —
 Направляясь к алтарю, она произнесла.

Куда ты, юноша, в тот час, как тьма сплошною
 Под ноги путника ложится пеленою,
 Куда ты мчишься так? И почему летит
 И брызжет искрами твой конь из-под копыт?
 Бьет по бокам кинжал, и пот с висков сбегает...
 Иль гонит кто тебя? Иль кто-то призывает?
 Зачем, как бы беглец, к луке пригнулся ты?
 О брат, легко упасть средь этой темноты.
 А преданный слуга, насилию поспевая,
 На твой султан вдали глядит, изнемогая.
 Да будет бог с тобой, когда любовью так
 Стремительно в ночи ты увлечен сквозь мрак!
 Все победит любовь, — блажен, кто, ей подвластный,
 Роняет пот с чела, упав к ногам прекрасной!
 Без страха, без тревог, не ведая преград,
 Вперед! И что бы там тебя ни ждало, брат, —
 Рука ль, к твоей руке протянутая где-то,
 Кинжал ли за углом стены, хотя бы этой, —
 Что до того? Вперед, с надеждой на творца!

Но почему же ты у этого дворца
 Как бы стараешься признать, сыскав глазами,
 Полуоткрытое окно в подъемной раме?
 Твои желанья так далеко идут?
 Подумай, юноша: ты знаешь, тот приют
 От взоров должен быть так потаен, как дума
 Его хозяина, неизвестна и угрюма.
 А ты, среди дерев пригнувшись под стеной,

Как зверолов, таясь, слух напрягаешь свой:
 Откуда этот звук? Чей голос нежный, томный
 И легкий, как мечта, возник средь ночи темной?

«Бесценный Дальти мой, ты ль это, жизнь моя?» —
 «О светоч, Порция! Дай руку, это я».

И все. Уже его по лестнице шелковой
 Влекла рука, дрожа от счастья молодого;
 Он, поцелуями любимой покорен,
 Добыча жарких рук, в альков был увлечен.
 О старцы дряхлые с плешивыми главами,
 С закрытыми для чувств разбитыми сердцами,
 Вы, что, как призраки, бледны под солнцем, в зной
 Бредете, сгорблены, трясущейся стопой!
 Свидетелями вас зову я быть моими:
 Ведь не всегда и встарь вы были неживыми
 И время не всегда вас гнуло — верю я —
 Челом к земле, душой — во мрак небытия!
 Ведь были же у вас глаза и сердце, руки!
 Скажите прежде, чем час роковой разлуки
 Пробьет навек для вас, скажите нам в ответ,
 Как час свиданья кровь волнует в двадцать лет!

«Любимый, — Порция проговорила это,
 Простерта перед ним, томна, полуодета. —
 Ты видишь ли, все спит? Как мир блаженно тих!
 Бог в нем оставил жить лишь нас с тобой двоих».

Любуясь им, она так нежно улыбалась.
 Какая женщина когда не любовалась
 Любимым, и кого она бы предпочла
 Тому, чьего лица увидеть не могла
 Без непритворных слез! «Скажи, не для меня ли
 Ты нарядился так? — ее уста шептали. —
 Султан твой для кого? И жемчуг, и алмаз,
 И золотая цепь? Отчасти и для нас?»
 Затем прибавила: «Страх леденит мне жилы:
 Лишь бы никто тебя не видел здесь, мой милый!»

Но юный Дальти был в молчанье погружен;
В сиянии луны привлек тихонько он
Свою любимую, обвив ее рукою;
Она, к его плечу поникнув головою,
Смотрела на него, склонившегося к ней
Челом, увенчанным надеждой юных дней!

Он шепчет: «Порция, в альковный сумрак жаркий
Бросает зеркало свой отблеск слишком яркий;
Букет тот слишком свеж, твой слишком нежен взор...
Зачем ты не дала жестокий мне отпор!
Бог дал бы мне сломить твое сопротивление,
Но защитит ли кто и даст ли исцеленье
От ласк твоих, от слез, которые ты льешь?
Я слишком счастлив; ты, любя, меня убьешь!»

И после этих слов он в глубину дивана
С ней, льнувшею к нему, как плющ к стволу платана,
Дрожа и побледнев, откинулся без сил!
«Моя любимая, — так он проговорил, —
Повсюду нам грозит преграда роковая;
Отступит перед ней в нас сила чувств любая;
Какой бы ни была любовь безумной в нас,
Но счастье все ж сильней желания подчас.
О красота моя, с душою небо сходно:
Есть сфера, где б орел не мог дышать свободно,
Где кружит голову, где воздух стал огнем;
Где должно богом быть, там люди, мы, умрем».

Луна туманилась среди глубокой ночи;
Над миром бдящие закрылись неба очи.
Светильник вдруг погас. «Постой; пусти меня, —
Сказала Порция, — дай мне достать огня».
В камине под золой одна лишь искра тлея,
И долго Порция не распрямляла тела,
Склоняясь у камелька. Когда ж в конце концов
Зажегся свет и тьмы раздвинулся покров:
«Нас трое, Дальти, здесь!» — она вскричала.

«Трое», —

Ответил голос ей близ них, в ночном покое,
И своды вторили ему, вдали звуча.
Недвижный, складками закутанный плаща,
Как бы старинное у входа изваянье,
Онорио привлек их взоры и вниманье.
Откуда он пришел? И долго ль наблюдал
За ними он двумя, подслушивал, молчал?
Кто час ему открыл и где он взял терпенье,
Чтоб ночью, наконец, минуту выждать мщенья?
Однако ж он сейчас спокоен был на взгляд;
В его руке кинжал надежный не был сжат;
Ни гнев, ни ненависть очей не омрачали.
Но волосы его, что были не вчера ли
Еще черны как смоль, вдруг сделались белы.
Глазам любовников из предрассветной мглы
Луч лампы меркнувшей являл главу седую
Того, кто стариком стал за ночь роковую,
С кудрями длинными белей его чела.
Он молвил: «Порция, — сурово речь текла, —
Когда соединил нам руки, умирая,
Отец твой, не сжимал моей я, выжидая;
Так что ж не отняла свою ты в тот же миг?»

Но Дальти встал: «Ее желаешь ты, старик?
Так принимай удар! Болтать не время — хватит!
Пусть с жизнью Порцию один из нас утратит».
«Согласен», — граф сказал; блеснули в их руках,
Столкнувшись, два клинка. У ног их, вся в слезах,
Молила Порция дрожащая — напрасно:
Кто б мог своей судьбы избегнуть самовластно?
Лишь истечет число отсчитанных нам дней,
Разверзнется земля у наших ног скорей,
Чем отдалится срок; к чему тогда бороться?
Когда могила ждет — в нее сойти придется».

Луиджи, испустив один лишь вздох, упал.

Не мешкал Дальти. «Встань, — он Порции сказал, —
Идем». Но та была безгласна, помертвела.

Тогда он обхватил руками оба тела —
Любовницу и труп — и удалился. Мгла
В ночь незамеченным уйти ему дала.

III

Есть час в Венеции — час серенад звенящих,
Когда в тени аркад, вокруг Сан-Марко спящих,
Ночь вешняя, омыв стопы свои росой
И с маскою в руке, спешит играть с зарей.
В затихших портиках величественных зданий
Ненарушим покой священных изваяний.
Забылся город сном, и пленная волна
У лестниц мраморных лежит, усыплена.
Тогда-то выплывать там, где изгиб канала
Виднелся вдалеке, бесшумно лодка стала,
Без паруса, с одним-единственным гребцом,
Под флагом, реющим на фонаре большом.
И в сумраке ночном, колеблема волною,
Зефира медленно качаема струею,
Скользила лодка та; в ней Дальти греб, покой
Отяжелевших вод тревожа в час ночной.
И долго виден был гребец наш, уплывавший
От берега, под всплеск воды, вокруг вскипавшей.
Когда же города, что, мнилось, исчезал
Иль медленно вдали под воду оседал,
На горизонте там не стало опустелом,
Тогда — как альцион в своем полете смелом
Вдруг над водой замрет — так лодка два весла
Простерла над водой и в море замерла.
«Стал ветер затихать, — промолвил Дальти юный. —
Спой песню, Порция, и тронь рукою струны».

Возможно, что порог старинного дворца
Еще пятнала кровь Луиджи-мертвеца;
Что слуги все его над гробовым покровом
Не кончили молитв в молчании суровом.
Возможно, что, святой свершавшие обряд,
Монахи, черные, как кипарисов ряд,

Под песнопенья дев творили воздыханья,
Еще у гроба свеч не погасив пыланья.
Возможно, — лишь вчера убитого нашли,
Простертого ничком на мостовой, в пыли, —
Еще и пес его был верен господину, —
А Порция взяла послушно мандолину
И нежный голос свой и струнный звон слила
С журчанием струи, что лодку их несла.

Когда и кто бы мог, поживши, быть уверен,
Что светоч памяти еще им не утерян,
Что вечно юное воспоминанье в нем,
Презрев и смерть, горит немеркнущим огнем?
Ведь слезы на земле — роса, что выпадает
На краткий утра срок; и ветер отряхает,
И солнце пьет ее; затем на сердце нам
Забвение сойдет, как сходит сон к глазам.

Склонив чело, свой взор переводил с любимой
Наш юноша на гладь воды невозмутимой.
И молча, на руку поникнув головой,
Так в нерешимости он пребывал немой;
И, наконец, сказал: «Все, что возможно было,
Ты сделала. Скажи, о том, что ты свершила,
Не сожалеешь ты?» Она в ответ: «О чем?» —
«О том, что бросила из-за меня свой дом,
И имя доброе, и все, что ты имела,
И, — пристальный свой взор в нее вперяя смело,
Он резко заключил: — супруга своего».
Она ответила: «Не жаль мне ничего;
Все брошу для тебя».

«О небо! — в изумленье
Так Дальти прошептал. — Взгляни, что за творенье —
Под солнцем ласковым, взрастившим этот цвет:
Он распустился лишь за восемнадцать лет.
Как мог увянуть он и пасть так скоро, смятый,
Едва лишь тронут был моей рукой проклятой?..
Итак, она моя; да, так», — он продолжал.
«Приблизься, поднимись, — он Порции сказал, —

Нет разве у тебя и не было охоты
Узнать, кто я такой? И кем я был?» —

«Ах, кто ты,
Мой друг, как не синьор богатый, молодой!
Все так почтительно здесь говорят с тобой».

«Ты под аркадами, — сказал он, — старых зданий
Встречала ль вечером, порой, в часы гуляний,
Распутниц молодых, шатающихся там
И платье бальное влачащих по камням?
Не каждый день у них бывает хлеба вволю:
Им уготовила судьба такую долю!
И ласки алчные они, измождены,
Нередко расточать нуждой осуждены.
Так и живут они. То жребий жалкий, скудный,
Не правда ль? Мой удел ему подобен, трудный». —
«Подобен этому? — воскликнула она. —
Я вижу — шутишь ты, то выдумка одна». —
«Молчи! — он возразил. — Хоть правда запоздала —
Ты знать ее должна во что бы то ни стало.
Сын рыбака я, знай». —

«То правда? Боже мой!
Мария, смилуйся над ним и надо мной!» —

«То правда. Выслушай, что я тебе открою:
Отец мой был рыбак; тот день забыт уж мною,
Когда он отошел, отозванный судьбой,
Оставив лодку мне, что нас влечет с тобой.
Я лишь отца любил, — мне лет пятнадцать было
(Мое рождение ведь мать мою убило).
Мне имя Даниэль, Дзоппери нас зовут.
В ту пору первую меня кормил мой труд:
Отцовский промысел давал мне пропитанье.
Светило, льющее таинственно сиянье,
Одно лишь видело, как капли слез моих
Порою падали на лоно вод морских;
И только. Одинок, я жил, забот не зная,
Ночуя где пришлось, про город забывая.
Однако мой отец, хоть лодочником был,

Из гордости меня наукам обучил;
Я церковь посещал, я знал язык тосканский;
С тех пор уже знаком мне быт венецианский.

Однажды вечером я нанят был одним,
Желавшим дать концерт, вельможею большим.
С любовницей (она Муранкой прозывалась)
Явился он вдвоем; а море волновалось;
И часа не прошло — застигла нас гроза.
Дитя, она, закрыв испуганно глаза,
В объятья бросилась ко мне, прижалась тесно...
Ты знаешь, кто она и как была прелестна.
Я и мечтать не мог о счастье таком,
И с ночи бурной той простился я со сном».

Волнение юноши на миг рассказ прервало.
(Едва дыша, она его речам внимала.)
Вздохнув, он продолжал:

«О город роковой,
Венеция, с твоей коварной красотой!
Я воздух твой вдыхал, что душу расслабляет
И всю Италию, нечистый, отравляет!
Я ночью у дворцов, бедняк, бродил босой.
Я на вельмож смотрел, являющих собой —
Средь челяди своей — подобье параличных;
На знать надменную, сановников различных,
Чью тень поклоном чтят и что весь век свой спят
Под кровлей мраморных и золотых палат.
Я был лишь рыбаком, но в праздник, полный света,
В театре услышав творение поэта,
Я уходил всегда озлоблен, удручен.
Читал, учился я; так, словно легкий сон,
Я из души своей тогда изгнал печальной
Любовь к морским волнам, мой клад первоначальный,
И вот я встретил вас — я продал лодку, сеть...
Не знаю, для чего, что мог за цель иметь,
Однако продал их. Единое то было
Богатства моего иль нищеты мерило.

Я бросился бежать, все унося с собой,
 Чем я владел, что мог я в горсти сжать одной.
 Усталый, вскоре я в тоске глухой, тревожной
 У перекрестка сел на камень придорожный.
 Когда на площади Сан-Марко я бывал,
 У лупанара там игорный дом видал.
 Туда я поспешил. На стол все достоянье
 Из горсти выбросив, стоял я в ожиданье
 Развязки роковой. Я выиграл; опять
 Поставить я решил и счастья попытать.
 К чему рассказывать о ночи той ужасной?
 Всю ночь ту, Порция, какой-то демон властный
 К столу приковывал меня, а предо мной
 Богатство все росло несметною казной.
 И каждый раз, когда вновь колесо свершало
 Свой подлый поворот, мной мысль овладевала,
 Что море не вдали и что в конце концов
 Глубокий черный одр принять меня готов.
 Но банкомет сказал, признав казну пустою,
 Что кончена игра. Столпившись, все за мною
 Следили жадно; я подставил плащ тогда.
 Вмиг стоимость дворца мне кинули туда
 И тридцати блудниц всю развращенность — вместе.
 Я вышел. Я три дня провел в том самом месте,
 Где под платанами однажды видел вас, —
 В надежде, что вы вновь пройдете там хоть раз.
 Дальнейшее вам все известно». —
 «Боже правый!
 Так вот что жизнь твою исполнило отравы?
 Что ты не дворянин? Когда бы ты был им,
 Ты думаешь, сильнее ты был бы мной любим?» —
 «Молчите! Вы — жена, — сказал он ей сурово, —
 Дзоппери-рыбака и только — вот вам слово, —
 Да, больше ничего». —
 «Что ж больше?» —
 «Ничего;
 Ушло, как и пришло, богатство — нет его.
 Вчерашний день был днем решенья рокового,

И ради вас вчера судьбу пытал я снова:
 Я проиграл; теперь решайтесь навсегда». —
 «Вы проиграли все?» —

«Все, за три раза, да,
 Все, даже мой дворец; осталась лодка эта:
 Я выкупил ее давно, тайком от света.
 Кляни же, Порция, меня; не стану я
 Тебя удерживать, порукой жизнь моя.
 Зачем я взял тебя, зачем без сожаленья
 Заставил разделить со мной судьбы гоненья,
 Не спрашивай о том. Так сделал я. Но знай,
 Что от меня уйти ты можешь, выбирай».

С пеленок Порции, графинею рожденной,
 По-графски и жилось, любовью окруженной;
 И, время проводя среди забав, она
 Желанья с ранних лет исчерпала до дна,
 Не ведая нужды, знакомясь с нищетою,
 Лишь чтобы облегчить ее своей рукою.
 Ее отец — старик — синьор богатый был;
 Хоть скуп, любил он дочь и счастье находил
 В том, чтобы дочь его слыла и всех счастливей
 И, восхищение рождая, всех красивей.
 Все улыбалось ей; лишь перед ней одной
 И перед богом граф Онорио с мольбой
 Колени преклонял. Меж тем, давая взору
 Блуждать замедленно по водному простору,
 Внимала юноше в молчании она.
 Была пустынна даль; прозрачна и темна,
 В пучине сумрачной вода отобразила
 Один лишь бледный лик полночного светила.
 Смотря на Порцию, и юноша был нем.
 Не колебалась ли она? Бог весть; затем,
 Как нежный тот цветок, что ветром смят бывает
 И, слабый, на стебле покорно поникает,
 Так, отвернув лицо, в слезах вся и бледна,
 Склонилась медленно к любимому она.
 «Подумать следует, — сказал он, — вам, графине,

Что я рыбак; и впредь всегда, как был донине,
Я буду рыбаком; что оба, вы и я,
Состариться должны; что может смерть моя
Смерть вашу предупредить». —

«Двух любящих навеки
Соединяет бог; сомкнем мы вместе веки.
Восхитит и меня с тобою ангел твой».

Но промолчал рыбак — не верил наш герой.

1829

ПЕПИТЕ

Лишь только ночь сойдет, Пепита,
Лишь только мать уйдет к себе,
И ты, одеждой чуть прикрыта,
В сердечной склонишься мольбе;

Лишь только ночи ты расскажешь,
Что днем могло так волновать,
Лишь только чепчик свой развяжешь
И оглядишь свою кровать,

И весь твой дом задремлет чутко
Среди полночной темноты —
Пепита, дивная малютка,
О чем задумаешься ты?

Кто знает? О судьбе ль девицы
Из книги, читанной тобой?
О том, к чему мечта стремится
И что заказано судьбой?

Иль, может, о судьбе гигантских
Гор, порождающих мышей?
Иль о любовниках испанских?
Насчет сластей? Игры страстей?

Иль о признаниях стыдливых
Твоей подруги вечерком?
О новых платьях? О мотивах?
Иль обо мне? Иль ни о чем?

1831

МАДРИД

Мадрид, Испании столица,
Немало глаз в тебе лучится,
И черных глаз и голубых,
И вечером по эспанадам
Спешит навстречу серенадам
Немало ножек молодых.

Мадрид, когда в кровавой пене
Быки мнутся по арене,
Немало ручек плещет им,
И в ночи звездные немало
Сеньор, укрытых в покрывало,
Скользит по лестницам крутым.

Мадрид, Мадрид, смешна мне, право,
Твоих красавиц гордых слава,
И сердце я отдам свое
Средь них одной лишь без заминки:
Ах, все брюнетки, все блондинки
Не стоят пальчика ее!

Ее суровая дуэнья
Лишь мне в запретные владенья
Дверь открывает на пароль;
К ней даже в церкви доступ труден:
Никто не подойдет к ней, будь он
Архиепископ иль король.

Кто талией сумел бы узкой
С моей сравниться андалузкой,
С моей прелестною вдовой?

Ведь это ангел! Это демон!
А цвет ее ланиты? Чем он
Не персика загар златой!

О, вы бы только посмотрели,
Какая гибкость в этом теле
(Я ей дивлюсь порою сам),
Когда она ужом завьется,
То рвется прочь, то снова жмет
Устами жадными к устам!

Признаться ли, какой ценою
Одержана победа мною?
Тем, что я славно гарцевал
И похвалил ее мантилью,
Поднес конфеты ей с ванилью
Да проводил на карнавал.

ПЕСНЯ ФОРТУНИО

(Из комедии «Подсвечник»)

Не ждете ль вы, что назову я,
Кого люблю?
Нет! Так легко не выдаю я
Любовь свою.

Но я скажу вам (я смелее
Среди друзей),
Что спелый колос не светлее
Ее кудрей.

Живу, ее покорный воле,
И для нее
Я жизнь и, если нужно, боле —
Отдам я все!

Любви отверженной мученья
До траты сил,
До горьких слез, изнеможенья
Переносил.

И, в сердце сдавленном скрывая
Любовь свою,
Погибну я, не называя,
Кого люблю.

К НИНОН

Вы, чернокудрая с небесными очами,
Что, если я скажу, что полюбил я вас!
Любовь крушит сердца, мы знаем это сами,
И вы, что плачете над нежными сердцами,
Меня накажете, быть может, в этот раз.

А если я скажу, что вот уже полгода,
Как тосковать по вам мне было суждено?
Нинон, вы так умны, ваш ум такого рода,
Что, как волшебница былого обихода,
Вы сможете сказать: «Я знаю все давно».

И если я скажу, что стал я вашей тенью,
Что, к вам прикованный, я жизнь пройду, скользья.
Вы знаете, Нинон, что вам к лицу сомненье,
И вы проявите, быть может, сожаленье,
Но все же скажете, что верить мне нельзя.

А если я скажу о том, что вам известно,
Что ваших милых слов мне не забыть теперь,
Тогда, сударыня, тогда ваш взгляд прелестный
Заблещет молнией карающей небесной
И вы мне, может быть, укажете на дверь.

И если, наконец, скажу, что втихомолку
Я плачу и молюсь — один в тиши ночной, —
Когда смеетесь вы насмешливо и колко,
Ваш ротик за цветок любая примет пчелка,
И вы — вы будете смеяться надо мной!

Но все ж до этого вам в жизни не дознаться, —
Я буду приходить, садиться у огня
И слушать голос ваш, и пеньем упиваться,

И вы вольны шутить, кокетничать, смеяться, —
Вы не узнаете, что мучает меня!

О, сколько я собрал примет в любовной муке!
Я каждым вечером внимаю недвижим,
Как вдоль по клавишам рокочат ваши руки;
Когда же позовут к веселым вальсам звуки,
Сжимаю гибкий стан объятием своим.

Но только ночь придет и мир уgomонится, —
К себе вернувшись в дом, завешу я окно,
Чтоб без свидетелей достойно насладиться
Своим сокровищем, — я вправе им гордиться:
То сердце чистое, что вами лишь полно.

Да, я люблю! Любовь моя вне подозренья,
Я никому о ней ни слова не скажу,
Мне тайна дорога, мне дороги мученья —
И клятву я даю любить без сожаленья,
Но не без радости — ведь я на вас гляжу!

Но все ж мне не судьба дожидаться поцелуя,
И мне у ваших ног не умереть, — о нет!
И дни мои летят — я плачу, я тоскую...
И все же, если я скажу, что вас люблю я, —
Что вы, красавица, мне скажете в ответ?

1837

* * *

Ты, бледная звезда, вечернее светило,
В дворце лазуревом своем,
Как вестница, встаешь на своде голубом.
Зачем же к нам с небес ты смотришь так уныло?
Гроза умчалася, и ветра шум затих,
Кудрявый лес блестит росой, как слезами.
Над благовонными дугами
Порхает мотылек на крыльях золотых.
Чего же ищет здесь, звезда, твой луч дрожащий?..
Но ты склоняешься, ты гаснешь, вижу я,

738

С улыбкою бежишь, потупив взор блестящий,
Подруга кроткая моя!
Слезинка ясная на синей ризе ночи,
К холму зеленому всходящая звезда,
Пастух, к тебе подняв заботливые очи,
Ведет послушные стада.
Куда ж стремишься ты в просторе необъятном?
На берег ли реки, чтоб в камышах уснуть,
Иль к морю дальнему направишь ты свой путь
В затишье ночи благодатном,
Чтоб пышным жемчугом к волне упасть на грудь?
О, если умереть должна ты, потухая,
И кудри светлые сокрыть в морских струях,
Звезда любви, молю тебя я,
Перед разлукою последний луч роняя,
На миг остановись, помедли в небесах!

ЖЕНЩИНАМ

Да, женщины, тут нет ошибки,
Дана вам роковая власть:
Довольно с нас одной улыбки,
Чтоб вознестись или упасть.

Слова, молчанье, вздох случайный,
Насмешливый иль скучный взгляд,
И в сердце любящего тайно
Смертельный проникает яд.

Да, ваша гордость неуемна;
У нас душа слаба, кротка,
И так же ваша власть огромна,
Как верность ваша коротка.

Но гибнет в мире власть любая,
Когда ее несносен гнет;
Кто любит и молчит, страдая,
В слезах от вас навек уйдет.

739

Пусть горше не пил он напитка,
Пусть он истает, как свеча,
Но мне милее наша пытка,
Чем ваше дело палача.

11 января 1839

LE MIE PRIGIONI

Говорят, что вид прескверный
У тюрьмы,
И, пожалуй, это верно,
Черт возьми!

Я прибавил бы к тому же
В двух словах:
Лучше уж стоять снаружи
На часах!

Я сижу уже неделю
Взаперти,
Мне из этой душной кельи
Не уйти.

Подойду курить к оконцу,
Подышать,
На свободе всходит солнце,
Не спеша.

Как приятно любоваться
На заре
Портомойнею солдатской
Во дворе!

В довершение картины
Мне видна
Перспектива крыши длинной
И стена.

Кто в тюрьме не знал покоя,
Не поймет
Кирпича над головою
Всех красот.

Прежде сам бы не поверил
Я вовек,
Как внезапен, непомерен
Тот эффект.

И, однако, солнце светит
Нам порой,
Покрывая крышу сетью
Золотой.

В помещении острожном
Грусти нет:
Каждый здесь в душе художник
Иль поэт.

На стене карикатуры
И штрихи,
Здесь и там портрет с натуры
И стихи.

Каждый выразил по вкусу
Свой сюжет:
Вот — Мария с Иисусом,
Вот — сонет.

Магдалину с книгой божьей
Узнаю
И Венеру возле ложа,
Где я сплю.

Вот Любовь, Надежда, Вера
В полный рост:
Очень смелая манера,
Что за лоск!

Андалузская девчонка
 На меня
 Хмуро смотрит, профиль тонкий
 Наклоня.

Рисовавший этот профиль
 И овал
 Сам изысканные строфы
 Окрылял.

Дальше, близ Луи-Филиппа,
 Сам Христос.
 Дым пускает толстый шкипер
 Через нос.

Вот пейзаж весьма опрятный
 Нам открыл,
 Что художник аккуратный
 Здесь творил.

Опишу ли одалиску,
 Чья рука
 Достигает не без риска
 Потолка?

Есть у чисел и фамилий
 Свой язык,
 В них людские мысли жили
 Некий миг.

Сколько каждая видала
 Тут стена!
 Сколько ей людей вверяло
 Имена!

А на койке, где играю
 Я строкой,
 На подушке, где зеваю
 День-деньской,

Кто-то сердцем несогретым
 Отдыхал,
 Позабывший целым светом,
 Засыпал.

Так мечтал я бесполезно
 У стекла.
 Вдруг слеза на прут железный
 Потекла.

Не пойму, что это значит?
 Почему
 Без причины сердце плачет?
 Не пойму.

Иль о милой сожалею?
 Нет, не то!
 Пусть она себе вдовеет —
 Мне-то что!

Или я задумал драму?
 Нет, клянусь!
 Песня — песней, лучше дамой
 Я займусь.

Или в некотором роде
 Приуныл?
 О прекраснейшей свободе
 Загрустил?

Нет! Свобода — в заточенье,
 Под замком,
 Как разрозненных творений
 Грустный том.

Иль долги меня тревожат?
 Нет, ничуть!
 Кредитор сюда не может
 Досягнуть.

Но слеза течет, скользнула
По щеке,
Вот упала и блеснула
На руке.

И слеза мне отвечает:
«Мой дружок,
Знай, тебя предупреждает
Сердце в срок.

В этом бедном сердце бьется
Кровь твоя,
Остальное — рифмоплетство,
Болтовня.

Но не думай, что ты сроду
Одинок!
Создал бог не нам в угоду
Крови ток.

Ты смеешься, над собою
Зло язвя,
Но сестра и мать с тобою
И друзья.

Ты ведь искрою бессмертья
Наделен:
Ей особый путь начертан
И закон.

Меж сердец она незримо
Тянет нить,
И не можешь ты любимых
Позабыть».

20 сентября 1843

СОНЕТ

Встречаться в радости без края и конца,
Без околичностей и без хитросплетений —
И без утраченных надежд и угрызений
Мгновенью отдавать свободные сердца!

Забрасывать вперед свои мечты, свой гений,
Но не мрачить любовь туманом сновидений,
И в этой ясности искать для образца
Лауру и ее бессмертного певца;

Так вы, чей легок шаг, чей нежен взор горячий,
В уборе из цветов, которых краше нет,
Вы дали мне урок, мне подали совет,

И, старое дитя беды и неудачи,
Я слушал вас и мог одно сказать в ответ:
— Так век прожить нельзя, но любят не иначе!

1849

ОТРЫВОК

...Когда из школьных стен домой мы
возвращались,

Мы находили там безмолвие одно;
Отцы и братья нам не улыбались,
Отцы, за родину погибшие давно...
И хоть не раз горячих впечатлений
Душа недетская в томлении ждала,
Но было пусто все! И только по селенью
Гудели медленно вдали колокола...
Жизнь представлялась нам как бы двумя мирами:
За нами — прошлое с угасшею борьбой,
А новый день, встающий перед нами,
Еще во тьме, чуть тронутой зарей...
И ангел сумрачный для нас стал духом века;
Мы обрели его сидящим на костях, —

В плащ себялюбия закутан он, калека,
Не то живой, не то уж полупрах...
Так в Страсбурге дочь графа Сарвердена
В гробу, под белою венчальною фатой,
Лежит, сохранена, как мумия, от тлена,
Но странен вид ее, ребячески-худой!
Холодную тоской и безотчетным страхом
Томит ее наряд и мертвое лицо:
Еще блестит ее венчальное кольцо,
А голова в цветах рассыпалась прахом!

О дети будущих, далеких поколений!
Когда вы в летний день в отчизне дорогой,
На зелени лугов, в часы отдохновений,
У плуга пот с чела сотрете трудовой
И улыбнется вам под яркими лучами
Земля-кормилица, — подумайте порой,
Что мы свой путь прошли с бессильными слезами,
Что жертвой были мы за будущий покой!

1890

Примечания

Роман вышел в начале февраля 1836 г. Создан во второй половине 1834—1835 гг. О взаимоотношениях Мюссе с Жорж Санд, легших в основу романа, см. во вступительной статье. Образ «сына века» оказал влияние не только на французскую, но и на русскую литературу; следы чтения романа Мюссе различимы в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова.

С. 36. *Аустерлиц* — город на территории современной Чехословакии, возле которого 2 декабря 1805 г. армия Наполеона I разбила русско-австрийские войска.

Мюрат Иоахим (1767—1815) — маршал Франции при Наполеоне, неаполитанский король с 1808 г.

...император... перешел через мост... — Аркольский мост в Италии, который Наполеон, в ту пору командующий французской Итальянской армией, отбил 15 ноября 1796 г. у австрийцев.

...созерцая, как семь народов убивают друг друга... — По-видимому, имеется в виду сражение при Ватерлоо 18 июня 1815 г., в ходе которого англо-голландские войска А. Веллингтона и прусские войска Г. Л. Блюхера разгромили армию Наполеона.

Азраил — ангел смерти у мусульман.

С. 37. *...царственные пауки разорвали Европу на части...* — Имеется в виду «Священный союз» — реакционный союз Австрии, Пруссии и России, заключенный после падения Наполеона I для подавления революционного и национально-освободительного движений.

С. 38 *...прибывали люди... двадцать лет назад, когда они отсюда уходили...* — Имеется в виду возвращение во Францию аристократов, эмигрировавших во время Великой Французской революции и претендовавших на конфискованные в ту пору поместья.

- ...пчелка в узоре его герба... — Пчела была эмблемой императора; в эпоху Реставрации ее сменили королевские белые лилии.
- С. 38 ...*тень Цезаря высадится в Каннах...* — Намек на бегство Наполеона с острова Эльба и его временное возвращение к власти («Сто дней»).
- ...*договор между королем и народом...* — Конституционная хартия (июнь 1814 г.), устанавливавшая во Франции монархию не абсолютную, а конституционную и являвшаяся компромиссом между завоеваниями Революции и Империи с одной стороны, и традиционными устоями французской монархии — с другой.
- ...и ее имя — свобода. — По-видимому, имеется в виду Жак Антуан Манюэль (1775—1827), французский политический деятель и оратор, в эпоху Реставрации последовательно отстаивавший в палате депутатов идеи Революции и либеральные принципы.
- С. 39. ...*тела трех юношей...* — Речь идет о четырех (а не трех) сержантах из Ла-Рошели (их звали Борьес, Рау, Помье и Губен), членах тайной организации карбонариев; они были казнены на Гревской площади в Париже 21 сентября 1822 г. *Клармаф* — одно из парижских кладбищ; с 1789 г. здесь хоронили только казенных.
- С. 40. ...*Наполеон вырвал венец из его рук.* — Этот жест нетерпения вырвался у Наполеона 2 декабря 1804 г., во время коронации в соборе Парижской Богоматери, куда прибыл из Рима папа Пий VII.
- С. 43. ...*Тальма... сходство с Цезарем...* — Великий французский трагический актер Франсуа Жозеф Тальма (1763—1826) прославился в период Империи; он пользовался покровительством Наполеона и даже давал ему уроки декламации. Тальма и после падения Наполеона не отрекся от привязанности к нему; исполняя заглавную роль в трагедии Э. Жуи «Сулла» (премьера в «Комеди Франсез» 27 декабря 1821 г.), он сделал себе грим императора, чем вызвал резкие упреки ультрароялистской прессы (нашлись даже такие журналисты, которые предлагали возбудить против актера судебное преследование).
- ...на похоронах депутата-либерала... — Имеются в виду похороны генерала М. С. Фуа (1775—1825) 30 ноября 1825 г.
- С. 44. *Манфред* — герой одноименной драматической поэмы Дж. Г. Байрона (1817), богоборец.
- С. 45. ...*разве не было у тебя твоей возлюбленной?* — Речь идет о гра-

- фине Терезе Гвиччиоли (урожд. Гамба; 1800—1873) из Равенны. Мюссе упоминает эту возлюбленную Байрона в поэме «Мардош» (1829) и в стихотворении «Моему брату, вернувшемуся из Италии» (1844).
- С. 46. ...*хрусткие стебли тростника...* — Реминисценция из «Мыслей» французского моралиста и философа Б. Паскаля (1623—1662), где человек назван «мыслящим тростником».
- С. 47. ...*Шатобриан... закутав этого ужасного идола в свой плащ пилигрима...* — Французский писатель Франсуа Рене де Шатобриан (1768—1848) в трактате «Гений христианства» (1802; глава «О смутности страстей») и повести «Рене» (1802) первым в XIX столетии исследовал в художественной форме тип юноши, объятый меланхолией и отчаянием, как порождение исторической реальности; слова о «плаще пилигрима» подразумевают книгу Шатобриана «Путешествие из Парижа в Иерусалим» (1811).
- С. 48. ...*говорит Монтескье...* — Мюссе цитирует книгу «Размышления о причинах величия и упадка римлян» (1734, гл. XXII).
- С. 49. *Гальванизм* — здесь: искусственное продление жизни. *Гелиогабал* (204—222), *Каракалла* (188—217), *Нерон* (37—68), *Тибериус* (42 до н. э. — 37) — римские императоры, известные своей жестокостью и развращенностью.
- С. 53. ...*я продолжал сидеть на этой тумбе...* — Хотя прототип неверной любовницы Октава неизвестен, этот ночной эпизод, по-видимому, в самом деле произошел с Мюссе, поскольку поэт описал его еще раз — в стихотворной форме — в «Письме господину Ламартину» (1836).
- С. 54. ...*известная всем испанская пьеса...* — «Севильский обольститель, или Каменный гость» (изд. 1630) Тирсо де Молины (1571 или ок. 1583—1648).
- С. 65. *Макбет, убив Дункана...* не *отмоет его рук...* — Реминисценция из трагедии Шекспира «Макбет» (действ. V, сц. 1), где, однако, о руках в крови говорит не Макбет, а его жена.
- С. 66. ...*раненый бык в цирке волен забиться в угол...* *Все это не жизнь...* — Мюссе повторяет фразы из своего письма к Ж. Санд от 1 сентября 1834 г.
- С. 68. *Катон Младший, или Утический* (93—46 до н. э.), римский политический деятель, покончил с собой после победы Цезаря при Тапсе, не желая быть свидетелем падения республики.
- С. 69. ...*на руке римского гладиатора...* — Имеется в виду статуя «Ра-

- ненный галл» из римского Капитолийского музея, в период Империи находившаяся в Лувре.
- С. 80. ...*романы времен Людовика XV...* — Имеются в виду французские эротические романы XVIII века, весьма откровенные, а нередко и скабрзные.
- С. 81. ...*раскрыл ее наудачу...* — Поль де Мюссе вспоминал, что его брат очень любил гадать таким образом по книгам, всего охотнее избирая для этой цели Шекспира.
- С. 91. *Фея Маб* — по английским преданиям, волшебница, навевающая сны; ее проказы описаны в монологе Меркуцио в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (действ. I, сц. 4).
- С. 92. ...*Теодоро в комедии Лопе де Веги...* — Цитируемые слова в комедии «Собака на сене» (1618; действ. III, явл. 27) произносит не Теодоро, а его отец Лудовико.
- С. 93. *Курье* Поль Луи (1772—1825) — французский публицист, автор либеральных и антиклерикальных памфлетов.
- С. 94. ...*Абеляра, утратившего Элоизу.* — Любовь французского философа и теолога Пьера Абеляра (1079—1142) к его ученице Элоизе окончилась трагически; оба возлюбленных вынуждены были удалиться в монастыри.
- ...*псалмам Давида и песнопениям Саула...* — Из этих двух героев ветхозаветных преданий автором песнопений был только Давид; ошибка Мюссе объясняется, возможно, тем, что история первого царя израильско-иудейского государства Саула неоднократно становилась темой стихотворных трагедий (В. Альфьери, А. де Ламартин, А. Суме) и опер.
- С. 106. ...*как Мазепа был привязан к дикому коню...* — Легенда о том, что Иван Степанович Мазепа (1644—1709), гетман Украины с 1687 г., за прелюбодеяние был привязан неким польским помещиком к хребту дикой лошади, которая принесла его на Украину, использована Байроном в поэме «Мазепа» (1819) и Виктором Гюго в одноименном стихотворении, вошедшем в состав сборника «Восточные стихотворения» (1829).
- Регентство* — период с 1715 по 1723 г., когда Францией правил Филипп Орлеанский; эпоха эта отличалась чрезвычайной вольностью нравов.
- ...*греческом философе, который создал из чувственных наслаждений своего рода культ.* — Речь идет об Аристиппе из Кирены (вторая пол. V — нач. IV в. до н. э.), одном из родоначальников гедонизма.
- С. 107. *Аспазия* (V в. до н. э.) — возлюбленная афинского стратега (главнокомандующего) Перикла, славившаяся умом и красотой; *Алкивиад* — племянник Перикла, афинский полководец. Алкивиад, Сократ, Софокл, Геродот и другие знаменитые люди посещали дом Перикла, где стараниями Аспазии был создан, выражаясь современным языком, своеобразный «салон».
- «*Декамерон*» (1350—1353) Джованни Боккаччо (1313—1375) был одной из любимых книг Мюссе; следы чтения этих новелл заметны в его стихотворных повестях.
- Банделло* Маттео (ок. 1485—1561) — итальянский писатель, автор четырехтомного сборника новелл (изд. 1554—1573).
- «*Новые новеллы*» — «Сто новых новелл» (1462), анонимный памятник французской повествовательной прозы, близкий по духу «Декамерону» и итальянским новеллам.
- С. 108. *Олений парк* — небольшой дворец в Версале, где Людовик XV помещал свой «гарем».
- Куртиль* — пригород Парижа, изобиловавший кабачками и трактирами. В последний день Масленицы здесь устраивался карнавал.
- С. 114. *Митридат VI Великий* (ок. 132—63 до н. э.), царь Понта со 111 г. до н. э., по преданию, принимал малыми дозами разнообразные яды и в результате стал невосприимчив к ним.
- С. 115. *Стикс* (греч. миф.) — река, окружающая царство мертвых. ...*говорит о своей юности... блаженный Августин...* — Имеется в виду «Исповедь» (397—401) христианского богослова, отца церкви Аврелия Августина (354—430).
- С. 119. ...*держал в руке томик Ламартина...* — Альфонс де Ламартин (1790—1869) выпустил к этому времени стихотворные сборники «Поэтические думы» (1820), «Новые поэтические думы» (1823) и «Поэтические и религиозные гармонии» (1830). Возвышенная меланхолия стихов Ламартина составляла резкий контраст с беспутной жизнью Октава и его товарищей.
- С. 121. *Шоссе д'Антен* — улица и квартал в Париже, где жили крупные финансисты и известные художники; квартал этот был окончательно застроен в конце XVIII в., а в моду вошел в 1820-е годы. Напротив, квартал Марэ был более старинным и совсем не фешенебельным; эти два квартала нередко воспринимались современниками как два разных города с различным укладом жизни.
- С. 124. *Мелузина* — в европейской средневековой мифологии фея, осужденная каждую субботу превращаться в змею.

- C. 125. *Алле Жан Ноэль* (1754–1822) — видный французский врач-гигиенист; *Гумбольдт Александр фон* (1769–1859) — немецкий путешественник и естествоиспытатель, среди ранних работ которого был «Трактат о раздражении нервов и мускулов» (1796). *Спалланцани* Ладзаро (1729–1799) — итальянский естествоиспытатель; исследовал механизмы воспроизведения у земноводных и млекопитающих.
- C. 127. ...*таким горьким на пустынном берегу Лидо...* — Воспоминание о пребывании в Венеции вместе с Жорж Санд; Лидо — полуостров в Венеции, отделяющий лагуну от моря.
- C. 130. ...*ужин Петрония...* — Имеется в виду эпизод из романа римского писателя I в. Петрония «Сатирикон».
- C. 138. ...*ваш отец при смерти...* — Автобиографический мотив: отец Мюссе умер 8 апреля 1832 г.
- C. 154. ...*изречение Монтеня...* — Мюссе цитирует «Опыты» (1680–1588; ч. I, гл. 2) французского писателя Мишеля Монтеня (1533–1592).
- C. 155. *Верньо* Пьер Виктюрньен (1753–1793) — французский политический деятель, жирондист, казненный во время Террора.
- C. 157. ...*говорит Лабрюйер...* — Мюссе цитирует «Характеры» (1688; IV, 23) французского моралиста Жана де Лабрюйера (1645–1696).
- C. 181. *Часть четвертая.* — Сент-Бёв в рецензии на «Исповедь сына века» («Ревю де Де Мوند», 15 февраля 1836 г.) писал, что автор поступил бы правильнее, если бы прервал роман в конце третьей части; по мнению критика, возрождение распутника с помощью любви — тема поучительная и общеинтересная, испытания же, которые выпадают на долю Октава и Бригитты из-за неуравновешенности Октава, — всего лишь частный случай, не имеющий всеобщего значения. По свидетельству Поля де Мюссе, и у самого автора было желание оборвать роман в тот момент, когда герой его переживает наивысшее счастье, однако он от этого намерения все же отказался.
- C. 183. *Страделла* Алессандро (ок. 1645–1682) — итальянский композитор, певец и скрипач.
- C. 214. ...*Шекспир сказал свои грустные слова...* — Цитата из комедии «Двенадцатая ночь» (акт III, сц. 4).
- C. 217. *Вспомните слова Руфи...* — Мюссе цитирует ветхозаветную Книгу Руфь (I, 16–17); моавитянка Руфь говорит эти слова матери своего покойного мужа Ноемини, вместе с которой

она отправляется в далекое странствие и делит все тяготы жизни. Мюссе уже ссылаясь на эти речи Руфи в своем письме к Ж. Санд (около 13 октября 1834).

- C. 230. ...*изображающую святого Фома...* — Фома, один из двенадцати апостолов, отказывался поверить в воскресение Христа до тех пор, пока не увидел его раны и не дотронулся до них. Картина на этот сюжет принадлежит не Тициану, а другому итальянскому художнику, Караваджо (1573–1610).
- C. 232. *Ты превратила мальчика в мужчину.* — Мюссе повторяет свои слова из письма к Санд от 30 апреля 1834 г.
...*человек, который вышел с тобой оттуда, это не тот человек, который вошел туда...* — Мюссе перефразирует свое письмо к Санд от начала июня 1834 г.
- C. 254. ...*куда ходил и сам Катон...* — Намек на связь Марка Катона Старшего (234–149 до н. э.), известного своей воздержанностью и строгостью нравов, с молоденькой служанкой (см.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Марк Катон. XXIV).
- C. 255. «*Как знать?*» — формула скептицизма, во французской традиции восходящая к девизу Монтеня «Что знаю я?» (Опыты, II, XII).
...*быть вольнодумцем и читать Ларошфуко.* — «Максимы» (1665) французского моралиста Франсуа де Ларошфуко (1613–1680) проникнуты пессимизмом и скептицизмом; главным двигателем человеческих поступков и чувств в них выступает эгоизм.
- C. 256. ...*могли пить из одной чашки?* — Автобиографический мотив; в 1852 г. Мюссе продиктовал своему брату Полю мемуарную заметку, где вспоминал, как потрясло его открытие, что Жорж Санд и доктор Паджелло пили чай из одной чашки.
- C. 260. «*Мемуары*» *Констана.* — Шеститомные «Записки о частной жизни Наполеона, его семьи и двора» главного камердинера императора Луи Констана Вери (1778–1845), вышедшие в свет в 1830 г.
- C. 271. ...*один из романов Дидро...* — «Жак-Фаталист» (изд. 1796).
- C. 291. ...*плакучую иву, посаженную на моей могиле.* — Эта фраза напоминает знаменитые строки, начинающие и кончающие элегию Мюссе «Люси» (1835): «Друзья, меня похоронив, // Взрастите иву над могилой, // Люблю листву плакучих ив. // Мне все в ней дорого и мило...» (пер. А. И. Курошевой).
- C. 294. ...*возглас бессилия возмущенного старого атеиста.* — Мюссе

склонен был винить Вольтера в скептицизме и безверии современной молодежи; этому обвинению посвящена четвертая часть поэмы «Ролла» (1833).

Стр. 294. ...*Гершель говорит, что это от охлаждения.* — Имеется в виду трактат английского астронома Джона Гершеля (1792—1871) «Введение в изучение философии природы» (1831, фр. пер. 1835, стр. 140).

ЭММЕЛИНА

Впервые — «Ревю де Де Мوند», 1 августа 1837 г. Прототип главной героини — госпожа Жобер, урожденная д'Альтон-Ше, сестра светского приятеля Мюссе. Недолгий роман Мюссе с госпожой Жобер, перешедший затем в прочную дружбу, оставил заметный след в творчестве писателя; с ним связаны комедия «Подсвечник» (1835), стихотворения «Декабрьская ночь» (1835) и «Письмо господину де Ламартину» (1836) и, наконец, новелла «Эммелина», где Мюссе наделил влюбленного в героиню Жильбера многими своими чертами, и прежде всего своими стихами, обращенными к госпоже Жобер. Впрочем, если в новелле причиной разрыва влюбленных служит ревность мужа героини, в жизни такой причиной была ревность Мюссе, подозревавшего госпожу Жобер в том, что она терпит его ухаживания лишь для отвода глаз, а на самом деле питает нежные чувства к некоему третьему лицу.

С. 314. *Эрменонвиль* — поместье маркиза Рене де Жирардена, где провел последние недели жизни Жан-Жак Руссо.

«*Надгробные слова*», которые произносил в 1667—1687 гг. французский теолог и церковный деятель Жак Бенинь Боссюэ (1627—1704), — выдающийся памятник церковного красноречия.

Клавир-аусцуг — переложение оркестровой пьесы или оперы для пения и фортепьяно или только для фортепьяно.

С. 317. *В книге, столь же опасной, как и те связи...* — Имеется в виду роман П. Шодерло де Лакло «Опасные связи» (1782); по-видимому, Мюссе цитирует (в сжатой и слегка искаженной форме) слова виконта де Вальмона из письма СХ.

С. 319. ...*походили на баранов Панурга...* — Намек на эпизод из романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (кн. IV, гл. VIII),

где вслед за одним бараном, брошенным в воду, с корабля прыгнуло все стадо.

С. 320. *«Я живу любопытством».* — Отметим близость этих слов, заимствованных Мюссе из драмы В. Гюго «Марьон Делорм» (1831; действ. IV, явл. 8), известным словам Печорина в лермонтовском «Герое нашего времени»: «После этого стоит ли труда жить? А все живешь — из любопытства...»

Предместье *Сен-Жермен* — аристократический район Парижа.

С. 321. *Малибран* (наст. имя и фам. Мария Фелисита Гарсиа; 1808—1836) — французская певица (меццо-сопрано), испанка по национальности; погибла в результате несчастного случая. На ее смерть Мюссе написал стансы «К Малибран».

С. 322. *Рубини* Джованни Батиста (1795—1854) — итальянский тенор, выступавший в парижской Итальянской опере в 1831—1843 гг.; *Хейнефеттер* Сабина (1805—1872), *Зонтаг* Генриета (1805—1854) — немецкие певицы, также подолгу выступавшие в Париже.

С. 323. ...*я касаюсь щекотливого вопроса...* — По всей вероятности, затруднительность положения автора состоит здесь в том, что в образе Жильбера ему приходится описывать некоторые собственные черты.

С. 327. ...*налетел на какого-то прохожего...* — По словам Поля де Мюссе, этот случай произошел с самим Мюссе; стихотворение «К Нинон», приведенное ниже, — то самое, которое он послал госпоже Жобер и которое покорило ее сердце.

С. 332. ...*о вальсе и о стихах лорда Байрона...* — Байрон в стихотворении «Вальс; нелицеприятный гимн» (1813) осуждал (впрочем, возможно, иронически) вальс за его безнравственность; Мюссе, напротив, был страстным поклонником вальса; он посвятил ему восторженную страницу в «Исповеди сына века» и не менее восторженные строки в стихотворении «Средопостная неделя» (1838).

С. 337. «*Английское кафе*», расположенное на Итальянском бульваре (самая модная часть которого в эпоху Реставрации именовалась Гентским бульваром), было одним из самых знаменитых парижских ресторанов. Мюссе описал его заведателя, равно как и посетителей соседних ресторанов, в предисловии к новелле «Две любовницы», опубликованном лишь посмертно (1896).

С. 345. «*Норма*» (1831) — опера итальянского композитора В. Беллини (1802—1835).

ФРЕДЕРИК И БЕРНЕРЕТТА

Впервые — в «Ревю де Де Монд», 15 января 1838 г. По словам Поля де Мюссе, у Бернеретты был прототип — некая Луиза, гризетка либо куртизанка, пробовавшая выступать на сцене, соседка Мюссе и предмет его недолгого увлечения. Сюжет новеллы вымышлен, но некоторые черты героини заимствованы у ее живой «модели»...

- С. 358. *«Шомьер»* («Хижина», а точнее «Большая хижина») — «развлекательный» сад с площадкой для оркестра и танцев, располагавшийся на Монпарнасском бульваре; *«Тиволи»* — «развлекательный» сад неподалеку от площади Клиши, предлагавший своим посетителям всевозможные аттракционы: катания с «русских гор», выступления акробатов и канатоходцев, а также танцы; публика здесь была богаче и изысканнее, чем в «Хижине», где большинство посетителей составляли бедные студенты.
- С. 361. ...*в Медонском лесу были найдены останки несчастного...* — Если верить Полю де Мюссе, любовник Луизы по фамилии Батар в самом деле покончил с собой (в Булонском лесу).
- С. 368. *Мюзар* Наполеон (наст. имя Филипп; 1789—1853) — французский музыкант и дирижер; танцевальные залы, где он играл, пользовались в 1830—1840-е гг. огромной популярностью у самой изысканной публики.
- С. 376. ...*стихи... под впечатлением отрывка из Оссиана...* — «Поэмы Оссиана» (1761), выпущенные шотландским литератором Джеймсом Макферсоном (1736—1796) и приписанные им легендарному кельтскому воину и барду III в., оказали огромное влияние на европейскую словесность; чрезвычайно популярны были они и во Франции, где первый из многочисленных переводов вышел уже в 1772 г. Стихотворение Мюссе восходит к поэме Оссиана «Песни в Сельме». В 1850 г. поэт включил его в состав поэмы «Ива».
- С. 382. ...*только перо Бернардена де Сен-Пьера...* — Мюссе имеет в виду повесть Ж. А. Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1787), действие которой происходит на Иль-де-Франс (ныне остров Маврикий) в обстановке безмятежной, идиллической.
- С. 383. ...*обедали у Бери...* — Речь идет о кафе-ресторане в Пале-Руаяле, славившемся своей отменной кухней.
- С. 393. *«Римский король»* — титул, который получил при рождении сын Наполеона I и Марии-Луизы Франсуа Шарль Жо-

зеф Наполеон Бонапарт (1811—1832); в 1814 г., после отречения Наполеона I, сын его утратил титул римского короля и именовался герцогом Рейхштадтским.

- С. 402. ...*или разбивается, или забывает.* — Вероятно, парафраза знаменитого 771-го афоризма французского моралиста Н. Шамфора (1740—1794): «У всякого, кто знает жизнь и людей, сердце должно либо разбиться, либо закалиться».
- С. 403. ...*ко мне снова пришел твой отец...* — Здесь в сюжете новеллы Мюссе содержится «росток» знаменитой «Дамы с камелиями» (роман, 1848; драма, 1852) А. Дюма-сына.
- С. 406. *Помнишь немецкую трагедию...* — Речь идет о трагедии Гете «Гец фон Берлихинген» (1773); слова «Свобода, свобода!» произносит перед смертью главный герой. Мюссе читал эту трагедию Гете вместе с Жорж Санд в счастливую пору их любви (он вспоминает об этом в письме к Санд от 19 апреля 1834 г., приводя эти же самые слова: «Свобода! Свобода!»).

СЫН ТИЦИАНА

Впервые — в «Ревю де Де Монд» 15 мая 1838 г. Поль де Мюссе утверждает в своих воспоминаниях, что историю о сыне Тициана, создавшем всего одну-единственную картину — портрет своей любовницы, — его брат прочел в биографических заметках об итальянских художниках эпохи Возрождения, которые изучал, работая над пьесой «Андреа дель Карто» (1833); тем не менее жизнеописание Помпонио Вечеллио, сочиненное Альфредом де Мюссе, вымышлено. На самом деле Помпонио Вечеллио, второй сын великого итальянского художника Тициана (наст. имя и фам. Тициане Вечеллио; ок. 1490—1576), по воле отца стал священником; впрочем, склонности к духовной карьере он не испытывал и вел жизнь весьма распутную. Художником же, также по воле отца, стал Орацио, первый сын Тициана. Что же касается прозвища Тицианелло, то его носил Тициане Вечеллио (1570—1650), внучатый племянник великого Тициана, даровитый художник, впрочем, чересчур увлекавшийся подражаниями.

Завязка новеллы — кошелек, полученный в подарок от неизвестной дамы, — взята писателем из собственной жизни. Поскольку Мюссе нередко проигрывал в карты много денег, влюбленная в него юная Эме д'Альтон, кузина госпожи

Жобер, прислала поэту вышитый кошелек с запиской без подписи; этот эпизод Мюссе использовал также в комедии «Каприз» (1837). Эме д'Альтон вскоре стала возлюбленной Мюссе, и ее черты отразились в образе Беатриче из новеллы «Сын Тициана».

Новелла эта очень важна для понимания взглядов Мюссе на роль творчества в жизни человека; Пиппо принужден выбирать между жизнью (любовью) и искусством; он выбирает жизнь, и сам Мюссе одобряет и разделяет этот выбор.

- C. 407. *Джудекка* — группа островов и канал в Венеции.
 C. 408. *Пасс-дис* («больше десяти» — *фр.*) — азартная игра в кости, где играющий бросает три кости; требуется, чтобы сумма очков была больше десяти.
 C. 418. *Авогадор* — должность в Венецианской республике; авогадоры (их назначалось трое) обладали правом вето на решение правительства.
Прокурации — здание, где заседали прокураторы (с 1432 г. в числе девяти), должностные лица, распорядившиеся делами главной церкви Венеции — собора Святого Марка и некоторых монастырей.
 C. 419. *Правители Ночи* — Совет Десяти, тайный трибунал с неограниченными правами, с 1310 г. управлявший Венецианской республикой и опиравшийся на доносчиков и шпионов. Члены Совета Десяти выбирались среди членов венецианского Большого Совета.
 C. 423. ...*Наполеон сказал, что судьба — женщина.* — Приписываемый Наполеону афоризм звучит так: «На войне нужно пользоваться всякой случайностью, ибо судьба — женщина; если сегодня вы ее упустите, не надейтесь поймать ее завтра». (Maximes de guerre et pensées de Napoleon. I. 5me ed. P. 1863. P. 216).
 C. ...*Фузина* — городок в окрестностях Венеции.
 C. 428. *Дворец Нани* получил свое название по имени первого владельца, историка и дипломата Г. Нани, лишь в XVII в., то есть позже периода, описываемого Мюссе. В XIX в. в этом здании располагалась гостиница, в которой жили во время своего пребывания в Венеции Ж. Санд и Мюссе.

Пила — резная металлическая пластина, которой украшают нос гондолы.

- C. 429. *Лоредано, Донато* — знатные венецианские роды, среди представителей которых было немало дождей.

...*знаменитого Лоредано... участие в процессе Джакомо Фоскари.* — Дожд Венеции Франческо Фоскари (ок. 1372—1457) в 1445 г.

был вынужден судить, а затем приговорить к пытке и изгнанию своего сына Джакомо (этому эпизоду Байрон посвятил трагедию «Двое Фоскари», 1821). Семейство Лоредано было настроено резко против Фоскари; когда знаменитый адмирал, командующий венецианским флотом Пьетро Лоредано скончался, то сын его Джакомо, глава Совета Десяти, на основании неприязненных слов, сказанных дождем Фоскари об адмирале, когда тот был еще жив, обвинил дожа в убийстве адмирала и занес Фоскари в список своих должников. Все эти события изложены в XVI книге многотомной «Истории Венецианской республики» П. Дарю (1-е изд. 1819; 2-е, дополн. изд. 1821), на которую Мюссе ссылается ниже (см. с. 455).

- C. 432. *Старый Вечеллио* — Тициан.

Юлий II (наст. имя и фам. Джулиано делла Ровера, 1443—1513) — папа римский с 1503 г.; *Лев X* (наст. имя и фам. Джованни Медичи; 1475—1521) — папа римский с 1513 г. Оба покровительствовали искусствам. Мюссе очень высоко ценил итальянское Возрождение как эпоху высшего торжества искусства, существовавшего в атмосфере понимания и почитания со стороны публики; в стихотворении «Бесплодные желания» (1830) он противопоставлял греческую античность и итальянский Ренессанс современности, когда искусство подчиняется политике, утрачивает свое величие и превращается в ремесло.

Буонаротти — Микеланджело Буонаротти (1475—1564), итальянский живописец, архитектор, скульптор.

- C. 436. *Бордоне Парис* (1500—1571) — художник венецианской школы; очевидно, речь идет о его картине «Венера и Адонис», где Венеру венчает Амур.

- C. 437. *В Болонье происходила встреча папы с императором.* — Император Священной Римской империи Карл V (1500—1558; под именем Карла I он же был испанским королем) был в Болонье и позировал там Тициану дважды — в 1530 и 1533 гг.; он высоко ценил венецианского художника, произвел его в дворянское звание и жаловал титулом графа Палатинского. Встреча Карла V с папой Павлом III (наст. имя и фам. Алессандро Фарнезе; 1468—1549; папа римский с 1534 г.) произошла не в Болонье, а в Кастелло ди Буссето в 1543 г. Фигура Карла V, за два года до смерти отречьегося от престола и удалившегося в монастырь, привлекла внимание Мюссе еще в самом начале его творческого пути: в 1829 г. он написал стихотворение «Карл V в монастыре Святого Юста», опубликованное лишь посмертно.

- С. 438. *Филипп Второй* (1527–1598) — сын Карла V, испанский король с 1556 г.; унаследовал корону после отречения отца от престола.
Моретто Алессандро (ок. 1498–1555), *Романино* Джироламо (ок. 1484/1487 — после 1559), *Тинторетто* (наст. имя и фам. Джакопо Робусти; 1518–1594), *Джорджоне* (наст. имя и фам. Джордже Барбарелли да Кастельфранко; 1476 или 1477–1510) — художники венецианской школы.
Орацио Вечеллио, старший сын Тициана, скончался в один год с отцом (1576).
- С. 441. *Фриул* — историческая область на северо-востоке Италии; там находится город *Кадоре*, откуда был родом Тициан.
- С. 444. ...*Далила... воспользоваться тайной слабостью Самсона...* — Сила Самсона, героя ветхозаветных преданий, таилась в его волосах; его возлюбленная, филистимлянка Далила, выдала его тайну врагам.
- С. 449. *Форнарина* (наст. имя и фам. Маргарита Лути), дочь римского булочника (*фогнаго*), возлюбленная Рафаэля в последнее десятилетие его жизни, изображенная на многих его полотнах.
- С. 455. *Дольони* Джованни Никколо (ум. 1629) — итальянский историк, автор книг «История Венеции» (1598) и «Венеция торжествующая и свободная» (1613).

МАРГО

Впервые — «Ревю де Де Мوند», 1 октября 1838 г. По словам Поля де Мюссе, его брат сочинил эту новеллу под влиянием бесед с хорошенькой четырнадцатилетней девушкой, которую привез из деревни и взял к себе в услужение один из его парижских соседей. Описание фермы, где выросла Марго, навеяно воспоминаниями детства, когда семейство Мюссе гостило на ферме Клинье, принадлежавшей баронессе Гобер, владелице парижского дома, где жили Мюссе. Сюжет новеллы вымышлен. Имя Марго вообще означает во французской традиции женщину болтливую и не отличающуюся чрезмерной строгостью нравов, Мюссе же любил называть так девушек и женщин из народа (в стихотворении «После чтения», 1842, он, развивая свои заветные мысли о том, что искусство должно обращаться не к горстке «посвященных» знатоков, а к самой широкой публике, писал: «Да здравствует мелодрама, над которой плакала Марго»).

- С. 464. ...*в восемьдесят девятом году упряднили и не такое.* — Имеются в виду политические преобразования Великой Французской революции, изменившие привычный уклад жизни.

Бурре — овернский народный танец.

- С. 465. «*Имперская газета*» (*Journal de l'Empire*) — под таким названием во время I Империи выходила крупная парижская газета «Журнал де Деба» (осн. 1789).
- С. 471. *Буше Франсуа* (1703–1770) — французский художник, полотнам которого присущи декоративность и эротика, характерные для искусства рококо; по-видимому, имеется в виду его картина «Купание Дианы» (1742), хранящаяся ныне в Лувре.
«*Возлюбленный король*» — Людовик XV, в 1744 г. «с легкой руки» поэта Ж. Ж. Ваде получивший прозвище «Возлюбленный».
- С. 472. *Гомер утверждает...* — В «Илиаде» (VI, 153) Сизиф охарактеризован как «препрославленный мудростью смертный».
- С. 474. ...*привычка, которая возбудила такое негодование женевского философа...* — Имеется в виду пассаж из «Исповеди» Ж. Ж. Руссо (кн. 9), где «женевский философ» с негодованием описывает, как энциклопедист Мельхиор Гримм (1723–1807) чистил ногти «особой щеточкой». Это место иронически упоминает Пушкин в «Евгении Онегине» (I, XXIV): «Руссо (замечу мимоходом) // Не мог понять, как важный Грим // Смел чистить ногти перед ним».
- Жозефина* (Мария Жозефа Роза Гаше де ла Пажри; 1763–1814) — в 1796–1809 гг. жена Наполеона I, императрица Франции.
- С. 490. *Мальмезон* — замок, приобретенный в 1799 г. Жозефиной Бонапарт.
- С. 504. *Нанжи* — город в департаменте Сена-и-Марна, близ которого французские войска разбили в феврале 1814 г. не русские, а австрийские войска.

ИСТОРИЯ БЕЛОГО ДРОЗДА

- С. 506. *Бюффон Жорж-Луи* (1707–1788) — французский естествоиспытатель, автор многотомного труда «Естественная история».
- С. 515. «...*сорочий король Пий Сороковой...*» — в оригинале игра слов: «Pie», мужское имя, по-французски означает также «сорока».
- С. 519. ...*голос некоего Жана де Нивеля...* — намек на популярную

французскую песенку о Жане де Нивеле и его собаке, которая убежала, как только ее звал хозяин.

Нестор — старейший из мифических греческих царей, принимавших участие в осаде Трои.

С. 520. *Жорж Данден* — герой одноименной комедии Мольера, мещанин, женившийся на дворянке и принужденный терпеливо сносить все ее прихоти.

С. 534. *Альфьери* Витторио (1749—1803) — известный итальянский поэт и драматург, автор «Мемуаров».

С. 525. *Шарпантье* Жерве (1805—1871) — французский издатель и книгопродавец, известен изданием серии французских и мировых классиков.

Дворец Мочениго — дворец в Венеции, где в 1818—1819 гг. жил Байрон.

«Лара» — романтическая поэма Байрона (1814).

Спенсер Эдмунд (1552—1599) — английский поэт, оказавший влияние на поэтов-романтиков. Его поэма «Королева фей» (1590) написана особыми девятистрочными строфами со сложным чередованием рифм.

С. 529. *In partibus infidelium* (лат.) — «в странах, занятых неверными». Это средневековое выражение стало впоследствии иронически применяться к лицам, носящим высокое звание, но не имеющим никаких юридических прав (здесь — намека на то, что брак белого дрозда был незаконным).

С. 530. *Скаррон* Поль (1610—1860) — французский поэт и писатель, автор «Комического романа», где он изобразил быт и приключения странствующих актеров.

С. 533. *Рубини* Джованни-Батиста (1795—1854) — итальянский певец.

ПРИХОТИ МАРИАННЫ

Впервые опубликовано в «Ревю де Де Монд» 15 мая 1833 г. Первая постановка (в измененной редакции) 14 июня 1851 г. на сцене «Комеди Франсез» (в это время театр носил название «Театр де ла Републик»). Переводы этой и следующих пьес выполнены по первоначальным редакциям, без учета сценических вариантов, как правило, «спрямляющих» текст и лишаящих его части своеобразия.

Среди предполагаемых источников комедии — новелла немецкого писателя-романтика Людвига Тика «Чары любви» (1811; фр. пер. 1829), с которой пьесе Мюссе роднит проти-

вопоставление двух главных героев: распутного Оттавио (Октава) и меланхолического Челио (у Тика им соответствуют Родриго и Эмиль). В комедии Мюссе различимы также следы чтения «Двенадцатой ночи» Шекспира (на что указывает «шекспировское» имя мажордома — Мальволио).

С. 632. ...*это же — слезы самого Христа*. — Название мускатного вина, производимого на юге Италии (Лакрима Кристи), в переводе с латыни означает «слезы Христовы».

С. 641. *Адонис* — финикийское божество природы, возлюбленный богини любви Афродиты; *Сильван* — в римской мифологии бог лесов и дикой природы, нередко отождествляемый с Фавном; Сильван упомянут здесь Оттавио не очень кстати, поскольку он, в отличие от Адониса — юноши несравненной красоты, изображался обычно в виде юноши с козлиными ногами и ушами.

ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ

Стихотворный набросок пьесы относится к 1833 г., в существующем виде пьеса написана в мае — июне 1834 г., после возвращения Мюссе из Венеции. Опубликована в «Ревю де Де Монд» 1 июля 1834 г. Первая постановка — 18 ноября 1861 г. на сцене «Комеди Франсез».

Сюжетно «Любовью не шутят» очень близка комедии-водевилю Э. Скриба «Мальвина, или Брак по любви» (1828), однако пьеса Мюссе отличается несравненно большей глубиной психологического анализа и трагичностью развязки. Большое место занимают в пьесе следы общения с Жорж Санд; трагическое «соперничество» героини и ее молочной сестры-служанки — сюжетный мотив, содержащийся в романе Санд «Индиана» (1832); рассказ Камиллы о монастыре восходит, по-видимому, к воспоминаниям Ж. Санд, которыми та делилась с Мюссе; наконец, многие мысли и даже обороты пьесы весьма близки переписке Мюссе и Санд после отъезда Мюссе из Венеции; этой перепиской и вообще общением с Санд объясняется появление в пьесе возвышенных интонаций в разговорах о любви, вера в ее «небесную» сущность.

С. 650. *Нужно будет получить разрешение*. — То есть разрешение от папы римского на брак между родственниками.

- С. 651. *Ita aedēpol* — сокращенная форма божбы в античном Риме (ессе + deus + Pollux = клянусь Поллукусом!).
- С. 656. «*Стонет сердце...*» — ария Керубино из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» (1786); «*Да здравствует Генрих IV*» — песенка из комедии Ш. Колле «Охота Генриха IV» (1764; действ. III, сц. XI).
- С. 677. ...*в мире есть нечто священное и высокое...* — Слова Пердика-на восходят к письму Мюссе к Жорж Санд от начала июня 1834 г.: «Двое, любящие друг друга на земле истинной любовью, обращаются на небе в одного ангела: вот что я прочел в одной новой книге. Знаешь ли ты слова более возвышенные?» Новая книга — роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831; ч. 2, гл. 7).
- ...*я часто страдал...* — Точная цитата из письма Ж. Санд к Мюссе от 12 мая 1834 г.

НУЖНО, ЧТОБЫ ДВЕРЬ БЫЛА ЛИБО ОТКРЫТА, ЛИБО ЗАКРЫТА

Во второй половине XVIII века во Франции были в большой моде так называемые «пьесы-пословицы». Жанр этот родился в салонах и представлял собой разновидность шарады: светские господа и дамы, превращаясь на время в самодеятельных актеров, разыгрывали небольшие пьески; в сюжете которых была зашифрована некая пословица; зрители, принадлежавшие к тому же слою общества, что и актеры, должны были ее угадать. Повидимому, огромная популярность таких постановок в светском обществе объяснялась именно этим отсутствием резкой границы между актерами и зрителями: последние прекрасно знали человеческие качества первых, и столкновение этой жизненной репутации с характерами персонажей создавало эффект, которого не бывает в профессиональном театре. Важно было и то, что в пословицах, действие которых обычно происходило в тех же гостинных, в которых они разыгрывались, светское общество обрисовывало само себя и говорило своим ежедневным языком (свидетельство французского историка литературы, неперменного секретаря Французской Академии А.-Ф. Вильмена).

Впоследствии пьесы-пословицы потеряли характер салонного развлечения, и пословицы, положенные в их основу, стали выноситься в заглавие. В XIX веке традицию сочинения таких пьес блистательно продолжил и развил Альфред де Мюссе (1810—1857). В течение полутора десятка лет он публиковал

свои «пословицы» в журналах и сборниках, сценическое же воплощение во Франции они обрели лишь после того, как в 1847 году на сцене «Комеди Франсез» была с огромным успехом представлена пьеса «Каприз» (впервые опубликованная во Франции десятью годами раньше и тогда же поставленная в русском переводе на сцене Александринского театра в Петербурге). Следствием этого первого театрального успеха явилась постановка в 1848—1849 гг. на разных парижских сценах целых восьми пьес Мюссе.

Пьеса «Нужно, чтобы дверь была либо открыта, либо закрыта» была опубликована в журнале «Ревю де Де Монд» 1 ноября 1845 года; впервые поставлена на сцене театра «Комеди Франсез» 7 апреля 1848 года, в разгар очередной революции (в связи с чем «Комеди Франсез» временно переименовали в Театр Республики). Тем самым лишний раз подтвердилась мысль об отсутствии прямого соответствия между театром и жизнью, отмеченная Эженом Скрибом в речи при вступлении в Академию, которую на русский язык перевел в 1836 году Пушкин: «Во время самых жестоких периодов революции, когда трагедия, как говорили, рыскала по улицам, что представлял театр? Сцены человеколюбивые и чувствительные, как, например: «Женщины», «Сыновья любовь», а в январе 93-го года, во время суда над Людовиком XVI, давали «Прекрасную мызницу», комедию пастушескую и чувствительную». Сходным образом события революции 1848 года не помешали французам поставить и оценить по заслугам сугубо светскую и камерную, но тонкую, изящную и неожиданную «пословицу» Мюссе. В России пьеса была опубликована под названием «Нужно, чтобы дверь была открыта, либо затворена» в Петербурге в 1848 году и под названием «Два замечания» была представлена в Москве на сцене Малого театра 4 мая, 10 июня и 1 июля 1849 года.

В XX веке пьеса на русском языке не публиковалась и не ставилась.

В. Мильчина